

ДАУР ЗАНТАРИЯ



ДАУР ЗАНТАРИЯ

СОБРАНИЕ

стихотворения

рассказы

повести

роман

публицистика

из дневников

**Абгосиздат
Сухум 2013**

ББК 84(5Абх) 6-44

З 28

Составитель В. Зантария

Обложка Р. Габлиа

Зантария Д.

З 28 **СОБРАНИЕ.**

Стихотворения, рассказы, повести, роман, публицистика,
из дневников.

Абгосиздат. Сухум, 2013. – 656 с.

В сборник безвременно ушедшего известного аб-
хазского писателя Даура Зантарии (1953–2001), писав-
шего на двух языках – абхазском и русском, вошли про-
изведения, написанные по-русски.

ББК 84(5Абх) 6-44

© Зантария, Д. Б., наследники, 2013

© Зантария, В. К., составление, 2013

© Москвина, М. Л., статья, 2013

© Габлиа, Р. Т., обложка, 2013

© Абгосиздат, 2013

ЖИТИЕ ДАУРА ЗАНТАРИИ, КОЛХИДСКОГО СТРАННИКА

Мы встретились впервые в Доме творчества Переделкино, случайно оказались за одним столом и за месяц, что мы там прожили, единственный раз одновременно явились в столовую. Он был весь в себе, чем-то мрачно озабочен, искоса взглянул в мою сторону, спросил, чем я занимаюсь. Я ответила, что писатель. Даур Зантария недоверчиво на меня посмотрел и, прежде чем приняться за творожную запеканку, величественно произнес: «Писатель – сродни охотнику. Нельзя полуубить вальдшнепа». Эта фраза почему-то запала мне в душу.

Спустя несколько зим мы снова встретились в Переделкине. С тех пор в Абхазии Даур Зантария пережил войну. Он сильно изменился и меня, конечно, напрочь позабыл.

Мы стояли с одним стариком-абхазом в очереди – позвонить по телефону, Даур подошел и спросил у него что-то по-абхазски. Тот засмеялся и говорит:

– Он спрашивает про вас: «Кто это?», а я и сам не знаю.

Я пригласила Даура покататься на лыжах. На лыжах он не пошел, сославшись на то, что у него нет варежек. А мои, лишние, ярко-красные, не подходят ему по цвету.

Какими нестерпимо четкими становятся детали, когда ты уже знаешь, насколько важной была эта встреча в твоей жизни и что больше ничего не прибавится к ее истории, во всяком случае здесь, на земле.

Он мне принес читать свои стихи. Это была странная смесь прозы и поэзии.

Шероховатая строка. И глубинное пение, в испанском народе такое называли «канте хондо» – нечто среднее между песней и молитвой.

Ночь над деревней беспредельно
глубока,
Повсюду тишина – в объеме
целокупно.
Что дальний лай собак, что
ближний звон сверчка –
Все стало чуждо, и роднее
звездный купол.
Так телом я ленив, и так душа
легка!
Куда спешит душа из оболочки
грубой?..

Потом он принёс мне читать свою прозу. Это была чистая поэзия. Перед моим взором, как в ночь бразильского карнавала или в фильмах Феллини, возникло шествие потрясающих типов – до того колоритных, пронзительных, живописных, лукавых, цыганистых, простодушных, исполненных зловещего обаяния, возвышенных, отрешенных и с практической жилкой влюбленных, коварных. Сам витязь Хатт из рода Хаттов, который в сердце обожженной и потрескавшейся земли одиноко сражался с нечистыми, на равных шествовал среди этой сомнительной компании, сама Владычица Рек и Вод, оставляя на дороге диковинные следы: у нее ступни были повернуты пятками наперед. Мудрецы, номенклатурные работники, романтический бандит, поэты Божьей милостью. В клубах дорожной пыли по обочине бежала выдающаяся дворняга Мазакваль, и время от времени материализовывался павлин, правда оборотень – посланец Тибета Брахмавиданта Вишнупату Шри, временно проживавший на приморской турбазе. В тени раскидистой шелковицы за густой цитрусовой изгородью держали совет умудренные жизненным опытом старец Батал и полустарец Платон, без благословения которых никакого важного решения не принималось не только правлением деревни, но и руководством местного филиала сухумской Обезьяньей Академии. Батал старше Платона по крайней мере на полвека, «хоть и не имеет возраста мудрость», –

вворачивает Даур. Баталу пора на покой, но много еще прорех в зеленом древе знаний Платона, который к тому же смолоду имел пагубное пристрастие к конокрадству.

Французский спортсмен-велосипедист восьмидесяти четырех лет мосье Крачковски, неутомимый романтик и миротворец, на местах, чреватых конфликтами, он устраивает велопробеги мира.

Свыше шестидесяти точек посетил энтузиаст. Все они стали горячими точками планеты. «Хотя он появлялся загодя, и даже тогда, когда о будущем кровопролитии еще не подозревали, – вскользь замечает Даур, – предотвратить кровопролитие не удавалось нигде». Но старик не обнаруживал ни уныния, ни усталости. А вот крестьянин Паха, деревенский дурачок, в полночь отправляется на дело, «бомбить» товарные вагоны – «ПАХА ПОШЕЛ!!!» – объявляет Даур. Его голос – низкий, хрипловатый – звучит на протяжении всего спектакля, который он разыгрывает перед нами, голос рассказчика-нарратора или античного хора.

Паха вскрывает вагон и берет цемент, совершенно не таясь, как средь бела дня, шагает открыто, гордо и восторженно по середине дороги, громыхая тачкой да еще громко браня своих двух сынков. Как он любил их, как он гордился ими, что у них рот закрывается! (У самого Пахи рот не закрывался.) Как он старался привить им любовь к ограблению ночных поездов – в игровой форме. Тут же в засаде – сын последнего мифологического витязя – Ника. В товарняке Нике нужен вагон, где везут «туфли «цебо». По паспорту Ника – Николай. И ничего общего с греческой богиней не имело его блатное прозвище», – серьезно поясняет Даур. Внешностью тот обладал неопределенной, какую и должна быть внешность в темноте. Более трех слов одновременно он не произносил, так что было неясно, владеет ли парень членораздельной речью. На самом деле он знал все языки, необходимые для воровской жизни: и мингрельский, и грузинский, и греческий, и армянский, даже цыганский, и, конечно же, свой, абхазский, не говоря уже о русском.

Яркие судьбы, преодолевающие смерть, их прорывы в бессмертие сплетались в причудливый узор на фоне дивных пей-

зажей Абхазии, которую Даур Зантария любил, пожалуй, даже больше жизни. Он мне рассказывал:

– Когда Бог раздавал земли, абхаз пришел в последнюю очередь. Бог говорит ему: «Где ты был раньше?» Тот отвечает: «Я не мог прийти». «Но ты же знал, – говорит Бог, – о какой важной вещи пойдет разговор». «У меня был гость, – ответил абхаз. – И я не мог его поторопить». И тут архангел Гавриил подтвердил: «Да, я был у него». И тогда Бог сказал: «Что ж, ладно, есть одно местечко, хотя я его оставил для себя».

Но Даур не был бы Дауром, если бы закончил на столь торжественной ноте.

– А потом пришел русский. «А ты почему опоздал?» – спрашивает Бог. «А я не помню, бухой был». Ну и...

Чувство юмора было для него единственной возможностью свободно взаимодействовать с нашим, прямо скажем, абсурдным миром. Поэтому в Абхазии все знают и любят писателя Даура Зантарию. Ведь как всегда считалось? Абхазы – хохмачи, говорил Даур, а грузины – романтики и чудики. И всегда в Сухуме они мирно жили между собой. Эти два народа особенно, хотя Сухум традиционно многоэтничный город. Когда-то Сухум был вторым по величине после Афин. Географ Древней Греции Страбон пишет, что в Диоскуре торговля шла при посредстве трехсот переводчиков.

«Но оказывается, – говорил Даур, и эти его слова услышали Россия, Абхазия и Грузия, потому что он произнес их в радиоэфире, в передаче, которую я тогда вела, – какие-то политические амбиции могут столкнуть народы. Когда я буду писать о войне, – говорил он, – а я обязательно буду о ней писать, начну с того, что мой сосед Вианор – он одноногий, на Великой Отечественной войне потерял свою ногу, – любит звать своих сыновей на любом расстоянии. Нужен ему сынок – зычным голосом крикнет, тот за семь километров услышит – отвечает. Сыновья тоже такими зычными голосами обладают. Вот его сын Батал на берегу моря познакомился с прелестной отдыхающей. Август. Тепло. Замечательно. Утро. И вдруг:

– ОООО-ЭЭЭ! БАТАЛ! – как будто «сушка»* летит над селом. Стекладребезжат.

*Су-25, штурмовик грузинских войск ВВС.

– Кажется, тебя!

А ему неудобно, что отец так зовет его. Он говорит:

– Нет, Баталов тут много.

– ООО-ЭЭЭ, БАТАЛ!

Тот продолжает с девушкой тихо разговаривать. В конце концов, когда отец не унялся, он как вскочит:

– АААААА!!!

– Война началась, баран ты, война началась, ты где находишься???»

«Когда я умру, – говорил мне Даур, – вернее, если я когда-нибудь умру, на моей могиле напишут по-персидски "Даур-ага", что означает "Даур-страдалец"». Он говорил шутя, но в этой шутке была большая доля правды. Он воевал, но он и спасал людей в той войне, мне рассказывали, как он мирил целые кланы, уберегая их от кровопролития. Он защищал свой порог, но его дом сгорел, и от огромного дома («почти что замка!») осталась только наружная чугунная лестница, ведущая на небо, в детстве он любил там посидеть ночью, смотреть на звезды и знать, что в любой момент можно будет вернуться в теплый дом и в теплую постель.

– Ой, как это похоже на Сухум, – он говорил всякий раз, когда на него внезапно накатывало блаженство, будь этому причиной даже скромная рюмочка коньяка.

Идем мы как-то по Бронной, Даур махнул рукой в сторону площади Пушкина и сказал:

– Вон там могло бы быть и море.

Он медленно и осторожно входил в русскую литературу. Поначалу приносил свои рассказы в московские редакции, а ему говорили: «Ну, вы, Даур Зантария, вылитый Фазиль Искандер. Сами посудите – герои Фазили абхазы, и вы тоже пишете об Абхазии. У него почти в каждом произведении встречаются горы с их вечными снегами, и у вас, у него фигурирует море, и у вас, у Искандера смешные рассказы, и у вас, у него, в то же самое время – грустные, и у вас...»

Мне кажется, именно по этой причине Даур никогда не строил свое повествование на байках. Народный фольклор клочкотал

в нем и рвался на бумагу, но он его сдерживал из последних сил, закладывая в фундамент строения, лишь изредка в его вещах прорываются байки в чистом виде, столь близкие ничем не омраченной стороне души Даура. Однако они постоянно всплывали из его пучин, словно глубоководные рыбы, надо же их куда-то девать, вот он просто рассказывал: был у них в Сухуме фотограф-армянин, его звали Кара. Когда ему женщины выражали недовольство своими фотографиями, Кара им отвечал: «Лягушка посадишь, лягушка выйдет».

«Раз в жизни они готовились, – говорил Даур, – один раз фотографировались, и так они у него выходили».

Сухумские фотографии бродили на побережье его души, токовавшей в Москве по Сухуму. Именно почему-то фотографии – в шортах и сомбреро, с распахнутой грудью – седые волосы на груди, загорелые, с обезьянкой на плече или с питоном на шее.

– У нас по соседству жил фотограф, – рассказывал Даур, – он был армянин, звали его дядя Гамлет. Армяне любят шекспировские имена. Я лично знаком со старой согбенной Офелией и шапочко – с армянином по имени Макбет. Макбет Ованесович Орбелян, хирург-стоматолог, у него всегда халат немного забрызган кровью. Его отцу, Ованесу, наверно, с пьяных глаз померещилось, что Макбет – мужское имя, которое украсит любого невинного младенца.

Жизнь, смерть, мудрость, просветление – вожденная мишень для его глубокого, мастерского, частенько черного юмора. Вот он рассказывает, как односельчане приходят к старику спросить совета.

– Тот ответит не сразу: «Придите завтра», – рассказывает Даур. – Приходят на следующий день. Он велит накрыть стол: «Угостите людей». Все садятся, он долго не отвечает, но потом он ответит... притчей, которую ему тоже кто-нибудь подсказал. «Вот так, – скажет, – так и поступите, если вы поняли». Все: «Спасибо, спасибо за твою мудрость. Если не пойдем, опять придем. Куда нам торопиться? Что нам горевать?.. Когда у нас есть ТЫ».

Это был кладезь историй, чуть смягченных мелодичным акцентом Даура, а так, конечно, жестких, дзэнских, рассчитан-

ных на то, что человек услышит и, потрясенный, просветлится, внезапно осознав абсурд нашей жизни. Взять хотя бы историю, как один мясник другому голову отрубил: «А что? Поспорили, – буднично говорит Даур, – кто кому сможет отрубить голову с первого раза, – на четвертинку...»

Я ходила за ним, как Эккерман за Иоганном Вольфгангом Гете, записывая его гениальные изречения. У меня это был какой-то прорыв к свободе слова. После знакомства фактически с иностранцем, сухумцем Дауром Зантарией, мой русский словарный запас увеличился в десять раз! И в сто раз уменьшились амбиции. А он звонил мне и говорил:

– Это Москвина? Как жаль, что моя фамилия не Сухумов! Родным для него языком был абхазский, на слух отдаленно напоминающий птичий свист. В абхазской речи девяносто два звука, он говорил, и каждое понятие выражается одним словом.

– Встречаются два человека, – рассказывал мне Даур, – один окликнул другого, тот отозвался, и разошлись. Тебе показалось, они только поприветствовали друг друга, а между тем эти люди обменялись вполне содержательными речами.

Он мне рассказывал, как переводил на абхазский Сергея Есенина.

– Старался, чтоб все было максимально приближено к оригиналу, но только пришлось изменить одну строку, – переживал Даур. – Я написал «как жену чужого, обнимал березку», а то по-абхазски эта есенинская строка звучит неприлично.

– Смешно тебе будет узнать, – говорил он, – какие книги я прочитал на абхазском языке. На абхазском языке я прочитал «Как закалялась сталь». На абхазском языке я прочитал «Мать», «Преступление и наказание».

– На улице лето, – рассказывал Даур, – солнечный день, вдали синие горы как будто стеной поднимаются, над ними курчавятся облака, жаворонки в небе, все очень красиво. Я сижу под шелковицей, на коленях у меня Достоевский. И вдруг я подумал: «Что я читаю? Чем занимаюсь? Ведь я находился в аду, в который сам себя погрузил чтением этих книг». И поскольку твердость моего

решения стать писателем сам с собой я уже не обсуждал, я сделал для себя вывод: нельзя быть таким мрачным, как Достоевский, по крайней мере МНЕ. Хотя во многом это зависит от географии.

– Русский язык – он инструментированнее, – говорил Даур, когда мы однажды с ним выступали перед журналистами-ветеранами. – Но, как мама моя может быть такая, сякая... но для меня она самая красивая.

...В зале сидела моя мама, поэтому я не дала ему закончить эту мысль чисто лингвистически:

– А для меня – моя самая красивая, – сказала я.

Он вышел из положения, как мог только он один. Он ответил:

– Твоя объективно самая красивая.

А мама моя, когда узнала о том, что Даура больше нет на свете, сказала:

– Как жалко, что Даур мало написал. Зато все такое... пряное!

Мы с Дауром тоже говорили о его продуктивности. Кто-то ему заявил, я не помню кто:

– Эх ты, маломощное предприятие. Апдайк в Америке штук пятьдесят написал новых книг – в год по штуке. ТАМ надо работать на свою популярность постоянно.

– Не то что здесь, – мрачновато откликнулся Даур. – На три года писатель закручинился, на три года запил.

Такими темпами, какими Даур Зантария писал свои замечательные вещи, искал, как говорится, единственное подходящее слово, по сто раз переписывал, литературой зарабатывать было сложно. Хотя он и декларировал, что ему не нужны большие деньги. А только чтобы хватало на кофе и на цветок женщине.

И он действительно, даже будучи в самом отчаянном положении, на свидание являлся с шикарной бордовой розой. Мы с ним встречались в метро на «Площади Революции», у матроса с пистолетом. И всегда как-то замороженно при встрече глядели на этот пистолет. Каково же было наше удивление, когда однажды мы встретились: матрос сидит, встревоженный, якобы в засаде, а пистолета у него в руке нет!

Я пришла домой и рассказала об этом маме. И моя мама, возмущенная, тут же послала письмо Лужкову. «Дорогой Юрий

Михайлович! – писала она. – Как же так? У скульптуры матроса на "Площади Революции" вандалы отняли пистолет. Почему москвичи и гости столицы должны терпеть подобное безобразие? Верните пистолет матросу, ибо матрос без пистолета все равно что Венера Милосская – без рук!»

В следующий раз, когда я примчалась на «Площадь Революции», Даур по-прежнему стоял с красной розой рядом с матросом, в ладонь которому вновь был вложен свежий начищенный пистолет.

– Весь этот город, – произнес Даур, – давно лежал бы в руинах, если б мы не встретились и не подружились.

Но вообще он больше любил ездить на попутках. На вопрос водителя: «А сколько вы заплатите?» – Даур, будучи, как правило, бессребреником, отвечал: «Вы ахнете, сколько я вам сейчас заплачу!» Если водитель не мог никак отыскать то место, куда тот устремлялся, Даур ему говорил:

– У моего деда была кобыла. Звали ее Кукла. Она никогда не могла остановиться возле его дома и все проскакивала мимо. Он долго не мог попасть домой. Так и вы!

...Мы с ним ходили повсюду, гуляли. Весна. Апрель. И как раз прилетела комета Галлея. Ее хорошо было видно из темных московских дворов – около Полярной звезды от ковша Большой Медведицы. Такая большая закрученная туманность в виде звезды с хвостом.

Мы с Дауром всё хотели куда-нибудь устроиться посмотреть ее ночью в телескоп. Мне дали телефон ученого-астронома Саши – главного специалиста России по мусору в космосе. Я позвонила ему, говорю: «Два писателя хотели бы взглянуть на комету в телескоп. Не могли бы вы поспособствовать?» А этот Саша говорит:

– При чем тут я?

– Ну вы-то видели ее вооруженным глазом? Хотя бы краем вооруженного глаза? – спрашиваю.

А он отвечает:

– Даже невооруженным краем не видел. Я вам не наблюдатель комет, а теоретик по этому вопросу.

Даур был в шоке. Тем апрелем он написал стихотворение, которое оканчивалось такими строками:

...Но как подумаешь, что там,
Куда душа взлететь хотела,
На смену тягостным годам –
Покой – вне времени и тела,

Что в суе сиюминутной
Не часто поднимал глаза
На этот дальний и уютный, –
Весь в звездных брызгах, –
Дом Отца.

– Марин, откуда у меня такой таинственный песенный дар?
Может это написать простой смертный? – шутил он.

Но он не был «простой смертный». Он был ясновидец, колдун, он гадал по руке и с деталями, известными только тебе самому, мог целый час сидеть, курить трубку из вереска и рассказывать «все, что было». Он спокойно читал мысли на расстоянии и видел человека насквозь. Но его коньком было гадание на кофейной гуще. Иной раз просто до абсурда доходило: заглянет тебе в кофейную чашку, обидится на что-нибудь, потом неделю не звонит и не заходит.

– Чем ты ранила его аравийскую душу? – спрашивала у меня моя мама, и я не находила ответа.

– Порою, как коршун на цыплят, только тень стремительно падает, так падает на меня тоска, – говорил Даур. Кардиолог поставил ему диагноз «шок войны».

Я всюду звала его с собой. К примеру, на выставку тропических бабочек. Он, правда, не пошел. Его смутило, что все эти бабочки там будут мертвые.

– Можно, конечно, – сказал он, – прийти и с закрытыми глазами пробыть до фуршета... Энтомологи, вообще, устраивают фуршет?

Мы с ним ходили в Дом литераторов на вечер Бродского. Там показывали документальный фильм, Даур втянул голову в плечи, вжался в кресло.

– Ты чего? – говорю.

А он отвечает:

– Я первый раз его вижу и первый раз слышу, как он сам читает.

А потом взял и еще больше, чем со мной, подружился с поэтом Татьяной Бек. И стал ходить с ней на литературные вечера, на Кушнера, он слушался ее во всем, бестрепетной рукою сокращал те куски в романе, которые ей не нравились, все время цитировал ее стихи и, как к нему ни зайдешь посидеть-поболтать, принимался сдувать с себя пылинки, устраивая пыльную бурю, хватал свою аджику и бежал к Тане Бек на сабантуй.

Но он и меня тоже не забросил окончательно. Как-то раз, не много подвыпив, позвонил в полпервого ночи и говорит:

– Мариночка! У меня к тебе прозаический вопрос, не хочу отрывать тебя от семьи в столь поздний час: что мне делать с моей любовью к тебе?

Я страшно обрадовалась, кричу:

– Даур! Какая радость, что ты звонишь. Я так давно тебя не видела, что даже забыла, лицом какой национальности ты являешься.

– Если б ты знала, – сказал он, – как я тебе предан! Как предан бывает туземец. Ты знаешь, что туземцы не тронули ни одного гвоздочка в доме Миклухо-Маклая, самого его, – мрачно пошутил он, – они, правда, съели.

Через десять минут снова зазвонил телефон. И взволнованный голос Даура произнес прямо в трубку:

– Я скучаю по тебе, Танечка!

Ну и я чтоб не дай Бог, не поставит его в неудобное положение, ответила низким, богатым модуляциями, голосом Татьяны Бек:

– И я тоже, Даур, дорогой.

У него было прозвище Старик. Кажется, оно закрепилось за ним если не в младенчестве, то в отрочестве. Ему нравилась история про Лао-цзы, который, по свидетельству очевидцев, родился восьмидесятилетним, с седой бородой.

Всех незнакомых женщин на улице, продавщиц в ларьке и вообще любых теток, независимо от вида и возраста, он звал просто «доченька». Исключение Даур сделал только раз на моих глазах для абсолютно реликтовой, дико агрессивной матерщинницы, которая обложила его на улице по полной программе. Ее он назвал «матушка».

Желая отдохнуть душой от сухумской разрухи, он кочевал по Москве с сыном Наром, который тогда только закончил школу и собирался поступить в Московский университет. Первое, что его мальчик победоносно спросил у Даура, приехав в Москву: «Где Таврический дворец? И как пройти на Дерибасовскую?» Сначала они поселились у Пети Алешковского – писателя и друга Даура. Отныне никто в его присутствии не мог позволить себе даже намекнуть на то, что и у Пети могут быть недостатки, хотя бы в Петиной прозе.

– Тут один профессор Литературного института, – с ядовитым сарказмом говорил Даур, – пытался критиковать Петю. Но только возвеличил его таким образом.

Однажды я заметила вскользь, что во всей добротной Петиной прозе мне представляется немного унылой одна-единственная фраза: «Ребенка она не хотела».

– Ты так считаешь, – сурово сказал Даур, – поскольку привыкла, что у меня *все хотят ребенка*. Но Петю критиковать нельзя.

С приездом сына Даур являл собой картину: одинокий человек пестует свое дитя.

Еще до того, как Нар появился в Москве, Даур говорил:

– Мой мальчик – хороший, интеллигентный, правда, он испорчен женщинами...

«Ого, – я подумала, – ничего себе!»

Оказалось, под «женщинами» Даур имел в виду бабушек Нара, которые его обожали и предупреждали каждое желание. Естественно, Даур беспокоился, сможет ли он обеспечить его хотя бы необходимым. В те времена Нар был нежным юношей (сейчас-то он настоящий джигит!) с детским прозвищем Саска, абсолютно мамин, но мама его – дивной красоты и доброты Лариса – умерла несколько лет назад. А умник! Еще до поступления на биологический факультет МГУ – готовый профессор химии и биологии.

– Саска знает химию лучше Менделеева! – с гордостью говорил Даур.

И поспешно добавлял:

– Это русским химию – трудно, а у абхазов с химией свои отношения. Помнишь ту абхазку, которая, приплыв из Колхиды,

отравила пол-Греции? Причем этот яд был замечателен тем, что у него не было противоядия. Медея ее звали.

Пройдясь по Тверскому бульвару, Саска нам заявил:

– Мне надо изменить свой имидж! Я должен быть не блатной, а грубо впечатляющий в этой одежде. Так одеться, чтобы производить *именно то впечатление, какое я рассчитываю здесь произвести!*

Это требовало дополнительных финансов.

– Надо мне написать что-то коммерческое: или зловещее, или полногрудое. Но я сделаю – зловеще-полногрудое! – вынашивал Даур коварные замыслы завоевания книжного рынка.

Я считала, у Даура не очень-то получают эротические сцены. Что ему следует учиться, учиться и учиться у Генри Миллера.

– А что я могу сделать, если я такой целомудренный?! – воскликнул Даур. – И у меня было совсем немного женщин – всего человек восемьсот!..

Короче, друзья Даура несколько озаботились его трудоустройством. Первая мысль моя – устроить его в библиотеку. Ибо он был раритетным книжным человеком.

– Книгу нужно нюхать, каждую страницу целовать. А читать умеют все, – говорил Даур.

Хоть сколько-нибудь замечательную поэзию любых времен и народов он всю помнил наизусть. Будучи абсолютным вольнодумцем – ни Пастернак, ни Ахматова для него не авторитет, – он мог их бесконечно цитировать.

– «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну!» – возмущался Даур. – Чувствуешь, какой ложный пафос? «Ты вечности заложник у времени в плену!» – демонически смеялся он и добавлял сурово: – Нет плохого поэта или хорошего, или немножко получше и похуже. Есть поэт и не поэт. Пастернак – это не поэт. Это антиквариат. А Эдуард Лимонов – поэт!

– «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай», – звучным голосом, рокошующим, читал он в вагоне метро. – «Ты сказала: «И этот влюблен!» Я вам не мешаю? – спросил он у подвыпившего соседа справа, доверчиво положившего ему голову на плечо. И весь вагон, затаив дыхание, глядел на него не отрываясь.

Идею насчет библиотеки я скоро отбросила. Даур купил новый шикарный костюм – шерстяные с просверком брюки, двубортный пиджак в черно-белую клетку («Это концертный пиджак! – с гордостью заявлял Даур и тут же обеспокоенно спрашивал: – Точно, концертный? Не цирковой?»), так или иначе, к этому пиджаку Петя Алешковский подобрал галстук – из древних времен, тоже в клеточку, видимо, принадлежавший еще Петинуому тестю Натану Эйдельману. Я тут же присовокупила к комплекту черный папин дипломат. Мы окинули его взглядом и поняли, что такой человек не может быть просто библиотекарем. Тут даже пример с Борхесом неубедителен. В таком виде Даур Зантария имел право принять только пост директора центральной библиотеки, по меньшей мере «Ленинки» или «Иностранки».

Вскоре на горизонте возник какой-то сказочный оливковый магнат – грек, пожелавший использовать песенный дар Даура в целях рекламы своей оливковой продукции. Даур должен был написать феерическую статью, прославляющую грека с его оливковым маслом, и триумфально опубликовать ее в модном иллюстрированном журнале или популярной газете. После того щедрый грек обещал ему чуть ли не пожизненную ренту и безбедное существование до глубокой старости.

Но куда бы мы с Петей Алешковским ни предлагали звонкую оливковую песнь, проникновенно спетую Дауром, московские газеты и журналы заламывали такую цену «за рекламу иностранцу», что если б тот непотопляемый грек выложил сумму, которую они просили, то он сам пошел бы по миру с протянутой рукой.

– Какая же это «реклама»? – возмущался Петя. – Ни адреса, ни электронной почты, просто информация, что оливковое масло *витаминнее*, чем подсолнечное!

– А может быть, сделать так? – говорю. – Я пишу в газету: *«Имеет ли оливковое масло пищевое применение?»*

Даур мгновенно подхватывает:

– *Имеет, дура!* – отвечает профессор Даур Зантария. – *Подсолнечное масло отдыхает, когда появляется оливковое!»*

В Москве повсюду открывали турецкие пекарни. Мудрого Даура турки пригласили на дипломатическую работу.

– Они будут платить мне за то, что я честный, порядочный человек и на мое слово можно положиться.

Он звонил мне и говорил:

– Вся Москва заполнена турками: только слышны слова «денга», «базар», «шашлычная», «бастурма». Для русских осталось всего несколько слов – это «нравственность», «союз», «выборы», «квота» и «будущее». Больше ничего.

– Приехал один турок, – рассказывает Даур. – Очень подозрительный, но для важности сказал, что он магистр философии, доктор филологических наук, профессор Кембриджского университета, у него третий дан по карате, что он трехкратный чемпион Олимпийских игр. Его друзья (далее идут очень знаменитые восточные имена) попросили меня узнать: *те деньги, которые были вложены за годы советской власти в развитие промышленности Узбекистана и оттуда уже никогда не вернулись*, – где они? Ну и заодно спросил, как идут дела у пекарни.

– Марина, слушай, – звонил он, встревоженный, – может человечество ошибаться? Оказывается, хлеб вреден для здоровья, углеводы ни с чем не соединяются, но я попросил население Земли об этом забыть, пока я занимаюсь турецкой пекарней.

– Я охранял пекарню, – он говорил, – вооружившись лишь своим сумрачным взглядом. – Но с этим теперь покончено. Отныне я буду продавать в большом количестве золото.

И это золото, я заметила, у Даура тоже никто особенно не расхватывал.

– Знаешь, почему мне не удаются коммерческие дела? – он спрашивал. – Потому что я их довожу до художественно-карикатурного состояния, где все абсолютно теряет всякий смысл. Например, у меня наметился бизнес: экспортировать пантокрин из оленьих рогов от импотенции. Но я должен был сбывать его в Турции. Стамбул не понял, что это такое! В пантокрине нуждается Америка. Турецкий мужчина и без оленьих рогов способен кашлянуть на пороге семи спален за один вечер, американец же – только стыдливо кашлянуть на пороге одной, и то если жена ему ободряюще скажет: «Ты можешь это сделать, и ты должен... если купишь в аптеке пантокрин!» Вот такие глупости я пишу в своем романе, а мой компьютер – что нужно оставить стирает, а что не нужно – увековечивает.

А между тем в качестве журналиста и эксперта по кавказским вопросам он, почти как мсье Крачковски, проехал по горячим точкам бывшего Советского Союза, но только не ДО того, как там просвистит первая пуля, а в разгар. И встретился там с людьми, чьи имена не сходят с газетных полос и с кем мало кто захотел бы встретиться на узкой дорожке. В солидном журнале выходили его спокойные философские рассказы об этих рискованных поездках.

Мир мерцал вокруг него, бурлил, принимал фантазмагорические очертания, самые что ни на есть здравомыслящие люди порой бывали притянуты к его пламенеющей орбите и переставали понимать, на каком свете они находятся. Он был очень рельефный – готовый герой для романа. Его так и хотелось запечатлеть.

– Скачал ли я на лошади??? – мог он воскликнуть. – Я столько же хожу пешком, сколько скачу на лошади!

Или он рассказывал, как гостил у одного старика, девяносто-девятилетнего свана.

– Такой добряк с белой бородой, звали его Яков. Он достал из арсенала самую шальную винтовку, дал мне и сказал: «Попади в яблоко!» Я вскинул винтовку и выстрелил. А стоят восемнадцать его сыновей. У него было семь жен: одна жила в Волчьей пуще, другая в Волчьей низине, третья – в Волчьем овраге и так далее. Он ходил от одной к другой. А чтоб было удобнее, он поселил их очень близко друг от друга – всего семь дней ходу, его ходу, другой бы шел месяц. Я выстрелил. Яблоко осталось на месте. И все восемнадцать его сыновей, шестьдесят четыре внука и сто пятьдесят племянников воскликнули: «Бах! М-а-а-а-а!» – мол, абхаз не попал. «Он попал! – сказал Яков. – А ну-ка слазайте и посмотрите», – велел он двоим сыновьям. Яблоня высокая, старая, опасно, но у него всех столько, что двумя больше, двумя меньше – неважно. Они влезли и увидели: да, я попал. В яблоке дыра от пули, она просвистела сквозь яблоко так, что оно не только не упало, но даже не шелохнулось!

Даур победоносно взглянул на нас с Наром и, вскинув голову, стремительно зашагал вперед по тропинке, заросшей крапивой

и лебедой, дело было в Коломенском парке. Мы переглянулись, восхищенно покачав головами из стороны в сторону, и последовали за ним.

Недаром Андрей Битов, гостивший у него в Абхазии, вывел Даура ярким и красноречивым персонажем своего романа.

Великий Грэм Грин, мимолетно повстречав Даура в Сухуме (Даур описывает эту встречу в своей неоконченной вещи «Феохарис»), так был им впечатлен, что уже в следующем романе у Грэма Грина действует неординарнейший герой Даур Зантария.

– Жаль, роман Грэма Грина не переведен на русский язык, – жаловался Даур. – Это мне прибавило бы известности!

Светлый образ Даура, именуемый в моем романе «Герой безответной любви» *Колей Гублией Легкокрылым*, пронизывает всю вещь от начала до конца, но особенно концентрированно представлен в одноименной главе. Я ее прочитала Дауру в маленькой квартирке, которую он снимал на Коломенской. Именно эта глава вызвала неопишуемый восторг Даура.

– Пошлю в Абхазию ксерокс! – деловито сказал он. – А то они думают, я в Москве груши околачиваю. А я тут служу прообразом в поте лица!

Вечером приехали гости: ходжа из Турции и художник из Сухума.

– Почитай им, почитай эту главу, – умолял Даур.

– Если нас сочтут достойными, мы с удовольствием послушаем, – царственно произнес художник, который немного понимал по-русски. Ходжа совсем ничего не понимал, неважно, я все снова исполнила «на бис».

Даур ликовал и спрашивал простодушно:

– А еще про меня будет?!!

– Там будет все про тебя, – обещала я ему.

Ну и он тоже – как только напишет удачный отрывок, звонит мне, читает по телефону. Раз поздней осенью, холодной и дождливой, он позвонил и стал читать колоритнейший пассаж:

– «Об аджике нужно сказать особо. Свыше двухсот специй являются ее составными. Тут и острый перец, и поваренная соль, и резеда, и девясил, и куриная слепота, и армянский хме-

ли-сунели, и грузинские тмин и гвоздика, и еще 193 специи, выращиваемые в Абхазии и только в Абхазии... в ней есть всё, что во всех других острых приправах мира, и много иного, которое есть только в ней, подобно тому как в абхазской речи есть все звуки, что и в остальных 3700 языках мира, но и помимо этого еще полсотни специфических звуков... изготовить ее... не составляет труда: для женщины не проблема запомнить сочетание двухсот специй... однако положение усложняется прочно укоренившимся предрассудком о том якобы, что изготовить аджику с особым вкусом и ароматом может только женщина, которая не знала никогда другого мужчины, кроме мужа».

Он дождался, когда затихнут мои аплодисменты, и грустно сказал:

– Тут холодно, сыро и нет аджики.

Даур затосковал, работа застопорилась, на следующий день он сорвался и уехал в Сухум. А когда вернулся, я прихожу – на столе литровая банка аджики и солнечный круг сулугуни («сулугун» – как называют этот сыр его персонажи). Работа опять закипела.

«О чем пишет твой отец?» – спрашивали Нара. «Роман о жизни!» – тот отвечал. «О чем сейчас пишет Даур?» – спросил меня Резо Габриадзе. «Роман о войне», – говорю. «Наверно, ругает грузин?» – печально проговорил Резо. Я ответила: «Резо, кого ругает Гомер в "Илиаде"?»

Я читаю лекции в Институте современного искусства, и, когда встречаюсь с новыми студентами, первым делом даю им список даже не литературы, а того, что – так говорил Даур – необходимо человеку, как красное вино или мимолетная любовь. «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Вино из одуванчиков» Брэдбери, «Самая легкая лодка в мире» Юрия Коваля, «Ночной полет» Экзюпери, «Приключения Весли Джексона» Сарояна, весь Курт Воннегут и «Золотое колесо» Даура Зантарии.

Поэт Игорь Сид устроил Дауру выступление на Петровке в Литературном музее. Сам Сид звонил, приглашал, даже не Даур, все было солидно. Теплым апрелем 2000 года я шла к церковному зданию музея и еще издали увидела Даура – он стоял

в свитере, который я связала для него, – там три большие черные птицы с алыми клювами выглядывали из болотной травы и камышей.

Даур познакомил меня со своей молодой женой Тажигуль – маленькой восточной красавицей, глядевшей на него влюбленными глазами.

– Этот свитер, – сказала она, – Даур надевает только тогда, когда особенно хочет, чтобы ему повезло. Он у него как талисман.

Даур волновался, курил. Сид представил его собравшимся, что было почти лишнее, потому что в небольшом зале сидели все, можно сказать, между собой родные люди. Петя Алешковский, Петина жена Тамара, теща Пети Элеонора Васильевна, критик и прозаик Леня Бахнов, поэт Светочка Пшеничных, мы с Наром, старинный дружок Даура – художник Адгур Дзидзария, несколько молодых людей, очень интеллигентных, и была представлена абхазская диаспора, видимо, спонсировавшая этот вечер, – смуглые импозантные люди в модных костюмах, они заняли целый ряд справа от Даура. Сам Даур сидел за старинным столиком из красного дерева, перед ним лежали рукописи; в очках, с благородной сединой, в этом, как я уже говорила, безумном свитере. Это было его первое литературное выступление в Москве. Даур читал размеренно, чинно, чуть интонационно форсируя самые смешные и колоритные места. Читал отрывки из «Золотого колеса», рассказы, прочел несколько блистательных эссе или притч – особенно мне запомнился сюжет о Кантарии, в свое время водрузившем знамя над Рейхстагом, какой он в мирное время стал свадебный генерал и как его именем весело, но церемонно прикрывали земляки свои мелкие мошенничества. В этих коротких и выверенных вещах вставала за карнавалом живая, величественная и смешная человеческая судьба, что так удавалось Дауру. В тот вечер у него было глубокое ровное дыхание, отчего три черные птицы со свитера шевелились у него на груди, они то выглядывали из камышей, то испуганно прятались. И невозможно глаз было оторвать – ни от этих мерцающих птиц, ни от лица Даура.

Когда он закончил, все вскочили, бросились его поздравлять, а он молча издалека сделал знак Тажигуль, чтобы она уже вела

публику к накрытым столам. И мне было так приятно, что, какой наш Даур ни на есть красноречивый, он все-таки отыскал женщину, с которой можно разговаривать без слов. Ну, его поздравляли, радовались, хлопали по плечу и все до одного спрашивали:

– Откуда у тебя такой свитер? Ты в нем совсем уже Гарсиа Маркес.

Он отсылал всех ко мне. Люди жали мне руки. Поздравляли с таким обалденным свитером. А одна сумасшедшая женщина стала просить меня показать ей мою творческую лабораторию.

Я считаю, что это был мой звездный час. Правда, правда, счастливый был день, ничего не скажешь. Петя Алешковский тостировал, славил Даура и Тажигуль.

– Поблагодари земляков, – тихо попросил меня Даур.

– А что сказать?

– Скажи: «В Абхазии есть две драгоценности – гора Эрцаху и Даур Зантария. Но Эрцаху вечна, а Даур – нет. Поэтому давайте его все любить и беречь!»

Год спустя, тоже весной, в апреле 2001 года (увы, мой рассказ постепенно подходит к концу), я пригласила Даура на выставку «Урал – Гималаи». Его всегда манили к себе Гималаи, наверняка он втайне завидовал мне, что я с уральскими художниками съездила в Непал и Тибет.

На стенах висели огромные фотографии потрясающих гималайских пейзажей. Скользящий солнечный свет, петляющие тропинки, буддийские храмы, колдуны, левитирующие монахи, дороги в бесконечность. Кто-то из художников снимал только тени, отбрасываемые тибетскими строениями. Саша Пономарев сконструировал гигантский аквариум, в котором время от времени вздымалась и бежала вдоль большого зала Малого Манежа настоящая водяная волна. Пришли мои студенты с факультета журналистики. Все собрались вокруг Пономарева. Он стал рассказывать, что в Лхасе, столице Тибета, он обратил внимание на постоянный ветерок, днем и ночью колышавший занавески, ветки деревьев, листья, одежды.

Студенты стоят с пустыми руками, праздно слушают. Я им говорю:

– Где ваши записные книжки? Смотрите: Даур Зантария – великий писатель, а все равно достал свой дневник и что-то записывает. Что ты записал, Даур, читай!

Даур – торжественно:

– «Лхаса – столица Тибета. Марина – великая путешественница».

В июле 2001-го Даур Зантария умер от инфаркта в крошечной пустынной квартирке около метро «Сокол», последней, которую они снимали в Москве.

Я приехала к Нару. На кухонном столе – кружка Даура с его недопитым чаем и дневник, раскрытый на той весенней странице: «Лхаса – столица Тибета».

Хоронить его повезли в Сухум. Он как раз туда собирался и вроде бы даже заранее купил билет на самолет. Пришла мне пора провожать Даура. У митрополита Макария я прочитала, что каждый день из сорока – страшно важный для покинувшего этот мир человека, и каждое слово молитвы – капля влаги, ибо дым земных очагов восходит прямо к райским крышам. Во всех известных мне традициях это утверждается как истина в последней инстанции. И я стала выбирать, по какому отправиться Пути. Сложность заключалась в том, что я, вообще-то, буддист. На Пасху Даур звонил мне и говорил:

– Мариночка! Христос воскрес! Если твои не такие законченные йоги, поздравь их от меня.

Однако душой Даур был убежденный суфийский дервиш. Его настольная книга – «Жизнь и Поэзия» Джалал ад-дина Руми, и он ее постоянно цитировал:

Потом приходит смерть,
подобно заре,
и ты просыпаешься,
смеясь над тем,
что считал своей скорбью.

– Путей много, – он говорил мне, – но Бог один, и, возможно, на зайце суфизма я доскачу до твоего слона индуизма и буддизма.

– Все, что не приближает меня к суфизму, то отвлекает меня! – говорил Даур. – Если мне предложили бы на выбор слона Будды или ишака Иисуса, я выбрал бы верблюда.

С суфийской традицией в этом смысле я была полностью незнакома. «Тибетская книга мертвых» лежала у меня на столе, я всю ее проштудировала от корки до корки, но это был грозный и страшный путь, и я не решалась двинуться по нему.

Мы стали думать с Адгуром, другом Даура, как быть. Он говорит:

– Можно было бы в церкви заказать службу. Даур – крещеный. То, что он такой суфий, это его сознательный выбор. А по рождению он христианин. Но мы не знаем его имени при крещении. Вот я, например, – говорит Адгур, – Адам. А наш друг – Адриан. Хотя мы с ним родились в один день. Нам так давали имена во Христе: кто на кого похож.

Я отвечала:

– Мне кажется, ОНИ и так поймут, о ком идет речь.

– Да, – качал головой Адгур, – он там не останется незамеченным.

Короче говоря, я выставила на шкаф большую фотографию Даура, окружила ее расписными деревянными птицами, которые мне в Иерусалиме подарила Дина Рубина, зажгла свечи, благовония, поставила две имевшиеся у меня иконы: Девы Марии и Сергия Радонежского (Даур в паспорте с отрочества записан как Сергей, так как председатель их сельсовета очень любил Есенина и всех мальчиков своевольно и официально переименовывал в Сережи!), открыла запыленный молитвослов.

– Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Даура, – попросила я, – идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...

– Ты что, – спросила моя мама, – хочешь устроить Даура в рай?

– Да, – говорю.

– Дело это для нас совершенно неизведанное, – с сомнением сказала моя мама. – К тому же ты некрещеная, поэтому твои молитвы...

Но я не стала дослушивать. Все тридцать девять дней каждый вечер я возжигала свечи и обращалась к Иисусу, Пресвятой Богородице и преподобному Сергию Радонежскому, изредка сбиваясь и взывая к Буддам и Бодхисаттвам всех четырех сторон света, наделенным великим состраданием, обладающим мудростью понимания, любовью и силой покровительства невообразимых размеров, с просьбой защитить Даура на тех неведомых мне путях, по которым он сейчас движется. И вновь обращалась к Иисусу:

– Господи! – говорила я. – Даур Зантария – яркая краска в Твоей палитре. С ним пришло на Землю много любви. Покой, Спасе наш, с праведными Даура, и всели во дворы Твои, презирая прегрешения его, вольные и невольные, Человеколюбче!

А самому Дауру я говорила:

– Смотри, узнай меня, когда мы опять с тобой встретимся, договорились?

– Ну, я же узнал тебя – в Переделкине, – он отвечал.

На сороковой день, когда в его родном Тамыше собрались на поминки более пятисот человек (говорят, на похоронах было полторы тысячи!), во дворе жгли костры и в огромных казанах варили мамалыгу – все друзья приехали туда, пришла многочисленная родня, Абхазия горевала о Дауре. В тот день в Москве я сняла его фотографию со шкафа – и поехала на Ваганьково в церковь – заказывать поминальную службу.

– Ты – талмудистка и начетчица! – сказала моя мама. – Сели бы лучше, выпили по рюмочке.

Но этот важный для Даура день я твердо решила доверить профессионалам.

По дороге вспомнила, что надо бы косынку, раз все по-серьезному. Поэтому в метро на переходе у индусов я стала рыться в ворохе косынок, черных, конечно, не было, да я и не хотела черную, но выбрала у них самую скромную: по изумрудному полю – крупные желтые подсолнухи.

Купила розу, надела косынку, вошла в церковь – смотрю, хрупкий молодой человек стоит у алтаря в длинном черном одеянии. Я подошла и спросила:

– Как вас зовут?

Он ответил:

– Дмитрий.

– Послушайте, Дмитрий, – говорю я, – мне нужна ваша помощь.

И рассказала ему про Даура.

Это был серьезный священник Ваганьковской церкви Вознесения – отец Димитрий. Ничего лишнего он не стал спрашивать – ни имя во Христе Даура, ни крестилась ли я в водах Иордана, только спросил, когда узнал, что Даур – писатель:

– Наверное, очень трудно быть писателем?

– Ну, – ответила я, – не труднее, чем священником.

– Пойду облачусь, – сказал он.

Я встала у окна и жду его. Смотрю, идет мой отец Димитрий – во всем золотом, с паникадилом! К нему старушки бросились, целуют руку: «Батюшка, благослови!» Он их благословил – всех, и мы отправились в новую церковь. Там никого не было, тишина и, что удивительно, две большие старинные иконы встретили нас: Девы Марии и... Сергия Радонежского. Я им обрадовалась как родным, зажгла им свечи, осыпала цветами, так что последнюю красную розу от Даура получила Пресвятая Богородица.

Отец Димитрий скрылся в царских вратах, я поставила фотографию. И тут он вышел ко мне торжественно, дымя паникадилом, стал им размахивать, окуривая нас с Дауром, достал молитвослов и начал чтение молитв. Эти молитвы были мне теперь знакомы, и вот мы с ним молились, пели, так он старательно просил о Дауре, как будто знал его ближе, чем Петя Алешковский. На наше райское пение в церковь начал заглядывать народ – толпа прихожан собралась у входа, а мы самозабвенно поем, осеняя себя крестом, – я вся в подсолнухах: первый раз, я уверена, отец Димитрий возносил молитвы в такой безумной компании, в общем, Даур, мне кажется, был доволен. На прощание я подарила отцу Димитрию свою детскую книжку «Моя собака любит джаз» и обещала принести в подарок книгу Даура,

как только мы ее издадим, простилась, поблагодарила, ушла... а потом вернулась с дороги, взяла его маленькую теплую руку в свои ручищи и поцеловала.

– Храни вас Господь, – он сказал. – Вас и ваших друзей.

«...Райские птицы летали косяками по небу Абхазии».

«А Истина, – так говорил Даур, – заключается в том... в чем она заключается!»

Марина Москвина

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ № 1

Я встретил англичанина в Сухуме.
Я смело пригласил его в кофейню.
Он сносно говорил по-русски
«Уж не эстонец ли», – мелькнуло подозренье.

Толпа зевак нас тут же окружила,
Но я спокоен был:
Мы говорили только о лекарствах.
Он жаловался на стенокардию,
И я из вежливости щупал сердце под рубашкой,
Смущаясь, что и она – английское изделие.

И, карточку визитную вручая,
Он пригласил меня в далекий Лондон:
Как выйдешь, дескать, как с поезда сойдешь,
Каждый укажет тебе, где живет одинокий Джордж.

Самоуверенный интурист,
Не заманишь ты меня на свои острова.
Да я там задохнусь от туманов!
Я на первом же рауте виски без соды напьюсь!
Я королеву оскорблю
(Совершенным незнанием вашего этикета)!

Нет, лучше ты к нам ежегодно приезжай
И валютой плати.

ДОРОЖНОЕ

Ехал я из горного селенья.
Все сидели. Я один стоял.
Я – себе и всем на умиление –
Место уступил и потерял.

Женщина, которой я дал место,
Поступая как горянка-мать,
Усадила своего балбеса,
А меня оставила стоять.

Сваны гордые курили «Приму»,
Дети засыпали на мешках.
Неуклюжий я стоял и длинный.
Надоело мне. И в двух шагах

От моста остановил машину
И билет швырнул через плечо.
Постоял автобус нервно-чинно.
Спорили в нем люди горячо.

А пешком пройтись ничуть не плоше.
Можно любоваться на натуру.
Может, этот камень здесь положен,
Чтоб присесть усталому Дауру.

Камень этот, оценивши на вес,
Я поднял и взгромоздил на плечи.
Надо мной в автобусе смеялись
И в меня бросали злые речи.

И под грузом я склонился низко,
И с собой, и с целым миром споря.
А когда рассеялись все искры,
Я вдали увидел стену моря.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ № 2

Стоит мне поставить на подсвечник и подпалить
Ароматические палочки «сделано в Индии»,
Как тотчас обитель моя наполнится
Ароматом далекой реки по названию Ганг.
И поплыву по старинной Шелковой дороге
Из Магомета в Будду.
Озарения колокол
Загудит и затихнет во мне навсегда
Со всеми моими страстями.
По повеленью гуру,
Которого тут же, в Бомбее, найду,
Я буду лететь через весь Индостан на «Боинге-707»,
Затем путешествовать на слоне, понимающем все
с полупалки,
А дальше пешком, влекомый улыбчивым
спутником,
По пути отвергая старинный обряд гостеприимной
проституции,
Пока не дойду до Тибета, где тигры и йоги,
И там буду стоять на ушах, просветленный и
мудрый,
Не замечая случайных пуль индийских маоистов,
Проходящих сквозь меня.

* * *

«Равнение на женщину!» – лихой сержант орет;
Сам – голову направо и честь ей отдает.
И все помыты в бане, и ждет в столовке плов.
Молодцеват их топот и поворот голов.
Она ж глядит, смущенная, и чем-то машет там,
Как в ожидании выстрела отпрянув к воротам.
Греми о мостовую, чтоб искры зажигал!
Прости прохожим праздность: ведь каждый отшагал...
В казарму строим, рота! Дышите в унисон!
С трехкратного отбоя так сладок будет сон.
А там приснится женщина. Ты начинаешь звать.
Испуганный дневальный трясет твою кровать.
Ты, наконец, проснулся. О, как тебя знобит!
В двухъярусных постелях тревожно рота спит.

КАПРИЗ АКТЕРА

На премьеру проданы билеты,
Зрителей с наушниками – рать.
Мой каприз, и первый, и последний:
Не желаю Гамлета играть!

Правлена уверенной рукою
Жизнь моя, как школьная тетрадь.
Пусть не в срок, но требую покоя,
Не хочу я Гамлета играть.

Братцы, я играю непохоже,
Прыгаю, хватаюсь за бока.
Гамлеты правительственной логи
Для приличья хлопают слегка.

Надоело длинными ночами
Длинный текст с купюрами марать.
Я всего лишь скоморох печальный –
Не желаю Гамлета играть.

Я боюсь, сегодня сил не хватит
Падать, громогласен и кровав.
(Завтра рецензент меня расхвалит,
В скобках мои титулы назвав.)

Режиссер кричит: «Скорей на сцену!»,
Да коллеги стали напирать,
Но я твердо знаю себе цену
И не стану Гамлета играть.

А помрежи силу применяют.
Вижу: тут упорством не возьмешь.
Зрители отлично принимают!
Для приличья кланяюсь. Но все ж

Я не дам той ложе насладиться.
Словно звери в чашу – умирать
Уползу нарочно за кулисы –
Не желаю Гамлета играть.

Мне бы
 чистого слова
 родник...

ВОДОЛЕЙ

Памяти Ларисы

Во влажной я лежу траве.
Война уснула. Соловей –
Войной не тронутая птица
Поет, зовет меня молиться.
И следом из-за туч тряпичных
Над сумраком полей античных
И взрытых бомбами полей –
Восходит нежный Водолей.
Прошу созвездье Водолея,
Чтобы как прежде, не болея,
Вернулась в дом моя жена
И села с чашкой у окна.
А где наш дом? Там сытый враг
Вершит разврат и варит мак,
А вдоль по набережной в ряд
Все пальмы стройные горят.
Но внемлет птахе, не дыша
Моя усталая душа.
Покуда город за рекой
Объял предательский покой.
Но благодушен, счастлив я,
Покуда слышу соловья.
Но забываю я о зле,
Покуда светит Водолей.
И ты вдали молись, жена!
Одна лишь вера нам нужна:
Что с Водолеем, с соловьем
Не просто живы, но – живем.

СУХУМ

Как только проснешься,
явь, как шапка,
надвигается на глаза
и тени снова исчезают.
Но ты видишь, как море накренилось,
ввысь поднимая лодки,
 бледно-спокойное,
солнца не видя еще над собой;
как город
спросонья
исходит туманом,
и горка-медведица
спускается на водопой;
как черные чайки
на длинных лучах качаются,
а набережная пронизана
 черными кипарисами.

ПАМЯТИ АДГУРА ИНАЛ-ИПА

Сижу под вязами. Никто меня
Не ждет, не помнит.
И тихим трепетом я на исходе дня
Наполнен.
Во влажном воздухе разлит покой.
Так небо низко,
Что до звезд достать рукой.

И будто нет войны, и не бездомен я
На самом деле,
Сижу под вязами, как прежде до меня
Сидели.
И не течет река. И время не течет.
Мне сорок лет. Я отдаю себе отчет...

И так я говорю: пускай года пройдут –
Другие выразить обязаны,
О чем я ведал, сидя тут
Под вязами.

НОЧЬ

Ночь над деревней беспредельна, глубока.
Повсюду тишина – в объеме целокупном.
Что дальний лай собак, что ближний звон
сверчка –
Все стало чуждо, и роднее звездный купол.

Так телом я ленив и так душа легка!
Куда спешит душа из оболочки грубой?
А если все – обман, зачем тогда тоска,
И что это за речь невольно шепчут губы?

Душа, ты полетишь по Млечному Пути,
Где множество родных теней обнять удастся
Пред тем, как и тебе придет пора врати

В тот мир, где суждено забыться и остаться, –
Откуда и мой дед не захотел уйти,
Умевший из любых скитаний возвращаться.

АЙДУДУ

Когда и выпить неохота
И некуда себя приткнуть,
В кафе заморской птицы входим,
Чтоб отдохнуть, чтоб отдохнуть.

Там птица с аглицким названием
Поет, играет на трубе.
Но сострадания-вниманья
Нахально требует к себе.

В потоке звуков бы умыться,
Развеять бы тоску, как дым! –
Но разве эта злая птица
Споет нам то, что мы хотим!

Стыдиться слез и прятать лица
Ни мне не надо, ни тебе;
Нам бы забиться и забыться.
А птица – только о судьбе.

Лети туда, дурная птица,
Дурная птица айдуду,
Где люди могут насладиться,
Не спариваясь на ходу.

Там эти трели вкуса стали
Желанны и новы для всех.
Они от отдыха устали –
Поддай им боль, любовь и смех!

А что по мне: ты, злая птица,
Все б тихо за морем жила,
А та, заморская девица,
За айдуду поутру шла.

ТИШИНА

Белый туман с утра.
Скот выгонять пора.
Но и пара коров
Не идет через ров.

Мины цветут на лугах.
Ходишь – и страх в ногах.
Не разогнаться уже,
Так, чтоб отрада душе.

Здравствуй, однако ж, день.
Где все дома без стен.
Здравствуй, родной Тамыш.
Где все дома без крыш.

Выжил раненый сад.
Вот и плоды висят.
Только, деревня моя,
Где твои сыновья?

Кладбище обновя,
Спят твои сыновья,
И над могилами их
Воздух так странно тих.

Воздух, молчи, не вой
Над моей головой.
Светлое небо без дна,
А внизу – тишина.

О, мой родной Тамыш,
Странно: ты не дрожишь.
А из небес без дна
Капает тишина.

КОГДА ТЫ СМЕРТЕЛЬНУЮ ПУЛЮ ПОЙМАЛ...

Когда ты смертельную пулю поймал
и не в силах ползти,
друг добивает тебя
пулей сострадания.

Когда ты раздет и разут,
присылают братья из-за бугра
обноски милосердия.

ДРОЖАЩИЕ РУКИ СТАРУШЕК

Дрожащие руки старушек
протягивают миски
к похлебке жалости.

А женщина приходит, как дар,
а потом
по минному полю любви
убегает она звонкой нимфой
туда,
откуда все это пришло к нам.

ПЕСНЯ О НАШЕМ БРАТЕ

Ты вези, вези меня,
Бээмпэшка синяя.
Если нас гранатомет
На развилке подорвет,
Обмани мою сестру,
Что уехал в Анкару.

Как садился брат наш Заза
В синей масти БМП.
Рация шипит, зараза,
Что врагам не по себе.

Жаркий бой – его стихия,
Но у ближнего села
Он и спутники лихие
Смерть нашли из-за угла.

Ты вези, вези меня...

Говорят, что брат наш Заза,
Сын отца и бог войны,
По какому-то приказу
Стал виновен без вины.

Мир пришел. Апсны прекрасна.
Но, живя и жизнь любя,
Все же дышим, точно астма,
От свободы без тебя.

Ты вези, вези меня...

Мирно спи, спаситель флага,
Зажигатель всех сердец!
Опустела твоя фляга,
Изрешечен «мерседес».

Ну, а если будет надо,
Знаем мы, что ты опять
Из эдемового сада
К нам вернешься – воевать!

Ты вези, вези меня...

ДО БОЛИ ДОЛГИМИ НОЧАМИ...

До боли долгими ночами
творил я сам себя из снов,
вдыхая музыку молчанья
и выдыхая души слов, –
а как рывком раздвину шторы
и расплескаю синеву, –
придуманные мной просторы
смогу увидеть наяву.

ЧАЙКА

Памяти Ларисы

Я прижал свою птицу к груди,
Рыбий запах вдохнув на прощанье,
Но так много погибло людей,
Что не жаль никому этой Чайки.

Свет рассеянный наискосок
По морской рассыпается зыби...
И подальше от глаз и от ног
Я песком свою чайку засыпал.

Но куда теперь, сын мой, пойдём?
(Ведь не думать нельзя о ночлеге.)
В оскверненный и отнятый дом,
Где ненадобной пахнет аптекой?

Или будем брести и брести,
То и дело, касаясь плечами,
Чтоб к утру, наконец, обрести
Представление о рае для чаек?

Я чужую железную дверь
Отпираю чужими ключами,
Кружат мысли в моей голове
О вчера похороненной чайке.

И живу во хмелю и в тоске,
И одну лишь тревогу лелею:
Каково тебе, чайка, в песке,
Иль в созвездии Водолея?

НА ПРИМОРСКОМ БУЛЬВАРЕ...

На приморском бульваре, где с детства
знакомые лица,
Я, хотя и не слеп, но в народе ашугом слыву.
Захожу в кабаки, в эрогенные зоны столицы,
Волоча свою тень в электрическом сне наяву.

Пусть в различных правах мы тебе уступаем,
Европа,
Но советский писатель,
имеющий право на грусть,
Среди ночи разбуженный,
с гордой улыбкою сноба
Без запинки прочтет все поэмы мои наизусть.

1. IX. 1978–1998

ЗАКОН

Немало туш плескалось в ваннах,
Немало яблок било лбы,
Но спит в потемках без названья
В пределах «если б, да кабы».

Закон. Закон себя не прячет,
Лишь должен быть произнесен,
И все мудреные задачи
Таят, как радугу, закон.

В саду родном, но незнакомом,
Где облетает барбарис,
По тонким ниточкам закона
Шурша, листва струится вниз.

* * *

Я стоял на земле, на опоре,
казавшейся вечной,
Отворял, как ворота, веки в мир
незнакомый.
Тополя, лезвиями сверкая, вонзились в
вечер.
Табунами густыми к закату скакали
кони.

Но давно табуны отстучали, умчались
в поле.
Похоронено поле в заводе гремуче-
грязном.
Я в харчевне сижу, разговор завожу о
прекрасном,
Но, как пни тополей, в моем сердце –
тупые боли.

Был когда-то моим этот мир и ушел,
неразгадан,
И тупая тоска не дает отдохнуть мне
ночами...
Табуны, тополя и поля, залитые
закатом,
Разлились и слились и плывут в
синеве и молчании.

СТРАХ

Когда бросали жены и друзья,
А власть имущие дышали ядом,
Ни ласки, ни награды не прося,
Лишь ты, мой Страх, был неизменно
рядом.

Опять я выжил после стольких бед,
И улыбаюсь, слез не утирая.
А Страх-хранитель снова в сорок лет
Сулит надежду, как жена вторая.

Пока еще отбрасываем тени
И отражаться можем в зеркалах,
Всегда держись меня, мой верный
Страх!
Шагай за мной, глазами вперясь в
темя!

Не то в миру, где мор и запустенье,
Ты сгинешь, несхороненный, как враг!

ПАСХАЛЬНЫЙ АНГЕЛ

О, зацелованный Ангел Пасхальный!
Пахнет портвейном от злата парчи.
Даже и к ней приценились нахально
Благообразные бородачи.

Не как алтынники, а как ценители
Скарба и утвари от старины,
Ныне пришли в этот мир
удивительный,
Страх, любви и смущенья полны.

Справа – писатель, слева – художник,
Я в середине – ни то и ни се,
Ангел, Тебя изучали дотошно –
Загородили. Но это не все.

Сзади святые спешащей толпою
Дергали злобно меня за пальто,
Я же стоял, очарован Тобою.
Холод по коже... Но это не то!

Душу окуривал дым благовонный.
Фрески, иконы и множество глаз.
Старец о тайнах глаголил с амвона.
Лед мой растаял. Слеза пролилась.

Ангел в парче. Самодельный. Без нимба.
В страстном безверье я в храме рыдал.
Только полтинник оставил на пиво,
Все остальное я нищим раздал.

Вышли степенно, как из ресторана.
Спутник украдкой взглянул на часы.
Нищий украдкой раскрашивал раны.
Нас на углу поджидало такси.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Солдатик в увольнении. Ура!
Пошли приготовления с утра.
И вот, успев постричься и побриться,
Из КПП ты – как из клетки птица.

И ноги тебя сами понесли
Вдоль по Неве, минуя патрули.
И дьявольски легки твои ботинки
После сапог, тяжелых как вериги.

Цена лояльность публики пивной
Вне очереди пьешь нектар из хмеля.
День пролетел со скоростью двойной
И – хошь не хошь, а в часть пора, земля!

И вдруг Она идет сквозь рой снежинок.
Влюбляться и любить ты не отвык.
И ты глядишь, как на икону инок,
На петербургский, на точеный лик.

У чьих дверей земною станет вдруг,
Какой уют Ее переиначит,
Кто по-хозяйски скажет: «Как ты, друг?»
И в чьем жилете слезы счастья спрячет?

Ты очарован. Ты летишь вослед.
И у подъезда изойдешь в рыданиях.
Солдатик, невозможно в двадцать лет
Постичь огонь страстей
в холодных зданьях.

– Забыл про предписания в уставе?
Срок увольнения истек давно.
Ее лицо в его простой оправе
Ты взглядом молишь выглянуть в окно.

Внутри меня, сильнее, чем орган,
Хвала Твоей красе, о Незнакомка,
Звучит, перекрывая шум и гам.
А увольнительный
я в снег швыряю, скомкав.

ТОТ НЕ ПОЙМЕТ, КТО В ЛЕНИНГРАДЕ НЕ БЫЛ...

Тот не поймет, кто в Ленинграде не был,
где все старо и, вместе, все ново.
Как много звезд в его безлунном небе,
но больше звезд на улицах его.

Три капитана враз меня корят.
На их плечах созвездия горят.
И сколько на одном – не сразу счесть:
двадцать четыре – звезд, созвездий шесть.

Я слушаю, но мне не разобраться.
В глазах рябит, рябит; в глазах темно.
Кэп снял шинель –
осталось звезд шестнадцать.
Кэп гимнастерку – восемь все равно.

Гори, звезда моя неуставная!
когда погаснешь – тотчас я умру,
а как умру – я стану тенью, знаю, –
я стану звездной тенью на ветру.

ЛЮДИ НА ПРИЧАЛЕ

Люди на причале
еле видны вдали,
Отплывают в море
корабли.

И я стою на палубе,
набитой битком,
А тело мое с берега
машет мне платком.

РАДОСТЬ

В звонком стакане смеха
Синее, синее солнце,
Синее, синее эхо
Запертое качается
В звонком стакане смеха.

В чистом стакане радости
Нет и ни тени темной,
Смех разбивается вдребезги,
Как колокольчик в памяти,
В звонком стакане радости.

Был я уныл, как осень,
Мало вдыхал я солнца.
Словно со дна колодца
В небо смотрел на звезды.
Отблески синей радости
Долго внутри меня спали.
Дайте прильнуть губами
К эликсиру кипящему
В звонком стакане радости.

Я, как ребенок, волен,
Тонет в зеленом синий.
Кто там уходит в поле,
Ей, пригласите
Плакать, в траву ныряя!
Плавать, слезу роняя,
И целиком отдаться
Колокольчику эха
В звонком стакане смеха.

Я НЕ МАЛЬЧИК. ДОВОЛЬНО МЕНЯ ДОНИМАТЬ...

Я не мальчик. Довольно меня донимать!
Море. Берег. Наряды. Обман.
Мне бы слова всего лишь,
что в силах обнять
Плоть и душу, как утро туман.

Мне не надо любви... только слово одно, –
Пусть неясное, пусть вдалеке.
Я б вцепился в него, как хватает бревно
Утопающий в спящей реке.

Но не надо меня между делом любить,
Мне бросать подаянья похвал.
Червь, питаюсь осадками долгих обид,
Мое сердце насквозь пропахал.

Рвется в сердце какая-то слабая нить.
Как надежда, доверчив мой крик.
Отдохнуть бы мне, жажду-тоску утолить,
Мне бы чистого слова родник.

ДОМ ОТЦА

Марине Москвиной

Живу неспешно. Но когда
Доставят с почты телеграмму,
Я, не разыгрывая драму,
Покину этот мир труда.

А помнится: не так давно,
Пока все в сборе и в печали
Меня, с другими заодно,
Живьем оплакать намечали.

Но я, как видите, живой.
Неведомой судьбой ведомый,
Я вечеряющей Москвой
Бреду до временного дома.

И вдруг представится, что там,
Куда душа взметнуть хотела,
На смену тягостным годам –
Покой вне времени и тела;

Что в суете сиюминутной
Нечасто поднимал глаза
На этот дальний и уютный, –
Весь в звездных брызгах, –
Дом Отца!

ХЛЕБ – НЕ ХЛЕБ, И ВИНО – НЕ ВИНО...

Татьяне Бек

Хлеб – не хлеб, и вино – не вино.
Время пусто. Лишь память бездонна.
И свершиться добру не дано,
Где ночлег вместо отчего дома.

Но однажды пригрели меня
Гневный Ангел и дикая кошка,
А кленовые листья, звеня
Да шурша, залетали в окошко.

И воскресши, пришла нагишом
К нам надежда – ребенок лишь с виду.
Я обрел тут покой... Но ушел,
Разделив с этим домом обиду.

Но ее – ни жену, ни сестру –
Вспоминаю с печалью сегодня.
Не страшна мне юдоль на миру,
Потому что страшней преисподняя.

В подворотнях – и слякоть, и слизь.
Бормочу я в декабрьскую стужу:
«Помолись за меня, помолись,
Лишь одна ты спасешь мою душу».

25 МАЯ 1992 ГОДА

Спасенье в музыке? Иль на конце иглы?
Иль панты продавать залетному оглы?
Я в серых сумерках, бездомный и
бездумный,
Зеленоокой я пленен колдуньей.

Над кудрями овец есть кудри облаков.
Под овцами – трава. Под облаками – горы.
Зеленые глаза сильнее всех оков
Сковали душу. Что это такое?

И сам я, как вопрос, согбенный и больной,
Удушливый вопрос: за что? куда? доколе?
И сам я, как трава, в которой стынет зной,
В которой яд найдешь, но не найдешь
покоя.

Трава зеленая, как медный купорос,
Где возвышаюсь я, унылый, как вопрос
В прозрачных сумерках: когда? куда? доколе?
Зачем я здесь? и что это такое?

PERESTROJKA & GLASNOST

Промчался по льду синеглазый валет...
Надеюсь и жду. Но сдается порою
(Надеюсь и думаю, разум устроив),
Что вышла свобода, а лиц еще нет
Не только в массовках – у главных героев.

Есть светлые лица, но те, что светлей,
Опять не видны здесь, где булькает омут.
Тем временем, как синеглазый валет
Царапает лед голубой по живому.

А лица бы те – по каналу Москвы,
Чтоб в каждую хату строптивость и юмор.
Досадно, что правите миром не вы,
А дяденьки те же, в суровых костюмах.

Валет продолжает скользить и скакать.
Свобода откинулась, как по амнистии.
Свобода на химии, можно сказать.
Свобода нужна, чтобы высветить лица.

ОРЕЛ-МУТАНТ

Нашит орел-мутант
на новенький штандарт
в который?..
Нас снова для тюрьмы,
нас снова до сумы
готовят.

А кто в ночи бежит? –
кавказец или жид? –
спросите! –
алкание в крови
и жажду от любви
насытив.

Куда он убежит!
Вон, крыльями шумит
двуглавый.
Теперь держись, Чечня!
Жди, Люберцы, меня
с облавой.

Накроет ретиво
нас всех до одного
у чащи
тот призрак роковой
над пьяною Москвой
с двойною головой
летащий.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

И с преступлением – не очень,
И в наказание – ни при чем,
Я так же знаю тайны ночи,
Как те, кто в бронзе воплощен.

Но их любили, их ласкали,
Прощая то, за что меня
Земные б судьи затаскали,
В косноязычии вина.

А их сонеты и сатиры,
Плоды порыва и игры,
Как в меблированных квартирах
Спят в многотомьях до поры.

Тем временем моя поэма,
Моя юродивая дочь,
Бредет по белой ночи немо,
Чтоб бедному отцу помочь.

С любым стишком в любом журнале
Она готова перебыть,
Чтоб мне в трактире на канале,
Стыдась и плача, все пропить.

Она сгорает на постое,
Так отрешенна, так пуста.
О, дорого, читатель, стоит
Сия – поэмы – чистота.

...А понял нас лишь тот студентик,
Который давеча опять
Из-за идеи или денег
Пошел старушку убивать.

СТУЧАТ ВОПРОСЫ ПО МОЗГАМ...

Стучат вопросы по мозгам,
А дождь по крыше.
И если нет покоя нам, –
Хотя бы тише...

Но как, ненастье переждя,
Вздохнуть приятно...
Беседа крыши и дождя
Мне непонятна.

ПРИХОД

Бисмилла! Лихая гостья!
Свет очей, души отрада!
О, твой взгляд, темнее грозди
Налитого винограда.

Легким жестом бросишь в ноги
Все изгибы длинной тени.
Переливы драпировки
Золотого золотее.

Упаду на хрупкий щебень,
Тень твою целую, страстный.
Станет громче птичий щебет,
Звон ручья – разнообразней.

И серебряно по жилам
Вдруг забродит озаренье, –
Так, чтоб голову вскружило,
Притупило слух и зренье!

Глупый день труда и скуки
Головой пробью, как стену.
В бесконечность эти руки
Как параболу воздену.

БЕДА

Въезжая в сумрачное время,
Теряю. Что-то что ни день.
Мне время шепчет откровенья,
Что прибавляют к тени тень, –

А тут сплошная тень инжира
Закрыла все мое окно,
К стеклу прильнувши, словно ширма...
А в комнате и так темно.

Прошли беспечные года.
Похмелье будет мне наукой.
И я прошу: уйди, беда,
И за стеною не мяукай!

Уйди куда-нибудь, беда!
На улице другое племя.
Не снятся сны, а жизнь пуста,
Как хата после ограбления.

Уйди куда-нибудь, беда!
Плыви в урочища нагорья!
Уйди, беда! Уйди туда,
Где ждут и не страшатся горя!

В другую ночь приди, беда,
Когда я счастлив и беспечен.
Без промедления тогда
И сердце уступлю, и печень.

* * *

Иметь свой дом у моря на пригорке
и в небе собственные звезды,
и быть любимым дамами в чепцах,
и отражаться в зеркале пруда,
пугая рыбин, как виденье Бога.

* * *

Дуплетом в воздух! Заново начну я.
Спасенье в том, что я тебя люблю.
Мои воспоминания ночные
Плетутся по сырому февралю,
По пестрым дням, заботами изглоданным,
Ища забытую людьми тропу.
А селезни взлетели. Серый пух
Летит, летит упруго над болотами.

Пусть прошлое не сгладить, как
морщины
На лицах у тебя и у меня.
Пусть память бьет в мозги, как
матерщина:
Что было – было, все-таки не зря.

Я их стряхну с себя, все эти годы.
Я селезня при взлете пристрелю.
Дуплетом в воздух! В воздух все
невзгоды!
Спасенье в том, что я тебя люблю.

* * *

В эту ночь под луной,
ее лучами залитая,
стояла ты передо мной,
усмешку хитрую глотая.
Под бред мой робкий, бред
влюбленный,
ты притворялась удивленной
в эту ночь;
потом ушла,
меня покинув, прочь
и закружилось жизни колесо,
дальше,
вниз
уносит то, что было.
Ты меня, наверное, забыла.
Но сегодня я приду в твой сон.

* * *

Допил бутылку красного до дна.
И вот, когда прилег в кибитке старой,
Невидимо, как женщину луна,
Меня волнует глупая гитара.

Свободен я. Прозрачность мне нужна
Шуршащих крыльев. Брошенная тара
Останется в песке, песка полна,
Вернувшись, ты ее найдешь ли, Даро?

Эй, не гони, волнуясь, на свиданье
Хамсою пахнущие чемоданы, –
Будь там: из-за акрополя видней!

А тут, вблизи, все те же очертанья
Семи холмов. Разрушенные зданья.
Прилив-отлив унылых энных дней.

05.05.95

ПРЕДЧУВСТВИЕ РАЗЛУКИ

Осознал я не скоро,
Признавал еще дольше –
Что не станете больше
Покидать этот город.

Чтоб не встали наветы
Между нами двоими, –
Утаю ваше имя
Даже в весточке этой.

Меж тремя зеркалами
Вы садитесь под вечер
И готовитесь к встречам,
Окрестив их делами.

Бросив шелк себе в ноги,
Примеряете платье.
Иногда представляйте,
Что мы вместе в дороге.

Вспоминая обитель,
Где мне больше не спится,
Наяву улыбнитесь,
А во сне обнимите.

ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНА ОТРАДА ДЛЯ МУЖЧИНЫ...

Есть лишь одна отрада для мужчины:
когда усталый он идет домой –
чтобы, грустя без видимой причины, –
ждала бы женщина под золотой хурмой.
Вино не терпко и не сладок мед
без женщины, которая поймет...

Мне снилась женщина. Волнующая сладость
во рту держалась всю любовь подряд, –
но женщина ушла, и боль разлада,
осев на дне души, переварилась в яд.
Я этот яд, в вине разбавив, пью
за женщину, которую люблю.

Мне снилась женщина. Я спал в чужом дому.
Проснувшись, в зеркале не узнавал лица.
И вот, с утра тревоги не уйму.
Нет моему смущению конца.
Но в этом городе дышать и жить – за стыд
без женщины, которая простит.

Лишь месяц из-за туч проглянет,
На миг лагуну осветив,
И отразятся в водном глянце
Расчесанные ветви ив.

Я застываю, выпадая
В другое время – как во сне.
Звезда-хранитель, подтверждая
Мой тихий страх, мигает мне.

Знакомый мир в одну минуту
Чужеет: тот или не тот?
Он так преображен, как будто
Его покинул весь народ.

Иль вовсе не было народа
На этих стойбищах пока,
И заповедная природа
Так и стояла все века!

Вдали причал и рынок рыбный
В свеченье: те или не те?
Лишь сердце болью непрерывной
Напоминает: ты – не тень.

А вдруг я, грамотный бродяга,
На дальних улочках ютись,
Забыл, что есть к родному тяга,
А с бытием утратил связь?

Пока я, сам с собою споря,
В прорехах времени продрог,
Мой прежний Я пошел вдоль моря,
Ища укромный уголок.

Идет походкою упругой,
Меня моложе и смелей,
С такой же ветреной подругой,
Такой знакомый дуралей!

А тут, не напрягая зренья,
Гляжу, как в зеркале воды
Подрагивают оперенья
Моей единственной звезды.

УНЫНИЕ

Бывает ненависти сад,
И в том саду плоды висят,
Плоды висят и зреют слабо:
Их вкус – горчит, их сок – отравя.

Из сада выпустил я Долю.
Я Доле настезь дверь открыл.
А сам – свободен, но бескрыл –
В который раз остался дома.
(Дом снова предпочел раздолью.)

Всю ночь не сплю. Все брагу пью
За Долю-долюшку мою...
В своем саду, в своем аду
Свои полгода проведу.

Теперь скорее увози
Ее, автобус пучеглазый,
Туда, где мед и плющ Эллады
И под акрополем – весы.

ВЕСЫ НАД АКРОПОЛЕМ

Замирают весы в руках.
Из окна аптеки – закат,
И над морем разлит лимон
И плывет колокольный звон.

Поднимаешься тихо наверх,
Входишь в комнату без помех
По ковру неродных ступеней –
И становишься все грустней...

Одинокой афинской зимой
Одинокю тебе самой,
И на стуле магнитофон
Мирный, тихий продолжит звон.

А эгейского неба вязь замерцает,
В созвездья сгрудясь,
И отбросит дрожащий след
От акрополя лунный свет.

Наступает мгновенье, когда
Сквозь невидимые провода
До тебя с недалеких пор
Долетает мой разговор.

Дорогая, теперь вздохни
И с улыбкой, шепча, усни.
Но, чтоб утром не ныла грудь,
С пробужденьем все сны забудь.

Принесет тебе завтра рассвет
Этот белый и мирный цвет,
Так любимый тобой и мной
И бывающий только зимой.

11.12.94

ДУША

Покуда корабль поспешал из Афин,
У моря я ждал, как Пьеро из Годара.
Душа, обновись – и меня обнови!
Я в жизни не ведал желаннее дара.

Душа, вострепелась! Не пристало тебе
Скулить посреди мировой канонады...
А как о другой помышлял я судьбе
Под ласковый шепот: не надо, не надо!

Душа, не боли, не боли, не боли! –
Будь стойкой! Ведь ты ожидала удара! –
И мне не мешай на обрыве земли
Дожить, что осталось,
без доли, без дара.

...Быть может, еще постою у окна,
Дрожа в ожидании лучистого взгляда.
И все мои раны залечит сполна
Целительный шепот: «Не надо, не надо».

БЛАГОСЛОВИТЬ КОРАБЛИ ХОЧУ...

Благословить корабли хочу:
Корабли как дети.

Кто из нас дочитал до конца
Уходящую вдаль строку кильватера
И кто знает, в которой из гаваней
Корабли поставят точку?

Благословить корабли хочу.
Говорят, что в их чревах моторы гудят,
Но им так парусов не хватает,
И подобны обломкам мачт
Их белые трубы.

Беспокойный зевака,
каждый день корабли провожаю.
С кораблями – частицами суши –
Каждый день уплывает частица моей души.

Ты мне веришь?
Ты же мне веришь?
Я кораблями развеян,
И штормы меня терзают,
Под полосатым халатом
Мое сердце дрожит от страха
Перед стихией,
От которой оно далеко.

Но корабли,
Но корабли как дети.
Их не пугают стихии.
Я боюсь за себя и за них.

ОТВЕТ МАРГАРИТЕ

Жил на свете рыцарь бедный,
Бдя, как сторож, в жизни сонной.
Песней тешился неспетой,
Нелюбимой, невесомой.

Он уже давно не рыцарь,
Но бывает, хоть и редко:
Под окном его садится
Синеглазая соседка.

Ты сиди, моя соседка,
Синим вечером и чистым,
Бог на лавке, словно в клетке,
Виден только взгляд лучистый.

Что вчера постыло было –
Вдаль унес жестокий ветер,
Но и нынче все уныло:
Ни дороги, ни известья.

Что вчерашние решенья
Отложили на сегодня,
А сегодня лад душевный
Для любви почти не годен.

Что когда под храп детишек
Засыпаем, засыпаем,
Чувств естественных излишек
Засыпаем, засыпаем.

Что рискнуть нельзя соседке,
То ль уже, то ли покамест
Вырваться из этой клетки
Баскетбольными рывками.

В КАЖДОМ РИСУНКЕ – СОЛНЦЕ

Рисуют дети на асфальте солнце.
Вожатые оценивают их,
И подъезжают к площади «икарусы»
С туристами, которые полны
Желанья город наш поймать фотоприцелом.

Рисуют дети, соревнуясь, солнце.
Туристы рады. Радио воркует.
Молиться? Вон, на лобовом стекле
Иконы наши: Сталин и Высоцкий
Да правнучка смутьяна Емельяна.

Теперь бы жить и жить. Да вот беда:
Грозятся снова пальцем из эфира,
А по проспекту, полному лучей,
Совсем не опереточно шагают
Шинели, полные желанья убивать.

И вот, глядишь, вожатые шипят:
Туристы на рисунки наступают,
Иконы ж наши строят рожи нам.
А дети нервно водят мелом по асфальту.
Их солнца – как оконные решетки,
Их лица напряженны и стары.

Теперь бы мне бежать! Да вот – куда?
Ведь я заложник времени с тех пор, как
Вбежали в зимний Эрмитаж, прорвавшись
Сквозь юнкерье и бабий батальон,
Бушлаты, полные желанья изучить
Мадонну флорентийца Леонардо.

И вот по лестнице, по лестнице крутой
Сбегаешь вниз. И я спешу к тебе,
Запутавшись в рисованных лучах.
И платье, полное отваги и порыва,
И волосы, взметенные назад, –
А время замерло, остановилось.

1986

КОЛОКОЛ

Такой вот сон дурацкий
Приснился мне в ночи,
Что я звоню на праздник,
А колокол молчит.

Я в ярости рыдаю:
Зачем он не звонит?
Мой стон, в молчании тая,
Плывет, плывет.

Потом избитого, голого,
Нести заставили крест.
Но разбудил мой колокол
Всех, кого надо, окрест.

Молчи, молчи, мой колокол,
Мой колокол без голоса,
И пусть твое молчание
Гудит еще отчаяннее.

Стекались во мраке ночи
Таинственные люди.
Просились, между прочим,
Их головы на блюда.

Привет, золоторотые!
Я вас люблю и жду.
Познавали вы в народе
И холод, и нужду.

Молчи, молчи, мой колокол,
Мой колокол без голоса,
И пусть твоё молчание
Звенит ещё отчаяннее.

Вы в курточках верблюжьих
И летом, и зимой
Настраивали уши
На колокол немой.

Вещали под гитары,
Всех повергая в дрожь,
Что вместо правды старой
Грядёт иная ложь.

Молчи, молчи, мой колокол,
Мой колокол без голоса,
И пусть твоё молчание
Зовет ещё отчаяннее!

И стражи окружили
И, званья не спрося,
Мне прутьями внушили,
Что здесь звонить нельзя.

МАСТИТЫЙ ЮБИЛЯР

Покорен красотой орхидеи,
было время: он пел соловьем –
между тем, как в обрывах злодеи
хоронили собратьев живьем.

И покуда под временный шорох
сочинял он поэмы для нас,
лязг его орденов в коридорах
становился понятней для масс.

Тем на радость, кто все-таки выжил
в переделках во имя любви,
он поет, темно-серый, охрипший,
триста лет, как и все соловьи.

ПУСТЬ ГОЛОДОМ СЕБЯ МОРЯТ...

Пусть голодом себя морят,
постятся сорок дней подряд,
уверовавши в Пола Брэгга,
и меломан, и каратека.
Но синеглазый мой валет
Слывет гурманом столько лет,
а парикмахерши его
не меньше любят, чем кого.

Он ел бефстроганов и щи,
он уплетал сардины в масле
не для утробы – для души,
в воскресный день и при намазе.
С профоргшей рынка заимел
он дружбу тесную по ходу.
Но, к сожаленью, не полнел,
будто не он тут зам по хозу.

– Чем, – рек валет, – меню пополним?
Как это зло искоренить?
И, лишь придя в больницу, понял,
что кормит дерзких аскарид.

Тут, возмущаясь и ругаясь,
он объявил им газават
и выпил на ночь препарат,
венгерский препарат декарис.

ВНУТРИ МЕНЯ, ГРЕШНОГО, СТОЛЬКО ОГНЯ...

Внутри меня, грешного, столько огня –
Что ваши костры пионерские!
Внутри меня, грешного, столько меня.
А понести не с кем.

Я к влажной скамье, утомленный, прильну.
Завою в тоске, как шакал, на луну...
Гуляя с другим в ботанической вони,
Ты скажешь: опять вспоминает и воет!

ПРОВОЖАЯ ГЛАЗАМИ ПОЕЗД

Где зябнет под луной ольха,
Мерцаая, шепчутся болота,
В сезон шумна, зимой тиха
Отчизна – мачеха курорта.

Здесь стылый пляж. Висят гудки.
А где-то там светло и чисто.
Меня – от боли и тоски –
Так тянет жить, любить, учиться!

Удрать – вперед или назад!
Мне оставаться здесь не нужно.
Отец мой зол и небогат,
Мать занята и равнодушна.

Но и блаженную жену
Я то люблю, то ненавижу.
Но все слова. Я здесь усну
И стран далеких не увижу.

И лишь приятели окрест:
Сгорел он, скажут, спился, скажут,
И на наличные закажут
Веселый духовой оркестр.

По лужам шлепая, придешь
И прохудишь свои ботинки.
И проклянешь ты этот дождь
И вместе с ним мои поминки.

...Садясь за скорбный стол, друзья,
Беседуйте запанибрата
И чачу пейте. Мне нельзя:
Вы здесь, где ложь. Я там, где правда.

СЛЕЗЫ ОТ ЛУКА

Здесь мелко зло творят. Добро здесь напоказ.
И делана печаль, и мысли неглубоки.
Здесь счастье куплено. Любовь боится глаз.
Здесь кто успел – дошел, а я сверну с дороги.

В самом себе убью свою надежду – сына,
Усталые мечты отправлю на покой
И, совесть подстелив, с протянутой рукой
Усядусь на асфальт у двери магазина.

Не поднимая глаз, узнаю вас по ножкам.
Вы бросите в ладонь мне пригоршню монет.
Под горький звон монет я устыжусь немножко,
Но я уже сижусь – назад дороги нет.

А как зажгут огни, закроют дверь со стуком
И гаркнет постовой, что здесь сидеть нельзя,
Я к морю побреду, невымытый лук грызя,
И слезы потекут от горя и от лука.

Гудки начнут визжать, залают тормоза,
Реклама зашипит щемяще, незнакомо.
Вдруг пара радуг-фар ударит мне в глаза.

Шучу я, милая, и не бывать такому...

Все мы записаны в отряд,
кто в арьергарде, кто на стреме,
а наш отчаянный собрат
от нас уходит в темном громе.

Неугомонный, как народ,
и, как предание, красивый,
на бурной Бзыби ищет брод,
но брода нет на бурной Бзыби.

Сто голосов его зовут
туда, где стойко, где упрямо
убыхи белые живут,
как водопад, застывший в камне.

Он и абрек, он и мирной,
орденоносный и гонимый,
он тот же – буйный и смурной,
он тот же – кроткий и ранимый.

Неугомонно ищет брод
в реке холодной и кипучей,
все бросив: славу и добро,
как будто в тех долинах лучше.

Но экзекуторы его
преследуют унылой тенью,
чтобы собрата моего,
схватив, доставить – к награждению.

Я сам, включенный в тот отряд,
иду по скалам непривычным,
но как любовь мою унять:
она упорна и безглаза.

ЖЕЛТЫЙ МЕСЯЦ, НАЕХАВ НА СКАЛЫ...

Желтый месяц, наехав на скалы,
Повисает серпом на камнях,
И в ущелье завыли шакалы,
Словно бабы на похоронах.

Мне тоскливо в такие минуты.
Наливай мне, хозяйка, вина,
И тебе я, лукавый и мудрый,
Отплачу этой ночью сполна.

Предок мой не уверовал в Бога,
Хоть украсил церквами Тзибил.
Чтил он духов утеса крутого.
Сквернословил и опиум пил.

Я родился в империи бывшей,
Был изгоем и жил без затей,
И с женою, меня не любившей,
Народил малу кучу детей.

Жизнь моя – как дурман конопляный,
Долог путь мой от некто к никто.
На плече ангелочек мой пьяный
Шепчет что-то, да только не то.

Доберусь до русской столицы,
Загуляю, развею тоску.
А не станут блатные делиться –
То «Славянский базар» подожгу.

Июль 1999 г.

КРЕМНЕВЫЙ СКОЛ

1

Я возле кладбища живу.
Тела ушли – остались лица.
Порою даже наяву
Они мне продолжают сниться.

Родные, вы ушли туда,
Где нету глаз, а только взгляды.
И я надеюсь, что, когда
Приду к вам, будете мне рады.

Прозрачнее неандертальца
Во сне является мне гость.
Ты, Мушни Хварцкия, останься,
Не торопись назад, за мост!

Он смотрит взглядом соколиным
И ничего не говорит.
И только луч сияньем длинным
Над головой его горит.

Я просыпаюсь на диване
На самой кромке утреца
И в зеркале трофейной ванны
Имею только пол-лица.

Устал я, как и весь народ,
При каждой вздрагивать потере.
А кровь моя наоборот
Струится в зазеркальном теле.

Зато остались хлеб да соль,
Да изабелла в белой пене,
А кукуруза и фасоль
Растут на колыбельном пепле.

Край одноногих женихов,
Похлебка наша – как проклятье!
Настой из яростных грехов
Давайте пить на тризнах братьев.

Когда в Чечне горят поля,
В Абхазии трещат надгробья.
И скоро ль, мачеха-земля,
Насытишься ты нашей кровью?

Издай нам, Ардзинба, указ,
Чтоб улыбались люди чаще.
Ты подними вино за нас,
А мы попьем родимой чачи.

Давай, на миг повремени
Над пеплом выжженной Эшеры,
Ты в наши души загляни,
Как Мушни в райские пещеры.

И убедишься ты, что вновь
В душе любого бедолаги
Надежда, Вера и Любовь
Спят, как бездомные собаки.

ФИЛИН И ВОЛК

В ласковой сени могучего дуба
Парень лежит, сам могучий, как дуб.
Только он жив или дал уже дуба,
Я не пойму во хмелю и в чаду.

Даром я сызмальства зверю подобен,
Зря мне знакомо наречие птиц.
Мертв или жив он? Но было удобно
В теплом автобусе. Мы пронеслись...

Сумерки тихо сгустились над чащей.
Грохот шоссе за опушкой умолк.
Жалобный вой или хохот лядащий –
В роще заспорили филин и волк.

Ухает филин: «Он больше не встанет –
Ток его крови в жилах затих.
Я приглашаю на пир и танец
Родичей ваших, шакалов лесных».

Волк: «Он хмельной от любви и от солнца –
Скоро услышим живой его храп!»
Ночью на ломках, когда бессонница,
Слышу: «Он встанет!»
и слышу: «Пора б!»

Вдруг – это я?!
Не понять, не измерить,
Мертв или жив – я на поле лежу,
Или собою являю межу:
Трепетный штрих между жизнью и
смертью?

ЭЛЕГИЯ

В обыкновенном небе –
обыкновенные ангелы.
В сердце обыкновенном –
обыкновенная боль.

Зачем мы в тоске одинокой
плачем в чужие жилеты
и любовь на подносе
я кому-то несущу?

Вот ломаю я пальцы,
вот надрываю голос,
в чьих-то глазах восторг, но –
не от большого ума.

Горы плывут на запад,
тучи над ними замерзли.
Боже мой, как пустынен
мой дом на горе.

Ну-ка, затянем, ближний,
песни отцов в переводе.
Если поймут – задушат,
а не поймут – захвалят.

Смотрит на грустный берег
обыкновенное море.
С обыкновенной песней –
обыкновенная смерть.

ДВЕ БЕЗДНЫ СУЩЕСТВУЮТ В МИРЕ НАШЕМ...

Две бездны существуют в мире нашем:
одна из них есть свет, другая – тьма,
а в середине ты стоишь так шатко.

Пусть не понять, где пропасть, где вершина,
но и не в этом разница миров,
а в том, что свет – одно, другое – тьма.

Две бездны эти друг на друга давят
и их давление сотворило землю,
где странно смешаны и свет, и тьма.

Но, Человек, ведь ты сильнее тьмы! –
ворвись в нее, и свет с тобою хлынет:
бесплотна тьма – ничто, а ты ведь нечто.

МОСКВА ЛИТЕРАТУРНАЯ

Как вчера в гостях побывши,
да с утра винца попимши,
стихоплетка записная
о любви настрочит виршей,
ничего о ней не зная.

Ну а я-то, ну а я-то! –
внук бродяги, конокрада, –
что за фарту я имею
просыпаться без парада
между кошкою и нею?

Все, конечно, замечательно,
Сгребу шмотье в охапку.
Ей, найти бы выключатель
Да цветную мою шапку.

30.04–01.05.98

ВЕСНА

В том дому под шумливой березой
Славно жил я зимою морозной.
Даже выпьешь, бывало, винца –
И к соседке потянет чуть-чуть,
А сегодня я видел скворца.
Он сказал: «Собирайся-ка в путь».
Он сказал: «В неродной тебе дом
Прибывает весенний народ.
Заживут они с черным котом
Всю весну, а возможно, и год».

В путь – так в путь.
Не впервой. Все запру.
И нехитрый свой скарб соберу,
Да соседку в сенях обниму,
Да закину на плечи суму –
И направлюсь спокойно на ост,
Чтоб найти там хоть дом, хоть погост.

30.04–01.05.98

РОССИЯ

Я пил мальвазию, я бандж курил,
Карман, бывало, полн, а сердце пусто.
Увидев церковь за рекой, я говорил:
«Наверное, меня туда не пустят».

В дни гонораров был я господин,
Любезный юношам, а с классиками резкий,
И в спальне В. бывал лишь я один,
Хотя бы в энном временном отрезке.

И хоть живу вдали и не спеша
Туда, где нас не ждут и не просили,
Даже теперь влечет меня душа
В столицу ядом дышащей России, –

Влечет туда, где косится народ,
Своих сынов ославив чужаками,
Чтоб мог он в лихолетье, в недород
Меня держать за пазухой, как камень!

Молчи, свирель, тальяночка, играй!
Гуляем в долг, за неименьем нала!
Зачем не разлюбил я этот край,
Где много совести, а чести мало.

И вот, пройдя степями и веками,
С похмелья глядя на витрины хмуро,
Я сяду отдохнуть на этом камне.
Быть может, он положен для Даура.

19.08.1998

МАМА, СМЕРТЬ – БОЛЬШАЯ ПТИЦА...

– Мама, чудик с мордой злою
со двора к окну приник.
– Сын, ведь я от изголовья
ни на шаг и ни на миг.

Вот перцовую припарку
я кладу тебе на грудь.
– Мама, то знобит, то жарко!
Ты не вздумай прикорнуть!

– Потерпи! В курортной зоне,
называемой Соча,
рыщет твой отец бессонно
и уже нашел врача.

– Мама, смерть меня прижала
к простыням, что ай-ай-ай!
вся она – змеино жало,
и стозевна, и лаяй!

– Врач очкастый, знаменитый,
сможет хворь твою задуть,
наговорами, магнитом,
применяя спирт и ртуть.

– Чернобровая хохлушка
в классе у окна сидит –
летом мне была подружка:
как помру – пускай родит.

– Не томи меня, миленок.
Потерпи, дождись отца.
Уж прости, но ты с пеленок
хныка, плакса, ягоза!

– Мама, смерть – большая птица,
вислокрыла и темна.
Ты вздремнешь, – она стучится
в стекла потные окна.

Мама, встань, задерни шторы:
птица нагоняет страх!
– Полетим в тот край, который
часто видел ты во снах!

Замигала, догорая,
лампа и погасла вмиг.
Сладкий голос птицы рая
в душу юноши проник.

А когда, отбросив тело,
он шагнул навстречу ей,
птица с юношей взлетела,
чтоб достичь других полей.

Май 1999 г.

ТРЕВОГА

Я – цыган с тоскою в сердце и с серьгой в ухе.
Перестали песни петься, что ли, с бормотухи.

Хоть за то, что славим Бога в стольких поколениях,
Примостись, моя Тревога, на моих коленях.

Ай, как выйду при народе я, Мануш-Састроуно,
Пальцы верные забродят да по жестким струнам.

Хоть за то, что мы страдали, мялись у порога,
Примостись в кибитке старой ты, моя Тревога!

Я – цыган. Люблю раздолье. Никогда не плачу.
Расскажу я вам о Доле, а Тревогу спрячу.

Хоть я вроде тоже чтобы для чего-то, что ли,
Не бывает доли доброй, есть лишь злая Доля.

Ай, отдам за злую Долю всех своих красавиц,
Коли с этой красотой в таборе остались.

Хоть за то, что Доля злая далеко-далеко,
Ай, живи, огнем пылая, ты, моя Тревога!

Я – цыган с тоскою в песне, старый, одинокий.
И единственный мой вестник – ты, моя Тревога!

СЕРЕБРЯКОВ

На лбу горела пентаграмма
У одинокого козла.
Вдруг пуля весом в десять граммов,
Попав в звезду, ее снесла.

И пентаграмма полетела
Вдоль по Абхазии как есть.
Она летела и глядела,
Кому б еще на лоб присесть.

И видит вдруг Серебрякова
На взрытом минами лугу.
И мысли мрачно, как оковы,
Гремели у него в мозгу.

Но чтобы мысли стали пользой –
Ему бы звездочки – вон той!
Иначе по дороге скользкой
Пойдет Апсны! Постой! Постой!

И звездочка остановилась,
Потом, немного переждав,
Как бы оказывая милость,
Она легла на лоб вождя.

А дальше, господа и дамы,
Жизнь протекает, как была.
На лбу сверкает пентаграмма
У одинокого козла.

РАССВЕТ

Рассвело вокруг.
Отдав ночи долг,
На ползвукe вдруг
Соловей замолк.

И теперь вразброд,
Хоть и веселей,
Разный птичий род
Голосит с ветвей.

Ожила трава,
И роса на ней.
И едва-едва –
Утро мудреней! –

И, едва дыша,
Но, – пора, пора! –
Напоись, душа,
Божьего утра!

24.06.97

* * *

Что сказать вам хочет снег,
В спальню темную врываясь,
В ночь, когда на стеклах завязь
Шевелится, как во сне?

В ограждение этих стекол
Постучится Рождество,
Но, уйдя в себя, как кокон,
Не услышите его.

Ходит-бродит бледной тенью
Сквознячок во всех углах,
И, как в детстве, в привидение
Верит сердце. Верит страх.

Взгляд смущенный беспричинно
Убирая от икон,
Говорите языком,
Где слова неразличимы.

* * *

И месяц из-за туч проглянет,
На миг лагуну осветив,
И отразит тяжелый глянец
Расчесанные ветви ив...

Вдали причал и рынок рыбный
В свеченье: те или не те?
Лишь сердце болью непрерывной
Напоминает: ты – не тень.

А вдруг я, грамотный бродяга,
На дальних улочках ютюсь,
Забыл, что есть к родному тяга,
И с бытием утратил связь?

И все ж, не напрягая зренья,
Гляжу, как в зеркале воды
Подрагивает оперенье
Моей единственной звезды.

ПЕСНЯ БРОДЯГИ

В небе хмуром и невысоком
Так тоскливо и мало света.
Утопая, как зверь, в осоке,
Отпуская волосы ветру,
Душной ночью тащился бродяга,
Беглый каторжник, урка продажный.

Кислым соком незрелых ягод
Утолял свою дикую жажду.
На развилке, как в сказке, камень,
А читать не умею, мама! –
Где нас смерть заждалась с клыками,
Где – лишь легкий испуг да драма.

Как по первой пойдешь дороге,
Шли цыгане, кострами пылая.
Что ни кони у них – ворованы,
Что ни баба – вещунья злая.
И они жеребцов арканили,
И они продавали вшей,
И они серебришко чеканили,
И ковали наборы ножей.
Вот бы с кем я остался, Боже!
Но сказал мне чумазый вор,
Что не надо им каторжной рожи,
Будто сам он какой прокурор.

По второй – был колхоз богатый,
Да не стал я там первый пахарь.
Даже слушать не стали, гады:
Забросали камнями...

Псов цепных на меня спускали
И кричали, визжали, выли,
И таким меня матом крыли,
Что и сам я слышал впервые.

А по третьей зато – вдовья гавань.
Я решил у вдовы поселиться,
Но на почве любви легавый
Что-то начал на хвост садиться.

...Я топор да об землю вытер.
Я вдову утешил у трупа.
На кургане могилу вырыл,
Сам ушел, чтобы не было грубо.

РАССКАЗЫ

ПОЖИРАТЕЛИ ГОЛУБЕЙ

1

Приехали на велосипедах. Устроились. Буду вести дневник.

Санаторий отличный: голодай, никто не помешает. Мы с другом платим только за двухместный номер, на довольствии, естественно, не стоим и санаторных процедур тоже нам не надо. У нас свой врач. Нас лично консультирует по телефону ленинградский профессор Нейман В. И. Профессор сам выехал с учениками на свою дачу в Петродворце и вошел в пятнадцатидневное голодание синхронно с нами.

Мой друг сразу взялся за китайскую антологию. Друг увлекается Китаем всерьез. Это он подбил меня на лечебное голодание, познакомил с Вениамином Иосифовичем.

Встали с рассветом. Солнце теплое и ласковое, несмотря на середину осени. Чувство голода есть, но его превозмогать даже приятно. В окно – вид на самшитовую рощу и бухту. Очень красиво. Голубь садится на подоконник и что-то клюет. Сначала показалось – дикий, потом вижу: обычный голубь мира. Я привыкаю к нему. Иногда мы встречаемся взглядами, если можно так выразиться.

До обеда купались в море. Потом прогулка по набережной и самшитовой роще. На велосипедах выезжаем вечером. Вениамин Иосифович этих удовольствий лишен, зато он может любоваться прекрасными фонтанами Петродворца, которые еще не выключили, как он сообщил нам утром по телефону.

В отличие от друга, на длительное голодание я решился впервые. Мне труднее. Друг оторвался от антологии и перехватил раздраженный взгляд, который я бросил на глупого голубя на подоконнике. Я боялся, что он начнет иронизировать, но он только мучительно улыбнулся. При совместном голодании необходима взаимная деликатность.

Учитель был прав. Сегодня четвертый день голодания, а уже со вчерашнего дня я совершенно не ощущаю голода. Оно исчезло, чувство голода.

Я полностью солидарен с другом, точно выразившим наше общее состояние, при котором класть в рот пищу так же противоестественно, как всовывать ее в ухо. Звонили Вениамину Иосифовичу. Он одобрил нашу программу, остался доволен нашим состоянием, но предупредил, что на 7-й, а также на 12-й день следует ожидать кризисов. Друг взялся просвещать меня в китайской мудрости. Интересно. Просто здорово. Всего этого я не знал...

Очевидно, оттого, что все сигналы восприятия при голодании обострены, начинается самая настоящая телепатия.

Я как раз спугнул с подоконника голубя. И вспомнил ни с того ни с сего пенсионера, который кормит голубей в бывшем парке Сталина в Сухуме.

– Глаза у него какие-то злые... – тут же произнес друг.

– Да, – ответил я. – Я слышал, что он ест своих голубей.

Опять этот проклятый дождь. С утра неохота вставать с постели. Сегодня 7-й день. Приятель надоел мне со своей китайской поэзией. Он как раз сейчас ушел звонить Вениамину Иосифовичу. Хотя была моя очередь торговаться с этой хамкой телефонисткой. Китай! Собственно говоря, что мы можем знать о Китае. У тех, кто пограмотнее, вроде моего приятеля, сведения идут дальше Мао Цзэдуна, хунвейбинов, заплыва через Хуанхэ и червования. Они еще знают, что Ван Вей и его ученики Ли Бо и Ду Фу – великие поэты эпохи Тан. Ну, и мне это известно. Только это знание забавляет меня, и не более. Ведь читали-то мы в переводе Гитовича. Привязанные к примечаниям. Мучительно закладывая палец в конец книги. Странное это занятие: переводить с китайского рисунка на русские слова. Вернулся приятель. Он спугнул птицу с подоконника. Я бы на его месте запустил в нее «Антологией китайской поэзии».

Сейчас, к вечеру, с приятелем мы помирились. Нет, так нельзя. Надо сдерживать эмоции. Все чувства обострены. Можно и рассориться из-за пустяка. Кризис, о котором предупреждал Вениамин Иосифович, налицо. На неизменного голубя на подо-

коннике я смотрю уже с жадностью, воображаю его зажаренным почему-то в привокзальном павильоне и улыбаюсь.

Приятель заглядывает в мои жадные глаза, что-то вычитывает в них и кивает:

– И ты тоже в привокзальном? – выдавливая он из себя слабым голосом.

Голубь поспешно упорхнул с подоконника.

Терпеть не могу чудиков. Вот и сейчас лениво промелькнул перед глазами образ пенсионера, который, с головой уйдя в вымазанный пометом плащ, весь облепленный голубями, просиживает дни в бывшем парке Сталина.

Кризис миновал. Вот и миновал кризис-то. Связались с консультантом, который подтвердил, что и у него было то же самое, вплоть до навязчивых мыслей о мясе, от которого профессор отказался давно и решительно. Он пошутил, что благодаря опыту частых и длительных голоданий эта навязчивая идея мяса не выражается у него в столь агрессивной форме, как у нас с голубем, и назвал такое явление остаточным синдромом. Истекает восьмой день полного голодания плюс неделя вхождения в голодание.

Ограничиваемся прогулками в самшитовой роще и на набережной. Отдыхающие уже привыкли к нашим странным теням. Уже не купаемся в море, только душ в номере. Помогаем друг другу. Сил мало, но состояние замечательное, этакое блаженно-томное. Друг, так много рассказавший мне в эти дни о китайской философии, живописи и поэзии – предметах своего страстного увлечения, теперь только открывает книжку на нужной странице и указывает на очередной стих.

Меня особенно растрогало стихотворение Ван Вей, где поэт сетует, обращаясь к ученикам Ли Бо и Ду Фу, что ему удастся жить «от мирской суеты вдалеке»; что он днями просиживает на холме у речной долины, где жжет костер из сухих трав; что он помогает поселянам советами в их нелегком труде; давно усмирил плоть и очистил помыслы, но птицы, с очаровательной иронией заключает он, «не ведаю почему: нисколько не верят мне».

Вроде бы и нельзя пересказать стих. Но и перевод нечто иное, как пересказ, условность, ведь не на китайском же мы стих читали, точнее, смотрели.

Из этой затеи вести дневник у меня ничего не получается. Идет десятый день голодания, а перечитал: вместо сухого и точного описания ощущений – претенциозные записи. Положительно, приятель влияет на меня своим увлечением китаезами!

...Опять он садится на подоконник! – Айне кляйне фрийдерштаубе! – застонал я и стал подкрадываться к голубю мира, но сил мало. Опять он улетел.

Сама суть китайского письма открылась мне при помощи моего друга. В отличие от нашего линейного, в китайском письме каждый знак означает не звук, а смысл. Таким образом, зная иероглифы, можно читать один и тот же текст на разных языках Китая. Я представляю забавную картину: двое юношей эпохи Тан, оба ученики Ван Вей, но выходцы из разных провинций, уткнувшись в только что полученный свиток, читают вслух одно и то же, только при этом издают совершенно разные звуки.

Перечитал вчерашние записи о письменности. Как я плохо все это объяснил. Впрочем, объяснить некому. Дневник-то не для чтения, а для меня одного.

Из нашего детства, когда были еще добросовестные изделия из Китая – и штаны со множеством кармашков, и кеды «Два мяча», – вспоминается также чудный фарфоровый болванчик. Пухлый, улыбающийся, босой человечек, весь облепленный то ли ребятишками, то ли птицами (кажется, голубями) – уж не помню. Тронешь – он кивает головой, и это было очень смешно. Но потом что-то повредилось в его внутреннем механизме и болванчик уже не кивал, а резкими движениями поворачивал голову набок, как будто собираясь, клацнув зубами, рвать сидевших на плече то ли ребятишек, то ли голубей. А Ван Вей, этот очаровательный китаез моего друга, вот кто действительно усмирил свою плоть! Ему не то чтобы позариться на голубя: его тело ни разу не осквернялось ни чесноком, ни мясом; он сам был чист и звонок, как фарфоровый болванчик. И не только тело у него было чисто. Вычищено было его сознание, в котором мудрец все суетное, земное выжег, как сухую траву. И только теплотой светились запятые его глаз.

Он ни разу не согрел себе водки, не курнул Порошка Пяти Камней и, по изящному своему же выражению, «метал стрелы

любви в медный таз, а не в нефритовую вазу», учил поселян агрономии еще более древних, чем его эпоха Тан, книг, поучал их, но и защищал от произвола Поднебесной Канцелярии. Он посылал ученикам Ли Бо и Ду Фу письма, полные нежности и смирения. Но птицы все же боялись его, будто чувствуя, что стоит им только довериться и спикировать ему на плечо, как он неожиданно сделает движение головой набок, словно фарфоровый болванчик, и вопьется в крылышко голубя улыбающимися зубами. И птицы не только не садились на призывное плечо каллиграфа, а напротив, стоило только мудрецу усесться на холме у долины в покойной позе, как отлетали восвояси аж до самой Хуанхэ.

Свет мозгов китаеза высвечивается из лысого темени, готового быть мягким пристанищем для голубей, а левое плечо едва заметно подрагивало, выдавая коварство человеческой природы.

И, достигнув Верхней Ступени просветления, с улыбкой перешел философ из Земной в Звездную обитель, так и не клацнув в бок ни одному голубю.

Слышишь, голубка, моя верная свидетельница! Голодание дает свои плоды. Я весь из себя чистый и звонкий, каким не знал себя никогда. Тело очищается от шлаков. Омолаживается. Даже на мир я уже смотрю другими глазами... Двенадцатый день, а кризиса нет ни у меня, ни у друга. Так что тебе, голубь мира, ничего не угрожает. Сиди себе на подоконнике сколько угодно, пока мы тут глотаем дистиллированную воду. А то, если желаешь, отправляйся с нами в Сухум. Там по крайней мере тебя накормит пенсионер со злыми глазами

Птица смотрит на меня с любопытством и без боязни, хотя и не торопится спикировать мне на плечо.

Друг, позвонив в Петродворец, поднялся из вестибюля. У него новость. Говорил он не с Вениамином Иосифовичем, а с его ученицей Гетой, которая сообщила, что профессор, прекрасно переносивший голодание все эти дни, сегодня с утра неожиданно занемог. Учитель сам констатировал у себя нервный тик, который сопровождался типичным внешним симптомом: голова профессора стала произвольно дергаться набок. Сказывался возраст. Ученики настояли, чтобы он прекратил голодовку. То же самое рекомендовано и нам.

Первой мыслью и моей, и моего друга было все же продолжить голодание до пятнадцати дней. Оставалось всего двое суток, а мы оба чувствовали себя хорошо. Но вместо этого откуда-то взялись силы и энергия, чтобы начать поспешные сборы к отъезду. Как-никак индульгенция была нам дана. И мы поплелись на рынок за соком.

В тот же вечер по нашему звонку за нами заехали, и мы вернулись в Сухум с легким чувством вины не только перед профессором, но и перед голубем, с которым успели подружиться.

Недельный выход из голодания мы пересидели по домам, как выяснилось позже, подозревая друг друга в нарушениях норм, указанных Вениамином Иосифовичем. Нам с другом не хотелось даже видеться, настолько мы переобщались, голодая. А вчера, наконец, созвонились и договорились встретиться на набережной.

Легкий, помолодевший, я шел по проспекту Мира в сторону центра. Пенсионер сидел в парке на обычном месте и кормил голубей. Бедные голуби, неизменные спутники всех фестивалей. Сколько раз они взлетали пышным веером, над людьми и роте фане, чтобы потом, когда отхлынет праздник коммунистов, привыкших к разовому использованию не только флагов и плакатов, но и людей и птиц, упасть вместе с лоскутами кумачей и обрывками бумаг на опустевшие площади и дальше вести жалкое существование, находя пропитание в мусоре. И для них нашелся человек, тоже по разовому использованию выброшенный обществом. День-деньской он приходит кормить птиц мира, вспоминая, видимо, славные фрийден-фройндшафт-фестивал^{*}. Наверняка глаза у него были злые. Я их, конечно, не видел, потому что старик, никого и ничего не желая знать, кроме голубей, с головою ушел в закаканную плащ-палатку, откуда монументально высовывалась только его рука. И птицы, так умилавшие недоверием древнего китайца, десятками садились пенсионеру на руки и на плечо. А он, спрятавшись от людей под плащ, как бы становился олицетворением человека, кормящего голубей под шатром милосердия. Не скрою, я залюбовался этой картиной. Несмотря на некоторую газетность и банальность ситуации, я был растроган и даже смущен. В нашей жизни, которая, как вы-

^{*} Мир-дружба-фестиваль (нем).

разился мой друг Васо, есть марш верблюдов сквозь игольное ушко, газетными и пошлыми зачастую кажутся добрые и самые необходимые дела. Так думал я, глядя на старика, который делал свое нужное дело и, конечно же, всем казался чудачком.

Но эти нравственные потуги быстро утомили меня, и я, подумав: «Прости, старик, но помочь тебе ничем не могу», – собрался уже восояси, как вдруг сквозь голубиное воркование явственно различил странный хруст из-под плащ-палатки. Я остановился, тут же успев подосадовать, что страшная догадка вынырнула из моего сознания с чрезмерно радостной поспешностью.

Сомнения быть не могло: старик завтракал, и завтракал именно голубятиной! Он подкреплялся перед предстоящим трудным днем кормления голубей, подкреплялся одним из них, а остальные спокойно сидели у него на плече, «не ведаю: почему?», как сказал бы Ван Вей. И как раз в этот момент, когда я остановился, сраженный этим открытием, раздвинулись полы его плаща и мои глаза встретились с его злыми глазами.

Увидеть бы в них хоть искорку растерянности, и тогда бы я удалился, торжествуя. И ничего, что при этом сам стал бы ничем не лучше пожирателя голубей.

Вот вы говорите, что человек не меняется. Даже голуби изменились. Дороже они стали ценить хлеб свой. Плата за него – один из стаи.

Такие или примерно такие мысли похрустывали в моем мозгу, как голубиные косточки. Я пошел прочь от пенсионера, успев его понять и простить.

Поиск пожирателей голубей в жизни может завести слишком далеко. Самому бы не жрать голубей, тем более что не кормил их ни разу.

А человек, накормивший сто голубей, получает, наверное, право съесть одного из них, чтобы и завтра кормить остальных. Право это он получает именно от окормляемых. Разве лучше, чтобы, стряхнув с себя голубей, он поплелся в ближайший общепит, где его накормят тем же голубем, только закланным государственной рукой?

Главное, чтобы тот голубь, которого он пожирает, не оказался Святым Духом.

Что же касается древнекитайских голубей, они не чета нашим фрийденстаубе. Их невозможно было обмануть. Но Ван Вею все же это удалось. И это было так.

3

Ван Вей писал ученикам Ду Фу и Ли Бо, что наивно считать, будто тщательного выполнения предписаний древних мудрецов достаточно, чтобы достичь Верхней ступени просветления. Он в этом убеждался на своем опыте с голубями. «Я не достоин нести паланкина мудрецов», – признавался он ученикам в письмах. И продолжал совершенствоваться. Как явствует из писем, он понял: истина не в том, чтобы достичь цели дороги, а в том, чтобы самому стать дорогой. Выбрасывая из мозгов все лишнее, все больше очищаясь и соизмеряя свое очищение с недоверчивостью голубей, он еще не выбросил из мыслей остаток тщеславия – саму мысль о недоверчивости голубей. И только жег сухие листья и улыбался.

Старый Ван Вей сидел на пригорке в Позе Покоя. Бледно-голубые иероглифы голубей повисли на рисовой бумаге пространства над долиной у желтой реки. Голуби весело притворялись, будто по-прежнему не доверяют ему. Это забавляло детскую душу мудреца. Он улыбался. Его фарфоровая фигурка как бы говорила птицам: только сядет один из вас мне на плечо, как я тут же клацну зубами и вопьюсь ему в бок. Голуби в ответ давали знать, что понимают древнекитайский юмор, но и о человеческой природе не забывают. Такую игру затеяли с человеком любящие его птицы. Ван Вей улыбался, и длинные лучи его улыбки заполняли матовое пространство у желтого изгиба реки. Включаясь в игру светотени, голуби раскачивались на этих лучах, радостным воркованием сообщая друг другу: нашу природу человеку не обмануть. Голуби знали, что человек понимает их язык. Он сейчас весь ушел в себя, он ушел в себя глубже, чем когда-либо, но в покое его плеча им виделся призыв. А когда еще ярче, еще упруге стали лучи его улыбки, голуби увлеклись катаньем на этих лучах и не догадывались, что природа их все-таки обманула, что они не почувствовали того, что должны были почувствовать диким нутром. Улыбка, которой изошел поэт, была последней: умер дедушка Ван Вей.

Октябрь 1991 г.

КОНФЕТНОЕ ДЕРЕВО

(Май 1986 года)



Немного о прокуроре

В деревне моей все еще жизнь полнокровна, пусть даже в этой крови поприбавилось заразы. Она, деревня моя, все-таки есть, хоть в результате недавнего оползня соскользнула с того места, где когда-то я ее полюбил; хоть много людей уехало на поездах и уплыло на плавкранах (и если кто вернулся, то вернулся не совсем таким, каким уезжал); хоть колхоза уже нет, хоть море придвигается, – все же жизнь существует, к которой можно обратиться прощальные слова. И местность тоже можно назвать живописнейшей, но описание природы я оставляю.

Я из тех, кто, описывая село, опасливо живет в городе. Сейчас у нас летние каникулы, деревня же наша приморская, и я пойду по проселочной дороге в сторону моря и стану рассказывать всяческие истории о людях, которых вспомню, глядя на дома вдоль дороги. И если ты, читатель, согласишься быть моим спутником, в конце недолгой дороги мы выйдем к замечательному пляжу.

Расскажу историю кого-нибудь из дома справа, потом, пропустив следующий дом, оглянусь налево – расскажу о ком-нибудь из первого дома слева, потом, пропустив следующий дом, обернусь направо – и так далее. Именно такой метод описания целиком и полностью оправдал себя на практике тамышского филиала, о котором речь пойдет ниже.

Надо сказать, что деревня наша была когда-то селом. А деревней стала с того самого дня, когда наши отцы разнесли церковь с юным пылом, который позже созрел в строительстве колхоза, ныне распроданного по частям.

Итак, первый дом справа.

Но в этом доме живет прокурор. Не хочется начинать с прокурора, хотя ничего плохого сказать о нем не собираюсь, как раз собираюсь о нем только хорошее, да и плохого сказать о нем

нечего, и не потому, что он прокурор, а потому что хороший человек, но все же не хочется начинать именно с него, именно с прокурора. Начну с первого дома слева.

Но и тут – одинокая старушка, живущая в старом деревянном доме, когда-то самом лучшем в нашем селе, – эта женщина неинтересна. Интересен был ее отец. Когда он, офицер, историк и дворянин, женился на простолюдинке, его чопорные сестры, возмущенные этим обстоятельством, состарились в девах.

Очень ругательная эта старушка, и прозвище у нее Фонтал. Она воюет со всеми соседями, но соседи пустяк: она затеяла тяжбу с пионерами из-за шума барабанов и звона горна, а что за пионеры без барабанов и без горна; она победила ВИА при сельсовете, а сельсовет без ВИА – как бы и не сельсовет вовсе; пост ГАИ перенесла на версту от своего дома, вернее, не сама перенесла, а мешала дорожным стражам сидеть в засаде, вот они сами и перешли на другое место; полностью запретила отстрел дроздов, а другой дичи у нас нет. Но меня она никогда не тронет; сам не знаю, благодаря чему, может быть, потому, что народ все еще любит своих летописцев.

– Почему ты напустилась на филиал? – спрашиваю я ее. – Разве для нашей деревни не честь, что у нас – филиал? Да нас же весь мир таким образом узнал, даже понятие есть «тамышский эффект»!

Она догадывается, что я демонстрирую, как не боюсь ее.

Чудовищным усилием воли старуха сдерживает свору слов, рвущихся из нее, а голос так и трещит от насильственного смягчения.

– Нечего их начальнице кофе пить.

– Что из того, что она кофе пьет?

Фонтал догадывается. Внутренний взор ее ищет в тайниках души, чтобы найти улыбку, которая там была, она точно помнит, что была, и извлечь ее на поверхность лица, сейчас багрово-синего от усилия сдержаться. Но улыбка появляется вся какая-то зажмурившаяся, словно ослепла от света. И я вспоминаю, как старуха одинока. «Уж лучше бы она и меня осыпала своими проклятиями», – думаю я, удаляясь.

– Иди своей дорогой, – говорит она вслед. – А то я тебе не за- была, как ты потерял бумагу моего покойного отца!

Дело вот в чем. Как-то я застал старушку, когда она закрывала банки с аджикой и вареньем. Среди множества тетрадей ее недолгого ученичества, которые она пустила в ход, я обнаружил затесавшуюся к ним тетрадь, исписанную красивым дореволюционным почерком. То были записи ее отца, в которых он, как оказалось, исследовал итальянские фактории на черноморском побережье. Я отобрал у старухи записи. Фонтал даже согласилась распечатать несколько банок с пущенными в ход страницами труда. Я сдал все это в Абхазский музей. Старушке же, когда она одумалась и стала требовать бумаги отца назад, я поклялся, что потерял тетрадь спьяну, чтобы уберечь от нападения государственного музея. Конечно же, она дорожила всем, что осталось от отца, даже в голодные годы не продала его оружие и вещи, но отец погиб, не успев дать ей образования, и мудрено ли, что она не знала цены его записей.

Эти спасенные от аджики бумаги были первым исследованием трехсотлетнего пребывания на нашем побережье факторий из вольных городов Венеции и Генуи. Даже в нашей деревне итальянцы успели построить белую крепость, окрестили ее Санта Таманча и торговали оттуда с местным населением. Они привозили предметы роскоши, всякие там зеркальца да пудру, покупали корабельный лес, самшит для отделки соборов, тис для Страдивария, а также воск и барсовы шкуры, но в основном прелестных рабынь и будущих воинов, поставляя их на невольничьи рынки Востока. Итальянцы привезли диковинные деревья, например конфетное дерево; вот один экземпляр его стоит у развалин церкви. Эти деревья сохранились как в нашей деревне, так и повсюду, где были фактории. Прошло время, оно старательно смело следы итальянцев, как сметало следы многих пришельцев до и после них, и даже обломки старой белой крепости потонули в море на глазах еще живущих. Только то там, то тут, в лесу, неожиданно в зарослях ольхи, граба и бука, оплетенных лианами и колючими ползунами, вдруг попадаете конфетное дерево, семя которого носит ветер в окрестностях белой крепости. Да еще остались в Абхазии род Ванача и род Джения, что соответствует Венеции и Генуе, и фамилия автора сих строк есть сокращенное Санта-Мария. Бытует также много имен, как то: Сандро, Джотто, Джанваз, а прокурора – так его

вообще зовут Гвидо Джоттович. Соседние с нами мингрельцы тоже сохранили имя Лаврентий.

Но не будем отвлекаться. Пропускаю следующий дом справа и оборачиваюсь к первому дому слева.

Именно на просторы чистых рассуждений, потому что сейчас откроется обезьяний филиал, как только мы минуем Дубовую рощу. Только не стоит искать глазами дуб. Дуб вырублен, одно название, а на его месте поднялась чахлая, мутирующая ольха. Ольха, как я недавно выяснил, из семейства березовых. Повсюду, где вырубili благородные породы, растет у нас ольха. Примерно так, как в России береза. Ольха – обыватель наших лесов, всех переживший, неистребимый и бесполезный, как и все обыватели.

Я люблю людей. Природы не люблю. Если выразиться проще, я достаточно люблю людей, но недолюбливаю природу. В этом смысле я – гуманист, подобно тем итальянцам, которые построили в моей деревне когда-то прекрасную белую крепость и завезли к нам конфетное дерево. Ведь был у них как раз тогда художник Боттичелли, которого и звали-то Сандро. Так вот, этот самый Боттичелли Сандро любил писать людей, а природу – нет. Позже итальянские мастера если и стали писать природу, то опять как вид из окна Мадонны. А это еще куда ни шло. А сегодняшний Феллини в Италии, которая, как известно по карте, полуостров и отовсюду омывается морем, снимает море в павильоне. Крашенный целлофан, колышется как надо, и все в порядке.

Природа была к человеку добра, когда человек был как бы ее частью. Но как только он не захотел быть ее частью, ее дитятью, природа открылась ему иной, чем она видна из окна Мадонны. А быть дитятью человек не может, потому что он наделен волей. Гордостью и страстями.

Человек умеет разгадывать тайны природы. Каждый раз, угадав очередную тайну природы, человек убеждается, что она, оказывается, была довольно проста и к тому же плохо припрятана. А насколько сложнее сам человек со своими волей, гордостью и страстями! Просто он молод и до многого еще не дошел.

А за каждый разгаданный свой закон посрамленная природа мстит человеку. Мстит мелко, но жестоко. Но и к этому надо быть готовыми. Бог не оставит человека в беде и не позволит, чтобы человек выглядел жалким.

В тысячелетней войне с человеком природа идет на все новые и новые уловки. Одна из ее уловок такова: природа-дьявол в борьбе с созданием Божьим сама научилась принимать его внешний облик. Вот и ходят среди нас с вами лже-люди. Нам кажется, что они то же, что и мы. А они – самые что ни на есть дети природы.

Дети природы умеют внушать, словно и они заняты, а то только они и заняты, разгадыванием тайн природы, но вот открытые ими законы понятны им и им подобным. «Как прекрасна природа», – скажут они как бы невзначай. «Из окна Мадонны?» – спросим мы. «Нет, отовсюду!» – аккуратно вложат они нам в голову.

Их открытия не приносят народу радости. Только злорадное тщеславие узкого круга посвященных. А ведь каждый, в самом деле, закон, открытый, в самом деле, человеком, тут же становился понятен любому гимназисту. Что ни на миг не умаляло ни величия первооткрывателя, ни величия открытия.

Еще ухищрение вытекает из первого: человеку навязывается мысль, что природа гибнет, причем гибнет по вине человека. Уничтожить природу – разве это возможно? Уничтожить можно только человека.

Бог поселил людей на земле, чтобы они плодились, множились и питались дарами земли. Природа послала на землю своих детей. Не они ли достали из недр земли и из расщелин скал испражнения своей, когда-то хозяйничавшей здесь родительницы? Не они ли соединили, а потом расщепили эти самые экскременты на погибель человеку?

Надо освободить человека от груза вины пред природой. Но сначала следует избавить его от восторга перед ней. Если никак нельзя человеку, который молод и эмоционален, без восторгов, вот он сам, со своими волей, гордостью и страстями.

Да что уж говорить! Давно ли я сам купался, фыркая, брызгаясь в горных потоках, дышал воздухом во все легкие, молодые и глупые, играл в снежки и подставлял лицо дождю. Теперь я этого не делаю. Если мне невозможно не дышать этим воздухом, чёрт-те чем начиненным, уж по крайней мере не стану обманывать себя, будто это – удовольствие.

Воля – моя вера, гордость – моя надежда, а страстями я люблю. Искать дитя природы, любоваться им, Дерсу Узалой – увольте! В якобы щемящести этой темы есть затаенная халтура.

Нам говорят, что всеми силами надо защищать природу. Но нельзя всеми силами защищать то, что не любишь всеми силами.

С раскаянием, например, вспоминаю, как на подступах к затерянному в наших горах ледяному озеру Мзы я присел отдохнуть, вернее, рухнул от усталости на закинутый на плечо вещмешок. Отсюда – перспектива простора, отсюда – в небе орлы.

Хочешь ручья – он журчит слева и справа, хочешь безмолвия – вот оно. Вдруг я захотел, чтобы время, которое сейчас замерло, никогда не включалось снова, а если невозможно ему не включаться, тогда мне умереть и остаться здесь навсегда.

Но достойно ли сыну крестьянина, одного из основателей колхоза, желать себе смерти вдали от родной деревни! Ведь потому я с недавних пор стал жить неторопливо, что понял: только смерть моя очистит воздух, разгонит с криком обезьян, вернет все утраченное, даст мне времени, чтобы успеть; и только в моей деревне может быть мой рай, где я сяду под конфетным деревом, знакомя живших здесь когда-то с теми, кого мое воображение поселяло с ними рядом.

Впрочем, почему я заговорил о горах? Точно! Даже там, на высоте, куда тропы должны знать только отважные браконьеры, даже там я набрел однажды на ржавый остов какого-то механизма. И там уже побывали дети природы. Наверное, искали испражнения родительницы, чтобы потом их расщепить.

А что касается браконьеров, сейчас уже охотников нет, есть одни браконьеры. Сейчас природу так берегут, что уже горцу нельзя заняться своим любимым ремеслом – охотой с риском. Отстрел туров строго воспрещен. Можно подумать, что тура может достать каждый. Мне кажется, что из-за этих запретов, а не наоборот, гибнут все виды зверей один за другим. Они заждались охотника, их существование потеряло смысл. А вы можете представить себе заповедник, который кишмя кишит редкой дичью, где лань научилась не только трепетать, но и лазить по скалам?

Но довольно о горах. Горы далеко, а мы подходим к морю. Наша аробная тропа ведет нас через ольшаник, через болото, – и вот пустырь, заросший папоротником. Только не стоит искать здесь папоротника, равно как старшину с соседской вдовой.

Папоротник огорожен, как полигон, высокими стенами обезьяньего филиала. До самого моря. Там процветает шимпанзе Боря, которого открыто сводят с самками, чтобы вызвать у их самцов инфаркт в научных целях.

И болото, и папоротники были давно, еще задолго до нас, в годы динозавров. Я согласен с тем, что и динозавры не лишены красоты и величавости. Но рисунки, где они изображены на фоне зелено-желтых пейзажей, навевают на меня лишь тягучее уныние, словно живопись фантастов или снимки из космоса.

Ибо этот пермский мир, хоть именно человеком и воссоздан, мертв и ложен этот мир, потому что как раз его, человека, в нем нет. Что такое природа вне, а тем более без человека – кишение молекул, и не более. Только человек наделен способностью придать абрис себе и окружающему. Форму творит только человек, его представление, а не природа сама по себе, прекрасно, как и он сам, как его воля, гордость и страсти.

Но мы подошли к морю, а это конец нашей маленькой прогулки, а стало быть, и повести. И хорошо, что в море не советуют купаться. Хотя, с другой стороны если посмотреть, уж лучше бы здесь стояли дома творчества и санатории, а то видишь: отсюда – бастион обезьяньего филиала, отсюда – пасутся какие-то общественные клячи. Единственное утешение – строится дом отдыха прокурора.

Море я воспринимаю только в городе, где, как я уже говорил, постоянно живу. Я люблю просиживать на кафе-террасе «Амра», маленьким пирсом входящей в море. Оно, то есть море, там и воспринимается как декорация. Как крашенный феллиниевский целлофан или вид из окна Мадонны у старых итальянцев. А тут, в моей деревне, море – всамделишное море, как говорится, прямо в лоб. Вот оно где плещется – услада отдыхающей братии. Мало того, море придвигается. Море вгрызается в землю, море захватывает землю, за которую, кстати, уже уплотчено. И вот уже волны бьются не в белый песок пляжа, как еще недавно они это делали, а подкатываются к красным попкам шимпанзе.

А подойдешь к самому краю глинистого обрыва: там действительно обрывается, заканчивается моя маленькая родина, а дальше, а в других местах, куда ни пойдешь, у кого ни ищи сочувствия, – больше нет ее нигде...

Уж лучше бы я рассказал о прокуроре Гвидо Джоттовиче.

КОСУЛЯ



Наган доил корову. У плетеной изгороди между мазанкой и коровником он доил, присев на низенькую табуретку, вытянув в сторону больную ногу и напряженно опустив голову. Его жена, не в пример ему крепкая, держала за ногу теленка, который все пытался вырваться к материнским сосцам. Дети играли на лужайке двора. Луг за изгородью был убран, но чало – кукурузные снопы – еще не успели повесить на деревьях, как это принято, и снопы стояли, связанные и натканные на кочерыжки, золотясь под косыми лучами заката. Строительство капитального дома, за которое Наган принялся недавно, заложив по совету Сухопарого, своего соседа, фундамент аж на пятнадцать метров в ширину и двадцать в длину, и еще с пристройкой, в которой «при хороших и плохих случаях», то есть при свадьбах и поминках, могло уместиться до ста человек, – строительство это шло медленно, хотя стены были возведены наполовину и уже были восстановлены рамы окон и дверей. И сейчас Наган, упорно потягивая вымя единственной коровы, словно пытался взять у нее больше молока, чем она могла дать, пыхтел, сопел, чертыхался, а сам все думал: где взять деньги на строительство.

Вдруг, нарушая вечернюю тишину, в околоте зашумели собаки. Голоса приближались. Наган и жена оглянулись. И видят: косуля, самая настоящая косуля, невесть откуда взявшаяся, убегая от псов, выбежала на проселочную дорогу, где ее ждали новые и новые засады, и кончилось это тем, что, легко перемахнув через Наганов забор, она, эта косуля, в мгновение ока очутилась там, где Наган с женой доили корову. Наган, засуетившись от неожиданности, вместе со скамейкой повалился наземь, а в руке, которую он инстинктивно вскинул при падении, оказалась нога косули, и он, ничего не понимая, заорал благим матом. Жена

тоже с испугу выпустила теленка, теленок рванулся к матери, опрокинув на ходу подойник, и молоко полилось в пыль. Человек в страхе сжимает кулаки. Наган тоже сжал кулаки, в которых была лапа косули; косуля вырывалась изо всех сил, но человек ее ногу не выпустил, а сам продолжал кричать:

– Эй, жена! Что это, жена? Что это?

Первым из соседей примчался Сухопарый; старик он шустрый: раз-раз – меж кочерыжками, раз-раз – сквозь плетень, и – тут как тут. Вслед за ним прибежали и другие ближайшие соседи. Они вынули косулю из рук Нагана, а самому помогли встать.

– Ахахайра! Хайт! Хайт! – звонко восклицал Сухопарый, порываясь помочь всем сразу, но только мешая.

Так-то: косуля, настоящая косуля была поймана и заперта в заднике мазанки, в приделе, служившем и кухней и кладовкой. Там она бегала, бесилась, свистела, разбивала кувшины и горшки, но сама была дороже всего, что могла там разбить, и теперь никуда не могла уйти.

Эта новость облетела село. По проулкам, через изгороди вся деревня поспешила к Нагану.

Откуда взялась косуля в приморском поселке, где давно уже вырублен лес? Где земли скуплены обезьяньим филиалом? Решили ждать Старца, только он мог все объяснить.

Вскоре появился и Старец. Он даже шагал многозначительно, через шаг на третий вонзая в землю конец посоха, а двое сопровождавших уважительно отставали от него на полшага.

Приблизившись к двери мазанки, он вонзил посох в землю основательно, как кол. Спутники, которые не только возрастом и мудростью, но пока и ростом, и поступью вообще отставали от него, остановились по обе стороны от старца, и трехфигурная композиция эта замерла.

– Добро пожаловать, почтенный Старец, – провозгласил Тамада, ибо жена Нагана уже возилась на кухне, и он уже, самоназначившись, приступил к своим обязанностям.

Но трехфигурное изваяние ожило только после трехкратного приглашения.

И вот уже Старец сидел на почетном месте против Тамады, вполоборота и к столу, и к очагу, как бы одновременно принад-

лежа и тому и другому. Спутники, разлученные с ним, были рас-
сажены в положенных местах, из-за чего выглядели подчеркнуто
сиротливо.

– Так-то, – заговорил он. Все дружно вскочили с мест. – Так-
то, – повторил Старец, глядя на огонь и опираясь на посох. – Ты
недавно начал строиться, Наган, сынок. Ажейпш послал тебе
косую, и ты поймал ее голыми руками. Но этому удивляться
не надо. Светлой памяти твой дед Савлак, помнится, выскочит
в лес с ружьем, и не успевало закипеть мамалыжное варево
твоей бабки, покойницы Гупханаш, как он уже из лесу с косу-
лей. И тебя не зря при рождении нарек Наганом. Сегодняшнее
событие – это свидетельство счастья. С сегодняшнего дня твоя
судьба повернулась вправо, сынок! Пусть оно будет прочным, твое
счастье! – продолжал он, а Наган, кротко внимавший Старцу, при
этих словах почему-то вздрогнул.

И не успел Старец намекнуть, как ему был подан рог. Немного
отпив, он вернул его не глядя хозяину.

– Это чудо, это счастье! Пусть будет твое счастье прочным,
Наган! Пусть вечно с нашей общиной пребудет твоя мудрость.

– Старец! – заголосили все.

Наган, все это время кротко внимавший Старцу, при слове
«счастье» все-таки вздрогнул. Наган был умен, хотя в его по-
ложении скромного поселянина, да еще единственного в своем
роду в этой деревне, где все было сосредоточено в руках трех
родов, ни с одним из которых он в родстве не состоял, этот ум
был излишен, и он его скрывал. А единственным в роду он был
потому, что его дед был тут помещиком до революции со всеми
вытекающими последствиями, и Наган вырос сиротой. Уже одно
то, что его называли Наганом, – свидетельство того, что над ним
собирались подтрунивать уже с рождения. Счастье – строптивый
гость, к нему надо еще быть готовым. Не роскоши счастья желал
Наган, а просто выжить с женой и детьми, не дразня ни судьбу,
ни людей. Невольно поискав глазами детей, он заметил, что их
нет. Он догадывался, что они пошли к косуле, догадывался, что
они наверху блаженства, потому что у них, еще несломленных,
требования к судьбе были иными.

Да, дети были вместе с косулей. Сначала Наганов сын, стараясь быть незамеченным, вышел на улицу и, обогнув мазанку, вошел через заднюю дверь в придел. Косуля обернулась, и в темноте зверек и мальчишка взглянули друг на друга. Затем косуля одним прыжком оказалась в дверях, но, не выходя, замерла у порога. Мальчик не видел стоявших сзади сестренку и младшего братика, которые, заметив его, когда он выходил, последовали за ним. Кончиком пальца он прикоснулся к косуле. Под замшей ее кожи напряженно бежали токи. Чувствовались ее тонкие, но крепкие, как сталь, ноги.

Мальчик, спавший с братом и сестричкой на широкой деревянной лавке, услышал шум косули и проснулся.

- Отец, а отец, – тихо позвал он.
- Чего тебе? Спи там... – отозвался отец.
- Мы же никому не отдадим косулю?
- А кому отдадим? – проговорил отец неуверенно.

Он сам еще не успел подумать, какова будет дальнейшая судьба косули: сколько ее держать в приделе, чем кормить, и вообще об этом ли сейчас следовало ему рассуждать, когда надо выспаться, день-то предстоял нелегкий, а если не спится, то думать: как и на что дальше строить дом!

Очень скоро косуля привыкла к старшему из сыновей. Теперь ее можно было не запираť, она не пыталась убежать. Пацан уже резвился с косулей на лужайке перед домом как с обыкновенным барашком. Он был слишком хил и болен, чтобы помогать отцу резать бетоноблоки, и отец занимался этим сам. В тот момент, когда к воротам Нагана на «Мосвиче» с фургоном подъехал Наш, мальчик, сидя верхом на перевернутом ведре, разговаривал с косулей:

– Не надо лизаться, мокро ведь! – выговорил он ее. – Так вот... Отец не хуже кого-то, но когда в школе начинают дразниться: сын хромого, мол... Этому Ахре я как дам в грудь, вот сюда, но их три брата, только младший мой одноклассник, остальные старше.

Наш вышел из машины и, сложив руки на животе, глядел оттуда сюда непонятным взглядом.

– А мои мускулы – сам видишь какие, – мальчик с отвращением продемонстрировал свои хилые руки. – Я отцу не собирался

говорить, но он же синяк увидел... Кто мог подумать, что он придет на второй день в школу... Как начал за ними гоняться... Ахру пытался поймать... В общем, еще больше смеялись все.

Мальчик замер и прислушался.

– Бог в помощь, Наган! Это и есть та самая косуля, которую ты руками поймал? – спросил Наш, будто Наган мог поймать еще одну косулю.

– Да, эта, ну... – засмутился Наган.

– Настоящий джигит растет у тебя, Наган, – сказал Наш, почему-то глядя оттуда сюда непонятым взглядом.

– Старший, ну... – окончательно смутился Наган.

– Такой джигит миллион стоит! – воскликнул Наш, затем сел в машину и уехал.

На второй день Старец со спутниками посетили Нагана. Тот факт, что Наш нарочно прислал к Нагану почтенных людей, свидетельствовал о том, что он был простой человек. Ничто не мешало ему просто прислать деньги за косулю, передав на словах, что она пришлась ему по душе и он требует ее: все-таки Наш есть Наш. Одним словом, косулю увели. Дети, забившись в угол, со слезами на глазах наблюдали, как Сухопарый, каждый раз опаздывая и на самом деле всем мешая, пытался всем помочь сразу, то и дело вскрикивая «Ахахайра! Хайт! Хайт!» – и, обращаясь к Нагану, который стоял, отставив ногу и почесывая затылок, и жене его, молча ломавшей руки... все подмигивал им, все подбадривал. Тамада же командовал:

– Живее! Ловчее! Смелее!

Водрузили косулю в фургон «Москвича» и уехали.

И закипела работа на второй же день во дворе Нагана. Сразу несколько рабочих, присланных из межколхоза, принялись за кладку. Мысль о втором этаже пришла сама собой.

Вечером, помыв руки и стряхивая с них воду, Наган зашел в мазанку. Жена согнулась над старшим сыном. Наган подошел к лавке. Отведя мокрые руки назад, нагнулся и приложился губами к лобку сына.

– Жар у него, – произнес он шепотом.

А о последующих событиях надо просто скороговоркой, потому что и так все понятно. Наш пригласил домой Уважаемого,

крестника его бутхурика. Отличный накрыл стол, где Тамада был тамадой, Старец старцем, Уважаемый уважаемым. Когда гость потянулся было, пытаясь ухватить за косу девчонку, прислуживавшую гостям, а она увернулась, Тамада сказал, что это – жизнь, Сухопарый же не преминул издать боевой клич. Наш недовольно пригрозил ему взглядом, но Сухопарый не глядел в его сторону, и Нашему пришлось глазами же сказать остальным соседям, что старик вот каков, а не пригласишь – обидится. Все тут же заметили, что Сухопарый сильно захмелел. Чтобы скрыть от гостя это обстоятельство, Тамада запел песню Ажвейпша, Наш повторил, что, имея он миллион, и миллиона не пожалел бы для Уважаемого. Намекнул, что наши ребята, точно так, как для Уважаемого голыми руками поймали косулю, сделают все что угодно для него, лишь бы тот рос и продвигался в должностях. Потом Сухопарый вскрикивал, пытаясь помочь тем, кто погружал косулю в ГАЗ-24 Уважаемого, но только всем мешая, Тамада командовал. Одним словом, Уважаемый увез косулю, чтобы расти и продвигаться в должностях. Когда обратились к вещунье-знахарке, она вывела из гаданья на фасоли, что Ажвейпш гневается и надо, чтобы косуля была возвращена хозяину. Доктор Гвазава в свою очередь констатировал, что у малого воспаление легких. Когда Старец с двумя спутниками пришли к Нашему, Наш был огорчен не на шутку, что предлагают ему требовать от Уважаемого вернуть подарок, и намекнул, что есть еще в нашей деревне пара стариков, ни в чем Старцу не уступающих, отчего трехфигурное изваяние заволновалось, напоминая древнегреческую скульптуру из учебника, мучимую змеями гнева, страха и центробежной энергии.

Мать поила мальчика деревенскими отварами, Гвазава приходил делать ему уколы. Мальчик все принимал безропотно, но лучше ему не становилось. Отец, хромая, метался по хижине.

А после сумерек наступила тишина. Отец, схватившись за голову, уселся у очага. Мать, тоже обессиленная, сидела в ногах мальчика. Лампочка под потолком с одной стороны была занавешена газетой, чтобы не слепило больного. Свет полукругом падал на пол, оставляя темным место, где он лежал.

Мальчик с трудом разжал веки. На противоположной стене в темноте ему привиделась старуха: она прикрывала дырявой ла-

донью свое омерзительное лицо. Больной вскрикнул, и видение тут же исчезло. Отец и мать повскакали с мест, дети проснулись и заплакали.

Снова стало тихо. Мать и отец, утомленные, не заметили, как оба одновременно прикорнули на своих местах: он у очага, она – у изголовья больного. И не видели случившегося. Не услышали, как дверь медленно и бесшумно отворилась и вошла косуля, чтобы забрать пацана. Счастье редко забредет к нам, а если и забредет, мы все равно его удержать не в силах. Но ничего, обойдемся без счастья, как обходились раньше: только бы все были живы; у нас еще есть дети, лишь бы не вернулась косуля!

Перевел с абхазского автор.

ЖЕРЕБЕНОК, ЧЬЕ ИМЯ Я ЗАБЫЛ



Такая же лошадка паслась перед нашим домом, таким же летним утром, и рядом с ней на тонких ногах, телячьих ногах дрожал жеребенок, такой же, а может быть, он самый.

Неужели все так повторяется! Вот и сейчас: лошадь падает на колени, потом ложится на один бок, потом перекидывается на другой бок и проделывает это несколько раз, блаженно, развязно, – затем привстает, сначала на колени передних ног, на миг явя картину классического коня, пытается вскочить на все четыре, но вскочить у нее не получается, а получается подняться со скрипом и с пукотом – и тут же снова стать простой рабочей кобылой. А лошадь она не простая, а кабардинской масти. В нашей деревне все лошади ценной кабардинской масти, только однажды их стали запрягать, превращая в тягловых и вьючных...

Вот жеребенок уткнулся в брюхо матери, ноздрями ища запах молока. Вот он отскакивает и очерчивает круг по лужайке, выстунивая тонкие ноги на лету. Может показаться, что у него слишком большая голова, слишком тонкая шея, ноги действительно телячьи, и весь он какой-то нескладный, нелепый, но отец – а толк в лошадях он знает (знал и не забыл), – уверен, что жеребенок по своим признакам обещает вырасти в красивого и сильного кабардинского жеребца. Лошади кабардинской породы, которых в нашей деревне сохраняют, да сохраняют так незначительно, небрежно, в Великую Кавказскую войну покрыла себя, как говорили в те славные времена, ныне забытые, громкой славой. Боевая лошадь вообще была первым другом, как первыми были кавалеристы в русской армии, а наездники – у горцев, предпочитавших кабардинских. И называли их не кабардински-

ми, а по имени заводчика: трамовские, бешелбеевские и т. д., среди которых вообще половина как раз были не кабардинские, а абазинские. Кабардинские скакуны не боялись горных троп и не ведали усталости. Рукопашная битва не только не пугала их, но они обязательно, врезавшись в гущу битвы, хватали зубами и выносили раненого хозяина. Это была именно боевая лошадь, и среди боевых не имела себе равных в горной местности, хотя отличается и на дальних расстояниях. Последний раз в этом Европа имела возможность убедиться в Первую мировую, в которой принимала участие Кавказская дивизия, прозванная «Дикой». В 1914 году в Австрии конный отряд, ведомый Султаном-Гиреем, идя на выручку казакам генерала Шкуро, проскакал двести миль и вступил в бой. Кстати, боевые качества кабардинской чуть было не оценили и в 1991-м, при нашествии воинства Шеварднадзе на Абхазию. Чачхал, известный абхазский боевик, предложил создать небольшие конные отряды для перехода заминированных участков (все запасы противопехотных мин-«лягушек» двух советских дивизий были отданы Грузии, этими минами была напшигована вся Абхазия, бессистемно, без составления минных карт), и зачастую с зажмуренными от дальних выстрелов глазами. Но ему возразили, что недостойно горцу губить коня ради того, чтобы сохранить себе яйца (напоротившийся на «лягушку» чаще всего теряет одну ногу, но при этом ему может и яйца оторвать). В войну, вообще, в людях пробуждается много патриархального, патетического тоже.

У черкесской лошади, также как и у черкесской пастушеской собаки, ныне известной как кавказская овчарка, есть еще достоинство, иногда оборачивающееся недостатком: эти лошади – однолюбы, то есть преданы одному хозяину. Именно кабардинского скакуна и кавказскую овчарку, а не всякую конягу, или шавку, имеют в виду горцы, когда говорят, что в жилах коня и собаки есть человеческая кровь. Вот и кабардинскую, когда кто-то дарил кому-то, то получатель, чтобы она признала его за нового хозяина, должен был в присутствии старого хозяина заново укротить ее, словно она была неукротенная. Даже теперь, когда в нашем селе кабардинских запрягают, особый норов они сохранили, но этот норов выглядит как упрямство; в нынешние времена нет

надобности тому, что в них ценилось во времена оны. Достается же им кнутом за этот характер, когда они тащут плуг или выпряжены в телегу! Зато лошадь после смерти обязательно продолжают хоронить в близлежащем лесу, вырыв очень глубокую яму, чтобы уберечь от косолапого, едящего мясо очень редко, да и то только тухлое. На свадьбах (которые у нас продолжают устраивать такими многолюдными и пышными, что устроитель пошел бы по миру, кабы всем миром ему не помогали) сохранился обычай верхом подниматься на второй этаж дома, где прячут невесту, прикрыв ее лицо фатой. Джигит за это бывает вознагражден: подружки, приподняв фату, показывают ему личико невесты. Так вот, кабардинская легко одолевает любой крутизны лестницу, пусть с деревянными, пусть с каменными ступенями; не каждая чистокровка может проделать это. Если в глазах ее – чистое поле, а не нудная пашня.

Жеребенок снова подходит к матери. Сделав несколько глотков молока, жеребенок отрывается от сосцов и прислушивается к чему-то внутри себя. Он словно желает прикинуть, насколько это молоко приятно. И, убедившись, что оно очень приятно, опять начинает сосать. Кобыла ест худую траву, но взгляд у нее при этом косой и чуткий: она готова в любое время зацить свое дитя.

Жеребенок снова оторвался от сосцов и снова прислушался. На сей раз он прислушивается к нескольким решительным шагам, которые сделал по направлению к нему мой малыш. Малыш хочет подойти к жеребенку, но боится его матери. Я взволнован. Да, именно так и было тогда.

Точно так же, как в моем детстве, стоит теплое летнее утро в нашем старом саду. И лужайка перед домом зеленая, и деревья зелены разными оттенками зеленого цвета, и лишь то там, то тут в эту сплошную зелень вкрапливается темно-красный садовой алычи.

Вот и сейчас появляется мой отец. Игриво грозит жеребенку. Отпугнув жеребенка, отец тут же принимает доброжелательную позу и, подходя к кобыле, узду прячет за спиной, а приманку – кукурузный початок – выставляет в вытянутой ладони. Зная, что ее все равно поведут на работу, лошадь, как всегда, отдается на приманку, таким образом выиграв хотя бы початок. Отец сует ей в пасть удила, продолжая шептать обольстительные слова, уже не обязательные. Потом ведет к амбару и надевает ей на шею хомут.

Жеребенок остается один. Пацан подходит к нему смелее, зовет его, – как я когда-то позвал своего (не этого ли самого?) жеребенка по кличке, которую уже забыл.

Я позвал жеребенка. Жеребенок оглянулся. Застыл на месте. Я подошел к нему и смело взял за коротенький темный загривок. Жеребенок, я тебя сохраняю! Дедушка-дядя обещал мне в этом помочь. «Оставь его, заласкаешь же!» – услышал я со стороны кухни свое отвратительное детское прозвище.

Потом мы с отцом вспахивали поле на берегу моря. Поскольку я был мал и не мог, по представлению старших, много ходить, меня посадили верхом на лошадь, а отец стал за плугом. «Вира, канава, вперед!» – восклицал отец время от времени. Видать, абхазский язык еще не успел выработать соответственных выражений для понуканья лошади при работе, потому что запрягать лошадей стали недавно, и отец для этого случая позаимствовал словечки из русского языка. «Гей, пш-шол, кому сказал!» – звонко вскрикивал он. Мне надо было следить, чтобы лошадь не выходила из колеи. Но она и не выходила, будучи научена. Лошадь умела даже повернуться и встать в новую колею. Лишний пуд моего веса она таскала только для того, чтобы я страховал ее на тот случай, когда она задумывалась и отвлекалась на жеребенка. Но знали я и лошадь подо мною, что жеребенок скоро вырастет, вырастет в замечательного скакуна, и я, тайком оседлав его, уеду на нем к синим горам, где живет мой дедушка-дядя. Слова дедушки-дяди не жились в моем пригретом солнцем мозгу: Нарта Сасрука породил паршивый Зартуж, Золотого Шабата – паршивый Даруко, а паршивый пахотный коняга породил жеребенка, в котором семь красных змей. И вот рождаются и рождаются огненные кони, чтобы слиться с героем воедино, и рождаются герои, чтобы слиться с огненным конем, но по вине людей конь и герой не могут встретиться.

Мы пахали, четырехугольником очертив борозду и сужая ее. Мама собирала кочерыжки от прошлогоднего урожая кукурузы и складывала их в кучи. Было безветренно, и когда она подожгла эти кучи, над пахотой в нескольких местах встали прямые, узкие и высокие столбики синего дыма. Уже занялся день, но море все еще было бледно-серое и совершенно спокойное. Мать подбра-

сывала кочерыжки в огонь, мы пахали, очерчивая новые и новые борозды, жеребенок все бегал, помахивая черным хвостиком, и кобыла изредка печальным грудным ржаньем наставляла его.

Уже собрались редкие купальщики, чтобы поглядеть, как мы пашем, уже приехал прокурор-дачник ловить рыбу в устье реки, а мы все пахали, давая время от времени лошади передохнуть. Когда стало припекать, отец из побегов хмеля свил себе и мне венки на головы, наподобие тех, что я видел позже на картинах, изображавших древнегреческие праздники. А жеребенок все бегал, неутомимый, отвлекая мать от колеи, и когда он как-то подошел слишком близко, отец, игриво прицелившись, хлестнул его хворостиной. Кобыла дернулась, но я был начеку и взнуздал ее.

Море наполнялось синевой и начинало волноваться, хотя по-прежнему было безветренно. Пахла земля. Оранжевые удоды садились на коричневую пахоту. И бегал, бегал по полю, не слушаясь ворчливого ржанья матери, жеребенок, чье имя я забыл.

Ближе к полудню отец распряг лошадь и велел мне повести ее к водоему. Жеребенок не отходил от матери. Он бежал то сзади, то рядом, то легко обгоняя нас. Он совсем не устал, хотя все время, что мы пахали, метался по всему полю.

Я обожал купать лошадь. Свежими ольховыми листьями я хорошенько заткнул уши сначала ей, а потом себе. И ввел ее в водоем. По мере того как круп кобылы погружался в воду, слепни, облепившие ее по всему телу, собирались у нее на голове, чтобы заползти ей в уши. А когда я начинал мыть ей голову, для слепней единственным убежищем оставалось мое тело. Зато, освободившись от мух, погружившись в теплую воду, кобыла блаженствовала и с удовольствием освобождала свой кишечник, отчего поверхность водоема покрывалась комками рыхлого навоза. Фырканием и тихим ржаньем она звала в воду жеребенка. Но жеребенок боялся воды и не шел к матери, пока я, взяв его за загривок, не втаскивал силком.

В обед нам предстоял долгий отдых. Было очень жарко. На пашню можно было выйти лишь на несколько часов перед закатом. Я собирался загорать. Но не успел я удрать к морю, как приехал гость. Приехал дедушка-дядя, красавец-старик, на белом с синевой коне.

Отец подошел к нему слева и, по обычаю взявшись одной рукой за стремя, другой за узду, помог всаднику спешиться. Накинув конец узды коня на гвоздь, специально для этого прибитый к стволу ореха, отец ввел гостя в дом.

Вскоре уже отец и гость обедали на веранде. Я был рядом и ждал, когда гость zalюбуется моим жеребенком. Наконец он его заметил.

– Чистокровной кабардинской масти, – сказал отец.

– Не вздумай его запрягать, когда вырастет. Он должен стать скакуном, – заметил гость.

Отец согласно кивнул. Но на его лице мелькнуло выражение, говорившее: мы не так богаты, чтобы держать скакунов, подобно вам, живущим в синих горах, где много земли, где тучны пастбища.

А под деревом стоял конь горца. Он стоял, словно изваянье. Это был очень гордый конь. Он словно замер в одиночестве, весь покой и готовность ждать.

А наша облезлая старая лошадь украдкой то и дело глядела на него, ее не замечавшего, глядела с какой-то смиренной, тусклой завистью. Она продолжала есть худую траву, а скакун еще и не притронулся к отборному овсу, который в миске выставила перед ним мать: видимо, еще не подошло время его аристократического обеда. Наша кобыла глядела на белого с синевой коня, а потом начинала искать легконогого жеребенка. Может быть, она думала, если дано думать усталому коняге, что ее жеребенок, что огненный ее жеребенок – он-то вырастет и станет лучше, чем этот белой масти спесивец, потому что в жеребенке, как и в его матери, как и в его отце, нет ни капли иной крови, кроме высокородной кабардинской: только бы его не запрягли! Так мы порой взваливаем свои несбывшиеся надежды на хрупкие плечи своих детей.

Все домашние – не только мама, приходившаяся ему племянницей, – ухаживали за гостем, служа ему с удовольствием, а не стараясь просто угодить. Он же воспринимал это совершенно спокойно, как его конь воспринимал изысканный овес. Я вглядывался в старика, пытаюсь детским умом понять то, что сейчас назвал бы тайной превосходства, которая понуждала моих к

добровольному и радостному служению ему, и догадывался: причина в том, что он породист, как и его белый конь. Инстинкт искренней любви к князю – самая благородная форма покорности.

Он был мне друг. То ли потому, что я был мал, то ли потому, что был горд. Он уважал меня. Он чувствовал мое одиночество. Он хотел, чтобы, вырастая, я имел достойного коня.

«Гуляет ли еще с абреками Золотой Шабат? – хотел я его спросить. – Дедушка-дядя, гуляет ли он там, в нагорном Дале, Золотой Шабат?» Он ловил мои взгляды, он улыбался мне: погоди, внучок, покончу с обычным ритуалом приема хлеба-соли и расскажу тебе о Золотом Шабате. И чтобы еще больше привлечь внимание дедушки-дяди к жеребенку, я подошел к нему.

– Оставь жеребенка, заласкаешь, – понеслось ко мне из кухни детское прозвище, которое, к счастью, я тоже забыл.

Стыд унижения пронзил меня. И мне стало неловко и перед дедушкой-дядей, и перед самим жеребенком. Я подумал о том, как тоскливо мне станет, когда дедушка-дядя уедет, молодцевато вскочив на заждавшегося его коня.

– Чистокровная кабардинская, – повторил отец. И добавил: – Честное слово...

Горец повторил:

– Не готовьте к работе. Жаль такого жеребца.

– Семь красных змей в нем, – почему-то со вздохом сказал отец.

– Сохрани его, зять, – добавил горец. – Не все пахать, абхазы ведь мы, горцы. Если мы не сохраним кабардинскую породу, станут наших мальчиков обгонять на скачках, и с ними случится то, чего не случалось с нашими отцами, – они смирятся с поражением.

Но в глазах горца, в тоне, с которым он это произнес, сквозило: что с них возьмешь, все равно ведь запрягут.

Как бы не так! От одной мысли, что когда-нибудь и моего красивого жеребца запрягут и будет он неуклюжий и облепленный мухами, и будет он с усталыми и бессмысленными глазами, мне становилось не по себе. Но я-то знал, что этому не быть.

Иногда мне хотелось, чтобы время, необходимое, чтобы жеребенку вырасти, вдруг, как в сказаниях, чудом уплотнилось в

один день – и жеребенок мой, подобно арашу Нарта Сасрука, вырос бы в один день и в одну ночь и встал бы перед моим домом. И я вскочу на него, и он, лукавый, любя меня, тем не менее, решит меня испытать. Он подпрыгнет высоко-высоко, чтобы разбить меня о небесную твердь, я в последний миг спрячусь у него под брюхом; он, стремглав, бросится вниз, чтобы ударить меня земную твердь, но я успею ловко вскочить ему на хребет. Он – в сторону, чтобы разбить меня о правый бок земли, я – на левый бок; он – в сторону левого бока земли, я спрячусь за его правый бок. Признанный огненным скакуном седок...

«Дедушка-дядя, почему Шабата зовут Золотым?» – «В нем было семь красных змей» – «Дедушка-дядя, он – Нарт?» – «Нет. У него не было коня, в котором семь красных змей».

Но ведь у меня есть жеребенок, в котором семь красных змей! И я спрашиваю:

– Дедушка-дядя, почему ты говоришь «не было»? А где же сейчас Золотой Шабат?

Горец задумывается и отвечает:

– В других селеньях.

Другие селенья – это, наверное, синие горы, другие селенья – это Дал.

От нашего двора, от моря к северу, тянутся равнина да равнина, болота да болота. А на горизонте возвышаются синие горы, как будто они сразу вдруг начинаются, без холмов и предгорий, сразу над болотами, возвысься чуть наклонной синей стеной. Это два мира: наш, где запрягают лошадей, и тот – вольный Дал.

А вот вырастет скоро мой жеребец, и я вскочу на него, только рукой махну и умчусь к синему Далу, увенчанному белоруными облаками. Признанный огненным скакуном седок, вырвусь стрелой из нашего села, оставив сзади постылое море, и войду сначала в болото, где начинается деревня двенадцати плохих певцов; минуя ее, миную деревню, где старики надувают друг друга в кости и любят меняться красивыми вещами; но надо еще миновать деревню, где бурки на мужчинах от ветхости из черных становятся бурыми; деревню, где родники так далеки от жилищ, что малярийные умирают от жажды; деревню, где женщины, чтобы отдохнуть, опускаются в пещеру, – но я быстро

миную эти утлые деревеньки и буду мчаться, мчаться, а воздух станет гуще, а сердце забьется учащенной, и я ощущу и глазами, и печенью, и легкими, что вольный Дал уже близко!

«Есть ли у тебя оружие, юноша?» – обыденно спросит Золотой Шабат, отводя глаза от вожделенного коня, словно не видя его.

«Золотой Шабат, возьми этого жеребца, в котором семь красных змей, и будешь ты человекоконем, как Нарт Сасрука, – скажу я вместо ответа. – И тогда ты поведешь нас к победе».

Я продолжаю безвольно сидеть на ступенях лестницы, а мой мальчик сделал еще несколько шагов к жеребенку, и жеребенок шагнул к нему. Что-то мешает мне вскочить или хотя бы пошевелить языком. Я только сижу и шепчу: «Жеребенок, беги же!»

Потому что здоровый жеребенок не подпустит к себе никого, а если подпустил, значит ушла из него одна из семи красных змей, а следом уйдут и другие.

И я шепчу, как кричу: «Жеребенок, беги, беги!» Если жеребенок подпустит моего сына, то радость мальчишки будет недолгой: мальчишка прежде времени поймет, что такое другие селенья.

ГРАММОФОН



Когда мои родители переехали жить на дачу, я, студент, остался в городской квартире с тетушкой. Тетушка была старая, но вполне на ходу и даже работала в каком-то учреждении. На работе тетушка была исполнительная и замершая, оживала только дома, где ее ждал старинный граммофон.

Граммoфон был старинный, старинней самой тетушки Анны Михайловны, пожившей еще до революции, и еще как пожившей! Назывался граммофон «Лондонская собачка». Такому названию он обязан эмблеме, вправленной в корпус: изображению собачки у граммофонной трубы с надписью «His masterly voice» («Его мастерское звучание») старой фирмы, существующей до сих пор, – RCA-Victor. Корпус у него из синей карельской березы, уголки инкрустированы медью, труба раскрашена семью цветами радуги в природной последовательности, а сверху покрыта лаком. Лак уже мелко потрескался бледной сеткой, какой покрывается старая живопись. В комплект входил и стульчик, тоже из карельской березы. И большинство пластинок у старушки были фирмы RCA-Victor. Как давно они крутились под иглой, тем более что граммофон у нее постоянно работал, но пластинки не износились, не утратили «своего мастерского звучания». Только вправленные в корпус часы вышли из строя, но тетушку это не беспокоило.

Как она служила своему инструменту... Медную инкрустацию она чистила пастой ГОИ. Иглы точила сама. Трубу не чистила, а обтирала особой бархоточкой. Это был целый ритуал.

А как она присаживалась к нему! Что-то в этом виделось мне неприлично-моложавое во всем облике обычно до смешного подтянутой и правильной старушки: в том, как она идет к граммофону, даже раскачивается на ходу и про себя напевает,

накладывая слова любимой песенки на другой мотив: «О, майне лийбе Аугустин!», например, напевала как «Фигаро».

А когда, держа на коленях ушастого той-терьера Жужу, старушка усядется в кресло и, глядя на экран телевизора без звука, слушает граммофон, даже я при постоянно ироническом к ней отношении посчитал бы бесчеловечным ей помешать. Как нельзя помешать молящемуся. Впрочем, я все это подсмотрел, а обычно, зная время ее уединения, заблаговременно удалялся.

Слушает, бывало, тетушка свои старые песни, которые с характерным хрипком вырываются из трубы, а сама все смотрит на глухой экран, который как бы визуально подтверждает убогость современности, которую она в нем видит, по сравнению с тем временем, откуда храпела-шипела старая музыка, словно несла в себе шум времени.

Жизнь моя, когда я остался без непосредственной родительской опеки, конечно же, стала лучше. Например, мог вернуться домой, когда хотел. Тетушка слегка пожурит меня, но родителям не жаловалась: забывала мои проступки. В общем-то, ей было мало дела до меня: она жила воспоминаниями. Она была из бывших. В советское время судьба ее обошлась без драм, но обошлась и без самой жизни. Она когда-то, говорят, прекрасно музицировала, знала французский, но это в жизни ей не пригодилось ни разу и выветрилось из памяти со временем. А вообще, от прежней жизни у нее осталось всего ничего. Граммофон заменял ей все.

Что может нарушить такую идиллию? Конечно, скажете вы, должен сломаться граммофон.

Да, однажды граммофон сломался. Порвалась пружина, будь она неладна. Впрочем, что тут удивительного: пружина добросовестно прослужила почти век!

Пружина порвалась, когда пластинка была на половине, когда мелодия успела захватить старушку и собачку. Раскатистый звук с грохотом умолк. Жужу соскочила с колен тетушки, вся дрожа. Старушка осмотрела со всех сторон граммофон. Но граммофон молчал, глухонемой и холодный. Она к ручке – та легко крутилась в гнезде. Она к головке – та лежала на пластинке, как змея в обмороке. Старушка оглянулась, ища помощи, – в глазах мужчины

на телеэкране она прочла, что и то, что он говорит, и его улыбка предназначены так же, как ей, еще миллионам, и если бы в них была теплота, то ей бы принадлежала одна миллионная часть.

Я был этому свидетель. Я стал убеждать тетушку, что непременно починю граммофон. И слово сдержал: старый грек-мастер так соединил порванные части пружины, что она проработала еще двадцать лет, по крайней мере. Кстати, и часы на корпусе он починил.

Но тетушка охладела к граммофону. Он ей изменил. Вскоре она окончательно рассчиталась на работе и согласилась уйти к родителям (отец мой приходился ей племянником). Она ушла, прижимая к груди той-терьера Жужу, ушла, даже не оглянувшись на граммофон, который, кстати, уже был в рабочем состоянии.

Она не переселилась с родителями сразу, потому что знала, видимо, что тот искусственный мирок, который она тут как-то создала и в котором только и могла существовать, – этот мир невозможно транспортировать и восстанавливать в другом месте. Граммофон сломался, и мир этот был разрушен. Наверное, мне не следовало починять еще и часы. Может быть, они символизировали искусственно остановленное время.

Тетушка жила еще долго, лет семь. Но часто болела. Но зато ваш покорный слуга загулял! Мне было двадцать неполных лет. И я живу один в хате, без предков. В квартире моей на Сухумской горе не было отбоя от гостей. Точнее, в квартире моей часто бывали гости. Еще бы: у меня помимо всего прочего дома была такая приманка: настоящий старинный граммофон фирмы RCA-Victor. «Лондонская собачка». Послушаем, бывало, старые пластинки. Еще друг из Прибалтики привез целую пачку настоящих граммофонных иголок. Он нашел их в каком-то сельском магазине. «О, майне лийбе Аугустин». Мелодия выливалась из трубы, лак которой потрескался, как на старинных картинах. Но тут кто-нибудь скажет: «Давайте включим маг!» И граммофон, сделав свое дело, на время умолкал.

Когда у нас была война, граммофон унесли, как и все, что я имел. Но его вряд ли выбросили – вещь-то старая, раритет. Кого ублажает теперь «his masterly voice»...

ИГОЛЬНОЕ УШКО



Вы, с кем я собирался прожить долгую жизнь, да судьба распорядилась иначе! Помните: утро наше начиналось с того, что душа рвалась «на морянку»? А родители сегодня отпускают, а завтра начинают бояться, как бы дитя не утонуло или еще чего-то не проделало с ним море. Каждому из нас приходилось по-своему вырываться из родительского запрета. И вот мы нервно ждем друг друга в условленном месте, а дождавшись – стрелой к Игольному ушку. Родные мои, да разве могли наши старшие знать, как несоизмерима наша детская радость встречи с морем с их страхом за нас.

Игольное ушко, оно ждало нас в ста шагах от моря (точнее – в 127 пробежкой; я-то помню – я считал). Живо ли оно, сохранилось ли это дерево, заполнявшее проход к морю между горкой и болотистым ольшаником? Нынче я так же далеко от того места, как от времени, а сверху оно виднее. Помните, как странно на двух ногах возвышался над камнем узкий кипарис? Семя этого кипариса, носимое ветром, однажды, очевидно, упало на земляной наст этого камня и взошло на нем. Не на простом, а на историческом камне, на обломке древней стены. А уже потом росток в поисках жизни пустил два корня в землю. Корни стали расти, зажав меж собою камень и постепенно поднимая его, пока однажды его не выронили. Так образовалось отверстие над камнем. Издали это отверстие вместе с деревом смотрелось как перевернутая швейная игла. И вот, подходишь с замиранием сердца к Игольному ушку, а за ним уже – море.

А дяденек вы помните, которые день-деньской играли в нарды за столом у самого Игольного ушка? Странно нам было видеть (не всегда, конечно, но иногда), что они могут прятаться в тени и метать кости, когда в 127 шагах море! Им же было невдомек:

куда, дескать, торопятся ребятишки? Ведь вон оно плещется, море, никуда не девается. Зато ближе к закату, когда стихала жара, тогда и они шли купаться. Входили в море, как кони в студёный поток, фыркая и подрагивая, отчего оно, море, сразу становилось скучным, солёным и каким-то то ли бирюзовым, то ли индиго-шерстяным, как в известном стихотворении Ф. И. Тютчева.

Разбегаясь и ныряя в Игольное ушко, мы знали с закрытыми глазами, где поставить ногу, как юркнуть в отверстие, чтобы мягко, без боли приземлиться на той стороне. А там уже море. И неизменно охватывало чувство, которое по-взрослому я выразил бы так: как тесен наш мир, зажатый между горами и морем, и как оно необъятно – море! Мы бежали, на ходу сбрасывая с себя одежды, и бултыхались в море.

Федор Иванович Тютчев, соблазнивший и покинувший Амалию фон Крюгер, сказал: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». А я знаю и шкурой, и печенью: нет, он несчастен. Если, разумеется, историческое любопытство в нем не довлеет над страхом и состраданием. Я тоже думал когда-то, что так и проживу свою жизнь, попивая кофе на сухумской набережной. Но вихрь истории застиг меня на голом берегу. Он пронёсся надо мной, унося родных моих, но не меня. А когда я осознал, что выжил, то не нашел в душе ничего, кроме смятения и одиночества.

И не у кого уже проситься на морянку. Ступай хоть сейчас. Поближе к вечеру, когда уже спадает жара, встаешь и, оставив сочинительство художественных произведений, как те дяденьки откладывали нарды, поспешно идешь к морю. Входишь в море, фыркая и подрагивая, а море уже не то. То оно какое-то бирюзовое, то вообще индиго-шерстяное.

И так я думаю теперь и говорю: как тесен наш мир, зажатый между рождением и смертью – и как он необъятен, мир за игольным ушком. И не страх смерти удерживает нас по ту сторону, – он мог бы быть преодолён почти для каждого, так часто неподъёмна становится тяжесть пути, – а страх встречи с Ним. А может быть, напротив: невстречи.

Но как много приключений на пути моем к мосту, что прозревается смятенной душой сквозь игольное ушко! Я тут наблюдаю

за жизнью и вижу много интересного. Милые, даже лучше, что вы ушли: мир стал только хуже. Как сказал мудрец: марш верблюдов сквозь игольное ушко. Караваны невесть откуда взявшихся верблюдов беспрепятственно проходят сквозь игольное ушко.

И все же хочется надеяться и верить, что то Игольное ушко, сквозь которое должна пройти моя душа, прежде чем ступить на мост, в заветный день все же расширится передо мной и пропустит меня. Потому что многие из вас, ходатаев моих и заступников, кем я дорожил, кого любил, давно уже на том берегу. Когда я завижу вас по ту сторону моста, да не вынужден буду смущенно отвести от вас глаза. Ведь я продолжаю жить в грехе. Вы, о ком я грущу, хотя ум знает, но не сердце, что печалиться надо не мне о вас, а вам обо мне, если вообще есть печаль в доме Отца. Хотя ум знает, но не сердце: вы – дома, а я в пути. О, я побегу к вам, завидев вас на том берегу, отдаленном Игольным ушком. Я побегу, на ходу сбрасывая с себя грехи, как в детстве сбрасывал одежду. И буду кричать: «Любимые мои! Я скверно жил, но я – не фарисей!»

– Я – не фарисей!



Был и сам я когда-то
Бродягой крылатым.
Из блатной песни

1

Я шагал по улице, утопающей в тени сосен и елей. Солнце еще не поднялось над домами. Мне хотелось видеть море, оно лежало слева от меня, так что, свернув вниз и миновав несколько кварталов, можно было выйти на берег. Но я продолжал идти параллельно морскому берегу, чтобы не менять привычный с детства маршрут. На каждом перекрестке утреннее солнце успевало полоснуть по лицу лучом. Настроение улучшилось.

Свернул с хвойной аллеи на перекрестке и повернул лицо к солнцу, напротив лежало море.

Но с набережной было что-то не то. Вроде бы на месте знаменитая гостиница «Рица», бывший «Гранд-отель». И знаменитый угловой балкон – на месте. На этот балкон однажды в середине двадцатых вышел Троцкий, утомленный постоянно высокой температурой и потому не отправившийся ни на охоту, ни на рыбалку, и начал речь, хотя внизу стоял единственный слушатель – маленький дядюшка мой. Гвидо Джотович стоял как бы у нашей арки, которой тогда еще не было, под кипарисами, которые, конечно же, были. Он стоял, отхлебывая из миски с простоквашей, которую ему в качестве некоей стипендии, как способному, выдавали в кооперативе неподалеку. А Лев Давидович стремительно вышел на балкон и, не смущаясь малочисленностью аудитории, речь держал, как на митинге. Рядом с маленьким дядюшкой, почесывая затылок и ни слова не понимая из речи вождя, встал предсовнаркома Абхазии Нестор Лакоба, которому вождь только что «возвратил приглашение на охоту». Четверть часа спустя пятачок под балконом был запружен обывателями. Троцкий говорил не менее часа.

Сейчас у подножия гостиницы, в дверях ресторана сидел сухумский сумасшедший и всеобщий любимец Чума, как всегда в форме моряка и с гитарой. Он сидел с сигарой в зубах, отпивая из бутылки десертного вина, и пел. Вариации на тему:

Мальчик, оглушенный весной,
вышел на пристань и увидел,
как красивая тетка на палубе яхты
при людях отдавалась яростному солнцу,
Но отплывал, растворяясь в лучах, парус, –

на набережной, окруженный зеваками, хрипло орал под гитару сухумский бомж и всеобщий любимец Чума:

Бе-езногих русалок, пропахших рыбой,
Променял я на женщин суши.
Все я пропил,
Кроме тебя, мой парус...

Завидев меня, он вскочил и поздоровался со всей вежливостью и тут же заиграл и запел в мою честь. Чума принимал меня за Анастаса и называл отцом родным, не смущаясь тем, что как раз по возрасту он годился мне (Анастасу) в отцы. И потому он запел:

Журавли улетели. Журавли улетели.
До весны опустели родные края.
Лишь оставила стая среди бурь и метелей
Одного с перебитым крылом журавля.
Был и сам я когда-то бродягой крылатым,
Много песен пропето в больших городах.

Но как только запел, тут же забыл про меня.

И все же что-то тут было не то, век свободы не видать! Во-первых, с утра да пораньше тут было множество тех *тихариков*, которые, насмотревшись фильмов про чекистов или поверив в байки о шпионах, все как один прикрывались распахнутыми газетами. Во-вторых, во всей атмосфере кофейни чувствовалось какое-то напряжение. В-третьих, на прилавке кофевара стоял свежий букет казенных гвоздик. Дворник Акоп в новеньком фартуке выглядывал из-за цветов, чувствуя себя по причине фартука и цветов несчастным и опозоренным. Края лепестков гвоздик уже начинали привядать от жара печи.

Я стал искать глазами Минаша, нашего местного художника. В том, что найду его в артистической кофейне, я не сомневался так же, как в том, что найду кипарисы стоящими над воротами на малый причал. Мы сначала попили традиционного кофе.

– Ну что, Репин? Виделся с Грэмом Грином? – хором спросила меня артистическая кофейня.

И тут же запахло весной. Если повадились именитые гости – пришла весна – сезон.

Так оно и есть. Резко выехала на набережную и остановилась черная «Волга» с антеннами. Остановились как раз на том месте, где Гвидо Джотович стоял, сначала одиноко слушая Троцкого, а в течение четверти часа утонувши в толпе, запрудившей набережную, – здесь улица Ленина сливается с прибрежным бульваром. А на историческом балконе появился в гавайских шортах тот, про которого знал весь город, что он приехал выбирать натуру. Впрочем, с появлением машины он тут же исчез в номере. Дверь «волжанки» щелкнула, как портсигар, и оттуда выпорхнул министр внутренних дел. Его появление было настолько великолепным и значительным, что воздух сразу стал разреженный, как после молнии. А по набережной, вдохновенно закинув назад курчавую голову и широко размахивая ручонками, спешил к генералу начальник портовой милиции, то есть Борис Романович Шапиро, в сопровождении свирепого и рослого старшины дяди Вани, единственного своего подчиненного. Но он опоздал на рапорт.

И опоздал вот почему. Министр стоит – вот, Шапиро скачет – вот, а вот – исторический балкон. В тот моментум, когда начальник забил ножками по асфальту особенно четко, совсем как в кино, в номере за историческим балконом он услышал ненавистное: «Шапиро – дурак». Причем это был не попугай. Было ясно, что из-за ширмы гостиничного окна решили начальника поддразнить, имитируя голос попугая; начальник еще вспомнил, как вчера, проходя мимо ненавистной кофейни «Пингвин», где собираются блатные в отставке... И эти блатные, с понтом, в отставке, хохоча-гогоча, рассказывали про попку, с понтом, режиссеру, приехавшему на выбор натуры, да еще издалека, видать, показали ему Бориса Романовича. Начальник портовой

милиции возмутился: его сильное тело продолжало шагать, а душа замерла, все поняла и ненавидимым жестом запустила в номер с балконом старшиной дядей Ваней. Но, делая это без команды души, он промахнулся, и Чума опередил его.

Мы же воспользуемся тем, что Шапиро находится как бы вне времени, разберемся, что тут за попугаи еще. В доме с куполом, что напротив «Пингвина», жил *попка*. Кто-то подарил его Габо-маклеру, научив узнавать начальника береговой милиции, то есть начальника дяди Вани, и при его появлении кричать «Шапиро – дурак». Ничего с этим начальник поделаться не мог: не арестовывать же попугая. И не арестовывать же всех в кофейне «Пингвин». Знай Шапиро, кто именно из бывших блатных учудил, так не посмотрел бы на весь его авторитет и запустил бы в него тяжеленным дядей Ваней. А то, что не хозяин обучил мерзкую птицу таким словам, это он понимал. Она принадлежала блаженному Габо, кстати, соотечественнику Шапиро, а такое сложное выражение, как «Шапиро – дурак», Габо сам бы не смог произнести; по крайней мере, так случилось, и потому придирайтесь к Габо означало бы для Шапиро выставить себя в еще более смешном свете.

...Чума отложил гитару, поправил на голове бескозырку, приосанился. Еще мгновение – и подтянутый и стройный бомж чеканным шагом направился к подъехавшей машине. Подойдя к изумленному министру, он лихо отдал честь и четко отрапортовал:

– Менты, вернитесь в кабинеты, потому что Сухум – это город без фраеров и обстановка тут контролируется полностью.

И министр повелся. Покосился на Шапиро, стучавшего каблуками куда-то на кар, от места, где разыгрывалась эта нелепая сцена. Если бы министр был местным человеком и знал бомжа, он бы обратился к нему по имени, пошутил бы – и дело с концом. Но министр лишь недавно был прислан из Тбилиси, тут вообще мало кого знал, не то что городских чудачков, и теперь с ужасом почувствовал, что именно в эту минуту рождается анекдот о нем, который бездельники, пьющие кофе в артистической кофейне напротив, всему городу расскажут и потом уже кар когда эту историю тут позабудут.

Начальник милиции Шапиро запаздывал со своим глупым строевым шагом, Чума же, отрапортовав, продолжал стоять, выстроившись и заглядывая в глаза министру, отчего тот, хоть и был в элегантном гражданском костюме, выглядел безнадежным милицейским чином. Сухумский анекдот складывался на славу: генерал, неожиданно для себя, сделал худшее, что мог сделать – еле слышно, но все же слышно пробормотал: «Вольно!» Он сказал это шутя, но все испортил (точнее, добавил превосходный штрих к новоиспеченному анекдоту) Борис Романович, который, наконец-то, достучал каблуками до министра, но поскольку его место было занято, да еще министр сказал «Вольно!», то ничего лучшего не придумал, как повернуться на каблуках к кофейне и крикнуть туда же: «Вольно!», словно там не любители утреннего кофе сидели, а милицейский взвод был выстроен по команде «Смирно!». Публика разразилась гомерическим смехом: анекдот был завершен.

Министр, человек неглупый, сделал все, что мог, чтобы как-то спасти ситуэйшн. Он вдруг достал портмоне, подарил из него Чуме десятку и отпустил его с миром (жест в общем-то благородный и остроумный в текущий моментум, но в перспективе какой замечательный штрих для анекдота!), а затем не только не выдал своего раздражения на растерянного Шапиро, но, дружески положив ему руку на плечо, направился к публике, чтобы вместе с нею посмеяться вдоволь, а потом запросто пообщаться. Да, он мило и долго говорил с людьми, которые тут же кинулись за *султанским* кофе для министра, и сказал, что в город прибыл английский писатель Грэм Грин, и потому он подъехал сподурянки, чтобы проверить, все ли в порядке на набережной, где иностранец может появиться в любую минуту; да, он предстал перед пьющими кофе в артистической кофейне как скромный и милый в быту министр, тот самый, который, помните, сказал «Вольно!» Чуме, после чего Шапиро прокричал «Вольно!» кофейне. Дальше жанр был озвучен Акопом.

– Какой сделал анекдот, да! – сказал он, добавив смачное словцо и таким образом сполна отомстив за новый фартук и гвоздики на прилавке. С этим анекдотом я и Минаш направились в чайхану Кукури.

Впереди нас никто не шел, а сами мы, купив местных газет, зашли непосредственно в чайхану, расположенную на балконе «Абхазии» рядом с главным входом. Но каким-то образом здесь всё все знали и встретили нас криком:

– Слыхали про «Вольно!»?

– А... хватит уже! – заворчали сухумские «сотрудники» с газетами, которых тут тоже было несколько: это точно – приехал к нам старик Грэм Грин. Чайханщик Кукури, также приодетый в новый фартук, с выражением гостелюбья на лице цвел над прилавком, также увенчанным гвоздиками, хотя еще не факт, что Грина приведут в его забегаловку...

Не курите, дети, дури–

Пейте чаю у Кукури! –

воскликнул он с удовольствием.

– Только при иностранце не вздумай читать свои стишки! – внушали ему «газеты». Говорили они, правда, просящим тоном, потому что публика была на стороне чайханщика, и вообще его импровизированные двустихья всем нравились.

– Поэт-то я поэт, но этим не прокормишься, – вздохнул Кукури, которого задело слово «стишки». – А будете обижать, сниму ваш фартук на кар и вышвырну ваши цветочки!

Мы сели. Минаш ткнул пальцем в заметку на четвертой странице. Я стал читать.

Чайханщик хоть и называет меня Репиным, считает меня корреспондентом, причем московским, потому что Гвидо Джотович своим авторитетом именно это внушил людям, объясняя мое полугодовое отсутствие.

– Сигарет тебе не надо? Есть «Рица»? – окликнул он меня.

– Надо, – сказал я, не отрываясь от газеты. Прогрессивный английский писатель Грэм Грин давно хотел посетить нашу живописную автономную республику, но старику это удалось только вчера вечером, а наша корреспондентка Юлия взяла у него интервью: он в восторге, нет слов! Сухумские не кушают такую лесть; лучше бы Юлия так не писала!

Сигареты чайханщик принес мне самолично, а не прислал со старухой-помощницей. Уважает. Присел напротив меня:

Сигарета «Рица»
Хорошо курится! –

не выдержал он.

– Куриться может гора Бештау, а сигарета хорошо курится! – занудил Минаш. Чайханщик немедленно отреагировал на критику:

Сигарета «Рица»
Хорошо дымится!

– Это другое дело, – ответил я рассеянно и оглянулся по сторонам, но Грэма Грина не было видно. Никуда не денется: появится. В нашем городе все происходит на этом пятачке.

Я читал заметку, медленно потягивая чай. Грэм Грин в восторге от нашей природы, уверяет корреспондентка, она напоминает ему юг Франции, где он в последние годы жизни поселился. Видать, чтобы поближе было к мафии, которой он объявил войну, как писала в «Иностранной литературе» (а мне пересказал Минаш) дамочка, сопровождавшая писателя в качестве переводчицы. Кстати, что он тут мог увидеть, если прилетел ночью? Сегодня его везде повезут, если он дастся: тогда и может прийти в восторг от природы.

Чайхана о нем что-то слышал.

– А Грэм Грин *ваш* – хороший писатель или просто антифашист?

– Хороший.

– А почему он с нами дружит?

Я этого не знал, почему он с нами дружит.

– Американцев на дух не переносит, – пояснил всезнайка Минаш. Все понятно, покачала головами чайхана. Так что совершенно лишним прозвучал следующий вопрос:

– Нобелевскую премию имеет?

Но задал его как раз тот, кто на сухумской набережной слыл человеком, ничего не смыслящим в политике.

– Кто тебе даст Нобелевскую премию, если ты дружишь с Союзом, а американцев не кнокаешь! – вздохнули сухумские.

– У Грина был роман с женой родственника шведской королевы, и родственник королевы на почве ревности удушился в своем гараже выхлопами четырехдизельного автомобиля «вольво», – вновь заговорил Минаш. Беседуя с ним, надо

опасаться выстроить предложение в вопросительном тоне, потому что тут же жди обстоятельного, академически точного объяснения.

Но романтические истории сухумским нравятся. Все начали его слушать. И вскоре поняли сухумские, что не видать Грэму Грину Нобелевской премии: только и остается ему с Союзом кентовать.

– Не говори лишнего, не то объявят тебя ценным мозгом и не выпустят, – напомнил я Минашу, указывая на «сотрудников».

– А ты почему не ходишь с гостем? – спросили меня.

– Боятся, что скажу лишнего.

– Понятно.

А Грэм Грин все не появлялся.

И тут мой мир нарушил дядя Феохарис. Он тоже появился в чайхане на балконе и сразу нацелился на меня взглядом. Пока он, прихрамывая, проходил между столами, мне оставалось, опустив голову, терпеть его взгляд, а сидел я как раз лицом ко входу. Но когда он встал у прилавка, я сам обернулся и стал на него пялиться.

Он положил было на прилавок топорик свой, имевшийся у него под мышкой слева, но тут же, как бы испугавшись, что кто-то его выхватит, поспешно перенес оружие труда под правую подмышку. Таким образом, левая рука у него освободилась, что дало возможность дядюшке искать в левых карманах. Оттуда ему то ли удалось, то ли пришлось извлечь массу трав и флакончиков. Но того, что искал, он не нашел. Продолжая свои усилия, дядя Феохарис сначала стал той же левой рукой рыскать в правых карманах. Рука-то у него достаточно длинная, но, как ни странно, неуклюжая. Не достигнув успеха, он потащил левую руку из правого кармана, а она в нем застряла. Край пиджака дяди Феохариса приподнялся, обнажая серую рубашу. Но вскоре он догадался перенести топор снова под левую подмышку. И был немедленно вознагражден: правой рукой искать в правом кармане оказалось несравненно удобней. И вот, не прошло и минуты, как старик обнаружил в глубине кармана искомую мелочь и успешно извлек ее из кармана. Пригоршня монет расположилась на широкой ладони моего дяди. Но ее было мало для оплаты чая.

– Чай стоит рубль, но ладно... – сказал чайханщик.

Дяде Феохарису ничего не оставалось делать, как обратиться ко мне. Если бы он сделал это изначально, то не пришлось бы ему столько раз переносить топор и искать в карманах. Но дядя не боится трудностей, и ему чуждо иждивенчество. Я едва успел принять равнодушную позу, как быстро, хоть неохотно и вынужденно, он повернулся ко мне со словами:

– Дай, слушай, рубль, чего сидишь!

– Потом заплачу, – сказал я, не поднимая головы от газеты, в которую успел уткнуться.

Он прошел мимо с чаем, бурча и шаркая ногами, и очень скоро его взгляд надавил мне на темя. Я долго терпел, но в конце концов поднял голову. Он уселся как раз напротив, глядя на меня в упор. Я заерзал, но, понутив голову, делал вид, что не замечаю его. Но он знал, что я знаю, что он наблюдает за мной. Переносица моя, отягощенная его взглядом, тикала! Дядя Феохарис неторопливо пил свой чай, а тот, кто в нем, жонглировал взглядом. Время остановилось, несмотря на ритмичное тиканье у переносицы.

Наконец они ушли. Я понял, что они удалились, потому что уже не горели щеки и не тикало у переносицы. Я отдышался и медленно поднял голову. Под сосновыми пальмами, в сопровождении переводчицы и свиты наиболее воздержанных на язык абхазских писателей, шел угловатый и длинный Грэм Грин.

3

– Привет, ребята! Я хочу познакомиться с классиком! – крикнул я с балкона.

Грэм Грин сразу обернулся. Я встал и подчеркнуто вежливо отвесил ему поклон. Между тем один из писателей, с которым я был «одного поколения», отвел руку за спину и оттуда показывал знаками, чтобы я не подходил.

– Я ничего лишнего не скажу! Я просто хочу с вами сфоткаться! – настаивал я.

Писатель-сверстник сделал движение, словно смахивая пыль с плеча. В отличие от Гвидо Джотовича, у которого этот же жест есть проявление нервного тика, коллега предупреждал меня, что «красноперые» следят.

– Дайте мне с ним сфотографироваться! Он же больше не приедет в Абхазию!

– Он только сфоткается! Он лишнего не скажет! – стала болеть за меня чайхана.

Красноперые, услышав шум, стали появляться из-за газет. Они таились только для виду: кто в Сухуме может от кого спрятаться! Они хмуро глядели на меня, но народ принял мою сторону.

Грэм Грин, сумевший разгадать все диктатуры третьего мира сквозь парады потемкинских деревень, что-то почувствовал. Он наклонился к переводчице и спросил, чего мне надо. Она ответила. Проницательные глаза из-под мохнатых седых бровей взглянули на меня. Он что-то сказал переводчице, и они направились к балкону, чайхане.

– Давай, Кукури! – крикнула наша публика чайханщику. – Такого клиента у тебя еще не было!

– Предложи расписаться на стене! – поручил мне чайханщик.

– Скорей за Фото-Каро! Пусть мчится сюда! – распорядился я.

Затем встал, подошел ко входу и уже там приветствовал английского коллегу, словно я был владелец чайной. Он поднялся на балкон в сопровождении обреченных писателей, взглядами говоривших мне, что они только лишь не желали мне неприятностей. Но разве не в тех же советских учебных заведениях меня учили! Разве не знаю я, как надо держать себя в присутствии представителя капиталистического мира! Не бойсь, ребята, все будет в норме! Вот вы посмотрите! Сели за стол. Кукури принес чаю на всех

– Товарищ Грэм Грин! – произнес я и сделал паузу, давая возможность перевести.

Обращение понравилось Грэму Грину. Он взглянул на меня из-под бровей и похлопал по плечу.

– Я большой поклонник вашей политической борьбы, а также ваших романов, – сказал я.

Грэм Грин рассмеялся, что-то сказал, а переводчица уныло перевела:

– Здесь все только и говорят о моей политической деятельности, а вы сказали еще и о романах. Вы что-то читали?

– «Комедианты»! «Тихий американец»! «Наш человек в Гаване»! «Суть дела»! – ответил я без запинки.

– Вы читали достаточно много! Больше, чем кто-либо из моих сыновей.

Я от Минаша знал, что Грэм Грин нажил большое количество сыновей и, чтобы прокормить их всех, вынужден был писать один серьезный роман и потом два для публикации в СССР.

– Советский Союз – наиболее *читающая* держава! – ответил ему человек, которого только что опасались свести с прогрессивным писателем. В моих выверенных ответах старик чувствовал скрытую подколку властям. Он уже понимал, что я не подставное лицо. Он лукаво спросил:

– Вы сказали, что я больше не приеду в Абхазию. Вы имели в виду мою старость и близость смерти?

«Вот таких каверзных вопросов мы и боялись!» – прочитал я в глазах сопровождавших. Но я был начеку. Все будет в норме, ребята! Спокойно!

– Отнюдь нет! Я имел в виду, что при вашей известной проницательности вам достаточно раз взглянуть на ситуацию, чтобы все понять. И вы пойдете осваивать другие области своей литературной империи.

Переводчица, польщенная тем, что выражение «литературная империя» я процитировал из ее очерка в «Иностранной литературе», перевела.

Он выслушал, потом попросил ее напомнить, когда у них намечена встреча в музее и Обезьяньей Академии.

– Уже падают листья? – спросил я у нее.

– Нет, нет, совершенно напротив, мистер Грин будет доволен, что говорит с людьми на улице. А времени у нас еще довольно.

– Можно, братва! – сказал я публике через плечо. И тотчас на столе появились и шампанское, и коньяк, и все такое. Грэм Грин был в восторге.

А Каро уже фотографировал нас всюю. Грэм Грин был приятно удивлен, узнав, что я – сочинитель.

– Сколько у вас книг? – спросил он. Из-за одной газеты появилось три пальца, из-за другой целых пять.

– Четыре! – сказал я, выведя среднеарифметическое, и только после этого понял, как меня подставили.

Грэм Грин, конечно же, удивился и впервые не поверил мне:

– Молодой человек уже автор четырех книг?

Но заминки не случилось.

– Я говорю, что у меня в домашней библиотеке четыре книги любимого мною романиста. А у меня самого пока книги нет.

Неблагодарные газеты опустились в изумлении, словно в отсутствии у советского юноши книги собственного сочинения может быть что-то предосудительное. Даже мой сверстник-писатель пробормотал:

– Хоть сказал бы, что есть одна.

– Я очень щепетилен и пока не считаю, что написал что-то достойное, чтобы издать отдельной книгой, – сказал я, и газеты поднялись. Потом я взял бокал: – За нашу встречу! За нашего гостя!

И Грэм Грин окончательно убедился, что жителям этого причерноморского городка не свойственна обычная для России угнетенность духа – они жизнерадостны и врут охотно, раблезиански.

4

Грэм Грин спросил, может ли он выпить вместо шампанского чачи. Несколько человек из посетителей чайханы вскочили с готовностью сбегать за чачей. Но писатель пояснил, что чача, которую ему вчера подарили в селе Эшера, у него с собой.

– Вам понравилась чача?

– Да. Непременно изготовлю, вернувшись домой. Там с самогонованием не так строго, как тут.

Писатель признался, что всю жизнь пил смесь из трех различных сортов виски. Он назвал их, но я не запомнил. Но чача ему пришлась настолько по душе, что он сожалеет, что узнал о ней так поздно.

– Пьющие чачу живут сто лет и более. Так что вы узнали о ней вовремя, – сказал я ему учтиво.

Выпили за переводчицу. Грэм Грин обернул к ней взгляд старого женолюбца и молча чокнулся. А потом вдруг преобразился и с самой серьезной миной спросил, может ли он поднять тост за сандинистов, которым сейчас очень трудно.

– Да, да, конечно! – единодушно поддержала его публика под одобрительные взгляды из-за газет. – А то американцы, бля, вообще оборзели.

На миг на лице умнейшего старика промелькнуло подозрение, не подставные ли это лица, но лишь на миг. И снова он увидел мирных бездельников, которыми, наверное, полны все кофейни третьего мира.

Писатель спросил мое имя. Попросил переводчицу записать мою сложную фамилию (назвал я не греческую, а материнскую, абхазскую). «Предупреждал же я!» – сказал мне взгляд моего коллеги.

Писатель приехал к нам за деталями. Минаш, жадный слушатель враждебных голосов, слышал по радио еще за полгода, что Грин планирует поездку на Черноморское побережье СССР. А потом, много позже, мне кто-то говорил, будто бы Грин сочинил роман, где противостоят агент «Моссада» и агент КГБ. Там наш агент якобы наделен моим портретом и моим именем. Так что теперь оставшееся время он мог спокойно ездить на обкомовские банкеты и пить столь полюбившуюся ему чачу: свое дело он сделал, расходы оправдал.

Агент КГБ с моей фамилией и моей внешностью работает в самом логове «Моссада». Симпатии автора на его стороне. Он водит за нос израильских шпииков, которые по уши вооружены современной техникой, да еще у них шекеley куры не клюют. А я-то почти на энтузиазме, только с помощью дяди и наставника *товарища Гвидо*... Жаль, что роман не переведен на русский язык. Ничего, когда-нибудь переведут.

В общем, посидели мы около получаса. Вся набережная, а точнее, весь город собрался нас слушать. Старый писатель пил – бывай здоров.

И тут вдруг выясняется, куда они направляются: переводчица поинтересовалась, приличный ли человек товарищ имярек, назвав вдруг Гвидо Джотовича. Я-то пропустил вопрос ее мимо ушей, но все, кто был в чайхане, хором и наперебой стали живописать достоинства моего дяди. Дали понять писателю, что, не повидавшись с Гвидо Джотовичем, он не сможет считать, что познакомился с нашим краем. Представить, что Грэм Грин пропустит такой характерный персонаж, как Гвидо Джотович, так же невозможно, как то, что дядя пропустит такую важную птицу,

как английский писатель. А я кстати вспомнил, что у дядюшки сегодня день рождения и мне надо быть у него по крайней мере к пяти часам.

Писатель и переводчица стали прощаться.

– Скажи ему, Репин, чтобы на стене расписался! – напомнил мне чайханщик.

Я передал Грэму Грину просьбу хозяина. Старик было отказался, но я подчеркнул, что это поможет нашему хозяину. Грэм Грин покорно взял фломастер и написал там, где ему указал чайханщик: «Если это поможет нашему гостеприимному хозяину. Привет».

И расписался.

А протягивая мне визитку, Грэм Грин сказал такое, что я и не знаю, как и чем это объяснить: или он выпил много чачи, или же отвлекся на миг и забыл, где находится, потому что, по всеобщему утверждению, Сухум очень похож на городки юга Франции. Иначе неужели не ясно классику, отношусь ли я к той категории людей, которые путешествуют по загранкам, запросто заходя на огонек к Грэму Грину.

– Будете в Марселе – заходите без звонка! – вот что сказал он.

– Обещай, что зайдешь, как случишься в тех краях, – уже подсказывали мне.

Но тут на помощь то ли мне, то ли Грину, пришла переводчица. Заметив мое недоумение, она подтвердила кивком, что дело в чаче.

Я встретил англичанина в Сухуме.

Я смело пригласил его в кофейню.

Он сносно говорил по-русски.

(«Уж не эстонец ли,» – мелькнуло подозренье).

Толпа зевак нас тут же окружила,

Но я спокоен был:

Мы говорили только о лекарствах.

Он жаловался на стенокардию,

И я из вежливости щупал сердце под рубашкой,

Смущаясь, что она – английское изделие.

И, карточку визитную вручая,
Он пригласил меня в далекий Лондон:
«Как выйдешь, в смысле с поезда сойдешь,
тебе укажет каждый, где живу я!»

Самоуверенный интурист,
Не заманишь ты меня на свои острова.
Да я там задохнусь от туманов!
Я на первом же рауте виски без соды напьюсь!
Я королеву оскорблю
Совершенным незнанием вашего этикета!

Нет, ты к нам ежегодно приезжай
И валютой плати.

ТРИ СВИДАНИЯ С ДОМОМ

1

Античные холмы Абхазии стали именоваться сопками. В воздухе, начиненном опасностью, дышится с волнением. Мой Тамыш знаменит. Каждый день по телевизору с характерным акцентом передают, что он уничтожен. И наш тунговый склон Ануа-рху тоже знаменит.

«Пойдем, посмотришь на свой дом». – «Но как?» С нижнего окопа он хорошо виден. Идем к нижнему окопу. Тут уже ступай осторожно и пригнись. Я ведь еще не привык, я все воспринимаю как пьяный, или словно во сне. Не верю, иду спокойно.

И вдруг начинают стрелять. Не успел мой сородич Степан скомандовать «Ложись», как я упал сам. Упал и дергаюсь, как бы пытаюсь уклониться от пули в последний миг. «Что ты, слышишь, – не в тебя», – утешил Степан.

Доползли до нижнего окопа. В окопе уже все по фигу. Если то, что слышишь, – не в тебя, значит то, что в тебя, – услышать не успеешь! А весь этот адский грохот – для малодушных. Слабое утешение. «За неделю привыкнешь», – заверил Степан. Они с Адгуром стреляют одиночными. Таков приказ Мушни Хварцкии (Мушни, в мирное время археолог, погибнет вскоре), командующего Очамчирским фронтом: патроны наперечет, и вообще одиночными эффективнее.

Сначала меня и уговаривать не надо было – я не высывался. Но Степан стал рыть блиндаж, сбежав за лопатой под жутким обстрелом. Потом бегал за швелерами. Потом принес откуда-то шиферу.

У меня оружия нет, но мне показали, как соединить контакт и крутануть рулетку, чтобы взорвать мины, когда пойдут в атаку.

Иголка (от игольчатого снаряда) мягко вонзилась в глину неподалеку от меня. «У самого его уха вонзилась, чуть не убило», – скажет потом Степан на совете братьев, когда решили спровадить меня в Гудауту. На самом деле иголка вонзилась в метре от меня

и, очевидно, сначала попала в камень и мягко от ricoшетила, иначе исчезла бы в глине. Ведь на стенах тамышских домов эти иголки по самую шляпку снопами вонзены в бетон.

А через дорогу, за эвкалиптами, справа, я видел свой обугленный дом. Как непривычно было его видеть! Он был «объект». За ним сидели грузины. А поодаль море на горизонте перегорожено горами. Способен ли мой страх создать такое натуралистическое видение? Горы: рельеф, цвет, сумерки. Горы так близко на горизонте, что море подобно широкой реке.

Снаряды, пулеметы, трассеры. Как красив бой, если бы не убивало! «Посмотри, как охуели птицы», – сказал Степан. Небо засеял свинец. В небе мечутся птицы. Сколько свинца падает на Ануа-рху, последний оплот села! Я высовываюсь: вон одна бээмпэшка, вторая, седьмая. И вон – пехота. Они даже в атаку не идут! Они уничтожают нас издалека!

Холм задрожал. Задрожало мое село. Взревело, в раз лишившись всех своих сыновей. Только я чудом уцелел, хоть и сижу в нижнем окопе...

А когда на холм спустились сумерки, кончилась и стрельба. И вскоре мы поднимались наверх, к нам присоединились бойцы, которых сменили на позиции.

Все живы! Они потом погибли. Пока только один ранен. Село еще живо. Идут вчерашние мои школьные ученики (я здесь работал учителем), мои сородичи, чертыхающиеся, голодные.

Бой был не бой, а одна из перестрелок ежедневных, чистая туфта. Но для меня – первый бой.

А дом, где я вырос, слеп и черен. Уже поредели выстрелы и отдалились, когда с тяжелым дыханием и безумными глазами упал в наш окоп, чуть на нас не свалился боец. Опомившись, он достал «лимонку» и попытался вытащить чеку, чтобы сбросить ее влево, где начинался откос. «Что ты делаешь?» – закричал на него Степан. «Вдруг там враг», – смутился боец. Он был прикомандированный из штаба. И не прошло минуты, как оттуда, куда хотел бросить гранату наш гость, поднялся наш сосед Митя Тарба. Он нес миску, в которой для каждого бойца лежало по оладуку с сыром. Хорошо, что не бросили гранаты. Позже в Гудауте я видел этого храбреца в штабной охране.

Митя Тарба вручил нам первым оладьи с сыром. И пригласил

в гости. Любитель метать гранаты отказался. Митя приглашал нас на цыпленка с чачей: жизнь продолжалась.

А горы по-прежнему загораживали горизонт непреходящим видением.

2

И вот уже окончательно стемнело. Я, Степан и Адгур идем в гости. (Пусть между ними будет белый камень, как говорит мой отец, потому что Степан вскоре погиб, а имя покойного с именем живого сопрягать нельзя.)

Митя жил за школой, где еще недавно стояли грузины, пока, спалив ее, не отошли к асфальтному заводу. Неподалеку от дома Мити дорогу перегораживал самодельный семафор: их устанавливают на проселочных дорогах, чтобы легковушки не разгонялись и не поднимали пыль. И грузины ни разу тогда не ходили за семафор, словно он их удерживал. А потом и побывали, и пограбили, и сожгли. В нашем селе домов почти не осталось.

Идти надо было осторожно по известным причинам, а еще и потому, что Роман Гадлия с группой был на вылазке: могли встретиться и, не узнав друг друга, начать стрелять.

После курочки и чачи Степан предложил свести меня к дому. Мы шли мимо школы по сосновой аллее. Степан – впереди. Он дошел до трассы и вернулся. Можно было идти дальше.

– Запомни этот запах! – сказал мне Степан. Это был запах разлагающихся трупов животных, которые напарывались на мины-«лягушки». Когда перебежали трассу, с асфальтового завода начали стрелять. Мы – в яму. Но стреляли, вряд ли заметив нас. Стреляли, чтобы «партизаны» не подумали, что там спят. Мимо кладбищ дошли до усадьбы. Наши кладбища – они как бы продолжают общее кладбище вокруг развалин, но огорожены забором вокруг усадьбы, – вроде целы.

Большой дом сгорел, но пристройка, где летняя кухня и винный зал, тогда еще стояла. Потом и пристройку сожгли казачки.

А когда возвращались, в нас стреляли по-настоящему. Но опять не потому, что нас заметили: просто так случилось, что на сей раз ругали партизан, стреляя именно в нашу сторону.

Вроде бы закончилась война. Шеварднадзе еще грозит, но его воины при бегстве оставили так много трофеев, что сами они не прорвутся снова, если российские войска, помогавшие им в подавлении Мингрелии, не пойдут на Абхазию с противоположной от России стороны.

Я присоединился к знакомым, которые ехали мимо Тамыша, желая, как и я, взглянуть на свои пепелища.

Ни одного живого дома вдоль трассы. Сначала грузины жгли абхазские дома, потом абхазы – грузинские. Но как въезжаешь в Тамыш – картина особенная. Буквально на каждом шагу – следы ожесточенных боев. Искореженная техника. Нигде ни души. Как говорится, промчался редкий танк – и тишина. Вдоль обочины, у края кладбища, за которым наш дом, была позиция. Стало быть, тут заминировано. Дом мой в двухстах метрах, но идти туда страшно.

Я стоял у обочины некогда оживленной, а ныне почти заросшей травой трассы, пока не подъехал тяжелый танк Т-55. Два брата, мои соседи, вышли и обнялись со мной. Как о чем-то обыденном, сказали, что убило их младшего брата. Я вздохнул, выражая свое соболезнование. Я понял, что они сообщают мне: убило на войне их брата. А потом от отца узнал, что их брат был убит вчера и еще не похоронен.

– Идти домой, родители как раз там. Ступай посередине дороги, как свернешь, – сказали они.

Иду назад мимо сожженных дотла домов моих сородичей. Миную следы позиций, сворачиваю на проселочную дорогу и направляюсь мимо кладбища к отчому дому. Ступать так неприятно. Мне уже приходилось видеть, как человек ступил на «лягушку»: черный столб – и мгновение спустя видишь его, черного, похожего на черта, и вместо одной ноги – костыль из костей. Семейное кладбище цело. Забор цел. Ворот нет – стащили. Зеленой лужайки перед домом – самой красивой из того, что было в нашей усадьбе, – тоже нет. Она заросла сорняком-травой. Сожжены и дом, и хлев – только кукурузный амбар почему-то уцелел.

Между домом и пристройкой на бревне сидели отец и мать. Они сами пришли недавно. Увидев меня, закричали. Ведь я прошел там, где все-таки были мины. Отец показал мне длинный

бамбуковый шест, к концу которого он приторочил железяку. Он прошел к усадьбе, стуча этим шестом перед собой, а за ним по следу ступала мама. Один из последних боев был по ту и по эту сторону трассы. Грузины сидели в школе, абхазы на кладбище, а наша усадьба как раз позади, по прямой. Редкое дерево в нашем саду не было ранено осколком. Им было суждено скоро высохнуть. А многие уже высохли. Как странно: уцелели декоративные, вроде требующие ухода, особенно кокетливо цвела роза-барселона, а высохли коренные, неприхотливые яблоня, алыча, инжир, хурма. Старик не обкапывал их, не лечил, они и не нуждались в этом, но в его 13-месячное отсутствие высохли, как бы подтверждая теории сельских романтиков о связи сада с хозяином. Когда твои родители перенесли блокаду, более длительную, чем ленинградская, и когда ты их не видел четыре месяца, надо броситься им в объятия, что я и сделал. Но мои родители не умеют обнимать-целовать своих чад. Я их только смутил. Отца в особенности.

Я усадил их на бревно, а сам – напротив, в персидской позе. Отец вздохнул. Мать проделала то, чего от нее не помню никогда: погладила мне руку. Потом заплакала. «Дура!» – рассердился отец, и глаза увлажнились у него, отчего он еще больше смутился и насупился.

– Встань и коси, не видишь, как все заросло! – сказал он и пошел прочь.

А разве коса есть? Ведь все забрали – и косы, и лопаты, и мотыги, и все инструменты, и плуги, и конную упряжь, непонятно, зачем это им нужно.

А отец, оказывается, из Джгерды принес с собой косу! Из горной деревушки, ставшей одним из многочисленных его пристанищ в годовом странствии по родичам, из деревушки, куда враг не поднялся, а только обстреливал из установок «Град».

Я начал косить путь к колодцу. Коси коса, пока роса! Я косил, и пот, как слезы, застил мне глаза и заливал лицо. Одну за другой я скидывал с себя пуловер, рубашку, тельняшку.

– Оставь его, пусть мальчик отдохнет! – сказала мать.

– Тогда принеси воды из речки, – велел отец.

Я пошел к речке с банкой (ведра нет), потому что из колодца не хотели пить: наверняка в него нагадили. Конечно, отец играл в такого Тараса Бульбу, о котором он и не слышал. Ему было приятно меня видеть.

Потом, когда я вернулся с водой, мы сели и говорили, пока мне не стали сигналить с трассы. Отец с мамой вышли провожать. Отец опять впереди со своим шестом. Отец сказал, что глава администрации обещал ему, разумеется, при первой возможности, а не в этом году, выделить сборный финский дом.

– Я же – фронтовик! – сказал отец, имея в виду Великую Отечественную. Я сел в машину. Мы проехали уже до Кодора, тут только я вспомнил, что уже скоро вечер, что добраться до Джггерды мои старики уже не успеют. Но я не стал просить друзей разворачиваться: у всех свои беды – война ведь...

13–14 ноября 1993 г.

СВИРЕЛЬ



Не стану признавать жизнь за учителя, сколько бы ни была она по голове. Я иду по горам. В небе банальные орлы, словно в стихах о Кавказе. И холм 1, и холм 2, и холм 3. Я – злой и усталый. Вещмешок с грузом не менее двадцати килограммов отягощает плечи. А душу отягощают мысли, которые не удалось стряхнуть с себя, когда, перешагнув пределы низовья, вступил в горы, где все должно быть по-иному.

Я смотрю окрест: все красиво, как и должно в горах. Но не менее, чем грузом за плечами, раздражен отсутствием ожидаемой благодати. Вдалеке угадываются звуки. Кажется, свирель.

Стало быть, недалеко пастухи. Скоро-скоро по пути меня настигнет ночь, и звук свирели выведет меня на дорогу до охотничьего балагана, где можно переночевать.

Нет, никогда не уступлю жизни учительского права бить меня по голове. Вот и тут: мне незнакома не только топонимика знаменитых этих окрестностей, но и все, чем они знамениты. Горы перед собой называю про себя: холм 1, и холм 2, и холм 3. Солнце, обычное, как в низовьях. Солнце без лучей, без сиянья, как вырезанный в небе круг. Разреженный воздух вызывает сердцебиение, от чего за плечами еще больше тянет своя ноша весом в двадцать килограммов. И близость заката напоминает, что еще далеко до становья.

И вдруг – свирель.

Я присел отдохнуть, вернее, рухнул от усталости, и вещмешок стал мне подушкой. Вон – перспектива простора, вон – в небе те же орлы. Хочешь ручья – он журчит слева и справа, хочешь воспетого поэтами безмолвия – вот и оно. Думки те же, лишь стали патетичны, как окрестность.

Страх разочарования во мне сильнее стремления к счастью, и потому я больше соглядатайствую, чем живу. Небеспрдельно мое смирение, и избирательна моя любовь. Тому, кто пальцы грел у горевшей моей колыбели, гроб уже не отдам на дрова.

Но вот снова до слуха доносится голос свирели. Сначала он был едва различим, но затем, когда я прислушался сквозь говор ручья, он стал слышен все ярче, все отчетливей – храпящий звук простой пастушьей свирели. И следом звук этот стал объемным, что ли, и заполнил всю окрестность. Внутри свирельного хрипа оказались и холм 1, и холм 2, и холм 3. Да, конечно, я зол. Скоро конец тысячелетия. Мне сорок семь.

Я вижу треугольник овец на первой горе, и вторую отару на второй горе, и третью на третьей. Где же сам пастух притаился с простенькой свирелью из тростника?

И сразу становится стыдно, что не знаю легенд, которые веют над темнеющими скалами: и первой, и второй. И третьей. Здесь, на моей тропе, еще светло, а три горы уже вобрали в себя сумрак, только синий цвет с вкраплением золотого мерцает над их головами; только овцы слоновой кости не отарой, а птичьим косяком плывут по их дрожащим склонам.

Откуда льется свирель? На какой из скал – первой, второй или третьей – сидит этот Божий пастух? Неужели его свирель только для того объяла окрестность, чтобы отара потянулась к нему косяком? Разве не вкладывает он чего-то большего в свирельный хрип? Душа в смятении. Свирель.

И мне захотелось, чтобы время замерло, остановилось. Чтобы время не включилось никогда. А если невозможно ему не включиться, то надо, превратившись во что-нибудь – в траву, в ручей, в изваяние, – остаться тут навсегда.

Так оно и будет, когда уйдут мои думки и останется только свирель.

Когда я был несмышлен и мал, как-то утром брел неохотно в дом знаний и увидел отражение неба в дорожной луже. Тогда я подумал, что в 2000 году мне стукнет сорок семь лет. Я свернул с дороги, зашел на кладбище и спрятался в развалинах церкви, в зарослях ежевики, и до самого вечера с ужасом думал о неизбежности взросления. И даже когда стемнело, когда зашумели,

зашептались ветви тиса и конфетного дерева, мне было страшней – видение синего неба в луже после дождя и сознание, что на исходе тысячелетия мне будет сорок семь. И точь-в-точь как утром не хотелось идти в дом знаний, так и тогда не хотелось возвращаться в отчий дом. Так и просидел на кладбище, в развалинах дома Отца нашего Небесного, пока, крича, гикая, стреляя, безобразничая, меня не кинулось искать все село.

Свирель. От звука твоего душа в смятении.

Смятенная душа, свирель навевает на тебя тоску. Да, конечно, это сладостная тоска, и лишь бы она не кончилась. Все замерло в неподвижности, а почему же солнце медленно уходит за холм 1, за холм 2, за холм 3? Ах, я и забыл, что где-то существует время. Свирель.

Это уже не страх от шелеста листьев на старом кладбище и не страх перед будущим. Свирель поет уже про другое. Тут тихо журчат ручьи слева и справа, а свирель намекает на двери рая.

Но что он знает о рае, малограмотный пастух? Дверь в рай, она совсем невообразима для меня, прочитавшего так много книг. Разве что дверь в рай – это моя усталость. Потому что, как говорят эти книги, там повсюду журчит вода, как и тут, внутри свирельной трели.

Лежу на альпийском лугу, обняв одесную овцу, а волка – ошуюю, и вместе мы внимаем пастушьей свирели.

П О В Е С Т И

КРЕМНЕВЫЙ СКОЛ



Введение

Саша, в той стране, где ты, плутовка, замужем, то есть во Франции, и где тебя, наверное, называют Сашель Виногради – с ударением на последнем слоге, – вспоминаешь ли ты иногда Абхазию; пейзажи французского побережья, по всеобщему утверждению, так напоминают пейзажи нашего края, и черный кофе на их курортах готовят армяне, такие же, как наши, только с шармом Азнавура?

Могу же я с тобой по-прежнему на ты и просто Сашель?

Не забыла Хуап, нашу Пещеру кремняка – стоянку палеолита и удивительную Стену?

Вы приехали туда с подружкой, чтобы помочь Мушни и Нине в их одиноком поиске тех, кого Нина называет рыжиками, а я, вслед за Мушни, упорно именую кремняками. И правильно сделали, что приехали помогать. По утверждению специалистов, такой интересной стоянки позднего палеолита не встретишь не только на Кавказе, но и «в целом по Союзу». Но Музей уже не был в состоянии отпускать средства, чтобы Мушни нанял рабочих. Прежде еще можно было в летние каникулы завлечь студентов поработать за просто так, соблазнив их горным воздухом и купаньем в чистой студеной реке. Но и студентов надо, по крайней мере, кормить. Так что приходилось Мушни и Нине работать вдвоем. Такие помощники, как я да Руслан Гуажвба, только вносят суету; от нас больше вреда, чем пользы.

Добирались вы автостопом. Надо же: забыл, как звали твою подругу! До Гудауты вас довез некий сын побережья на белой «Волге» и всю дорогу не только не насильничал, как следовало ожидать, но даже не говорил с вами. Лев был сыт, сказали вы. А до Хуапа добирались скромнее: в кабине грузовика, который вез зеленое золото. Не успели вы познакомиться со мной на

остановке, как тут же стали свидетелями того, как ценит меня народ: водитель грузовика, увидев меня, «голосующего» на повороте в вашем обществе, развернул машину, груженную зеленым золотом, которое он привез в Гудауту, чтобы сдать на фабрику, – а чай быстро портится: сгорает, – и повез нас в Хуап, хотя ни одной моей книжки не читал, а только знал, что я – «писатель».

Ты принялась тогда убеждать меня, что неандерталец существует, что своими глазами видела рыжика в горах Осетии. В экспедиции, которую вы с подружкой покинули самовольно.

Помнишь, мы еще ездили в Гудауту, где мне пришлось звонить в Москву твоим родителям и родителям подружки. Вам надо было убедиться, что родные не знают о вашем путешествии в Абхазию и считают, что вы в экспедиции, вместе с курсом. Мне пришлось спрашивать на голубом глазу, где, дескать, вы находитесь, и услышать утешительное для вас, что вы в Осетии, на летнем студенческом выезде, в экспедиции по изучению палеолита. Плутовки!

А потом мы зашли к моим друзьям. Эти ребята вам так понравились: Баграт Гицба, Меджек Ажиба, Пазик Лабия. Они все убиты на войне!

А то, что погиб Мушни, – ты, конечно, знаешь; ты ведь наверняка поддерживаешь связь с Ниной.

Там, в Хуапе, было тихо, спокойно, просто здорово. А в Сухуме уже к этому времени люди принялись дышать друг на друга ядом, разделяясь по национальному признаку.

Правильно ты сделала, что вышла замуж за француза, если даже не по любви!

Хорошая ты была девушка. И та. Жаль, забыл ее имя. Именно с ней мы сидели на холмике, что пониже Пещеры, на стволе сваленного ветром дуба. Помню, когда я указал ей на Город: на слонового цвета дома, вдруг появившиеся вдалеке, на берегу моря. Надо было очень захотеть, потом всмотреться в горизонт и ждать – и тогда Город на секунду высвечивался из закатной дымки над мысом; он будто зажигался и гаснул. Это было похоже на мираж, но перед нами лежала далеко не пустыня. На ее вопрос, как по-абхазски называется Город, я сказал: Acuta, хотя, слово это архаическое, полузабытое, а сегодня говорят «а' kalak».

Это было так удивительно, будто мы увидели НЛО. Еще позвали всех, чтобы показать Acuta, но, когда вы, отложив работу, пришли на наш зов к этому месту у края холма, видение уже не повторилось. Стали подшучивать над нами: не умеете, дескать, уединиться друг с другом – и вы тоже, кстати! Только Нур-Камидат вдруг разгорячился, доказывая, что он тут родился и живет все время, если не считать коротких отлучек на всесоюзные конные спартакиады, что ему, как аборигену, весь ландшафт достался по наследству от самих кремняков и что он прекрасно знает: Пицунда отсюда никак не может быть видна, зато она прозревается, как на ладони, с крыльца его дома, лишенного достойной хозяйки. При чем тут Пицунда? А если не Пицунда, тогда что это могло быть?

И все же мы с твоей подружкой видели Acuta – Город, полученный человеком взамен райского сада, откуда он был изгнан после того, как, надкусив плод, перестал быть кремняком и перестал видеть в небе...

Ты не забыла Нур-Камидата, который приезжал верхом на красивой белой лошади? Он был в красных жокейских штанах и, подчеркивая свою горячность, вращал глазами не хуже нашего Руслана Гуажвбы. Он еще разрешил вам «покататься» на своем скакуне, благоразумно держа его под уздцы, зато потом допоздна докучал своими бесконечными сбивчивыми рассказами, хвалился медалью, верностью КПСС, племянником-головорезом. А также, смущаясь перед Мушни, исподлобья бросал на Нину красноречивые взгляды.

Он и тогда привез нам грушу сорта кефир.

* * *

Лагерь – Стоянка археологов – располагался на берегу быстрой и очень чистой речки Ягырты, под холмом Святая Гора, а Пещера – Стоянка кремняков – повыше, на другой горке. И тут же Стена – срез почвы, носящей отпечаток сотен (или все-таки десятков?) тысяч лет. Я тоже как раз приехал, днем раньше; буквально приполз, спасаясь от очередной депрессии, в эту горную деревушку Хуап Гудаутского района, где археологи Мушни Хварцкия и Нина Полякова раскапывали пещеру палеолита. Это было в самом начале

националистической революции в Советском Союзе. В городах уже становилось душно, но деревня еще держалась.

Я приехал – и депрессии как не бывало! Днем купанье в Ягырты и прогулки по заповедному лесу, а ночью беседы с археологами у костра, главным образом о праотцах-кремняках, очень быстро излечили меня, и я даже начал там сочинять эту сказку, что является свидетельством счастья.

При мне поднимались к вам ребята с телевидения и сделали фильм. Там было шутовское интервью, которое я брал у Мушни в лагере под навесом: существует в природе кремняк или нет? Этот фильм, и в особенности наши байки о том, что он существует и говорит по-абхазски, возбужденные зрители восприняли настолько серьезно, что уже не домашний головорез наш, племянник Нур-Камидата, а настоящие бандиты являлись к Мушни с требованием по-честному поделиться с ними найденным золотом кремняков, намекая на то, что деньги пойдут на народное дело. Мушни пришлось прочесть добросовестную лекцию, убеждая их, что кремняки на то и кремняки, что не знали не только золота, но вообще никаких металлов.

– Мы уж подумали: античный период, – успокоились головорезы и оставили археологов в покое.

Эту повесть как раз в те дни я начал записывать карандашом на кальке. Героями ее стали неандертальцы (а теперь выясняется, что описанные мной особи – скорее кроманьонцы), с одной стороны, а с другой – мои друзья, по крайней мере в Абхазии всем известные. И потому ни имен, ни характеров их я не изменил. В том же 90-м году, с продолжением на 91-й, эта сказка-репортаж печаталась в абхазском детском журнале «Амцабз». Правда, редактор попросил, чтобы современники при публикации все же были даны под псевдонимами. Начнутся толки, дескать, время такое на дворе. Но зря он беспокоился: повесть, кажется, никто и не прочитал, кроме сотрудников редакции. Она не дошла до читателей-детишек. Уже началась перестройка: бастовало министерство связи и начальство почты, а рядовые сотрудники, не зная, что делать, тоже не ходили на работу, а слонялись по митингам и голодовкам. Теперь же, когда наша судьба совершила такой неожиданный зигзаг, когда большинства моих героев нет

в живых, я, французский писатель кавказского происхождения, при осуществлении литературного проекта работающий с русской лексикой, подвергаю *unegase* их подлинные имена: это будет справедливо. Только посвящение Нине и Мушни приходится снять. Из суеверного нежелания сопрягать имя живой с именем погибшего. А ведь еще в том, самом первом, варианте, который я успел и написать, и опубликовать задолго до гибели Мушни, еще когда не хотелось верить в возможность войны, есть эпизод, где он, Мушни, поставил ногу на Мост, за которым ему был явлен запредельный мир!

Я хотел сочинить сказку и только сказку. И сейчас, расширяя ее в соответствии с требованиями французского читателя, я бы не хотел отходить от безмятежного сказочного мотива. Только жизнь распоряжается иначе: есть имена и есть слова, которых уже не подвергнешь *delete*'у.

Итак, перефразируя традиционно-французское и кокетливое: «Все совпадения с жизненными реалиями не только не случайны, но и закономерны».

Верно, Сашель?

Было это осенью 1989 года, в замечательной деревне Хуап Гудаутского района Абхазии, у замечательной Стены.

Часть I

Стена

Он так и сказал археологам, что выехал на обычную прогулку, а по дороге решил: дай-ка заверну к «кремнеискателям», посмотрю, как выглядит наша история, которую они раскопали.

Но Камидат, он же Нур, явно лукавил: разве станет джигит гнать просто так чистокровку в гору, по кремневой тропе? И кто, выезжая на прогулку сквозь колючие заросли ежевики и сарсапареля, наденет ярко-красные жокейские штаны и новенькую белую рубаху? Да еще чтобы на груди посверкивала медаль, да еще из кармана нарочно чтобы выглядывал партбилет. И эта полная сумка груши кефир.

– Да, действительно, женат я был несколько раз, точнее, три раза... Но нынче холост! Дык! За мной огромное хозяйство... Женщина должна уважать все это! – говорил он и говорил. – Хоть и не скрываю, что неуживчивый... и несколько нервный! – признался Нур-Камидат, при этом, словно в подтверждение сказанному, все теребил и теребил, все крутил да крутил волосы у виска.

Прилежно очищая ножом Стену, Мушни прятал улыбку в свою вакхическую бороду. Он выпрямился.

– Нуклеус, – объявил он. – Нина, пойди, выстрели!

Нина поднялась на Гладкий Камень, к нивелиру. Мушни аккуратно стер с находки землю, пронумеровал ее и уложил в коробок. Затем встал, держа метр над тем местом, откуда извлек камень.

– Сто восемьдесят семь и три, – крикнула Нина, заглядывая в объектив нивелира.

Это и означало выстрелить. Мушни занес на карту данные.

– Покажи-ка, что ты нашел! – заинтересовался Нур-Комидат. Мушни протянул ему камень.

– Это – оружие? – копаясь в коробке и перебирая камни, засомневался гость. В оружии и в лошадях джигит как-никак разбирается.

– Орудия. Орудия труда.

Но посетитель еще долго убеждался, что держит в руках не простые куски кремня, а обработанные. И обработанные еще

отцами наших отцов в незапамятные времена. Все, что носит на себе следы древности и побывало в употреблении у предков, джигит уважает и чтит, но при этом не должно быть сомнения в подлинности предметов.

Наконец, убедившись, что ему говорят правду, пробормотал:
– Дык!

* * *

Сашель, ты уже читаешь сам текст. Записки Мушни я чередую с записками Нины, исходя из соображений композиции. Оба текста, разумеется, мною отредактированы, причем настолько основательно, что я дал себе право вести повествование от третьего лица. У застенчивой Нины, кстати, так и было: в третьем лице. Что же касается записок Мушни, то они обрываются на самом интересном для читателя месте, где читателю хотелось бы найти его приключения за Валуном, в те неполные сутки, что он пробыл в обществе кремняков. Считаю, что поработать над стилем я был вправе: в том виде, в каком рукописи ко мне попали, их нельзя предлагать французскому читателю.

Шел третий год с тех пор, как Мушни с Ниной обнаружили в Пещере стоянку кремняка, так называют между собой археологи неандертальца (или кроманьонца?). Расчистить вход в Пещеру кремняка, обнажив Гладкие Камни, они уже успели. Но до последнего времени археологи довольствовались редкими находками, которые, однако, убеждали их в том, что дальше обнаружится нечто более существенное. И вот, наконец, в этом году они добрались-таки до богатой, насыщенной Стены.

Насколько просто запечатлеть Стену для Гиви Смыра: он же художник. (О нем ты можешь справиться во французской энциклопедии. Там, правда, Гиви значится как спелеолог, как Тигр вертикальных пещер и первооткрыватель Новоафонской пещеры, а мы его ценим первым долгом за его скульптуры в камне и живопись, которыми он выражает свои языческие видения.) Еще проще Марине Барцыц: щелкнула фотоаппаратом, проявила, напечатала – и все на слайде видно. Но нелегко передать величие Стены только вербальными средствами. Можно, конечно, просто процитировать отчет археологов в «Вестнике» ЛГУ, но и он доступен пониманию только специалиста, несмотря

на изобилие таких эмоциональных выражений, как «особенно впечатляет слой Б или «затем следует совершенно неожиданный слой С, который дает возможность судить...» и так далее. Могла бы помочь Александра Юрьевна Виноградова, красноречивая и красивая, но ведь она, даже не закончив истфака ЛГУ, вышла замуж за француза и теперь живет с ним в его республике, дай Бог ей с французом мира и согласия!

Стена – это срез археологического слоя высотой около трех метров, который время возводило полсотни тысяч лет. (Воображаю, как будет возмущен Мушни, обнаружив такую чудовищную приблизительность: около трех метров. Для него и для Нины значителен каждый миллиметр, потому что этот миллиметр свидетельствует о целых веках! Нужны теодолит и нивелир!)

Это, повторяю, не литературная игра, а важный для меня факт: то, что все персонажи – мои друзья и выступают под своими именами (кроме директора Музея, потому что он человек слишком почтенный, а также Игорька, потому что он слишком обидчив, но его и так все узнают). Я никого не придумал. Ну, разве, что кремняков, которых, можно считать, почти и не видел: в их описании автор, то есть я, автор репортажа, опирается на рассказы Руслана Гуажвбы, который, ты знаешь, даже после дюжины стаканов изабеллы бывает точен, очень точен.

Далее... По чередованию глины, суглинка и угля на Стене можно судить об изменениях климата, растительного мира и образа жизни на Земле с тех пор, как десятки тысяч лет тому назад здесь поселился человек, найдя выгоды этой пещеры в том, что она располагалась на берегу речки, только эта речка теперь серебрилась внизу, на дне обрыва не менее пятидесяти метров глубиной, где она оказалась, в течение этих самых тысячелетий постепенно углубляясь, обтачивая камень и опускаясь ниже и ниже.

Жизнь человечества, как жизнь человека, движется, смыкаясь в колесо. Назовем это колесо Золотым.

Да, богата находками Стена. И все же археологи обнаруживали только орудия труда, а сами человеческие кости не попадались ни разу, потому что останки первобытного человека в целом мире находят весьма и весьма редко, в сохранности же – поч-

ти никогда. В каменную эпоху – как утверждала Нина и с чем приходилось соглашаться Мушни – в отличие от более поздних формаций, человек, простите за подробности, съедался полностью, с костями.

Чередование слоев на Стене археологи нумеровали, как и положено: 1А, 1Б... 4А, 4Б.

Чачхал в пути

Автор осознает (уж не обессудь, Сашель: я не просто письмо чужой жене тут строчу, а сочиняю художественное произведение, написанное в форме послания знакомой, – иногда так приятно следовать старомодной традиции, то есть говорить о себе в третьем лице, ласково именуя себя автором; так старослужащий в армии в период от приказа об увольнении до настоящего дембеля величает себя не иначе как «дедушка»!) – автор осознает, что повесть эта, несмотря на всю свою правдивость, по форме представляет собой типичную фантастику, и, сочиняя, необходимо соблюдать правила. В триллере, как учили автора в различных учебных заведениях, в которых он спасался от обвинения в тунеядстве, необходимы погоня, саспиенсы, параллельный монтаж и многое другое, что ускоряет темп рассказа. Именно поэтому автор вводит в повествование (смиренно предлагая читателю) новые линии и новых героев в ущерб единству времени и места. Появятся в нашем рассказе: и Ермолай Кесугович, жадный до научных открытий, но тяжелый на подъем; и Игорек, пытающийся его опередить при посредстве йога С. Х. Пулиди и жены его, доктора Аннушки; и гудаутская милиция, невольно помешавшая этой несправедливости. Все эти линии, безусловно, оживят рассказ, придадут ему больше драматизма, без чего не могут французы, эти неисправимые декаденты.

Итак, Чачхал и Руслан!

(Одно дело тогда, в 89-м, когда повесть писалась на абхазском и для Абхазии – маленькой страны: там все всех знают, а тем более Чачхала – при одном упоминании его имени все улыбнутся, а потом грустно вздохнут. А теперь следует предупредить читателя: читайте дальше, мусье, там все будет написано!)

На ритуальном утреннем кофепитии на Сухумской набережной, а именно в редакционной кофейне перед гостиницей «Рица», – а те, кто бывал в Сухуме, знают, что с раннего утра жизнь города сосредоточивается в кофейнях, которых такое множество, что люди выбирают их по интересам, – Руслан Гуажвба затосковал. Начинался погожий день, солнечный и веселый. Руслану совсем не улыбалась перспектива идти и запираяться в полутемной рабочей комнате Музея. «Сегодня четверг, два дня до конца недели, их можно и пропустить, жизнь коротка», – думал он. Его потянуло, как говорится, к сельскому уединению.

Он живо представил себе археологическую стоянку в селе Хуап. Внизу шумит, разбиваясь о камни, речка Ягырта, поют в чаще птицы, а ты вылавливаешь из-под земли таинственные кремневые сколы, и это намного сильнее захватывает, чем банальная ловля рыбы. И пытаешься представить жизнь далеких предков, и делишься своими мыслями с друзьями-археологами – и ваши мысли совпадают. А вечером – ужин в доме Мирода, его дяди: индейка, которую тетя Нелли сначала тушит целиком и уже потом поджаривает на вертеле, предварительно сдобрив аджикой и приправами. Вымоченное в острой подливке из свежей алычи с кинзой мясо так обжигает нёбо, что только стакан-второй шипучей изабеллы может унять пламя во рту... Нет, сначала легкий завтрак: листья сарсапареля и крапива с орехом – да, именно крапива, но непременно нежная и свежая, – шашлык из буйволиного мяса, прокопченного над очажным костром, сыпучий козий сыр с аджикой, поджаренный на постном масле, и мало-сольный ахул – кольраби, – и запивать виноградной чачей, но ее не слишком, а стопки три, а потом вина, но уже не изабеллы, а терпкого качича, вина чрезвычайно редкого, гостевого, которое даже Мирод припрятывает для самых близких... Только такой легкий завтрак, потому что надо скорее подняться к археологам, – ты еще им тачку обещал доставить, – а описанный ужин потом, вечером. Утром следующего дня – снова на раскопки, выпив: сначала стопку-другую чачи, в качестве закуски согрев на углях сухой мамалыги и поджарив на них же копченого сулугуна; затем несколько стаканов белого вина из кувшина, дядя Мирод называет его еще корабельным вином, – и в путь, и на работу!

Мысли Руслана, перескакивая с закусок на раскопки, окончательно улетели в Хуап. Надо было ехать и собирать эти мысли.

Очевидная и легкодоступная перспектива праздника для души и тела! Только найти, на чем до Хуапа доехать.

Если бы Чачхал согласился, то все проблемы с поездкой решились бы автоматически. А Чачхал как раз у соседней стойки что-то рассказывал своим хриплым басом – или, как выразился бы он сам: «заливал» – компании, окружившей его тесным кольцом. Но видно было, что публикой он недоволен: хорошо слушали, но плохо вникали.

Руслан открылся ему.

– Поедем в Хуап, – предложил он. – Надо Мушни помочь, а то они с Ниной загибаются там, копая вдвоем...

Чачхал был легок на подъем. Предложил ему ехать немедленно в самый дальний край, – разумеется, Советского Союза, кто бы Чачхала за границу выпустил! – и то бы он раздумывал не дольше мгновения, хотя и дома ему было хорошо с любимой женой, кроткой Мадиной, и трудным, но воспитуемым – лишь бы время! – мальчиком Дадыном. Правда, в воспитании Дадына участвовало полгорода: встретив шалуна, неохотно идущего в школу или из школы, приятели Чачхала считали своим долгом ему сказать: «Ты маму слушайся, парень! Понял?» – и если семилетний парень не отвечал сразу же: «Понял, понял!», то повторяли сентенцию еще раз.

Так что – в Хуап так в Хуап.

– Базара нет! – ответил Чачхал, что означало: тут и говорить нечего, конечно же, едем!

И вот он уже окидывал своим пронзительным взглядом посетителей кофейни и их машины, которые они ставили напротив у входа в гостиницу. А посетители кофейни, точнее, те из них, что подъехали на машинах, насторожились, не зная, кому придется везти Чачхала в дальние края.

На сей раз выбор пал на голубую «шестерку» и ее обладателя. Хозяин стоял у стойки и пил кофе, уверенный, что пять минут спустя эффектно воссоединится с машиной, дожидавшейся его у входа в гостиницу, сладостным доказательством его преуспевания.

Чачхал остановил свой выбор на этих самых машине и водителе.

– Срочная поездка, – вскользь бросил он водителю у стойки.

– Чачхал, совсем нет времени, – пытался возразить тот за себя и за машину, но Чачхал не слушал, потому что ему было не до сантиментов: он уже отдавал распоряжения на период, когда будет отсутствовать в Сухуме. Машина подходила, а что касается водителя, то за него он был спокоен: тому еще предстояло испытать положительные эмоции, когда в дороге он узнает, что взяли его вместе с машиной все-таки не куда-нибудь в Махачкалу, а сюда, в Гудаутский район.

– Там, в Хуапе дело, парень! – сказал Чачхал сурово.

– Мушни кремняка поймал! – соврал Руслан.

А ему многие верили. Постояльцы кофейни бурно отреагировали на праздную реплику Руслана.

– Мужчину или женщину? – посыпались вопросы со всех сторон.

Руслан растерялся. По жизни он сбrehнуть – будь здоров, но как ученый предельно точен. Можно соврать, что неандерталец найден, но подробности – это уже наука!

– Конечно, женщина! – пробасил Чачхал, усаживаясь на переднее сиденье рядом с водителем.

Дверь, кстати, он отпер походя своим перочинным ножом с серебряной цепочкой, причем так ловко, что только хозяин понял это с ужасом. Но Чачхал открывал умело, не ломая замки.

– Правда, что она говорит по-абхазски?

– Правда? Правда? Правда? – уже вдогонку вопрошала встревоженная кофейня.

– Она немая, – решил оставить за собой последнее слово Чачхал, из множества способов прекратить дальнейшие расспросы выбрав именно такой прием: кремнячка – попросту немая, и уже не имеет значения, на каком языке она немотствует.

Имеет значение, да еще какое! Ибо не наука сама по себе, а политические выводы из нее интересуют толпу. Толпа готова при случае даже взять на себя содержание ученых, лишь бы их поиски продолжались в интересующем ее направлении. Толпа требует от науки не открытий, а подтверждений. А в то маргинальное время, когда все слои населения были толпой, любая научная новость

должна была служить единственной цели: утереть нос недругам которые, в свою очередь, с гораздо большими возможностями заставляли собственных ученых заниматься тем же самым.

– Как – немая? Что значит: немая! – возмутилась кофейня вслед машине.

Машина уехала, а в кофейне долго недоумевали, как же это Мушни поймал кремнячку, да немую. Не мог он, что ли, подобрать говорящую, чтобы по телевизору показать, что кремняки говорят именно по-абхазски, и еще раз доказать им, что мы на своей земле ни с кем не разделяем своей автохтонности! А такие понятия, как автохтонность и аборигенность, наравне с понятием статуса, кворума и эпиграфики, были тогда не только всем знакомы, но и полностью занимали мысли и чувства людей.

К тому же упомянутая телепередача о хуапских кремнях была показана недавно. Она запала в душу зрителям. Никто не сомневался в том, что кремняки вот-вот обнаружатся. Все опасались, что их могут перехватить и подкупить, как это делали частенько с заезжими журналистами и представителями различных международных организаций: не успеет тот выйти из Народного фронта Абхазии, как через час его видят в сванском ресторане с поросячьей ножкой в зубах в окружении грузинских неформалов.

– Дождется Мушни, – клокотала кофейня, – что выхватят у него из-под носа кремнячку, не только не немую, а без умолку говорящую на одном из грузинских языков!

А Чачхал и Руслан уже были в пути.

– Ахахайра! Хайт! Хайт! – издал традиционный абхазский боевой клич Руслан. Он был доволен.

* * *

Говорят же, что джигит с конем своим составляет одно целое. Так и водитель, которого выбрал Чачхал, составлял одно целое с машиной. Много времени пришлось провести водителю в любовном томлении, пока он, наконец, не воссоединился с ней, желанной, цвета «Адриатика». В оны времена его дед назвал бы коня Карагёз, а водитель именовал свою «шестерку» Куколкой. И какой он сам был аккуратный и подтянутый, такой же аккуратной и подтянутой была его Куколка. Она стояла у гостиницы

«Рица», смиренно, как умный конь, дожидаясь хозяина: вся в голубых лучах под солнышком – ни пылинки. И в салоне было стерильно, как в шприце, о чем свидетельствовал стерильный вид самого человека – в аккуратном чехле, точнее, в костюме с накрахмаленной рубашкой, белевшей из-под твида, и галстуком, раз и навсегда завязанным правильным треугольником. Человек этот, даже когда хвалил машину, делал это смущенно и целомудренно. Но ее и хвалить не надо было: внешне ее достоинства были на виду, а невидимые проявлялись сразу же, с первыми оборотами прекрасного двигателя.

Чачхал знал: у такого всегда машина в порядке и нет проблем с бензином.

И вот они едут. Чачхал уселся рядом с водителем и, поигрывая все тем же ножом с серебряной цепочкой, отдает водителю короткие команды не только где повернуть, но и когда переключать скорости. Делал он это совершенно необидно, так что водитель воспринимал команды Чачхала естественно, как команды дорожных знаков. Он только хотел бы знать, далеко ли его повезут. Но и спрашивать пока рано: они только выехали из города.

А счастливый Руслан потирает руки, словно уже сидит за столом у Мирода, точнее, вдоволь наработался, помогая Мушни и Нине. Скоро будут на месте.

Но дорога предстояла им не такая безоблачная, как началась.

Джигит по имени Камидат, или Нур

– Партбилета я никогда не сдам. Мы всем колхозом написали заявление: прямое подчинение ЦК КПСС и только! – произнес Нур-Камидат. – Медаль тоже мне присудили, потому что заслужил, потрудились. Наездников в Гудаутском районе хватает, но всех не награждают, – добавил он гордо.

Джигит пытался в основном обращаться к Мушни, но то и дело, чтобы переспросить, он опять глядел на Нину. Взгляд наездника поворачивался к Нине как-то самостоятельно, независимо от хозяина. Нур-Камидату было уже чуточку неловко перед Мушни. Ты же помнишь, как он смущался, но глазел на нее, называя не иначе как «ученой девушкой из Ленинграда». И продолжалось это до тех пор, пока джигит не узрел кремнячку.

А тебе с подружкой только того и надо было, чтобы Камидат, то есть Нур, сохнул по Нине и приезжал каждый вечер: вам бы все кататься на лошади и лакомиться сладкой грушей!

– Чего, чего? – бормотал он, смущаясь.

Джигит в женском вопросе должен быть особенно щепетилен. Ленинградка ему нравилась, но тут налицо был Мушни, и если выяснится, что эту пару кремнекопателей связывает нечто большее, чем грамотность, то необходимо самое честное и открытое соперничество.

– Она жена тебе? – перво-наперво спросил он Мушни, потому что брачные узы святы, и если она – жена ему, тогда о соперничестве речи быть не может.

Но на этот вопрос Мушни улыбнулся и покачал головой отрицательно (то есть, горизонтально, из стороны в сторону, как принято у современных людей, о чем будет сказано дальше).

* * *

– Нина, подойди, – сказал Мушни, сидя на Гладком Камне и рассматривая Стену. Нина поднялась к Мушни. И они заспорили по поводу этой Стены на непонятном посетителю научном языке.

Мушни не прошел такой основательной школы, как его подруга, получившая образование в Ленинградском университете и аспирантуре при нем (по специализации «палеорнитология»). Но опыт полевых работ у него был немалый, не меньше, чем у Нины. При этом – что всегда забавляло Нину – отношение к своему занятию у Мушни так и оставалось дилетантским.

Он воспринимал палеолит – как бы это выразить точнее? – не столько как науку, сколько как способ узнать побольше о предках. Нет, я неточен: палеолит для Мушни – именно наука, но наука, призванная помочь современникам лучше понять и почувствовать предка. И только эта цель оправдывает их ремесло. Изучая дальних предков, Мушни не только открывал их, но и открывался он сам. Он готовился однажды вступить с ними в ту связь, которой не помеха ни время, ни расстояние, ни пределы человеческой жизни и смерти.

Иногда Нина спрашивала в шутку своего коллегу: почему же он не считает кощунственным само занятие археологией, где

приходится ни много ни мало, а тревожить прах предков, роясь в их очагах и могилах? «Трепетное отношение» к своему ремеслу, такое, как у Мушни, очень часто присуще неопитам археологии. Оно полезно на начальном этапе овладения профессией, впоследствии же излишняя сентиментальность только вредит работе. А страстность палеолитчиков, которая как бы компенсирует внешнее однообразие их находок, общеизвестна среди археологов.

Даже извлекаемые из-под земли орудия труда Мушни воспринимал чуть ли не как фетиши. Однажды он всерьез заявил Нине, что, как только будут обнаружены останки первобытного человека, – а они оба твердо верили в то, что останки будут вскорости обнаружены, – он зафиксирует находку по всем правилам, в присутствии специалистов, но вслед за этими процедурами намеревается не сдавать кости в музей, а захоронить на Святой горе с почестями, как подобает поступить с прахом предка. Нина смеялась и втолковывала коллеге, что музей и есть, помимо всего прочего, современная форма некрополя, точно так же, как в любом самом древнем захоронении есть зачатки музея...

Когда у него будет достаточно знаний и опыта, Мушни решится написать книгу, в которой изложит то, что пока еще смутно предчувствует и не в состоянии выразить словами: кремняки – это наши предки до изгнания из рая. Когда-то они жили в блаженном саду, которым была эта же самая земля, на которой живем мы, только люди кремня могли видеть Бога так же, как мы ежедневно видим солнце. А наказание, последовавшее за вкушением плода, в том и заключается, что человек получил-таки обещанное искушителем: включилось его сознание, но закрылись другие каналы, и он, современный человек, оказался поставленным в зависимость от своих приглушенных пяти чувств и слабого лучика сознания. Что-то в этом роде, чего Мушни не мог еще сформулировать даже для себя. А коли так, то при символической встрече современного человека и кремняка последний мог бы открыть самую важную истину...

Сегодня же, в предвещии беды, которой был наполнен сам воздух Абхазии, Мушни чувствовал, никому не решаясь в этом признаться: что кремняки наблюдают за ними, что вскоре они появятся и заговорят с людьми.

Только сиюминутное покрыто иллюзией всамделишности, а прошлое и будущее смыкаются над временем, образуя Золотое Колесо.

* * *

– Да я даже имени нашей гостьи нарочно не запоминаю... Зачем оно мне, если... – пробормотал Нур-Камидат, напоминая о себе, и опять невольно обернулся к Нине. – Гадаете, как горожане на кофейной гуще.

Мушни почесал затылок. Ему нравилось, когда жители деревни поднимались к стоянке, проявляя интерес к его работе. Но этот добрый посетитель немного утомлял. Тем более что сегодня Мушни проснулся простуженный и был не в духе. То и дело он потягивал из бутылки настой, который приготовил сам из корня... Чуть не сказал какого, выдавая тайну Мушни! Пока могу сообщить лишь следующее: настой – эффективный антибиотик естественного происхождения с идеальной переносимостью человеческим организмом, – выгодно отличается от всех известных антибиотиков тем, что действует избирательно (именно на бактериальную среду), совершая побочные воздействия на организм в таком минимуме, которым практически можно пренебречь. Есть у снадобья и другие достоинства, не менее ценные...

Но – молчок!

Нина втолковывала Мушни, что нельзя принимать слишком много лекарства с эффектом антибиотика: оно убивает не только вредные микробы, но и полезные.

Ленинградка, и это тут же отметил Нур-Камидат, откинула прядь со лба таким красивым жестом, что взгляд джигита задержался на ней. Снова Мушни перехватил этот взгляд. Гость смутился, полез в коробок с находками, вытащил одну из них и стал теревить в руке.

– А это что за штуковина? – спросил он.

Ленинградка не сразу ответила. Нур-Камидат, нервничая, мямл «штуковину» натруженными, крепкими пальцами.

А она возьми и сломайся.

– Дык! Вот тебе раз! Как же так! – растерялся он.

– Ничего. Положи на место, – сказал Мушни.

– Я же только так вот! – Нур-Камидат вытащил другую находку, чтобы продемонстрировать, что он ее совсем не давил. – Вот так только!

И снова «штуковина» переломилась надвое.

Посетитель так сильно смутился, что стал нервно-нервно крутить волосы у виска. В честном соперничестве обстоятельства складывались не в его пользу.

Мушни подсел к гостю.

– Это медвежий клык, – пояснил он, соединяя сломанные куски.

Медвежий клык? Это нечестно – пытаться выставить соперника в смешном свете!

– Дык! – сказал он, поправляя медаль на груди и нащупывая документ в кармане. – Что я, медведя не видал! Разве у медведя бывает такой огромный клык?! Это клык кабана!

– То был не простой медведь, а пещерный, живший в древности.

Но убедить селянина и охотника в том, что древний медведь имел во рту кабаний клык, – дело непростое.

– Такой огромный?

– Да. Причем это был молодой медведь, не то клык был бы еще мощнее.

– Дык... – Нур-Камидат держал зуб в руках осторожно, как птенца. – И он такой древний?

– Не очень. Аа-шукса*, – сказала вдруг Нина по-абхазски.

Для гостя это было так неожиданно!

– Дык, где она научилась нашему языку? – воскликнул он и не преминул обернуться к ней снова: – Когда это ты?

– Выучилась, пока искала кремьень, – девушка глядела на него лукаво.

Мушни взял у него клык и спрятал, от греха подальше.

– Дык, она – всезнайка!

– Если бы знала все – не копалась бы в земле, – сказала Нина, явно довольная, что составила целую фразу на абхазском.

– Дык... Тоже умно сказано.

Мушни почувствовал, что начинает раздражаться. Жар давал о себе знать.

* Восемь лет (абх.).

– Нур, не желаешь ли посмотреть пещеру? – спросил он, снова – уж не из ревности ли – хлебнув настоя.

– Камидат – мое имя! – поправил его Нур, а потом, почувствовав, что был излишне резок, добавил: – Это по паспорту я Нур... Я, кстати, даже имени гости не запомнил... Мне этого не нужно... – И еще пуще теребя волосы у виска: – Зайти в пещеру? А как же! Подняться сюда и не зайти...

Дорожные приключения

Проблемы у наших путешественников возникли на первом же загородном посту, в Эшере. Машину остановили. Водитель вышел совершенно спокойно. В ритуал любви к автомобилю входили и разборки с автоинспекторами. Чачхал ничего не имел против недолгой остановки. Остановили так остановили. Надо будет – вмешается и все уладит. Но машина была такая замечательная, а ее водитель так хорошо знал, что все у них безупречно, что не удержался и начал качать права.

И надо же было случиться, что напоролись они на гудаутскую команду ГАИ. Кончилось тем, что водителя завели в будку и стали составлять акт. Гаишник этот, как и все гаишники во всем Союзе, больше всего любил составлять акт и меньше всего это умел. Ох уж эти непокорные буквы!

Чачхал не хотел пока отвлекаться. Он как раз принялся, достав откуда-то из кармана высушенный корень вишни, вырезать нечто вроде брелока для ключей, чтобы подарить водителю. И водитель еще пять минут тому назад, косясь на соседа, был доволен: такого рода предмет народного промысла лишь подчеркнул бы техническую безупречность всего автомобильного комплекса. А тут на тебе – остановили. Пошел разбираться Руслан.

Пойти-то удалой Руслан пошел, но как человек, никогда не имевший машины, разговаривать с ГАИ не умел. Продолжая распекать нашего водителя и одновременно составляя текст акта, гаишник даже не заметил Руслана, словно место, где он встал, нахмурясь и грозно вращая глазами, продолжало оставаться пустым. Даже слова его не были услышаны, словно он их и не произносил. Руслан между тем воскликнул гордо, в надежде всколыхнуть в душе гаишника потаенный трепет перед институтом жрецов, дремлющий в каждой человеческой особи:

– Мы из Музея!

Тщетно.

– А мы из гудаутского ГАИ, – ответил тот в пустоту.

– Кремнячку нашли в Хуапе! – воскликнул Руслан.

Тщетно.

– Знаю, – только и сказал гаишник. – Но кому нужна немая кремнячка.

Руслан лишь убедился, что петух его вранья летел впереди него. Ему ничего не оставалось, как вернуться восвояси, по пути бросая в сторону Чачхала красноречивые взгляды: что дальше делать?

Чачхал вздохнул.

– Эй, хватит! Я спешу! – крикнул он в сторону будки, но гаишник не услышал его хриплый бас.

– Тут пытаются нас шантажировать, – прохрипел Чачхал.

Он приостановил резьбу по дереву. Спокойно отложил работу. Медленно закрыл перочинный нож. Спрятал в карман. Потом вышел из машины и с подозрительным спокойствием направился к будке.

Делая вид, что обдумывает фразу, гаишник покосился на приближающуюся фигуру. Этот был не из мирного Музея.

Чачхал зашел в будку, спокойно и молча вырвал у постового лист и разорвал его в клочья. Постовой направил руку туда, где в былые времена и у них, у дорожных стражей, висели портупеи. Тогда Чачхал так же спокойно разбросал клочки бумаги, повернулся и пошел к машине.

Гаишник знал Чачхала. Знал по оперативным данным, что Чачхал частенько ездит на Северный Кавказ. Но не дело ГАИ задерживать таких дерзил. Задержать надо еще суметь. Поди знай, пошел он за оружием или же блефует! Еще в старые времена идеальный мент Коява-Старший говаривал, что, когда у преследуемого три варианта выбора, ему легко угадать, какой тот выберет. Гораздо сложнее, когда вариантов два. Если бы дерзила сейчас мог вытащить оружие из машины – раз; мог просто брать их на испуг – два; но мог решить вернуться в салон и кротко ждать там дальнейших событий – три, тогда бы гаишник точно угадал, какой из трех вариантов тот изберет. Но он понимал, что

маловероятно, то есть вряд ли Чачхал рассчитывает, что, после того как он порвал с таким трудом составлявшийся акт, ему дадут спокойно дожидаться в салоне, пока акт еще раз сочинят. Значит, он сейчас блефует. Или же вытащит оружие? Первое было бы хорошо, второе – плохо.

Чачхалу оставалось шага три до машины. Милиционер решил действовать. Небрежным жестом отпустив водителя, он шагнул из будки.

– Никто тебя не боится! – крикнул он. – Мы еще встретимся!

То есть явно «давал задний». Но ему надо было выходить из ситуации более или менее достойно. И вот, воспользовавшись тем, что Чачхал остановился, полуобернувшись к нему, он решил немного поиграть взглядом, хотя после примирительного «Мы еще встретимся!» на успех уже особенно не рассчитывал. Он сделал шаг по направлению к Чачхалу. В ответ Чачхал тоже сделал шаг. Постовой отметил про себя: это хорошо, что по направлению к нему, а не к машине. И вот они встретились лоб в лоб. Мент достал свой взгляд. Но поскольку надежды было мало, взгляд у него получился слабый. А Чачхалу взгляда и доставать не надо: он всегда тут.

Скрестились два взгляда. Точнее, нахохлившись и оскалившись, эти взгляды остановились друг против друга. Но один из них явно уступал другому. Когда взгляд пытается быть грозным – это верный признак того, что он сейчас, сию минуту, вовсе не грозный... Он, конечно же, может стать грозным, если не встретит взгляд спокойных черных глаз Чачхала из-под густых бровей. А именно такой взгляд встретился со взглядом милиционера, еще не успевшим перестроиться на грозный.

Гаишнику пришлось отступить. Он только и смог, что, отводя взгляд, для приличия сделать вид, будто просто покосился в сторону машины. А фразу «Смотрит, как Ленин на буржуазию!» пробормотал не агрессивно, а, скорее, ворчливо.

Раз мент дал задний ход, Чачхал сел рядом с водителем, распорядился трогаться и вернулся к резьбе по дереву. И они поехали.

– Тяжело в деревне без нагана! И с наганом тоже тяжело, – сказал он, закуривая заzipу, которой придется занять в нашем повествовании достойное место.

Руслан был в восторге.

– Ахахайра! Хайт! Хайт! – воскликнул он, хотя боевой клич уместнее было издать пару минут назад.

– Никогда не доводи дело до бумаги! – назидательно произнес Чачхал, а потом подумал, что волнения, выпавшие на долю водителя, дают тому право знать, куда следует везти беспокойных пассажиров, и открыл маршрут.

Однако радость – легко, мол, отделались – была у водителя отравлена пониманием, что гаишник передаст о случившемся по линии и уже у следующего поста ГАИ их будут ждать другие стражи порядка.

– Все путем! – сказал Чачхал и распорядился сойти с трассы и ехать в обход.

Но по Анухвской дороге! На новенькой машине по этим ухабам!

Таинственный след

Нур-Камидат вынул из кармана документ и положил на Гладкий Камень, предварительно сдув с камня пыль. Собирался было и медаль отцепить от рубахи, но раздумал. Вряд ли это растрогало бы ленинградку.

– Зверем запахло, – произнесла она.

– Что она сказала? Медведем запахло? – рука Нур-Камидата невольно потянулась к тому месту, где висел нож.

– Зоопарком запахло, – сказала Нина, обращаясь к Мушни. – В Осетии был со мной такой случай. Захожу в пещеру и тут же чую запах. Прохожу несколько шагов: еще пар шел от того места, где он только что сидел...

Камидат, решив, что его приняли за робкого, со всей решительностью вскочил на Стену.

– Это был медведь? – спросил он.

– Может, медведь, а может, рыжик.

– Что за рыжик? – задержался у входа в пещеру гость.

– Неандерталец, – ответила ему Нина.

Или сказала: кроманьонец. Сашель, обязательно уточни, это важно!

– Сколько этому клыку, Мушни? Восемь лет, говоришь? – Нур-Камидат нагнулся и заглянул в лаз пещеры, словно оттуда должен был появиться косолапый.

– Восемь тысяч лет.
– Дык...
– Этого медведя давно нет в природе, Камидат.
– Нур, – поспешил поправить его гость. – Дык... – И его штаны исчезли в лазе пещеры.
– Прихвати свечу, она у входа справа! – крикнул ему Мушни.
Гость высунулся и взял свечу.
– Эй, косолапый, выходи, коли смелый! – раздался из пещеры голос джигита. Он хоть и храбрился, но про медведя не забывал.

* * *

Археологи, облегченно вздохнув, принялись за работу.
Мушни указал коллеге на то обстоятельство, что в пределах 4А мелкий известняк тянулся полумесяцем между суглинком и почвенным слоем.

Между тем, читатели, на прежнем отрезке он был на уровне 3Б. Некоторое время они внимательно изучали отрезок, сверяя его с картой. Нина сделала заключение: стало быть, в среднем палеолите вода вымывала пол не снаружи вовнутрь, а...

– Подай, пожалуйста, карту Д-Альфа...
– О, Озбак, непокорный Кацу! – раздалось пение гостя в десяти шагах от входа.

Затем некоторое время его не было слышно.

Мушни присел на Гладкий Камень и углубился в карту.

Эти Гладкие Камни появились при очистке входа в пещеру. До того как вход был очищен, лаз был настолько узок, что в него мог забраться только мелкий скот, а человеку приходилось вползать. Но внутри сразу становилось просторно. Мушни и Нина в своих научных отчетах сохранили народное название стоянки – «Пещера кремняка».

В деревне Хуап все поля усеяны камнями. Какие там камни! Каждый камень – отдельное творение, автор которого – тысячелетия. Как я любил сидеть у мельницы и глядеть вниз, на зеленую лужайку, где живописно рассыпаны замшелые валуны. В Хуапе камней даже слишком много, они мешают поселянам обрабатывать поля. А эти Гладкие Камни – одной породы и формы с лежащими на полях, шершавыми и обветренными, но из-за

того, что тысячелетия были спрятаны под землей, выглядели действительно гладкими и свежими. На одном из камней был установлен нивелир.

– На помощь! Медведь! – послышался голос гостя.

Голос доносился оттуда, из глубины. Археологи насторожились. Но вслед за паузой услышали густой веселый хохот гостя. Он шутил.

Еще долго после этого они слышали его пение с упоминанием непокорного Озбака. Мушни и Нина стали усердно копать. Прошло около получаса. Вдруг снова раздался рев их гостя:

– Господи! Кремняк!

Но шутнику уже не поверили. Так в старину некий пастух, утомленный одиночеством в горах, несколько раз посылал в долину ложный сигнал о помощи, и однажды, когда лихие абазины налетели на альпийские луга, его крик о помощи никто не воспринял всерьез, и пастух вместе с отарой был угнан в плен.

На зов Камидата археологи не откликнулись. Они копали сейчас в слое 4Б, где было особенно много находок. Но тут шаги гостя стали приближаться, и вскоре он торопливо вытащил сам себя из отверстия. Вид у Камидата был, несомненно, испуганный. Волосы у виска крутил он быстрее обычного. Джигит и впрямь что-то там видел.

– Кремняк! Кремняк! – гость едва переводил дух и сам чем-то походил на неандертальца из университетского учебника. – А еще говорят, что он не существует!

Однако археологи не разделили его тревоги. Мушни извлек еще один кремень. Нина встала с метром, а он поднялся «выстрелить» из нивелира. Записали на карту данные. В тот момент, когда гость хотел возмутиться, что к его тревоге относятся с недоверием, археолог спокойно произнес:

– Идем. Поглядим, что ты там увидел.

– Ты не веришь?

Мушни вспрыгнул на крышу Стены.

Нур-Камидат храбро последовал за ним, но, вползая в пещеру, прихватил лежавшую у входа лопату.

Пол был глинистый, вязкий, но ровный. Они зажгли свечи и пошли.

Шагая впереди, Мушни время от времени высвечивал куски потолка. Там, прижавшись к камням, дневали летучие мыши, прячась от света. Человек был им незнаком – они и не думали его пугаться.

– И что же?

– Кажется, дальше.

Продвинулись еще глубже.

– Стоп! Вот и след! – прошептал Камидат и схватил Мушни за локоть.

Археолог присел и высветил место, на которое тот указывал. И увидел след человеческой стопы. Обыкновенной, человеческой.

– Возвращайся назад. А то Нина там одна, – сказал он спутнику.

Нур-Камидат не заставил себя упрашивать. Прихватив лопату, он устремился к выходу.

Кремняк и ауоии

Мушни нравилось уединяться в пещере. Он присел над следом и стал его изучать. Конечно же, это мог быть его собственный след или же след Нины, которая так же, как и он, часто забира-лась сюда босиком. Камидат, кажется, зря паниковал: след этот ничем особенным не отличался от человеческого. По традиции все, кто описывает снежного человека – кремняка – рыжика, подчеркивают его внушительные размеры. Между тем науке до-подлинно известно, что неандерталец ростом и телосложением был меньше средних габаритов современного человека.

Интерес к следу у Мушни остыл. Но, раз забрался сюда, он решил исследовать конечный пункт пещеры. Там был узкий проем, в который ему пока не удавалось пролезть, и он не знал, есть ли там еще залы.

Прислонившись плечом к каменной стене, Мушни стал меч-тать: верный признак хорошего настроения.

Скоро материальные проблемы будут позади, потому что Мушни почти открыл эффект корня цветка... Сок этого самого корня содержит не только антибиотик. Из него еще можно изго-товить средство, избавляющее от волос. Прости, но не могу дать подробности. В научном мире тоже появляются рвачи и пере-хватчики. Мушни сам – к чертям бескорыстие! – продаст патент, и причем продаст за границу. Поскольку первоначальное упо-

минание о цветке принадлежит Руслану Гуажвбе, гонораром он честно поделится с ним. А на оставшиеся полмиллиона Мушни создаст при Музее археологический фонд. Все, кто хочет и может работать, не будут испытывать нужды в средствах. И конечно же, Мушни не бессребреник. Он и себя не обделит: купит лучшие инструменты, цейсовские нивелир и теодолит, базу построит основательную здесь, в Хуапе, и ни от кого не будет зависеть...

В очередной раз Мушни в своих мечтах не добрался до своих личных нужд и проблем. Вдруг он обнаружил, что место, к которому он прислонился, было похоже на огромную каменную пробку. Он надавал плечом, и камень этот зашевелился. Мушни надавил на него изо всех сил. Камень с легкостью отвалился и упал на невидимую сторону. Открылся узкий проем, по которому можно было попасть вниз. Пока на глаз он не мог определить глубины отверстия.

Знакомый азарт пришел мгновенно. Мушни тут же забыл о простуде. Он полез в проем, держа в зубах свечу зажженной, как его учил Гиви Смыр.

Мушни оказался внизу. Он оказался у входа в просторную Залу. В середине Залы горел костер.

* * *

В свободное от работы время Нина любила полистать беллетристику о палеолите. Рони-Старший, Раймонд Дарт и Эдуард Шторх были любимы с детства. Быть может, они и помогли Нине при выборе профессии. Но помимо этой классики Нина перечитала гору американских бестселлеров, которых особенно много издавали в период расцвета движения хиппи, когда темп первобытной девственной жизни был особенно популярным.

И если строго по секрету, в особенности от Мушни, Нина пробовала свои силы в сочинении одной вещи. «Сама даже не знаю, что получится, – говорила она мне, – но надо избавиться от некоторых сомнений, излив их на бумаге». Еще призналась, что свои истории она невольно поселяет в ландшафт Хуапа, изменяя, разумеется, его фауну и флору в соответствии с тем, какими они должны были выглядеть в эпоху позднего палеолита – а уж поздний палеолит она знала. В научной достоверности этих записок я не сомневаюсь, зная обстоятельность познаний Нины,

а что касается их занимательности, то она в данном случае не так важна (хотя страницы с гиенами, кабанами и пещерными медведями получились у нее просто здорово, и я с удовольствием вставил их в свой текст).

* * *

Камидат вернулся и присел рядом, но уже не поглаживал мо-лодецки усы и не глазел на ленинградку, а держался в сторонке, смущенно и молча. Он ждал возвращения Мушни. Не мог себе позволить горец ухаживания за девушкой в отсутствие соперника. Конечно, жениться ему надо было. И если быть честным, перво-наперво мелькнула у него мысль посадить на своего скакуна русскую девушку – и умыкнуть. Спрячет ее у племянника-головореза, пока старики будут вести переговоры с ее родными о примирении.

Но сейчас молчал и вообще был готов ретироваться при первом удобном случае.

Нина встала у Стены с указкой и сказала:

– Как вас зовут? Камидат? Извините, Нур! Вот, посмотрите, Нур! У самого основания Стены – желтая глина. Затем сразу полоса заметно темнеет. Почва становится живой, – она прочла ему краткую лекцию, пытаясь объяснить смысл слоев Стены. – Как видите, тут не просто гадание на кофейной гуще, – припомнила она ему.

– Дык, я просто так сказал. Ты не думай, – покраснел Нур-Камидат.

Нина вернулась к работе. Не успела она ковырнуть с десяток раз ножом в земле – и очередной кремень не заставил себя ждать.

– Дык! – только и сказал Нур.

Одно дело, когда видишь находки в коробке, очищенные и пронумерованные. Совсем другое дело – когда при тебе их выуживают из земли.

– А сможешь выстрелить?

Джигит – и не умеющий стрелять! Но она о другом. Она подвела его к нивелиру и показала, как в него смотреть.

Нур-Камидат справился с заданием.

– Мушни задерживается, – сказала девушка.

Камидат вскочил и вызвался сходить за археологом. Он даже обуться забыл. Прихватив лопату, вполз в пещеру.

Быстро миновав место, где в прошлый раз обнаружил след, он нашел отверстие, по которому спустился Мушни. И прежде чем лезть в эту дыру, он сунул в нее сначала свое оружие – лопату. Но пока он пугал ее острием неведомого кремняка, лопата выскользнула из рук и полетела вниз. По звуку падения Камидат понял, что там неглубоко, и полез в отверстие ногами вперед.

* * *

В середине Залы горел костер. Мушни стоял на каменном завале, а пониже шел ровный пол. Напротив, за костром, светился вход в Залу с противоположной стороны. Длинные гирлянды плюща занавешивали вход. Лучи солнца золотились сквозь эту живую занавесь и пронизывали дым. И солнце, и отблеск костра, растворяясь в дыму, создавали внутри Залы таинственное освещение, которое Мушни так любил.

Взгляд его упал на левую сторону Залы. На стене была роспись. «Не работа ли Гиви Смыра», – подумал археолог и тут же заметил у огня самого Гиви Смыра с какой-то женщиной. Опять Гиви всех опередил, восхитился Мушни. И стену расписать успел. Именно Гиви любит месяцами бродить по горам, где он знает все тропы, все гроты и расщелины. Непризнанный гений, он может облюбовать камень в недоступном для зрителя месте и сделать из него свою языческую скульптуру, чтобы сразу же навсегда оставить ее там...

(Видишь, блин, как интересно я излагаю! Ты объясни своему мусье, который только благодаря смутам в нашем отечестве отхватил себе такую девушку, а то, не отвлеки нас перестройка и война, так бы мы и уступили лягушатнику нашу Сашеньку: ты-то это знаешь! – ты объясни ему (далее пусть следует скабрзное французское выражение), что рыжики – как-никак его земляки, ведь Ле Мустье, Кро-Маньон, Валлоне, Печде Азиль – все это во Франции. Так что напечатать триллер, а затем инсценировать – его патриотический долг!)

Но это был не Гиви Смыр! Это был другой человек, только похожий осанкой на открывателя Новоафонской пещеры. А то, что археолог принял за кожаную куртку Гиви, оказалось не чем иным, как одеянием из шкур. И странная пара с любопытством

рассматривала Мушни. Теперь не могло быть сомнения: это были они самые: неандертальцы ли, кроманьонцы, не знаю уж точно – пусть простят меня друзья-археологи, но, одним словом, кремняки, одним словом – предки наши, еще не знавшие железа и изготовлявшие из кремня наконечники стрел, но обладавшие такими дарами от Бога, которые мы с вами охотно променяли бы на все металлы Земли и на все свои знания.

И внешность этой странной пары была характерна для кремняков: покатые лбы, короткие шеи, густые брови и характерный срез подбородков, а также смуглый цвет кожи, почти негроидный, что вполне соответствовало гипотезе Ермолая Кесуговича и Игоря Павловича, старших научных сотрудников Музея, служившей предметом долгих споров, но об этом – позже... Вместе с тем, в противоречие учебникам и Ермолаю с Игорем, ни на обнаженных частях тела, ни на лицах этих особей Мушни не увидел никакого волосяного покрова. (Даже в таком взволнованном состоянии он успел вспомнить о средстве против волос.) И вообще они, если не считать чисто внешних примет, имели мало общего со своими отвратительными изображениями в учебниках. Напротив, кремняки были на редкость симпатичные: открытые лица и осмысленные взгляды.

Пока Мушни продолжал стоять в оцепенении, парень сам пошел к нему. Девушка же осталась было на месте, но потом догнала его, чтобы снова спрятаться за спиной юноши. Указывая девушке на Мушни, юноша восторженно воскликнул:

– А-У-О-И-Ы, – то есть произнес все гласные человеческой речи. – А-у-о-и-ы! Ауоиы! – что на современном абхазском языке означает «человек».

Часть II

Знакомство с кремняками

Мушни понял, что именно могло неожиданно насторожить юношу. Это была давно потухшая свеча, которую он продолжал зажимать в зубах. Он достал из кармана спички, зажег свечу и протянул к ним пламя. Кремняки заулыбались и смело шагнули навстречу. Очевидно, они воспринимали огонь точно так, как современный человек – удостоверение личности.

И в это время позади Мушни загрохотало. Вывалившись из дыры, по которой он только что пролез, к его ногам упала лопата. Вслед за ней из дыры появились сначала босые мозолистые ступни, а за ними – красные штаны.

И наконец, кашляя и моргая от дыма, протиснулся сам Нур-Камидат.

* * *

Нина ждала некоторое время. Оба соперника не возвращались. Она просунула голову в лаз и позвала.

– Тут я, – совсем рядом отозвался Нур-Камидат и вскоре появился сам. Он был чрезвычайно бледен и крутил волосы на виске.

– Что вы там увидели?

Минуты две Камидат взволнованно молчал.

– Он сказал: не смей являться сюда, пока не примешь арака-ца! – проговорил он наконец.

Вот мы и проговорились, как называется естественный антибиотик, который может быть применен одновременно и как средство против ращения волос. Поскольку Мушни уже рассекретил свое открытие, то и нам незачем утаивать его от читателей. Это аракац, или зазипа кавказская (латинское название: *cannabisonius G*), которая, в отличие от других систематических групп семейства конопляных, по существу есть эндемик, то есть встречается только на определенной территории, в данном случае в предальпийской зоне влажных субтропиков. В основном вещество имело лишь известное ритуальное применение, несмотря на то, что его лечебные качества были известны из-

древле, однако труднодоступность и малораспространенность цветка, и в особенности косность народных лекарей-травознаев, державших свои знания в секрете, передавая их исключительно по наследству, – все эти обстоятельства мешали до сей поры широкому промышленному применению его замечательных качеств в фармацевтике.

– Что аракац? – не поняла Нина.

– Дык. Мушни сказал, что микробы опасны для них, для кремняков!

* * *

Мушни помнил трагически закончившуюся сенсацию, когда, заразившись неведомыми микробами от этнографов и журналистов, один за другим скончались раскольники, которые прожили в тайге более ста лет и были обнаружены вертолетом старателей. Сам-то Мушни уже несколько дней принимал аракац с сильнодействующим антибиотическим эффектом, а контакт с Камидатом для несчастных кремняков мог оказаться губительным.

– Я выпил аракаца, как ты велел, – возразил Нур-Камидат, отряхиваясь.

– Выпил! – возмущенно передразнил его Мушни. – Ведь нужно время, чтобы лекарство подействовало.

– Он опять не пускает! – крикнул Камидат, оборачиваясь к дыре.

Оттуда выскочила Нина.

– И ты сюда! – только и сказал Мушни.

* * *

Пора уже было вступать в контакт, но Мушни совершенно потерялся и не знал, с чего начинать. А Камидат вообще был застенчив; он, даже когда надо было поговорить с очередной потенциальной невестой, поручал это племяннику-головорезу.

Но женщина есть женщина, Нина ли это или кремнячка. Женщина при встрече с незнакомцами – и, увы, не только с ними – всегда ведет себя решительней мужчины. Нина смело подошла к кремнячке. Они взглянули друг на друга, и все им стало понятно. Обе рассмеялись: включился первобытный инстинкт женской солидарности, не без помощи которой они безраздельно господствовали над мужчинами десятки тысяч лет, пока последние не изобрели оружие массового уничтожения – железный нож.

Рассмеялись так, словно самое смешное в мужчинах – это их неумение узнавать друг друга через тысячелетия.

Одиноким Камидат теперь и не знал, чей смех пленял его сильнее.

Но черты патриархата вторгались в жизнь. Парень тут же перехватил инициативу у девушки. Он взял ее под руку с естественностью, в которой уже угадывались черты позднейшего времени, когда роль мужчины в обществе заметно возросла.

– С-ахшя*, – представил он девушку.

Современники (наши) от неожиданности вздрогнули.

– Они обладают речью!

Кремняки покачали головами из стороны в сторону, почему-то этот очевидный факт отрицая.

– Она не жена ему, она сестра! – с радостью понял вдовый Камидат.

На это кремняки тоже покачали головами. Опять отрицательно (из стороны в сторону). Однако Камидат, не падая духом, решил представиться. Он вытащил из кармана свой документ и раскрыл его, чтобы кремняки могли увидеть. Прелестная дикарка посмотрела на современного человека ясными непонимающими глазами.

Мушны зажег свою потухшую свечу, давая понять кремнякам, что документ Камидата – такое же удостоверение личности, как и огонь.

Кремняки покачали головами – правда, отрицательно.

Юмор не дошел до них? Нет, как раз дошел!

Современники уже догадывались, что люди палеолита, подобно нашим болгарам, соглашась, качали головой отрицательно, отрицая же – кивали в знак согласия. Почему же в этом случае болгар миновало то, что, свершив Золотой Круг, превратилось в свою противоположность?

Город будущего

– Gvazv Auoiw, – сказал кремняк, при этом прижав руку к груди точно так, как это делаем мы. Потом, положив руку на плечо сестры: – Gvazv Hawa.

Стало ясно, Гуажв – их родовое имя, коли он произнес его дважды. Род Гуажвба проживал и в селе Хуап.

* Моя сестра (абх.).

Мушни, в свою очередь, представил себя и друзей.

Затем этот замечательный юноша проделал вот что: он подошел к каждому поочередно и поочередно же в знак одобрения указательным пальцем ткнул их в пах по три раза. Он располагал к себе: и своей статью, и открытым мужественным взглядом, и движениями. Даже Камидат не обиделся, когда он ткнул его, как и других, в пах.

Речь кремняка была довольно близка к современному языку. Отдельно произнесенные слова были ясны, однако, чтобы уследить за смыслом целых фраз и предложений, приходилось напрягаться.

Современные люди и люди кремня улыбались друг другу: так общаемся мы с иностранцами, чей язык едва знаем. Улыбаемся, как бы говоря, что вот-вот найдем ключ к взаимопониманию, а между тем уже общаемся улыбками и взглядами.

Кремневый хозяин что-то сказал. Повторил неторопливо, раздельно и, видимо, упрощая речь. Гости виновато пожали плечами. Кремняк обращался в основном к Мушни, рискуя обидеть этим Камидата. Он взял Мушни за руку и подвел к настенной живописи. Краски, при помощи которых она была выполнена, были гораздо живее и естественней тех, которыми пользуются современные художники. Мушни, охочий до всяких отваров и смесей, это обстоятельство отметил сразу.

Эта живопись, очевидно, могла помочь кремняку быть понятым новыми людьми. Но Мушни опять пожал плечами. Что же хотел объяснить ему кремняк посредством своих живописных сюжетов? Ясно, что тут – своеобразное обращение. Кремняк видел бесплодные старания Мушни. Ему ничего не оставалось, кроме как по-приятельски трижды ткнуть современника в пах указательным пальцем.

Он подбежал к выходу и поманил всех за собой.

– Дык, – сказал Нур-Камидат, но не пошел к выходу, а предпочел остаться в обществе кремнячки.

* * *

Кремняк раздвинул занавес из плюща, пропуская Мушни и Нину вперед.

Снаружи у выхода лежал огромный валун. Скорее даже не валун, а небольшой утес. Мушни, окинув Валун взглядом скалолаза,

уже знал, за что зацепиться рукой и где поставить ногу, чтобы с двух попыток взобраться на него. Но кремняк до обидного легко вскочил на Валун с первого раза. Протянув Нине руки, он поднял ее. Мушни тоже пришлось воспользоваться его помощью, чтобы не показаться невежливым.

– Ба! – сказал кремняк, что, наверное, означало «гляди».

На Валунах трудно было уместиться втроем, если бы кремняк не обнял за талию и не привлек к себе Нину, освобождая пространство для Мушни.

Глаза наших современников привыкли к солнцу. Но трудно было поверить...

Нина была изумлена открывшимся ей зрелищем. Глаз легко узнавал давно ставший привычным ландшафт: вон округлый холм, обозначенный на топографической карте как № 54, вон речка наша змеится – а дальше знакомая гряда холмов до равнины. Но вместе с тем все было иное. Все выглядело так, словно ожил и стал явью ландшафт эпохи среднего палеолита, с его характерной фауной, точно такой, каким он был воссоздан в музее ЛГУ ее приятелем, искусствоведом Мишей Демьяновым.

Мушни был изумлен открывшимся ему зрелищем. От Валуна начинался крутой склон, поросший самшитом. Оттуда, снизу, едва доносился шум реки. А дальше виднелся альпийский луг, потом холмы, вереница холмов, а за холмами – покрытая буйной растительностью равнина – до самого моря, отвесно бледневшего у горизонта. Перспектива была прозрачна и ясна. Казалось, глаз видел в десятикратном размере. Бледное солнце повисло над бледным морем вдали, а ближе, над равниной, тянулся вечерний дымок. Мушни узнавал знакомые очертания Абхазии: вон округлая Святая Гора, долина реки Ягырты и дальше – холмы, холмы до самой равнины. Но нигде на земле не зияли глиняные раны, не было видно безвкусных новостроек, склоны не уродовали чайные ряды. Буйный тропический лес покрывал весь оком, знакомый и одновременно незнакомый. словно на миг явился облик древней земли, нетронутой, свободной.

Но кремняк вывел археологов из созерцательного состояния, настойчиво показывая рукой куда-то вдаль. И наконец, Мушни и Нина разглядели то, что хотел показать им кремняк. Это был мыс, острый клинок которого высветился на миг из закатной

дымки. И в рассеянном свете сумерек блеснули, неожиданные в этой дикой первозданности, знакомые, словно из слоновой кости сделанные, высотные дома города.

– А-cuwta, – сказал кремняк, что означает и на современном абхазском «город».

И тут же дома исчезли, словно кремняк показал и выключил видение, и на мысу уже был виден только характерный фиолетовый изгиб реликтовой рощи.

В гостях у Мирода

Но не следует нам забывать о Чачхале и Руслане.

Чачхал и Руслан прибыли в Хуап, сумев избежать дальнейших встреч с озлобленным ГАИ.

Кажется, Достоевский сказал, что великие писатели любят, когда их отрывают от работы. Крестьяне, также занятые настоящим делом – а настоящее дело не имеет конца, – любят, когда их отвлекают. Это одна из причин традиционного гостелюбия.

Когда в воротах старейшины села Хуап Мирода Гуажвбы засигналила машина, он обрадовался. Мирод как раз плел ограду приусадебного участка. Хотя плести ограду из прутьев он любил, но принимать гостей и вести беседу у камина ему нравилось больше. Лишь лентяи, которые все делают в последнюю минуту, впопыхах и без удовольствия, всегда спешат. Любое дело можно отложить на денек, чтобы пообщаться с людьми.

Мирод зашагал к воротам так, как может шагать только человек с чистой совестью по собственному двору.

Дети побежали к воротам с криком: «Дядя Руслан приехал!» Они так обрадовались дяде, как будто он хоть раз в жизни привез им гостинец.

Машина была счастлива, что обрела свободу. Она так поспешно уехала, что ее водитель забыл взять у Чачхала брелок. А между тем брелок оказался бы кстати: он был изготовлен так просто, что его вполне можно было выдать за итальянское изделие. Но предмету этому было суждено обрести более экзотического хозяина, если все, что впоследствии рассказывала Нина, не приснилось ей во сне.

Мирод был своеобразный грамотей, только без присущего самоучкам и народным умельцам налета чудаковатости и тре-

петного ожидания, когда на запах его чужаковости заедет очеркист. В его простом деревенском доме имелась довольно большая абхазская библиотека. Он повел гостей сначала в дом, в свою библиотеку, и выслушал от них городские новости. А к моменту, когда у проворной Нелли, жены Мирода, уже все было готово к столу, – а в Абхазии, меняя свой обычный распорядок, начинают накрывать на стол для гостя с момента его прихода, – стали появляться соседи, тоже отложившие домашние дела, потому что поселянин не должен принимать гостей сам – соседи должны быть рядом.

Руслан, который считал, и правильно считал, что полдюжины стаканов чистого красного вина не только не вредны, но, напротив, лечат от всех недугов, вплотную занялся самолечением, а Чачхал, который пить не любил, вскоре встал из-за стола, присел к лежавшим в углу расщепленным ореховым прутьям и начал плести корзину для Хужарпыса, сына хозяина. Крестьяне сначала недоверчиво смотрели на его усилия, не веря, что городской парень может справиться с этой довольно сложной работой, но вскоре убедились, что парень дело знает.

* * *

К шестому стакану вина у Руслана Чачхал уже сплел маленькую корзину, которую мог наполнить и поднять Хужарпыс.

– Теперь – к Мушни! – пробасил он, вставая.

Руслан нахмурился.

– Может быть, завтра спозаранку? – на лице Руслана изобразилось такое страдание, словно ему предстояло идти не к другу, а к врагу человечества – зубному врачу.

– Давай, давай вставай! – сказал Чачхал и вышел на улицу.

Руслан со вздохом последовал за ним. Открыв сарай, он вытолкал оттуда железную тачку. Вот почему от так морщился! Вот почему ему так не улыбалась перспектива подняться к другу сию же минуту: Руслан еще в городе обещал Мушни эту тачку и теперь ему предстояло тащить ее на себе вверх около версты.

Вскоре те, кто в это время находился поблизости от археологической стоянки, могли видеть такую картину: по тропе впереди идет детина, таща на спине железную тачку, и при этом пытается петь, но от напряжения телесного голос срывается: радость в голосе остается, но теряется благозвучность; за ним шагает невысокий смуглый субъект с характерной танцующей походкой,

которая остается неизменной даже тогда, когда идет он под гору, и то и дело закидывает в рот ягоду из консервной банки, которую беспардонно приторочил к поклаже идущего впереди.

Руслан хотел тачку бросить у палаток, чтобы до самой пещеры поднять ее уже «спозаранку», но Чачхал и слышать об этом не хотел, впрочем, и помочь нести груз не собирался.

– Она нужна Мушни на рабочем месте, а не на месте отдыха, – сказал он, наполняя свою банку свежей ежевикой.

Что оставалось делать Руслану? Ему пришлось снова взвалить на спину груз и снова нестройно запеть, поднимаясь по тропе еще пятьсот метров до пещеры, где копали друзья. Тачка была им очень нужна, чтобы возить землю до обрыва и сбрасывать вниз.

Но и у пещеры друзей не оказалось – по причинам, нам с вами известным.

Сбросив с себя груз у Гладких Камней, Руслан снял тельняшку, выжал из нее пот, а потом, поднявшись на стену, расстелил плащ-палатку и лег, чтобы – подобно герою немецкого романтика Новалиса – увидеть во сне, куда подевались друзья.

Чачхал же по своему обыкновению сначала решил изучить окрестности. Он был тут впервые. Когда он вернулся, Руслан уже крепко спал. Будить его было делом нелегким. Чачхал решил исследовать внутренность пещеры. Он перешагнул через спящего приятеля и, запасшись свечами, зашел в пещеру.

А если бы друзья поднялись сюда на полчаса раньше, Чачхал непременно обнаружил бы оседланного скакуна у Гладких Камней и, конечно же, сев на него верхом, осуществлял бы изучение окрестностей уже на другой скорости. Тогда бы события в нашем повествовании неминуемо стали развиваться в другом направлении, потому что Чачхал – темпераментное действующее лицо, и за ним шлейф приключений следует даже на ровном месте.

Кремняк похищает Нину

Мушни стоял на Валуне. На миг мелькнула перед его взором Ацута. И тут же исчезла, словно привиделась. И уже ничего не было видно. Только лимонная дымка стелилась над далеко синющим мысом.

Кремняк, который уже был внизу, протянул руки. Нина спрыгнула. Он подхватил ее. Он хотел помочь также и Мушни, но тот отказался и со второй попытки соскользнул сам. Кремняк дал знать, что понял его, ткнув три раза пальцем в пах. Он взял их за руки и ввел в пещеру, чтобы они взглянули на настенную живопись уже в свете только что увиденного.

У входа он замер, не найдя в зале сестры. Кремняк стал тревожно озираться и в последний момент успел заметить удалявшиеся в отверстие ступни Нур-Камидата и край его красной штанины. Кремняк, ни слова не говоря, рванулся за ними и исчез в отверстии.

Мушни и Нина шли за кремняком, но не поспевали, пробираясь вслепую в темноте. Оставалось загадкой, как сумел настолько далеко оторваться сам Камидат, да еще увлекая за собой кремнячку. Но горца, умыкающего любимую, невозможно настигнуть, потому что его силы в этот момент удесятерятся Аирг*, покровитель путников, а также лихих и решительных людей. Даже кремняк не смог догнать беглеца, несмотря на то, что, вырвавшись из узкого лаза, уверенно бежал по пещерному проходу, что делало неоспоримым следующий факт: кремняки видят в темноте.

* * *

Когда Мушни и Нина добрались до Стены, кремняк, как барс, метался внутри пространства Гладких Камней. Все их инструменты лежали на месте, только ни Камидата, ни его скакуна они не обнаружили. И, конечно же, кремнячки. Кремняк же рычал от бессилия, но так и не смог шагнуть за пределы раскопанного археологами пространства, словно удерживаемый невидимым препятствием.

В отчаянии он опустил на Гладкий Камень.

Внизу на тропе Мушни услышал конский топот. Он подбежал к обрыву. В просвете между зарослями он увидел всадника. Придерживая кремнячку на луке седла, Нур-Камидат безжалостно гнал скакуна вниз по камням.

– Камидат! Стой!

– Не Камидат, а Нур! – ответило эхо, а по звону подков Мушни понял, что похититель еще больше заторопил коня.

* Языческое божество, абхазский Гермес.

– Нур! Камидат! Стой! Я прошу тебя! – Мушни, не ища тропинки, кинулся наперерез, в обрыв. Он полетел вниз, только успевая хвататься за кусты и притормаживать на ходу. Тут как раз была насыпь, образованная землей, которую археологи выгребали из пещеры: падать по ней было мягко и неопасно. В несколько мгновений он приземлился у реки. Но и тут сквозь лианы пробиться не было возможности.

Сквозь заросли и листву мелькнуло, на миг став огромным диском, заходящее солнце. У Мушни на сей раз не оставалось никакой надежды догнать Камидата. Но, впрочем, не было оснований и для паники: Камидат никуда с кремнячкой не денется, повезет ее домой или же к племяннику в соседнюю деревню. Мушни поспешил наверх, чтобы успокоить кремняка.

Однако ни кремняка, ни Нины у Стены уже не было.

Схватив фонарь, Мушни вскочил на стену и пустился в погоню. Он уже догадывался о случившемся.

Письменность

Добравшись очень скоро до Залы с живописью, Мушни увидел, что костер разобран, а угли старательно спрятаны под золой. Похититель только что побывал тут и, как бы он ни торопился, тем не менее позаботился о том, чтобы сохранить огонь. Именно похититель, потому что не могло быть сомнения: Нина взята кремняком или в плен, или в обмен на потерянную «ахшу». Могло ведь стать, что, по обычаю неандертальцев, кремняка вполне бы устраивал такой простой обмен.

Нина не успела опомниться, как рыжик протащил ее сквозь пещеру, и они оказались снаружи. Пройдя еще голый склон, очутились в папоротниковой чащобе. Тут рыжик остановился и вынул из-за пазухи украшенный листьями кисет.

«Сейчас сядет и начнет важно курить!» – подумала Нина.

Но в кисете оказалось не курево, а какое-то благовоние. В аромате вещества угадывался запах аракаца.

Рыжик брызнул Нине в лицо совсем немного снадобья. Однако этого оказалось достаточно, чтобы в следующее мгновение она почувствовала умиротворение и неожиданное желание подчиняться воле дикаря. А кремняк уже готовил послание, которое собирался адресовать своей сестре. Послание представляло

собой сложный букет из трав и цветков с особыми смыслами узелков и завязей. Нина каким-то образом все это понимала. Понимала и то, что она также должна написать записку Мушни и что рыжик немедленно ее адресату доставит и вручит. Откуда была эта уверенность?

«Только не это!» – испугалась Нина, когда, оторвавшись от письма, подняла голову и увидела, как горят глаза у рыжика.

Но неандерталец не попал во власть чувственной агрессии. Он просто впервые видел, как человек пишет, и был этим зрелищем потрясен.

Он уже понял, как действует особенный стилет, которым пользуется девушка из Ацута. Внутри этого орудия труда содержится краска, которая натирает вращающийся при скольжении стилета по листу круглый камешек. А знаки, которые девушка наносит на лист, соответствуют, очевидно, не понятиям, как у детей палеолита, а отдельным словам и, возможно, отдельным звукам речи. Так оно и есть: их, этих знаков, кажется, не более, чем пальцев на трижды вскинутых руках, – только они всякий раз чередуются по-разному. Гуажв-Ауоиы слышал от старожиллов своего племени, что люди Ацута обладают именно таким совершенным способом общения на расстоянии, но, безусловно, он был первый неандерталец, увидевший письменность воочию. И все же он не взял стилет у девицы из Племени Ацута, подавляя в себе желание получше его разглядеть. Не только потому, что он видел, за какого безнадежного дикаря она его принимает. Девушка ведь как раз из тех, кто, раскапывая каменные накопечники, изучает их с таким высокомерным любопытством! Но дело не в гордыне. Он просто понимал, что этот стилет не вечен, что жидкая краска кончится, шарик сотрется, а с возможностями людей его племени и их соседей все равно не изготовить другого, подобного ему, самостоятельно, а тем более не найти дерева с такими белыми и прочными листьями, как те, на которых пишет девушка. Не говоря уже о том, что сам он тоже вряд ли освоит навыки этого сложнейшего способа общения на расстоянии в отпущенный ему короткий срок. Стиллет же, попади он в распоряжение людей его племени, обречен вскоре выйти из употребления и затем превратиться в новый предмет культа, как те самые молоток, ружье и зонтик, похищенные много дождей

назад у людей Племени Ацута. А рыжик знал, что возникновение нового культа всегда чревато расколом племени.

Нина наблюдала, какое впечатление оказало на это дитя палеолита ее умение пользоваться бумагой и ручкой. Дописав записку для Мушни, она хотела подарить ручку милашке-рыжику, тем более что это был самый настоящий «Паркер», но не успела: в следующий миг сладкое оцепенение окончательно парализовало ее волю. И когда дикарь, улыбкой своей как бы говоря ей, что эти меры вынужденные и, конечно же, смешные, побегами лианы связывал ей руки и ноги, глаза ее, подергивающиеся поволокой сна, глядели на него без страха.

Брызнув вторично в лицо деве Племени Летящих Ножей снадобья и глядя, как она впадает в забытие, Гуажв-Ауоии все думал о письме.

Поединок в Зале Живописи

Мушни, не мешкая, кинулся преследовать похитителя.

Оказавшись в Зале, Мушни тут же почуял, что «запахло зверем», как сказала бы Нина. Только археолог был не из пугливых. Сейчас он имел возможность еще раз осмотреться в Зале Живописи. Закатное солнце заглядывало прямо в Занавес, и в Зале было достаточно светло. Живопись кремняка впервые открылась перед ним во всем великолепии. Это было настолько здорово, что Мушни забыл на время и о запахе зверя, и даже о необходимости преследовать похитителя коллеги.

Сначала глаз археолога наслаждался общим впечатлением. Необычайная живость красок. Потом Мушни стал различать детали. Картина, безусловно, передавала законченную историю. И была обращена эта настенная живопись к современным людям, а точнее, к Мушни. Мушни оказался прав: кремняки наблюдали за современными людьми.

Картина рассказывала о блаженной жизни людей кремня. На ней была изображена широкая долина, зеленеющая между берегом реки и голой стеной скалы с глазницами двух пещер. В центре Зеленой Долины стояло огромное дерево. В тени под деревом расположились старцы – библейские, именно библейские, но не как на привычных картинах Ренессанса, а с более языческой, генетически узнаваемой достоверностью. Спокой-

ные, просветленные, сидели они под сенью Древа и, созерцая Жизнь Народа, улыбались. Старейший среди старцев сидел в бороде козла. Дева пеленала Младенца в волнах своих волос... Оставляю уж я эту безнадежную попытку передать то, что словами непередаваемо!

Но над Поляной стояло Золотое Колесо. Весь Народ видел Золотое Колесо, которое возвышалось на небесном склоне, как возвышается Солнце, но никто не удивлялся Ему, этому исчезающему видению Бога.

А вдали, за дымчатой перспективой холмов и равнин, был изображен мыс на берегу моря, где поблескивала слоновой костью Acuta.

* * *

Потрясенный открывшимся ему ясным смыслом живописного послания, Мушни шагнул назад, чтобы еще раз разглядеть его целиком. И совсем близко ударил в нос запах зверя.

Мишка оскалился. «Чего же этот мужик наступает мне на лапу, яти-мати, когда я сижу в углу и ему не мешаю? А я всю зиму не сплю, в шатуна превратился, то и дело отгоняю кабанов от места, где он копает очаги кремняков, питаюсь, правда, заодно кизилом, которого там множество. И где благодарность?»

Медведь зарычал. Встал на задние лапы. Пошел на обидчика. Мушни пришлось вспомнить, отскакивая назад, что никогда в жизни он не запустил камнем в животное. Никогда не носил оружия, хоть и обошел наши горы вдоль и поперек. Но медведь этого не знал: он приближался. Мушни уже некуда было отступать. Верная гибель, если бы в самый последний миг, когда косилапый стоял уже в нескольких шагах от него, между человеком и медведем не упала чья-то тень.

Кремняк загородил дорогу зверю.

Медведь, не желая воевать с кремняком, решил устранить его небрежным взмахом лапы. Однако кремняк, используя только силу его удара, без особого напряжения сбил мишку с ног. Причем зверь упал именно в сторону выхода из Залы. Косолапый поднялся и свирепо пошел, но опять на Мушни, пытаясь обойти кремняка. Кремняк опять преградил ему дорогу и снова, используя только энергию зверя, швырнул его оземь, на сей раз еще ближе к выходу.

Следующим приемом кремняк вывалил косолапого на улицу, за Занавес. Мушни не растерялся и не потерял присутствия духа, только сделать ничего не успел, так быстро все произошло. И сейчас он выбежал на улицу за дерущимися. Только когда они оказались снаружи, кремняк впервые ударил медведя: так шлепнул по затылку, как крестьянин стукнул бы по башке непослушного сына.

Мишка заворчал, как бы говоря: «Да ну вас обоих! Сдались вы мне!» – и удалился в заросли, ворча, но сохраняя достоинство.

Кремняк остановился, улыбаясь. Он не чувствовал никакой усталости и дышал ровно.

* * *

Спасенный Мушни смог оглядеться. Он почувствовал еще раз, что ступил в незнакомый мир, в другое временное пространство. Все очертания холмов и долин, вся панорама, открывшаяся ему, были знакомы, но отсюда, в особенности при свете полной луны, принимали совершенно иной, преображенный, таинственный вид.

От Валуна вниз на полверсты тянулся голый склон, за ним начиналась чаща. Тропинка, спускавшаяся от Валуна, исчезла в этой чаще. Они живо сбежали по тропе в темный лес самшита. По тропе же, продолжавшейся и в чаще, добрались до того места, где самшит заканчивался и снова начинался голый обрыв.

Это была стена в виде полумесяца. Своей причудливой формой стена была обязана потоку, который делал тут крутой изгиб. Сам поток был отсюда не виден, только шум его достигал слуха. Тропинка кончалась, стена же была настолько отвесной, что без специального снаряжения спускаться по ней было небезопасно. Но Мушни смело пополз по ней за кремняком.

И Нина все видела. Она любовалась ловкостью, с какой Мушни сбежал по круче. Рыжик бежал рядом.

– Мушни! – позвала она что было сил, заламывая руки, привязанные лианой к корневищу папоротникового дерева.

Но не было ни голоса, ни эха. Только внизу, неподалеку, шумел поток. А когда скрылась луна, она потеряла из виду обоих.

И нам остается только издалека, сквозь неведомую нам перспективу глядеть за нашим другом и за кремняком, пока они вовсе не исчезнут из виду. И прошу не спрашивать в течение всего текста, куда же подевался Мушни.

ЧАСТЬ III

Бжяцал и Пиркья

Нур-Камидат жил у самого въезда в село со стороны гор. Для того чтобы проехать незамеченным по деревне, ему надо было миновать лишь несколько соседских домов. Джигиту это удалось легко, потому что въехал он в деревню только после полуночи, целомудренно, но настойчиво продержав невесту в зарослях ежевики, где он угощал ее ягодами и все, буквально все о себе рассказал, правда, глубоким шепотом.

Он умыкнул для себя жену, как положено джигиту, и нечего ему было таиться. Но сегодня свидетели ему были не нужны. Эта абазинка – она такая молчаливая и покладистая. Им еще предстоит долгая и счастливая совместная жизнь, так что торопиться некуда: на нее еще наглядятся соседи и родные.

Но, повторяю: было уже за полночь, все давно спали, и потому он, никем не замеченный, проехал по околице и примчался с добычей домой.

А решил он, что Нawa – абазинка, потому что речь кремняков, которую он сегодня услышал в Зале Пещеры, была не совсем абхазская, а с характерным говором, как у абазин, среди которых, за перевалом, Камидату приходилось гостить. И он был рад, что породнился с абазинами, потому что народ они храбрый и знающий толк в лошадях, а девушек воспитывают в скромности и послушании.

– Не надо, чтобы нас сейчас видели. А то как сбегутся – и познакомиться не дадут в спокойной обстановке, – обратился он к кремнячке, последнюю фразу произнося с двусмысленной игривостью. – Завтра с утра – милости просим всех!

Кремнячка испуганно притихла на луке его седла.

Нур-Камидат, не спешиваясь, пригнулся с седла, снял с калитки деревянную задвижку и въехал во двор.

Две собаки, лая, заковыляли к воротам. Я не оговорился: они именно ковыляли навстречу хозяину, опираясь друг на дружку. Это были когда-то настоящие кавказские овчарки, но таких отощавших собак надобно еще сыскать. Кожа да кости, да голодные глаза. И лаяли они до странности понятно, почти разговаривая.

Кобель Бжяцал, как и положено особи мужского пола, все выпаливал без прикрас, а сука Пиркья, слабо скуля, как бы поддерживала кобеля, но пыталась сгладить его резкость.

Вот взвизгнул Бжяцал.

«Уморил ты нас голодом, скоро по миру пойдем!» – почти различалось в его визге.

А сквозь скулеж Пиркьи слышалось более мягкое, что-то вроде: «По миру мы не пойдем, чтобы хозяина не бесчестить. Но хоть теперь-то ты накормишь нас, болезный?»

– Бодрее, псы! Вот я привез вам хозяйку! Откормитесь еще! – весело обнадежил их хозяин, а сам при этом ласково взглянул на «хозяйку», призывая подтвердить его слова.

Сказанное предназначалось ей. Этого ли было не понять помудревшим от тяжелой жизни собакам. По опыту зная, что так просто еды им не получить, они стали уговаривать хозяина, действуя согласованно и распределив функции. Злости у них не было, потому что злость требует усилий. Бжяцал, как говорится, рубил с плеча, а Пиркья сглаживала: «Этот парень груб и нетерпелив. Словно ему невдомек, что ты, хозяин, не кормишь нас не по душевной черствости, а из-за одиночества и вынужденных отлучек».

– Теперь настал для вас вечный праздник, псы! – заверил их Нур-Камидат.

«Так ты с ней и уживешься! Не первая, небось!» – выговаривала другу Пиркья.

И вдруг обе собаки одновременно учуяли незнакомый дух. Новая жена пахла чем-то звериным и, стало быть, съедобным. Овчарки, забыв о приличиях, бросились на этот запах в меру слабых сил и попытались было дотянуться до кремнячки, если бы их не образумила хозяйская плеть, которой он угощал их чаще, чем пищей.

Бжяцал слабо взвизгнул, Пиркья слабо заскулила, и собаки поплелись прочь, опираясь друг на друга.

– Дурачье! – крикнул им вдогонку Нур-Камидат. – Вы хоть понимаете, на кого посягнули! – и покосился на кремнячку, призывая ее вместе с ним посмеяться над глупостью псин, которые будущую кормилицу не признали.

Он спрыгнул с коня и помог сойти своей пленнице.

– Добро пожаловать в мой дом, который отныне является и твоим! – торжественно изрек он.

Абазинка не двигалась с места.

– Это замечательно, что мужчину пропускаешь вперед! – заметил он не без твердости в голосе и шагнул в пацху. – Ну, теперь проходи, – велел он ей отсюда.

А во дворе собаки увидали, что дичь на минуту осталась одна. Они направились к ней. Но направились как-то неторопливо. При этом сквозь голод они чували не только запах дичи, но и человечину, потому нарочно шумели, чтобы хозяин обратил внимание и остановил их. Им надо было просто напомнить ему о голоде. Хозяин, наконец, обратил внимание.

– А ну прочь! – закричал он на собак. – Дык, заходи же... – успокоил он кремнячку.

Кремнячка тихо шагнула через порог.

Собакам стало ясно, что ничего им пока не вынесут. Но шли они к порогу пацхи не зря. У порога лежала груша кефир, которая выпала из хурджина хозяина. Бжяцал, воспользовавшись моментом, пока хозяин бранил Пиркью и внимание его было отвлечено, подкрался к порогу и схватил фрукт. Пиркья краем глаза следила за этой вылазкой. Убедившись, что еда захвачена, она повернулась и побежала за кобелем. Свершилось то, что противостоестественно собачьей природе, – ведь собаки не едят фруктов.

А Пиркья и Бжяцал не только съели грушу, но сделали это в одно мгновение.

Еще долго шумели Пиркья с Бжяцалом. Так беспрестанно лают собаки, когда набредут на ежа. Еж сворачивается, его не возьмешь, а уходить и жалко, и обидно. Вот и встанут собаки над ежом, который защищен иглами, но уйти не может, и лают без конца, пока не выйдет кто из дому, и не отгонит их прочь, чтобы потом позвать к жилью и утолить их разгоревшийся аппетит. Камидат тоже знал лекарство для расшумевшихся собак, хоть и не давал им этим лекарством злоупотреблять, он достал из-под опрокинутой миски мамалыгу, уже успевшую заплесневеть, и вынес собакам. Заполучив мамалыгу, страдальцы тотчас успокоились.

– Как ты тут без меня, Минадора? – спросил Камидат, вернувшись в хижину. – Я буду звать тебя Минадорой! Ты согласна, Минадора?

Руслан озадачен

В тревожном сне видел Руслан те времена, когда служил во флоте и на авианосце «Киев» бороздил хилые волны Мертвого моря. Все было то же в этом сне, что и на службе. Кроме дисциплины: на боку у него висела фляга с живительной влагой, его в морфлоте быть не могло.

– Ахахайра! Хайт! Хайт! – услышал он рядом боевой клич.

Сон улетучился. Но только в виде картин Ближнего Востока. Глаза не открывались, словно веки были отягощены двухсотграммовыми стаканами, называемыми «мгеладзиевские». При этом говорить он мог.

– Я тебе обещанную тачку доставил, – продолжая спать, обратился он к Мушни, которого узнал. – А Чачхал еще не вернулся?

Но его продолжали будить так грубо, словно это было во флоте.

– БЧ-5 – это тебе не камбуз! – пробормотал он, не просыпаясь; краем сознания он понимал, что служба позади и что это Мушни вместо благодарности за тачку так грубо пытается его будить.

Нет, все-таки это – мичман! Это мичман Бойченко беспощадно тормозил его, но лишь поднял облако винных паров.

– ДМБ неизбежен, как крах империализма! – строго проговорил Руслан, переворачиваясь на другой бок.

– Ахахайра! Хайт! Хайт! – настаивал то ли мичман, то ли Мушни.

Пришлось просыпаться. Открыв глаза, Руслан увидел над собой склоненного человека, но не мичмана и не Мушни. Человек этот, отчаявшись разбудить Руслана, зато надышавшись перегаром, как раз прикалывал к груди Руслана ежовой иглой какой-то букет и лист бумаги.

Руслан вскочил. Это был кремняк! Самый настоящий!

– Ахайхайра! Хайт! Хайт!

Руслан был ученый, но ученый молодой. В первую очередь – молодой человек. И потому стереотип кремняка, наработанный кино и эстрадой, вдруг взял у него верх и над научными пред-

ставлениями о первобытном человеке, и над его собственным отношением к кремнякам как к ветви генеалогического древа человечества, которая остановилась в своем естественном состоянии, тогда как современный человек стал развиваться известным путем. И вот что он сделал, чтобы кремняк его лучше понял, а сам был с похмелья и спросонья.

– Гоп-чоп! Буги-вуги! Твист-эгейн! – вскричал он и принялся отплясывать твист.

Рыжий кремняк отпрянул от неожиданности. Ведь он не знал, как его представляют современные люди. Он, очевидно, заключил, что незнакомец решил проявить агрессию и сейчас, прежде чем наброситься на него, принялся исполнять боевой танец.

Кремняк приготовился к обороне. Руслан, который по-настоящему проснулся только в разгар собственного танца, заметил это так же, как и миролюбие кремняка, но некоторое время продолжал свою пляску; теперь он самым характером танца пытался убедить кремняка в своих мирных намерениях. Наконец сбил дыхание и остановился.

Наступил самый опасный момент: танцевальные приготовления к атаке закончилась – дикарь из Племени Ацута (Руслан то есть) был готов к броску. И грозная палица в виде штыковой лопаты лежала поодаль.

И дитя палеолита бежало. Его можно понять.

* * *

Руслан попытался остановить кремняка, крича ему вслед, но безрезультатно. Он даже побежал за ним вглубь пещеры, в темноте тычась во все углы, потом вернулся за свечой, но и свеча не помогла: того самого лаза в Залу он так и не обнаружил.

Зато был вознагражден, заметив, наконец, два письменных документа, которые остались прикрепленными ежовой иглой к его тельняшке. Первый – обычный лист, вырванный Ниной из ее карманного блокнота, а второй представлял собой сложное сплетение трав и соцветий. Да. Подтверждалась гипотеза, что и в эпоху позднего палеолита, то есть задолго до появления клинописи, предки человека пользовались особым средством передачи информации, каковое до сих пор сохранилось у некоторых

индейских племен. Игорек это мнение оспаривал. Ермолай на нем настаивал. А Руслан – на тебе, держит в руках образец этой протописьменности.

Современная же записка предназначалась Мушни, но Руслану было не до шепетильности: отхлебнув из фляги, он начал читать.

«Мушни, я – пленница. Рыжик оставляет меня тут, пока ему не возвратят сестру. Но рыжик, насколько я поняла, не агрессивен. Обращается со мной хорошо. При этом требует, чтобы Нава была завтра вечером доставлена в Залу, где мы их повстречали. Только тогда он освободит меня. Никому не надо сообщать о случившемся. Помни, что мы накануне грандиозного открытия. Это почище, чем твой вожделенный аракац. А Камидату подыщем другую жену. До встречи. Нина.

Р. S. Приколотый к твоей груди пучок – не просто икебана. Это своеобразное письмо, которое кремняк послал своей сестре (или жене?). Он рассчитывает, что ты передашь ей».

Рыжик? Так-так... Кто такая Хава? Камидат – не тот ли это наездник, что был на Анне Махазовне женат? Так-так... Встреча вечером в некоей зале. Так-так... Вопросы, вопросы...

Руслан все понял. Он правильно предположил, что Мушни тоже в деревне нет. Сейчас разумнее всего предупредить дядю Мирода о случившемся и, прежде чем предпринимать что-либо для розыска пропавших, отыскать этого самого Нур-Камидата. Раз сам кремняк позаботился дать современным людям информацию, значит, Мушни и Нина в безопасности. Шутливый тон записки тоже успокаивал. Но чего стоит ее иронизирование над аракацем, когда его рецепт почти найден, нужно только лабораторное подтверждение.

Однако сейчас, решил он, следует думать не об аракаце. Сейчас следует думать о том, как найти друзей. И разделить с ними радость их сенсационного открытия.

Он сдержанно отхлебнул из фляги и заторопился от пещеры вниз, в деревню.

Нгуньчи Нгам-Гамлу

Представления о рыжиках, которые сложились в голове Нины, оказались достаточно точными, в чем ей пришлось убедиться за эти удивительные сутки. Точность эта замечательна еще тем, что

палеолит в некотором роде есть блуждание в темноте (любимое выражение Миши Демьянова). Но тебе, Сашенька, наверное, нетрудно представить, каких нервов ей стоил этот опыт! При встрече Нина сама тебе расскажет обо всех приключениях этих памятных ночи и дня более живописно, если уже не успела написать тебе обстоятельного письма. А в своем изложении я опускаю все, что в ее рассказе мне показалось – уж прости меня! – обычными дамскими преувеличениями.

Нину разбудили возбужденные гортанные голоса. Прежде чем открыть глаза, она с содроганием вспомнила, что кремняк с ее согласия связал ей руки и ноги.

Проснувшись окончательно, она увидела, что над ней склонилось сразу несколько страшных рож. С любопытством, свойственным детям природы, дикари рассматривали спящую пленницу. Увы, они невыгодно (для нее, разумеется) отличались от замечательного кремняка. В облике этих косматых, одетых в шкуры особей было нечто, напоминающее первобытного человека из учебников.

– О, Женщина, волосы у тебя желтые, как осенние листья, а не ярко-рыжие, как у женщин нашего племени; твоё тело хило, словно ты никогда не свеживала шкур и не изготавливала наконечников стрел, – заговорил тот, что склонился к ней ближе всех и, к ее ужасу, присовокупил к своей речи комплимент: – Ты способна вызвать огонь вождения!

– Одежания же твои не из шкур, – продолжал он. – Откуда ты, из какого племени? – спросил он, обдавая ее специфическим запахом, ибо привычка к человечине не исключает любви к фруктам, овощам, корням и насекомым.

Очевидно, это был предводитель шайки.

– Я – из Acuta... – прошептала пленница, памятуя, как уважительно отнесся давеча кремняк к ее происхождению. И не ошиблась.

Предводитель отпрянул в изумлении.

– Так я и чувствовал! – закричал он, из всех своих чувствилищ выбрав зад и восторженно хлопнув по нему. – Мы зрим пред собой Деву из Племена Летящих Ножей!

Дикари были озадачены. Им необходимо было обсудить ситуацию. Они расселись в картинных позах вокруг таинственной девы. Трубка пошла по кругу.

Вели они беседу довольно долго, но Нина уже не могла разоб-
брать, о чем. Станным образом, она понимала их только тогда,
когда они обращались к ней непосредственно. Не будь этой
однобокости общения, ей не пришлось бы пережить впослед-
ствии столько драматических мгновений. Но не станем забегать
вперед.

* * *

После нынешней встречи с кремняками Нина уже успела
утвердиться в мысли, что представление о первобытных чело-
веческих особях как о существах кровожадных и свирепых не
всегда соответствует действительности. Правда, ее не могла не
насторожить зловещая внешность и боевая раскраска ее новых
знакомых. Но все же ее успокаивало то обстоятельство, что су-
щества эти приучены подчиняться вожаку.

Это был мужчина средних лет – необычайно рослый, креп-
кий и наделенный добродушием, которое часто сопутствует
природной силе. В глубоко посаженных глазах рыжика было и
что-то звериное, и – одновременно – человечески осмысленное.
Повадки же отличались относительным спокойствием и уве-
ренностью, как у существа, привыкшего повелевать. Только как
дань обычаю воспринимался ужасный талисман на его груди.
Так скромные доценты нашей эры носят галстуки и запонки,
несмотря на атавистическую сущность и нефункциональность
этих деталей одежды, потому что такое, с их точки зрения, ще-
гольство дает им возможность не выделяться среди сослуживцев
и коллег, тоже носящих запонки и галстуки.

Вожак подошел к Нине и сел перед нею на корточки. Он был
без набедренной повязки. Его приятели остановились на по-
чтительном расстоянии.

– Осенние Волосы, слушай Нгуньчи Нгам-Гамлу, – и он мощ-
но ударил себя в грудь, чтобы у «девы» не было сомнений, что
Нгуньчи Нгам-Гамлу – он самый. – Он поведает тебе о том, что
решил он с верными друзьями за Трубкой Размышлений! – и
пыхнул ей в лицо дымом из этой Трубки Размышлений, и в этом
дыме она различила те же запахи, что и в снадобье, имевшемся у
кремняка в кисете. – Ты из Племени Летящих Ножей. До сих пор

людям нашего племени удавалось лишь издалека видеть мираж вашего Ацута и слышать предания о том, как вы, придумав твердые и бьющие на расстоянии ножи, стали сильнее всех зверей и птиц. Ты так хороша и дородна, настолько приспособлена рожать, что, несомненно, и в своем племени выделяешься среди сверстниц, – добавил он галантно. – Осенние Волосы! Мы отведем тебя на нашу родину, где ты сможешь предстать перед Нао-Нага Бунди-Курой, великим нашим вождем, жрецом и колдуном!

Несколько смущенный отсутствием радости на лице Осенних Волос, предводитель продолжал:

– Нгуньчи Нгам-Гамлу еще не все тебе сказал! Племя ваше почитается нами. Поэтому тебе, Осенние Волосы, все у нас будут рады. Я уже уверен, что тебя ждет прием по разряду Чести Одного Пальца. Но великодушный наш вождь может оказать тебе и Честь Второго Пальца! – восторженно сообщил он, при этом демонстрируя испытанные в боях свои пальцы.

Для него не составило особого труда пояснить Нине, в чем состоит разновидность приемов, на которые она могла рассчитывать при дворе вождя рыжиков.

Честь Одного Пальца означало, что вождь Нао-Нага Бунди-Кура сделает Осенние Волосы своей женой и она родит ему сына, который победит всех пещерных медведей и мамонтов. Она будет делать для вождя кремневые наконечники и шить шубы из убитых им зверей. При этом вождь не возьмет в рот даже самого маленького паука, не поделившись лакомством с любимой женой.

– Я, великий воин Нгуньчи Нгам-Гамлу, ручаюсь своим талисманом, что будет именно так, как я сказал! – произнес он торжественно.

И посмотрел ей в глаза, ожидая увидеть в них радость от привалившей удачи. Он был, несомненно, предан своему вождю и колдуну, этот Нгуньчи Нгам-Гамлу, коли о Чести Первого Пальца рассказывал с такой восторженностью, словно Нина предназначалась не Нао-Наге Бунди-Куре, а ему самому. Талисман Нгуньчи Нгам-Гамлу сильно смущал Нину, но она попыталась успокоить себя мыслью, что, если кто носит портфель из крокодиловой кожи, это вовсе не означает, что именно он убил крокодила.

И дочь Племени Летящих Ножей горизонтально покачала головой. Но мы уже успели узнать, что у первобытных людей кивки имеют смысл противоположный их сегодняшнему значению. И Нгуньчи Нгам-Гамлу понял так, что она не рада такой Чести. Ему было трудно понять, что есть на свете женщина, способная отказаться от счастья стать фавориткой вождя. Но Нгуньчи Нгам-Гамлу осознал, что Осенние Волосы принадлежит к гордому Племени Летящих Ножей, и счел вполне разумным, что она отказывается от первого предложения, считая себя достойной Чести Второго Пальца. Что он ей и высказал:

– Нгуньчи Нгам-Гамлу понимает, что Осенние Волосы настаивает на Чести Второго Пальца!

Нина утвердительно кивнула.

А Честь Второго Пальца, на котором «настаивала» дочь племени Ацута, была такой: вождь рыжиков согласится заколоть дочь Ацута своим прославленным в боях дротиком и зажарить на костре ее сердце и печень, чтобы, насадив их на папоротниковый прут, самому же, выполняя свои дополнительные обязанности жреца и колдуна племени, вознести молитву духам. В награду за это Осенние Волосы попадет в Замостянский Край, где сладкие плоды и вкусные насекомые сами летят в рот.

Нгуньчи Нгам-Гамлу бил себя в грудь, уверяя, что так оно и будет, что об обмане тут не может быть и речи, а стоявшие поодаль люди тоже били себя по груди, по голове и по бедрам, подтверждая истинность слов вожака.

Осенние Волосы лишилась чувств. От предвкушения счастья, как заключил великий воин.

Нож – волшебное оружие

Природа кремняков такова, что они не могут долго переживать. Кремнячка, быстро свыкшись и с судьбой, и с новой обстановкой, утерла слезы и принялась разжигать огонь в остывшем земляном очаге пацхи. Сухой хворост лежал рядом. Присев у очага, она принялась по-неандертальски тереть палкой о палку. Делала она это настолько умело, что к полудню у нее могли появиться искры, а уже к вечеру непременно в очаге Камидата запылал бы Красный Цветок. Камидат ничего не понял, хотя по

выражению ее лица видел, что дело, за которое она принялась, долгое и трудное.

– Дык... Лежат же спички на столе, – сказал он.

Женщина вообще быстро усваивает любое новшество. Увидев спички, кремнячка вспомнила, как их применял недавно Мушни. Она взяла их и неловко чиркнула.

– Бедняжка... – растрогался Камидат. – Вижу я, что тебе, как и мне, трудно дается разжигание огня. Тоже небось по наследству! – он не узнавал своего нежного голоса. – Дай-ка я тебе помогу!

Скомкав газету, он положил ее под хворост и поджег. Красный Цветок вскоре занялся. Кремнячке настолько пришлось по душе это зрелище, что она не удержалась, чтобы не ткнуть пальцем Камидату три раза в пах. От этой любовной игры джигит вспыхнул и затрепетал. Но решил пока сдерживаться и лишь опалил ее взглядом.

В отсутствие посторонних он мог позволить себе оказывать кремнячке знаки внимания и ласки. Вот и сейчас Камидат решил ее побаловать. Он выбрал из кучи груши кефир, сложенной в углу, одну, покрупнее, и сел с ней у очага. Достал нож и стал срезать кожуру, чтобы угостить суженую.

А ее почти насильно усадил с собой рядом. Хотя, говоря «на-сильно», мы несправедливы, потому что она и не упрямилась. Кремнячка, по всему виду, приучена была подчиняться мужской воле, что еще раз доказывает правильность догадки Ермолая Кесуговича относительно того, что матриархат если и был в первобытном обществе, то не повсюду.

Камидат отрезал аппетитный кусок груши и протянул ей. Она застенчиво отказалась. Ее любопытство вызвал сам нож.

– Дык, на же, на! – сказал он и, почистив лезвие, подал ей нож. – Племянника подарок. Только не поранься, бедняжка!

Долго кремнячка вертела орудие в руках, изучая его. Оно было огромно и очень остро отточено, причем только с одной стороны. Никакой кремь или минерал не мог идти в сравнение с ним. Его белое лезвие отражало блики Красного Цветка. Такого чуда она не видела никогда!

Обыкновенный нож, сработанный кузнецом в Дурипше. Она осторожно провела пальцем по его острию и вздрогнула от испуга. Вгляделась в свое отражение на лезвии и улыбнулась ему.

Чтобы испытать нож в работе, она взяла со стола дощечку. Нож входил в дерево, как в мясо, безо всякого усилия. Она портила дощечку, на которой Камидат обычно резал табак. Но хозяин дощечки, конечно же, молчал. Руки кремнячки умели орудовать кремнем, но волшебное орудие было для нее ново. Кремнячка отполировала и отстругала доску, попыталась ее продырявить. В ее руках нож становился то шилом, то долотом, то стамеской. Не легко описать эту первую встречу человека с орудием из железа.

Прогрунтовав дощечку, она стала наносить на ее поверхность ритуальные символы своего племени. Камидат глядел, но не понимал происходящего. Он даже не подозревал, что стал свидетелем величайшего зрелища – первого знакомства человека с железом. Он и предположить не мог, что существует женщина, не видевшая ножа. Иначе бы его возмутило, что именно такая женщина досталась ему в жены. Да и дощечки самой, откровенно говоря, было немного жаль.

«Не поранилась бы, Минадора!» – то и дело повторял он.

* * *

Гибель дощечки напомнила ему о курении.

Оторвав краешек газеты, где не было типографских знаков, он завернул в него табачку из кисета и склеил слюной. Любовно взглянул на свою работу. Нож замер в руках кремнячки. Она насторожилась. Самокрутка у Камидата получилась совсем как фабричная сигарета.

Кремнячка отложила работу и нож. Вытерла руки... Ну, об волосы.

Ничего этого не замечая, современный человек выхватил из очага уголек и, перебрасывая с ладони в ладонь, дал руке привыкнуть к жару, а потом прикурил от него. Зажал кончик самокрутки в зубах. Задумчиво посмотрел в сторону. Сомнений быть не могло: его щеки впали, заходил кадык – он затянулся. Затем приподнял самокрутку на кончике языка и ловко перекинул из левого уголка рта в правый.

Кремнячка решительно встала.

И не напрасно, потому что сначала из одной ноздри человека, потом из другой потянулись два снопа, как два лучика,

пробивающихся в щель. Сначала снопы эти шли порознь, потом скрестились. Вслед за этим дым повалил уже изо рта. Причем не снопом, как из носа, а густо клубясь.

Дым все шел и шел, и не было ему конца. Но вот опять щеки курильщика впали и кадык заходил. На бумаге самокрутки обозначились желтые полосы. Огонь на конце самокрутки приблизился к губам.

Кремнячка все поняла. Она нашла воду, спокойно умылась, сбросила чувяки с ног и, босая, вытянулась у стены, как подобает женщине. Ладони собрала в горсточку у живота.

Камидат сначала не обратил на это внимания, потом обратил, но ничего не понял.

Кремнячке же было ясно, что мужчина не просто так проглатывает зловонный дым. Она догадалась, что этот мужчина – жрец, приступивший к неведомому ей священнодействию. Именно поэтому она встала у стены, омытая и босая, готовая быть, в зависимости от воли мужчины, и соучастницей, и жертвой действия.

Мужчина снова затянулся. Цigarка стала еще короче. Лицо у него побагровело.

Кремнячка осмелилась поднять глаза на курильщика. Сомнения быть не могло.

Мужчина уже кольцами выпускал изо рта дым. Аккуратные, ровные колечки один за другим поплыли по воздуху. Кремнячка смиренно вытянулась и затрепетала.

Но когда «жрец» затянулся в третий раз, он вдруг поперхнулся и глухо закашлял, прикрывая рот ладонью. И тут сквозь слезы, навернувшиеся на глаза, он заметил позу кремнячки. Теперь она уже догадывалась, что это был не обряд. В глазах ее застыли жалость и упрек.

В одно мгновение Нур-Камидат осознал всю бессмысленность курения.

Вдруг он понял, как противен был дым, объявший его внутренности и заставлявший мучительно кашлять.

– Дык! Обувайся же, пол-то холодный! Брошу я курить! – сказал он и без колебания швырнул окурки в огонь.

И больше никогда не вернулся к курению, чего и всем нам желаю!

Гиена и кабан в папоротниковой чащобе

Нина не помнила, когда эти ужасные люди ушли. «Кажется, я опять спала», – подумала она совершенно правильно. И правильно вспомнила, что этот жуткий предводитель Нгунчи Нгам-Гамлу все пыхтел ей в лицо дымом из Трубки Размышлений. Она догадалась, что они усыпили ее. Только не могла понять, сколько времени пробыла в беспамятстве. Была глубокая ночь без признаков приближения рассвета. Нина зябко поежилась. Связанные конечности ныли.

Но сколько она ни пыталась высвободиться, у нее, увы, ничего не вышло. Кремняк не только связал ей руки и ноги, но еще и привязал к корневищу огромного папоротника.

Написала ли тебе Нина о том, какое отчаянье овладело ею при мысли, что надо ждать, пока вернутся эти ужасные существа? Не в силах ничего предпринять для своего освобождения, сейчас она просто мечтала, чтобы раньше них появился хотя бы ее улыбчивый похититель. Но чу!

Сразу с двух сторон – и справа, и слева от нее – из темноты чащи сверкнули зеленые глаза, и вслед за этим, Сашель, сильно запахло зверем. Сердце Нины готово было выскочить из груди. Она беспомощно заметалась, не в силах освободиться от пут.

* * *

Зеленые глаза тем временем приближались. А слева тоже зловещая зелень глаз мерцала в темноте, наблюдая и, очевидно, выжидая. А когда приблизились глаза справа, Нина с тоской поняла, что это была пятнистая гиена. Провидение не преминуло сыграть злую шутку с несчастной пленницей. Оно заставило ее тут же возмечтать, чтобы немедленно вернулся с приятелями Нгунчи Нгам-Гамлу.

И вслед за этим ей суждено было вздрогнуть от радости. На опушке мелькнули силуэты спешивших ей на помощь Нгунчи Нгам-Гамлу и спутников! Успеют ли?

Но уже в следующий миг справа раздалось зловещее хрюканье и, опережая приближающуюся гиену, в ее сторону побежал огромный черный кабан. Можно ли представить отчаянье, которое охватило Нину? Лучше быть разодранной гиеной, чем погибнуть от клыков кабана! Но чу!

В каких-то пятидесяти шагах от беспомощной Нины кабан и гиена остановились друг против друга. Кабан был немного сильнее гиены, но гиена, по всей видимости, была очень голодна, а в таких случаях близкий запах желанной добычи заставляет хищницу презирать всякую опасность. Оскалив зубы и зарывчав так, что шерсть вздыбилась у нее на загривке, гиена бросилась на кабана, посмевавшегося встать на ее пути. В первые минуты кабан, не ожидавший такой решительности, даже попятился, но тут же, оправившись от испуга, издал пронзительный визг, молниеносно вспорол брюхо нахалки своим мощным клыком и, приподняв в воздухе, отшвырнул в сторону.

Кабан видел своими кровавыми глазами и Нину, и храброго воина. Он стоял, Сашенька, страшно, зловеще опустив голову и как бы решая, что делать: покончить со слабым человеческим существом, а потом принять бой с воином, или же сразить воина, а потом полакомиться нежным девичьим мясом.

Между тем Нгуньчи Нгам-Гамлу, потрясая палицей, решительно спешил на выручку пленнице. Неважно было сейчас, двигала им естественная жалость к беззащитной женщине или он пытался во что бы то ни стало сохранить ее для ритуального жертвоприношения, но поступь воина была полна отваги, а на груди посверкивал талисман. Кабан, однако, был намного ближе. Успеет ли храбрый Нгуньчи Нгам-Гамлу?

И вдруг леденящий душу рев оглушил окрестности. И этого зрелища не забыть!

Пещерный медведь, о котором она столько читала и научных, и художественных сочинений, чьи кости множество раз перебирала в лабораториях, чьи клыки вызывали у нее чисто научный восторг, ибо отделен он был от нее, как ей казалось, тысячелетиями! – пещерный медведь-великан шел напролом, направляясь к ней! Вид его был настолько зловещ, что Нина, не колеблясь, предпочла бы смерть от кабаньих клыков прикосновению этого апокалиптического чудища!

Он не бился с кабаном, нет! Он просто раздавил его, походя, как насекомое, как досадное препятствие на пути – и пошел дальше!

А Нгуньчи Нгам-Гамлу с недрогнувшим сердцем спешил на выручку деде из Племени Летящих Ножей.

Пастушья свирель

– Минадора, байщ! – позвал Камидат, что означало «Поди-ка». Кремнячка подошла.

– Тебе нравится, как я окрестил тебя? Нравится, Минадора?

Она покачала головой вертикально, и Камидат, забыв, что у кремняков болгарское обыкновение кивать головой, понял жест так, как желала его душа: как утверждение.

– Смотри и учись, Минадора! – сказал он, вешая над огнем котел, чтобы сварить мамалыгу.

Кремнячка принялась ему помогать. Она с любопытством зачерпнула муки из миски, и ей очень понравилось, как мука сыпалась меж пальцев. А когда мамалыга была готова и Камидат снял котел с огня, она взяла у него лопатку и сама выложила крутое варево из котла. Камидат рассчитывал на двоих, но кремнячка разделила содержимое котла на две большие и две маленькие доли.

– Все верно, Минадора, – удовлетворенно отметил Камидат. – А то вдруг нагрянет гость, пока мы едим... Настоящая горянка, предусмотрительная и гостелюбивая! – воскликнул он и погладил ее по голове.

Но только когда кремнячка положила два кусочка поменьше на дощечку и вышла на улицу, Камидат, вечно забывавший о своих собаках, понял, кому предназначались эти куски.

– Дык, покусаят же тебя, Минадора! – Камидат выскочил за ней. Собаки уже кинулись с лаем к незнакомке.

– Пиркья! Бжяцал! Стойте! Я кому говорю!

«О, сколько мяса на этом зверьке!» – завизжал кобель.

«Ой, уйдет эта дичь! Ой, убежит!» – заскулила-запричитала сука.

– Минадора, байщ, байщ! – Камидат попытался удержать кремнячку за руку.

Но она, мягко отняв руку, пошла навстречу собакам. Собаки подбежали к незнакомой дичи и вдруг совершенно мирно стали принюхиваться к ней.

«Это на тебя мы кидались давеча! Ты же – человек!» – взвизнул Бжяцал и вильнул хвостом.

«И все из-за тебя, ненасытного!» – скуля, выговаривала ему Пиркья и тоже виляла хвостом.

Собак словно подменили. Они и мамалыгу поедали с выражением благодарности на мордах.

«Стоило ли на нас теплую мамалыгу переводить!» – взвизгнул Бжяцал.

«Молю Алышкянтра*, чтобы ты ужилась с хозяином!» – заскулила Пиркья.

– Бедняжки вы все, – умиленно пробормотал Нур-Камидат.

* * *

Камидат уже обратил внимание, что кремнячка не издала ни звука, что даже голоса ее он не слышал, но отнес это за счет скромности, которая вообще отличает абазинских девушек. Он решил не торопить ее, вспоминая народный анекдот, как некий старик собрал старейшин села и, заколов для них одного вола из упряжной пары, попросил их, в нарушение обычаев, до возвращения сына из похода разрешить снохе разговаривать с ним, со свекром, но на другое утро сноха стала пользоваться своим правом так яростно, что старик-свекор уже на третий день снова пригласил старейшин, заколол им второго вола из упряжи и попросил, чтобы все оставалось по-прежнему.

* * *

Когда поужинали по-семейному, вдвоем, Нур-Камидат встал и, подмигнув невесте и велев ей ждать, направился к дому. Первым делом тут он открыл створы и проветрил зал. Крестьяне в абхазских деревнях строят себе двухэтажные каменные дома, но по привычке проводят день в пацхе – хижине, сплетенной из прутьев рододендрона, а в доме только укладываются спать – и то на первом этаже, второй же обычно закрыт и предназначен для гостей. Камидат, за исключением тех нескольких ночей, что он спал с женами, в доме вообще не ночевал, а устраивался на деревянной лавке внутри пацхи. Но сегодня ночь была особая. Камидат приготовил постель в зале второго этажа, встал на крыльце, откуда днем Пицунду видать как на ладони, и позвал *специальным* голосом, который отличался от обычного так же, как роба от выходного костюма:

* Абхазское языческое божество, покровитель собак.

– Минадора, байщ, байщ!

Минадора пошла на зов, сопровождаемая счастливыми собаками. Собаки остановились у крыльца, а она поднялась наверх.

– Вот тут мы будем спать! – показал он ей на двухспальную кровать. – Хорошо, Минадора? – ласково спросил он, отметив про себя, что она опустила глаза.

Кремнячка кивнула. Нур-Камидат опять, конечно, понял это, как ему хотелось понять: то есть утвердительно.

– Вот и хорошо... Ты бы хоть слово промолвила, всем ты мне любя, да голоса твоего не слышал! – еще слаще и игривей заговорил он.

Она качнула головой (вертикально): отказалась.

– Я мигом! – сказал Камидат, взяв ее за подбородок с мягкостью, какая только была доступна его шершавым рукам.

Он решил повозиться на кухне, чтобы дать ей возможность подготовиться ко сну.

Уже внизу он оглянулся и помахал ей рукой.

* * *

Но когда, спрятав угли под золой и прикрыв дверь пацхи, он прилетел назад, как говорится, на крыльях счастья, кремнячки на крыльце уже не было. Он поддел дверь: она не открывалась.

– Минадора, что ты делаешь? – он заглянул в окно.

Кремнячка не умела пользоваться ключом, но еще в пещере была научена баррикадировать ход. И сейчас, за отсутствием в зале каменной пробки, она закрыла вход скамьей. Камидат вскипел, но взял себя в руки. Решил пойти на хитрость, а не врываться приступом. Громко шаркая ногами, он удалился, влюбленный резко обернулся и вмиг оказался у левого окна. Но не тут-то было. Он подскочил к окну как раз в тот момент, когда кремнячка забаррикадировала его с той стороны другой скамьей. Камидат кинулся к правому окну. Кремнячка как раз только что усвоила, как защелкивается шпингалет. Ломая руки, он слышал, как щелкнул ключ в двери – она научилась обращаться и с замком.

– Дык... Плутовка ты этакая, – утешал сам себя джигит. – Дык... Не ворвусь я. Не надо бояться. Воздержание лишь украшает горца! – успокоил он себя.

Действительно, у горцев принято не врываться в опочивальню к невесте в первую же ночь, а подождать несколько дней. И то, что Минадора подталкивает его к патриархальности и неторопливости, не только говорит о ее целомудрии, но и делает ожидание еще слаще.

Он постучал в окно спокойным и деловым стуком. Она подошла.

– Возьми это и спрячь на ночь! – он протянул ей партбилет и медаль. – Только тебе доверяю их. Все это досталось мне недаром! – добавил он.

Прежним женам такой чести он не оказывал. «Минадора» приоткрыла окно и взяла у Камидата вещи. Шпингалет снова защелкнулся. И еще задвинулись деревянные ставни.

Торопливость в таких делах позорна, решил Камидат, идя прочь от крыльца дома. Долго бродил он по двору, стараясь унять волнение. Луна стыдливо спрятала свой лик за облаками, как невеста за чадрую ставен. Потом выглянула снова. Вдруг Нур-Камидат остановился и прислушался. Из комнаты девушки доносился звук ачарпына*.

Ачарпын висел на ковре над кроватью.

– Минадора! – растрогался Нур-Камидат. – Ми-на-до-ра!

И стало ему жаль ее, одинокую и еще не знающую, что спутник жизни ей попался достойный и – да, да, Минадора! – обещающий быть покладистым, внимательным и мягким!

Он подкрался к дому и стал под окном. Мелодия, которую он слышал, напоминала обычную, пастушескую.

Пляска Одинокого Медведя

Нгуньчи Нгам-Гамлу, потрясая палицей, спешил на выручку деве из Племени Летящих Ножей. Но пещерный медведь, грозя клыками, огромными, как находка в Б6, опережал его, идя наперерез. Бедная девушка даже нюхнула второпях оставленного неандертальцами снадобья, чтобы умирать было не так больно. Но зверь был слишком близок: снадобье не успело бы подействовать. Надо было что-то решать самой!

И мужество не покинуло ее перед лицом, казалось бы, неминуемой гибели. Пещерного медведя первобытные люди – это до-

* Тростниковая свирель.

подлинно известно науке – могли одолевать в борьбе за зимние стойбища, но это удавалось им только всем племенем, да и то ценой невероятных жертв. Осенние Волосы не могла допустить, чтобы этот дикий рыцарь вступил в единоборство с медведем. Спасительная идея пришла ей в голову молниеносно.

Губная гармошка, неизменная спутница всех археологов, привычно висела на груди (только чехольчик она где-то выронила). А руки у нее были связаны, но, на ее счастье, не привязаны к корневищу: она могла ими двигать. Нина взяла гармошку и приложила к губам.

Сладкие звуки Пляски Одинокого Медведя полились на встречу чудищу. При первых же звуках этой душещипательной мелодии даже выдавшие виды современные медведи пускаются в глупый пляс; сами судите – может ли устоять перед этим изощреннейшим лакомством души примитивный пещерный зверь!

И пошла медведица по кругу, смешно, по-человечьи вытянувшись.

Захотелось медведице и деточек кликнуть на разудалый пляс. Захотелось ей, бедовой, чтобы детишки ее, медвежата, покуражились. И стала она звать медвежат голосом своим, от которого задрожала окрестность, да не слышали они матушки, увлеклись, видать, веселой игрой. Тогда стала медведица удаляться к своей пещере, продолжая плясать.

* * *

Чтобы медведица не раздумала и не воротилась, Нина заиграла еще громче.

И вскоре она была спасена. И свободна. От пут.

Восторженные воины окружили ее. Они решили повести эту расчудесную скво в вигвам вождя – и немедленно. Особенно радовался Нгуньчи Нгам-Гамлу.

– Эвона! – восклицало это простое и милое существо, наделенное даром испытывать эстетическое наслаждение, но только не способностью его конгениального выражения в словах. – У-блин!

Он был настолько восхищен девушкой из Племени Летящих Ножей, что теперь готов был на все, дабы выхлопотать для нее пред лицом своего вождя и жреца Нао-Наги Бунди-Куры Честь Второго Пальца, непременно Второго Пальца!

Часть IV

Тревожное утро Племени Летящих Ножей

Уже начинало светать, уже дети, которым предстоял долгий путь в школу, расположенную в центре, высыпали на проселочную лорогу, когда Руслан торопливо подходил к воротам Камидата. Не найдя Мiroда дома, – он с раннего утра успел уйти в сельсовет, – Руслан отправился за ним, но по пути решил забежать к Нур-Камидату.

У ворот джигита Руслан вспомнил о его беспощадных собаках. Позвал хозяина. Бжяцал и Пиркья с лаем кинулись на его зов и остановились у ворот, доброжелательно виляя хвостами. Руслан тут же заметил, что собаки совсем не те, какими он их знал.

«Это ты, землячок! Это ты, молодой наш ученый! Ну, заходи!» – радостно визжал Бжяцал.

«Ты думал, мы злые по природе... С голодухи, чего скрывать, был грех...» – приветливо скулила Пиркья.

Дверь пацхи была отперта, но пока никто не выходил навстречу. Сопровождаемый веселыми Бжяцалом и Пиркьей, Руслан вошел в ворота. У дверей он снова позвал хозяина. Но там не услышали: счастье глухо. Шагнув же через порог, ранний гость сначала увидел обобщенное и бесплотное счастье и лишь потом – Нур-Камидата у жарко пылающего очага. У Нура был вид ребенка – как если бы этот ребенок только что плакал, но под ласками няньки румянец обиды на лице его сменился румянцем смеха.

Кремнячка стояла над ним. Одна рука ее покоилась на его плече, другой она крутила волосы у его виска.

Руслан рассмеялся. Злость на похитителя осталась за порогом, как Бжяцал и Пиркья. Картина позволяла предположить, что брачная ночь состоялась. Теперь Камидат не отдаст кремнячку даже секретному институту в Кремле, подумал Руслан если не равнодушно, то с гордостью за упрямого земляка. Он еще не знал, что кремнячка – из рода Гуажв, его ахшя, иначе потребовал бы от Камидата, чтобы тот стоял перед ним, вытянувшись в струнку, как подобает зятю.

А было все так. Проснувшись рано утром, кремнячка первым делом вынесла из дому скамьи. Это могло означать, что в следующую ночь баррикада не понадобится, когда она прекрасно управляется с ключами и задвижками, но Камидат понял жест невесты в более лестном для себя варианте: в следующую ночь двери ее покоев для него уже открыты. И занервничал от избытка радости. «Бедняжка» догадалась, как его можно успокоить, и сама вызвалась крутить волосы у его виска. Различив фигуру Руслана сквозь пелену счастья, застывшую ему глаза, Нур-Камидат встал навстречу, благодушный и приветливый. Кремнячка же смущенно отпрянула.

– Я назвал ее Минадорой, – сказал Камидат. – «Минадора» ей больше подходит. Да, Минадора?

Кремнячка вертикально покачала головой.

Руслан зажег спичку. Этим жестом юноша из Племена Летящих Ножей объяснял, что он приветствует ее, немного сомневаясь в понятливости кремняков, но в шутку. Подтверждая, что она оценила его юмор, кремнячка три раза ткнула Руслана указательным пальцем в пах.

Интересные обычаи у кремняков! Руслан вручил кремнячке послание. Она встала в углу и стала рассматривать букет трав и соцветий, шевеля губами, как при нашем обычном чтении.

Камидат был необычайно приветлив. Он лишь несколько приревновал, когда кремнячка ткнула гостя пальцем в пах, но он воспринимал Руслана не иначе как родственника, однофамильца жены, о чем парень пока не знал.

– Минадора, байш, байш! Поддай дощечку брату-ученому, пусть посмотрит, как ты ее исполосовала!

«Конечно, мы с кремняками – братья!» – подумал Руслан и подивился уму простого крестьянина.

Кремнячка принесла работу и подала гостю. Брат-ученый аж привстал.

– Погляди, Камидат!

– Нур...

– Нур! Это же абхазский орнамент!

Камидат вряд ли знал, что такое орнамент, но как могла Минадора сделать что-то не абхазское! Или не абазинское.

– А что, Минадора тебе не абхазская девушка? – запротестовал он и воспользовался случаем, чтобы оглянуться на нее. – Ну, она – абазинка. Абазины той же нации, что и мы. Правда, Минадора?

Если Камидат решил, что она – абазинка, то его уже не переубедить. Ошибка, как кукушка, заняла гнездо в его сознании, и ее невозможно было из этого гнезда вытравить.

– Я не об этом, Нур, – слабо возразил Руслан.

– Камидат...

– Камидат, – снова начал Руслан, но тут же подумал, что напоминание о происхождении девушки из времени, удаленного от нас на тыщи лет, еще больше распалит и обидит мудрого, но малограмотного крестьянина. – Ты прав, разумеется! – только и сказал он. – Тебе страшно повезло, Камидат!

Эту истину Камидату настолько приятно было услышать, что на этот раз он даже не стал оспаривать свое имя. Жестом, позаимствованным у своих благоприобретенных родственников, он три раза ткнул гостя в пах.

И усадил ученого у огня.

– А Минадора ни в коем случае не сядет при чужом! – радостно болтал Нур-Камидат. – Все обычаи соблюдает, не то что девицы равнинных сел... Но не могу ее заставить говорить – и все тут! Правда, Минадора? – оборачивался он к ней при каждом удобном случае. – А сегодня утром сама развела огонь. Представляешь! Трудно ей, как и мне, разжигать огонь. У нее, как и у меня, это – наследственное. Все же разожгла с помощью газеты. Правда, Минадора? Байщ, байщ, Минадора!

Поспешно спрятав послание, она вернула личику выражение покорности. Это заметил Руслан, но не Камидат. Она подошла. Жених взял ее за руку и ласково заглянул в глаза.

– Вон там найдешь муку и котел. Свари-ка нам мамалыги, как я тебя учил! Это – гость! Она уже умеет. Ей только раз увидеть. – Он с удовольствием говорил о ней, но говорить о ней ему было недостаточно: ему надо было говорить с ней и смотреть на нее; он снова нашел предлог обернуться к невесте: – Это же гость, Минадора! Скажи ему: гостям мы всегда ра-ады! Да говори же! Это ученый парень, не станет требовать строжайшего соблюдения обычаев, – все приставал к ней с разговорами.

– Дык! – сказал он, обращаясь к кремнячке. – Ты похозяйничай тут, Минадора, а я принесу еще дров, – и вышел.

* * *

Воспользовавшись тем, что они остались одни, Руслан стал объяснять кремнячке причину своего прихода. Помогая себе жестами, он дал ей знать, что озабочен пропажей своих друзей.

Она улыбнулась, кивнула ему и знаками объяснила, что и за нее беспокоиться есть кому. Именно это его окончательно успокоило. Теперь Руслан знал, что брат кремнячки не сделает Нине ничего дурного, потому что кремняки – как предполагали они с Ермолаем в отличие от Игоря Павловича – существа разумные.

– Почему ты не говоришь, Минадора? – спросил он. – Почему ты все время молчишь? Мне же интересно слышать ваш язык, – и для большей ясности показал кончик языка. – Ты умеешь говорить?

Она кивнула вертикально: вроде бы подтверждала, а глаза ее говорили: «Нет».

Руслану стало как-то не по себе. Он смутился и опустил глаза. Живой первобытный человек в природе найден, мало того, выясняется, что он обладает достаточно стройной и развитой речью, но тот частный экземпляр, который доступен, поражен обычной немотой!

Сказать Камидату о своем открытии? «Нет, пока не стоит», – решил Руслан.

Вместо этого спросил его, когда тот вернулся с охапкой дров:

– И что ты собираешься делать?

– Конечно же, готовиться к свадьбе!

– А ты знаешь, что вслед за тобой кремняк умыкнул Нину?

– Ай да деверь! – восхитился Камидат, но тут же замолчал и покрутил волосы у виска. Потом поправил себя. – Дык... Он же не знал, что мы люди не дурные. И достаточно воздержанны до срока, – деликатно намекнул он. – Не беспокойся, Руслан. Я уверен, что он не причинит ей зла. Но... как мы его найдем?

– Сегодня вечером он придет в Залу пещеры, где вы с ними повстречались. И мы должны пойти туда. И ты. Вместе с кремнячкой.

– Дык... – не понравилось это Камидату.

– Камидат, я же тебе сказал, что брат кремнячки требует, чтобы мы привели ее...

– Послушай! – воскликнул Камидат упрямо. – Я уважаю тебя, но и ты пойми: я похитил себе жену! Как положено джигиту! Понимаешь? И притом – абазинку!

Так-то! А переубедить Камидата в том, что он вбил себе в голову, было так же тяжело, как передвинуть большие камни, лежавшие в изобилии под мельницей у дороги, ведущей к лагерю археологов, из-за чего въезд машин к лагерю затруднялся: приходилось каждый раз объезжать, разбирая и собирая ограду на кукурузном поле Мiroда Гуажвбы.

«Ну и дела!» – подумал Руслан, а вслух произнес:

– Но у тебя ведь все нормально с...

– С Минадорой! Да, все хорошо, хоть и не положено джигиту спешить.

– Тогда кто же посмеет ее у тебя отнять! А познакомиться с родственниками все равно надо.

Зерно упало на благодатную почву: патриархальный Камидат не мог отрицать, что ему необходимо со всей почтительностью, приличествующей зятю, предстать перед родней невесты.

– Конечно, познакомиться с родственниками надо. А то я только и знаю, что Минадора – абазинка, но до сих пор не выяснил, из какого она аула: Псыжа, Старокувинска или Красного Востока! Ты хоть и ученый человек, но в знании джигитских обычаев не уступишь нам, сельским жителям, Руслан! – великодушно признал Нур-Камидат.

У Руслана голова шла кругом. Он направился к воротам, откупоривая на ходу флягу.

– А я и не знал до сих пор, что и среди абазин есть фамилия Гуажв! – восторженно крикнул ему вслед Камидат.

* * *

Найдя в сельсовете Мiroда, Руслан узнал, что Чачхал еще не появлялся. Он благоразумно отвел дядю в сторону, чтобы о случившемся никто не узнал прежде времени. Рассказал ему все, что понял в этой запутанной истории. Но слишком уж неправдоподобным выглядел его рассказ.

Если события одной этой ночи воспринимаются нами, читающими, как самые настоящие приключения, то представьте

себе состояние Руслана: а) найдены кремняки; б) потерялись и Нина, и Мушни, и даже нигде не терявшийся Чачхал; в) Камидат насильно увел неандерталку, упорно принимая ее за абазинку; и, наконец, г) Камидат утверждает, что своими ушами слышал, как брат кремнячки, которая сама не говорит, но кивает, при нем представлялся из рода Гуажв.

Он даже подумал, что за это надо выпить, и потянулся было к фляге, но при строгом дяде не посмел.

Было решено сходить к Камидату, увидеть кремнячку. Джигиты же, пока тот не спрятал жену где-нибудь у племянника-голово-реза, следовало еще раз внушить, что ему следует пойти вместе со всеми в назначенный час к Валуно. Затем Руслан поднялся к председателю сельсовета Натбею и заказал разговор с Сухумом, чтобы позвонить Ермолаю Кесуговичу и велеть ему ехать сюда немедленно с фотоаппаратом и диктофоном и как-то зафиксировать первобытного человека раньше, чем это сделают люди из Обезьяньей Академии.

Чачхал у Вождя Племени Щедрых

Ранним утром на холме перед Стойбищем с победным кличем появился великий воин Нгуньчи Нгам-Гамлу. Его не только сопровождали живые и невредимые оба его оруженосца, но воин вел еще и пленницу, чьи волосы были подобны осенним листьям.

Стойбище располагалось на том месте, где в наше время красуется прекрасный Дворец культуры Дурипшского колхоза. На небольшой поляне возвышались два раскидистых папоротниковых дерева, между тем как вокруг, от альпийских лугов до нынешней Гудаутской бухты, тянулись непроходимые субтропические джунгли. Было тихо, лишь изредка пение птиц и птеродактилей перекрывали трубный зов мамонта да вой тигров и хохот гиен. Пробудившееся племя было собрано к утреннему разводу.

Нгуньчи Нгам-Гамлу и его спутники, среди которых находились и Осенние Волосы, приблизились к Древу Совета.

Предводителем Стойбища рыжиков, точнее, вождем, жрецом и верховным колдуном Племени Щедрых был Нао-Нага Бунди-Кура, выбранный еще в Пору Длинных Дождей. Вторичных

выборов история Стойбища Щедрых не знала, потому что настоящий вождь обычно не доносил своего тела до перевыборов, о чем вы узнаете чуть ниже; тот же, кто не обладал в полной мере качеством, наиболее ценным Племенем, съедался при первом же испытании. А то, почему именно Нао-Нага Бунди-Кура был удостоен славным Племенем Щедрых чести предводителя, вы опять же узнаете ниже. И сможете убедиться, что рыжики насколько не ошиблись в своем лидере: качеством, которое дало само название Племени, он был наделен в полной мере.

Так вот, Нао-Нагу Бунди-Куру сразу можно было узнать по гордой осанке, а также по торжественной татуировке на лице: суровое сочетание красок придавало облику вождя весьма свирепый вид. Однако эта маска не соответствовала природному благородству его натуры, отражавшемуся в косом взгляде глубоко посаженного единственного глаза. В ноздрю же вождю вместо обычной ракушки, как у прочих соплеменников, вставлен был брелок из дерева моклюры, подвешенный – удивительное дело! – на цепочке из элемента, который добывать и изготавливать неандертальцы научатся лишь тысячелетия спустя, то есть из железа. Об этом – позже.

Приветствуя воина Нгунчи Нгам-Гамлу, вождь приподнял единственную левую руку и топнул единственной правой ногой.

Нгунчи Нгам-Гамлу, любимец вождя, который должен был наследовать его власть, как только Нао-Нага Бунди-Кура раздарит свое тело, но к этой неограниченной власти не спешил (а ответом на свой вопрос: «Почему же?» терпеливый читатель будет вознагражден страницей ниже вкупе с ответами на прежние вопросы), приветствовал предводителя, издав громкий воинственный клич.

Нао-Нага Бунди-Кура величаво восседал под раскидистым папоротником за утренней Трубкой Размышлений, хотя Трубка с благовонной зазипой к нему попадала довольно редко, потому что почетное место рядом с ним, равно как и право безраздельно пользоваться Трубкой Размышлений, занимал человек, чье присутствие объясняло наличие серебряной цепочки в носу предводителя, хотя наличие последней еще не объясняло причину его собственного присутствия тут; ибо глаза не могли обмануть Нину – это был человек, которого она знала по Сухуму. Это был Чачхал.

Не только для этнографа, но и для всякого любознательно-го человека огромный интерес представляет первая встреча с незнакомым сообществом людей. И надо ли говорить, что соприкосновение с миром неандертальцев, на какой бы стадии развития те ни находились, должно явить для ученого огромный интерес, независимо от его собственного самочувствия в момент изучения объекта. Нина, конечно же, была обеспокоена предстоящей участью: ее ждала Честь Второго Пальца (см. стр. N), хотя и Честь Первого Пальца (см. стр. N) не улыбалась Осенним Волосам. Но при этом она помнила, с какой любовью отнеслись папуасы к наследию Миклухо-Маклая. Ведь папуасы не тронули ни единого гвоздя в оставленной великим путешественником хижине, почитая белого господина как божество, правда, вскоре после того, как сам был ими съеден.

Нгуньчи Нгам-Гамлу почтительно и благоговейно поцеловал левый глаз вождя Нао-Наги Бунди-Куры Нао-Наги Бунди-Куры. Он висел на груди у самого воина Нгуньчи Нгам-Гамлу в качестве талисмана, высушенный и забальзамированный, что и внушало недавно Нине такой понятный ужас.

У вождя на груди помимо всего прочего красовался автоматный патрон калибра 5,45, подаренный ему известно кем. В знак приветствия вождь приложил тыльную сторону ладони к брелку в своей ноздре. Он сидел, широко расставив правую ногу и левую культю. Отсутствие плебейской набедренной повязки демонстрировало невозможность исполнения вождем самостоятельно Чести Первого Пальца. Фаллос вождя красовался, забальзамированный, на груди Старейшего Воина и Слепого Певца. Лицо СВ и СП хранило следы красоты настолько мужественной, что, всего лишь заглянув в его невидящие глаза, старухи племени густо покраснели под впечатлением возникших воспоминаний.

Чачхал, конечно же, узнал Нину и при этом посмотрел на нее столь ясным взглядом, словно так и должно было быть: ему сидеть рядом с вождем рыжиков, покуривая из Трубки Размышлений, а ей пребывать тут в качестве намеченного объекта ритуального жертвоприношения.

– Привет, сеструха! – воскликнул он своим хриплым басом. – Руслан не забухал там?

Нину сейчас в ее положении меньше всего интересовало, не перепил ли Руслан среди цивилизованных людей. Но когда Чачхал с таким невозмутимым и спокойным видом обратился к ней, увидев в ее иссиня-черных глазах, что у нее затеплилась надежда, что он заступился за нее и ей, возможно, будет оказан прием в соответствии с представлениями о гостелюбии, более характерными для Племени Летящих Ножей, чем для Племени Щедрости. Еще раз встретившись с ней глазами, Чачхал подтвердил взглядом, что так оно и будет.

* * *

Театрализованные представления родились в те незапамятные времена, когда человек в своем стремлении быть понятым чувствовал, что речи, которой он обладает, иногда бывает недостаточно. Показ древнее рассказа. Однако и впоследствии, когда человеческая речь обогатилась, представления, приняв форму высокого зрелища, не утратили своей изначальной сути – быть наиболее эффективным способом коммуникабельности.

То, что можно было увидеть в это утро под раскидистым папоротником, есть действие в его первоначальном виде, театр у самих его истоков.

Именно театральными средствами и поведал Нгуньчи Нгам-Гамлу Племени Щедрых обо всем, что приключилось минувшей ночью с ним и его оруженосцами. В качестве гиены, кабана и пещерного медведя он выбрал по воину из племени – каждого на редкость удачно, а роль Нины предоставил ей самой.

Все племя в одночасье превратилось в соучастников импровизированного действия. Рыжики не просто сопереживали. Они выполняли функции хора. Музыканты, коими оказалась половина племени, принялись кто стучать рогом оленья о клык кабана, кто в такт трясти камни в кожаных мешочках.

Молодые приплясывали и подвывали. Даже самые старые ритмично покачивались в такт трещоткам и камням, соответствуя ритмам речитатива Нгуньчи Нгам-Гамлу.

К концу представления зрители пришли в состояние самого настоящего катариса. Точно так, как это было у законопослушных древних греков, такого рода театрализованные действия помогали

Племени Щедрых испытывать сильные страсти и таким образом нейтрализовать и агрессию, и жажду приключений.

– Эвона! У-блин! – восклицало племя и хлопало себя по бедрам.

Вождь Нао-Нага Бунди-Кура плакал.

По окончании мистерии все замолчали. Нгуньчи Нгам-Гамлу увели в обморочном состоянии, как Гарри Кина. О состоянии Нины и говорить нечего...

– Честь Второго Пальца! – закричало в один голос благодарное племя. – Нгуньчи Нгам-Гамлу достоин Чести Второго Пальца (см. стр. N)!

Вождь поднял руку в знак согласия. Зрители были единодушны.

* * *

В наступившем молчании все взоры устремились на Старейшего Воина и Слепого Певца. Он приложился к талисману и воздел к небу вдохновенное лицо.

Тут же, на глазах у благоговейной публики, СВ и СП немедленно сложил песнь, которую и пропел перед племенем с таким подъемом, что под торжественную дробь его барабана молодые снова пустились в пляс, у старцев же на лицах выступили слезы, а великий вождь, оттачивая кремневый наконечник, печально размышлял, что было бы правильнее и щедрее по законам племени преподнести барду в качестве дара: свой язык или даже клок волос?

– Кайфовая песня, – похвалил певца Чачхал и протянул ему Трубку Размышлений.

– Я потом еще спою тебе, – ответил польщенный бард.

Ермолай Кесугович и Игорек неверящий

Теперь я предложу тебе, Сашель, несколько сцен, которые не станут иметь решающего значения и снова нарушат единство времени и действия повествования, но несколько его оживят.

Переносимся в Сухум. В Музее зазвонил телефон.

Ермолая Кесуговича искать не пришлось. Он уже расписался в журнале прихода и ухода, но на утренний кофе сбежать еще не успел. Девушка передала ему трубку.

– Как? Живые? Говорящие? Не может быть! – закричал Ермолай.

Его друг и коллега Игорь Павлович, проходя мимо открытой двери, остановился и прислушался, иронически улыбаясь.

– Потрясающие новости! – воскликнул Ермолай Кесугович, положив трубку.

– Нашли неандертальцев? – язвительно спросила секретарша.

– И ты, Брут!

Время не ждало. Ермолай заторопился к директору до начала пятиминутки. Но не успел: пятиминутка уже началась, а она длилась обычно около часа. Ермолаю Кесуговичу оставалось только ждать. Без ведома директора он не мог выехать в Хуап, как ни рвалась туда его душа: кое-что из того, что ему было необходимо, в частности транспорт, надо было выпросить именно у директора. Чем топтаться нервно на пороге, решил он, лучше пройти на набережную попить утренний кофе и свыкнуться с потрясающей новостью.

* * *

Примчавшись утром на работу – опаздывать было нельзя – и расписавшись в журнале, служащие Музея устремлялись пить кофе на набережную с такой же торопливостью, с какой шли на работу. Но были и такие, которые почти никогда не пили кофе на набережной. Например, Игорь Павлович, мчавшийся сейчас на встречу Ермолаю Кесуговичу. Игорь Павлович всегда торопился, ему было не до кофе. Он считал своим долгом лично перепроверить научные гипотезы, которые казались ему сомнительными. Он вскрыл ошибочность многих гипотез не только в сфере своей профессии, но и в других дисциплинах. Бывало, только разберется Игорь Павлович с общей историографией, как тут же возникал физик с сомнительной теорией. Пока он был занят физикой, биологи успевали отмотать новую штучку. Конечно, не он один трудился над разоблачениями научных уток. Были у него друзья и в Тбилиси, и в Москве, и в Питере, и у нас в Обезьяньей Академии.

Игорек шел, по своему обыкновению, широко шагая и стараясь не сбить дыхания, как на горной тропе. Когда они поравнялись, лицо Ермолая Кесуговича уже выражало: «Опять не поверишь!», – а лицо Игоря Павловича, конечно, строго предупреждало: «Факты, факты!» Приятели поздоровались на ходу.

– Слыхал о теории Иванова и Гамкрелидзе? – спросил Игорек, не останавливаясь. – Конечно, неожиданно... Как твои неандертальцы?

Ермолай Кесугович вздохнул. Забыв об утреннем кофе на набережной, он уже бежал, еле поспевая за длинноногим Игорем Павловичем.

– Ладно, мне ты можешь не верить. Но вот газеты. «Труд»: «Снежный человек – существует ли он?»... «Комсомольская правда»: «Алмасты – миф или реальность?» – начал он издали. – И по телику смотрел, наверное...

Игорь чуть было не остановился, так его рассмешило услышанное.

– «Труд», говоришь?

– Да. Центральный компетентный орган, – напомнил маловеру Ермолай Кесугович, но Игорь Павлович сквозь смех уже ничего не слышал.

– «Комсомолка»! – даже прослезился он.

Ермолай уже начинал обижаться, но Игорь Павлович был беспощаден.

– «Труд»! «Комсомолка»! Уф-уф! Дай отдышаться! – он вытерся платком. – Ермолай, голубчик! – закашлялся Игорек.

– Неандерталец существует! – выпалил Ермолай и даже схватил Игорьку за руку, словно боялся, что тот попросту сбежит, чтобы не слышать такой неправдоподобной гипотезы. – Существует!

Страстность, с которой его друг произнес это, несколько смутила Игоря Павловича. Он перестал смеяться и внимательно посмотрел на коллегу.

– Ермолай! Ты знаешь, как я тебя уважаю! – воскликнул он. – Не сердись, но наука есть наука. Проклятые факты, куда от них деться!

– Неандерталец существует! – повторил Ермолай, и тут от раздражения вспотели стекла его знаменитых в Сухуме пенсне. Он полез за платком. Вместе с платком на свет явились: пара-тройка мятых рублевок, несколько поистрепавшихся в кармане бумаг – от очередного приглашения в какой-то европейский университет (коих у него было немало, становясь лишь поводами для шуток, потому что Ермолая так ни разу за кордон и не выпустили) до

письма Вячеслава Всеволодовича Иванова. Продолжая спорить, коллеги кинулись подбирать бумажки: настигнув бумажку, коллеги прихлопывали ее к асфальту, как таракана.

– И существует его наскальная живопись! – провозгласил Ермолай, стоя на четвереньках с пойманной бумагой.

– Это уже интересно, – согласился Игорь, стоя напротив в той же позиции и дыша ему в лицо. – Какой эпохи? Какова сохранность?

Обыватели Диоскурии – так именовался Сухум при древних греках, чьи традиции тут никогда не прерывались, – с любопытством и пониманием глядели на двух представителей науки, которые вели спор в такой интересной позиции. Ведь еще Диоген сидел в бочке на базаре, и, когда к нему пришел сам Александр Македонис, предлагая квартиру в центре Афин, ученый ему сказал: «Не трожь моих чертежей!»

– Живопись выполнена на днях! – закричал Ермолай, вскакивая. – Звонили из Хуапа четверть часа назад!

– Надо же... – Игорь Павлович даже не торопился вставать, чтобы показать, насколько он остался равнодушным к новости.

– Ты смотри, Игорек! – Ермолай протер стекла очков, и они засверкали у него на носу. – Мушни и Руслан общались с настоящими неандертальцами! Особь женского пола уже находится в селе. Обладающая речью! Членораздельной речью! То есть вообще-то неандертальцы говорят, только она немая.

– Общаются, стало быть, телепатически? – спросил Игорек с уничижающей иронией.

– Просто она немая, – стал запутываться Ермолай. – Ее зовут Нава!

Игорек встал, вздохнул и принял позицию врача, снисходительного к чудачествам пациента.

– Не надо так волноваться, все понятно: она бы говорила, кабы не была немой!

– Если я, положим, немой или ты, это не означает... не означает!

– Все понятно, – сказал Игорек, тоном своим призывая пациента считаться с тем, что у доктора еще много вызовов к больным.

Ермолай Кесугович, несмотря на внешнюю рассеянность, во всем, что касалось науки, бывал настолько обстоятелен, что доходило до анекдотических случаев. Вот, например. Однажды некий гость нашей солнечной Абхазии, выловив Ермолая во дворе музея около дольмена, спросил его напрямик, как звучит по-абхазски то, что в русской литературной речи называют «преlestи», очевидно, ошибочно употребляя множественное число. И хотя гость спрашивал его не как ученого, а как первого, кто попался ему под руку, когда тот самый отдыхающий, каким-то образом отстав от группы, забрел в музей один, как отбившийся от отары барашек, – тем не менее Ермолай Кесугович сначала задумался, а потом кашлянул и сказал:

– Существует несколько синонимов для обозначения интересующего вас предмета, и все они имеют право на существование.

Вот и сейчас он все запутал упоминанием о немоте кремнячки, но сделал это из убеждения, что нельзя грешить против научной точности.

– Я туда отправляюсь сейчас же, чтобы ты знал, Игорек! – сердито выпалил Ермолай.

– Пусть меня убедят, – повторил Игорь Павлович и кашлянул. – А Мушни передай, как приедешь: «И ты, Брут!» – удаляясь, бросил он через плечо.

Ермолай смотрел ему вслед и сокрушался. Как мешают маловерие и скептицизм этому талантливейшему человеку!

Ему было обидно, что друг и коллега проигнорировал важную новость, и, вместо того, чтобы мчаться с ним в Хуап на всех парах...

* * *

Прибежав на работу, Игорь Павлович заперся в кабинете и схватился за телефон.

– Анна Махазовна? Мне, пожалуйста, Анну Махазовну! Аннушка! – он перешел на шепот и прикрыл трубку ладонью. – Возьми Серпантина и скорее ко мне! Как можно скорее, не то нас могут опередить! Не забудьте прихватить камеру и аэрозоль! Сеть у меня есть! Я жду вас!

Закончив разговор, Игорек положил трубку и как ни в чем не бывало вышел в коридор.

- Игорек, в шахматы будешь? – спросили его.
- Безусловно, – и Игорь Павлович зашел в соседний кабинет.

Стойбище рыжиков

Чачхал прибыл в Стойбище Племени Щедрых вчера еще за-светло. Он уже успел подружиться со всеми. Нао-Наге Бунди-Куре он понравился сразу. Прием ему был устроен по Чести Тьмы Пальцев, – отодвинув палицей СВ и СП, вождь усадил Чачхала рядом с собой. И не только усадил, но время от времени предлагал ему корнеплоды или насекомых, пережеванных им самим. А когда Чачхал отказывался, вождь не оскорблялся, а даже бывал рад: лакомства или доедались им самим, или же изредка доставались СВ и СП.

Вечером во время ужина, состоявшего из мяса, на вкус незнакомого, но отваренного на чесноке и корне папоротника, Нао-Нага Бунди-Кура велел позвать своих жен, чтобы представить кунаку.

- Аричала Мигундуся!
- Хунцу-Перья-Эф!
- Регбияшенья-Же!
- Ой-Гудли-Му-ять!
- Дунь-Чуань-Тшаша-Ю-Эх-Маал-Реппа-Чэ!

– Амби-Цьозина-Аш! – представлялись они поочередно, в порядке старшинства.

* * *

Старшинство женам вождя племени предоставлялось не по возрасту, как следовало ожидать, а менялось попеременно, в зависимости от лунных фаз и расположения планет, о которых было известно только вождю.

Старшей супругой вождя была Аричала Мигундуся. Взглянув на госпожу Аричалу Мигундусю, Чачхал подумал, что в этом-то месяце светила вряд ли расположились в пользу его кунака Нао-Наги Бунди-Куры, потому что лик и стать почтенной матроны гость Племени Летящих Ножей нашел такими же ужасными и безрадостными на вид, как те несколько лет его молодости, которые ему пришлось провести не там и не так, как ему хотелось бы.

Итак, первой подвели к Чачхалу Аричалу Мигундусю. Чачхал пожертвовал ей консервную банку, в которую еще вчера вечером он собирал ягоды. При этом предупредил даму, чтобы обращалась с даром осторожно. Однако старшая жена вождя, обладая манерами, представлявшими ей верхом артистизма, все же немедленно поранилась и от страха издала звук, напоминающий скрип каменной пробки, отодвигаемой от входа в пещеру, и тут же с отвратительным кокетством сунула палец в рот супругу, давая ему выпить своей крови.

Чачхал сделал подарки и остальным женам Нао-Наги Бунди-Куры. Хунцу-Перье-Эф гость из племени Летящих Ножей вручил пластмассовую расческу, немедленно объяснив, как ею пользоваться. Зубья расчески приятно щекотали темечко. Она быстро поняла назначение вещи и так нежно улыбнулась Чачхалу, что он нахмурился и отвернулся.

Зубья ломались под напором ее заповедных волос и оставались в них. Таким образом, Хунцу-Перья-Эф становилась единственной женщиной в племени, в волосах которой возлюбленный муж Нао-Нага Бунди-Кура сможет искать искусственных вшей из неведомого вещества.

Регбияшенье-Же Чачхал преподнес рубль, услужливо продырявив его, чтобы ей сподручнее было, нанизав на ремешок, вдеть его в нужную часть лица. Благодарная красавица тут же предложила СВ и СП вдеть в монету его волосы. СВ и СП деланно улыбнулся и, скрывая нежелание, удовлетворил просьбу дамы: вырвал для нее клоч своих волос.

Чачхал уже догадывался, что волосы были наиболее сокровенной частью тела для людей Племени Щедрых; даже с маленьким клочком расставались они неохотно.

Ой-Гудли-Му-Ять, Дунь-Чуань-Тшаша-Ю, Эх-Маал-Реппа-Чэ и Амби-Цьозина-Аш, очевидно, зачатые в одну радугу, ибо были похожи друг на дружку как четыре капли воды, получили от Гостя по одинаковой безопасной бритвочке, которые он именовал «мойками».

Чачхал, как можно вооружать мойками сразу четырех фурий! Принимая подарки, каждая из четырех граций благодарно улыбалась гостю, но когда такой же подарок получала следующая, подруга хмуро косилась на нее.

Затем вождь представил гостю дочерей. Старшая дочь Нао-Наги Бунди-Куры, которую родила ему Аричала Мигундуся, звалась Каннабисони-Гой. Внешностью эта достойная дочь была в матушку. На ее беду, тут явно чувствовалось преобладание материнских генов, потому что следующие две дочери от других жен были похожи на отца, а те, что помладше, уже носили на себе печать то изящества СВ и СП, то гордой осанки Нгуньчи Нграм-Гамлу.

Каннабисони-Ге настолько приглянулся гость, что она весь вечер, к его неудовольствию, не отводила от него полного намеков взгляда глубоко посаженных глаз.

Каннабисони-Га

Спать ему постелили в кунацкой вождя. Из предложенных ему девушек Чачхал никого не выбрал, проигнорировав красноречивые взгляды прелестной Каннабисони-Ги и ее матушки Аричалы Мигундуси, потому что представления о красоте у Племени Щедрых принципиально отличались от его представлений и вообще от представлений людей Племени Летящих Ножей. Хотя, с другой стороны, Племя Летящих Ножей тоже за истекшие тысячелетия ударились в крайность, живет тоже раздвоенно: любит и в журналах, и в кино одними красавицами, действительную же страсть испытывая к другим.

Чачхал предпочел уединение. Отложив Трубку Размышлений, он улегся на пахучее папоротниковое ложе, пропел себе под нос: «Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино» – и тотчас же заснул сном праведника.

Как истинный горец, бессонницей он не страдал. Бывает, что горец прервет себя на полуслове, тут же заснет крепким сном, а проснувшись поутру, продолжит фразу как ни в чем не бывало. Он может прерваться не только до утра, но и на несколько дней, если ты с ним в пути; тогда уж будь уверен, что он завершит фразу на первом же привале. Чачхал был именно из таких горцев. И пусть мне никто не говорит, что Чачхал спросонья может сделать что-то такое, о чем утром не вспомнит. Да выкури он хоть триста Трубок Размышлений – этому не бывать! И сон его не только спокоен, глубок, отдохновенен, но и одновременно и чуток.

Тем не менее...

Проснувшись ранним утром, как и положено, он допел свою песню:

«...Но ни одна из них не стала королевой все равно!» – и открыл глаза.

И что вы думаете? Тут же суждено ему было убедиться, что некто все же попытался стать этой самой королевой.

Рядом с ним, справа, что-то противно всхлипнуло. Чачхал, у которого была отличная память на голоса, ох как не хотел поворачиваться в ту сторону!

– Зачем надо было спешить! – замурлыкало нечто там, справа.

Делать было нечего. Чачхал обернулся. Рядом с ним возлежала Каннабисони-Га, ужасная, как те семь лет молодости, которые прошли не там, где ему хотелось.

Чачхал понял, что «тут пытаются нас шантажировать».

– Че? Че? – прохрипел он возмущенно.

– Разве нельзя было дотерпеть до свадьбы? – начала свой беспардонный шантаж Каннабисони-Га, дочь Аричалы Мигундуси.

Не знала, дура, что это – Чачхал: тут где сядешь, там и слезешь!

* * *

Одним словом, с утра пошло-поехало.

Сначала было спокойно, если не считать инцидента с иском Каннабисони-Ги и ее матушки Аричалы Мигундуси, но этот инцидент легко замяли. А потом выяснилось, что в эту ночь четыре жены вождя, как говорится, «пописали» друг дружке личика подаренными вчера бритвами: теперь Нао-Нага Бунди-Кура мог, отдав их, постылых, СВ и СП и рядовым воинам, пополнить свой гарем другими девицами, отчего в отменнейшем настроении пребывали некоторые воины, и в особенности СВ и СП, а сам вождь, умевший скрывать свои чувства, был внешне невозмутим. Но давайте по порядку.

Держа ореховый прут, Чачхал уселся на почетное место. Но не успел он выкурить утреннюю Трубку Размышлений, как около шалашей начался шум. По характеру шума Чачхал сразу понял, в чем дело: так шумят только женщины, когда дело касается их чести.

Пошло-поехало. Несчастливая, опозоренная Каннабисони-Га и ее мать Аричала Мигундуса, еще более несчастная и опозорен-

ная несчастьем и позором старшей дочери, впервые в жизни спорили. А спорили они, вырывая друг у друга кожаный ремень, смазанный скользким медвежьим жиром.

– Уйти из жизни надо мне, осралившей свою мать! – противно визжала Каннабисони-Га.

– Нет, повеситься надо мне, моя милая доченька! Я тебя воспитала в излишней доверчивости! – шипела Аричала Мигундуся.

При этом поблизости не видно ни одного раскидистого папоротника, на суку которого можно повеситься, так что было ясно, что снова «тут пытаются нас шантажировать».

– Тяжело в деревне без нагана! – воскликнул Чачхал, ибо не навидел всякую наигранность. Возмущенный, он вскочил, помахивая ореховым прутом...

Но пропустим ненужные подробности разборки. Гораздо важнее, что именно это обстоятельство сыграло в тот момент роль, которую много позже (или раньше?) сыграло яблоко, своим падением на голову ученому поторопившее открытие закона земного равновесия (притяжения, тяготения).

Изъятый у фурий кожаный ремень оказался достаточно тугим и прочным, а фундуковый прут у Чачхала был в руках – и вскоре отличный лук был готов. Потребовав, чтобы ему принесли наиболее тонко сработанные кремневые наконечники, он без особого труда изготовил еще несколько стрел...

Да, Чачхал невольно способствовал милитаризации племени. Да, Чачхал, изготовил Летящие Ножи, научил неандертальцев пользоваться оружием, бьющим на расстоянии. Но при этом комплекса Оппенгеймера он и не думал испытывать и не считал, что ему придется всю оставшуюся жизнь освобождаться от своего греха подвижничеством на ниве общественной деятельности. Ибо был убежден, что по крайней мере еще пару тысяч лет это новшество вряд ли привьется в военном быту Племени Щедрых: отстреляют те несколько стрел, которые Чачхал изготовил, а потом лук перейдет к жрецу, а Певец, который и знает-то оружие на ощупь, воспоет его в очередном гимне. И на этом все закончится.

Невольно торопя ход истории, он не задумывался над тем, что новые виды вооружения усваиваются человеком легче и охотнее, чем иная новая технология.

И вот что из этого вышло.

Когда для испытания оружия Чачхал распорядился поставить мишень, Вождь Племени Щедрых предложил ему выбрать по желанию – Аричалу Мигундусю или дочь ее Каннабисони-Гу. К открытому негодованию и скрытой радости матери и дочери, Чачхал предпочел простую тыкву.

Он выстрелил и пробил тыкву насквозь. Племя ликовало.

Теперь предстояло вождю испытать оружие.

Однорукий Нао-Нага Бунди-Кура за отсутствием лучшего воина Нгунчи Нгам-Гамлу, еще вчера за прекрасное представление удостоенного Чести Второго Пальца (см. стр. N), предложил стрелять СВ и СП. Тот согласился, не смущаясь тем, что он не только Старейший Воин, но и Слепой Певец. Стрела действительно угодила в грудь Аричалы Мигундуси: подтверждалась гипотеза о наличии третьего глаза у неандертальцев. И хотя рана Аричалы Мигундуси была незначительной, вождь вручил дротик одному из юных воинов, чтобы прекратить ее страдания. Ее страдания, не успев начаться, были прекращены.

Доволен был Вождь, избавившийся от фурии; радовалось племя: проблема обеда была решена; и, надо полагать, удовлетворена сама Аричала Мигундуся, которая так жаждала именно смерти. Искренне огорчена была только разве Каннабисони-Га.

Стоит ли говорить, что творилось в душе Нины при виде всех этих ужасов? Бедная девушка едва не лишилась чувств.

* * *

Большинство людей, Сашель, не способно отрезать голову курице, но в ресторане съедят хоть человечину. Запрет на человечину в принципе легко преодолим. Если мы все еще не съедены, то благодаря отвращению к нашему мясу, а не чьей-то жалости и страданию. Милосердия в людях достаточно, но в ежедневных своих поступках мы рискуем оказаться соучастниками большого греха, вкусив на какой-то стадии именно его плодов. Все начинается в простой столовке, где мы съедаем то, что заклано казенной рукой, не будучи уверены, что государство не подсунуло человечины вместо свинины. Наше неведение тут не снимает с нас вины. Потому что каждый из нас, привычный к обману населения государством, держит в своей голове два

обстоятельства: а) сам грех изначально совершен не нами; б) последствия греха вкушаются всем миром.

Нао-Нага Бунди-Кура, когда он, по закону племени и заповеди предков, вознес хвалу своему идолу, сам закалывает человека, сам разделяет мясо и варит в котле, праведнее того лощеного политика, который, действуя опосредственно, создает в дальнем краю условия для людоедства, гордясь при этом тем, что сам – гуманист, семьянин, член благотворительных фондов, а дочурку имеет – порядочную студентку, не наркоманку.

Часть V

Ахшия

Пока Руслан говорил с Музеем из кабинета председателя сельсовета Натбея Зантари, сам Натбей, чтобы не мешать чужому разговору, вышел на крыльцо и беседовал с Миродом.

Затем Мирод и Руслан отправились к Нур-Камидату.

– Кремнячка, стало быть, из рода Гуажвба! – ликовал Руслан.

Когда они подошли к воротам Камидата, тут не только горячий Руслан, но и почтенный Мирод был изумлен тем, за каким странным занятием они застали ахшию.

Кремнячка кувыркалась на высоком крылечке амбара. Она не видела подошедших к воротам. Она кувыркалась несколько раз и, зацепившись за край крылечка пальцами ног, повисла вниз головой. В такой позиции она раскачалась и дотянулась до каменной ступы, лежавшей под крылечком. Лизнула ее. Лизнула и раскачалась. Раскачалась и лизнула. Потом проворно вскочила на ноги, выпрямилась и вскинула руки. Снова кувыркнулась и повторила прием. Она была необычайно резва, эта кремнячка.

– Господи, благослови, – Мирод погладил седые усы.

Руслан отметил, что и при перекидываниях и кувырканиях ахшия не предстала в неприличном виде. Но все равно поведение новоявленной сестры он слегка осуждал. Пристало ли девице из рода Гуажвба заниматься гимнастикой среди бела дня, да еще на людях?

– Есть там кто? – позвал он, чтобы прервать это представление.

Услышав его голос, кремнячка выпрямилась и приняла исходное положение.

Пещера, как и город, портит девушек, ревниво решил Руслан. Потому что она, завидев их, не только не смутилась, но и приветливо помахала им ручкой. Потом постучала в прикрытую дверцу амбара. Дверца отворилась, и оттуда показалась голова Нур-Камидата. Кремнячка спрыгнула вниз – очевидно, по приказу хозяина. Он подал ей мешок. Она легко приняла мешок и понесла в пацху.

– Добро пожаловать! – крикнул хозяин, спустился по приставной лесенке и направился к воротам, близоруко щурясь и отряхиваясь на ходу.

* * *

Узнав Мiroда, он всполошился, потому что уже воспринимал его как старшего из рода жены, в присутствии которого зять должен вести себя с особенной почтительностью.

– Дорогой старейшина! Все так получилось! Не будь ко мне строг! – заговорил он, следуя правилам этикета. – Я тоже не из плохого рода, только один остался, как худшая корова в коровнике.

(Камидат тут произнес абхазскую поговорку «как худшая коза в козлятнике», но автору не хочется без надобности наворачивать на французский хлеб абхазскую аджику. Ты, Сашель, узнай французский аналог этого выражения: поверхностная экзотика нам не нужна.

Да не уподобится твой Даур иному поэту, который садится на крышу сакли, чтобы следить за парением орлов, а жена поручает ему заодно присматривать за цыплятами в птичнике, чтобы их не заклевал обыкновенный ястреб!)

– Не следует тебе унижаться, Камидат. Лучше пригласи нас на чарочку и познакомь с кремнячкой, которая, как сообщают мне, из нашего рода Гуажвба.

Руслану пришлось по душе почтительное обращение Нур-Камидата к его родичу, и он воскликнул:

– Хороший зять стоит брата, Камидат!

Тоже абхазская пословица. Или французы ценят зятей не меньше! Невестушек-то своих они, по крайней мере, ценят?

– Зовите меня Нур, – скромно сказал-таки новоявленный зять.

Восторженные Пиркья и Бжяцал вились вокруг старейшины, провожая его к пацхе.

– Поднимемся в дом, старейшина.

– Веди нас туда, где очаг, – сказал Мирод и пропустил вперед хозяина. – Поди-ка сюда, сестренка, – позвал он кремнячку, скромно притулившуюся в углу пацхи.

Та подошла. Одета была она в шкуры, при этом на груди ее красовалась обыкновенная, хоть и заслуженная, медаль Ками-

дата. Наверное, очень пришлось Камидату по душе кремнячка, коли он уступил ей свою медаль – предмет гордости.

* * *

– Итак, вечером идем все вместе, – напомнил Руслан.

– Дык... Все же я возьму с собой племянника. Чистый голово-рез. Ни в чем не уступит ее братьям-абазинам.

– Его можно понять, – сказал Мирод, когда шли от Камидата. – Бойтся потерять жену. Много раз уже не везло ему.

– Но как дальше будет жить Камидат? – заговорил Руслан. – Ведь завтра буквально весь мир узнает о том, что произошло в абхазском селе Хуап. Сюда хлынут толпы желающих увидеть живую неандерталку.

Мирод нахмурился и промолчал.

– Чтобы туристы затоптали заповедный Хуап! – зажегся Руслан. – Скорее я взорву мост через Ягырту!

Мирод, хоть и знал, что никаких мостов Руслан взрывать не станет, все же, недовольный легкомыслием родственника, покачал головой.

– Мирод, мост на Поляну ты достраиваешь?

– Осталось работы на полдня. – Потом после паузы добавил: – Это Чистая Поляна. Она должна быть открыта для людей. Скотина на нее не ступает.

– Дядя, ты говоришь, скотина не ступает? – наострил уши Руслан.

– Да, скотина туда ни ногой, хотя на Поляне обильная трава.

– И на Гору Грома не ступает ни скотина, ни зверь.

«И вправду, о знаменитой Горе Грома так и говорят», – подумал Мирод, отмечая про себя, что родственник, хоть и ветреник, но неглуп.

– Только и знаем, что наша гора называется Святой, а не задумываемся – почему! – взволнованно заговорил Мирод. – Нам даже неведомо то, что бережет нас до сих пор, – он вздохнул. – Вот и про кремняков старшие говорили, что они существуют в горах. Но этим рассказам не верили.

Его уже тянуло на Поляну.

– Суетиться нет смысла. Все выяснится вечером, – добавил Мирод.

Приготовления в дорогу

Не прошло и часа после звонка Игоря, как появились его друзья.

Они приехали на спецмашине. Это был «газик» с прицепом. Прицеп с зарешеченными окнами предназначался для транспортировки обезьян из Академии в Тамышский филиал и из Тамышского филиала в Академию. Приятели не забыли прихватить с собой видеокамеру фирмы «Сони», отдельно диктофон фирмы «Тошиба», запаслись боевым аэрозолем фирмы «Шарп», которую Анна Махазовна приобрела для нужд Академии в бытность свою в Йокогаме. Стоило брызнуть из баллончика обезьяне в лицо, как та засыпала на пятнадцать минут. При этом аэрозоль был совершенно безвреден.

За руль сел ее муж и коллега Серпантин Христофорович Пулиди, йог и телепат. Приятели знали дорогу до села Хуап. А дальше вся надежда была на Серпантина-телепата. Он обладал даром читать чужие мысли и отдавать приказы на расстоянии до пяти верст.

Чтобы автоинспекторы не вздумали чинить препятствий, Серпантин прикрепил к стеклу надпись:

МУЗЕЙ. ПРОЕЗД БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Ермолай Кесугович попил кофе на набережной и вернулся в Музей. В кофейне он никому не рассказал о новости. Развелось маловеров!

Собрание уже закончилось. Ермолай ворвался в кабинет директора:

– Сенсация! Георгий Джгунатович, сенсация!

Но насколько он был возбужден, настолько же спокоен был директор.

Он поднял глаза и мирно взглянул на Ермолая, к сенсациям которого давно привык.

– Найден неандерталец? – спросил он.

А рука его медленно клала трубку на рычаг.

– Георгий Джгунатович, дорогой! Неандерталец действительно найден! – засуетился Ермолай.

– Очень приятно, – ответил директор. – И конечно же, он – немой!

– Георгий Джгунатович! Это же величайшее открытие века! Неандерталец! Живой!

Одним словом, транспорт у директора Ермолай выпросил. Теперь ему надо было найти бензин. Бензин можно было достать в гараже УБОНа, где Ермолая знали. И они с Демуром поспешили туда.

– Ермолай Кесугович, мы тебе нальем бензина, только ты скажи: правду пишет Турчанинов или нет? – спросил его начальник.

– Эпиграфическая наука такова... – начал степенно ученый, но при этом очень было заметно, что он торопился.

В обычное время, имея благодарных слушателей, которых он называл «свежие уши», Ермолай Кесугович неторопливо рассказал бы обо всем, тем более что тема ленинградского эпиграфиста Турчанинова – болезненная; она – постоянный источник его споров с Игорьком. Но сейчас ему было не до того: в путь, только в путь!

Бензин залили. Теперь надо было найти фотоаппарат и диктофон. Фотоаппарат был у Марины Барцыц. Но у нее не оказалось пленки. Пленка была у Анзора Кварчелиа. Ринулись на телевидение. Анзора поймали, но пленку надо было еще зарядить.

– Так ты и заряди! – взмолился Ермолай.

Но Ермолай принадлежал к той породе людей, которых, как увидишь, тут же хочется задать им научный вопрос.

– Расскажи о Выборах, пока я занят, – попросил Анзор, принявшись перезаряжать пленку. – Добьемся ли Консенсуса?

Все равно надо было ждать, пока он закончит.

– Квота, – заговорил Ермолай, но вскоре заметил, что Анзор, разволновавшись от его рассказа, перестал работать и слушал, не шевелясь.

И там им повезло. Время приближалось к полудню. Надо было найти еще диктофон. Диктофон имелся у Руслана Гуажвбы. Но когда примчались в Музей, Ермолай вспомнил, что Руслан находится в Хуапе и что именно он звонил и сообщил о неандертальце. К счастью, диктофон нашелся у него в столе.

С кассетами тоже повезло. Батарейки были у Игоря. Но дверь кабинета Игоря была заперта. От коллег Ермолай узнал, что к Игорьку примчались друзья из Обезьяньей Академии и куда-то спешно увезли. Ермолай сразу понял все. Он понял, что Игорек-неверующий решил опередить его и раньше прибыть на место.

– Вперед! – крикнул он, вскочив в кабину. – Батарейки найдем в Афоне!

Ни славы, ни сенсации не искал Ермолай Кесугович, но ему было обидно, что Игорь решил так коварно его обойти.

– Вперед, Демур!

Но Демура Кокоскира, водителя музейной машины, не надо было упрашивать. Он только и ждал, когда, наконец, можно тронуться. Выехали на трассу и помчались в сторону Афона. РАФ, заправленный хорошим бензином, не ехал, а летел. А чтобы автоинспекторы не чинили препятствий, на лобовое стекло Демур выставил дощечку с надписью:

МУЗЕЙ. ОСТАНОВКЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

* * *

В Афоне с батарейками повезло. Машина обладателя батареек стояла перед рестораном. Забежали туда. Искомый сидел с двумя стариками, облаченными в национальные костюмы, и пил кофе. Выяснилось, что и батарейки как раз лежали у него в машине, никуда за ними не надо было ехать. Ермолай заторопился. Но тут подошел официант с шампанским и фруктами.

– Долго не задержим, – пообещали гостеприимные афонцы. – Мы же видим, что вы торопитесь.

– Это брют или сухое, внучок? – уточнил у официанта старец, привычно откупоривая шампанское, и обратился к Ермолаю: – Скажи, Ермолай, сынок, про камень, прочтенный этим русским ученым.

– Псевдобибл... – начал Ермолай.

Мысли его были далеко, но он знал, что неудобно уйти, не рассказав еще о Выборах, ибо – это знал тогда каждый пацан – только при необходимой Квоте возможен Консенсус.

* * *

Они уже в пути! Игорь Павлович ликовал. Он даже махнул приветливо рукой постовому, который стоял на эшерском посту ГАИ, стоял, так сказать, на страже интересов мирных водителей, таких, как они.

Постовой ответил на их приветствие. И тут же передал по рации, чтобы на Ачандарском повороте задержали машину с трафаретом «МУЗЕЙ».

Тихое семейное счастье

– Минадора, байш, байш! – позвал Камидат кремнячку, когда они остались одни.

Она подошла. Нур-Камидат стоял перед блестящей шутовской, которая, точно чистая лужица, отражала лица и предметы. Он навел на лицо белой пены и, держа в руках острейшее орудие, еще более острое, чем то, которым она вырезала на дощечке абазино-абхазский орнамент, собирался именно с его помощью убрать лишнюю растительность с лица. Кремнячка вздрогнула, поняв его намерение. Нельзя было позволять ему подвергать лицо риску быть изуродованным этим опасным орудием. Знаками попросив его подождать, она вынесла свой кисет с аракацем. И вот, волнуя Камидата близостью, она вытерла от мыльной пены его лицо и стала наносить на него свою мазь, плавными движениями втирая ему в кожу благовоние. И лицо выбривалось!

Это было необыкновенное снадобье. От малейшего прикосновения пальцев абазинки щетина отходила от лица легко и безболезненно. И это еще не все. Сама щека при этом покрывалась румянцем, как у юноши.

В несколько минут Камидат уже выглядел молодцом. Побритый таким кремняцким способом, он принарядился и сошел вниз. Вывел оседланного скакуна из конюшни.

– Минадора! – крикнул он, чувствуя себя неотразимым.

Кремнячка появилась в дверях с ножом и дощечкой в руках.

– Скоро вернусь, дорогая, – сообщил он и вскочил на скакуна. – До Дурипша и обратно. Не скучай. – И, тронув коня, он загарцевал по двору, затем вдруг перемахнул через забор, направляясь в сторону Дурипша, колхоза-миллионера, где была замужем его сестра. Это у сестры был сын – головорез головорезом.

* * *

Примчавшись в Дурипш, он не застал племянника дома.

– Скоро будет. Спешивайся, чего ждешь? – Удивилась сестра.

Дети повисли у него на стремени, не пугаясь даже его внушительного скакуна.

– Дядя Нур, а где твоя медаль, дядя Нур? – пытали они его.

– Не дядя Нур, а дядя Камидат! А где медаль, кому на хранение отдана – пока не скажу, – загадочно произнес Камидат.

– Что у тебя еще? _ полюбопытствовала сестра.

– Пока не скажу, – темнил Камидат. – Как появится твой гововорез – сразу пусть мчится ко мне, он мне очень нужен, – распорядился он и, не мешкая, пустил коня в карьер.

Сестра не могла не обратить внимания на его спешку, потому что в обычные свои приезды он любил оставаться у них подолгу. А тут его тянуло куда-то. «Видать, опять женился», – догадалась сестра, которая давно устала от коротких женитьб Нур-Камидата.

Да, Нур-Камидат решил скрыть факт женитьбы даже от близких, пока не убедится, что дело прочно. Он торопился к своей кремнячке. Еще по дороге повстречал старика, имевшего славу человека с дурной ногой. О старике поговаривали, что по ночам он разъезжает верхом на волке.

Сейчас, средь бела дня, он был не на волке, а шел пешком, но Нур-Камидату все равно стало не по себе. Он глубоко запустил руку в левый карман брюк, отвернулся и проехал мимо, не здороваясь. Старик уже привык к такому обращению со стороны соседей и только укоризненно покачал головой.

К дому Камидат приближался с нехорошим предчувствием. Въехав в ворота, он остановил коня во дворе и с бьющимся сердцем вбежал в пацху. Его зазноба была дома. Однако...

Он вошел в пацху как раз в тот момент, когда в очаге догорал его партбилет. Видимо, Минадора увлеклась своей резьбой и у нее погас огонь. Не найдя в пацхе другой бумаги, она разорвала в клочья врученный ей на хранение документ и начала с помощью этих клочьев разжигать огонь. Нур-Камидат стал свидетелем того, как догорали последние обрывки картона. Кремнячка увидела впервые бумагу только вчера, и человек, который ее показал, использовал бумагу как средство для разжигания огня и еще заворачивал в нее зловонный табак. Откуда дочери природы было знать, что бумага имеет и другое предназначение. В частности, что из нее изготавливается документ, которому мои соотечественники как раз в этом году всем миром порешили сохранить верность в противовес грузинам. Она-то подумала, что все бумажное создано для разжигания огня, подобно своим соплеменникам, которые не были загружены моральными запретами и занимались каннибализмом потому, что человеческое

мясо вкусно и питательно. Кремнячка подняла голову, торопясь показать жениху, как все хорошо у нее получилось. Улыбка медленно сошла с ее лица, когда она увидела его реакцию.

– Ты, неформалка, звиадистка! Связался с тобой – так мне и надо!

Сейчас во гневе, он видел перед собой не только неформалку-кремнячку – ему казалось, что рядом с ней стоят все его прежние жены. Потому он даже говорить стал во множественном числе:

– Чтобы я никого не видел тут, не нужны вы мне все!

Кремнячка встрепенулась и заметалась по хижине, как напуганный зверек. На лице ее отразились муки немоты, которой он так и не заметил. Ачарпын был приторочен к ее поясу, в руках она держала дощечку и нож. Она опустила голову и, не оглядываясь, вышла. Она медленно пошла по двору, не замечая ластившихся к ней собак. Дойдя до середины лужайки, нагнулась и положила дощечку на траву. Выходя за ворота, вонзила нож в дерево сваи. И медаль, отцепив от груди, накинула на рукоять ножа.

Собаки догадались, в чем дело, и уже сделали выбор. Они проскочили вперед прежде, чем она прикрыла калитку.

По скошенному лугу она направилась в сторону Горы, где была Пещера кремняков. Бжяцал и Пиркья молча семенили за кремнячкой.

– Иди, иди и забудь сюда дорогу! – кричал Камидат ей вслед.

Еще долго после ее ухода он гневно ходил по пацхе из угла в угол.

Потом вышел во двор. Как ни крутил волосы у виска, не мог успокоиться и осознать случившееся. Раз даже, носясь по двору, споткнулся о дощечку, лежавшую на траве, но, не поняв, что это такое, в сердцах отпихнул ее ногой.

И как раз в тот момент, поднимая пыль, подъехала и затормозила у ворот легковушка. Это примчался его племянник-головорез.

– Что случилось, дяхоз? – крикнул он.

– Пусть катится на все четыре стороны! – взревел Нур-Камидат, и племянник понял, что опоздал.

Нур-Камидат пошел навстречу племяннику. Он торопился поскорее рассказать о постигшей его несправедливости. Подой-

дя к воротам, он вдруг заметил нож, вонзенный в дерево сваи, и медаль на его рукояти. И словно неожиданно пробудился ото сна. Схватившись за рукоять ножа, накрепко всаженного в дерево, джигит прильнул к нему лбом. И, не выдержав, затрясся от рыдания.

– Опять то же самое, дяхоз?

А кремнячка? Притихшая, шла она некоторое время по направлению к Горе. Но вскоре успокоилась, заметила следовавших за ней собак и даже нащупала забытый за поясом ачарпын.

Часть VI

Золотое Колесо

До часа, когда все должны были встретиться и идти к Пещере, оставалось еще много времени. Руслан торопился пообщаться с народом, испить полную чашу народной патриархальной жизни, хотя не только ее. Мирод же ретировался, потому что ему давно хотелось пойти к Поляне.

Когда он зашел домой за инструментами, сын понял, куда направляется отец, и вызвался пойти с ним.

– Ладно. Неси инструменты, – сказал Мирод равнодушным тоном. Но ему было приятно, что единственный сын проявляет интерес к его делу.

Пошли лугом вдоль пенистой Ягырты, огибавшей Святую Гору.

Святая Гора была, собственно, не гора, а, скорее, высокий холм, густо заросший грабом. Там и находилась Пещера кремняков.

У подножья Святой Горы речка раздваивалась. Один рукав ее приводил в движение две недалеко отстоящие друг от друга мельницы на зеленом лугу, усеянном великолепными мшистыми камнями. Хуап – истинный сад камней. А сразу за речкой лежала эта ровная Поляна. Мирод очистил от зарослей проход, который вел к ней, и заканчивал строительство мостика. Уже неделю занимался этим Мирод, отрывая себя и от домашних, и от общинных дел.

Он проработал с сыном до заката. Аккуратный деревянный мостик с перилами был готов. Теперь надо было идти домой, чтобы переодеться и подняться с друзьями, как было условлено, к Пещере кремняка.

Однако Мирод отправил сына домой, чтобы побыть немного одному и спокойно полюбоваться плодами своего труда. Некоторое время он сидел в тишине, погруженный в созерцание. Он не заметил, как неслышно поравнялась с ним кремнячка, сопровождаемая собаками.

* * *

– Ахшя! – обрадовался он, привлек и поцеловал кремнячку в голову.

Кремнячка взяла Мiroда за плечо и обернула его в сторону Святой Горы. Она велела смотреть и внимать. Мирод замер и прислушался. Было тихо, только шумела речка да верещал дрозд в плюще около мельницы. Даже собаки остановились и смотрели туда же. Наконец что-то подобное дальнему раскату грома донеслось сквозь говор потока. Не отрывая взгляда от вершины холма, Мирод продолжал напряженно вслушиваться...

– Господи, благослови, – прошептал он.

Золотой круг облака с глухим гулом отделился от вершины и поплыл по небу. Внутри круга было ярко-белое свечение. Видение это, которое человеческим языком невозможно описать, длилось минуту. Потом исчезло, а Старейшина еще долго стоял и изумленно смотрел туда, где оно испарилось в густеющей желтизне вечернего неба.

Это было Золотое Колесо.

Только когда до слуха донеслась пастушеская мелодия, старейшина пришел в себя... Кремнячка удалялась вдоль берега речки вверх, по направлению к Пещере. Удалялась она, на ходу играя на свирели. Рядом бежали две овчарки.

И Мирод решил, что расскажет людям об увиденном нынче Сиянии, что призовет сюда народ и принесет вместе со всеми жертву Святой Горе, над которой кремнячка открыла ему свечение Золотой Стопы Отца.

* * *

Да не впаду я в блуд суесловия, говоря: храмы нужны людям, а не Отцу. Люди могут собраться и под добрым деревом – и Отец взглянет на них, потому что вспомнивший Отца загорается, как свеча. А не помнящий Отца не источает никакого света, потому его не видят в горнем мире и не охраняют. Зато его немедленно заметят там, где нет простоты, а есть только лукавство.

Отец примет всех, если прихода меньше, чем всего народа, – лишь бы не было больше. Пусть будет человек о четырех, о трех, о двух пальцах на руке, а то и вовсе без руки – лишь бы не

шестипалый. Один-единственный человек, говорят, может быть меткой лукавого на теле всего прихода. Единственный лишний мизинчик, единственный лишний волосок на голове – вот что страшно.

* * *

Кремнячка и собаки уже поднялись до Высохшего дуба, когда повстречали медведя. Собаки учуяли зверя раньше, чем он появился, но думали, что его пронесет мимо, а когда он неспешно направился к ним, смутились, что не сразу ринулись на него, хотя ринуться можно было и сейчас. Но они то ли испугались, то ли с недавней еще голодухи не успели окрепнуть для боя. Прижавшись к новой подруге, Пиркья жалобно заскулила, а Бжяцал, как и Пиркья, дрожал от страха. Потому что медведь попался большой и самоуверенный. Когда он приблизился вплотную, собаки закрыли глаза, решив потом, если все обойдется, оправдаться, что вдруг прикорнули и потому ничего не видели. А кремнячка провела щекой по морде медведя, сообщая ему, что цела и невредима вырвалась из людского плена. Медведь ответно потерся мордой о ее щеку. Потом повернулся и пошел прочь своей дорогой.

– Ты уже возвратилась: теперь я спокоен. Пойду в честь этого события полакомлюсь кизилом, – сказал он ей, наверное, на ухо.

Поза Утреннего Ликования

А ты, Сашель, милая, обязательно – в комментариях или еще где-нибудь – растолкуй, что многие куски этой повести еще носят отпечаток советской ментальности. Не хотелось бы в соответствии с реалиями сегодняшнего дня переписывать те куски, что тогда, в 1990 году, были написаны. Я бы, напротив, выделил эти страницы, если бы не знал, что не любят читатели, когда единый текст печатается разными шрифтами, считая это лишним изыском.

Не станем отходить от основной нити повествования. Нет смысла здесь рассказывать обо всех злоключениях, которые выпали на долю нашим путешественникам из Обезьянней Академии по пути в Хуап. Больше всех пришлось потрудиться Сер-

пантину Христофоровичу. Йог вылил на гудаутское отделение милиции ушаты телепатических приказов. Если бы он мог принять какую-нибудь позу – легче было бы работать, но в отделении ему приходилось сидеть в обычной позе аутотренинга, чтобы начальник милиции, смотревший на него колючим взглядом, ничего не заподозрил. Мощных пучков энергии, выпускаемых йогом, хватило бы на то, чтобы любого, на кого они направлены, сделать кротким и покладистым, но волю начальника милиции они смогли смирить лишь до такой степени, что ближе к вечеру он позволил Игорьку позвонить в райком.

Товарищи из райкома прибыли, и все уладилось. Но и это не означало, что ученые могли пуститься в дальнейший путь. Товарищи из милиции вызвали с трассы того самого гаишника, по вине которого товарищи ученые были задержаны и получился конфуз. А задержал их гаишник, потому что одно название «Музей» напоминало ему вчерашний день, когда его взгляду пришлось уступить! Вызвали, чтобы заставить его накрыть стол в дорресторане-пацхе. А то ученые не покладая рук изучают нашу историю, а тут, вместо того чтобы им всячески содействовать, задерживают их на дорогах!

Одним словом, провидению было угодно, чтобы Игорь Павлович и его друзья оказались в Хуапе не раньше, чем к вечеру. Ермолаю был дан реальный шанс их опередить, если бы он еще раньше не попал в объятия традиционного гостеприимства афонцев.

Но вот, наконец, Игорь Павлович со товарищи прибывают в Хуап! На въезде в село коллеги остановились у родника, напились вкусной воды и принялись за работу. Здесь им надо было собрать первоначальную информацию.

Вот из-за поворота, торопя скакуна, появляется всадник. Поселяне имеют обыкновение здороваться с незнакомыми людьми, но этот всадник даже не заметил людей у родника. Он ехал – гладко выбритый и румянощекий, просветленный и отрешенный. Серпантин, успевший принять неброскую Позу Горного Эха, разгадал его мысли: мужчина спешил попросить помощи то ли у дяди, то ли у племянника, но непременно головореза, чтобы сегодня вечером у него не отняли некую Мин-то-ру.

Но вдруг йогу что-то стало мешать тут, рядом. Серпантин Христофорович напрягся, потом оглянулся на жену. Подозрительно теплые флюиды излучала она по направлению к проехавшему всаднику. В них было нечто большее, чем просто ностальгическое настроение по отношению к простым поселянам и вообще к сельской местности, где она родилась и выросла. Телепата насторожило то, что Анна Махазовна говорила в душе о каком-то «пепле любви»; ведь любовь к деревне в ее сердце не пепел, а живой огонь. Пулиди был ревнив.

– Ты знаешь этого мужичка? – покосился он на жену.

– Я училась с ним в одной школе, – неохотно ответила она.

– Серпантин, пожалуйста, не отвлекайтесь! – почти приказал Игорь Павлович, старший в группе.

Серпантин сменил позу на более сложную Позу Восьми Влажных Зеркал и продолжил изучение окрестностей, хотя ни любопытство его, ни подозрения по отношению к проехавшему всаднику не были удовлетворены.

Спутники еще некоторое время прислушивались к людским мыслям. Они узнали немало всякой всячины, но в деревне, по всему видать, весть о неандертальце еще не успела распространиться. Наконец, Игорек, относившийся к телепатии как к недостаточно изученному, но, несомненно, реальному феномену, но считавший занятие йогой за пределами самой Италии модничаньем и шарлатанством, не выдержал:

– Зря теряем время! Придется подняться к Мушни!

Серпантин расстегнулся, и приятели поехали. Место, где располагался Мушни, вызвался показать замечательный малыш, который, проходя мимо, мысленно вопил, что готов ходить в школу, что вовсе не отказывается ходить в школу, но – только не арифметику, только не учить эту арифметику! – причем вопил пострел так страстно, что его можно было услышать и без телепатии.

Но приятели все же припозднились. А почему они припозднились – вряд ли будет интересно читателям; главное, что ребята подспеют-таки вовремя. А если и интересно, где они пробыли несколько часов, – потерпи, мусье читатель; ведь ты не спрашиваешь, почему же никак не доедет до места Ермолай Кесугович после столь трудных приготовлений к отъезду...

Черт возьми! И в палатках лагеря, и у Стены Игорю и его друзьям пришлось поцеловать дверь, как сказали бы во Франции. Мальчишка посоветовал им подняться к Мироду. Анна Махазовна почему-то настояла на том, что останется в лагере и отдохнет. Друзья пожали плечами и отправились в путь без нее.

Зато они попали как раз на обед, который был кстати, потому что ученые проголодались. Главное, Руслан Гуажвба был тут.

Серпантин не выпил ни стакана, как хозяева ни настаивали. Он изучил обстановку и уже не прочь был направиться с друзьями к Пещере кремняка, чтобы встретить и зафиксировать неандертальца раньше этих милых людей, которые, если верить телепатии, тоже собирались это сделать. Но захмелевший Игорек уже не слушался его сигналов. А чем больше волновался Серпантин, тем труднее становилось ему не только слушать мысли, но и отдавать приказы.

«Теперь – встать! Теперь – встать!» – мысленно уговаривал Серпантин коллегу, но Игорек, попробовав действительно славного вина хозяина, не слушался – и все тут! И Серпантину пришлось воспользоваться обычной речью. Он сообщил хозяевам, что в лагере археологов их поджидает дама.

Кизил – медвежье лакомство

Оставив машину около Поляны, Нур-Камидат и племянник стали взбираться вверх по тропе. Без передышки взойшли до Высохшего дуба, но тут племянник стал задыхаться.

– Дыхание ни к черту, – вздохнул он, тяжело дыша. – Тубик.

– Отдышись и догоняй, – бросил, не останавливаясь, Нур-Камидат.

Племянник-головорез остановился, чтобы отдышаться, как раз на медвежьей тропе, где сегодня кремнячка встретила с медведем и по которой добрый зверь отправился полакомиться любимой ягодой в честь возвращения кремнячки. И вот он наелся кизила и возвращался обратно. И тут-то лоб в лоб столкнулся с племянником-головорезом.

– Ступай, малый, я тебе не мешаю, – как бы сказал медведь, останавливаясь и пропуская человека.

Но племянник не понял лесного прокурора и потянулся к парабеллуму, надежному, как семь братьев. Медведь почувствовал: это самый что ни на есть головорез. Он попятился назад, но его движение было истолковано как обманное. Племянник выпустил в сторону медведя двух из семерых своих братьев и, по привычке лагерного беглеца, немедленно кинулся к обрыву.

– Козел! – кричал он на бегу. Не то чтобы он спутал лесного прокурора с предводителем мелкого рогатого скота; просто слово «козел» он применял по отношению ко всему живому, когда был недоволен. К счастью, эти двое из семерых братьев не попали в медведя. Зато сам племянник как ринулся в пропасть, так и сорвался вниз.

Это было то место, откуда Мушни сбрасывал археологическую землю в обрыв, что и спасло племянника. По мягкой земляной насыпи он без ушиба и без боли докатился до Ягырты и бултыхнулся в водоем. Нур-Камидат, который видел только падение племянника, но не сопутствовавшие ему счастливые обстоятельства, без колебания последовал за ним.

Преодолев тот же путь до водоема, он шлепнулся рядом с племянником. Тот даже вздрогнул от неожиданности и вскинул парабеллум, который так и не выпустил из рук при падении.

– Здорово, дяхоз! – обрадовался он, узнав Нур-Камидата, похлопал его по плечу, потом почесался, встряхнулся и вышел из воды.

Медведь же, не понимая, почему и за что его вдруг оглушили выстрелами, заковылял прочь от греха подальше и, чтобы быть в безопасности от искателей приключений, взгромоздился на Стену и забрался в лаз Пещеры.

Часть VII

Неандертальцы у водопада

Добравшись до подножья Святой Горы, Игорь и приятели оставили там машину. Тут они, конечно, заметили еще одну легковушку, но не придали этому значения. Они решили, что это гудаутские парни выехали на лоно природы. Зайдя в лагерь и взяв с собой Анну Махазовну, приятели спешно двинулись в путь. Сначала хотели пойти вверх по речке, но Серпантин сосредоточенно прислушался и правильно выбрал тропу к пещере Мачаго. Надо было поторапливаться.

Приятели стали подниматься по темной и влажной тропе. Добрались до Высохшего дуба. Серпантин сказал, что теперь надо направо. Кроме того, было замечено, что тут недавно прошли двое. И приятели вспомнили о машине внизу. Не Ермолай, чьих следов пока не было видно, а какие-то другие люди явно их опережали.приятели заторопились. Видеокамера и сеть были легки, как и все, что производит Япония. Но все же их понесли мужчины. Анна Махазовна взяла аэрозоль. Вдруг Серпантин насторожился.

– Тише, – сказал он и указал на обрыв.

Внизу, на расстоянии ста метров, у водопада они увидели... неандертальцев. Там было мглисто, но неандертальцы были видны хорошо. Их было двое. Один стоял под брызгами, другой сушил одеяния на берегу. Простые одеяния – несомненно, из шкур. Оба – наги. Один из дикарей – по всем приметам вождь или воин – даже татуирован с ног до головы. Преследователи замерли. Теперь главное: не мешать Серпантину. Правда, они включили видеокамеру, но техника была фирменная и работала бесшумно.

Серпантин уселся в Позе Лотоса. Закрыв глаза, он долго сосредотачивался. И потом послал мысленные сигналы неандертальцам. Простые сигналы:

«Я – человек!» «Я есть человек!» «Я тоже есть человек!» «Я есть существо мирное!» «Я имею только мир!» «Я не имею зла!» «Я имею не зла!» «Я имею дружбу!» «Я имею желание к вам обратиться с миром!»

И до неандертальцев дошли его сигналы! Это подтверждалось тем обстоятельством, что одна из особей заволновалась и ста-

ла озиаться вокруг. Но, видимо, сигналы заглушались шумом водопада. А могло быть и так, что Позы Лотоса было недостаточно, чтобы сфокусировать сигналы в один пучок. Серпантин растянулся и принял более сложную Позу Океана Раздумий. Он настойчиво вещал:

«Я хочу общения!» «Я есть ваш друг!» «Человек не есть опасность!» «Человек человеку – друг, брат и союзник!»

И наконец неандертальцы взглянули наверх! И наконец они послали ответ! Серпантин расслабил ноги на затылке до такой степени, чтобы они не разомкнулись, но и не давили. Сигнал неандертальцев доходил очень слабо. Но его можно было разобрать.

shob-e-go-vol-ki-zag-riz-li-chut-bi-lo-ne-slo-pal-nas-co-so-la-pij. – Это был ответ купавшегося под водопадом.

За ним последовал сигнал воина. Он был не менее замысловат: nu-i-stu-djo-na-ja-vo-da-dja-hoz.

Теперь Игорь и его коллеги не сомневались, что это были особенно ценные экземпляры неандертальцев, подтип яванского «Охотника за головами», обладавшего, как известно из науки и как подтвердилось в сию минуту, пусть и примитивной, находящейся на стадии односложного выражения понятий, но речью. Анна Махазовна с помощью специальной транскрипции записала эти сигналы под диктовку Серпантина. Их предстояло расшифровать в лабораторных условиях. Вполне вероятно, что они окажутся законченными, имеющими относительную семантическую нагрузку, выражениями. Но чу! Неандертальцы пошли на непосредственный контакт!

Они надели свои традиционные одеяния и стали карабкаться вверх. При подъеме обнаружилось, что неандертальцы довольно неловки, но зато как трогательно они помогали друг другу!

«Семь братьев»

Во имя науки можно было, в случае необходимости, применить даже насилие, то есть пустить в ход аэрозоль. «Главное – это чтобы цель была гуманная», – встревожились друзья, встав перед фактом непосредственной встречи с человеческими особями, о повадках которых в науке существовали лишь самые приблизительные догадки.

Игорек взял сеть. У Серпантина руки должны были оставаться свободными на случай, если придется применить свое знание карате-до. Он расстегнулся и встал рядом с Игорьком. Анна Махазовна, никогда не испытывавшая недостатка в мужестве, вооружилась безвредным аэрозолем.

Только неандертальцы взошли на уступ, как тут же попались в сеть Игоря. «Мать вашу!» – завопили они, но Анна Махазовна зашла с тыла и брызнула на них аэрозолем. Неандертальцы тут же поникли и почти одновременно погрузились в искусственный сон. Все вышло удачно, за одним исключением: Анна Махазовна тоже отрубилась – очевидно, сама случайно вдохнула газ. Но беспокоиться было незачем: аэрозоль был нетоксичен и действовал не более четверти часа. Только теперь пришлось нести и ее.

Надо было торопиться. Обоих неандертальцев до машины Игорек и Серпантин не могли дотащить одновременно. А брать одного из них, второго оставляя наедине с беспомощной Анной Махазовной, было опасно: а вдруг неандерталец неожиданно придет в себя!

Но ученые быстро решили и эту задачу, похожую на задачу с волком, козленком и капустой.

Один из дикарей, тот, что выглядел помладше, – его ученые успели прозвать воином, – был более грузным и высокорослым, как ни странно для неандертальца! Второй же оказался щедедушным и легким. Сначала ученые понесли до машины щедедушного и Анну Махазовну. Потом, оставив щедедушного в машине, взяли Анну Махазовну и с ней – назад, к уступу.

По дороге Анна Махазовна стала приходить в себя. Это было так неожиданно, к тому же еще не прошло пятнадцати гарантированных минут, что Игорек по растерянности чуть не брызнул ей в лицо аэрозолем. Тряхнув головой и взяв себя в руки, он оставил Анну Махазовну мужу, а сам побежал к прицепу, потому что если Аннушка очнулась раньше, то мог очнуться и воин. Воин, однако, крепко спал. Игорек все-таки чуть-чуть приснул на него из баллончика – и назад!

Следующим рейсом они понесли Анну Махазовну и грузного воина. Дотащили их до машины. Уложив воина с щедедушным неандертальцем в прицепе машины и заперев дверь на ключ, они

отправились с Анной Махазовной назад. Коллега опять пришла в себя. Оставив Анну Махазовну возле уступа, мужчины кинулись назад к неандертальцам, но, очевидно, потому, что организм первобытного человека реагирует на транквилизаторы намного сильнее нашего, особи спали безмятежно. Снова к уступу – и только тут ученые поняли, что от нервного напряжения усложняли себе задачу: ведь еще во втором рейсе Анну Махазовну можно было оставить здесь, возле уступа, и нести только грузного. И наконец, когда обе особи неандертальцев были уже в машине и на уступе никого не оставалось, им всем не было смысла возвращаться назад.

Весело посмеиваясь над этим казусом, ученые вновь ввалили на себя коллегу и поспешили к машине с прицепом.

* * *

Так оно и было. Первобытные люди как раз приходили в себя. Пришлось еще раз воспользоваться аэрозолем и накрепко связать их. Уложили уникальную добычу в прицеп, сами влезли в кабину и рванули.

Неандертальцы, как и следовало ожидать, пришли в себя четверть часа спустя. Машина уже успела выехать из деревни и мчалась по направлению к трассе.

– Дык... Кто нас связал, племянник?! – донесся до ученых голос, вернее, рык одного из них, а точнее – тщедушного.

– Не бойся, дяхоз, семь братьев тут, за пазухой, – сказал ему тот, кого приняли за воина.

И пленники стали дружно раскачивать мчавшийся «воронок», как учили племянника на этапах.

Ученые поспешно остановили машину и подошли к клетке, держа наготове аэрозоль и сеть. Только тут они заметили, что на груди у одной из особей посверкивала обычная медаль.

– Что вы, в натуре, борзеете? – заорал «воин».

Ученые, увы, и сами теперь видели, что вышло недоразумение.

– Освободите нас! Мы тоже ищем кремняков! – закричали пленные.

Игорь вступил с ними в переговоры.

– Мы ошиблись, друзья. Страшно досадно. Я – сотрудник Музея и друг Руслана Гуажвбы, вашего земляка. Мы сейчас же освободим вас, не сердитесь...

– Отпустите! Не тронем! Не до вас!

Игорь открыл дверцу и развязал руки сначала Нур-Камидату, а потом его племяннику, а Серпантин на всякий случай был готов применить приемы карате-до, Анна же Махазовна, хоть и держала наготове аэрозоль, но смотрела на одного из неандертальцев странным взглядом. Очевидно, оробела, что было на нее не похоже. Однако освобожденные не только не набросились на ученых, но один из них, а именно Нур-Камидат, с криком: «Опоздал! Опоздал! Уведут мою Минадору!» – побежал по дороге туда, откуда их везли. Племянник же снова нырнул в клетку и стал искать что-то на ощупь в темноте. Наконец нашел и обернулся. Черное дуло парабеллума взглянуло на Игоря и его друзей. Ученые обомлели.

– Не мандражьте, это семь моих братьев! – сказал он. – Дяхоз, догоняю! – крикнул он и побежал за Камидатом.

Ученые облегченно вздохнули – пронесло. Раз уж так случилось, решили они, то надо догнать этих, в общем-то, славных ребят, которых зря обидели, и хоть до села их довезти. Тем более надо туда возвращаться за настоящими неандертальцами. И парни, кажется, что-то знают. А то кто же это такая – Минадора? Что за кремняки?

Но не было больше взаимопонимания между учеными и народом.

Как только машина догнала народ, племянник-головорез вспылил, сочтя это за дерзость. Его замкнуло, как сказал бы племянник сам о себе. Он преградил машине дорогу. Выхватил семерых братьев.

– Вы опять?!

– Мы же вас подвезти...

– Значит, опять... А то, подвозили уже! А ну-ка, сонник сюда! – приказал он.

И при этом семь братьев кивнули, словно говоря ученым: «Дайте скорей ему сонник, не раздражайте его, он же психованный!»

Опасаясь, как бы головорез не вспомнил о видеокамере и не изъял ее тоже, Игорь поспешил выдать сонник-аэрозоль.

– Теперь держись, гудаутская аптека! – воскликнул племянник, кладя сонник в карман.

– Это же реквизит, – вздохнул Игорь и сел в машину, которая тут же рванула с места.

* * *

– Что, дяхоз, что? – воскликнул племянник. – Не вешай носа!

– А ты узнал эту женщину? – спросил Нур-Камидат. – Это же Аннушка, моя вторая жена.

– Третья, – поправил племянник. – Она изменилась.

Камидат загрустил, вспомнив те драматические дни, когда Анна Махазовна, поставленная перед выбором: жить с любимым человеком, то есть с ним, Нур-Камидатом, но довольствоваться участью преподавательницы биологии в сельской школе – или служить науке, сделала выбор в пользу науки. Сейчас Аннушка – кандидат наук, муж – профессор, а у него, у Камидата, к тому же еще отняли Минадору! Камидат, крутя волосы у виска, грустил. Он думал об Анне Махазовне, а губы его между тем шептали: «Минадора!»

Племянник попытался его успокоить.

– Знаешь что, дяхоз, – проговорил он. – На фиг тебе эта дикарка? Еще не знаешь точно, абазинка она или карачаевка. А вот у Шулумов девушка – вот кто тебе пара. Поедем, я все устрою для дяхоза!

– Минадора! – вздыхал Камидат, не давая себя увезти. – Минадора!

Снова – в путь!

– Дяхоз, все ништяк! – сказал племянник и остановил бортовую машину.

И вот они уже ехали с ветерком на борту грузовика обратно, в Хуап.

Водитель был знакомец. Он довез их до самого подножья Горы. Обнаружив, что их легковушка на месте, цела и невредима, родственники заторопились к Пещере. Только племяннику приходилось то и дело останавливаться, потому что дыхание у него было ни к черту – эти тюрьмы, эти лагеря!

И он немного отставал от дяхоза, хотя из виду его не терял.

Так что друзья-ученые, которые, как вы, наверно, догадываетесь, вернулись, чтобы продолжить поиск неандертальца, чуть

не столкнулись лоб в лоб с тщедушным, но вовремя успели притаиться. Только головореза они не заметили вовсе и решили, что тщедушный на сей раз следует один. Именно это обстоятельство подвигнуло друзей-ученых смело следовать за тщедушным. Они решили, что, раз головорез со своими семью братьями, да еще экспроприированным у них сонником, куда-то подевался, ради науки стоит пойти на разумный риск и следовать за тщедушным, которого они в случае столкновения надеялись одолеть. Они даже были рады, что Анна Махазовна предпочла остаться в палатке археологов, сославшись на головную боль. Конечно, было странно, что она ретировалась в такой момент, но на этот случай существует русский афоризм, который переводится примерно так: если дама выйдет из коляски, иноходец пустится в легкий бег. И Серпантин Христофорович с Игорем Павловичем, предложив коллеге Аннушке дожидаться в лагере, поспешили к Пещере.

Но коварны горы, и коварны люди, в горах живущие. Друзья не подозревали, что племянник-головорез как раз видел их и крался за ними.

* * *

Ученые шли за тщедушным на почтительном расстоянии, пока он не добрался до Пещеры. Тут Нур-Камидат обернулся и стал оглядывать окрестности. Друзья притаились, не подозревая, что позади них племянник проделал то же самое.

Тщедушный свистнул. Его свист услышал племянник и тоже ответил: спокойным, несмотря на тяжелое дыхание, свистом. Но кто бывал в горах – те знают, сколь обманчиво бывает пространство звука среди скал и пропастей. И то, что ответный свист головореза услышал Нур-Камидат, но не услышали ученые, находившиеся между ними, – это обычное явление в горной местности.

Нур-Камидат, видя, что племянник не поспевает за ним, не стал его ждать, а без колебаний забрался на Стену и исчез в узком проходе. Ученые же остановились, обдумывая сложившуюся ситуацию.

Игорь поднялся и заглянул в пещеру.

Покуда тщедушный продвигался по ровному проходу, им не следовало пускаться за ним: он бы немедленно обнаружил за

собой свет фонаря. Но вскоре его лучина пропала. Игорек догадался, что проход сворачивал влево. Он поманил друзей: можно было следовать за тщедушным.

А племянник-головорез, который к этому времени подкрался совсем близко, с удовольствием отметил наличие у своих врагов не только видеокамеры, которую можно обменять на целых двадцать ампул омнопона, но и то, что у каждого из «терпил» в руках появилось по отличному японскому фонарю, за которые в любой аптеке, падлой буду, дадут по две ампулы!

При этом, забираясь по Стене в Пещеру, он точно так же, как ученые, не спешил себя обнаружить.

* * *

Нина совершенно не могла понять, что было с ней в последние сутки. Неужели все это ей приснилось? Но разве такие правдоподобные сны бывают? А если все с ней случилось наяву, то кто же ее из плена вызволил? Чачхал? Тогда где же он сам? И почему она снова привязана, и привязана на том же месте и точно так же, теми же узлами, что вчера?

Конечно же, это сон, рассмеялась в душе Нина, хотя ей было не до смеха. Тем более что у ног ее валялся источник сна: кисет со снадобьем кремняка.

Между тем уже давно занялся день, а кремняка все не было. Губная гармошка как висела у нее на груди, так и продолжала висеть. Отложив в сторону пахучее снадобье, девушка взяла ее связанными руками и стала играть.

«Как бы на мою игру не сбежались рыжики, предлагая Честь различных Пальцев», – подумала про себя Нина, никогда не терявшая чувства юмора.

Сладкие звуки губной гармошки поплыли по ущелью, сливаясь с ласковым звоном ручья и трелями птеродактилей.

И стронулось что-то в нутре у одинокого зверя – у пещерной медведицы. Прислушалась она, прижимая к себе маленьких, по полторы тонны каждый, своих медвежат. Звали-манили к себе эти звуки, хотелось выйти ей из сырого грота и пойти в разудалый пляс.

Успеет ли кремняк?

Все дороги ведут в Хуап

Это было другое время, совсем другое... Еще когда гостил Хрущев в селе Дурипш, специально для него соревновались лучшие сборщики зеленого золота. Хрущев гостил у долгожителя: сводки приносили прямо к столу. Юная Аннушка победила всех! И на конных игрищах, устроенных в честь высокого гостя, она сидела рядом с Никитой Сергеевичем! И он, он, Нур-Камидат, первый наездник соседней деревни, выиграл приз, взял первое место в конном заезде на дальней дистанции. И этот приз все-народно преподнес Аннушке! Она зарделась от смущения, но и от удовольствия.

Потом она с ним дважды встречалась в Гудауте, на традиционном месте свиданий: в мучном отделе колхозного рынка. Оба раза он покупал большие кульки тульских пряников. На второй раз она приняла их от него лично. Молодец он был во всех отношениях. Вскоре она приехала погостить к родственнице в село Хуап и дала ему об этом знать. Верный привычкам скромности, он явился, помнится, с племянником-головорезом.

Она вышла к нему на свидание тоже в сопровождении родственницы. Гуляя по лесу, они выбрались к Пещере. Хотели даже войти внутрь, но там было полно шариков козьего кала: туда в непогоду пастухи загоняли стадо.

А через месяц они поженились. Но ей надо было учиться дальше!

И даже когда она стала работать в Обезьяньей Академии и поступила в целевую аспирантуру, взяв тему под руководством академика Массикота, не переставала надеяться, что Камидат согласится переехать к ней в город. В конце концов, ведь и в Сухуме есть ипподром! Но Камидат упрямился.

«Дык! – сказал он ей. – В Гудуту переехать еще могу, но в Сухум – никогда!»

Так и жили они порознь. Потом он взял и привел другую жену. А у нее появился Серпантин Христофорович Пулиди.

Анна Махазовна вздохнула. Тут только, очнувшись, она заметила, что идет как раз по следу своих воспоминаний и приближается к Пещере.

А когда она подошла к входу, когда увидела Стену – тут только ученая дама обнаружила, что это и была та самая Пещера.

Ей ничего не оставалось делать, как тоже взять свечи, найденные у входа, и углубиться в Пещеру.

* * *

Осторожно ступая и светя фонарями только себе под ноги, чтобы шедший впереди не заметил света, ученые продвигались по узкому проходу Пещеры. Пещера была карстовая, неглубокая, таких пещер на Кавказе множество. Игорек, стоявший первым, сразу обнаружил узкий лаз, по которому друзья спустились в Залу.

И вот они выбрались наружу. Миновав Утес, пошли по спуску, поросшему самшитом.

Конечно же, этот археологический срез Стены был не лишен интереса, но дальнейший их путь ничего любопытного ученым не преподнес.

– На обратном пути найдем тропинку мимо этой горки, не забираясь в пещеру вовсе, – сказал Игорь.

– Когда будем возвращаться с экземпляром неандертальца, – добавил Серпантин.

* * *

Выбравшись, наконец, на воздух из скользкой и сырой пещеры, племянник-головорез заметил внизу на тропе парня, одетого, как петух голландский, в какие-то кожи и шкуры, век свободы не видать, дяхоз! Наверное, натуральный этот футурист был одним из тех, что помогают археологу Мушни. Этот пижон нес чувиху. «Что ты ее тащишь, сама, что ли, не может топать?» – подумал племянник с раздражением.

И только когда они подошли ближе, он понял, что она была то ли в беспамятстве, то ли спала. И еще заметил, что это была помощница Мушни, у которого племянник-головорез как-то успел побывать очередным назойливым гостем. А парень был – это ж надо, в натуре, – в шкуры одет! Но телосложения был крепкого; такого, если придется, кулаками не возьмешь, надо сразу браться за семерых братьев.

Но головорезу было не до них: надо было догонять профессоров.

* * *

А дальше события стали развиваться так, что меня могут заподозрить в том, что я тут понапридумывал, понасочинял. Но как я могу это сделать, когда практически веду репортаж, где описываются события, происшедшие с реальными людьми. Ты-то уж понимаешь, Сашенька-Сашель, что сухумские ребята засмеют меня!

Одного Руслана разве не достаточно!

– Ахахайра! Хайт! Хайт! – воскликнет он при встрече в ближайшей кофейне. – Ну и насочинял ты, старик!

Самозащита

Игорек и Серпантин догнали тщедушного.

– Товарищ! Товарищ! Можно вас?! – окликнул его Игорь Павлович.

Но «товарищ», то есть Нур-Камидат, даром что тщедушный, но с ловкостью джигита, удвоенной чувством опасности, затем утроенной ревностью человека, который идет на поиски своей Минадоры, а кто-то дважды встает на его пути, и, наконец, учетверенной смутной догадкой, которая вызывала в его сердце дополнительную неприязнь к Серпантину, хотя он его никогда прежде не видел и не мог знать, что тот – муж Аннушки, – с этими, стало быть, пятью чувствами он кинулся на Серпантина и, не дав ему даже занять боевую стойку, сбил его с ног. А ката в положении лежа в сухумской секции карате-до только начинали проходить.

Игорь Павлович драться совершенно не умел, хоть всегда придерживался мнения, что добро должно быть с кулаками. Но был смелым и принципиальным. Вот и сейчас он воскликнул:

– Товарищ... Что вы... мы же... – и схватил за шиворот тщедушного, кинувшегося душить его коллегу.

Камидат, уже начав душить человека, отвлекаться не хотел: он огрызнулся, не оглядываясь, и двинул локтем. Его локоть угодил Игорьку в солнечное сплетение. У Игоря Павловича потемнело в глазах, и он стал опускаться. В следующее мгновение, почти теряя память, он навалился на тщедушного, причем настолько удачно, что нарочно так бы не смог. Тщедушный, придавленный его тяжестью, только задержал ножками.

Воспользовавшись этим, Серпантин вскочил. Теперь он был в состоянии взять ситуацию в свои руки. Но не только щедушный не мог выползти из-под ученого, но и ученый не мог сползти с щедушного, более со страху, чем сознательно, барабана по его плечам. Он барабанил и приговаривал: «Товарищ! Товарищ!» – даже в этой ситуации взывая к разуму противника.

– Тамбовский волк вам товарищ! – был ему ответ.

Это был уже ответ не Нур-Камидата, а племянника-головореза, который, естественно, заторопился и появился из укрытия, когда ученые решились на непосредственный контакт с его любимым щедушным дяхозом.

Игорек встал. Серпантин же мгновенно принял соответствующую оборонительную стойку карате-до. На это племянник отреагировал не менее воинственной боевой позицией: в руке у него сверкнули ненавистные мирным исследователям семь его братьев.

* * *

Сложные чувства обуревали Анну Махазовну. Человек, которого она, как ей казалось, совершенно забыла, вызвал в ее душе столько воспоминаний! Хотя она отлично понимала: то, что случилось, не случиться не могло. О племяннике-головорезе у Анны Махазовны также были самые приятные воспоминания. Он еще тогда, в тот памятный день свидания, показал такую преданность родственнику, такую застенчивость и деликатность!

Но Серпантин – ее муж, отец ее девочки. Ее соратник и друг, в конце концов. Так что – сомнения прочь!

И она, подкравшись сзади, изо всех сил ударила племянника-головореза корягой по голове. Коряга разлетелась на куски, головорез зашатался, однако не упал и не выронил семерых братьев. Но удар был не напрасным, потому что Серпантин немедленно воспользовался нокдауном противника, и в следующий миг племянник испытал на себе силу его маваша.

Маваша получился правильный, в высшей степени удачный для начинающего каратеки, обладателя пока еще коричневого пояса. Если бы он был выполнен на татами, то сэнсэй остался бы доволен. Удар сбил племянника с ног. Но, падая, он скатился под откос и приземлился уже в нескольких шагах от места по-

единка. А семеро братьев, преданные ему, как бывают преданы настоящие семь братьев от плоти, так и не выпали у него из рук.

Положение ученых еще более осложнилось: головорез оказался недоступным для рукопашного боя, а расстояние в несколько шагов делало оружие в его руках еще более опасным. Игорь Павлович не знал, что делать.

И как раз в этот момент внимательным взглядом человека, который в опасности только и рассчитывает на случайную помощь, он заметил: кто-то вышел из самшитовой рощи и пошел вверх по тропе по направлению к ним, попыхивая огромной трубкой. Игорек узнал этого человека и тут же возблагодарил судьбу. Это был не кто иной, как Чачхал, муж его сослуживицы Мадины. Успеет ли?

Но Чачхалу и успевать не надо было. Сам факт его появления перед глазами племянника-головореза оказался более эффективным и дальнобойным, чем семеро братьев.

– Ты че там, пес! – послышался его бас, и племянник тут же присмирел, а семерых братьев даже попытался спрятать за спину.

Одним словом, Чачхал успел вовремя.

Последняя встреча в Зале Живописи

Нельзя обманывать ожидания читателей. Например, сейчас, когда рассказ близится к завершению, читатель, конечно же, захочет привычного happy-end'а. И он его получит!

Как и положено в happy-end'е, все герои встретились: каждый встретился, с кем надо было, и ушел, с кем должно ему уйти, хотя не так, как в ту минуту кое-кому хотелось.

Знаешь оперетту, произведение Кальмана? Если нет, сходи в Grand Opera. Так и тут, в нашем повествовании.

Кремняк обнял кремнячку, которая тут же шепнула ему, что во избежание излишнего ажиотажа во время пребывания в стане Племени Летящих Ножей она попросту притворилась немой. Счастливый кремняк признал, что ахшя действовала правильно.

Мушни обнял Нину, хотя ему не терпелось задать ей несколько вопросов на засыпку.

Нур-Камидат обнял племянника, который достался ему живой и невредимый: он всегда беспокоился за него, за головореза.

Серпантин Христофорович Пулиди обнял свою Аннушку Махазовну: да, да, именно свою, дорогой Камидат, точнее, Нур!

Игорь Павлович обнял спасенный казенный реквизит – видеокамеру – и был по-своему счастлив.

Руслан обнял флягу, которая наполовину была полна, своим радостным плеском подтверждая оптимистическое: наполовину полна, а не наполовину пуста!

Чачхала тут не было: но уж и он-то мог обнять Трубку Размышлений, а также кисет с древнейшими семенами зазипы, полученный от Нао-Наги Бунди-Куры взамен на перочинный нож с серебряной цепочкой, если все его пребывание в Племене Летящих Ножей не приснилось Нине, как это он утверждал впоследствии.

* * *

Как они появились в Зале Живописи – кремняк, Мушни и Нина – вместе или порознь, Руслан так и не понял. Не поймем и мы с вами. Но они появились неожиданно.

Но не растерялся Руслан. Подобно воину на картине, выполненной сухумским художником Владимиром Орелкиным и висящей в отделе древнейшего периода Музея, – она изображает схватку первобытного племени с пещерным медведем, – Руслан поднял над головой огромный булыжник, так же как и воин на картине, выгнув корпус и выпятив моряцкую грудь. И, как воин на картине, замер с занесенным камнем, не пуская его в ход.

Кремняк узнал в нем своего старого неприятеля. Он улыбнулся, подошел к нему и три раза ткнул в пах указательным пальцем. Воин Племена Летящих Ножей отшвырнул свое оружие-булыжник и братски обнял кремняка. Кремняк – дикарь ведь! – не понял, что этот жест – проявление крайней приязни. Напротив, он решил, что Руслан, вслед за агрессией, ударившийся в миролюбие, вздумал пуститься вдруг и при всех в недозволенные нежности, незнакомые кремнякам, признающим контакты только с женщинами, да и то только когда на небе радуга, и поэтому вырвался и отпрянул.

Но, отпрянув, воскликнул:

– Ахахайра!

И Руслан восторженно ответил брату:

– Хайт! Хайт!

– Господи, благослови, – прошептал Мирод.

Этот обмен рыцарским кличем между двумя сородичами из разных эпох был поддержан аплодисментами с этой стороны, у Занавеса. Это была Нина.

– Чачхал не обкурился там? – крикнул ей Руслан издалека.

Но Нине было настолько сейчас не до того, не обкурился ли запысы Чачхал в гостях у Племена Щедрых, что она не ответила.

Повторяю, мы не знаем, встретились Мушни и Нина тут, в Зале, или пришли туда вместе в обществе кремняка, но сейчас Мушни подбежал к Нине. Невольно оглянулся на кремняка и вопросительно заглянул в глаза Нине. Кремняк подошел к ним и по три раза ткнул указательным пальцем в пах сначала Мушни, потом и Нине тоже.

– Как видишь, жива и невредима твоя девушка, – живо сказали глаза кремняка.

Мушни кивнул, что по-нашему означало утверждение, а по-кремняцки: «Конечно, какие могут быть сомнения!» Нина приникла к его груди и заплакала.

Затем кремняк подошел к Мироду, которого видел впервые, но вместо того, чтобы приветственно ткнуть его пальцем в пах три раза, опустился перед ним на правое колено, схватил его руку и приложил тыльной стороной ладони к своему лбу. И что-то сказал ему шепотом, на что Мирод кивнул в подтверждение – неважно, как: вертикально или горизонтально, – затем приподнял юношу и поцеловал его в лоб.

В следующее мгновение кремняк оказался в проеме Занавеса.

Только когда он исчез, все очнулись и последовали за ним. Кремняк удалялся, то появляясь, то исчезая в зарослях. Он вел за руку свою сестру, ахшю, кремнячку, Минадору, Гуажв-Хаву. В последний раз их увидели внизу, у откоса.

Руслан ахнул ему рукой и вскричал:

– Ахахайра!

И в ответ донеслось:

– Хайт! Хайт!

* * *

И все же знаю, читатели, что в купе с happy-end'ом подай вам темпераментную, душещипательную сцену по законам жанра.

Вот вам и такая сцена.

Была уже ночь, когда РАФ примчался в Хуап. У Мiroда еще не спали. Ермолай сидел рядом с водителем Демуром, хмельной, но нервный.

– Где, где неандертальцы? – с криком выскочил он из машины. Но, встав на землю, зашатался.

Мирод медленно направился к нему по широкому двору.

– Где неандертальцы? Не томи, Мирод! – кричал Ермолай.

Но Мирод не прибавил шагу и не произнес ни слова, пока не подошел к машине у ворот.

– Где же они? – переспросил ученый, пожимая руку хозяина.

Мирод спокойно приветствовал Ермолая и Демура.

– Ермолай, нет уже тех, кто тебе нужен. Заходи-ка лучше в дом. Угощу тебя вином, а ты мне расскажешь о Выборах, – сказал он.

Ну чем не душещипательная сцена: человек целый день старался, все достал: и машину, и фотоаппарат, и диктофон; выехал раньше Игорька – и все же не успел? А были же кремняки, тут они были, в селе Хуап, всего несколько часов тому назад!

Эпилог

Кремневый скол

И вот началась война. Я теперь вспоминаю, что перед началом войны все смирились с мыслью о ее неизбежности, но мало кто знал, какое у нее лицо. Война направлена против всех и против каждого в отдельности. Какой-то американец сказал, что война – великая проявительница. С одной стороны, она вскрывает все грехи, которые удастся прятать в мирное время, в особенности артистичным южанам. С другой стороны, она дает выход героическому. Герои становятся реальной силой войны, и власти не знают, что с ними делать, в особенности ближе к концу войны, и уж совсем не нужны становятся они после войны.

Мушни выделился как герой с первых дней войны. Он был командующим Сухумским направлением, построил Гумистинскую линию обороны. В октябре 1992 года был командирован на Восточный фронт, где погиб при освобождении села Лашкендар. В холодной зимней квартире он сутки пролежал с раздробленным затылком на диване, пока не прилетел вертолет, а Нина вместо Библии читала над ним «Измаил-Бей» Лермонтова.

И вот уже по окончании войны, перед моим приездом в Россию, я сидел ночью в пустой сухумской квартире, пил кислое красное вино и с грустью вспоминал погибших. По телевизору передавали о кошмарах войны, которые понятны только тем, кто войну видел: эти кошмары происходили уже в Чечне. И придумалось стихотворение. Приведу его тут, название «Кремневый скол» отдав повествованию, хотя и знаю, что в этом тексте оно не особенно к месту.

Я возле кладбища живу. Тела ушли – остались лица.
Порою даже наяву они мне продолжают сниться.
Родные, вы ушли туда, где нету глаз, а только взгляды,
И я надеюсь, что, когда приду к вам, будете мне рады.
Прозрачнее неандертальца во сне является мне гость.
Ты, Мушни Хварцкия, останься, не торопись назад, на Мост!
Он смотрит взглядом соколиным и ничего не говорит,
И только луч сияньем длинным над головой его горит.

Устал я, как и весь народ, при каждой вздрагивать потере.
А кровь моя наоборот струится в зазеркальном теле.
Зато остались хлеб да соль, да изабелла в белой пене,
А кукуруза и фасоль растут на колыбельном пепле.
Край одноногих женихов, похлебка наша – как проклятье!
Настой из яростных грехов давайте пить на тризнах братьев.
Когда в Чечне горят поля – в Абхазии трещат надгробья.
Издай нам, Ардзинба, указ, чтоб улыбались люди чаще.
Ты подними вино за нас, а мы попьем дешевой чачи.
Давай, на миг повремени на выжженных холмах Эшеры.
Ты в наши души загляни, как Мушни в райские пещеры.

И убедишься ты, что вновь в душе любого бедолаги
Надежда, Вера и Любовь спят, как бездомные собаки.

Откуда у молодого археолога, скромного парня обнаружился самый настоящий полководческий дар? Никто не может этого сказать. Пусть это и станет оправданием моим за то, что я потерял героя своего повествования в начале и больше о нем не упоминал. То время, что он провел в обществе кремняков, для меня слишком серьезно. Особенно теперь, когда столько всего произошло.

И мне становится холодно каждый раз, как подумаю, что за два дня с половиной года до дня его гибели я заставил Мушни поставить ногу на мост.

«И так страстно потянуло его туда, к Зеленой Долине, что, сделай он шаг, уже не смог бы остановиться и ступил бы на шаткий мост без перил. Но он не сделал этого единственного шага...»

Иногда мне кажется, что Зеленая Долина нашептала мне тогда эти строки. Не является ли гордыней такая мысль? Или же, напротив, сомнение в возможности знаков небес означает сомнение в Божественной Предопределенности?

Я не смываю этих печальных строк.

Даю без поправки окончание моей повести, написанной семь лет назад.

Прощай, Сашель! Увидимся на юге Франции!

Зеленая Долина

И это было то, что он и предполагал.

За широким пенистым потоком раскинулась Зеленая Долина, знакомая по живописи кремняка, с громоздкой стеной утеса, с двумя глазницами пещер под стеной, с раскидистым деревом посреди травянистой лужайки. У самого берега, за узким мостом без перил, росли кусты иглицы, рускуса и шиповника, как бы обозначая границу, а дальше Зеленая Долина была покрыта травой. Теплый ветер ранней южной осени плыл по долине во след потоку, отставая от него. Сверкнув на мгновение от соприкосновения с солнечными лучами, вдруг появлялась и исчезала тысяча серебряных цепочек, чтобы снова сверкнуть, там же и не там же, еще тысячу раз.

Это было сонмище пауков-бродяг, плывущих по воздуху на тонких паучьих качелях.

А внизу, на родной глади Зеленой Долины, он увидел Народ. И сердце у него вдруг заняло от тоски при виде этого блаженства. Так тоскуем мы по другому миру: даже мысль о нем нам обычно страшна, мы не торопимся к нему, но этот мир иногда, промелькнув, как виденье, наполняет счастьем и трепетом все наше существо. Потому что это – мир, когда-то покинутый человеком, и в него ему предстоит вернуться, когда его жизненный путь сомкнется в Золотое Колесо.

Он понял: Зеленая Долина вмещает всех, зато некто, лишний, как шестой палец, лишний, как лишний волосок на голове, никоим образом не может ни затесаться в Ней, ни уткнуться в Нее. Ровно столько Народу, сколько надо, – и ни единым человеком больше – в Зеленой этой, блаженной Долине, где нет ни количества и качества, ни времени и пространства, ни начала и конца, ни рождения и смерти.

Кот смазывает салом Мост, чтобы Душа поскользнулась и полетела в бурные воды гибели, а Пес слизывает этот жир, дабы Душа благополучно прошла Мост на пути к покою.

Золотое Колесо светит и греет ровно столько, сколько надо: ни больше, ни меньше.

Он глядел, и ему казалось, что Золотое Колесо застыло в воздухе, а Зеленая Долина плывет, но, когда взгляд его упал вниз,

вновь остановилась Зеленая Долина, Золотое Колесо плыло – не удаляясь. Оно парило над Долиной.

Бесшумно, но быстро мчался поток под узким мостом без перил. Зеленая Долина была далеко, но он, тем не менее, всех видел отчетливо.

Он заметил Гуажв-Ауоиы, заметил Гуажв-Хаву, узнал Бжяцала и Пиркью.

И так страстно потянуло его туда, к Зеленой Долине, что, сделай он шаг, уже не смог бы остановиться и ступил бы на шаткий мост без перил. Но он не сделал этого единственного шага.

Он не мог его сделать, потому что как раз Гуажв-Ауоиы указал на него рукой тамошнему Народу. И седые старцы, и юные девы, и охотники, и младенцы стали смотреть в его сторону. Он приметил людей, которых больше не предполагал увидеть, хотя нас и учат книги мудрости, что полной разлуки нет. Были среди них те, кого он считал оплаканными и утраченными.

И он понял, что Зеленая Долина ждет и приглашает перейти страшный Мост всех людей, но каждый перейдет его в заветный день.

А когда заговорил Гуажв-Ауоиы, до слуха отчетливо донеслись его слова, хотя по законам физики это было невозможно.

– Вот он! – сказал Гуажв-Ауоиы.

– Вот он! – сказала Гуажв-Хава.

Он поднялся назад. И долина исчезла.

Он так и не посмел оглянуться. Спешил, чтобы засветло добраться до входа в Пещеру. По пути его догнал кремняк, потому что старейший среди старцев, сидя в бороде козла, повелел Гуажв-Ауоиы вернуться и быть Юноше спутником.

Вернувшись в наш мир, Мушни был немногословен. Только и сказал:

– Многие из вас видели Его. Надо стать такими же чистыми, как Кремняк, чтобы однажды пройти по мосту.

* * *

И с этих пор, может быть, еще более пристрастившись к палеолиту или совершенно одичав, Мушни окончательно удалился от города, прихватив с собой и Нину. А небольшой гонорар, далеко,

увы, не миллионный, который ему удалось выручить за утвержденный патент аракаца, Мушни сразу отдал в археологический фонд Музея.

Гуажв-Руслану не поверили на слово, что он общался с неандертальцами. И поделом ему: надо иметь видеокамеру и повсюду брать ее с собой, чтобы все запечатлевать. Чачхал не стал подтверждать правоту его слов.

– У тебя в Поквешском огороде растет зазипа, такой нет в Кашкарской долине. Кто тебе дал семена? И вообще, тебя видела Нина рядом с вождем неандертальцев, – возмущается в кофейне на набережной Руслан.

– Да гонит она, эта Нина: ничего такого не было, – хладнокровно басит Чачхал. – Какие еще кремняки! Я ночевал у пастухов... Тут пытаются нас шантажировать, – ворчит он, закуривая Трубку Размышлений.

Ермолай Кесугович сам, своими глазами, неандертальцев не видел, засидевшись в афонском ресторане «Аджария» в тот день, когда ему был дан шанс. Часто затевает он спор с Игорем Павловичем.

– Неандерталец существует в природе и поныне, Игорек, зачем ты споришь! – сердится Ермолай, но не припоминает Игорьку с товарищами то, что они тогда уехали без него, хотя и не забывает.

– Факты! – спорит с ним Игорь. – Приведи мне достоверные факты – и я поклонюсь тебе! – и шутовски кланяется.

Телепатический дар С. Х. Пулиди однажды, по болтливости некоторых завсегдатаев кофейен, стал достоянием широкой гласности, и его увезли в Москву, в секретный научный институт. Анна Махазовна – давно уже доктор наук. Защитилась она в том самом секретном институте, настояв, чтобы руководителем ее диссертации остался директор Обезьянней Академии академик Массикот. Георгий Джгунатович на пенсии. Демур «пересел» на такси и теперь сам себе барин. Когда его приятелям-ученым надо куда-нибудь поехать, он везет их с готовностью и, разумеется, не только не берет с них денег, но и «отвечает» за хлеб-соль в дороге.

Святая Гора стала известна и почитаема не только в селе Хуап, но и во всем районе как Гора Грома. В урочные дни люди, живущие

щие окрест, возглавляемые жрецом святилища Гуажв-Миродом, идут через деревянный мостик на Поляну, чтобы совершить обряд жертвоприношения при большом стечении народа. Теперь уже, в отличие от прежних времен, стали почитаться народные святыни. Праздники на Поляне снимали даже на видео.

Приезжает и районное руководство, правда, чуть позже, когда все садятся за стол.

Камидат, кстати, ужился с последней женой из рода Шулум. У них родился сын; растет послушным мальчиком и неплохо учится. Так же, как и отец, любит лошадей. Только кузен-головорез, приезжая погостить немного баламутит его. Дощечку с орнаментом Нур-Камидат нарочно не отдает музею. «Пусть сами съездят к абазинам; там этого добра полно!» – говорит он. «Дык! – пригрозил он как-то. – Не приезжайте просить, не то спущу на вас моих новых овчарок Пиркью и Бжяцала!» Хозяйство свое он обновил. Как зарекся когда-то, так и не курит до сих пор. Что самое удивительное: волосы у виска перестал крутить и имя свое больше не оспаривает. Скажешь «Камидат» – отзывается: «Что, дорогой?» – и на «Нур» оглядывается: «Что, милоч?» Документ возобновлять не стал по известным причинам. По-прежнему его главная страсть – скакуны. Продаст одного – купит другого. Возможность у него есть: трудятся с женой и зарабатывают неплохо. Медалей у него уже две.

Только завел он новую привычку, впрочем, никому не причиняющую неудобств. Иногда вечерами он незаметно исчезает. Пройдя насквозь Пещеру, выходит в Залу. Трудно поверить, что здесь была прекрасная живопись. Краски, изготовленные из неизвестного материала, оказались недолговечными. Теперь и не понять, что было изображено на этих шершавых стенах.

Нур-Камидат поднимается на Валун и начинает играть на ачарпыне.

Словно пастух из легенды, что пытался звуками пастушьей свирели выманить из озера Рицы утопившееся стадо, он надеется пастушеской песней вызвать свою милую кремнячку. Но пространство немо, как была нема сама кремнячка. И голос свирели тосклив. И горизонт – обычный. Вон за оврагом – альпийские луга, а пониже округлый холм – Святая Гора. Еще

ниже – чайные ряды, капитальные дома новоселов, – и холмы и долины, пересеченные серебряными змейками рек, холмы и долины до самого морского побережья. Иногда на закате, когда воздух становится особенно прозрачным, появляются вдали, на фиолетовом лукоморье, корпуса Пицунды – цвета слоновой кости, подобные виденью Ацута.

1990

Хуап – Сухум – Тамыш

Р. С. Семь лет спустя

Погиб отважный Чачхал. Он погиб за несколько дней до освобождения Сухума.

Погиб даже старый Мирод. Он воевал с первых дней ввода грузинских войск в Абхазию и был вроде комиссара в батальоне, которым командовал Гиви Смыр.

Погиб и Анзор Кварчелия, который так волновался при упоминании о выборах, потому что, как и все, верил в «демократический путь развития». Он погиб с камерой в руках, снимая рукопашные бои при освобождении города Гагры.

Марина Барцыц была полевой медсестрой. Ермолай Аджинджал выбрался из Сухума с двумя сыновьями: ночью они пересекли заминированную линию фронта. Руслан во время войны был в резервной народной дружине и должен был хмурым взглядом вглядываться в небо над Гудаутой, чтобы не упустить появления бомбардировщика. Но в этот день, когда бомбардировщик появился, Руслан как раз был в погребке и, пока выбегал наружу, чуть не разбив огромную бутылку с чачей, самолет успел сбросить бомбы и уйти.

О судьбе Нур-Камидата мне ничего не известно. Но его судьба, наверное, – это судьба народа. Вот после опубликования повести явится с претензиями в сопровождении племянника-головореза, почему это я обнародовал его секреты, – тогда и допишем.

Вот такая странная судьба продолжается у написанной уже сказки. Хотя какая же это сказка, если у нее не обозначен

КОНЕЦ.

1996–1997

Москва

ЕНДЖИ-ХАНУМ, ОБОЙДЕННАЯ СЧАСТЬЕМ



Эту дальскую быль напели мне под апхиярцу и аюмаа* великие сказители Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех. Единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея была так прелестна, что только родство удерживало братьев ее отца, чтобы тайком не продать ее в Турцию. Жилось ей в девичестве привольно. Когда поспевал инжир, она была в Лыхнах, в пору долгих дождей привозили ее в Сухум-калэ, весной поили ее кислыми водами Башкапсары, а лето Енджи-ханум проводила в Мингрелии, у своего дядюшки Великого Нико. Семь девиц не успевали прислуживать светлейшей княжне. Шел ей уже восемнадцатый год, а она оставалась такой же лентяйкой, как и ее молочная сестра, что была младше ее тремя годами. Как ни зайдешь к ним, сидят они на подушках, причесывая друг дружке косы серебряными гребенками, а то, рассорившись, поворачиваются в разные стороны и начинают читать. Книги эти – а их было совсем немного – в конце концов оказались зачитаны до дыр.

Надоело светлому владетелю Абхазии Ахмуду, что сестра его, зрелая-перезрелая, но бесполезная для страны, просиживает дни на подушках.

Как-то раз, сидя, по обыкновению, в позе деда своего Келеш-бея, портрет которого висел над ним, – поставив локоть на колено и задумчиво подперев тремя пальцами лоб, – владетель резко поднял голову:

– Георгий, поди-ка сюда!

Управляющий его Георгий, сын Великого Нико, отделился от толпы придворных и направился к владетелю, успев на ходу сделать хитрое свое лицо еще более хитрым и как бы говоря: знаю, что ты заставишь меня совершить нечто коварное, так что ж – я готов.

* Абхазские национальные музыкальные инструменты.

– Слушаю тебя, дражайший господин мой!

Придворные стояли в стороне, не зная, выходить или оставаться на местах.

Правой рукой Ахмуда был Дзяпш-Татластан, которого владетель назвал более близким его сердцу именем Чапьяк. Но когда нужен бывал ум (а ума у Чапьяка не было), владетель использовал своего родственника Георгия, обычно предназначенного для мелких дел – отравить кого, рассорить или распустить слухи.

Владетель выпрямился, и на лице его изобразилась жалость к себе, одолеваемому тоской. Он посмотрел сначала на Георгия, затем на остальных в зале. Георгий, поняв владетеля, красноречиво обернулся к придворным. Но они сами уже выходили прочь, пятясь спиной к двери.

– Так что же нам делать с нашей любимой сестрой, Георгий? – Ахмуд, подобно большим государям, называл себя «мы».

– Как ты порешил, так тому и быть, дражайший господин мой... – ответил Георгий, тоном и выражением лица показывая хозяину, сколько полезного стране коварства кроется в его словах.

Ведь Ахмуд спрашивал нарочно: он давно выслушал Георгия, согласился с ним и даже успел присвоить его мысль. Но Георгий снова обстоятельно пересказал все, подчеркивая, что некогда предложенное им мнение возникло раньше в голове владетеля. Пока он говорил, Ахмуд сидел в привычной позе. Затем резко выпрямился и, перебив Георгия, произнес:

– Решено! – И добавил, как бы прислушиваясь к звучанию дикого имени: – Химкораса Дальский.

Вот так была решена судьба юной сестры владетеля. Постановили выдать ее за Маршана Химкорасу Дальского, неоднократно просившего руки Енджи-ханум.

Теперь, когда вопрос был решен, Ахмуд мог слегка расчувствоваться:

– Неужели род владетелей Чачба растит всех своих дочерей для Маршанов! Светлой памяти сестра нашего отца была замужем за Маршаном Дарукой, дочь брата нашего Али-бея Абжуйского – за родным братом Химкорасы, Батал-беем. Неужто я брошу в осиное гнездо и бедняжку Енджи-ханум?

Их замысел был прост, как и все великие замыслы.

Химкораса, старший из сыновей Даруковых, владел белым замком Уардой, самым сильным укреплением в Дале. Выдавая за Химкорасу свою сестру, владетель рассчитывал использовать его власть, чтобы прибрать к рукам весь немирной Дал. Тогда близлежащее урочище Цебельда оказывалось в кольце. К тому же все, кто сватался к Енджи-ханум, стали бы врагами счастливица Химкорасы и он со своим владением нуждался бы в поддержке Ахмуда. А владетель Ахмуд всегда был убежден, что для страны полезны разногласия между урочищами. Почему он так считал, осталось тайной, ибо и он в конце концов был сослан. И он решил, не оттягивая, сегодня же зайти с Георгием к Енджи-ханум и все ей рассказать.

И вот вечером, покончив со всеми остальными делами, владетель и его управляющий вошли в покои Енджи-ханум. Ахмуд был слегка смущен предстоящим разговором.

– Каково здоровье Енджи-ханум, сестры нашей? – удалив женщин, спросил владетель.

Енджи-ханум спустила ноги с дивана и подняла свои большие, полные слез глаза. «Может, девушка что-то уже слышала?» – встретившись Ахмуд.

– Что с тобой, сестра?

– Тариел*, несчастный Тариел! – всхлипнула она, вложив палец в страницы и захлопнув большую книгу, лежавшую на коленях. – Не суждена была ему Нестан Дареджан... – Только и произнесла она. Слезы текли и текли по ее белым щекам.

– Не бойся, они встретятся, – сказал раздраженный Ахмуд и примостился рядом с ней на краю дивана.

– О, они встретятся! Любовь восторжествует в этом чудном сочинении, любовь... – Георгий хотел еще что-то добавить, но владетель недовольным взглядом остановил его.

Енджи-ханум, утирая слезы, с презрением обернулась к Георгию. Он был образован и с манерами, но она недолюбливала его за хитрость и коварство. Это знал и Георгий, но особенно по этому поводу не переживал. И сейчас он на ее взгляд ответил взглядом, говорившим: «Можешь смотреть, мне не обидно, ибо превыше всего ставлю дела государственные», и, отведя руки за спину, отошел к окну.

* Герой романа Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Ахмуд, начав издалека, вспомнив предка Чачбу Гвапу, рассказывал древние истории, кружил вокруг вопроса и постепенно поведал сестрице о цели своего прихода. Поникшая, испуганная, слушала она его. Енджи-ханум знала, что однажды, когда придет срок замужества, брат решит ее судьбу, не спрашивая ее, а думая только о благе страны. Но жизнь протекала беззаботно и бесцельно, и не думалось ей, что этот день так близок. Брат говорил с ней мягко, осторожно; Енджи-ханум знала, что он любит ее, у нее и в мыслях не было ему перечить. Слезы, которые она только что лила на страницы старинной книги, сейчас стали весомей, отяжелели и полились чаще и чаще. Брат погладил ее по голове, но Енджи-ханум знала, сколь непреклонна движимая взвешенной мыслью рука брата-владельца. И она, приблизив эту жилистую, мохнатую руку, поцеловала ее.

Избавленный вдруг от предполагаемого тяжелого разговора, Ахмуд перевел дух, но и смутился. Вспомнил, что и он, и сестра – сироты. Он встал растроганный, поцеловал сестру в голову и, поиграв пальцами по книге, лежавшей рядом, поспешно вышел прочь.

Спускаясь с Георгием вниз, он еще раз подумал, что Енджи-ханум сирота, но успокоил себя тем, что он отец всему народу, а уж сестре своей подавно. Затем с этой понравившейся ему мыслью он обошел подворье, где пировали многочисленные гости. А сестра его, оставшись одна, притянула к себе кукольного медвежонка и легла, обняв его. Сердце ее стучало в груди. Впереди ждала новая, неведомая жизнь. Она начала думать о джигите, чьей женой ей предназначено было стать, и не могла его вспомнить. Много мужчин спешивалось у дворца свататься к Енджи-ханум, всем им доселе она давала отказ или за нее им отказывал брат. Много было долинных офицеров – щеголей с подслащенными улыбками и маслянистыми глазами. Много было и горцев: сливались в одно их загорелые лица, оттененные хищными взглядами. Во взглядах этих, думалось Енджи-ханум, нестираемо отпечатались горные ветры и непогода, от которой трижды на дню промокала насквозь и сохла на их телах одежда. И в них самих, сросшихся с седлом, ей чудился норов коня, норов дикий и буйный. Им всем было тоскливо во дворце; они смотрели на нее огнедышащими взглядами скакунов, а ей казалось,

что они только и желали, что умчать ее скорее отсюда в горы, навеки разлучив с родиной, и там утопить по горло в чуждой, устрашающей жизни.

Химкорасу она не помнила. Сейчас, сразу смирившись с судьбой, Енджи-ханум хотела думать о нем хорошо. Ее чистая душа тосковала по наслаждению. От объятий ее попискивал медвежонок, выписанный для нее недавно из Истамбула вкупе с другими игрушками. Если бы медвежонок был живой, он наверняка бы захлебнулся от счастья, ибо Енджи-ханум обладала плотью, способной сокрушить крепости. Она смеялась, целуя безжизненного медвежонка, орошала слезами его каракуль.

Как всегда, бесшумно вошла придворная. Несколько минут она стояла, наблюдая, как госпожа возилась с медвежонком.

– Госпожа, пришел Соломон, – произнесла она наконец. Княжна вскочила, как будто проснувшись, отложила в сторону медвежонка, и на лице ее появилась тревога.

– Георгий не видел его?

– Нет, я провела его через галерею.

– Тогда проси.

Придворная открыла дверь, и вошел Соломон. Он шел, ставя ноги так, словно двигался по начертанной линии. Левую руку он заложил за спину, правой придерживал на груди, как треуголку, свернутый лист. По твердой походке, по решительному взгляду – по всему было видно, что он смущается под взглядом Енджи-ханум. Военный мундир туго обтягивал его, на плечах красовались эполеты поручика; хотя он был молод, грудь его украшали три награды. Шпоры его ритмично постукивали по паркету. Енджи-ханум печально глядела на него. Она пересела в кресло. Соломон подошел своей твердой походкой, изящно поклонился и страстно припал к ее руке.

– Как ваше здоровье, драгоценная Русудан? – наконец, отпустив ее руку и выпрямившись, спросил он на русском языке.

– Тоскливо мне, – по-абхазски ответила ему Енджи-ханум. Соломон игриво изменил выражение лица, преувеличенно удивился, но, что-то прочитав на ее лице, вдруг побледнел. Смолчал.

– А ты-то как, Соломон?

Соломон чувствовал перемену в Енджи-ханум, не понравились ему и слова ее о тоске и, что она называла его не домаш-

ним именем Бата, как обычно, а Соломоном. Он догадывался, что произошло нечто важное, но не успел спросить, как что-то вскипело в нем, подкатило к горлу и заставило его говорить:

– Каким прикажете мне быть, драгоценная Русудан, ежели я люблю вас и с каждым днем все сильнее и сильнее, все более и более покоряемый чувством; я люблю вас, не ведая, что меня ждет в грядущем, не зная, кто я: счастливейший в сем мире или несчастнейший!

Он говорил красивым грудным голосом по-русски.

Енджи-ханум слушала, закрыв глаза и не отнимая руки, которую он снова страстно целовал. Слова любви не ласкали ее слуха теперь, как прежде, теперь, когда вся она была покорена мыслями о предстоящей новой жизни. Она хотела, не откладывая, тут же дать ему знать, что их отношениям необходимо придать иной характер, что все прежнее было по молодости и не могло быть долговечным, но понимала, как тяжело могли ранить друга ее юности слова, в кои надо было облечь эти мысли. И не решалась говорить. «Как бы то ни было, – думала Енджи-ханум, – не скажу ему о Химкорасе» – о, как непривычен для уха звук его имени, как страшит! – ибо душа подсказывала ей, что Соломон, услышав это имя, может сказать что-то надменное и оскорбительное, как обычно говорят об абреках. Тогда она возненавидела бы Соломона и не смогла бы его простить. Енджи-ханум хотела незамутненными сохранить в душе воспоминания о Соломоне. Она подняла голову и посмотрела на него долгим извиняющимся взглядом. Соломон побледнел. Он направился в противоположную сторону покоев.

Офицер с петербургским воспитанием, который ей так нравился раньше, он стоял, согнув тонкий, обтянутый мундиром стан, слегка рисуясь, несмотря на уныние, спустив с края бюро руки так, чтобы она видела его изящные пальцы, а Енджи-ханум, раздражаясь, думала, что чувства к нему были не чем иным, как юным легкомыслием. Выросший в их семье, зависимый от их дома, при всей своей одаренности бессильный подняться до уровня людей ее происхождения, – неужели она любила этого юношу, чья красота так слащава? А ночи, когда она пускала его с черного хода, через галерею, а слова его, когда-то лишавшие ее сна, а стихи, кружившие ей голову?! «Нежный Бата, умный Бата!»

Енджи-ханум встала, подошла к нему, взяла под руку и приникла к его плечу. Соломон оглянулся только тогда, когда она подошла к нему; в глазах его читалось: я все понимаю. Он что-то слышал!

– Что это, Соломон, новое стихотворение? – спросила она, справляясь с неловкостью.

Соломон с улыбкой боли заглянул ей в глаза.

– Можно прочитать? – Она раскрыла свернутый трубкой белый лист. Красивым, словно рисованным почерком на листе был начертан стих, а наверху проставлены ее инициалы от святого крещения – Р. Г. Ш. Все свои стихи Соломон посвящал, разумеется, ей, каждый раз любовно подписывая одно и то же: светлейш. кн. Р. Г. Ш. – светлейшей княжне Русудан Георгиевне Шервашидзе.

Енджи-ханум стала читать, прижавшись к нему. Свернутый лист не слушался ее. Соломон помог ей, распрямив лист и придерживая рукой.

Она стояла у прибоя,
Где волны бьют подошвы скал.
Прибрежный ветер, зычно воя,
Ея одежды развевал.

А волны, пенясь и шумя,
С разбегу берег ударяли,
И ножки стройные ея
Они с любовью лобзали.

Она читала шепотом, близоруко склонясь над листом, а Соломон остался стоять – ровный, в нелепой позе, одной рукой придерживая лист и не зная, куда девать другую, а лицо его, невидимое княжне, могло быть и было злым и полным сословной ненависти к ней и к себе, написавшему эти вирши. «Только скромность моя порукой ее девственности», – подумал он. Но как только она подняла голову, все изменилось и на его лице, и в его душе.

– Как славно, как чудесно, Бата! – Енджи-ханум восторженно обняла руками его шею. И он, окаменевший было, очнулся, прижал ее к себе и стал жадно целовать ее шею, щеки, глаза.

– Погоди, Бата, ты талантлив, погоди, Бата, я желаю тебе счастья... – лепетала она, но не вырывалась. Закрывая глаза, Енджи-ханум видела совсем другого.

Перед глазами вставал неведомый Химкораса. Предводительствуя такими же, как он, сорвиголовами, что, по горскому обыкновению, ряжены в лохмотья, но оружие которых посеребрено, он гнал табуны из-за хребта, улыбаясь, когда со свистом близко пролетали пули, в ночи, на краю пропасти, в слепой темноте, взнуздывая коня, мчался отважный дикий красавец. И вдруг вспоминал ее, Енджи-ханум; лицо его светлело, и душа смягчалась. Громким голосом он окликал друзей, которым было невдомек, почему он повеселел. Свое жаждущее сердце, сейчас такое пустое, она готовила к любви, которая должна была в него войти. Мысленно передавала джигиту привет, зная, что он почует его своим хищным чутьем. «Он подобен луне», – сказала себе Енджи-ханум.

Когда пришел назначенный день, владелец созвал лучших людей по ту и по эту сторону хребта и, предварительно удалив управляющего Георгия, вид которого многих раздражал, задал невиданный пир. Три дня и три ночи веселились в Лыхнах. Здесь присутствовали представители всех урочищ, совсем недавно относившихся к Абхазии, но отделившихся от нее, когда Сафар-бей (Георгий) Чачба (Шервашидзе), светлой памяти родитель Ахмуда (Михаила), продал край за трон. По случаю замужества сестры владелец Ахмуд-бей устроил конные игры. На черазе* одержал победу Бжедуков Хануко, сын шапсугов, не говорящих на абхазском, но наделенных мужеством в полной мере. В метанье копья никто не мог сравниться с абазинским джигитом Кизилбеком Махматкачей. Блеснули, как всегда, всадники ачипсе и айбги**. При джигитовке наш парень Зван Батыршлак из Абжаквы шел прекрасно, но в конце осрамился: конь его взмахнул хвостом. Он соскочил с седла и, воскликнув: «Чтоб трамовским заводчикам не вывести лучших лошадей!» – тут же приставил к уху коня маджарский пистолет и убил его. Одержал победу юноша из свиты, приехавшей за невестой, – Халыбей, сын Кайтмаса.

* Вид конноспортивного состязания.

** Абхазские племена, в прошлом населявшие Красную Поляну в Сочи.

Конь от имени Ахмуда по третьему кругу пришел первым. Светлейший владетель прослезился от радости.

По седьмому кругу конь его упал и свернул шею. Светлейший Ахмуд в гневе собственноручно избил троих конюхов. Еще семерых избил Дзяпш Чапак.

Правдивость сего подтверждали не раз Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.

Енджи-ханум, как и положено сестре владетеля, сияя красотой, была печальна.

Затем был пир в Сухуме, в большом дворце владетеля. Здесь уже были тифлисские и кутаисские офицеры, а также гости из Мингрелии. Управляющий Георгий был приветлив. Из абхазов здесь присутствовали новые люди, чьи плечи были украшены эполетами, груди – наградами. Здесь были собраны все, кто был достоин сидеть за столом с генерал-аншефом Михаилом Георгиевичем Шервашидзе, и те, с кем ему было достойно сидеть за столом. В Сухумской крепости, где был расположен гарнизон, в честь торжества гремели пушки и единороги.

Незабываемый день! Енджи-ханум была грустна и необычайно задумчива. Напрасно свита, приехавшая за невестой, и свита, выезжавшая с невестой, поочередно пытались развеселить ее – прекрасный лик невесты был по-прежнему пасмурен; только иногда, как солнце сквозь тучи, на нем мелькала улыбка.

Задумчива была Енджи-ханум и тогда, когда, оглашая выстрелами ущелья, везли ее на золотой арбе вдоль реки Келасур: картина, запечатленная на полотне отважным живописцем, генералом от артиллерии Гагариным. Времена были смутные, много было лихих людей, и потому двести всадников ехали с сестрой владетеля. Вокруг, куда ни глянешь, красиво было.

Дальцы не осрамили себя, сыграли великую свадьбу. Казалось, все абреки Кавказа собрались на пир Химкорасы, сына Дарукова. Был большой пир, веселье и смех. Пару раз случались и перестрелки.

Увидеть невесту приходили сородичи, гости и соседи. На третий день прошел небольшой дождь, и то и дело мотыгами выгребали из светлицы грязь, затем мыли пол, который, по словам

одной из подруг невесты, снова начинал блестеть. Химкорасу Енджи-ханум пока не видела и стеснялась о нем заговорить. Между тем она жаждала его увидеть. Енджи-ханум должна была, как велел обычай, все время стоять и с непривычки очень устала. И в первую и во вторую ночь ей удалось лишь ненадолго прилечь.

На третий день Химкорасе можно было увидеть свою невесту, и он зашел в ее светлицу. Она знала, что он сегодня придет, и ждала, снедаемая усталостью и одиночеством. «Опять не он», – подумала Енджи-ханум, взглянув на Химкорасу. Он совсем не был похож на молодожена. Лишь со второго взгляда она заметила, что выглядел он нарядно: в новой белой черкеске, блистая золотыми лучами орденов и серебром оружия. По всему было видно человека крутого нрава. Енджи-ханум затрепетала. Где тот желанный мужественный юноша с норовом дикого коня, в чьих глазах бурное, как горный поток, желание? Жених был не первой молодости. Кроме торжественной одежды и экипировки, ничто в нем, в его облике, не говорило о том, что сегодняшний день и для него значителен, хотя брак и означал перемену всей его политической ориентации. Его сопровождали друзья, они остановились у дверей. Он подошел к невесте и, приподняв ее темную фату, заглянул ей в лицо. Она дрожала. Он взглянул колючими глазами, словно желая удостовериться лично, достаточно ли хороша его жена, чтобы из-за нее взять и изменить свой образ жизни.

– Добро пожаловать! – произнес он наконец, очевидно решив, что она хороша достаточно. В тишине покоев его голос, не очень-то и громкий, неожиданно загремел.

Енджи-ханум усиленно закивала.

Двое слуг внесли столик, еще двое – два мягких стула.

Велев ей сесть, Химкораса уселся на другой стул. Енджи-ханум покорилась, определив, что муж ее не любит повторяться.

Химкораса подал подскочившему слуге свою мохнатую баранью шапку, выпрямился на стуле, уперев свои жесткие пальцы в колени. Продолжал внимательно и строго рассматривать ее. Голова его была выбрита до синевы. На костистом его лице с глубоко посаженными круглыми желтоватыми глазами, в тяжелом взгляде читалась некая боль.

Он уже был влюблен в трепещущую, ничего не замечающую Енджи-ханум.

– Ты что, объедки кладешь перед нами? – Химкораса оглянулся на стоявшего поодаль слугу. И сейчас голос его был негромок, но раздался резко.

– Как же, господин, вот оленина, вот костный мозг, сладости.

– Шучу, шучу...

Он это произнес скорее от смущения, и слуга прекрасно отличал такой тон от истинного гнева хозяина, но Енджи-ханум тут и вовсе оробела. Между тем друзья, прислоненные его взглядом к стене у двери, хихикнули (ибо это была шутка князя), но не слишком, чтобы не растратить хороший смех до лучшей шутки господина. Они боялись его. Лишь прозрачная белая занавесь разделяла их с молодыми. Они стояли, готовые в зависимости от приказа начать веселиться или выйти прочь.

– Съешь чего-нибудь!

Енджи-ханум подняла свои большие глаза и взглянула на мужа. Он достал острый нож, разрезал мясо, положил перед ней мягкий кусок и сам взял другой.

– Ты, наверное, и свинину ешь? Мать твоя Дадияни, а Дадияни едят свинину! – сиясь улыбнуться, спросил он скороговоркой, словно считал вопрос необходимостью и старался поскорее задать и избавиться от него.

Енджи-ханум обомлела. Не зная, что отвечать, снова подняла на него большие глаза.

– Шучу я, – улыбнулся он, затем, изменив тон: – Я очень уважаю владельца Ахмуд-бея!

Он страстно сжимал острый нож в руке. Нож он взял в левую руку, а правую положил на ее ладонь и погладил. Рука Енджи-ханум невольно вздрогнула, и он, заметив это, еще более нахмурился и стал глядеть исподлобья.

Так и просидели молодые некоторое время: оба не знали, что дальше делать, оба не могли встать.

– Выпьем, что ли, – сказал он, наконец.

Енджи-ханум испуганно закачала головой: нет, нет.

Заметив, что жена совершенно оробела, муж вдруг улыбнулся неожиданной для Енджи-ханум наивной, неумелой улыбкой.

Сердце потеплело у Енджи-ханум, но самой ей не стало теплей. Она вся дрожала. Потом опять долго молчали. Наконец Химкораса попытался встать. Но перед этим взглянул сквозь белую занавесь, ища глазами молочного брата.

– Ты знаешь, что положено, князь, – вполголоса произнес тот. Химкораса кольнул невесту взглядом. Енджи-ханум медленно привстала.

Его друзья, как ожившие изваяния, вздрогнули, засуетились, подались в дальний угол. Кто-то взял чонгур, кто-то запел песню, остальные подпели. Химкораса повел свою светлую жену к постели. «Так, наверно, надо!» – испуганно думала она, ступая ватными ногами. И только слышала, как гулко билось сердце. Он посадил ее на постель, провел рукой по ее волосам, локоть его коснулся ее груди. «Как? Как? При всех? При всех?» – с грустью думала она. Он осторожно положил ее на постель. Енджи-ханум закрыла глаза, руки у нее опустились, он коснулся жесткими усами ее щеки, он поцеловал ее в губы. Затем вдруг выпрямился, резко обернулся и четким военным шагом, стуча каблуками, вышел прочь.

А свадьба все продолжалась.

На другой день к вечеру во дворе и в пиршественных шатрах вдруг умолкли голоса. Енджи-ханум догадалась, что явился кто-то, кого здесь особенно ждали или не ждали вовсе.

Подруги ее подбежали к окнам. Енджи-ханум осталась стоять одна. Она хотела узнать, в чем дело.

– Что вы там увидели? – спросила она, не сходя с места.

Но девушки уже отошли от окна и глядели на дверь. Енджи-ханум вздрогнула, Енджи-ханум растерялась и тут же поверила, навсегда уверовала в чудо.

В дверь вошел тот, который предстал перед ее глазами, когда брат объявил, что выдает ее замуж... Юноша, гонявший табуны из-за хребта, предводительствуя молодцами, отчаянный горец с норовом дикого коня. Это был именно он, представлявшийся ей в тот вечер, это ему она посылала мысленный привет! Это его глаза засияли ей из темноты, когда, почуяв ее привет, оглянулся явленный в видении ей юноша! И одет-то он был так же, как и в ее видении: во все старое, простое, но при этом оружие его было богато и сверкало.

Он был тонок и гибок станом, но видно было, что юноша силен и ловок. «Он подобен луне», – сказала себе Енджи-ханум.

Юноша, который займет в следующих наших повествованиях больше места, чем в этом, сейчас, словно задумавшись, замер у дверей. У девушек при виде его засияли лица. А что касается невесты, она, забыв о посторонних, смотрела на него во все глаза и улыбалась.

Он был горец без упрека. Под пристальным взглядом невесты он чуть смутился и тоже улыбнулся, густо покраснев. Сделав общий поклон, он подошел к невесте.

Тогда одна из девушек взяла чонгур и запела. Юноша узнал песню о себе и еще гуще покраснел: он был польщен.

Не давший птицам их на ветвях усесться,
Не давший матерям их воспитывать детей –
Вчерашний гость наш Золотой Шабат, –

пела девушка. Остальные стали подпевать ей. По тому, как они ладно пели песню, Енджи-ханум догадалась, что песня была знакома и любима. Юноша покачал головой, как бы говоря: зачем все это сейчас? В мотиве песни была какая-то скорбь и тоска, словно страх утраты обманывал темные силы, отваживал их, заранее оплакивая любимого.

Офицерскими ребрами сплетавший плетень,
Генеральскими ребрами окаймлявший плетень –
Вчерашний гость наш Золотой Шабат!

Шабат принес в дар невесте ожерелье из драгоценных камней. Енджи-ханум не сумела скрыть, что подарок ей пришелся по душе.

– Кто этот чудесный юноша? – спросила Енджи-ханум после его ухода.

– Брат мужа твоего, Шабат, госпожа.

– Это его называют Золотым Шабатом?

– Именно его, госпожа.

– Что он такого сотворил, чтобы о нем пели, чтобы его прозвали Золотым, словно он Ажвейпша – божество охоты или Заухсан – божество оспы? – спросила Енджи-ханум.

Девушки, задетые словами госпожи, страстно, перебивая друг друга, заговорили о Золотом Шабате:

– Как же ты могла не слышать о Золотом Шабате, в котором семь красных змей!

Енджи-ханум слушала щебет девушек как в полусне. Они, перебивая друг друга, говорили и говорили о Золотом Шабате. Княжна устала поворачивать голову то в одну, то в другую сторону. Многие из услышанного о нем похоже было на небылицы. Но нечаянно поняла она одно: здесь все, в том числе и эти девушки, думами и сердцем были с этим абреком.

– Стало быть, Золотой Шабат – враг всех, на чьих плечах эполеты? – спросила она.

А они, обрадованные, что она их поняла, дружно воскликнули:

– Да, да, госпожа!

– Стало быть, он и моему мужу враг?

Девушки растерянно поникли головами, поняв, что сболтнули лишнее.

А Енджи-ханум нужно было, чтобы румянец, занявший ее щеки, девушки приняли за румянец гнева.

– Стало быть, – продолжала она, все больше и больше загораюсь, и на зардевших ее щеках с обеих сторон образовались пунцовые ямочки, так что она предстала девицам в том виде, который сводил с ума несчастного Соломона. – Стало быть, ваш Золотой Шабат – враг и моему брату? Ведь мой светлый брат, как и положено владетелю Абхазии, в самом высшем чине!

Девушки растерянно молчали.

– Твой брат тут ни при чем, княжна! Твой брат – да будет благоденствие его вечно! – светлый господин наш, и его имя произносят первым, когда обращаются к богам с сердцем и печенью жертвенных животных в руках, – наконец тихо сказала старшая из них.

Енджи-ханум хотела возразить, но слово замерло и растаяло на кончике ее языка. Ибо тут же подумалось ей, что девушки могут испугаться, замкнуться и после этого выведать что-то у них можно будет только силой. А она хотела знать все: она решила стать здесь хозяйкой и властительницей. К тому же об этом самом Золотом Шабате ей хотелось все время слышать, и она не могла объяснить себе почему. Енджи-ханум присела. Девушки, растерявшиеся было, думая, что госпожа обиделась, заметили, что она задумчиво улыбается чему-то, и перевели дух.

Мать Маршанов, Берзег Гупханаша, была древней и вещей, как ворон. Говорили, что она дьявольскими кознями обманула само божество смерти, и оно уже не может ее поторопить. Никто не мог сказать, сколько старухе лет: считалось, что ей далеко за двести. Все Маршаны без исключения называли ее Древней Матерью, но вряд ли кто-либо знал, она мать отца их деда или мать деда их деда. Высохшая, кожа да кости, она сживала в мягком кресле. Воды и вина не пила, за день довольствовалась кусочком сухой лепешки.

По обычаю, мать живет в доме младшего сына. Но у Шабата и Ешсоу, младших из братьев, не было своих домов, и Гуапханаша жила в доме Батал-бея. Это было не так-то близко от белого замка Уарды, но разве могла свадьба Химкорасы пройти без Гуапханаша! Ехать верхом, конечно, Мать была не в состоянии, и, когда пришел день свадьбы, для нее соорудили нечто вроде носилок и, водрузив на них кресло со старушкой, понесли ее в Уарду. С утра до вечера преодолевали они путь, который обычный мужчина мог пройти в три часа. Часто приходилось останавливаться.

Старуха быстро уставала, и носильщики сходили на обочину. А когда снова пускались в путь, люди высыпали на дорогу, чтобы увидеть воочию Берзег Гуапханашу. Дети бежали рядом с носилками, старшие шли чуть отставая. Издалека могло показаться, что несут покойника. Но та, которую несли, беспрестанно острословила. Язычок ее трепетал во рту – единственно живой и влажный. Поравнявшись с очередной поляной, по приказу старушки шествие останавливалось; сходили на поляну и устраивали хоровод. Аурааша*, не дергайтесь, словно вы ачипсе, не важничайте, словно вы бзыбцы, не щипайтесь, словно вы абжуйцы. Старушка глядела на хороводивших и шевелила губами. Пусть попляшет босая голь, небось не растрясут они свои пустые желудки. Аурааша. О, древний Маршан Адлаагико, придет домой – вши заедают, выйдет из дому – заимодавцы облепляют. Древний Маршан, зовущийся Адлаагико. Адлаагико был ее муж. А может быть, не муж, а даже свекор, а может быть, и сын. Аурааша. Когда старушка начинала говорить, спутники наклонялись к ней, подставляя ухо, затем громко произносили народу ее новую остроту. Семь раз останавливались на пути.

* Припев абхазской хороводной.

Даже перейдя Багадский мост, даже будучи уже на подступах к замку Уарде, пришлось передохнуть еще три раза. Поднимая руку, тонкую, тоньше палки, она благословляла обгоревшие жилища, детей, босиком ступавших по грязи. Благословляла нищие селенья, крестьян, тревожно поглядывавших вниз, на равнину. Нимирах-чимирах*. Как бы снова не двинулись сюда полчища, катя пушки, посверкивая на солнце штыками, опустошать и без того пустые амбары, угонять и без того худой и малочисленный скот. Нимирах-чимирах! Спалить хижины, которые давно уже строятся кое-как: все равно завтра сожгут.

К вечеру наконец донесли ее до белого замка Химкорасы. По пути она раздала все золотые вещи, затем сняла шубу (ее закутали в одеяло), шагреньевые башмачки подарила какой-то девчонке (ноги закутали полотенцем), отдали коврик (на носилки постелили облезлую бурку). В белом замке Уарды все были сыты и согреты. «Теперь, наверно, я здесь и умру, вряд ли живой донесете меня обратно до Латы», – сказала она, когда ее наконец сгрузили. Одна из служанок, пожилая женщина, усмехнулась, услышав это. Точно так же привезли старушку сюда пятьдесят с лишком лет тому назад, когда женили Даруко, отца Химкорасы. И тогда старушка сказала то же самое.

Прежде чем увидеть невесту, гости поднимались на поклон к старухе. Так было заведено. «Тут другая невеста у нас имеется, ха-ха-ха». Химкораса то и дело появлялся из укрытия, где должен был прятаться жених. Те, кто не знал Берзег Гупханашу, поднимались к ней, убежденные, что увидят мощи старухи, онемевшей и прикованной к постели. Но не успевал очередной гость зайти в просторную комнату, как Гупханаша, которая восседала в кресле, закинув тощую ногу на ногу, взглядывала на вошедшего востренькими глазками и, спросив служанку или узнав его сама, тут же бросала ему острое словцо.

Когда к ней зашел владетель Убыхии Адаго Хаджи Берзег, она произнесла: «Егей, маленький отпрыск больших моих братьев, что кидаются с мечами на морские волны; убых – длинная ветвь, щеголеватый Берзег со сломанным рогом». А Адаго Берзег, говоря, тут же ответил: «Егей, древняя моя тетушка, пропащая сестра Берзегов, дочь ворон, сноха грачей, этот свет от тебя устал, а тот

* Слова заклинания.

свет тебя заждался». После этого, говорят, старушка привлекла его к себе и, благословив, поцеловала в голову.

Он-то нашелся и ответил, но другие чаще всего, услышав что-то в этом роде, замирали на месте, растерянные, принужденно посмеиваясь. И разумеется быстро оттуда вылетали.

Обо всем этом говорили мне, согласные друг с другом Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.

Было за полночь, когда она добралась до постели. И сегодня, простояв весь день, она была так утомлена, что ломило кости и отнимались руки и ноги. Но все ей было нипочем в эту ночь.

Она лежала, закрыв глаза, но перед ее взором проносились и проносились непослушные картины, одна соблазнительнее другой. Она хотела видеть только мужа, который вот-вот должен войти, но перед ее взором мелькал Золотой Шабат: оборачиваясь на скаку, он посылал ей полный намеков взгляд. Но эта картина сменялась другими, менее значительными, картинами минувшего дня и потому не смущала ее. И были эти картины как бы во сне ее, а сама она лежала, думая о том, кто должен вот-вот войти, лежала нетерпеливая, готовая расплакаться, ворочаясь, изредка даже открывая глаза и поглядывая на дверь. Но пришел он все-таки незаметно. Она даже вздрогнула от неожиданности, увидя его. Он стоял над ней весь в белом. Она вздохнула тихо, чтобы он не услышал. Отодвинув полог, он приблизился к ней. Застенчиво прикрыл рот ладонью и кашлянул. Но не спала она, ждала его! Он решил присесть на край кровати. Она не шевелилась. Не помнила она сейчас ни того, что он не понравился ей с первого взгляда, ни того, что он не шел ни в какое сравнение с тем... – тут она прерывала мысль, – ни того, что целый день вспоминала его с раздражением. Сейчас ее рассудок молчал. Готовая, собранная, закрыв глаза, она ждала.

Он нагнулся и, как вчера, прикоснулся губами к ее щеке. Она вздрогнула. Потом... «Дай свое благословение, Золотая владычица Анан!» Все существо ее застенчиво пошло навстречу законному наслаждению. Чего же он тянет, бедолага? Дай свое благоволение, Золотая владычица Анан! Почему он задумался, почему он мешкает? Где ей было знать, что он не мог не спешить

в этот миг и задумался, изумленный тем, что не почувствовал себя способным спешить. «Помоги мне, Ах-ду, в чьей власти мужество, рождение и развитие. Даю тебе обет: принесу тебе в жертву лучшего своего быка. Помоги мне, Ах-ду!» Он глядел на нее, и в полутьме она казалась ему печальной, она была вся свечение, мерцающее, дрожащее. Сердца их стучали, как бы нагоняя друг друга.

Это слышала и она. Сладкая боль прощения и любви встала поперек горла, опять с раскаяньем она вспомнила, как плохо она думала о нем вчера. И он, темноокий, жесткий, холодный, сейчас стал, как ей показалось, мягким и нежным. Она почувствовала на сердце радость. Мягким-то и нежным он стал, но знала ли она, что не мягкость и нежность могли сейчас утолить ее сердце и не это он искал, бормоча и вслушиваясь в себя.

«Дай мне силы... Ах-ду... лучшего быка из стада...» Он не верил тому, что случилось с ним. Не хотел он верить в то, о чем и не подозревал до сегодняшнего вечера, во что и сейчас не верилось гордому горцу. Прошло бесконечно много времени. А он все вслушивался в себя. Постепенно она привыкла к его рукам, бесплодно скребущим по ней, как щенок по ковру.

Она догадывалась, в ней все ожесточеннее боролись жалость и раздражение. Благодаря маленькому опыту с Соломоном и сплетням нянек она кое о чем знала. Догадывалась, что в ее власти было ему помочь, но этого ей не позволяли гордость и невинность.

В тишине раздавалось только частое дыхание обоих.

Вдруг издалека до слуха ее донесся раздирающий душу лесной крик.

– Шакалы бродят... – выдохнул он, надеясь, что на мгновение возможно отвлечь ее мысли на что-то другое, желая выиграть время.

Даже это поняла она.

«Я тебя не спрашиваю, ходят ли шакалы, несчастный!» – подумала она, обуреваемая тоской и стыдом, смущением и раздражением, постепенно приходя в себя.

На другой день с утра Химкораса не показывался невесте. Он ждал ночи. А на третье утро встал до рассвета, побрил голову,

оделся и уехал в путь. Около двух недель его не было. Он ходил к далеким селеньям. Вернулся, снова уехал. Бывал дома ровно столько, чтобы не возникли досужие разговоры. А жить в родном доме не мог. Совершенно охладел к белому замку. Юная жена его и он застенчиво прятали друг от друга глаза.

Ездил Химкораса, но не напрасно ездил. Он сносился с жрецами, вещунами и знахарями. Потом стыда покрывался его лоб, когда он говорил с ними, но делать было нечего. Белолобой львице была подобна его жена, но была она ему недоступна, как недоступна небесная звезда. С этим надо было покончить, и он повадился к мудрецам. Это держалось в тайне: каждый знал, что его ожидало, если бы он выдал Химкорасу Маршана.

Предложили ему принести жертву Ах-ду, и он самолично выбрал лучшего быка из лучшего своего стада и в сопровождении молочного брата и чистого старца на рассвете направился в лес Малой Уарды. Молочный брат держал веревку; князь погонял, жрец шел впереди. Отринув гордыню, Химкораса самоотверженно погонял быка. Рога у быка были увенчаны восковыми свечами.

Дойдя до поляны, затерянной в лесу, разожгли костер. Химкораса и молочный брат повалили быка, старец вынул освященный нож и перерезал жертвенному животному горло. Химкораса взял головешку и окунул ее в кровь.

Поджарили сердце и печень.

Сквозь ветви деревьев солнце протягивало длинные лучи к поляне. По этим лучам поднимались ввысь воскурения и дым. Жрец стоял, держа один край полотенца в правой руке, а другой край перекинув через левое плечо. Он взял сердце и печень и велел Химкорасе встать на колени. В безмолвии леса князю показалось, что и другие слышат его сердцебиение. Подняв полные надежды глаза, он посмотрел на старца, но тут же, смутившись, отвел взгляд.

Все трое, задумчивые, с печатью мудрости на древних лицах, прочли молитву и вкусили сердца и печени.

Князь и молочный брат, разделив тушу быка, понесли мясо к дому жреца. После этого Химкораса около недели побыл дома, но потом ему снова пришлось уехать. За морской поход на шапсугов он получил большую бронзовую медаль. Отважный, он шел впе-

реди с шашкой наголо, являя всей презренной милиции горское мужество. Затем снова нашел жрецов, вещунов и знахарей. Ему сказали, что надо принести жертву Луне, доле семидольного Айта-ра. Он и это исполнил. Велели дойти до подножья благословенного святилища Инал-Куба. Он исполнил. Кинув ему несколько половинчатых ночей, снова забывали о нем могучие боги, которым он приносил жертвы. Но эти половинчатые ночи были.

Химкораса не щадил себя. Его повысили в чине. Сам царь услышал о его военных подвигах. Разумеется, царю доложили. «Прапорщик князь Химко-расий Моршаний искренне предан престолу», – писал главнокомандующий войсками на Кавказе генерал барон Розен военному министру Чернышеву. Снова посетил Химкораса жрецов, вещунов и знахарей. Спросили, не имел ли прежде дела с женщиной. Он ответил, что никогда не имел, если не считать редких исполнений прав и обязанностей князя. За джигитский поход он удостоился ордена Станислава третьей степени.

«Ты преступал клятву, – сказали жрецы, вещуны и знахари. – Ты вот говорил, что, пока кровь кипит в твоих жилах, будешь врагом царя, а теперь принял от царя чин и золото. Так что же делать? Чего проще: выбери жертвенное животное, изготвь большую свечу, приди на то место, где давал клятву, и откупись, ибо не клятва на Коране и Библии истинна для горца, а клятва Богам пред лицом Святилищ».

Химкораса продолжал уничтожать своих быков. Удостоился Станислава второй степени.

А прелестная Енджи-ханум с первого дня, как привели ее в Уарду, мечтала, чтобы слово ее приобрело вес в округе, и потому была чрезвычайно расстроена отношениями с супругом. К тому же Енджи-ханум чувствовала явно, что ни у кого из окружающих ее здесь не лежала к ней душа. Не то что не лежала душа, она замечала, что и слуги, и новая родня, и соседи – все испытывали к ней нечто вроде неприязни и страха. Странно это было для княгини, еще недавно всеми любимой и балуемой. Она сладко глядела, сладко говорила, раздавала подарки. Но и щедрые подарки принимали от нее настороженно, словно боясь, что придется за них расплачиваться. Енджи-ханум не понимала, в чем

ее вина. Она часто, спрятавшись от всех, плакала и становилась все злей и злей. У нее здесь не было близкого человека, кроме молочной сестры – жены молочного брата Химкорасы. Все слушались госпожу, подчинялись малейшему движению ее бровей, но она не обрела доверия. И приходила в отчаяние. Енджи-ханум не знала, что весь Дал к этому времени повторял слова, сказанные ее прапрадвекровью Берзег Гупханашей. А говорили вот что.

Берзег Гупханаша, впервые увидев сноху, говорили, долго сидела, держась за голову. Затем, удалив всех, позвала доверенную женщину и приказала ей:

– Когда сегодня ночью невесту выведут по нужде, выследи и отметь место, где она помочилась!

Та исполнила приказание старушки и рассказала ей что увидела. На том месте, где помочилась невеста, трава была выжжена и земля обнажилась.

– Егей, это не к добру, – сказала Берзег Гупханаша. – Из-за нашей невесты быть сожжenu урочищу Дал!

Доверенная женщина, как и положено доверенной женщине, хранила эту тайну ото всех, кроме своей доверенной женщины, и вскоре об этом знал весь Дал. Дальцам сотню лет как известно было, что у старушки дар предвиденья. Все поняли, что Енджи-ханум ступила в их край дурной ногой. А время было опасное.

Прошло полгода; Енджи-ханум ничего губительного для Дала еще не сотворила. Напротив, считала себя во всем обманутой. Если бы она была в положении, тогда, по обычаю, пору беременности она могла провести в отчем дому.

Она села и написала письмо брату, владельцу Ахмуду. Четыре листа исписала мелкими буквами с обеих сторон. Писала по-русски, чтобы лазутчики не смогли прочитать: Любезному брату моему Светлейшему Князю Михаилу Георгиевичу Шервашидзе, Богом избранному Владетелю Абхазского края.

Ахмуд расчувствовался, прочитав письмо сестры. В начале письма сестра писала, что ей здесь скучно, что ей здесь страшно, и, как малое дитя, просила забрать ее домой. Из прочитанного, однако, он смог догадаться, что в голове сестры уже появляются мысли, как бы упрочиться на новом месте в качестве истинной госпожи. Уже начинал сказываться нрав женщины из рода Чачба.

Понял из письма он также, что беспокойно настроение в Дале, настолько беспокойно, что это стало заметно даже неопытному взору его юной сестры.

Он, несомненно, знал, что Маршан Шабат Золотой тайно готовится к новому восстанию. Не напрасно владетель по наущению Георгия рассылал по селеньям лазутчиков.

Лиши ее сна, благословенное святилище Дала. Лиши ее сна, эту ведьму!

Не то что мне, излагающему этот сказ про сестру владетеля и дальцев, услышанный мною под дубом в селе Лата от Хатхуата, Амзаца и Шунд-Вамеха, но и великим мудрецам, водящим пером по бумаге пред лицом падишаха, не под силу рассказать, что таится в душе женщины. А не просвещен я, забытый всеми смертями, только научился кое-какому письму, будучи аманатом в горской школе Сухум-калэ. И, пытаюсь одеть плотью письма великие истории, что поведаны мне, я боюсь сейчас, как бы эта плоть не стала чуждым наростом.

Великое божество абхазов, помоги же дальцам! Ибо истинно то, что не в силах услужить они своей маленькой госпоже. До глубокой полуночи она изволила читать книгу. В десять утра просыпалась, к одиннадцати ей готовили чай. Истинно, не рождалось ни до, ни после среди носящих косынку обладательницы подобного стана. Кормили ее овечьим курдюком, обсыпав его русским сахаром. Обували ее лишь в истамбульские чупаки на китайском шелке. Никому не позволялось на нее заглядываться, чтобы сторонний взгляд не испортил цвета ее лица. Ни на кого не позволяли ей заглядываться, чтобы она не переволновалась. И все смотрела она на дверь в ожидании гостей с подарками. Брат ее мужа Шабат с намеком привез ей в дар скопца Мустафу, черного арапа. Стены крепости Уарды, ее одиночество и неприязнь людей тройным кольцом окружили Енджи-ханум, обойденную счастьем.

«Кто этот прелестный юноша?» – нарочно спросила Енджи-ханум, чьи глаза не всем было дано узреть. «Это брат супруга твоего, Золотой Шабат, в котором семь красных змей», – сказали ей. «Вот кто был бы меня достоин!»

«Все остальные просто лгали нам, а настоящий сын Даруков – это ты!» – сказала она ему. Золотой Шабат смутился, а как ушел,

Енджи-ханум принялась, по старинному обычаю, шить одежду ему, с кем ушло ее сердце. Уж ткани-то ей хватило бы. В раздумьях о пленившем ее облике она не заметила, как ножницами поранила себе руки. Это стало известно, и пошли судить-рядить. Посещениям Золотого Шабата пришел конец.

И твердо решил Золотой Шабат захватить все урочище Дал, чтобы сподручно было ему заходить куда ему вздумается.

А между тем Енджи-ханум, чтобы стать ей последней дочерью из рода Чачба, завела другую привычку. За крепостью, где поток низвергался с утеса, она ложилась в гамак с мягкими перинами. Скопец Мустафа качал ее гамак. Когда в замке или окрест возникал какой-нибудь вопрос, управляющий приходил сюда и спрашивал княгиню. Потому что уже взяла в свои руки власть Енджи-ханум. Пусть по воле твоей лишатся света глаза того, кто ослепил тогда дальцев, о сотворивший меня из небытия!

Солнечные лучи грели ее тело, ветерок умерял их горячность. Кожей ощущая нежность постели, кожей чувствуя прикосновение сладкого ветерка, лежала госпожа с потускневшим взором, словно утомленная любовью. Неустанно шумел поток, сливались птичьи голоса. Пчелы прилетали к цветкам на солнечном склоне, где поток низвергался с утеса. И Мустафу, сидевшего поодаль, клонило ко сну. Веревка, привязанная к гамаку, была накинута другим концом на его большой палец, его ленивые руки перебирали четки. Стукнет камень четок, и госпоже кажется, что протекло много времени, пока не прозвучит его стук во второй раз.

Наслаждаясь тишиной, сердцем и душой внимая голосам природы, слыша дыхание трав, она лежала на мягких перинах, и у нее кружилась голова. И даже кровь, казалось ей, лениво текла по жилам. Ни о чем не думала она, но то и дело хотелось беспричинно плакать. Иногда она поднимала голову, поглядывала на арапа Мустафу, словно видя его в первый раз, и на безмятежном ее лице случайно просачивалась улыбка – отблеск внутреннего смеха. И, снова положив голову на подушку, ленивым голосом она окликала оглушенную ножом плоть своего слуги.

«Поди-ка сюда», – говорила она. Скопец Мустафа вставал. «Вот здесь», – говорила она слабым голосом. Арап Мустафа вздыхал и направлялся к ней, покачивая жирными бедрами. Подходил,

словно она приказывала поднести ей воду, безо всякой охоты прикоснулся влажными губами к ее телу, свежему, как сыр, и возвращался к четкам.

Как-то некий пастух из-за солнечного склона искал коз, отбившихся от стада, и очутился на месте, где поток низвергался с утеса. Несколько коз, сопровождаемых звоном колокольчика на шее козла, топтали цветы на солнечном склоне. Вскоре появился и сам пастух, покрикивая: «Р-рейт! Р-рейт!» Жалкий пастух, не подозревающий, что здесь кто-то есть, удивленно остановился и замер. Перед его глазами возникло прекрасное видение, как если бы на дне бурдюка блеснула золоченая Илорская икона. На фоне солнца, заходившего за склон, где поток низвергался с утеса, он увидел деву, прелестную, как дочь божества охоты. Он так и остался стоять с открытым ртом во взлохмаченной бороде. Скопец-арап, заметив пастуха, стал прогонять его, как пса, мыча и размахивая руками. Енджи-ханум, найдя, чем отвлечься от скуки, подняла голову и, посмеиваясь, наблюдала за этой картиной. Пастух смутился и пошел прочь, даже про коз забыл. Когда он ушел, Енджи-ханум смеялась, Мустафа мычал и сердился, и стук его четок раздавался чаще.

Но разве пастух оставит коз: он вскоре вернулся туда, где поток низвергался с утеса. Мустафа опять гневался, и это очень забавляло Енджи-ханум.

– Приведи его ко мне! – выговорила она.

Бог да простит глупость тому, кто сказал, что понял женщину. И арап, подобно хозяйке, которая перед приходом гостя еще раз оглядывает убранство светлицы, тревожно оглядел госпожу, лежавшую в одной рубашке да еще наполовину откинув тонкое одеяльце, и со вздохом поманил пастуха. Пастух испуганно заковылял к ним. Енджи-ханум присела в гамаке, посмеиваясь и рассматривая пастуха лукавыми глазами. Погиб, о, погиб считающий, что понял женщину! Она оглядела его лучистыми глазами от презренных ног до презренной головы, подобно тому, как светлое солнце льет лучи на ехидну.

– Завтра принесешь мне хорошей простокваши и козьего жира принесешь! – сказала она, слепя его мозолистые глаза

загадочной улыбкой. Пастух повернулся и заковылял прочь, не веря увиденному. На другой день он принес простоквашу. Принес и козий жир. Она спросила его имя. Скопец Мустафа глядел холодно и сердито. «Хупацвапа-кокори», – сказал он. Она не поняла. Пастуха звали Хылпацвгя-йпа Клан-гирей, да не мог он выговорить членораздельно. Легко ли сорок лет пастушить в глуши. Даже говорить разучился пастух.

Простокваша была хороша, и козий жир был белее снега. Об этом Енджи-ханум сказала пастуху. Недели даже не прошло, как его козы снова появились на солнечном склоне. Не успели они появиться, как вслед за ним выскочил и пастух. Очень рассмешила Енджи-ханум хитрость пастуха. Так было на второй день и на третий. Скопец тут же прогонял его. Госпожа хохотала. Арап оборачивался к ней, и плоское его лицо было полно упрека.

Пастух появлялся, скопец его гнал, госпожа смеялась. Это стало для княгини своеобразной игрой.

Енджи-ханум покатывалась со смеху. Глупый, глупый скопец Мустафа, даже к ничтожному пастуху ее ревнует. Каплун и не знает, что этим еще больше распаляет меня. Самое смешное, что пастух, прикидываясь дурнем, сам приходит каждый день.

Все ближе становилась та черта, за которую Мустафа не пускал пастуха.

Если выдубленные солнцем его мозги могли рассуждать, то какая-то мыслишка заворочалась в башке пастуха. Он слышал, что пастухам являлись дочери божества охоты – нимфы. Старым пастухам и охотникам. Ведь он в этом году из тысячи коз сто пустил в жертву лесу. В этом году пустил вот сто коз в лес. Чем он соблазняет госпожу, медвежонок каракулевый! Как бы он испугался, узнай, кто она на самом деле. Она рассмеялась звонко-звонко в расплавленном воздухе. Если бы мне знать, кто она такая. А кого тут спросишь! Ни с кем он не видится, кроме своего подпаса. Раньше его глаз можно было увидеть мох его бровей, взгляд его был шершав и прокопчен. Она провела рукой по его шершавой, как зазубрина на бревне, щеке. Пламенем обдало одичавшего пастуха. Даже Мустафа ухмыльнулся его скорому бегству.

Теперь он окончательно прорвал оборону скопца. Теперь он получил право приближаться к ней. Злоба кипела в нем! Кто

бы ни была она, непременно уж из господ! Смеется над ним, не более! То, что она подпустила его к себе, бесило гончего пса Мустафу. Это было так смешно!

Енджи-ханум замыслила вовсе извести скопца. И вот в очередной раз появился обнаглевший пастух. Сейчас он привел и подпаска. Подпасок в последнее время был так послушен, что пастух решил показать ему чудное видение, которым его удостоило горное божество. Поди, поди ко мне, медвежонок мой! Это кто с тобой? Нимфа, что непреходящим видением терзала его непривычный к напряжению мозг, снова позвала его к себе. Но это не видение! Божественная дева, глаза ее говорили...

«Дойди-ка, мой каплун, до замка, присмотри за работника-ми!» – сказала она.

«Пойди-ка, парень, погони стадо за холм!» – сказал он.

Она пожаловалась на простуду. Поди знай, как умудрилась она простудиться в такую жару. Велела натереть себе козьим жиром подошвы ног и ребра. Пастух вспыхнул было. Он ни от кого не зависит! Он горец, он вольный, он никогда никому не служил. Пусть бы натирал ей тот, кого она спровадила. Но ей, нежной-нежной, как годовалый козленок, невозможно было отказать.

Он начал с пяток. Еще! Еще! Что «еще»? Можно подумать, что он обязан. Хотя бы лежала спокойно. Когда стал натирать ей ребра, это понравилось ему самому. Но она ворочалась, мешала. Его сердце потеплело, как свежезаготовленный сыр. И кровь в жилах познала неведомые ему доселе теплоту и волнение. Еще больше размягчился он, натирая ей грудь. Ручищи его, ни к чему, кроме держания пастушьей палки, не приспособленные, размягчились, но как она, бедовая, мешала! Мешала, вертелась, хватала его за руки.

Пастуха уже бросало в жар, у него кружилась голова. Мозг его трещал, как ледник в полдень. Он остановился в ярости. Он обливался потом. Он старался отдышаться. И ухмылка мелькнула на глупом его лице.

«Не обманываешь ли, моя госпожа?» – спросили его глаза.

«Не бойся же, мой дурачок», – ответили ее глаза.

В ночь на годовщину коронации Николая Павловича абрেক-князь Шабат Моршаний самолично напал на укрепление Мрам-

ба, где была расквартирована одиннадцатая рота четвертого егерского полка на семьдесят ружей и три единорога. Он дерзко вступил в бой с целым отрядом, к тому же предупрежденным прапорщиком князем Химкорасием Моршанием о том, что хищник придет в это время и придет именно один. Он сражался. Когда раскалялась одна кремневка, брал другую; когда его ранило, бросался в бурный поток и, оступившись, снова кидался в бой.

И когда раскалилась его седьмая кремневка и он взял уже остывшую первую, его снова ранило, он снова бросился в реку, но встать уже не смог, потому что изменила ему, бежала из него одна из семи красных змей – змея неустойчивости. И Шабат не смог встать, и злился на бурный Кодор, и боролся с его волнами. Второй ушла из него змея ярости. И уже он был покорен, уже не боролся с волнами, и волны его понесли. И он забыл своих врагов, а они с гиком бежали вдоль реки и искали его в темноте. А Шабат думал о славе, о почестях, о суровых скалах-богах, которым всю жизнь приносил жертвы, о кроткой жене своей Инал-ипа, о лукавых городах, где его учили и держали в тюрьмах. Он видел все это, пока не ушла из него змея земных радостей. И теперь он не думал о счастье, потому что не для счастья создан человек, а для того, чтобы смертью своей разгадать тайну своего рождения. А когда покинула его змея земных болей, ему стало легко и радостно, и он вспомнил тайный предмет своей страсти, Енджи-ханум, сестру его владельца и жену его брата Химкорасия. Но покинула его змея любви, и со змеей одиночества он был одинок под пирамидальной горой Апянчей. Но покинула его змея одиночества, и река понесла его мимо горы Апянчи и несла его, пока не покинула его последняя змея – змея жизни.

Наутро сородичи бросились на поиски героя вдоль Кодора, нашли его тело, но не нашли душу. Пришли на берег женщины в белом, пели и просили непокорную душу Шабата вернуться в село. «Иди, ступая по цветам!» – просили его в песне. А когда они добрались до устья реки, то увидели над серым морем в сером небе серые облака, пронизанные серыми лучами заходящего солнца, – знак того, что война начнется и не кончится уже никогда.

Однажды, когда Берзег Гупханаша по обыкновению сидела в Латском замке у окна, глядя на дорогу, Химкораса галопом

въехал во двор. Конь скользнул копытами по лужайке, всадник вспрыгнул и, кинув поводья подбежавшему юноше, молодецкато взбежал по лестнице. Распахнув дверь, он вбежал в просторную комнату праматери и, выпятив грудь и раскинув руки, будто исполняя аджарский танец, пронесся по комнате:

– Мать, видишь мою новую медаль. Мать!

– Это ты, Химкораса? Приблизься ко мне!

Химкораса, добродушно улыбаясь, подскочил к праматери.

– Нагнись ко мне!

Уверенный, что она, как обычно, благословит его, он наклонился. Гупханаша подняла свою бамбуковую тросточку и стукнула ею по седой, как вершина Ерцаху, голове правнука.

– Что ты, Мать?

– Чем гоняться за медалями, присмотрел бы за женой!

Улыбка исчезла с его лица. Химкораса выпрямился. Он вспыхнул, смутился, задумался и быстро вышел из комнаты. В дверях он встретил Батал-бея. Батал-бей взглянул ему в глаза. Химкораса все понял и ждал ответа.

– Его зовут Хылпацвгя-йпа Клан-гирей. Он пасет коз за солнечным склоном, где поток низвергается с утеса, – произнес Батал-бей, потупившись.

Дальняя дорога ждала Химкорасу, и он, не задерживаясь в Дальском замке и даже не заехав к себе, сел на коня и ускорился.

А пастух в тот же день сорвался со скалы, и нашли его лишь неделю спустя. У пастуха были какие-то родственники, при жизни они его не знали, а сейчас, услышав о его гибели, объявились и решили сто коз из его тысячного стада отдать подпаску, а остальное забрать. А подпасок настаивал на том, что у него была с хозяином договоренность и он должен получить двести. Пришли за судом к Батал-бею. Батал-бей разделил стадо поровну на всех: подпасок получил положенные двести коз, а двум братьям отдал соответственно по двести. Таким образом, он отдал спорщикам целых шестьсот коз. Оставшиеся четыреста, естественно, принадлежали князю, совершившему суд.

В Абхазии установилось временное затишье. Химкораса ушел за хребет. Перейдя перевал, Химкораса с горсточкой ополченцев

неожиданно зашел в тыл чеченцам. Русские офицеры стали дивиться его мужеству в сражениях. Все это было подобно сну. Однако, дивясь его отваге и дерзости, все чувствовали, что жестокий и гордый горец может завтра же и свою отвагу, и свою дерзость обернуть уже против них. Все же Химкорасий Моршаний был представлен к высшей награде. Был приглашен к наместнику в Тифлис и обласкан. Лучшие дамы тифлисского двора были к нему внимательны, но он остался равнодушен. Ни к чему не лежала душа горца.

А в то же самое время Енджи-ханум пребывала в большой тревоге. Заронился в ее сердце страх перед мужем. Заронилось в ее сердце раскаяние. Вспоминая о случившемся, она вздрагивала с отвращением и, словно дразня кого-то, строила гримасы. А уж стоя перед зеркалом, корчила себе гримасы каждый раз. «Неужто я схожу с ума, мать моя горемычная!» Скопца Мустафу продала в Псху, считая, что это он раззадорил ее. Подлого пастуха и не думала жалеть. Только иногда ухмылялась, вспоминая его, словно наслаждаясь тем, что воспоминание так терзало ее. Начинала кружиться голова. Она хваталась за стену, разноцветные искры ударялись о видение, возникавшее перед ее глазами, и разбивали его. «Как я каюсь, мать моя горемычная, даже подташнивает», – думала она. Ее тошнило, кружилась голова. Даже когда ни о чем не думала. Хоть бы молочную сестру спросить, да неловко. В довершение всего то и дело тянуло к соленому. Раньше не любила. Желала кислого яблока. Без видимой причины начинала плакать. Качанья в гамаке у солнечного склона прекратились давно.

Вот уже два месяца продолжалось это состояние. Она уже догадывалась, в чем дело. Прокляла себя Енджи-ханум. Прокляла того, кто был в ней. Надо было что-то делать, надо было вызвать знающую старуху. Но не было решимости и сил, а время шло и шло. Больше прежнего стала она сонливой и чувствительной. Услыхала журавлей, они улетели. Она подошла к окну-бойнице и поглядела. Глядела и плакала. Как раз в это время муж наезжал в Лату, а домой не зашел. Она знала, что это он учинил расправу над пастухом. Пустая, одинокая, она осталась в замке, среди чужих. Разумеется, здесь все были ей послушны, но, конечно, не

из любви. К тому же Енджи-ханум чувствовала, что за стенами замка беспокойно. Тревожно было на душе Енджи-ханум.

Раз она сидела в своих покоях, полная тоски и ненависти к себе, и услышала снаружи какие-то голоса. Княгиня сначала не обратила внимания, у нее хватало своих тревог, но голоса не только не унимались, но все более усиливались. Вызвала молочного брата Химкорасы, которому в отсутствие князя было поручено охранять замок. Он явился. Енджи-ханум стало не по себе.

– Это бунт простолюдинов, они подошли к воротам.

– А чего они требуют? Что ты стоишь, понутив голову, скорее говори, в чем дело!

– Народ услышал, будто владетель с войском собирается идти на Дал. Проклинают госпожу, да наполнятся кровью их глотки, осмеливаются говорить, что не хотят ее видеть, что она накликала на них беду.

Гневно вскочила Енджи-ханум. Длинные каштановые волосы ее были собраны узлом на затылке. Соболь был накинута на плечи. Платье на ней было цвета травы. Позвякивая драгоценными бусами и серьгами, она направилась к дверям.

– Сейчас же пошли за приставом!

– Не стоит, моя госпожа. Зачем раздражать и без того раздраженный народ. Мы сами в состоянии решить свои дела.

– Тогда я сама желаю говорить с ними!

Пунцовая от гнева, она пошла по лестнице вниз, стуча деревянными каблуками по ступеням. Проходя, заметила, что люди, назначенные охранять замок, возились у бойниц с пушками, готовясь к защите. Молочный брат князя, идя рядом с ней, попутно давал распоряжения. Внизу шумели. Преодолевая головокружение, она поднялась по ступеням на стену и взглянула вниз. Еще более разгневалась Енджи-ханум. Толпа людей собралась внизу, бряцая оружием. Позади стояли всадники. Это были ачипсе и айбги, приехавшие на подмогу смутьянам.

– Выйдем, поговорим с ними. Я хочу узнать, чего им надо.

– Это опасно, госпожа. Лучше вызвать сюда послов.

Так и сделали. Поднялись трое. Впереди шел старик. Не по себе стало Енджи-ханум, когда она заглянула в их мрачные глаза. Она смутилась, но злость была сильнее. Оглядела послов. Княгине были обращены их лица, исхудалые, полные тревоги и

горя. Надо было говорить. Но она не знала, что сказать. Вдруг на глаза госпожи навернулись непокорные слезы.

Высокая, ослепительная стояла Енджи-ханум, платье ее, цвета травы, облегло стан, и уже было заметно, что она в положении. Старик, стоявший впереди, провел рукой по бороде и взглянул на Енджи-ханум, в которой боролись гнев с желанием разрыдаться. У старика изменилось выражение лица.

– Да перейдут на меня твои боли, княгиня, – сказал старик.

Слезы медленно потекли по щекам Енджи-ханум, но она не закрыла лицо руками, а продолжала стоять прямо, высоко подняв голову и сжав кулаки.

– Госпожа, мы не хотели тебя огорчать. Но твой брат снова решил нас разорить. И мы не ведаем почему, – заговорил старик.

Енджи-ханум обернулась к молочному брату мужа. Она уже не плакала. Молочный брат понял ее.

– Почтенный Бадра, – сказал он, обращаясь к старику. – Госпожа, невеста наша, просит позволения заговорить при вас, старших.

– Пусть говорит, – кивнул старик.

Енджи-ханум хотела показать им свою власть, ведь по их вине она расстроилась, более того – расплакалась, явив им свою минутную слабость. Она собиралась говорить с ними резко. Но в это время ток пробежал по ее телу, она вдруг умиротворилась, и все существо ее тут же исполнилось ликования. В это мгновение в ней зашевелился ребенок, что чудесным плодом зрел в ее утробе. Что-то сладкое и слезное наполнило ее сердце, и снова ток пробежал по ее телу. Засияла Енджи-ханум. Затем уже само заговорило ее умиротворенное существо:

– Мне, по обычаю, не следовало бы говорить в вашем присутствии, но, если простите и позволите, вот что скажу: я не верю, что мой брат желает гибели и разорения подвластного ему народа.

Послы вздохнули. Этот вздох означал, что не будь она женщиной и не будь в положении, то они стали бы возражать. Но Енджи-ханум видела и слышала не их, она внимала и покорялась своему неожиданно умиротворившемуся существу. И при этом прислушивалась, не шевельнется ли еще раз ребенок, поспевавший в ней чудесным плодом.

– Но если бы это даже было так, все же я уже принадлежу не брату. Я желаю достойно служить народу, среди которого мне выпало жить, народу, имени которого даже не смею произносить. Поверьте, что к этому направляю я сердце и помыслы.

– Будь ты счастлива, дочь рода Чачба! – воскликнули послы.

Молочный брат Химкорасы радостно и удивленно глядел и слушал Енджи-ханум.

– И если впредь будет радость – хочу я радоваться с вами и среди вас, покорная и любя свою судьбу. Но если боги будут злее и нашьют беду, я хочу горевать и страдать с вами, когда буду, вашей милостью, достойна этого.

– Будь благословенна, дочь рода Чачба, – сказали послы.

И, не говоря более ни слова, они собрались повернуться и уйти.

Но Енджи-ханум была на подъеме.

– Люди! – воскликнула она, не узнавая своего голоса. – Вы не должны так уходить. Господина нашего дома нет, но тут находится его молочный брат. Входите к нам, добро пожаловать.

Послы остановились в нерешительности. Они не предполагали такого оборота дела и не знали, что ответить княгине.

– Входите в наш дом. Я видела, что с вами гости издалека. Пусть не думают они, что белый замок Уарда закрыт! – и затем, обернувшись к молочному брату мужа: – Открывайте ворота!

Сказав это, она пошла вниз, стуча каблуками по ступеням.

Молочный брат Химкорасы удивился было – ведь госпожа никогда не говорила с ним так властно, – но тут же, не перечая ей, кликнул бойцов. Ворота со скрежетом распахнулись настежь. Послы в сопровождении молочного брата Химкорасы вышли к народу, и гости хлынули в ворота. С бойниц пальнули пушки, выпуская белый дым. Но эти выстрелы извещали о пире.

В этот день в белом замке Химкорасы, сына Дарукова, открыли все двери. Распечатали кувшины, в которых хранилось вековое вино. Воины, которые должны были оборонять крепость, засучили рукава, чтобы обслужить гостей. Закололи быков. Сама госпожа, блистая красотой, вышла прислуживать гостям, но разве допустили бы это ачипсе и айбги, знавшие место встречи горного орла с морским орлом. Пили из кубков за здоровье Химкорасы Маршана, владельца белого замка Уарды. Пили за его прелестную супругу Чачбу Енджи-ханум. Пили за Абхазию, синее море между

морем и горами и никогда не знавшую рабства. И о том, что это не вымысел, рассказывали мне Хатхуат, Амзац и Шунд-Вамех.

– Мы пустили в крепость вооруженных людей, госпожа, но уйдут ли они мирно? – сказал молочный брат Химкорасы. – Их много, а у меня воинов мало.

– Нет, брат господина нашего, горцы не переступят через хлеб и соль, – ответила ему Енджи-ханум.

Так оно и случилось. Гости попиروвали и ушли довольные, славя поступок подруги жизни Химкорасы, сына Дарукова. И прославилась Енджи-ханум и стала в чести у народа.

Но сама-то она не могла преодолеть свою боль и тревогу. Теперь, когда она уверилась, что чего-то стоит, еще больнее стало ей ее падение. Как бы она встретила мужа, когда он, усталый, вернется издалека? Он взглянул бы на нее, стройную, в платье цвета травы, и смущенно она опустила бы глаза. Ведь сейчас она могла бы вернуть его крови потерянное мужество. С какой бы радостью она понесла ему навстречу радостную весть...

И здесь обрывались ее мечты. И становилось еще хуже. И кружилась голова. Она наложила бы на себя руки, если бы при этом погибала она одна.

И пока она терзалась, вернулся муж. Печальный, поднялся он по лестнице, через семь покоев пронес он свою усталость, мечтая, как и все мужчины мира, чтобы женщина стояла у очага и ждала его возвращения. За семью покоями он увидел свою жену. Она стояла у очага в платье цвета травы. Заметив ее в конце просторных покоев, ослепительную, статную, он поднял свое утомленное лицо. Белая бурка, которую он волочил за собой, выпала из рук.

И тогда заметила Енджи-ханум, как схож ее супруг с несокрушимой древней крепостью. Стоял он, обветренный и твердый.

Она отбросила каминные щипцы. Подбежала к нему, подбежала, уронив на ходу золоченые башмаки на деревянных каблуках, упала перед ним на колени, увлажняя слезами его шершавые руки и целуя их. Забывшись, она целовала его руки, стоя перед ним на коленях, и слезно про себя просила его, чтобы он помог ей омыться в чистоте, наполнившей ее сейчас, и чтобы он все понял, все простил не земным прощением, что не более как избавление от наказания, а неким высшим прощением, которое просят у божества.

Дрогнуло сердце воина. Никогда до сегодняшнего дня женщина не становилась перед ним на колени, не целовала его рук. Кроме того, Химкораса, воспитанный на благородных правилах, смущался женских слез. Он не знал, как поступить и что сказать.

Она не заметила, как помрачнел его взгляд. С отвращением взглянув на распростертую перед ним жену, он захотел наступить на нее и придавить ее к каменному полу. Потом схватился за кинжал. Но в этот миг подул сильный ветер и настежь распахнул все ставни. И в ушах просвистели вырванные из тишины шумы. И он увидел, понял душой и телом, что, опьяняя, словно крепкое вино, пошло по жилам, кружа голову, неожиданно вернувшееся к нему мужество. И понял он, что оно вернулось навсегда. И ему показалось, что он вдруг пробудился от колдовского сна. Он смягчился, растрогался, но рука медленно вынимала кинжал из ножен.

Ветер был сквозным, он стучал ставнями. Но это был не просто ветер. Понимал воин, что это собирается и возвращается его мужество.

Еще медленнее выходил кинжал из ножен.

На берегу Кодора на красивом холме, покрытом зеленой травой, стояла крепость цвета воска. Не была бы она столь величава и приподнята, не будь расцвечена травой поляна, на которой она возвышалась. В одном из покоев крепости, такой же сильный, такой же несокрушимый, цвета воска, литой и твердый, стоял мужчина-воин. У ног его, разбросав полы платья цвета травы, словно не на коленях перед ним стоя, а, напротив, вознося его, стояла его жена.

Ветер был сквозным, он стучал ставнями. Внизу, ворочая огромные валуны, шумел и грозился буйный Кодор, кипел.

Так я решил закончить одну из многих былей, напетых мне под апхярцу и аюма Хатхуатом, Амзацем и Шунд-Вамехом. Может, скажут мне, что чего-то недосказал тут я, забытый смертями, что какие-то нити рассказа своего оборвал. Но впереди еще долгая жизнь и пустая, и я расскажу еще обо всем.

И еще не окончена история ревности и страсти воина и прелестной его жены, и много историй известно лишь мне одному, потому что одного за другим схоронил я последних свидетелей

бурной, древней и волею судеб угасшей жизни нагорного Дала. Похоронил я и Хатхуата, столетнего старца, и сына его Амзаца, и довольно еще молодого Шунд-Вамеха. Похоронил певцов и не жалею о них. Только вот унесли они с собой память о Дале, а когда не будет и меня, останутся только эти разрозненные писания, которые каждый может побранить или поправить по своей прихоти, потому что не придут дальцы его судить и карать, не придут, звеня копытами коней по кремню, наводя, как когда-то, страх, свирепые, справедливые, золоченые, оборванные. И если кто скажет: это пусть будет не так, а вот так, то я согласно кивну, ибо не просвещен я, забытый смертями, только научился кое-какому письму, будучи заложником в горской школе Сухумкалэ. И нет свидетелей. Покинули они урочище Дал, завещав нам прийти сюда ровно сорок лет спустя, справить по ним тризну и жить здесь; покинули древние пепелища, не забыв перекрыть все водные источники войлоком, захоронить и спрятать родники, и мы пришли сюда и живем здесь неохотно, проклиная этот край и не зная названия мест.

СУДЬБА ЧУ-ЯКУБА



I

Как-то раз убыхи собирались в поход, и каждое село выставляло одного бойца с десяти дымов. На собрании в Сочи предводителем был назван знаменитый Адаго Берзег Саат-кери. В назначенный день на сборы явились два брата – Якуб и Ибрагим.

Предводитель обратил внимание на братьев и спросил, кто они.

– Это сыновья несчастного Коблуха из рода Чу, – ответили ему.

– Почему же отец прислал их, безусых, а не явился сам? – спросил Адаго.

– Отец их объелся простокваши и свалился, – ответили ему нукеры. Но Адаго не понравился тон нукеров, и он холодно посмотрел на них, потому что братья выглядели молодцами.

– Почему отец прислал вас, ведь он должен был явиться сам? – спросил Сааткери.

– Отец наш на охоте ранен медведем и не может ходить, – ответил предводителю Якуб, старший из братьев.

– При вас ли оружие и кони? – спросил Адаго Сааткери.

– Есть при нас отцовское оружие да пара жеребцов, что доведут нас туда и обратно, – ответили юноши.

Адаго понравились братья.

– Древний убыхский обычай таков, что не берут в поход мужчину, который не успел жениться или у которого сына нет. Нас мало, а врагов наших много. Если погибнет мужчина – для нас большой урон, а если этот мужчина к тому же бездетный – то урон вдвойне, ибо вместе с ним погибнут еще не родившиеся убыхские мстители, – сказал Адаго Берзег Сааткери.

Юноши смутились и не смели ответить, но через посредников просили предводителя не препятствовать им, не заставляя их вернуться обратно.

– Что скажут о нас старухи Мацесты, если мы понуро возвратимся назад? Старухи Мацесты скажут: «Вот вышли юноши добывать славу с отцовским сердцем, да вернулись с материнским». Пусть не бесчестит нас предводитель, – просили они.

Задумался старый Адаго и внял просьбе юношей. Он спросил старейшин, и старейшины тоже ответили ему:

– Возьмем их, пусть покажут себя. Отец их отвагой не отличался, но, кто знает, может, из них что-то получится. Воинами не рождаются, а становятся на войне.

Адаго решил, что достаточно одного из братьев. Он взял старшего, а младшего отправил домой.

Отряд из двух тысяч всадников шел осаждать укрепление Хосту. Якуб, старший из братьев Чу, прислуживал старому Адаго и учился у него воинскому мастерству.

Среди храбрецов, которые первыми ворвались в укрепление, оказался Якуб. Пуля попала ему в бедро и прошла насквозь, не задев кости. При отступлении юноша промыл рану, затем, отодрав от бревна кору, нашел муравья и впустил в нее, чтобы муравей выел заразу. Заткнув рану, он перевязал ее тряпкой и никому ничего не сказал. Но это было замечено.

Так в первом же походе отличился убыхский юноша Якуб из рода Чу.

2

Вскоре Якуб шел в поход уже во главе десятка бойцов. При взятии гагрских теснин он с горсткой людей перешел вброд бурную Бзыбь и напал на врага с тыла. С этого дня он стал сотником. Отныне его личное имя произносилось вкупе с родовым именем и звали его не Якубом, а Чу-Якубом.

А в следующем походе, когда убыхи послали в Абхазию десять тысяч конников, Чу-Якуб был назван одним из тысячников. Было ему тогда от роду двадцать пять лет.

Берзеги, самый знатный и влиятельный род среди убыхов, были уязвлены этим. Один из Берзегов, а именно Махматуко, сын старой Хании, сказал в меджлисе:

– Может ли смириться сердце убыха с тем, что во главе воинов, идущих в огонь и презирающих смерть, поставлена голь, вскормленная объедками от наших амбарных крыс?!

Эти слова вызвали не только негодование в душе Чу-Якуба, но и большой спор в меджлисе.

– Не пристало тебе, Махматуко, говорить такое, – возразили ему. – Ты хочешь опорочить лучших из наших юношей. Те, которые якобы вскормлены объедками от ваших амбарных крыс, кровью доказали, что они верные сыны родины, в то время как некоторые князья прятались в Стамбуле, чтобы сохранить свой род.

– Нет, не тем защищать наши вольные берега, чьих отцов не пускали в меджлис, – сказал кто-то.

– Самый многоречивый в собрании оказался в бою скромнее черкесской невесты, – возразил другой.

Якуб был потрясен. В свои двадцать пять лет он был трижды ранен в боях. Но самую большую рану нанес ему сегодня Берзег Махматуко, сына которого он когда-то спас от позорного плена.

– Не надо ссориться из-за меня, народ, – произнес Чу-Якуб. – Слова, которые я услышал, таковы, что мужчина обязан мстить обидчику, но не время сейчас для распрей. Пусть простит меня народ, что я смею говорить о себе, но я никогда почестей не искал и всегда стоял там, где народ полагал меня нужнее. Сегодня, если позволите, я сложу с себя обязанности даже сотника и встану в ряды простых бойцов.

Он сказал это и вдруг заметил, что народ облегченно вздохнул. Никто не хотел ссор перед походом, и чести Чу-Якуба народ предпочел мир на совете. Якуб действительно не стремился в начальники, но был очень уязвлен. Он покинул меджлис и пошел прочь.

Не успел он выйти, как услышал незнакомый ему голос. Незнакомец защищал его. Но Чу-Якуб не стал слушать и ушел домой. А вечером к нему в дом пришли старейшины и просили от имени народа выступить во главе тысячи.

Позже он узнал, что собрание повернул тот незнакомец, чей голос он услышал уходя. Сколько ни спрашивал Якуб, никто не знал того человека. Было странно, что в такую решительную

минуту преданность Чу-Якубу явил незнакомец. Но размышлять было некогда. Поход был трудный, опасный, и у тысячника было много забот.

Чу-Якуб отличился в бою. Слепцы сложили о нем песню. Старейшины поговаривали о возведении его рода в дворянство. Но неожиданно был похищен и продан в рабство в Турцию его брат Ибрагим.

3

Чу-Якуб тогда жил уединенно, увлекаясь горной охотой, и отказывался от участия в походах с целью грабежа, часто предпринимаемых неумными Берзегами. Горным путем по лесному бездорожью и снежным хребтам или морем на гребных судах и легких парусниках Берзегии, преодолевая расстояния, внезапно нападали на какое-нибудь селение, грабили его и брали людей в плен. Пленных чаще всего продавали за море, но если было чем занять их дома в условиях военного времени, когда пошли на убыль ремесла и хозяйственные работы, то пленного оставляли, лишив его родового имени и спрятав прядь его волос, как этого требовал вековой обычай. И пленник не мог убежать, покуда его волосы оставались в руках у хозяина, ибо в волосах – его судьба и волосы – это конец нити, за которую хозяин держал его, куда бы он ни попытался убежать. Волосы были залогом его рабской покорности, каким бы отчаянным джигитом ни был он до плена.

Это были домашние рабы. Раб состоял из трех начал: кожа и кости, сотворенные Богом, принадлежали только Богу; мясо, а вместе с ним и сила принадлежали хозяину, ибо и мяса и силы не стало бы, перестань хозяин кормить раба; сам раб владел только своей жизнью, единственным, что он мог отобрать у хозяина.

Плен грозил тогда каждому независимо от его знатности и известности. А тут еще приближался Рамадан, и вскоре в Анапу и Трапезунд должны были прибыть мамелюки из Египта, чтобы купить новую партию кавказских юношей для своей гвардии. В такие времена становилось тревожно на всем побережье от Батума до Керчи. Похитители юношей спохватывались только к самому приезду мамелюков и начинали спешно набирать товар. В эти дни в общинах старались держаться вместе, гуляли группами. Дети играли только под присмотром вооруженных мужчин.

Чу-Якуб поехал на выгон, чтобы забрать домой младшего брата, который одиноко пас там коз. Но он опоздал. Брата на месте не оказалось. Не мешкая, Якуб разослал своих людей ко всем прославленным джигитам края. Наконец следы брата объявились в Трапезунде. При сопротивлении Ибрагим потерял глаз и потому не был куплен мамелюками и не был увезен в Каир.

Тогда Чу-Якуб отправился в Трапезунд на своем паруснике и пришел на невольничий рынок. Следуя обычаю, прежде чем войти в рынок, он купил у евнухов, торговавших справа от ворот, голубя и выпустил на свободу.

Как только он вошел и выкликнул имя брата, тотчас отозвалось с полсотни парней разного возраста, выставленных на торг. Каждый хотел быть купленным горцем, чтобы влачить неволю поближе от родных мест. Но у Якуба едва хватило средств, чтобы выкупить брата, за которого люди Ахмед-бей потребовали столь высокий выкуп, что даже черкесский мальчик пяти-шести пядей ростом не мог стоять так дорого. Ибрагим же был выставлен на позорный торг потому, что у него был изъян и его не смогли сбыть с рук, но он был брат Якуба, и Якуб не мог торговаться. Он выкупил брата и уже хотел отправиться с ним домой. Но бей Ахмед, раздосадованный тем, что убух добился своего, решил проучить его и предложил сыграть с ним в шахматы. Бей выставил прелестную черкешенку из рода Хан-Гиреев, а Якуб в случае проигрыша отдавал свой парусник. Трудно было тягаться молодому горцу со старым беем Ахмедом, который был обласкан султаном, имел дворцы в Трапезунде и огромные угодья в его окрестностях, а также был прославлен в боях, носил звание паши, однако при этом горец лучше знал законы хитроумной игры, и в конце концов победа, а вместе с нею и черкесская княжна достались ему. И Якуб, счастливый, поплыл на Кавказ с братом и девицей из рода Хан-Гиреев. «Согласна ли ты стать снохой моего отца и матерью моих детей?» – спросил Якуб княжну уже на паруснике. В знак согласия она опустила ресницы со скромностью, которой черкешенки славилась в веках не менее, чем красотой.

Прежде чем вернуться домой, Якуб и Ибрагим повезли девицу в дом ее отца. Их парусник причалил неподалеку от имения князя. Княжна прибыла в родительский дом как раз в день, когда

родня, отчаявшись ее найти, устроила по ней поминки и многочисленные плакальщицы причитали над ее одеждой.

Мужчины пошли навстречу спасителям княжны, на ходу переворачивая газыри с траурной черной стороны на радостную белую.

Князь Хан-Гирей подарил Чу-Якубу часть своего табуна, а мать хотела усыновить спасителя дочери, по обычаю дав ему прикоснуться к груди. Якуб попросил не усыновлять его. Он обещал вернуться через месяц за дарованным табуном. Раньше чем через месяц он прислал сватов и не взял коней.

«Пусть лучше моя дочь станет женой безродного бойца, чем именитого бездельника», – рассудил князь.

Поодаль от четырехугольной хижины отца Якуб выстроил для себя и для своей жены конусообразную хижину – амхару. На свадьбе Берзеги преподнесли Чу-Якубу решение в скором времени произвести его в дворяне. Но весь народ знал, что они завидовали славе Чу-Якуба и затаили вражду.

4

Однажды незнакомый всадник подъехал к воротам Якуба и окликнул его по имени. По обычаю того смутного времени лицо всадника было закрыто башлыком. Якуб вышел навстречу гостю и стал звать его в дом. Но всадник отказался спешиться.

– В это воскресенье придут к тебе люди от Берзегов и станут звать тебя в морской поход на Туапсе. Но ты не соглашайся, потому что они задумали тебя погубить, – сказал Якубу гость.

И с этими словами, не давая Якубу опомниться, ускорился.

«К чему бы это? – стал думать Чу-Якуб. – Правду мне сказал или нет человек, чей голос я уже однажды слышал? Может быть, он решил испытать меня, прослышав, что Берзеги собираются на Туапсе? Или он как друг предупредил меня об опасности, но, остерегаясь Берзегов, пожелал остаться неизвестным?»

Долго он размышлял. Подумал было срочно куда-нибудь уехать. Тогда, если придут люди, отец и брат скажут, что его нет дома. Но тут же отверг это храбрый убых. Он решил ждать, все предоставив воле случая.

Пришло воскресенье. Незнакомец оказался прав. Берзеги прислали к Чу-Якубу людей, оповещая его, что в такой-то срок они собираются в поход и хотят, чтобы он шел с ними.

Якуб пригласил послов в дом и заколол для них быка. Проводив их, он сел и опять стал думать.

– Отчего ты задумчив, хозяин мой? – спросила его дочь Хан-Гиреев, заметив, что муж ее хмуро бродит по двору.

– Задумчив я вот почему, – сказал Якуб и открыл ей свою заботу.

– Егей, и сны у меня были тревожные. Не ходи с ними, – стала просить жена.

Но разве по женскому совету действовал Чу-Якуб?

– Что у тебя за тревога, мой старший брат? – спросил его Ибрагим. Якуб открылся и ему.

– Егей, мой старший брат. Берзеги не дают тебе покоя! Не ходи! – горячо заговорил младший.

– Что вы там шепчетесь, что у вас за тревога? – спросил братьев отец.

– Шепчемся мы вот почему, – сказал Якуб. – Ищут моей смерти Берзеги. Давно ли они оскорбили меня, а теперь зовут в поход. Между тем до меня дошли слухи...

Но отец Якуба Коблук благодаря сыну пользовался почетом в селе и уже вошел во вкус. К тому же старик всегда почитал Берзегов, и ему льстило их внимание. Неожиданно для сыновей он закричал:

– Как же ты можешь, послушавшись какого-то бродяги, не пойти с теми, кто зовет тебя добывать славу? Старухи Мацесты скажут, что мой сын трусил!

«А может быть, и незнакомца подослали Берзеги, чтобы искусить меня?» – подумал Чу-Якуб.

– Ты прав, отец. Зря я вас утомил, – только и сказал он.

И, не позволив никому отговаривать себя, он в назначенный день отправился в путь. «Я пойду с тобой, старший брат!» – попросил младший, но Якуб приказал ему вернуться.

– Больше остерегайся выстрела сзади, а не спереди, старший брат! – просил его Ибрагим.

Услыхав это, разгневался их отец Коблук.

– Чтоб тебе лихо было! – воскликнул он. – Как ты смеешь предлагать старшему брату, чтобы он не доверял друзьям, а во-евал, поминутно оглядываясь!

– Егей, где же до сих пор были мы с тобой, храбрецы! – в сердцах сказал Ибрагим отцу.

– Не дерзи отцу, парень! – Чу-Якуб улыбнулся и поскакал со двора.

Небольшой отряд отплывал на гребных судах и фелюгах в море. Многие возражали против того, чтобы двинуться в этот день, потому что вдалеке на море собирались тучи. Но ветер был южный, и предводитель отряда Хании, сын Махматуко, приказал поднимать паруса. Какое-то время море было спокойно, и паруса медленно двигались к западу, но вскоре ветер усилился, и путешественникам пришлось причалить в устье реки Шахе. Отгребая гальку, намытую в устье реки, убыхи вели фелюги в реку с ловкостью, не раз описанной путешественниками, отряд стал разбивать шатер, чтобы ждать погоды здесь. С самого начала Якубу не нравилось поведение некоторых спутников: они были то подозрительно приветливы, то отводили глаза. Якуб помогал устанавливать шатер, но был настороже. Однако все же щелк ружейного затвора раздался сзади него неожиданно. Якуб бросил кол, который держал в руках, и резко обернулся. Схаплух, молочный брат Махматуки, держа в руках ружье, давшее осечку, глядел ему в глаза нагловатым взглядом. Одним прыжком Якуб очутился возле него и, выхватив у Схаплуха ружье, с силой ударил его прикладом по голове. И в это время в него выстрелили. Якуб понял, что ранен, но, не растерявшись, еще раз прыгнул и лег за вытащенную на берег фелюгу. Острая боль отдалась в левом боку. Якуб перевернулся на здоровый бок и стал стрелять. Один за другим взвились дымки от его кремневого ружья.

Другие воины, увидев, что нукеры Махматуки стреляют в своего, с криком вскочили и остановили злодеев. Чу-Якуб ушел, паля в воздух, чтоб пуля не угодила в невиновного, и не зная, кого ранил и кого убил.

Берзег, ходившие за славой, вернулись с убитым Схаплухом и раненым Махматукой. Но Чу-Якуб опередил их. Он увез семью в Бзыбь, а сам бесследно исчез.

Махматуко умер, так и не оправившись от полученной раны. Сыновья его стали разыскивать Чу-Якуба, но не нашли. Тогда они бросились за его родней, но и родственники были укрыты в недоступных местах.

Мехмет-Али... Впрочем, этот полководец вряд ли в наше время так известен, как в прошлом столетии, когда его имя часто мелькало на страницах европейских газет и о нем писали Мери́ме, Дюма и лорд Вольнэй. А был он когда-то владыкой судеб и соперничал с державной Турцией, Блистательной Портой. Так что мне следует рассказать о нем вкратце.

Во время экспедиции Наполеона в Египет султан отправил на помощь мамелюкам Мехмета-Али, командовавшего албанской гвардией турецкой армии. Мамелюки кавказской династии, сотни лет правившие в Египте, лишь формально признавали протекторат Турции, но помощь от нее в борьбе с неистовым франком приняли. В союзе с Мехметом-Али и англичанами мамелюки изгнали французов из Египта. Албанская гвардия выполнила свою миссию, однако Мехмет-Али не торопился в Стамбул с триумфом и отчетом. Вскоре с помощью Мехмета-Али и его гвардейцев мамелюки избавились и от англичан, что опять дало повод Мехмету-Али отбыть с гвардией в Стамбул. Между тем мамелюки, еще недавно совершенно независимые, неохотно терпели присутствие в каирском замке самого турецкого паши. И вот при поддержке мятежного албанца – внимательней, читатель! это Восток! – был изгнан сам паша, последний представитель Турции в Египте.

Турецкий султан был бессилен помешать этому. Чтобы как-то выправить положение, он назначил пашой в Египте самого Мехмета-Али. На первых порах Мехмет-Али это звание принял, желая выиграть время и упрочить свое положение. Но полномочия паши в Египте в условиях всесияния мамелюков едва не превышали полномочия консула. Честолюбивые же замыслы албанца простирались много дальше каирского замка.

Вся полнота власти в Египте снова досталась мамелюкским беям, которые разделили между собой государственные посты и богатства, предоставив Мехмету-Али довольствоваться предложением пышных проводов. Празднуя свои победы, мамелюки мучили простой народ – египетских феллахов. Народ поднял мятеж. Это победоносное восстание возглавил Мехмет-Али.

Происходило это таким образом. В один прекрасный день, а именно 1 марта 1811 года, Мехмет-Али пригласил в каирскую

крепость мамелюкских беев, прося их принять участие в параде. Мамелюки в праздничных одеяниях появились под крепостью, а народ сверху любовался ими. Но как только шедший впереди подошел к воротам, ворота захлопнулись, а с крепостных стен народ открыл огонь по мамелюкам. Погибли все мамелюки, только один из них прыгнул в пропасть, где конь разбился, но всадник спасся и ушел. Это место до сих пор арабы называют Прыжок мамелюка.

Таким образом, в течение какого-нибудь часа Мехмет-Али стал самым могущественным и богатым египтянином. Он вознамерился потягаться силой с самой Портой. Свободный от косности в военных делах, он строил армию и флот по европейскому образцу. Боевые корабли Египта вышли в море. Мехмет-Али трижды наголову разбил турецкую армию. Только вмешательство России, не желавшей иметь у южных рубежей сильный Египет вместо слабеющей Турции, спасло Стамбул от падения, и Мехмет-Али до конца так и звался наместником султана в Египте.

В 1831 году Мехмет-Али призвал врагов Турции встать под его знамя. И очень скоро среди его военачальников снова появились горцы Кавказа.

В Сирии армия Мехмет-Али, которой командовал его сын, потому что полководец к этому времени уже был немолод, попала в окружение. У солдат истощились запасы муки. Но тут один из воинов изготовил жернова и показал кавказский способ пользования ручной мельницей. Арабы дружно убрали пшеницу и намололи муки, ибо армия была окружена не где-либо, а на полях зрелой пшеницы. Получив муку, армия насытилась, ожила и вырвалась из окружения.

Юноша этот был, как вы, вероятно, догадались по логике повествования, убух Чу-Якуб.

6

Я начинаю чувствовать, что история, которую я рассказываю, и без Египта может показаться неправдоподобной некоторым читателям. Хотя любой человек, которому приходилось рыться в скупых рапортах офицеров и чиновников, служивших на Кавказе в период расцвета джигитства, может подтвердить, что

подобные судьбы были тогда почти повсеместны. Но между тем временем с его правдивыми летописцами и нашим лежит гора бульварной и героико-приключенческой ерунды, и поэтому, хоть и не хочется сходить с пути спокойного повествования, придется пойти на уступку маловерам и подтвердить свой сюжет строгим документом. Мне доставляет больше удовольствия скрещивать документ с народной молвой, чем просто излагать вымышленные истории.

Однажды в руки мне попал очерк об убыхах, принадлежащий перу известного французского мифолога и лингвиста, знатока кавказских языков Жоржа Дюмезиля. В очерке я встретил имя, уже известное мне по преданию, которое я когда-то записал и с которого и начну это отступление.

Предание рассказывает о происхождении клича «Чыу!», или «Чоу!». До махаджирства, рассказывали мне, в Убыхии был род Чу. Род этот крестьянский, однако с ним должны были считаться даже самые знатные.

Когда убыхи отправлялись на войну и все уже стояли в конном строю, Чу, по обыкновению, опаздывал и приходил последним. Он занимал свое место, предводитель давал знак, что прибыл Чу и можно трогаться, и тогда по рядам пробегало короткое и быстрое «чу». Даже боевые кони стали воспринимать этот звук как сигнал трогаться. Так появилось междометие «чу», с которым до сей поры джигиты пускают своих коней вскачь.

Я вспомнил эту легенду, когда читал Дюмезиля. Он писал:

«Два села в Маньясе, где еще говорят по-убыхски, – Хаджи-Якуб-Кейю и Хаджи-Осман-Кейю, – были основаны членами семьи Чу. Род этот не был дворянским, но в последние годы независимости стал играть большую роль среди свободных простолюдинов... Главами семейств были двое юношей, Ибрагим и Якуб. О первом Джемиль (внук Якуба) ничего не знает и полагает, что Ибрагим погиб еще на Кавказе, до переселения. А Якуб, любитель приключений, оказался среди многочисленных горцев Кавказа, которые откликнулись на призыв Мехмета-Али, когда тот поднял в Каире бунт против султана. В победоносной кампании, окончившейся Кютахьяским договором 1833 года, Якуб отличился своей храбростью и умом. Однажды, когда в

Сирии среди полей зрелой пшеницы армия умирала от голода, Якуб, знавший применение ручной мельницы на Кавказе, научил египтян ею пользоваться, и это дало возможность обеспечить каждого воина мерой муки. Благосклонность Мехмета-Али к Якубу была столь велика, что лишь ему одному правитель Египта доверял охранять свой сон. После благополучного завершения войны Якуб был осыпан в Каире почестями. Мехмет-Али подарил ему великолепный дворец. Слух о возвышении Якуба распространился по всему Кавказу, и Берзеги, знатнейший и влиятельнейший род среди убыхов, отправили своих людей в Египет. Эти люди смогли лишь подтвердить достоверность слухов. Тогда Берзеги стали упрекать Якуба в том, что он находится вдали от Убыхии, когда ей угрожает гибель, и обещали дать ему то высокое положение, которое соответствовало бы его нынешней власти. Тоскуя по родине, Якуб уступил их настойчивости и попросил у Мехмет-Али отставки. Когда Мехмет-Али понял, что Якуба не удержать, он дал ему корабль, нагруженный сокровищами, тканями и оружием. У Якуба, прибывшего на Кавказ, было столько добра, что потолочные балки корабля, к которым все было подвешено, прогибались от тяжести. Еще до Каира Якуб часто ездил в Стамбул. Однажды в Стамбуле он играл в шахматы: выигравший должен был получить женщину от проигравшего. Он выиграл и вернулся на Кавказ с родной бабушкой Джамиль-бея...»

7

Итак, в суровую ткань жизни горца неожиданно вплелись сочные нити Востока. Убегая от мести, убыхский юноша Чу-Якуб оказался в Египте, неожиданно возвысился и пробыл там около или более пятнадцати лет. Но в конце концов, побежденный тоской по родине, вернулся в Убыхию.

Сразу же по прибытии Чу-Якуб созвал меджлис и отдал ему все свое имущество. А для себя потребовал, чтобы он и весь его род были произведены в дворянство. Совет был согласен дать имя Якубу и его брату, но не всему роду Чу.

– Не забывайте, что я был вельможей в огромном египетском королевстве. Разве это не выше вашего дворянства?! – сказал Чу-Якуб.

– Оно-то так, отважный Чу-Якуб. Но в Египте власть издревле в руках рабов-мамелюков. Там так заведено. А у нас, убухов, чистая кровь, и она должна оставаться чистой, – сказал князь Дечен. – Ты же, Чу-Якуб, и мужеством и благородством поднялся выше многих князей и дворян, потому мы ставим тебя и рядом с собой, и выше себя. Супруга твоя из рода Хан-Гиреев, так что и потомки твои будут кровью и сердцем созданы для великих дел. Но если мы возвысим твоих сородичей, а они тебе не ровня, то однажды, когда нас уже не будет, наши потомки станут вступать в родство с их потомками. Не может убухская знать, самая чистокровная на Кавказе, испортить свою кровь.

– Почтение сказавшему эти слова! Слыхал я, что предок Деченов приехал как-то торговцем от генуэзцев и, оставшись здесь, стал и дворянином и князем. Верно ли это?

– Так говорят, чтоб собаки вырыли из земли его кости, – произнес недовольный Дечен.

– Разве сокровища, привезенные мной, не дороже его безделушек?

– Не стоит тебе упорствовать, отважный Чу-Якуб, – заговорил другой. – Часть твоих богатств – плата за кровь Берзегов, которую ты когда-то пролил. А на другую часть мы купим оружие, чтобы защищать нашу вольность. Одна родина и у тебя и у нас всех. Прими дворянство, и твоим сородичам потом станет легче достичь этого.

– Нет, народ! Я не могу отказаться от родичей, которые когда-нибудь похоронят меня. Останусь вольным крестьянином. Да не ведает и впредь позора род Чу, как не ведал его до сих пор. Такова моя воля, – сказал Чу-Якуб.

Видя непреклонность Чу-Якуба, собрание решило, что он останется вольным крестьянином, но будет восседать с дворянами как равный. Назначили ему жалованье, которое могло прокормить его и его семью, выделив ему земли. Еще больше Чу-Якуб прославился среди убухов. И потому, когда его старшему сыну приглянулась девица из семейства Берзегов, те не смогли ему отказать.

– О, Якуб, будь не только узденем, но и князем, но оставь ты несчастных своих сородичей! – снова стали уговаривать Якуба Берзегу, когда сын Якуба стал их зятем.

– Я и без вашего князь! – сказал Якуб.

Однажды, увлекшись охотой, Якуб не заметил, как заблудился. Вечерело, когда он оказался на аробной тропе неподалеку от незнакомого села. Несмотря на неудачную охоту, он ехал в хорошем расположении духа.

У обочины стояла корова. Она стояла так близко от откоса, что еще шаг-другой в сторону – и полетела бы с обрыва.

– Пшейт! – прикрикнул на корову Якуб, чтобы отогнать ее от опасного места.

Корова обернулась к нему и вдруг замычала. Якуб обомлел. Как и все убыхи, он был бесстрашен, но суеверен и боялся дурных примет. Не мешкая, он спешился, подбежал к корове и вырвал клок шерсти. Но корова, вздрогнув, не смогла удержаться и полетела в ущелье. Растерянный и смущенный Якуб постоял у края ущелья, не зная, что делать дальше. Корова погибла, идти в село и расспрашивать, чья она, было ему недосуг, да и не к лицу.

Подавленный, он поехал прочь. Он поспешил домой, вдруг почуввав недоброе, и уже заметно въехал в заповедную Мацестинскую чащу. Он пробирался по лесу, торопя коня, но не видел дороге конца. То он поднимался по склону, то спускался в овраг, но когда прошел день пути и его настигла темнота, понял Чу-Якуб, не знавший устали, что напрасно кружил в чащобах Мацесты – он заблудился в знакомых с детства местах. Чу-Якуб скинул бурку и сел под грабом, чтобы спросить у братьев-звезд, как найти дорогу из темного леса к селеньям. Но его братья-звезды на ночь глядя не отпустили усталого убыха, а пригласили его к своим огням, сами сели вокруг него и повели с ним беседу на языке убухов и языке звезд, ныне редко кому понятных. И скоро сон смежил ему глаза.

А в чутком сне возник перед ним человек. Как это часто бывает во сне, лицо у человека было закрыто. Он что-то прокричал Якубу издали, предупреждая его. «Где-то я его видел, и не раз видел», – подумал во сне Чу-Якуб и проснулся. Он вспомнил Египет.

...По выжженной пустыне, вытянувшись без конца и края, продвигался караван. Паломников было не менее пятидесяти тысяч. Многие были на верблюдах, многие на конях, но большинство шло пешком. Верблюды были сыты, гарцевали кони, и люди были счастливы, отправляясь к святым местам. По обе

стороны каравана встали семь тысяч всадников Эмира-хаджи – все в одинаковых облачениях и на конях одной масти. Тридцать семь дней и ночей шел караван. Когда на пустыню опускалась ночь, паломники разбивали пять тысяч шатров и устраивались на ночлег. Богачи и вожди украшали свои шатры коврами и вышитыми полотнами, зажигали у входов разноцветные светильники. На рассвете снова пускались в путь, охраняемые с обеих сторон отрядом Эмира-хаджи. Паломники уже теряли силы. Густая пыль стояла над караваном. Она мешала дышать. На тридцать восьмой день пути началась моровая язва. Эта зараза, которую приносил южный ветер, для многих была губительна, но Эмиру-хаджи была только на руку, ибо по адату имущество погибших переходило к нему. В трех днях пути от Беддера, когда Эмир-хаджи ехал впереди отряда, где было поменьше пыли, из толпы путников вышел человек и безбоязненно взял его коня под уздцы. Как и положено паломнику, лицо у него было закрыто от солнца белым полотном.

Это случилось так быстро, что телохранители Эмира не успели опомниться.

– Стойте! – приказал Эмир, когда они окружили безумца. Путник заговорил с Эмиром на убыхском языке.

– Плохи дела на твоей земле, отважный Чу-Якуб! – произнес он. Чу-Якуб вздрогнул. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как он оставил родину. Он уже успокоился. Брат погиб, умер отец, жена и дети были с ним. Зачем тосковать?

– Мне ли не знать, что делается на Кавказе! – сурово заговорил Якуб.

Но это не было правдой. Давно уже не приходило вестей из Убыхии. Однако сейчас не Чу-Якуб, а Эмир-хаджи говорил в нем, и Эмир приказал связать немедленно путника, посмевшего подойти и схватить его коня под уздцы. Охрана тут же связала убыха. Караван продолжал свой путь и на сорок второй день прибыл в Беддер. За спиной у паломников остались Красное море и пустыня. Здесь к ним присоединились другие паломники, из Сирии, столь же многочисленные, как их караван.

В Беддере паломники останавливались на две недели. Четырнадцать дней они совершали молитвы по обряду. Затем направлялись к Каабе, ко гробу пророка Магомета.

Все четырнадцать дней шумел невиданный базар. Купцов, съехавшихся со всего света, было не менее ста тысяч. Сидя в своем шатре, украшенном персидскими коврами и китайскими шелками, Эмир-хаджи играл в шахматы с мудрецами и богачами Индостана. К нему приводили женщин, красотой подобных гуриям.

Но беспокойно было на душе у эмира Якуб-бея. Его сознание по-прежнему мучил дерзкий убых, взявший за поводья его коня. Эмиру казалось, что он где-то уже встречал его.

Ударив по меди, он приказал арабу, сторожившему вход, привести пленника, и стал ждать. Весть, которую ему принесли, была удивительна. Убых бежал. Эмир вскочил и заметался по шатру. Пленник не решился бежать, пока караван шел по пустыне, но убежал, как только прибыли в город! Эмир приказал обезглавить всех, кто охранял убыха. Слуги кинулись исполнять его приказ. Но не стало покоя на сердце Якуб-бея.

Чу-Якуб вспомнил юность, когда выезжал с сотней джигитов в поисках славы, вспомнил собрание меджлиса, где ему нанесли обиду. Боль пронзила ему сердце. Он подумал, что это боль незабытой обиды. Но то была другая боль. То была тоска по родине.

Из этого путешествия вернулся Эмир, как всегда, с большими сокровищами, но теперь его занимала только одна мысль – об Убыхии.

Однако тосковать Якуб-бею долго не пришлось. Вскоре опять началась война.

Давно враждовали Мехмет-Али и турецкий султан Махмуд. Повод для ссоры на сей раз был таков. Султан Махмуд решил преобразовать свою армию на европейский лад, но воспротивились служители веры. Тогда воинов Махмуда с головы до пояса обрядили в австрийскую форму, а ниже, как прежде, были широкие штаны и курноса обувь. Сначала Мехмет-Али высылал турецкому султану людей обучать его армию новому ведению войны, но потом вдруг объявил, что султан оскверняет Коран. И снова вспыхнула война.

Мехмет-Али призвал верного убыха. Якуб-бей разгромил турок, но при этом вся слава досталась сыну Мехмета-Али, который считался предводителем.

В Сирии, под Низабом, войска египтян, которыми, попивая кофе в шатре, командовал сын Мехмета-Али, опять разбили преобразованную турецкую армию. Не выдержав такого удара, скончался султан Махмуд, и на турецкий трон сел его сын Абдул-Меджид. Он немедленно переделал на прежний манер остатки армии.

В этой войне Якуб-бей был тяжело ранен. Мехмет-Али приставил к нему французского лекаря, который усердно лечил раненого, головой отвечая за его жизнь. Не прошло и месяца, как Якуб-бей снова сел на коня и повел паломников в Мекку. Уже прошли большую половину пути, и однажды во время привала, пройдя между стражниками, которые по двое были выставлены в семи местах, Эмир-хаджи вошел в покои, куда никто не смел войти, и в темноте приметил силуэт мужчины. Эмир поднял светильник и осветил закрытое лицо незваного гостя. Тот встал и, подойдя к Якуб-бею, преклонил перед ним колено.

– Я вспомнил тебя, юноша, – сказал Якуб-бей. – Открой лицо.

– Стоит ли тебе говорить, как дорог нынче Убыхии каждый воин, – произнес гость, пропустив мимо ушей повеление открыть лицо. – Как нужны твои богатства, когда народу не хватает оружия. Забудь обиды, воин, – твоему народу угрожает гибель!

– Я подумаю, – сказал Чу-Якуб. – А ты ступай!

9

Он вспомнил это и проснулся. «Абаджа!» – хотел воскликнуть Чу-Якуб, но не мог издать ни звука.

Карлики, числом не менее десяти, все на одно лицо, мохнатые, рыжие, посверкивая золотистыми глазами, подняли его и понесли. Они несли его осторожно, боясь разбудить. Якуб хотел шевельнуться, но не мог и, успокоившись, удивленно наблюдал за карликами. А они, посверкивая рыжей шерсткой в лунном свете, несли его к обрыву. «Абаджа, вот абаджа и нашли мне дорогу, хотят вывести меня из лесу, – усмехнулся про себя Якуб, – обрыв над пропастью и мог быть той дорогой, которую я искал». Они зыркали золотистыми глазками, очевидно догадываясь, что он уже не спит, а притворяется спящим. Вдруг на самом краю обрыва возник старик с белоснежной бородой по самый пояс. Он вонзил в землю посох и прикрикнул на абаджа, несших к

пропасти Якуба. И они, увидев старика, как озорные ученики, застигнутые учителем, бросили наземь Якуба и кинулись врассыпную. Тут же и старик испарился, как испаряется сон, который в первый миг пробуждения стоит перед глазами.

Чу-Якуб присел, не понимая, то явь или сон. Но все это было наяву, потому что он сидел не на прежнем месте, а на самом краю обрыва. Он встал, улыбаясь, встряхнул головой и пошел вверх по следам, которые были гораздо меньше детской ступни. Абаджа пронесли его довольно далеко. Пришлось подниматься не менее пятисот шагов до места, где вчера он положил бурку и оружие. Он двинулся в путь, и теперь стало ясно, что выход из леса, который он не мог найти вчера, был совсем рядом.

Встречные, видя, что он не отзывается на их приветствия, говорили:

– Вот идет Чу-Якуб, убыхский воин. Несомненно, тяжела его ноша. Но на плече его мы видим только крылатую бурку, стало быть, тяготит его боль.

В долине реки Мацесты конь Якуба споткнулся. Еще более растерявшись, он стегнул его плетью. Конь встрепенулся и понесся так, что Якуб не заметил, когда они перемахнули через Мацесту. На другом берегу на большом валуне сидела жена его, одетая в белое.

– Эгей, дочь Хан-Гиреев, что же ты сидишь на белых речных камнях, будто у тебя нет дома? Почему не встречают меня три сына и единственная дочь? И что за радость заставила тебя одеться в белое?

Она встала, взяла его коня за поводья и приникла головой к колену мужа.

– Потому я покинула дом и сию на берегу, чтобы скорее поведать тебе о нашем горе. Один из твоих сыновей больше не встретит тебя, он не вернулся из похода, куда ходил с братьями жены, Берзегами. Младшие твои сыновья ходят по твоим следам, чтобы разыскать тебя, а дочь горюет над оружием брата. Одетая же я в белое потому, что сын не посрамил ни отца, ни мать и погиб, как подобает мужчине.

Чу-Якуб слушал и не мог спешиться, потому что жена приникла к его колену и орошала слезами.

– Почему ты отпустила сына без моего ведома?

– Ты ушел на два дня и не возвращался три недели. А разве я могла удержать сына, если Берзеги бросили ему вызов? Вот уже третья неделя, как он погиб, – ответила ему жена.

Чу-Якуб заглянул в ее глаза и побелел, как саван. Ему казалось, что он отсутствовал всего только третий день. А тут уже третья неделя, как погиб его сын. Он снял башлык и провел рукой по темени: на голове, которую он выбрил перед дорогой, уже отросли волосы. Он понял, что краткой смерти был подобен долгий сон его в чаще. Не солгали ни приметы, ни человек, который явился ему в глубоком забытии. Сдерживая крик, он схватился за голову, а жена, вся в слезах, продолжала говорить.

Берзеги подошли к воротам и окликнули по имени ее сына. По убыхскому обычаю это означало, что сын погиб. Они привели матери его коня с оружием и сообщили, что сына ее они похоронили на месте его гибели.

Теперь начнем наш плач по убыхам, чьи огни угасли. Наши айры настроены, наши голоса звонки, а главное – сами мы живы. Ночь омерзительным циклопом приоткрыла единственный глаз. Кто-то скажет, что это взошел месяц. Но куда же деваться мне, если сто глаз у боли, что опустилась надо мной сама как ночь? Сагармухва-гушагя!

Где же убыхи, наши гордые братья, которые были хранимы семьей святилищами между морем и горами, любили вольность и не желали покоряться ни султану, ни царю?! Неужели исчезли они, как луч, что сверкнет на миг меж облаков? Кому тогда нужны были и отвага их, и вдохновение, и любовь? Если я не услышу ответа на эти вопросы, как мне усидеть под прищуренным глазом ночи и под сотней глаз моей боли, глядящих мне в сердце? Сагармухва-гушагя!

То ли лгу я сердцу своему, то ли правда, что и убыхи не исчезли бесследно. Потому что смерть их, стрелой звеня, вонзилась в небо, и я слышу, как эта стрела возвращается, обогнув землю и целясь в сердца всех, кто ее запускал и кто не запускал. Стой, стрела, – кричу я, – прости нас на этот раз, откажись от мести! Сагармухва-гушагя!

И я пытаюсь умолить стрелу, чье приближение слышу один я. Говорю в пустоту, продолжая твердить, что и так много крови, что дух не в силах возвыситься и летит над долиной, почти касаясь

крыльями земли, подобно тому, как близость ненастья клонит полет птиц к земле. Стой, стрела! – молю я, но как остановить то, что уже в полете! Сагярмухва-гушагя!

И я пытаюсь умолить летящую в воздухе стрелу. Стой, – молю я в пустоту. Ты не знаешь, но я-то знаю, что, пробив на лету сердца всех, кто запускал тебя и не запускал, опьяненная свежей кровью, ты повернешь свое острие уже к сердцам тех, чью жажду крови ты хотела утолить, стрела слепая. Сагярмухва-гушагя!

И я пытаюсь умолить летящую стрелу. Стой! – молю я. Есть еще мужество и бесстрашие, дерзость и честь, совесть и милосердие – значит, есть еще в жилах человеческих древняя кровь убухов. Сагярмухва-гушагя!

10

Чу-Якуб отобрал лиры у наемных певцов. Они славили поход Берзегов, в котором погиб его сын. Он оставил охотничье ружье и взялся за боевое. Собрав отряд, он двинулся в края, что называли ему Берзеги. Чу-Якуб захотел своими глазами увидеть тело сына.

Высадившись в Лоо, он отвоевал село, где погиб его сын, и с двумя сыновьями пришел на место погребения. А Ахмата, сына Махматуки, которому он особенно не доверял, Чу-Якуб вел, накинув ему на шею аркан. Он велел показать могилу сына. Стали копать. Якуб держал накоротке аркан, накинутый на шею пленному Берзегу. Выкопали тело, которое прекрасно сохранилось, и Чу-Якуб убедился, что смертельная пуля попала сыну в спину. Сомнения быть не могло: его убили Берзеги. Средний сын Якуба схватился за кинжал, чтобы прикончить Ахмата, но Якуб его остановил. Он понимал, что если начнет мстить, то в это дело будет втянуто много народу, а этого он не желал.

– Ступай, – сказал он и освободил Ахмата, внука Хании. – Ступай и не оглядывайся. Придешь в наш дом и скажешь вашей сестре, чтобы она тут же скинула траур, взяла, что ей угодно из имущества и ушла из дому. И никого из вашего рода я не должен видеть, когда прибудем с костями покойника. – И отпустил врага, напоследок стегнув его веревкой.

Поручив предводительствовать отрядом другому, Чу-Якуб с прахом прибыл домой. Дав соседям и близким оплакать сына,

он в тот же вечер похоронил его. А на другой день, приказав вынести самое необходимое, сжег дом и с родными, близкими и слугами немедля двинулся морем в Турцию. Сагярмухва-гушагя!

«Когда произошла эта трагедия, – рассказывает Жорж Дюмезиль, – Берзеги все еще не выполнили своего обещания и род Чу не был возведен во дворянство. Якуб прибыл в Турцию с многочисленными рабами, родственниками и друзьями и был направлен в Кулак, что неподалеку от Маньяса. Все они были в лохмотьях, совершенно обнищавшие. Якуб отправился в Стамбул, где султан образовал комиссию по иммиграции. Когда Якуб явился к главе этой комиссии (Джемиль-бей уже ничего не знает об этом), тот поднялся и спросил у Якуба, как его звать и не случилось ли ему жить в Египте. Якуб ответил, и чиновник бросился ему на шею со словами: "Я обязан жизнью этому человеку". Действительно, во время войны с султаном Махмудом Мехмет-Али арестовал много турецких подданных, и казнь следовала за казнью. Угадав в одном из осужденных армянина, Якуб пожалел его и спросил: "Если я тебя освобожу, есть ли у тебя возможность исчезнуть из Египта?" Получив утвердительный ответ, он дал армянину возможность бежать.

Теперь, встретившись в Стамбуле с Якубом как с просителем, этот человек обещал ему дать все, что тот пожелает. "Я не хочу денег, – сказал Якуб, – но мой народ живет в Кулаке в нищете". Армянин, возглавлявший комиссию, отправил двенадцать верблюдов, нагруженных всем необходимым, и сказал Якубу, чтобы тот сам выбрал себе место жительства. Якуб обошел окрестности Маньяса и на другой стороне поселка выбрал место для себя, которое теперь носит его имя.

...Посреди деревни, приютившейся на крутом склоне, рядом с огороженным участком, где живет Джемиль-бей, чуть выше мечети виднеются четыре могилы, за которыми хорошо смотрят. На этих могилах мы с Джемилем часто беседовали по вечерам и однажды совершили молитву: он молился, раскрыв руки, я – сложив их».

Когда спустя двадцать лет ученый приехал вторично в Турцию в поисках знающих убухский язык, он с огорчением увидел, что число их резко сократилось. «Убухский язык исчез почти всюду,

и это произошло, как меня уверяли ныне отуреченные потомки многих знатных семей (в частности, профессор Мустафа Невзаг Псак, директор крупной фармацевтической лаборатории в Стамбуле), по какому-то замыслу или расчету. Малочисленные и рассеянные по всей территории, потерявшие всякую надежду остаться убыхами, они все же хотели быть кавказцами и с этой целью предпочли, в зависимости от местности, слиться с двумя другими большими племенами, состоявшими из их товарищей по оружию и изгнанию: с нутухайцами, шапсугами и абзахами, с одной стороны, а с другой стороны, в более редких случаях, с абхазцами», – пишет Дюмезиль, а в другом месте продолжает: «Подрастающее поколение не хранит и не желает хранить воспоминания о своих невзгодах и даже о древнем происхождении своего народа».

Одной из последних, от кого Дюмезиль получил сведения, была Хандар-ханум. «У Хандар-ханум странная судьба. Она – негритянка. Попав в сераль еще совсем ребенком (ее звали там Сейралы Арап), она так и выросла служанкой женщин, занимавших в серале господствующее положение. Таким образом, она изучила убыхский и абхазский языки. В настоящее время ей под семьдесят».

11

Основав село, Якуб жил тихо, не ввязываясь в тяжбы и суету соседей. Но вскоре и его село стали беспокоить болгары-мусульмане, обосновавшиеся неподалеку. Они совершали набеги – грабили, воровали скот и уже полгода держали в страхе все село под Маньясом. Случались пропажи и в селе Якуба, и он точно знал, чьих это рук дело. Он послал к болгарам людей и передал им, чтобы они не мешали ему жить, равно как и он не будет мешать им. Но разбойники сочли это предложение за дерзость и пригрозили сжечь село Якуба дотла. Якуб и его люди были настороже, но несколько месяцев все было спокойно. Как-то вечером Якуб сидел на балконе вновь отстроенного дома. К воротам подъехал всадник. По обычаю турок лицо всадника было закрыто. Он пытался унять коня, который все кружил на месте. Якуб вышел его встретить.

– Будь осторожен нынче вечером, – сказал всадник. – На ваше село собираются напасть соседи-болгары.

– Стой! Кто говорит? – спросил Якуб, но тот повернул коня и тронул поводья.

– Стой, хымаго, я не знаю, ты человек, демон или ангел, но ты должен открыться сейчас же.

– Предупреди своих парней, чтобы сегодня были настороже, – повторил хымаго, не останавливаясь.

– Клянусь Мацестой, что не пощажу тебя, если не откроешь лица! – приказал Якуб.

– Если ты хочешь увидеть меня, возвращайся туда, где покоятся кости твоих предков, – бросил хымаго, удаляясь.

Рассердился Якуб, вбежал в дом, снял с гвоздя ружье, но впервые его не слушалась отягощенная рука. Якубу только оставалось смотреть в оцепенении, как незнакомец скрывался за поворотом. Хымаго уже не было, а Якуб стоял и стоял, дрожа и обливаясь холодным потом.

– Дочь Хан-Гирея! – позвал он жену. – Кто ж это был?

– Может быть, он дух... – сказала жена.

– Егей, будь он хоть духом, клянусь Мацестой, я его убью, если явится еще раз и не откроется.

Через час Якуб пришел в себя и сказал жене:

– Позови сына. Пусть он ударит в колокол и соберет село, если хымаго и на сей раз сказал правду.

Незнакомец сказал правду. Ночью пришли к ним разбойники, но уже предупрежденные сельчане устроили засаду и уничтожили всех до одного. Община облегченно вздохнула.

Стало спокойно. Горцы, из тех, кто заранее переселился в Турцию, слышав о селе Хаджи-Якуб-Кейю, приходили к Якубу и просились здесь жить. Он давал им земли, помогал встать на ноги.

Но вскоре, неожиданно для Якуба, не выезжавшего из села и не знавшего, что делается в мире, целыми селеньями двинулись горцы сюда, в Турцию. Сначала пришли абадзехи, натухайцы и шапсуги. За ними последовали убыхи.

– Надо мне спешить на Кавказ, – решил Чу-Якуб. – Надо попытаться удержать оставшихся на родине.

Не мешкая, он стал собираться в путь и звал все село, но соседям не хотелось покидать обжитое место. Даже сыновья не проявили желания ехать с ним. Дочь Якуба была замужем, сыновья женились и желали спокойно жить и хозяйствовать.

– Вот что, – сказала его мудрая жена, – ты поезжай один и узнай, примут ли нас там обратно. Если туда нас не пустят, а эти земли мы тоже потеряем – где жить тогда? Ведь мы уже стары.

– И то правда, – сказал Якуб, хотя это было ему не по душе.

Заколов животное, он благословил свой путь и отправился в дорогу.

В Стамбуле он купил парусник и вышел в море один.

Погода была хорошая. Якуб плыл уже целый день. Вдруг он заметил на горизонте вереницу кораблей, плывших навстречу ему.

Корабли шли. Все ближе и ближе. Семь огромных кораблей турецкого флота. Когда они рассекали море, большие волны расходились в стороны и, все увеличиваясь, нагоняли друг друга. Корабли были подобны огромным птицам, упавшим на воду и не могущим подняться на крыльях. Корабли приближались. Якубу пора было повернуть в сторону, чтобы парусник не перевернуло ударной волной. Но он решил непременно понять, кто на корабле.

Он опустил паруса и вцепился в штурвал, поставив парусник носом к надвигающимся волнам. Сначала парусник так сильно накренился вперед, что, казалось, вот-вот перевернется. Потом его подбросило, и он так же сильно накренился назад. Из всех сил удерживая штурвал, старик работал, зная, что посудина выдержит, пока держится поперек волн, но перевернется, стоит уйти в сторону. Когда его вместе с парусником очередной раз откинуло назад, корабли вдруг исчезли и перед Якубом возникла волна, громадная, как гора. Но Якуб был старый моряк и понимал, что это длину волны он принимал за высоту, оттого что парусник наклонился, и он намертво вцепился в руль, не желая отходить в сторону. Снова парусник подкинуло и наклонило уже вперед. И прямо перед собой он увидел корабль, плывший первым в колонне. Глаза не могли его обмануть. Он увидел, что палубы корабля полны горцев. Но это было одно мгновение, по-

том парусник бросило назад, и корабль исчез; оставалась волна, что шла на него как скала. Так боролся с волнами Чу-Якуб, пока мимо него не проплыли все шесть кораблей, полных горцев. То и дело возникал перед ним и пропадал очередной корабль; на палубах были горцы, они махали ему руками, что-то кричали ему, но он ничего не мог услышать и не мог разобрать лиц. Наконец прошел мимо последний корабль, волны, уменьшаясь и уменьшаясь, постепенно утихли, и Чу-Якуб, вконец обессиленный, опустился там, где стоял.

Корабли удалялись к югу, и уже ничего нельзя было на них различить. Якуб сидел, тяжело дыша. Наконец он опять поднял голову, чтобы посмотреть еще раз вслед кораблям, и увидел, что они исчезли за серым горизонтом. И сердце его стало равнодушным и пустым, как этот горизонт.

– Устал я, – сказал он и не заметил, что произнес это громко.

– Да, ты устал, отважный Чу-Якуб! – услышал он очень знакомый голос. Он резко поднял голову. Прямо перед ним стоял тот, кто посещал его, никогда не открывая лица. Прямо перед ним стоял хымаго. Сейчас бешмет на хымаго был белый, и лицо было закрыто белым башлыком. Вспыхнул Чу-Якуб. В этот миг он и не подумал о том, как мог попасть этот человек на парусник, где, кроме него, никого не было.

– Когда ты отстанешь от меня, колдун! – взревел он, схватил его и стал трясти.

Незнакомец поник и, не в силах больше держаться на ногах, рухнул на палубу. Якуб вздрогнул и замер на месте. Его окатило холодом. Он опустился на колено, подперев рукой голову незнакомца.

– Егей! Кто же ты? – спросил он. Хымаго едва переводил дух.

– Кто же ты, кто же ты? – спрашивал Якуб, не зная чем ему помочь. Хымаго поднял дрожащие руки и последним усилием, оттянув край башлыка, открыл свое лицо. Взревел и отпрянул в сторону Чу-Якуб. Лицо хымаго было его собственным лицом. Только больше следов мучений и горя было на этом лице и было оно намного старше.

– Кто ты? – прошептал Якуб.

– Я – твоя судьба.

Чу-Якуб долго не мог произнести ни слова.

– А ты еще старей, чем я, моя юродливая судьба, – проговорил, наконец, он.

– Теперь мне не встать, отважный Чу-Якуб, – заговорила его судьба. – Теперь я умру.

– Ыйома! – вскричал Чу-Якуб. – Ыйома! Уо ускуо!*

Но судьба его усмехнулась и испустила дух. Среди морских волн Чу-Якуб успокоил свою судьбу.

Село Чу-Якуба вместе с окрестными землями купил барон Н., родом из немцев. Он задумал разбить английский парк. Для работ барон нанял поселившихся здесь молдаван. Трудолюбивый немец часто сам работал вместе с ними. Как-то молдаване рассказали ему, что в непогоду на горизонте как призрак появляется парусник. Барон не поверил, но однажды, когда он рубил заросли вместе с рабочими, они сказали: «Вот он» – и указали ему в сторону моря. Парусник, прозрачный, словно весь из стекла, пронзенный слабыми лучами, скользя над волной, мчался, мчался к берегу.

– Das ist Illusion, – сказал барон, и видение исчезло.

* Нет! Ты не умрешь! (убых.)

**P
O
M
A
H**

ЗОЛОТОЕ КОЛЕСО



Ancfa duw, Wuxjusrjgvucsa sakvuxshowp!^{*}

О Владычице Рек и Вод

Однажды в древности люди проснулись и увидели следы девичьих ног на свежем снегу. Следы спускались с гор к Омуту. Поняли люди, что это следы *Владычицы Рек и Вод*. И хотя следы вели с гор к Омуту, поняли люди, что Владычица Рек и Вод покинула Омут и ушла в горы.

Ибо, да будет вам известно: у Великой Владычицы Вод и Рек ступни были повернуты пятками наперед. Но, чтобы рассказать, как это случилось, надо начать все с начала.

Витязь Хатт из рода Хаттов возвращался домой из далеких странствий, куда он ходил добывать славу, – витязь Хатт, клявшийся именем Владычицы Вод и учивший народ, что *вода – душа, а душа – вода*. В сутках езды до дома его догнала стая воронов, закрывая крыльями небо. Витязь остановил коня и поднял голову: ему показалось, колесо земли под ногами пошло назад, вместе с ним и его конем, а вороны в небе застыли. Витязь остановил коня и долго стоял, поднявши голову к небу. Витязь стоял, поднявши голову, а конь его тревожно ржал.

Каркающая стая в поднебесье заслонила Золотую Стопу Отца. Она отразила беду.

Витязь Хатт и конь его поняли, что не к добру явились вороны. Они заторопились в Абхазию.

«Кто же пришел?» – спросил он. А предки наши, как известно, полевых и домашних работ не любили, предпочитая войны и походы, и потому ответили ему, что пришли, дескать, некие, но они нам не во вред, они работающий люд, будут мотыжить наши поля и собирать наш виноград.

^{*} Господи, припадаю к Твоей Золотой Стопе! (абх.).

Но пришельцы, мотыжа лен, обсыпали корни землей, не выпалывая сорной травы, а когда не могли достать виноград на ломкой ветви, попросту срывали лозу.

Прошло время, и один из пришельцев явился к работнику набрать воды.

И некто, немывтый и патлатый, отразился на глади воды, пристально взглянул на него и сказал:

«Не смей, двойник мой, лить старую воду на мое лицо!»

Нечистый выплеснул старую воду в сторону. Потом он отмыл в роднике свои онучи и шапкой зачерпнул воды. Никто из наших этого не знал – не присматривали за ними.

А у предков наших закон был такой, что не брали воду, не испросив позволения у Владычицы Рек; и когда набирали свежую, то старую из кувшинов сливали в родник, чтобы вода прибавилась к воде, и воду, отданную Владычицей, семья могла употребить без вреда.

И как-то раз оказалось, что пришельцы осквернили все родники. Тогда ушла Владычица Рек и Вод. Началась засуха, высохли все реки, а берега пропитались ядом. Из всей речной живности выжили только лягушки.

Что же оставалось делать обессиленному народу? Люди покинули обжитые земли и двинулись вверх против девичьих следов. Теперь-то им стало ясно, что пришельцы не кто иные, как племя нечистых.

В горах оставались еще ледники. Люди растапливали лед и получали воду. И там, на нагорье, прожил наш народ изгнанным солнцем семьдесят лет. Выросло новое поколение, не знавшее родины.

Как-то сто юных царевичей резвились у замка. Они играли в мяч, они терлись друг о друга, подобно бычкам, не зная, как израсходовать свою энергию. Вдруг один из царевичей приметил женщину. Женщина поднималась по тропе с кувшином на плече, и были у нее стать и поступь.

У юноши загорелись глаза, он взволновался и воскликнул.

– О братья! – воскликнул он. – Я сейчас разобью кувшин, не задев женщину стрелой!

Не знаю, нужно ли это для рассказа, но это – быль.

Братья сказали ему: «Давай!»

Стрела полетела, кувшин разбился, незнакомка ахнула и обернулась. Юноши остановились, смущенные: обладательница стати и поступи была пожилой женщиной. Ее облило. Она несла к роднику старую воду, чтобы Владычица Рек и Вод позволила отломить кусок льда и чтобы воду из родника ее семья могла употребить без вреда.

– Кто вы, болваны? – спросила она.

– Да царевичи мы, – ответили ей смущенно.

– Чем воевать с моим кувшином, шли бы воевать с нечистыми, захватившими вашу родину! – сказала она.

Пристыженные юноши вернулись в замок и замучили расспросами родительницу.

– Мать, мы видели женщину со статью и поступью.

– *Касатики*, это же вдова при живом муже!

– Мать, а где ее муж, коли он жив?

– Ее муж, витязь Хатт из рода Хаттов, одиноко сражается с нечистыми, защищая нашу родину.

– Мать, что такое родина?

– Шли бы, касатики, поиграли бы в мяч, – сказала родительница, но царевичи были упрямы.

Наконец, она призналась им, что родина – это то, что находится по ту сторону Буйной Реки, русло которой представляло собой сейчас лишь гряду влажных валунов.

Вооружились юноши, сели на коней и ушли под плач родительницы. В сердце их обожженной и потрескавшейся земли витязь Хатт из рода Хаттов один сражался с нечистыми. Семьдесят лет он, не разжимая кулаков, держал два меча – так, что ногти его вонзились в ладони и проросли с тыльной стороны. Сто царевичей с дружинами пришли на подмогу витязю, племя нечистых было изгнано прочь из края, и между Анапой и Анагой наконец пролился долгожданный ливень. Он напоил истомленную землю, и снова зашумели реки, смывая соленый солнечный яд с берегов. Витязь Хатт облюбывал нашу деревню и стал дожидаться народа, чтобы им управлять. Но вскоре, не дождавшись, Хатт ушел на горную охоту. Уходя, он оставил знак о себе. На обратном пути он собирался прихватить свою жену со статью и поступью.

В горах он нашел Владычицу Рек и Вод.

– *Вода – душа, душа – вода*, – сказал ей Хатт. – Приди на побережье, на прежнее свое место, и, пока жив мой род, ты не останешься без жертвоприношений.

И Владычица Рек и Вод из беспокойных горных потоков вернулась в мутную реку нашего села.

Обрадованный народ возвращался в свои гнездовья. Никто не оспорил знак отважного Хатта, и род его стал княжить в нашем селе, и оно стало называться *Хаттрипш*.

В десяти полетах стрелы от морского берега река расширялась и образовывала омут. В Омуте и жила Владычица Рек. Именно в Хаттрипше было ее любимое местопребывание – об этом знала вся страна. Раз в году, перед весенним праздником, грозной Владычице приносили в жертву юношу. Этого избранного юношу называли Долей Воды. Он знал об этом загодя и ходил из села в село, счастливый своим жребием. Во всех домах он встречал гостеприимство, лучшие девушки раскрывали ему свои первые объятия, и это не могло им помешать впоследствии выйти замуж.

Витязь Хатт, а потом по наследству род его, – следили за порядком жертвоприношений, как и было обещано. Когда же выпал жребий сыну самого Хатта и народ хотел было сделать исключение – миновать княжича, Хатт возразил: «Раз его выбрала судьба, не лишим его участи быть Долей Воды!» И сын Хатта счастливо потупил глаза.

То был славный род охотников и воинов. Не успевал народ забыть подвиг предка, как потомок совершал еще более славный поступок.

А по Омуту расходились таинственные круги. Здесь было мглисто даже в полдень: бледно-зеленые ивы, и все это, опутанное хмелем, лианами и сассапарилью, сплеталось над Омутом сводом, непроницаемым для солнечных лучей. На берегах также рос буйный папоротник. Он и сейчас там растет – не похожий на обычный, влажный и словно еще более древний.

Там и жила русалка, ее даже можно было видеть. Еще при мне рассказывали о ней очевидцы. И я им верю. Во-первых, эти люди совершенно бескорыстны, и нет основания им не доверять. С другой стороны, сказал же витязь Хатт из рода Хаттов:

«Не может чего-то не быть в бесконечном мире! Все есть, – учил он народ, присовокупляя: – Все, чего не было, – будет, а все, что было, – повторится».

Все есть. Но пора уже вспомнить о нашем славном шумливом царе. Без его истории история русалки будет неполной.

Как только сто царевичей уничтожили друг друга в борьбе за престол, на погибель древним богам принял царство архонт Леон, племянник хазарского кагана и, таким образом, двоюродный брат по матери самого кесаря Льва Хазара. Он стал воскрешать когда-то зажегшуюся было в Абхазии, но вскоре погасшую идею Единого Бога. Из-за моря хлынули большеглазые скопцы. Сам Леон толковал народу Святую Веру, нередко пользуясь мечом как указкой. Он разрушил все языческие капища и построил храмы на их местах.

И стали прекращаться человеческие жертвы Владычице Вод. Первое время люди еще продолжали приходить в праздник весны к берегу реки, но несли уже чучело вместо юноши. Приходили ночью, а не радостным днем. Приходили виноватые: дескать, что поделаешь, гневается юный царь. А ведь он расширил наше царство далеко за прежние пределы.

В водах появились первые лягушки.

Так началось постепенное превращение грозной Владычицы в простую русалку – адзызлан.

В довершение всего неутомимый царь Леон построил в нашем селе огромную – в масштабах своего царства – судоверфь и провел судоходный канал между реками деревни. На зеркальной глади канала отразилось его гордое лицо. Душа его жаждала *Единения и Независимости* от Византии.

– Благословишь ли ты канал, о Владычица? – спросил потомок витязя Хатта, местный князь.

– Пусть в нем заквакают лягушки! – ответствовала она. Владычица не говорила на человеческом языке и с людьми изъяснялась знаками.

И вот, много позже, когда царства не стало и каналом перестали пользоваться, он превратился в длинное прямое болото. Народ потребовал от князя Акун-ипа, потомка витязя Хатта, засыпать канал. Но сам народ при этом работать не желал, пред-

почитая войны и походы. А мудрый князь медлил. Он знал ту истину, что под видом осушителей болот приходят нечистые. Он был страстный охотник, Акун-ипа, на каждом перевале стояла его охотничья тамга. Особые знаки о том, что он здесь прошел, Акун-ипа Хатт устанавливал для орлов; людям же эти места были недоступны. Владычица Вод и Рек делала его стрелы меткими.

Князь медлил, а нетерпеливые люди проклинали его в потомстве. Проклинали тайком, продолжая признавать его род княжеским. А болото засыпали только в наше время. По словам старого Батала, еще незадолго до революции священник Иоанн частенько часами простаивал на берегу болота и записывал в тетрадь голоса лягушек.

Итак, Владычица Вод неотвратно превращалась в простую русалку. Собственно, отсюда и начинается мой нехитрый рассказ.

О бренности телесного

На уютной живописной лужайке, которая открывалась взору прохожего за густой цитрусовой изгородью, увенчанной посередине деревянными воротами с крышей, в тени раскидистой шелковицы сидели два старика. Это были старейшины, чей мудрый совет был необходим в деревне всем. Без слова этих умудренных жизненным опытом старцев никакого важного решения не принималось не только правлением деревни, но и руководством филиала Обезьяньей Академии.

Ученый русский гость и юноша-абхаз внимательно слушали стариков.

С почтительностью, которой молодежи следовало бы поучиться у старших, один из стариков, Платон, дождался, пока другой, Батал, сам спросит о русском госте, ибо старше был второй по крайней мере на полвека, хоть и не имеет возраста мудрость.

– Егей, *дад!* – сказал Батал, опершись на посох.

«*Дад*» означает и «*Отец*», и «*Громовержец*»; вставлять это слово в речь положено не всем, а только почтенным старикам.

Некоторое время старики хранили молчание, которое молодые не смели прерывать.

– Твоей бы мудрости нам всем, вообще, *дад*, Батал! – согласился Платон с молчанием старшего.

Теперь он мог представить гостя.

Но чтобы рассказать все сначала, надо и начать сначала. Надо начать с Крачковски, а Лодкин подождет, он младший. Произошло это одновременно: почта принесла письмо от *мосье Крачковски* и приехал *Лодкин*.

Письмо в Абхазию мосье Крачковски (с ударением на последнем слог, как во всех французских фамилиях) отправил из Турции. Григорий Лагустанович, государственный деятель и милостью Божьей поэт, которого вы еще полюбите, получил это письмо. Прежде он никогда не слышал о спортсмене. Крачковски писал, что желает проехать на велосипеде по территории назревающего грузино-абхазского конфликта. Разрешение проехать по Абхазии им было уже получено из Тбилиси, и спортсмен просил, ввиду сложных взаимоотношений Тбилиси с Сухумом, выделить ему на месте человека, который был бы у него импресарио в этом регионе.

Григорий Лагустанович повертел письмо в руках и отдал его, *ну его на кар*, грузинскому заместителю. Грузинский заместитель побежал неофициально советоваться с неформалами. Григорий Лагустанович для того ему и отдавал письмо. Решили тянуть с ответом. «Будем волынить», – сказал Лагустанович.

А Крачковски ждал в Стамбульском отеле. Независимая миротворческая организация «WORD & DEED» оплачивала его поездки. Когда он отправлял письмо в Абхазию, французскому спортсмену было без малого 84 года. Несмотря на почтенный возраст, он отлично сохранил форму. Неутомимый романтик исколесил на своем велосипеде почти полмира. На местах, чреватых конфликтами, Крачковски устраивал *пробеги мира*. Этому делу он посвятил жизнь.

К Первой мировой войне Крачковски отношения не имел. Тогда ему было от роду девять лет. Вторая мировая война настигла его, когда он на своем велосипеде пересекал линию немецко-польского противостояния; пуля, выпущенная с польских позиций и послужившая поводом наступления немцев, пролетела над его головой.

Свыше шестидесяти регионов земного шара посетил энтузиаст. Все они стали горячими точками. В последние годы геогра-

фия его путешествий, увы, стала ограничиваться территорией СССР. Он одолел подъем из Степанакерта до Шуши, проехал Рокский тоннель и спустился в Цхинвали, был в Оше, Новом Узене, в Ферганской долине. Хотя он появлялся загодя, и даже тогда, когда о будущем кровопролитии еще не подозревали, предотвратить кровопролитие не удавалось нигде. Но старик не обнаруживал ни уныния, ни усталости.

Мосье Крачковски только что проехал по мятежному турецкому Курдистану. Уже в Стамбуле, дожидаясь письма из Абхазии, он с огорчением узнал, что против курдских городов и сел турецкие власти применили боевую авиацию.

Итак, Крачковски направил руль своего велосипеда в сторону Абхазии. Война так война, решили все. Стало ясно, что здесь уже так сильно пахнет жареным, что и до Парижа дошло.

В сознании людей постепенно укреплялась опасная мысль о неотвратимости войны. Это-то часто и делает войну неотвратимой. В краю, где наскоро сколачивают хижины с мыслью, что все равно сожгут, никогда не кончатся поджоги.

Прощайте, мосье Крачковски. Мы надолго забудем вас. Ибо...

Мы уже упоминали о батюшке Иоанне, как он заносил в тетрадь фольклорные истории, стоя на берегу Омута, а крестьяне простодушно полагали, что тот записывает голоса лягушек... Так вот, священник Иоанн был замечательный батюшка, но в истории остался благодаря тому, что во время воскресной службы застрелил крысу. На вооруженных попов Абхазии всегда везло, но Иоанн произвел выстрел внутри собственной церкви. До этого его довела *эртоба**. А начинал отец Иоанн с того, что входил в комиссию по переводу Священных текстов на абхазский язык и был корреспондентом академика Марра**.

Свою службу в маленькой деревянной церквушке нашего села Иоанн не без основания воспринимал как опалу, но к прихожанам успел привязаться. Он только не любил отвечать на вопросы, называя это диспутами в храме.

* Единение, единство (груз.) «Эртоба» – название общественно-политического объединения в Грузии.

** Марр Николай Яковлевич (1864–1934) – востоковед и лингвист, член Петербургской академии наук с 1912 г., академик АН СССР. Труды по кавказским языкам, истории и этнографии Кавказа.

А люди нашего села, будучи совершенно неграмотными, все же отличались любознательностью. В ту пору они успели признать идею грамотности, но не образования. Умеющего писать уважали, потому что он мог за мешок кукурузы составить любое прошение, но их забавляло, если того же человека застигали за чтением. Сложным было отношение сельчан и к двухклассному училищу, которое открыл Иоанн. Свои предрассудки они выводили не из собственного невежества, а из особенного, как им казалось, остроумного взгляда на жизнь. Подобно тому как позже народы СССР громко спорили, кто культурнее и древнее, так и прихожане Иоанна всем миром полагали, что они по развитию и самости не чета ни соседям из Омута, ни соседям за ольшаником, словно с этими соседями их разделяли не условные границы, созданные князьями для удобства, а горный хребет или море, что обусловило их разное историческое развитие. Но замечательно, что селом-то деревня стала недавно, когда стараниями батюшки была выстроена небольшая деревянная церковь. И в этом селе, где еще приходилось предотвращать расправы над ведьмами, столько же людей мнило себя философами, сколько как раз могла вместить небольшая церквушка.

– Почему Бог не сокрушил похитителя Илорской иконы? – спрашивали прихожане.

– А почем вы знаете, что Он его не сокрушил, разве вам известен похититель? – возмущался батюшка.

– Нет, похитителя мы не знаем, но и не слыхали, чтобы кто-нибудь в последнее время был обуглен небесным огнем, – язвили прихожане.

– Сто раз говорил я вам, что Царствие Небесное не от мира сего! Сто раз же я вам говорил, – горячился Иоанн.

Батюшка Иоанн скромно жил с попадьею в заднике классов при церкви. Часто его видели на берегу болота что-то записывающим в тетрадь. Это прямое длинное болото образовалось на месте канала, прорытого некогда царем Леоном для судоверфи. «Поп наш записывает в тетрадь голоса лягушек, – злословили сельчане, недовольные тем, что он занимал их детей в классе в самую страду. – Чему он их научит, надо ли нашим детям записывать лягушачье кваканье!» «Нет, – возражали мудрые, – будут у нас грамотные – будут у нас собственные старшины и писари, а свой меньше обманет».

Иоанна в общем-то любили. Служил он небрежно, службу, бывало, пропустит, но проповеди произносил строгие и горячие. Святое Писание и Жития соседствовали на его книжной полке с сочинениями петербургского ученого Николая Яковлевича Марра, среди которых одно – «Об отношении абхазского языка к яфетическим»^{*} – было с дарственным автографом автора.

Об академике Марре разрешите мне рассказать подробнее. В судьбе Абхазии нынешнего века великий ученый занимал такое место, что его нельзя не упомянуть, рассказывая современный абхазский эпос на русском языке. Он даже создал для абхазов аналитический алфавит и мечтал о том, что этот универсальный алфавит сначала примется в Абхазии, а потом в целом мире. В абхазском языке 84 фонемы! В абхазском языке наличествуют почти все звуки, которые есть в остальных языках мира, и еще, помимо этого, – звуки, которые есть только в этом языке. Ближайший по семье языков – адыгский – в фонетическом разнообразии уступает ему, так же как сам абхазский уступал убыхскому: в этом языке было 92 фонемы!

Чтобы освоить абхазский язык, Николаю Яковлевичу Марру понадобилось двенадцать часов: именно столько ученый ехал в поезде «Тифлис – Сухум», случившись в компании приятеля, батюшки Иоанна. В Зугдиди, мингрельской столице, ученый попрощался с попутчиком и вышел из поезда, а батюшка поехал дальше в Абхазию. Тут ученый нашел маклеров, которым поручил подготовить для него лошадей и проводников, чтобы проехать в нагорную Сванетию. От маклеров в течение нескольких часов он освоил мингрельский язык. (Впрочем, мингрельский язык считается самым легким для обучения. Именно вследствие легкой усвояемости собственного языка мингрелы, несмотря на отсутствие письменности, слывут активными ассимиляторами.) Сваны, сопровождавшие Марра по горной дороге в течение шести часов, как и положено сыновьям гор, мрачно молчали, но с встретившим его в Сванетии князем Дадешкилиани ученый смог беседовать на сванском.

^{*} Яфетический (от библейского Иафет, имени одного из сыновей Ноя) – термин, придуманный Марром для обозначения родственности грузинского, сванского и мингрельского языков с семитскими и хамитскими (от Сима и Хама – других детей Ноя).

Таким образом, за неполные сутки к арсеналу языков и наречий, которые он знал, ученый добавил еще три. Всего он писал и читал на 50 мертвых и живых языках мира!

А потом уже ученого невозможно было остановить. Он стал сокрушать все устоявшиеся представления в лингвистике. Как разъяренный лев, ворвался Николай Яковлевич Марр в классификацию мировых языков, гоня перед собой абхазский язык. Теперь он пытался доискаться до праязыка. До нескольких самых первых выражений человеческой речи. Абхазский язык и называл Марр источником этого праязыка. Подробности были бы интересны, но я их не знаю.

Мандельштам, посещавший Абхазию в тридцатые годы,^{*} пишет, что в будущем видит мир испещренным институтами для изучения кавказских языков. Очевидно, лингвистические восторги Марра витали в сухумском воздухе.

То, что ему удавалось записать у болота, Иоанн отправлял в Петербург своему другу-полиглоту. Тетради были заполнены фольклором. В те времена знатоков древности было так много, что людям, у которых Иоанн начинал расспрашивать о старых небылицах, было невдомек, кому они могли понадобиться, тем более во времена *эртобы*.

Однажды из уезда к Иоанну под покровом ночи заявился незнакомец. Батюшка хоть и бедно жил, но не оплошал: накрыл для гостя стол и выставил вино.

– Справедливо ли, что Савлаку Хатту на праздники носят каплунов, – начал гость после нескольких стаканов вина.

А Хатт Савлак, сам небогатый, дал деньги и на строительство церквушки, и на строительство класса. Путешественник и охотник, он свел свои княжеские привилегии к добровольному приношению в праздники по каплану и по кувшину вина с одного крестьянского хозяйства. Но Иоанн не стал вдаваться в эти подробности. Отдайте кесарю кесарево, а Богу Богово...

– Почему одному Савлаку принадлежит столько земель?

^{*} Во время поездки в Армению О. Э. Мандельштам с женой, в ожидании необходимых документов из Еревана, отдыхали в апреле 1930 г. на даче Совнаркома Абхазии в Сухуме.

– Бога ради, оставь эти разговоры, если ты не пришел уморить меня вопросами! Я пригласил тебя за стол, поешь да попей, чего Бог послал, и помни, что я простой священник, а не благочинный, – начинал сердиться Иоанн. Но, видя, что гость не празднично завел этот разговор, а к чему-то клонит, велел попадье удалиться. Потом долго говорили с гостем. К полуночи, когда Иоанн вышел провожать гостя, он сказал ему негромко:

– Не сердись, но мне кажется, что у вас ничего не получится: *только зря погубите молодежь.*

– Прости за дерзость, *Астамур*, но не боишься ли ты за себя? – задел за живое батюшку гость.

– Везите, я согласен. Но ничего у вас не получится.

Трудно себе представить, что оружие больше нигде было прятать, как у попа. Но красноперые таким образом батюшку, как сказали бы нынче, *завербовали*.

Еще более дивились прихожане на своего попа. По-прежнему он записывал в тетрадь голоса лягушек, но теперь то и дело выхватывал из-под рясы «*смит-энд-вессон*» и давал затрещину по болоту, так что вскоре он убивал лягушку на звук – перестало, видать, нравиться батюшке записывать в тетрадь их кваканье.

На одной из воскресных служб случилось событие. Жирная крыса пробежала по периметру церкви и скрылась в приделе. Все заметили ее. Иоанну пришлось сделать замечание молящимся, чтобы не шумели.

Крыса появилась во второй раз. Были смеющиеся во храме. «Грешные, вы о крысе ли должны сейчас думать?» – рассердился Иоанн. Зверь появился в третий раз. Теперь уже хохотали все.

Выхватив из под рясы «*смит-энд-вессон*», батюшка Иоанн выстрелил и перебил крысе хребет.

И был батюшка Иоанн лишен сана. Бывшие сподвижники его по переводам Священных книг ничем не могли ему помочь; случай был из ряда вон выходящий. Иоанн тем временем несколько не расстроился, потому что на дворе были времена революционные.

– А я не родился Иоанном, я – князь Астамур Эмухвари! – сказал батюшка-расстрига.

И облачился в отцовскую белую черкеску, которая ему очень шла.

Вскоре, произнося клятву под горой-святылищем, Астамур Эмухвари вступил в народное ополчение «Кяраз»^{*}. Меньшевики, лидировавшие в «Эртобе», схватили Астамура и бросили в сухумскую крепость. В случае невыплаты выкупа в кассу «Эртобы» ему грозил расстрел.

Родственники Астамура пришли в Сухум. Трое суток стояли мать и сестры под крепостью, где сейчас ресторан «Диоскурия», в надежде получить весточку от Иоанна-Астамура. Они продали все имущество, весь скот, но «Эртоба» ценила Астамура дороже. Вот что они прочитали в записке, которую он изловчился выбросить в решетку, завернув в нее перстень-печатку: «ДЕЛО ЕДИНЕНИЯ В АБХАЗИИ ЦВЕТЕТ КАК МАЙСКАЯ РОЗА».

Майская роза, а имелся в виду сорт яблок, вскоре дала плоды. Место полков «Эртобы» заняла 11-я Красная Армия. Астамур был спасен.

При советской власти Астамур Эмухвари как человек образованный был даже фигурой в наркомате народного просвещения, но в главном правительстве не был.

Потому что не любил, когда задавали много вопросов.

О любознательности

А теперь вспомним Лодкина, который приехал вслед за письмом мосье Крачковского.

Итак, Лодкина обнаружил Кесоу ранним утром в Успенье Богородицы^{**}, идя мимо кладбища. В ожидании, когда деревня проснется и оживет, Лодкин рассматривал надписи на кладбищенских плитах.

Это был довольно известный человек, раз увидев которого подумаешь: он, если даже устанет, постарается не демонстрировать усталости. Он не скажет всуе; он предпочтет вдохновение и неунываемость. Все в облике незнакомца выдавало человека, которому недосуг просто так глазеть на камни убогого кладбища.

Однако Кесоу, редко смотревший телевизор, принял его за бича, помогающего за выпивку и харчи. Работы же у крестьянина всегда непочатый край.

– Иди сюда, братуха, – позвал он.

^{*} Единство, единение (абх.)

^{**} Успение (кончина) Богородицы по новому стилю отмечается 28 августа.

Незнакомец тряхнул головой и обернулся на зов. Несмотря на ранний час, Лодкин направился к звавшему его юноше. Он шел характерной упругой походкой, каждым шагом подтверждая, что ничего больше откладывать нельзя.

Кесоу звал его с лицемерной любезностью, с какой Платон, его дядя, обычно, цокая языком и предлагая кукурузный початок, подзывал жеребенка, которого собирался заарканить. Кесоу задумал повести патлатого к Платону, чтобы с утра преподнести дяде праздничный подарок.

Неутомимый романтик спокойно направился к парню. Профессия приучила его к самым неожиданным ситуациям и умению находить общий язык с самыми различными людьми.

– С праздником Успенья Богородицы! – произнес он, подходя к Кесоу и приветливо протягивая ему руку. Это не могло не обезоружить незнакомого парня, не могло не настроить на более мирный лад. И Лодкин не ошибся.

– Спасибо, братуха, – миролюбиво ответил абхаз.

Гость представился. Он пояснил, что приехал, в общем-то, к ребятам из филиала Обезьянней Академии, но основная его цель – познакомиться и пообщаться с местными людьми, выяснить настроения, как он делал это намеренно за Ингуром у мингрелов.

– Ты – разведчик? – спросил Кесоу, и трудно было угадать по его тону, равнодушно он спросил или с деланным равнодушием.

Тут гостю бы расхохотаться и этим обстановку сразу разрядить. Но Лодкин обо всем, что касалось главного дела его жизни, не мог говорить баз пафоса. Разговаривая, Лодкин часто проводил пальцами по волосам, тронутым сединой. Эти его знаменитые волосы, стянутые, как всегда, простой бечевой, ниспадали на плечи. Человеку, равнодушному ко всему, что не касается его собственного благополучия, могло показаться, что роста Лодкин был чуть выше среднего, тогда как на самом деле вся его импульсивная фигура свидетельствовала о темпераменте и альтруизме – чертах характера, подвигавших его не то чтобы носить по белу свету оливковую ветвь, а самому быть раскидистым деревом известной, но недостаточно оцененной (миро) творческой организации «WORD & DEED». Однако не организация эта виновна в том, что до сих пор ее знали мало. Народы и

государства в последние десятилетия только сладко улыбались друг другу, откладывая груз проблем на плечи нашего поколения.

– Я ненавижу совков не меньше вашего! – начал гость.

Лодкин никогда ничьим разведчиком не был. Он представлял «WORD & DEED», и только «WORD & DEED», которая разработала новые методы мирных инициатив, идущих снизу и...

– Ты из ЦРУ, – мягко перебил его Кесоу.

Этот недоверчивый юноша сам был роста выше среднего и замечательно смуглолиц. В отличие от Лодкина, источавшего миролюбие и снисходительность, – и комплекцией, и осанкой парень как бы вызывал собеседника по-дружески помериться силой. Здоровый цвет лица, характерный для людей, проводящих каждое лето на горных пастбищах в обществе чабанов и овец, гармонично сочетался на его лице с выражением ума и памяти, столь необходимых, чтобы запомнить все прозвища барашков, все легенды и были чабанов и все названия созвездий – материя необходимая, если вздумается пойти с арканом за семь рек. Огонь в его глазах – свидетельство горячего сердца – до сей поры расточался на мелочи быта, однако Лодкин знал по опыту, что именно такие энергичные, но мирные и наивные парни, если их усилия пустить в правильное русло, могут принести пользу хотя бы на уровне своего кишлака, точнее аула – это же Кавказ!

А на предположение о причастности к ЦРУ Лодкин улыбнулся и покачал головой.

Шпиономания советских людей была ему известна.

Кесоу спокойно решил, что можно вести патлатого к дяде. Разведчик он американский или нет – это дела не меняет. С виду он вполне сойдет за бича. Платон отведет его подальше от глаз жены. Уже дорога будет стоить нервов агенту ЦРУ. В укромном месте Платон спросит: «Ты – бардыга, вообще?» Тот со страху зажмурится. А не зажмурится – тем хуже для него. «Ты бар-р-рдыга, да-а?!» – еще раз спросит дядя, занеся над бичом кулак величиной с кувалду. Агент 007 зажмурится. Так начнется праздничный день для дяди, с укрощения сильного, работоспособного бича.

– Сходим к моему дяде. Он очень колоритный старик, прошел Рим и Крым, – предложил Кесоу. – Много чего может рассказать.

У выхода из кладбища Лодкин сорвал цветок жасмина, что дало повод Кесоу предположить, что он не обычный бич, а чудак, хиппи. Но тут Лодкин принялся к цветку с таким удовольствием, что Кесоу решил: обычный бич. И снова оказался не прав.

А еще у дяди хороший бич уже был в доме, и он подошел к делу с неожиданной стороны. Недаром дядя Платон в этом году решительно вознамерился войти в тройку старейшин деревни. Он сумрачно выговорил племяннику:

– Никогда не делай поспешных выводов по внешнему виду! Этот парень отрастил себе космы, потому что он – грамотей. А все грамотеи со странностями.

– А если он из американской разведки, дядя?

– Перестань! Сдались мы американской разведке.

Умный гость все понял. Он похлопал по плечу Кесоу, такого славного и такого подозрительного.

Кесоу пришлось согласиться. Возведя патлатого в ранг гостя, Платон может тут же распорядиться, чтобы несли чачу, таким образом, он и сам опохмелится сразу, не дожидаясь, пока жена-копуша позовет на праздничный завтрак. Если он – бич, то добро пожаловать! Если же не бич, если парень – так и есть, приехал с какими-то грамотными намерениями, – Платон окажется первым стариком, который успел с ним побеседовать. Только потом он вручит его старикам со стажем. Здорово он это придумал, восхитился племянник.

– Столик выноси! Не видишь: гость у нас! – крикнул Платон жене, усаживаясь с гостями на крыльце.

– Так хочется сковородой шарахнуть по патлатой голове вашего гостя! – по-абхазски отозвалась жена. Но ей деваться некуда: обычаи велят ей принять гостя, патлатый он или бритоголовый. Так оно и есть: жена вскоре вынесла и чачу, как миленькая, и закуски. И, конечно же, аджику.

Об аджике нужно сказать особо. Свыше двухсот специй являются ее составными. Тут и острый перец, и поваренная соль, и резеда, и девясил, и куриная слепота, и армянский хмели-сунели, и грузинские тмин и гвоздика, и еще 193 специи, выращиваемые в Абхазии и только в Абхазии. Это острая приправа, придуманная моими соотечественниками и постепенно прививающаяся в

мире. Все южные народы, от латинос до китаезов, любят острое. Но аджика – и мне кажется, что я не преувеличиваю, – может смело конкурировать со всеми этими приправами; в ней есть все, что во всех других острых приправах мира, и много иного, которое есть только в ней, подобно тому как в абхазской речи есть все звуки, что и в остальных 3700 языках мира, но и помимо этого еще полсотни специфических звуков, которые, кроме абхаза, никто и произнести не может. Итак, аджика. Изготовить ее, в сущности, не составляет труда: для женщины не проблема запомнить сочетание двухсот специй, а приобрести их можно на всех рынках Абхазии. Однако положение усложняется прочно укоренившимся предрассудком о том, якобы, что изготовить аджику с особым вкусом и ароматом может только женщина, которая не знала никакого другого мужчину, кроме мужа. Горцы, слывающие знатоками мяса и аджики, тут же замечают, если аджика подозрительна. Вообще, горцы, не имеющие обыкновения нахваливать гостю предлагаемые ему блюда, делают исключение только для аджики.

Обо всем этом поведал Кесоу гостю в качестве перевода короткой реплики дяди Платона. А дядя Платон только и сказал, что он-де жену не хвалит, но аджику-то делать она умеет. Слова хозяйки о сковороде он тоже перевел гостю по-своему:

– Хозяйка корит нас, что мы усадили гостя на крыльце, а не ввели в дом.

– Нет! Нет! Посидим здесь! Здесь так славно! – воскликнул Лодкин.

Платон проводил жену взглядом. Когда она вошла на кухню, он произнес:

– Женщину покойный мой отец называл человеком один раз в году. Да и то ненароком. У нас в Абхазии редко выпадает снег. Светлой памяти отец выйдет, бывало, на крыльцо, увидит свежий снег, а по снегу – человеческие следы. «Уже человек прошел по снегу», – говаривал он. И если это были следы женщины, вот и оказывалось, что отец мой, царствие ему небесное, назвал ее человеком.

Замечательный рассказ. Посмеялись. Народный юмор, несколько грубоватый, но живой. Сидят они на крыльце. Платон

сыплет изречения одно за другим. Гость их записывает в блокнот. Кесоу рядом, помогает дяде этими самыми изречениями. Платон ведь – начинающий мудрец: в изречениях у него возможны сбои. «Замечательный аксакал», – восхищается гость. «Аксакалы в Средней Азии», – поправляет Кесоу. «Вы вполне соответствуете своему имени», – говорит гость. Платон не понимает. Кесоу поясняет: «Сколько раз я тебе говорил, дядя, что у греков, не наших, а тех, древних, был мудрец, твой тезка», «Какой же я мудрец, вообще», – скромничает Платон. Но он польщен. «Я просто хорошо запомнил слова покойного отца», – врет он, по-старчески опираясь на посох.

В кругу деревенских стариков он такого бы не сказал. Его отец был хороший человек, труженик, но мудрецом никогда не был и не пытался им быть. Он пахал всю жизнь, опустив голову долу. Много мудрости не вычитаешь у борозды. Мудрость обретается теми, кто ездит и общается с людьми – роскошь, которую пахарь себе позволить не может. Сам Платон в жизни был и тружеником, и путешественником одновременно! Он ходил и общался с людьми в силу своего пристрастия к конокрадству, но, чтобы это скрывать от общества, он и вкалывал днем не менее отца.

– Покойный отец так рассказывал мне, – сказал дядя Платон, для уверенности покосившись на племянника, словно тот был более верный слушатель и свидетель речей деда, и кивком получив одобрение. – Когда-то люди видели Бога, как мы сейчас видим солнце. А когда перестали видеть, то спросили у великого Хатта: «Скажи нам, Учитель Людей, почему мы продолжаем видеть Солнце, но больше не видим Бога?» И услышали в ответ, вообще: «Мы видим Золотой круг Солнца, которое светит хозяевам земным: всем тварям, которые были здесь задолго до нашего изгнания на землю и останутся, когда мы сможем вернуться к Отцу. Пот лица застил нам глаза, и мы не видим Его. Но мы видим Золотую Стопу Отца, который нас любит. И если в нашей жизни, что не более чем перевал, мы не отвратим глаза от Золотой Стопы Отца, то однажды каждый из нас увидит сияние вокруг Его лица».

Много замечательного рассказал простой неграмотный крестьянин урусу в это утро. Говорил он, быть может, наивно, коряво,

но в словах его была простая мудрость, которая от сохи, вообще. Даже предрассудки старика были не злы. Ко всему прочему, он поведал ненавязчиво, объективно и по-народному всю историю грузино-абхазской тяжбы. Гость был в восторге.

– Если мингрел увидит привязанную на лугу кобылу, – говорил покойный мой отец, – он может прижениться к ней, в надежде, что ему достанется тот отрезок земли, на котором кобыла пасется. «Кобыльи примак» – как называли их наши отцы.

Кесоу перевел. Гость хмыкнул и взял сулугуна, который лежал на столике в ряду закусок. Мингрелы ему про абхазов еще не такое рассказали. Съел сыр и похвалил. Старик был польщен. По просьбе гостя он подробно рассказал, как изготавливается сулугун. Он сам его изготавливает, вообще, женщинам не доверяет. Изготовление сулугуна включает в себя попеременно от четырех до семнадцати стадий. Дядя Платон выполняет все семнадцать операций, причем, последнюю, где сыр надо настоять на соке желудка жертвенного животного, – с особой тщательностью.

– Сыр, настоящий на соке желудка, который использован в третьем поколении, наши отцы называли княжеским. Вы сейчас едите княжеский, вообще...

– В третьем поколении желудков?

– Людей, – спокойно поправил старик. – Одно поколение – четверть века.

– Одно поколение – сто восемьдесят лет, – соврал при переводе Кесоу, зная, что кавказское долгожительство – тема.

Лодкин посчитал в уме: три поколения – 540 лет! Гм... Дела...

Чтобы сделать хозяину приятное и подтвердить, что в достоверности его слов не сомневается, он стал кусок за куском уплетать овеванный веками сыр. Гость целую тетрадь, поди, исписал. К вечеру Платон вручит уруса другим старикам, уже налитого необходимыми сведениями, как плоды к Успенью наливаются соком.

«Он о тебе напишет, дядя». – «Не надо, чтобы обо мне писали. Я хочу, чтобы он понял Истину и рассказал, что ему доступно рассказать. Если его кто-то прочтет и поймет – то и польза».

Поди не переведи такие слова! Тут и приукрашивать не надо было: Кесоу их перевел буквально. А перед тем, как их позвали

к завтраку, жена Платона сказала такое, за что ей всю ее ворчливость можно простить! Она сказала то, что согрело его сердце не меньше, чем ее «да» в тот заветный день, когда он, придерживая скакуна за уздцы, пытал ее у родника: «Ты пойдешь за меня или нет, вообще!» И она, тогда еще красавица и чужая дочь, ответила ему: «Пойду, пойду, не ворчи!»

– Довольно утомлять старого человека! – сказала она, обращаясь к Кесоу. – Или в один день желаете выведать у человека то, что он узнал за всю долгую жизнь! – Что-то в этом роде сказала, а возможно, даже лучше.

О слове изреченном

Все прошло бы замечательно, если бы не сулугун.

– Сыра неси, женщина! – приказал Платон, когда увидел, что гость съел все, что было на тарелке.

– Так хочется вот этой тарелкой да по его патлатой голове! – сказала по-абхазски жена, женщина ведь. – Лопает без хлеба! Грех!

– Не беспокойтесь, мать! Мне, напротив, очень нравится на крыльце, – по-русски успокоил женщину Лодкин.

– Иди, накрывай на большой стол! Урусский парень – грамотный, – сумрачно проговорил Платон.

Но он сам стал обращать внимание на то, как патлатый ест сыр. А тот опустошал уже следующую тарелку с сулугуном. Он ел его просто так, сам-самской, не закусывая стоявшим рядом чуреком. Платон насупился. Если бы не жена, он бы не обратил внимания. Она имела-таки на него влияние. И еще польстила только что.

Лодкин, ни о чем не подозревая, ел и внимательно слушал. Но что тут слушать, если старик насупился и замолчал.

Обычно требовали от детей, чтобы они не поедали один сыр, а закусывали мучным: хлебом, чуреком или мамалыгой. Взрослым об этом и говорить не надо было. Это обыкновение есть сыр без ничего Платон считал не обычным способом экономии, но адатом, освященным веками. Вслед за женой он усмотрел в поведении гостя глумление над сыром. Вообще-то он был прав. Тонкий человек не станет есть сыр кусками и без хлеба, особенно

с чужого стола. А человек, пытающийся примирить враждующие народы, должен быть тонким.

Вырвалось наружу у Платона неосознанное до этого момента раздражение внешним видом гостя. Он забыл мудрость о странности грамотеев, высказанную намеренно племяннику. Он замахнулся посохом на гостя! И – самое главное! – воскликнул:

– *Дзондз!**

Конечно, гость был перепуган. Конечно, Кесоу вмешался, и конфликт был легко улажен. Конечно, за большим столом, когда позвали к праздничному завтраку, Платон смущенно насупился, чем неловкость усугублял. Но, когда встали из-за стола, добрый старик обнял гостя и похлопал по плечу. Оба растрогались, все расхохотались. История была бы полностью исчерпана, если бы Платон не произнес слова «дзондз». А он не только произнес, но и при Батале повторил, когда после завтрака привел к старику гостя-уруса.

Дочери Батала тоже, конечно, не пришелся по вкусу внешний вид гостя.

Она предупредила:

– Как бы старик не дал ему посохом по патлам!

Лодкин поклонился ей и предпочел тень дерева на лужайке перед домом.

– Егей, жизнь! – вздохнул Батал, приглашая в молчаливой беседе присоединиться к его раздумьям. Приглашал он, разумеется, Платона. К молчаливому диалогу, при котором по одному слову или междометию, произнесенному раз в полчаса, собеседники удостоверяются, что думают об одном и том же, как если бы говорили вслух. В общем, понятно, да? Так можно наблюдать глубокое движение лосося вверх по реке по редкому мельканию на поверхности красного гребня его хребта. Молодежь, в молчаливой беседе по неумению не участвовавшая, почтительно созерцала.

– Да, жизнь, – пробормотал Платон по прошествии необходимого количества времени, и получилось у него так, словно он все время следил за мыслью Батала, а сейчас только подтвердил.

Батал поднял синие, выцветшие от старости глаза, улыбнулся, но смолчал. Ибо, если говорить честно, а Платон был человек честный, он не смог принять участия в молчаливой беседе,

* Патлатый (мингрел.).

предложенной ему старшим собратом. Не получалось у него молчаливого разговора. Он знал, что такой разговор возможен, он желал его страстно, вообще, – но пока не получалось. Как нарочно, в голову лезли, отвлекали посторонние мысли. И Платон досадовал, подобно Бодхидхарме, который вырвал себе веко, когда его начал одолевать сон во время медитации.

Старик отвлекся от давешних мыслей, к которым приглашал Платона, и, мысленно махнув рукой, приготовился слушать. На внешний вид гостя он внимания не обратил; дочь его зря беспокоилась. Было ясно, что патлатый, которого к нему привел Платон, – это любознательный урус. Урусы, он знал по опыту, всегда любознательны. И этого примут, дадут то, что ищет, – дело-то привычное. Он стал весь внимание.

Батал уже давно устал и от мудрости своей, и от обязанности судьи, и от долгожительства. Ему бы кряхтеть и жаловаться на старость, сидя у очага. Возиться с ним есть кому: одна из дочерей находилась при нем; так и не вышла, бедняжка, замуж, посвятив ему жизнь. Он бы с удовольствием отсылал всех, кто приходит к нему за советом и судом, к живущему через забор Платону. Тем более тот так желал именно этого. Однако Батал чувствовал, что много прорех еще в зеленом древе знаний Платона. Батал был строг.

Платон был уже навеселе и знал, что старик этого не любит. Но сегодня как-никак праздник. Он любовно похлопал по плечу уруса и начал рассказ. Он намеревался изложить случившееся как пример женской глупости, ведь виной всему была его жена. Но надо же было, чтобы именно в этот момент подошла со столиком дочь старика и, решив, что невежливо не послушать соседа, остановилась в сторонке. Платон не мог при ней пользоваться готовыми высказываниями против женщин, а без высказываний этих весь рассказ перепутался в голове, как клубок. Смутившись, он как-то оголил свою повесть. Из него выпала суть: как его жена свой порыв жадности приняла за порыв защиты сыра от поругания. Он сразу заговорил о том, как замахнулся посохом на замечательного уруса, не сказав, что был введен в заблуждение этим шайтаном в человеческом облике – женщиной. «Представляешь, Батал, дад!» При этом Платон дружелюбно похлопывал гостя по плечу. Гость согласно кивал. Ох, не надо было вовсе упоминать о посохе!

– Дзондз этот урус, самый настоящий дзондз! – еще раз выпалил он.

Лодкин кивнул, подтверждая.

Платон сделал сразу два прокола. Нельзя попрекать гостя, пусть даже он слопаёт круг сыра величиной с мельничный жернов. А что Платон в свой рассказ, который, как и должно быть, излагался патриархальным словарем, вставил самое что ни на есть мингрельское словечко «дзондз», – этому старик, кажется, значения не придал. Зато, на беду Платона, еще какое значение придал этому Кесоу. Действительно, выглядело все очень комично. Сидит Платон напротив Батала; особенно много говорить ему не положено, зато он произносит и произносит всласть слово «дад», а это прерогатива старцев. И опирается на посох – тоже прерогатива старцев. «Да, Батал, дад!» – подтверждает он слова Батала, что позволено не каждому. И вдруг – слово «дзондз».

Именно благодаря этому ненароком произнесенному слову вся история осталась у людей в памяти. Мингрельское слово в устах старца! Старец особенно должен следить за своей речью. В ней не должно быть никаких иноязычных слов и выражений. Тем более из мингрельского языка! Тем более, сейчас, когда именно мингрелы возглавляют там, в Тбилиси, всю возню против абхазов, вообще.

Вот, оказывается, дорогие языковеды, как входят заимствования в речь. Их сначала произносят смеясь, подавая с историей их возникновения, как в нашем случае со словом «дзондз». Со временем связанная с этим словом история и ее юмор забываются, а слово осваивается и остается в речи, как примак, получивший отрезок земли. Сказали же мудрые: «Кобыла околеет – остается поле, а человек, умирая, оставляет слово».

В нашу речь вошло-таки слово, означающее, собственно, «патлатый», вытесняя абхазский эквивалент. Платон пока еще останется полустариком. Каждый раз как упрек ему будет всплывать слово «дзондз», однажды ненароком слетевшее с языка.

О быстротечном времени

В отличие от земных владычиц, которые сначала бывали малыми детьми, наливающимися девицами и только потом становились грозными и сладострастными женщинами, у Вла-

дычицы Вод судьба оказалась вывернутой, как и ее ступни. Ей пришлось пережить обратное: она сперва была величественной царицей, а затем превратилась в ребячливую и похотливую русалку – адзызлан.

Хотя страх перед ее силой, в общем-то, оставался – оставался вплоть до наших дней. Например, когда приводили в дом невесту, ее не отправляли по воду, не выполнив обряда поклонения русалке, чтобы та позволила невесте набирать воду, которую семья употребила бы без вреда. Женщин на сносях также не пускали к воде, чтобы русалка не заколдовала плод. После заката детям не разрешалось выходить на улицу, особенно к берегу реки, ибо и в этом случае старшие опасались, как бы русалка не нагнала на детей хворь.

Это была не обычная рыбохвостая европейская ундина. Ноги у нее как раз имелись, только ступни их были повернуты пятками наперед. Вот почему, чтобы найти ее по следу, нужно было идти в обратную сторону.

Она могла нападать на людей, мстя им за отчуждение и измену. Русалка не боялась огнестрельного оружия, не боялась и шашки, потому что могла ухватиться за ее тыльную сторону. Беззащитна она бывала только против обоюдоострого кинжала. Поэтому женщины, идя за водой, на всякий случай вооружались кинжалами. Но достаточно было и того, чтобы женщину сопровождал черный пес. Хотя вообще-то на женщин она и не нападала. Нападала русалка исключительно на мужчин. А мужчины, считая за стыд обнажать оружие против женщины, вступали с ней в рукопашную борьбу. Только при одном условии такая рукопашная схватка заканчивалась победой для храбреца: русалку нужно было повалить на живот; на спину она, из-за вывернутых стоп, не падала.

Однажды охотник Акун-Ипа из рода Хаттов схватился с русалкой на берегу Омута; сияла луна, он победил адзызлан. «Если ты дерзнула напасть на меня, потомка витязя Хатта, то вот что тебе полагается», – сказал он, отрезал прядь от ее золотой косы и спрятал себе под шапку, таким образом, поработив ее. Русалка вспылала страстью к победителю. Она показала ему

десять пальцев, тем самым умоляя его сожительствовать с ней десять лет. Он отрицательно качнул головой, памятуя, что, если заговорит, русалка, завидующая людям, способным выражаться словами, тут же ввергнет его в немоту. Она показала ему девять пальцев, но охотник Хатт снова отказался, памятуя о долге перед юной женой, которая ждала его дома. Русалка погибала каждый раз по пальцу, но охотник кивнул в знак согласия только после того, как она показала ему перекрещенный мизинец – полгода. Затем охотник заставил ее произнести *уаишо* – нерушимую клятву, доставшуюся нам от древних хаттов – родных братьев абхазов, погибших еще в древности от учености. После чего остался на полгода жить с русалкой – ровно столько, сколько, по его представлениям, мужчина, ушедший в поход, мог отсутствовать, не вызывая подозрений со стороны юной жены. В первый же вечер он пожалел, что срок уговора по его вине столь краток, и впервые наутро охотник не приветствовал восхода солнца.

Но, живя с русалкой, он истосковался по родному дому, и как-то, то ли через шесть месяцев, то ли через шесть лет, они прибрали к его хутору и, обнявшись, уснули на крылечке амбара. Утром проснулась жена охотника и вышла к амбару набрать проса. Глазам ее предстала такая картина: русалка спала в обнимку с ее пропавшим мужем на высоком крыльце амбара, построенного на сваях. Длинные распущенные волосы русалки золотой волной ниспадали вниз, и концы их, колышимые ветерком, волочились в пыли, так что жене охотника на миг показалось, что волосы застыли, а амбар качается в разные стороны, словно на невидимом колесе. Некоторое время она стояла, печально глядя на безмятежно спящих, а потом, осторожно приподняв волосы соперницы, положила на крылечко рядом с ней и, не набрав проса, ушла в дом.

Русалка все это видела, она только притворялась спящей. Она немедленно встала и, не будя Акун-Ипа, ушла прочь, навсегда ушла из жизни супругов. После этого она никогда не беспокоила никого из рода Хаттов и открывала женщинам этого дома секреты снадобий от болезней, которые она насылала на людей и на скот. А в доме Хаттов с этих пор никогда не заводили черных псов.

И осталась она внутри своего бессмертия – легкомысленная, одинокая, лишь изредка предавалась тоске. В такие минуты она садилась на берегу Омута и бросала в мглистую воду маргаритки, наблюдая, как они медленно тонут. И все время перед ее глазами вставала одна и та же картина: женщина поднимает ее волосы и кладет рядом с ней на крылечко амбара. Она вспоминала фигуру женщины, понуро идущей к дому без проса в пустой миске. Русалка вдруг ловила себя на том, что вздрагивала, как от холода: так ей становилось стыдно в эти минуты за трехсотлетней давности женское увлечение. Но тут же быстро устав от умственного напряжения, она забывала и о женщине, и о непонятном ее поступке, выходила, прыгала в залитую луною реку и начинала плескаться в воде, наблюдая в брызгах радугу. Однако и радуга пугала ее. Смущала русалку не эта радуга, а смутное предчувствие того, что появится в ее существовании другая радуга, где все цвета будут грязнее. Русалка знала, что это будет знаком конца. Она была божеством, она была бессмертна, но знала, что вечность ее существования однажды может, остановившись, превратиться в один нескончаемый болезненный миг, подобный тому мигу, когда она вздрагивала, как от холода, от неприятного воспоминания трехвековой давности. Или что-то в этом роде. Но пока время не думало останавливаться.

Время обтекало Абхазию, особенно ее не меняя. Слава русалки затухала. Слава ее затухала и сужалась, подобно кругам на поверхности Омута. Но кругам, возвращающимся к центру, чтобы остановиться, замереть в исходной своей точке.

Только род Хаттов был всегда удачлив в охоте.

А когда отгремели залпы революции, последний эксплуататор из рода Хаттов умер на руках растроганных крестьян. Многочисленный и передовой род Гарибов, когда-то служивший Хаттам, взял на себя воспитание двух сыновей князя. Умирая, он собрал их и сказал:

– Сейчас я уйду в мир иной, там мне надо кое с кем посоветоваться: времена нынче переменчивые. Вернусь по истечении трех лет.

Прошло три года. Савлак так и не пришел оттуда. Это было первое скитание, откуда он не вернулся. И его последние слова

остались единственными, которые он не сдержал. Зато ушла эртоба, и пришла советская власть. Но надо было Хатту Савлаку сказать, что вернется он не через три года, а хотя бы семь лет спустя. Потому что протекли, как вода, три года – и ка-ак начали тут его сыновей воспитывать! Познали, бедолаги, лиха! Один из братьев, выросши, уехал в город и стал там жить. Это отец Матуты, знаменитого абрека. Другой же был в детстве уронен, остался на всю жизнь хромым, и звали его Наганом. Он был на редкость бестолковый человек, этот последний Хатт. Никакого уважения односельчан не удостоился.

Теперь пора рассказать нам о государственном деятеле и поэте Григории Лагустановиче.

В Хаттрипше его особенно любят и называют «наш дачник».

Еще ребенком привозили его к нам деревню. Бывало, бегают он по лужайке, собирает цветы, мама нежно кличет его, а Григорий Лагустанович все бегают, собирает цветы, и хоть бы раз замарал, касатик, свой белоснежный, взрослого покроя, кителик. И когда он построил у нас дом, то есть стал дачником, он заявлял, что предпочитает жить здесь, а не в городском своем жилище. «Пусть там Хасик живет с матерью, а я люблю тут, с народом», – говорил он часто, останавливаясь у чьих-нибудь ворот по пути на рыбалку.

Пока русалка сидела, который век стараясь растолковать себе поведение жены охотника Акун-Ипы, Григорий Лагустанович решил научить народ разводить зеркальных карпов. И тут его не устроило извилистое русло реки: оно проходило вдали от его участка. И вот однажды, подобно персидскому поэту Фирдоуси, выделил Григорий Лагустанович деньги на прорытие нового прямого канала, по которому вскоре побежали испуганные волны реки. Это было довольно далеко от Мутного Омута, и русалка не была потревожена в своем последнем уединении. Только в первое же наводнение река вернулась в прежнее русло, а канал вскоре превратился в болото. И в нем, прямом и длинном, заквакали лягушки – как в русле того древнего канала, на берегу которого священник Иоанн в дореволюционные времена записывал голоса лягушек. Крестьяне стали требовать от Лагустановича засыпать канал, как когда-то их предки от князя

Савлака из рода Хаттов. Григорий Лагустанович тут же нанял бульдозеры, но выкопанная земля осела настолько, что ее не хватило на обратную засыпку. Пришлось нанимать трактора с прицепами и везти с морского берега гальку. Море придвинулось еще на двести метров.

Море стало ближе, а на месте папоротников высился «обезьяний» филиал. Русалка осталась совсем одна. Часто ночами она сживала на проводах, которые приятно пощипывали ее бегущим по ним током, и при этом с неприязнью глядела на освещенное и веселое село, словно электричество провели только для ее щекотки.

Как-то утром русалка заметила человека, сидевшего с удочкой на берегу. Он был пухлый и важный, как фарфоровый божок. Казалось, он получал удовольствие не столько от рыбной ловли, сколько от того, что культурно отдыхает и дышит воздухом. Давненько русака не нападала на мужчин! Ей захотелось по-старинному созорничать, хотя стоял уже день, да и человек не казался ей привлекательным. Она подкралась к нему сзади, чтобы схватить за волосы, предвкушая, как он сейчас вскрикнет от неожиданности, а она тут же ввергнет его в немоту. Давно у нее не было жертвы. Русалка медлила. Обошла его и повисла перед ним. Рыба, между прочим, клевала, но человек в задумчивости не замечал этого.

Русалка схватила его за волосы. Увы, человек не отреагировал. Она пощекотала его под мышками. Григорий Лагустанович, а это был он, равнодушно полез в карман куртки за сигаретами. Русалка висела в воздухе, прямо перед ним. Лагустанович спокойно прикурил от серебряной зажигалки и выпустил густой дым. Дым прошел сквозь тело русалки.

Тут только русалка поняла, что не дана человеку в его ощущениях!

В эту ночь русалка напилась сока хмельных трав с берега мутной реки. Она думала о том, что утратила не только власть, но и плоть. С печалью и ужасом осознавала она, что с исчезновением последнего слабоумного, который может еще поверить в нее, который может еще ее вообразить, она перестанет существовать.

О бесшумном походе

– *Тит, Мазакуаль!*^{*} – рассердился на свою дворняжку Могель и шлепнул ее по уху.

Она оскалила было зубы, но потом вдруг заглянула парню в глаза с кротким упреком. Не выдержав собачьего взгляда, Могель смутился.

Это была умная собака: все понимала, только говорить не могла. Но сегодня, когда Могель отправлялся в путь, ей не следовало увязываться за ним вместо того, чтобы остаться со Старушкой и стеречь дом. Он ругал ее на мингрельском, русском, даже турецком языках, но, наверное, чувствуя в его голосе недостаток требовательности, собака упорно шла, то отставая, то обгоняя его. Присев на корточки, Могель стал страстно увещевать ее, напоминать о собачьем долге быть преданной дому и хозяйству и о том, как тяжело будет Старушке без птичьего мяса. Дворняга только скулила. Упорством своим она напоминала хозяина.

И тогда Могель не выдержал и поднял на нее руку. Ударил по уху. Ответный взгляд собаки был так красноречив! Она понуро побрела назад, не попрощавшись и не оборачиваясь. Могель слегка расстроился, но, тем не менее, продолжил путь с большим облегчением.

Мазакуаль была собака обычных кровей, но необыкновенная. Она умела охотиться, хотя охота ее была сомнительного характера. Бывало, уйдет с утра из дому, а вечером возвращается, гоня перед собой индейку, утку, а то и гуся. И делала это так здорово, что ни разу не была уличена хозяевами живности. Ни разу. Иногда она уводила птицу у родни. Старушка настаивала, чтобы вернули родичам краденое, но Могель бывал тверд: потерю он возмещал родственникам другими способами, а собаку заложить не мог. Так и выходила Мазакуаль на охоту, оставаясь вне подозрений. Зато ночью она, забравшись под дом, так дрыхла, что хоть все уноси.

Жаль было собаку, но дома Старушке она была нужней. Могель смахнул с себя грусть и бодро зашагал дальше.

В путь! В Абхазию, чтобы стать человеком!

^{*} Пошла, Плутовка (мингрел.).

Солнце поднялось и стало пригревать спину. Могель шел, полный сил и радостных надежд. Услыхав шум позади, он остановился.

Узкий желтый велосипед заставил его отойти к дорожному яму. Прозрачный, как стрекоза, он, казалось, парил над асфальтом. Могель зажмурился. Открыл глаза – видит то же самое: на велосипеде не кто иной, как пожилой мужчина с благообразной бородой. А по почерку езды и не скажешь: легко справляясь с вещмешком, закинутым за спину, он так прытко крутил педали, что Могелю показалось на миг, что и он, и собака пошли назад, а велосипедист застыл. Только колеса его машины, как в кино, крутились в обратную сторону.

– Бездельники! – сказал Могель, имея в виду и пожилого спортсмена, и машину. – Никакого дохода государству не приносят!

Велосипед прострекотал мимо, обдав его особым ветерком из детства. Могель пошел дальше, несомый хорошим настроением.

Могелю было за двадцать, но до сих пор он по-настоящему жить не начал: не успел ни жениться, ни переехать в Абхазию. О какой женитьбе могла идти речь, пока он оставался в деревне, – ведь ни одна достойная девушка деревни Великий Дуб и окрестностей не пожелала бы гнуть с ним спину на колхозных перцовых полях, вместо того чтобы уехать в Абхазию или в Тбилиси, как это делают все, кто может. Так и жил Могель, стоя одной ногой в деревне Великий Дуб, а другую готовый шагнуть через порог в поход на запад. И все потому, что родился позже братьев и сестер и, пока подрастал, они опередили его, уехали: старший брат в Абхазию, средний в Тбилиси, а сестры повыходили замуж, тоже кто в Абхазию, кто в Тбилиси. А на него, на младшего, оставили дом и Старушку-мать. Но в этом году он почувствовал, что, если застрянет тут еще немного и согласится на предложение стать бригадиром, тут же пойдут деньги, тут же начнет строить двухэтажный дом, займется, как и все соседи, перцовыми парниками – и тогда прощай мечта жить в прекрасной и нежной Абхазии!

И Могель поступил как настоящий мужчина. Однажды, в разгар дружеской пирушки, которую он устроил в честь приезда племянника на учебу в сельскую школу, когда было выпито столько, что сердца юных холостяков уже начинали ныть от

тоски по полноте жизни, Могель потребовал рог и, прежде чем его осушить, объявил о своем решении уехать в Сухум и назвал намеченную дату отъезда.

– *Диду, чкими цода!*^{*} – завопила Старушка, сидевшая одиноко у камина, но все слышавшая. – Сейчас поклянется он, поклянется, не дай Бог!

– Будете мешать мне – отравлюсь жидкостью БИ-58!^{**} – пригрозил Могель, подтвердив это клятвой костями своего отца. – Вот ты и будешь тут за хозяина! – обратился он к племяннику. – Будешь?

– Буду, буду, – неохотно отвечал племянник, который уже пожил на свете пятнадцать лет и не любил сантиментов.

Стало ясно, что Могель непреклонен. К тому же одно обстоятельство решительно способствовало тому, чтобы Могель с легким сердцем покинул отчий дом и престарелую Старушку-мать. Племянник его, сын старшего брата Энгештера, жившего в Сухуме и женатого на гречанке, выдался шалуном и устраивал родителям проблемы, и отец привез его в деревню, чтобы он учился в здешней школе, где дисциплина еще есть, или был бы, по крайней мере, подальше от глаз иностранных туристов. Так что если племянник не совсем законченный лоботряс, то при матери оставался почти уже мужчина, который мог присмотреть за ней и помочь по хозяйству.

Мать испуганно молчала. Она надеялась, что за время, оставшееся до объявленного сыном срока отъезда, она успеет его разжалобить, сын же решил, что как раз этого срока достаточно, чтобы мать привыкла к неизменности его решения.

– Мужским словом себя связал твой сын: не мешай ему, мать! – сказали приятели Могеля и тоже осушили рог. – В Абхазии, может быть, он сейчас нужнее, – загадочно добавили они.

– Знаю, знаю, что неймется вам, – пробурчала Старушка, но ее никто не слушал. – Тифлис заведет вас в очередной раз...

Разговор за столом зашел о политике, всеобщей страсти последнего времени. Все парни были членами «Общества Ильи»^{***}

^{*} О, горе мне! (мингрел.).

^{**} Инсектицид БИ-58 – сложный эфир фосфорной кислоты, благодаря контактному действию защищает растение от насекомых.

^{***} «Общество Ильи Чавчадзе», созданное в Грузии осенью 1987 года. Девиз Общества – «Язык. Родина. Вера».

и еще какой-то Хельсинкской группы. Но выпито было много, и уже не мечталось о будущей свободе и независимости. Хотелось браниться.

– Грузия поднимет меч! – вздыхали они, проклиная руку Москвы и сепаратистов.

О, влажная страна! О, слезами залитые пороги!

И с этого самого дня Могель стал отсчитывать дни и готовиться к отъезду. Первым делом он отказался от предложенного таки бригадирства и даже устроил на свадьбе председателевой дочери такой шумный чхуп*, что испортил себе авторитет. А когда приехали сестры поговорить с ним, он им заметил, что не сами братья приехали отговаривать его от похода на запад, а прислали сестер, зная, что сестер он не станет упрекать за то, что те вышли замуж и ушли из дома, ибо женская доля именно такова, а братьев бы упрекнул и наконец вполне решительно пригрозил, что отравится ядом БИ-58, коли не перестанут чинить ему препятствия.

И вот сегодня утром Могель обнял Старушку и ушел. Она не устраивала истерики. Она села у окна.

– Берегись абхазов, сын, – только напомнила она слабым голосом, – они хищны и многочисленны.

«Темная моя мать, как может абхазов быть много, когда их даже в автономной республике семнадцать процентов, – подумал Могель, – не говоря уже о том, что шестнадцать процентов из них составляют наши же предатели, записавшиеся абхазами из корыстных побуждений, читала бы альманах «Матиане»**, – но не стал спорить со Старушкой, а только кивнул через плечо:

– Хорошо, поберегусь!

Он вдруг почувствовал, что стоит ему обернуться к Старушке, как расчувствуется и вернется. Потому не стал оглядываться. Старушка оставалась одна. Могель понимал, что на племянника надежды было мало. Оболтус почти не сидел дома. Но как только он вышел на дорогу, дорога тут же захватила его. А Старушка села у окна. Она взяла чонгури*** и села у окна. Под дребезжание

* Драчка (мингерл.).

** «Летопись» (груз.).

*** Музыкальный инструмент народов Кавказа.

трех волос, выщипанных из хвоста трудяги-мерина, Старушка пела о влажной стране, откуда сыновья норовят уйти, чтобы в чуждых-родных краях обрести достаток и покой. Она пела о родниках, обитых камнем. И так и просидела, серебряная, весь день. Просидела всю жизнь.

О деревнях вдоль дороги

Дорога захватила Могеля. Он шел, строя личные планы и полный самых невозможных надежд. «Хорошо, что собака отвязалась», – подумал он. Окрестные жители, видя парня в коротких потертых штанах с притороченной к древку сумой, доброжелательно махали ему рукой. Они догадывались, что и этот юноша подчинился стихийному движению на запад.

Могель наяву воображал вожденный край. Одно его смущало – это сами абхазы, точнее, их сепаратизм. Несправедливость Центра устраивала их вполне, и поэтому каждый раз, когда Грузия восставала за независимость, Центр выставял против них клацающих зубами абхазов. «Ничего, приеду – разберемся», – подумал Могель, весело шагая и напевая песенку о незадачливом сватовстве:

– Арти кочи кумортубо, на!*

Эта песня неотступно сопровождала его весь поход. Он шел, бодро постукивая мозолистыми ступнями в такт песни, и полуденное солнце его не утомило и не заставило искать тени. Только ноги через некоторое время стали нестерпимо болеть от ходьбы босиком. Могель извлек из сумы новенькую обувь, которую он не собирался трогать до прибытия в Абхазию. Это были мокасины. Коробейница Эдуки, предлагая их, уверяла, что это наймоднейшая обувь, что именно в таких ходит певец Кикабидзе, только русские, показывая его по телевизору, нарочно срезают ему ноги, чтобы их женщины окончательно не сошли с ума по Бубе. Могель и тогда сказал, что все эти певцы и поэты и довели Грузию до ручки, но обувь ему понравилась. Он выложил за мокасины стольник, который тогда еще был деньгами. Мокасины эти были почти оружие. Острые носки у них были с медными наконечниками. Поэтому он хотел обуться уже входя в

* Пришел один мужчина, мать! (мингрел.).

Сухум, чтобы – с намеком. А еще мокасины мелодично поскрипывали при ходьбе. По бокам у них шли дырочки, чтобы ноги проветривались. Пошиты они были из перламутровой кожи, так что и чистить их не надо было.

Жаль было их надевать пока, но и без этого было уже поздно. Мозоли на ступнях парня успели потрескаться, обнажая мясо. Могель мог ступать легко не только по земле, но и по покрытым колючими кустарниками лесам Колхидской низменности, однако, как ни прочны были мозоли на его пятках, они все же не выдержали соприкосновения с гудроном, с химией. Поэтому идти в мокасилах стало еще тяжелее. Он разулся и спрятал их в суму. Только эта боль в ногах отравляла ему сейчас радостное шествие.

По густому раскаленному воздуху его догнала собака. Он успел о ней забыть, уверенный, что она вернулась в деревню.

– Догоняй, догоняй! – закричал Могель, пока замечая только собаку, и в голове его была ирония, смешанная с негодованием. – Пропишу тебя в центре Сухума!

Собака подошла. Она многозначительно посмотрела в глаза Хозяина. Она гнала перед собой индюка и индейку.

Что ж, вернулась, так вернулась. С собакой идти веселее, а птицы были упитанные, могли сгодиться в дороге, мало ли чего. Вот только боль в ногах. Но Могель и тут нашел выход. Сойдя на обочину, он выбрал на берегу речки замечательную глину, которой всегда славилась Колхида. Он сел на камень, обработал глину и наложил себе на ноги. Потом, уже на ногах, стал эту глину лепить, придавая ей вид обуви. По бокам нарисовал орнамент, а на месте, где на кедах эмблемы, изобразил кабанчиков с папоротником в зубах – деталь средневекового мингрельского герба.

Собака поняла, чем Хозяин занят. Она подогнала птиц, давая знать, что и они испытывают неудобство при ходьбе. Опустив свои ноги и скользя на зад, он поднялся от берега на лужайку. Тут он пригнул побег лианы, перекинул ноги через ее лозу и удобно лег, подставляя ноги палящему солнцу, тогда как верхняя часть туловища была спрятана в тени дерева. Одновременно надо было держать птиц, причем сразу двух, что было сложнее. Умная собака и тут пришла на помощь. Она налегла на птиц

и стала удерживать их в одном положении. Это было здорово. Могелю оставалось только придерживать их лапки меж пальцев. Теперь дело было за солнцем. Солнце и время сделали свое дело: пару часов спустя глина на ногах Могеля и лапках птиц затвердела и обожглась. Постелив для мягкости травы в свою новую обувь, Могель отправился дальше в путь. В путь! Теперь и ему, и птицам стало намного легче идти. Могель цокал по гудрону на глиняных ногах, а впереди цокали индейки. Легконогая собака контролировала шествие. Вскоре наступил вечер и с ним желанная прохлада.

Желая привыкать к полной самостоятельности, Могель решительно миновал все повороты к домам родственников. Жмурясь от закатного зарева, он принял решение переночевать прямо в поле. Когда окончательно стемнело, Могель нашел удобное тутовое дерево у обочины и, усевшись под ним, разулся и перекусил. Потом, сунув глиняную обувь в суму, взобрался на вершину дерева и расположился на ветви, привязавшись к ней ремнем. Птицам при окаменелых лапках было трудней взбираться на дерево, но и они справились с задачей: преодолевая ветку за веткой, они добрались-таки до уровня хозяина. Там они затихли. Собака разлеглась под деревом и немедленно стала, дура, дрыхнуть.

И было затем чудесное утро. Вдали засверкала голубая река, раскидавшая на белых камнях свои рукава. И с левого боку – море. Это была граница, за которой начинался совершенно другой мир. Там кончалась глинистая почва, там кончались болота с чахлыми ольховыми ростками, там кончалась влажная страна – и начинался вожделенный берег, где буйствовала диковинная природа, а аромат, переполнявший тот берег, рвался и сюда, но сквозняк речной долины уносил его к морю, и лишь изредка нюх улавливал мгновенное дуновение, успевающее опьянить и вскружить голову. Собака вышла вперед и побежала по мосту. Могель, подгоняя птиц, тоже прибавил шаг. Стуча глиной по мосту, он пошел сквозь толщу пьянящих запахов.

Собака за мостом вдруг остановилась, словно неожиданно наткнулась на стеклянную стену.

Это была мингрело-абхазская граница. Могель вступил на нее с песней, преображенный и хмельной. И хотя он умолк,

задыхаясь от новых ощущений, песня незадачливого жениха продолжала петься его собственным голосом, но со стороны. А когда случилось полное чудо, он уже не шел, а танцевал.

Ибо тут, на мингрело-абхазской границе, земля дрогнула под ним и, послушная его стопе, задвигалась назад. Теперь он уже не шел, а шагал на месте, подобно понтийскому циркачу на барабане, с тою только разницей, что золотое колесо барабана вместе с циркачом словно бы двигалось назад, он же, Могель, если взглядеться со стороны моря, будто бы стоял на месте. То, что открывалось со стороны моря, необходимо представить в кадре: Могель шел, а горбинка почвы под ногами, как обод золотого колеса, двигалась к нему от каждого толчка его ступни. Он шел, танцуя, словно Заратустра. С каждым шагом придвигая абхазскую землю. А мингрельская земля, уходя из-под ног, позади собиралась в гармошку. Движения его были примечательны: это была та самая грань, где кончался бег трусцой и начинался кавказский танец. А песня, которая сопровождала его всю дорогу, оказалась как нельзя более к месту. Он пел: «Один мужчина пришел и сказал мне, мать, что нашел такую девицу для меня, которая все умеет по дому, все умеет, мать!» Песня, где предвкушение любви, которая есть окончательное повзросление, целомудренно прячется. Но чувственность сквозит в задорном мотиве песни, говоря сама за себя.

И эта песня, такая сладостно-интимная, имела свойство, как и большинство южных песен, превращаться в мощный хорал, когда ее подхватывало множество голосов. Грянула эта песня, перекрывая рокот Ингура-реки, гимном пионеров новых земель, и в торжественных ее ладах вырастала энергия и напористость первопроходцев – в торжественных ладах, к которым тонким контрапунктом примешана была нотка тревоги, охватывающей при вступлении в новую жизнь. А для глядящего со стороны моря открывался вид на зеленый дол, где плясало множество юношей и дев на движущейся из-под ног земле. Они плясали по одному и группами, а иногда, странным образом, даже несколько человек на одном месте. Еще вдобавок, что было очень странно, ряды танцующих постоянно наполнялись людьми, которых несло навстречу этому танцу вместе с почвой и со всей природой, вместе

с запахами абхазской земли, ее лесами и озерами, наполнялись людьми, чьи хищные оскалы и холодные глаза выдавали абхазов. Они, поравнявшись с танцем на лугу, неловко, как с эскалатора, прыгивали с почвы и тут, притормозив, вдруг вздрагивали и меняли выражения лиц, как от укуса вампира, глаза их мгновенно теплели и хитрели, и, преобразившись и обернувшись назад, присоединялись к танцу, рвясь туда, откуда только что их принесло, и земли не узнавая.

Все умеет она, все умеет; ты ее полюбишь, моя мать!

Песнь гремела над зеленой долиной, и все ее семиголосье было слышно совокупно, но не слитно. Потом вдруг верхние голоса выделились, зафальшивили, завизжали и стали похожи на вой. Могель проснулся. И сразу грубо и резко из дионисийского ликования был переброшен в явь, в ночь, на вершину тутового дерева.

Волки были ужасны.

Это были они. Волки были уже тут, под деревом. Могель, и без того дрожавший от сырости, затрясся, затрепетал. Ему стало жаль себя. Волки видели его, хрупко привязанного к ветви. Суетясь под деревом, так что угли их глаз так и мелькали, волки клацали зубами, как абхазы.

Объятый ужасом, с дрожащими членами, не уверенный, что сумеет удержаться на дереве, Могель повис над волчьим воем и скрежетом зубов, с тоской вспоминая оставленную в одиночестве Старушку-мать. А птицы, сидевшие по соседству, даже не проснулись. Они спали на ближайшей ветке, прильнув одна к другой и спрятав головы, спокойно уверенные, что в последний момент крылья выручат. Дворняжка же, конечно, успела улизнуть, да и что она могла сделать против стаи хищников.

Могель провел жуткую ночь. Только к рассвету волки удалились. Потом с виноватой мордочкой появилась собака, невесть где прятаяшаяся. Рассвет приносил успокоение. Могель даже заснул еще немного. Когда взошло солнце, он сбросил с дерева птиц и слез сам. Разминаясь, спустился к речке, умылся и позавтракал ежевикой. До мингрело-абхазской границы было пока далеко. Она появилась лишь через несколько часов ходьбы, и перешел ее Могель спокойно, без всяких приключений и танцев.

Больше всего Могеля удивило, когда он пошел по абхазской земле, что никаких особых перемен он не ощутил, как будто продолжал шагать по Мингрелии. «А еще они клацают зубами – говорят», – подумал он. Только вот самих абхазов нигде не было видно, словно вернулись в Адыгею. Он шел целый день до темноты, а все было по-прежнему. Главное, ни одного абхаза.

Из задумки медленного вхождения в Абхазию ничего не получилось. Идея как-то себя истощила. Собака Мазакуаль первая дала знать о целесообразности воспользоваться транспортом. Процокав еще с утра весь день по такому же, как в Мингрелии, гудрону, Могель понял, что и ему это надоело.

«Вот переночую сегодня на ближайшей тутовке и завтра с утра – на автобус!» – решил он.

До сумерек оставалось несколько часов, а он уже выбрал удобную для ночлега шелковицу. Он уселся под деревом, снял глиняную обувь и спрятал в суму. Индейки быстро поднялись на дерево. Собака тут же убежала. Созерцая вечереющую окрестность, Могель запел.

О беседах у огня

Могель тихо пел, сидя под тутовкой и созерцая вечереющие окрестности. Мимо него по тропе проехала арба, груженная дровами. В арбу были впряжены два буйвола. Верхом на дровах сидели два мужика. Глаза у них так и зыркали, так и стреляли, зубы у них так и клацали – ясно было, что они абхазы. Тем не менее, Могель встал и поклонился им, как положено в сельской местности. Мужики тоже привстали на дровах, приветствуя его. Наверное, именно тогда из арбы выпал топор. Юноша заметил его, когда арба уже пересекла трассу. Могель чуть было не угодил под колеса импортной и такой шикарной машины, что она переехала бы его, не заметив. Взгляд водителя на мгновение упал на Могеля, как тень. Юношу сразу обдало холодом мчащихся мимо флюидов. Иномарка затормозила, и водитель выскочил из нее. Могель уже успел вычитать номерной код машины, потому что он был блатной и легко запоминающийся – 88-88.

Вот таким образом выглядело первое знакомство Могеля с абхазом: он стоит у трассы с топором, сверкающим под косыми

лучами заката, а абхаз, решивший, по-видимому, что парень собирался с этим топором кинуться на него, замедленным шагом идет на Могеля и на ходу нащупывает за поясом наверняка пистолет. В эту минуту Могель не стал бы просить у мгновения остановиться.

Если бы не флюиды, трудно было бы себе представить, что это знаменитый Матута Хатт. У него было невинное выражение лица, что, правда, уже издавна нарочито бросилось в глаза. И он надвигался. Могель вообще-то был не робкого десятка. Но одно дело драчки на темпераментных мингрельских свадьбах. Иное бандит с флюидами и пистолетом. Тогда как если что-то заботило Матуту в предполагаемой стрельбе, то только последующие хлопоты с органами и расходы с прокуратурой. Будучи верующим человеком, но деятельным вором, Матута задумывал за три года перед смертью собрать братву и сообщить, что отходит от черного мира, желая посвятить остаток жизни душе. Именно душе, потому что сердца у Матуты не было, оно уже сгорело в лагерях и отсидаках. Вот что угрожало Могелю у деревни вдоль трассы, где он мог стать жертвой человека, спокойно считавшего, что о своих грехах подумает не сейчас, а в те последние три года перед смертью. А каким образом он собирался отсчитать именно эти три последних года жизни? Этого Матута еще не решил.

На арбе верхом ехали Платон и Кесоу. В ответе своего топора они увидели надвигающуюся грозу. Запряженная буйволами арба стала поворачиваться, совпадая в скорости с медлительностью Матуты, который все же не спешил отягощать себя новым криминалом, хоть не боялся ни хлопот, ни расходов. Быстрее, к счастью, оказались голоса дяди и племянника.

Оба с первых же фраз дали знать Матуте, что узнают его и гордятся им. Еще дали знать, что парень просто несет им топор, который они только что выронили. Матута понял. Он понял, что Могель вовсе не мыслил нападать на него. Мощными усилиями воли, закаленной на Магадане и кое-где еще, он остановил кинетическую энергию агрессии, которая вела его тело. Однако все силы ушли на самоторможение, и для того, чтобы поздороваться с мужиками, сгладить конфуз и как-то эпизод завершить, ему

надо было включать дополнительные источники воли. Матута относился к деревне с уважением, а жителей считал земляками. Этих людей он тоже знал. Но сейчас эпизод завершать не стал. Неохота ему было включать дополнительные источники воли. Его презрительный взгляд, задержавшись на миг на Могеле, по дуге пересек арбу и ее обитателей, а сам Матута, не говоря ни слова, вернулся в машину и уехал с резкостью, которую можно показать только на легкой иномарке. Крестьяне проводили его уважительным взглядом.

– Совсем сумасшедший! – сказал Могель. Крестьяне отметили в пользу Могеля, что он вовсе не напуган, а угадав в нем по выговору мингрельца, тут же стали защитниками Матуты, пытаясь объяснить его поступок.

– У него нервы не выдерживают, вообще! – сказал сумрачно Платон. – Все органы одного Матуту выслеживают.

– Он – загнанный зверь! – воскликнул Кесоу. Дядя подозрительно покосился на него: серьезно он говорит или издевается над старшим человеком – то есть над ним. В этом он подозревал племянника постоянно.

Могель сказал, что он путник. Не сообщил только, что намеревался заночевать на шелковице, и не сказал о своих спутниках, зная, что собака сама позаботится о птицах. Приняв приглашение новых друзей, он взобрался на арбу. Теперь, когда он стал их гостем, абхазы сочли необходимым Матуту осудить.

– Мужчина создан не для того, чтобы всю жизнь недозволенным заниматься. Не должен человек быть таким, не признаю я! А он всю жизнь укрывается! – произнес Платон, направляя хворостиной буйволов.

Кесоу тоже решил воскликнуть. Он всегда восклицал, а не говорил, этот Кесоу. В отличие от Платона, сумрачного богатыря лет за шестьдесят, это был юноша с открытым лбом, с правильными чертами мужественного лица – сельский красавец и сорвиголова.

– Матута – городской абрек! – воскликнул он.

Могелю понравились новые приятели. Они, как выяснилось, везли дрова сельскому старцу Баталу. Подъехали к уединенной усадьбе, огороженной частоколом. Кесоу отпер ворота, стал перед буйволами, пятась и понукая их, и завел арбу на зеленый дворик.

К стволу дерева рядом с пацхой* были приставлены дрова, на-везенные ими за день. Это был их последний рейс, уже темнело. Их встретила старушка, дочь старика. Пока мужчины разгружали арбу, она суетилась рядом, мешая им и благодаря. Закончив дело, Платон и Кесоу стали разворачивать арбу, не внимая просьбам хозяйки зайти в дом и отдохнуть у очага. Уже у самых ворот их настиг голос самого старика Батала. Старик появился на крыльце дома, который высился на сваях рядом с апацхой. Скрюченный годами, он стоял, широко расставив ноги и опираясь на палку. Поняв, что гости отказываются войти, он крикнул голосом не-ожиданно молодым и звонким для его возраста.

– Егей! Чтоб через полчаса вы прибежали на крик о моей смерти, если не вернетесь сейчас же!

Платону и Кесоу, связанным старческой клятвой, пришлось покориться. А вообще-то они собирались и зайти, и отдохнуть, и прочее.

– Зачем беспокоить старца, – пробормотал Платон, разводя длинными руками. – И женщину зачем беспокоить! – добавил он галантно и направился в пацху, продолжая бормотать, что небольшое это дело – привезти старику дров.

– Коли зайдем – придется пить! – вздохнул-воскликнул Кесоу, что сразу насторожило его дядю: Платон пил, но пил как все, хотя жена его так не считала, а племянник мог на это намекать.

Дочь старика взбежала на крыльцо и помогла отцу сойти по лестнице вниз. Хозяин и гости по старшинству вошли вовнутрь хижины. Посередине хижины на земляном полу пылал очажный огонь. В углу у столика возилась девушка семнадцати лет. Бросив сито в миску, она обернулась и смущенно прижалась к стене.

– Как дела? – спросил ее Кесоу.

Она вспыхнула, не поднимая глаз. Могель порадовался, что перед встречей с крестьянами успел спрятать глиняную обувку в суму, так она была хороша собой, эта абхазка. Раз только, изменив своему обыкновению не поднимать глаза на мужчин, она на мгновение взглянула на Могеля, и так получилось, что взгляды их встретились. Глаза ее тут же опустились, и она еще больше зарделась.

* Плетенная из веток хижина (абх.).

В следующий момент Могеля стали представлять и, узнав его родовое имя, называть его дальних родственников и усаживать к огню. Придвинули столик.

Внучка присела у огня напротив, помешивая варево в котле. Престарелая дочь насадила на вертел индейку и стала поджаривать у огня, отстраняясь от жара угловатым плечом.

Мужчины медленно смаковали чачу в ожидании ужина. Каждый говорил о своем, не перебивая другого. Где-то притаившийся сверчок тоже пел о своем, особым объемным голосом придавая особый объем полумраку хижины. Старушка с таинственным видом, с каким она вообще говорила, стала рассказывать о своей родственнице из Великого Дуба, которую Могель отлично знал.

– Выйди, родная, кто-то пришел, – сказала вдруг она, хотя за распахнутой дверью пацхи ни собака не затыкала, ни другого шума не слышалось. Девушка воткнула рукоять лопатки в звено надочажной цепи и узкой походкой выскользнула на улицу. И Могель, и Кесоу тайком проводили ее взглядами.

Об абреках

У ворот стоял Хатт Матута. Он вышел из машины и попросил напиться.

– Заходи в дом, и мы угостим тебя вином, – сказала девушка, как подобает в таких случаях, со скромно опущенными глазами, но уверенным голосом.

– Спасибо, пусть добро к вам зайдет. Дай мне напиться, – ответил гость, очевидно приятно ощущая в горле привкус родного языка. А хотел бы ответить привычно:

– Я бы с кайфом, сеструха, но дела.

Девушка зачерпнула воды из колодца, наполнила кубышку и протянула путнику через забор. Наверное, так же чувствовала себя ее бабка, когда однажды ее попросил напиться его дед Хатт Савлак, гонимый и султаном, и царем. Наверное, и путник почувствовал себя на миг не жиганом, а усталым спешившимся всадником. Дрожа в лучистом конусе ее взгляда, он пил воду медленно и счастливо, а белой масти его «мерседес» фыркал невыключенным мотором. Затем он поблагодарил и уехал, а

девушка вернулась в дом, к котлу с мамалыгой, по дороге забыв – но не совсем забыв! – статного молодца, утолившего жажду.

– Хатт Матута был здесь, – уже знала и таинственно произнесла старушка, хотя девушка только зашла и еще ничего не сообщила.

Но никто не спросил девушку, догадалась ли она пригласить его в дом. Наверное, он должен был находиться вдали, недосыгаемый и таинственный, чтобы лучше работало воображение создающих его образ как образ современного городского абрека.

Вскоре на столе появились индейка с мамалыгой и домашнее вино. И наконец пришло время беседовать об абреке.

Когда Матута Хатт был в последний раз схвачен, его привезли на суд, где во время перерыва к нему попросилась его возлюбленная красавица-гречанка. Охрана оставила их наедине. Минут пятнадцать спустя охрана открыла дверь и сказала:

– Короче, хватит там!

Но не увидела заключенного. Только плутовка-гречанка сидела и плакала у растворенного окошка. Матута давно уже поцеловал женщину в голову и вспрыгнул в ожидавший его «москвич» с полным баком бензина. Но не растерялись органы в лице начальника опергруппы, знаменитого Коявы. Знаменитый Коява погнался за беглецом. Он рассуждал таким образом: «Обычный преступник постарается удрать по лечкопской дороге, потому что она асфальтирована. Обычные органы тоже ринутся догонять его следом по лечкопской дороге. Но преступник поумнее выберет маяцкую дорогу; она хоть и мощеная, но по ней он успеет скрыться, пока обычные органы ищут его по лечкопской дороге. Но такой умный и хитрый преступник, как Матута, учтет, что органы тоже не дураки и что они, зная о его уме, кинутся обогнать его по маяцкой дороге, и потому, – думал Коява, – преступник попытается перехитрить органы самым простым образом: он поедет именно по лечкопской дороге, будто он обычный преступник». Коява быстро это вычислил. Недаром и сам он, и его отец, и его сыновья работают в органах, и, даст Бог, внуки будут работать там же. Но, разгадав коварство Матуы, Коява на этом не остановился. Он поступил еще хитрее. Он ринулся за Матутой не по лечкопской дороге, а ринулся как раз по маяцкой. Он

решил, усыпив бдительность беглеца, который будет убежден, что его вычислили и настигают по лечкопской дороге, самому по маяцкой дороге раньше попасть на Тешин Язык. На Тешинском Языке, как известно, и маяцкая, и лечкопская дороги сходятся. Он бы там его перехватил, потому что все-таки «ЗИМ» органов быстрее любой машины, могущей быть в распоряжении Матуты.

Коява так и сделал, но скоро понял, что ошибся в расчетах. Понял, когда служебный «ЗИМ» стал нагонять преступный «москвич» именно на маяцкой дороге. Недаром Коява говаривал, что, когда перед бандитом три пути, вычислить нетрудно, какой он изберет, гораздо сложнее, когда путей только два.

Беглец его сразу заметил в зеркальце: к тому времени на наших машинах уже разрешались зеркальца, и беглецам не приходилось поминутно оглядываться. Так что Матута, выстрелом проколов Коявины шины, сумел оторваться настолько, что успел пересечь из «москвича» с неполным баком бензина в ждавшую его у дороги «победу» с полным баком, тогда как «ЗИМ» отстал так сильно, что стал догонять «победу» только на самом серпантине Тешинского Языка, а это Кояве стоило нервов, и когда Матута выстрелом проколол ему шины, то оторвался настолько, что успел пересечь в ждавшую его у дороги «Волгу» с полным баком, и, пока смертельно усталый Коява пересаживался из второго служебного «ЗИМа» в третий служебный «ЗИМ», прошло столько времени, что он опять отстал и начал настигать беглеца только на Ачандарском повороте, но в этом деле органам тоже надо такие нервы иметь, что Матута, когда выстрелом проколол ему шины, совершенно оторвался, да и не было у органов еще одного служебного «ЗИМа» в ту пору, так что беглец ушел.

Почти месяц Матута скрывался в горах. Он обрел тут покой. Почти месяц Матута сидел у костра и жарил сердце и печень подстреленного тура. И звезды, такие же, как при предках его, первом охотнике Хатте из рода Хаттов и скитальце-рыцаре Акун-Ипе, сияли над ним, когда он поднимал к небу свои разбойничьи глаза.

Обрел покой Матута и расслабился, но Коява и тут его выследил и, мало того, так бесшумно подкрался, что даже чуткий абрек не учуял органы, пока тот не подошел к нему почти на рас-

стояние выстрела. Но выстрелы не нарушили безмолвия страны гор. «Хоть ты и органы, Коява, но в тебе течет кровь абрека и я тебя уважаю, – сказал Матута. – Я поеду с тобой, и ты получишь майора». Они вместе спокойно сели у костра, доели сердце и печень тура и стали спускаться с гор. По пути органы и абрек заночевали у свана Батал-бея, который спать Матуту уложил, как абрека, на лучшей постели в зале, а Кояву, как органы, на лучшей постели, но на улице. «Мне не обидно, дорогой Батал-бей, что ты меня, как органы, укладываешь спать вне дома, но я же должен быть рядом с арестантом», – возразил ему Коява про себя. Но Матута и не думал убегать. И совершил-то он побег, только когда его доставили в Тбилиси, который Кояве не подчинялся, и за тамошний побег Коява майора не терял.

– Выпьем за Матуту, внука Хатта Савлака!

Матута тем временем ехал из деревни по трассе в самом хорошем расположении духа. Посещение деревни, встреча с красивой девушкой у колодца и безоблачный огромный закат, мчавшийся перед ним на такой же скорости, что и его «мерседес», – все это приятно взволновало его и шевельнуло в душе легкую тоску по покою и тихим радостям. И эта тоска воплотилась в конкретную мысль. Он решил основать тут цех по пошиву импортных пиджаков, чтобы быть поближе к деревне. Куски кожи можно получать из нальчикского завода искусственной кожи, надо достать еще ярлыки «Оберон» и станки «Оливетти». Финансы на себя возьмет его выдвиженец Иосиф, пробивать дело в министерстве и райисполкоме будет его выдвиженец Геронтий, а он, Матута, будет охранять новое предприятие от посягательства других жиганов, если таковые найдутся.

О надочажных цепях

В пацхе у дымного очага обо всем этом не подозревали. Дым особенно льнул к девушке, которая сидела рядом с прявшей тетушкой и держала синий клубок. Полдюжины самых необходимых тостов были мужчинами уже произнесены. Они были довольны, и женщины были довольны, что гостям уютно и хорошо. Под древнюю возню сверчка каждый говорил так, как любил говорить.

Старик рассказывал свои крамольные истории: что Хатт Савлак был истинным сыном гор, но что он не вернул украденного коня, и что потерпевший пустил в ход фараджистанский пистолет, и что поэтому того не допустили на похороны. Платон слушал и бормотал что-то сумрачно-нравоучительно-бессвязное. Дело в том, что Платон когда-то был не прочь поохотиться с арканом на чужих жеребцов, а на старости лет рассказывать об этом так же громогласно, как это делал сейчас самый почтенный старик деревни. Но Батал занимался этим до советской власти, когда это было удалством, а на долю Платона пришлось сегодняшнее время, и даже жена в первую же ночь, вообще...

– Ацыкь! Ацыкь! – восклицал старик звонким своим голосом, вспоминая, как стреляли лихие люди его времен. – Клянусь вот этой надочажной цепью!

Платон бормотал. Кесоу бросал украдкой, так же, как и Могель, взгляды на держательницу клубка.

Дочь старика, раз узнав, что в родной деревне Могеля у нее есть свойственница, в основном обращалась к нему.

– Что говорят, что говорят-то, чтобы побрить мне голову! – сказала она ему. – Завтра утром дракон поглотит солнце и будет полное затмение. Мне об этом как раз говорила Екатерина из Великого Дуба. Ты, Могель, сынок, знаешь, какая она швея! В шесть утра – полнейшее затмение!

Весть о примечательном астрономическом событии на абхазов не произвела впечатления.

– Человек должен знать, что будет с солнцем, – вежливо сказал Платон.

– Слава Богу, в светлое время живем!

– Знаю я, мне дядя Платон все объяснил, – воскликнул Кесоу.

Платон насупился. Говорить племяннику о затмении он не говорил, сам услышал от старухи только что, но и возражать было бы нелепо.

– Ой-ой-ой! – продолжала старушка, любуясь вибрирующим в ее руках веретенном. – Полное затмение – и ужас, что будут делать жабы! Мне Екатерина говорила, а ты, Могель, знаешь, как она шьет и какая у нее иголка! Жабы могут выдоить всех наших коров, и те, бедные, околеют!

– Жабы околеют, тетушка? – спросил невпопад Могель.

– Если бы жабы! – вздохнула старушка. – Коровы погибли от нечистой силы, если не подоим их раньше затмения!

Раскачиваясь из стороны в сторону, она умудрялась ровно держать веретено в вытянутой руке.

Пришел черед Платона, почти старика, поведать тоже какую-нибудь быль. Это Баталу можно было рассказывать о чем угодно – от походов князя Савлака до приключений его внука, городского абрека Матуты. Его старость, мудрость и авторитет были вне сомнения. Постоянно выглядеть старцем и народным судьей у него так же не было нужды, как ежедневно облачаться в черкеску и опоясываться кинжалом. Он это делал только в торжественные дни и в дни суда. Что же до Платона, ему как раз таки надо было самоутверждаться. Сейчас, когда выдался случай рассказать старинную быль, делать это следовало степенно, с должным благоговением к истории, как подобает старику. Саму быль он знал: его натаскал племянник во время перекуров на рубке дров.

– Дорогой Батал, я не берусь рассказывать что-то новое для тебя. Ты эту быль еще раз вспомнишь. Говорят же мудрые: «Повторение не повредит». А вот молодежь пусть слушает! – великолепно начал Платон и получил от старика полное одобрение: тот удобнее оперся о посох и сел вполоборота к очагу, вполоборота к рассказчику.

– Однажды в древности, вообще, дад, народ проснулся и увидел следы девичьих ног на свежем снегу. Следы эти вели с гор к Омуту.

Все пошло отлично. Платон рассказывал слово в слово. Тон он выдерживал по отношению к были – строгий, по отношению к вниманию старшего – уважительный. Батал внимал. Кесоу расслабился. Когда актер на подъеме, а у зрителей катарис, суфлеру можно покурить.

– Витязь Хатт из рода Хаттов возвращался домой из далеких странствий, куда он отправлялся в поисках славы, витязь Хатт, учивший народ, что вода – душа, а душа – вода. Он, что добыл из молнии огонь и дал людям Золотое колесо...

Кесоу успокоился и курил, то есть тайком любовался держательницей клубка, не опасаясь быть замеченным, потому

что все увлеклись рассказом. Только она, казалось, увлечена была не байкой Платона, а синим клубком. Румянец играл на желанной ее щеке. Ей надо было лишь свободно держать клубок в своих ручках, чтобы нитка медленно отматывалась к тетушкиному веретену. И только. Это было нехитрым делом. Кошка разнежилась у очага и поглядывала, не теряя надежды на то, что девушка клубок отложит. Тогда почему она так сосредоточенно уставилась на свой клубок? Тогда почему она ни разу не подняла головы? Даже на рассказчика исподлобья не брызнула синевою своих глаз! Значит, чувствует, плутовка, взгляд Кесоу на себе!

Но перекур пришлось прервать. Платон вдруг ка-ак выскочит из сказовой борозды, ка-ак поведет прямую речь, да еще непосредственно обращаясь к Баталу:

– Я не признаю, вообще, дад, дорогой Батал, когда недобросовестно мотыжат лен, не выпалывая сорной травы! Не мне тебя учить, дорогой Батал, но повторение не повредит: добросовестность – это состояние человека, никогда не выпускающего из поля зрения Золотую Стопу Господа...

– Не сейчас это надо вставлять! – шепотом, но прокричал в ухо Платону племянник. – Ты рассказ двигай!

Было поздно. Платона уже невозможно было вернуть в колею. «Я так считаю, я так понимаю, вообще, дад», – понес он, не в силах остановиться. Его бы одернуть, но как это сделать незаметно? А тут еще афоризм, предполагавшийся совершенно в другом месте! Старик живо отреагировал на него. Он поднял на рассказчика когда-то синие, но выцветшие с годами до серости глаза, – и успех окрылил Платона, вскружил голову. Забыв Хатта, тревожно глядящего в небо, заполненное вороньем, он перешел на прямую мудрость. Платон подвергся искушению, которого не избежали и более мудрые люди.

Даже поздний Лев Толстой перешел на скучное морализаторство, поверив, что мир внимал не его чувственному рассказу, а мудрости. Платон, как и поздний Толстой, забыл сейчас то, из-за чего Паха, который обязательно появится в нашем рассказе, иногда бывал снисходителен к отсутствию трудолюбия у своих сыновей: только то увлекательно, в чем заключена игра. Но об этом ниже.

Платон заумничал. Батал поскущел. Надо было скорей вдвора́ть его в колею. Кесоу облек свою подсказку в форме вежливого вопроса. Когда сказителя вежливо просят пояснить, это свидетельство успеха.

– Как же звали тех, кто не выпалывал сорной травы, дядя? – спросил любознательный юноша.

И Платон возьми и забудь, как звали негодяев, что не пропалывали лен и ломали виноградные лозы!

– Как их звали-то? – замешкался он, и не успел племянник подсказать, как вылетело:

– Дзондзами звали!

И только потом вспомнил, что это не то слово. Но это слово нахал уже было произнесено!

– Что это за «дзондз», про который ты уже дважды упоминаешь? – спросил Батал.

Свершилось. Слово пустило самые глубокие корни в абхазскую речь, словно женилось на вдове и получило участок.

Могель попросил слова и встал. Все встали. Попытки Могеля усадить хотя бы старика не имели успеха. Потому он решил быть кратким. Он был полон уважения и благодарности к этим дюдам, и держательница клубка тоже ощущалась рядом. Могель провозгласил здравицу за великую дружбу – нет! братство! только братство! – между великими грузинским и абхазским народами, у которых общая, оваянная веками история и между которыми враги тщетно пытаются вбить клин.

– Клинья, дядя! – воскликнул вдруг Кесоу. – Клинья же мы оставили в лесу! – В голосе его скорее была деланная тревога. Дядя почесал затылок, но потом пробормотал:

– Не мешай умному парню! Клинья найдем утром. Никто их не возьмет.

Могель привел несколько исторических примеров и декламировал стихи о лозе братства, опутавшей ствол дерева о двух ветвях. Из всего этого слушатели заключили, что он парень грамотный.

Друзья повеселели. Сумрачная речь Платона достигла абсолютной абстракции, и это было уже нравоучение без слов; речь

Кесоу же представляла собой свободный полет вдохновенной презрительности, а язык его намеков был не зол, как язык вина, лившегося из кувшинов в пиалы, тогда как все лихие горцы и похитители, все отверженные и не допущенные на похороны, открыли в рассказе старого Батала невообразимую пальбу.

– Ацыкъ! Ацыкъ! Меток был покойный Савлак, клянусь кузней!

– Не должен мужчина, вообще... Не признаю я...

– У дяди это – пережитое... Дядя прав!

А когда встали из-за стола и вышли на улицу, еще с полчаса прощались и благодарили хозяйку за хлеб и соль.

– Коров до затмения подоите, родные, – напомнила она им на прощание.

О звездопаде

Могеля забирал на ночлег Платон. Парень еще раз вспомнил про своих птиц, но понадеялся, что умная собака все сделает как надо. Когда вышли на проселочную дорогу, старик звонким голосом прокричал, чтобы они добирались до дому спокойно и умно. Платон жил рядом, его забор начинался сразу за кукурузным полем, принадлежавшим старику, только, чтобы не идти по росе, надо было сделать небольшой крюк; Кесоу – двумя усадьбами дальше. Но они поблагодарили старика и пообещали, что будут благоразумными.

– Настоящий абхазский старец! – восторженно произнес Могель.

– Отличный старик, – подтвердил Кесоу.

– Твой дед был не хуже, своим трудом жил, – наставительно, но без горячности напомнил племяннику Платон.

– Да, Ламшац был старик что надо! – согласился Кесоу.

– Тебе не положено произносить имя своего покойного деда, – заметил ему дядя, на что Кесоу миролюбиво согласился:

– Прости, дядя, выпил я лишнего!

– Что, бичо?* Почему нельзя? – спросил Могель у Кесоу.

Его интересовало все.

– Этнография, – коротко ответил Кесоу. Дядя покосился при этом слове, он не знал его значения.

Шли медленно и молчали. Было тихо, только скрипела арба и жевали буйволы. Стояла одна из тех южных ночей, когда, взгляды-

* Парень (мингрел., груз.).

ваясь в небо, усеянное такими близкими, цветущими звездами, хочется верить не в лирическое – не в то, что над нами много планет и солнц, – а в старый ясный эпос: единая земля стоит на роге быка и звездное небо – опрокинутый чан, каким оно и видится, а на краю земли, откуда через золотые ворота первый охотник Хатт из рода Хаттов проник в ночные чертоги солнца, – там стоит олень, один рог которого врос в землю, другой – в небо.

– Самая пора с арканом за семь рек! – воскликнул Кесоу.

Могель не понял, что это значит. Зато отлично понял Платон: это значило, что самая пора выходить конокраду на дело. Он невольно вообразил себе опушку леса, выглядывавшую из опушки потаенную поляну, где одинокое дерево, а под ним табун, а из табуна высвечивает желанный жеребец, а тут сверчки, а на сердце тревожно! Да что уж говорить, зря сердце растревлять! Но чу! Платон нахмурился. И забормотал: «Что это племянник все подначивает меня?! Да я его сейчас отчитаю за то, что при постороннем такие речи ведет!»

– Мы на это не способны, – продолжал Кесоу. – А Батал в свое время был джигит что надо.

Платон опять запутался.

– Наш отец был труженик! – гордо пробормотал он.

– Дядя, – заговорил Кесоу с подозрительным волнением в голосе. – А дед наш в быту был строгий, не так ли?

– Во всем, что касается обычаев, покойный был строг, вообще, – насторожился Платон.

– И вам, сыновьям, заказано было сидеть с ним за одним столом?

– А как можно сидеть за одним столом со старшим? Разве правильно это? – Платон успокоился и вернулся к сумрачно-наравоучительному тону. – Младшим в нашей семье ставили отдельный стол.

– И ни разу – ни разу! – так и не пришлось тебе сидеть и обедать с нашим дедом! – воскликнул Кесоу с грустью в голосе.

Платон задумался. Потом произнес:

– В последние годы перед кончиной твой дед как-то сказал мне и твоему отцу: «Сыновья мои, пока нет никого посторон-

него, поужинаем по-семейному; садитесь со мною за стол, хочу выпить с вами стакан; уж не жить мне долго».

Голос его дрожал от волнения, хотя он и немного играл, конечно. Волнение, вызванное святостью воспоминаний, – это необходимо. Образу старца не соответствовало только то, что шаг у него был нетвердый. Это было тем более очевидно, чем более Платон старался шагать ровнее.

– И где сидел наш дед? – благоговейно допрашивал Кесоу.

– Ты же знаешь наш большой дубовый стол на кухне. Он сидел, отец наш, белый-белый, как ангел, в голове стола.

– А вы с отцом?

– Зачем тебе все это? – насторожился было Платон, но племянник его успокоил:

– Хочу себе представить картину. Ты же знаешь, дядя, какой я дотошный.

– Да, ты – дотошный, – успокоился дядя. – Это наше фамильное, мы – пытливые. Да. Отца твоего он посадил одесную. А я все же застеснялся и сел на самом краю.

Рассказывая, Платон смешно разводил руками, словно мысленно поправлял стулья под сидевшими за тем столом.

– А как он ел, светлой памяти наш дед?

– Как он мог есть? Что за вопрос?

– Неужто ты это не запомнил, дядя!

– Я все помню. Что ты имеешь в виду?

– Наверное, быстро-быстро ел, двумя руками, чтобы поскорее насытиться и бежать в поле?

«Вообще! – Платон был возмущен. – Что ты сделаешь с этим пострелом! Изощренно подначивает, подкалывает – и все тут! Другие возвеличивают своих старших, а эти – что братнины сынки, что мои!» – клокотал он от обиды. Он даже ни слова не произнес в возражение. Еще мингрельского парня стыдился, что все это при нем. «Отец был действительно жаден до полевых работ, но об этом и так все говорят, зачем мы новыми анекдотами еще больше способствуем, вообще!» – немотствовал он сумрачно.

Кесоу взял под руку Могеля.

– Станный у нас род! – воскликнул он. – Все труды и усилия наших мужчин уходят, словно в песок.

«Это верно, но предыдущее зачем?» – немотствовал Платон.

– Вот дядя, вот этот! – продолжал Кесоу. – На войне кто языка взял по приказу генерала Дрозда? Дядя Платон. В Гданьск кто первым вошел? Полк дяди Платона. Героя Союза дали? Жди! Кто с гектара сто тонн базилика и герани вырастил и сдал государству? – Это было сказано наугад, и цифра была фантастическая, но Платон сумрачно смолчал, а Могель не разбирался в геранях и не заметил. – Кто изобрел землекопалку и в хозяйство внедрил? Дядя Платон. А Героя Соцтруда дали? Черта с два!

Платон окончательно успокоился, отдаваясь благодушному настроению, которое предоставлял ему кайф от выпитого. Он только блаженно сопел в нос и бормотал про себя. Дома его ждала еще незначительная разборка с женой.

Остановились перед железными воротами усадьбы, окруженной железной сеткой забора, что делало ее, увы, не такой уютной, как жилище старого Батала, несмотря на то, что в глубине возвышался добротный двухэтажный дом, да еще с длинной, тоже капитальной пристройкой – вместо пацхи-хижины. К дому вела такая же ровная и широкая, как у старика, лужайка. Здесь и жил Платон. Он остановил буйволов и напомнил, что гостя, то есть Могеля, возьмет к себе.

– Что-о? – попытался протестовать Кесоу, но дядя его тут же урезонил:

– Сначала ты женись, чтобы было кому готовить угощение гостю!

Кесоу опустил голову. Ему нечем было возразить. Именно сегодня как никогда он был согласен с мыслью о женитьбе. Но, смущаясь, он не забыл подчеркнуть внешним видом, что причина его смущения – неловкость перед дядей, почти старцем.

– Неплохой ты старик, дядя, но не удастся никому меня напугать! – добавил он умиленно.

Это вполне устраивало Платона.

– Ты не из тех, Кесоу, кого я не признаю за мужчин, вообще! – сказал он. И они расстались.

Платон повел арбу во двор. Когда он, кашлянув, открыл дверь пристройки, жена, возившаяся у газовой плиты, тут же сказала, не замечая еще Могеля:

– Ты вспомни, до чего довела пьянка доктора Гвазаву!

– Не признаю, когда женщина рассуждает, а никто тут не пьян, – сумрачно изрек Платон. – Гость у нас.

Жена его вытерла руки о фартук. Потом подошла к Могелю и прикоснулась губами к его плечу. Потом перекинулась с мужем парой слов на абхазском языке. Могель догадался, что Платон распоряжается отложить ритуальное угощение гостя на завтрашнее утро.

О думах во время бессонницы

Кесоу был молод и одинок. Ему некуда было спешить. Свернув с проселочной дороги, он углубился в ольшаник. Ливень нагнал его. Кесоу оскалился.

Дождь издал лишь легкий шорох в листьях и быстро промелькнул, как конокрад. Его несло неведомо откуда, а чан неба был по-прежнему безоблачным.

Ливень ушел, и снова появились светляки. На ближних болотах пели сверчки, уже полевые. Кесоу не спешил домой. Он вышел из ольшаника и снова оказался на той же проселочной дороге. Он бы зашел к Платону, чтобы если не смочь рассказать ему о том, что сейчас его переполняло, то, по крайней мере, вылить на него ушат презрительного шипения. Но его приятель-дядя уже, наверное, лег спать, отложив угощение мингрельского гостя на утро, о чем парень догадался, не увидев у Платона света и бессознательно шагая дальше, по пути, по которому они только что прошли. Кесоу был почти молод и почти одинок. Поравнявшись с уютным двориком, он подумал грешным делом: не перемахнуть ли через изгородь, не запрыгнуть ли и не заглянуть ли в окно, чтобы увидеть на миг, как спит держательница клубка с лучистым взглядом? Но ведь она совсем девчонка, устыдился он своих мыслей, хотя помнил, что сказано стариками: если кинуть в девушку папахой и она от ее тяжести не упадет, то девушку можно выдавать замуж. Только нельзя мне позволять себе такую вольность в доме почтенного старца! А похитить ее и увезти в горную деревушку? Нельзя сейчас, когда основные мужчины, и ее отец в том числе, находятся вдали, на летних пастбищах; получится, словно момент улучил. О, лучистые глаза! Лучистые

глаза над серебрящимся у огня клубком! Вы – алтарь, на котором я готов сжечь постылую свободу! Идти же домой и ложиться в одинокую постель? – нет уж, лучше побродить.

Платон, расположившись с женой валетом на широком ложе, приготовился спать, но сон не шел. Он лежал, завидуя ленивой завистью лихим людям, рыскающим с арканами по пастбищным лугам. Жена спала, чтобы быть готовой к предстоящему завтра трудовому дню. Платон, достаточно старый, чтобы быть старейшиной села, вспоминал молодость.

Когда Платон женился, свадьба, как водилось у них, у кулаков, продолжалась целую неделю. Первым не выдержал отец Платона: он сбежал в поле собирать кукурузные кочерыжки, и его насилу притащили назад, к пиршественному столу. Это племянник сочиняет, вообще, как мог почтенный старик сбежать от собственных гостей, он просто хотел часик поразмяться и вернуться к столу и гостям, которых очень любил. А что касается жениха, он, как положено по обычаю, не только не мог сидеть со всеми за столом, но должен был прятаться, чтобы не попадаться старшим на глаза.

Платон смог войти в светлицу к невесте на восьмой вечер. На восьмой вечер, читатели! Не на второй, не на третий, и даже не на седьмой. Кто не мечтал жениться на лучшей в округе девице, за которой гарцевало так много джигитов, что от их самоутверждения в армянских и греческих деревнях тревожно запирали конюшни, – тот нас не поймет. И вот: наконец, ее вырвали, и вот: она дома, и гости у него пируют неделю напролет, а он, по обычаю, прячется вдоль по околице! Первые три вечера Платон сам не показывался ни в доме, ни на широком отцовском дворе, где под навесами пировали гости, сменяя друг друга. А на четвертый вечер, как стемнело, Платон, сумрачно бормоча, что довольно уже, вообще, попытался пробраться в спальные покои для молодых, но приятели его подкараулили и стали стрелять в воздух: он получал право пировать с ними в собственном доме! И так еще несколько вечеров подряд.

Когда же, наконец, свершилось это, Платон недолго любовался заснувшей в его объятиях женой: он встал и начал одеваться. Она проснулась. Широко раскрытые глаза ее смотрели на жениха вопросительно и строго.

– Лучшего скакуна уведу я в твою честь! – прошептал он гордо.

Она молчала, но в ее молчании была требовательность, была мольба. Платон пока еще ничего не мог понять: как положено джигиту, он после полуночи отправляется уводить скакунов; что же смущает ту, ради которой это делается? Она вроде бы не похожа на тех, кто пытается удержать мужа около подола!

Он отложил аркан и присел на край ложа.

– Я не смогу есть хлеб со скотокрадом! – после долгой паузы внятно произнесла она.

– Вообще, – смутился Платон.

Перебарывая себя, потому что скромнице стыдно было разговаривать с мужем даже наедине – ей казалось, что кто-то это может увидеть! – она взяла его руку, делая это как-то тайком, и, застенчиво глядя в сторону, произнесла:

– Дай мне слово, что будешь стахановцем!

– Вообще!

– Ты можешь это! Ты все можешь: ты самый-самый! – И даже добавила: – У меня!

«Ты – самый-самый у меня!» – вот как она сказала.

И что ты будешь делать, читатель? Конокрадство стало лишь красивой мечтой. Много-много лет прошло. Платон уже уважаемый в деревне старец! Спи, Платон, и о лихих делах думать не смей! У других жены такие понятливые и патриархальные! Или думаешь ты, читатель, что алчен Платон? Что не хватает у него собственного табуна? Что ему непременно чужих лошадей подавай?! Он же потому хотел увести скакуна, чтобы жена еще больше гордилась им, вообще! Стахановцем-то он стал, как этого она хотела, но счастья нет. Как у человека, который мечтал быть одним, да стал другим. Кто-то, допустим, мечтал быть артистом, пусть нищим, но артистом, в театре, а стал дельцом, раскрутился, но нравственного удовлетворения нет, – и приходится воровать еще больше! Так Платон и постарел с мечтой о конокрадстве... светлой мечтой. Разве что, как этой ночью, взгрустнется порой.

– Если бы мужчина изначально был таким, в кого его переделывает жена, разве бы она вышла за него!

Жениха подавай ей лихого, а мужа – стахановца. Платон нащупал руку жены и погладил ее своей мозолистой ладонью. Она во сне улыбнулась, однако руку решительно отодвинула: завтра предстоял трудный день, надо было отдохнуть!

Сегодняшняя ночь для всех была бессонной. Так, наверное, бывает в ночь перед солнечным затмением. Духи, что вселяются в жаб и выдаивают молоко коров, – что им стоит доброго человека лишить сна! Могель тоже не спал и все ворочался в постели. Как там собака, справилась ли она с птицами? Найдет ли он ее завтра или найдет ли она его? Хотя понимал, что Мазакуаль прекрасно справится с птицами, а завтра же утром сама хозяйина отыщет – и не потому ему не спится. А гостеприимные хозяева – не проспят ли они затмения? А вдруг жабы выдают их коров?

И опять сознавал хитрый Могель, что не это причина странного волнения, его охватившего. «Вот этого мне сейчас не хватало», – встревожился он. Сегодня, когда в недавно опубликованном манифесте борьбы с сепаратистами даны четкие раскладки, какими надо быть и что надо делать грузинским патриотам, ибо, вдохновленные Центром, абхазские сепаратисты перешли на открытое клацанье зубов, – он, Могель, вдруг ослеплен страстью к абхазке, как сентябрьская перепелка – фонарем!

Но и эти доводы были ничтожны в сравнении с тем, что плескалось и переливалось в душе одинокого Меджнуна*. Увижу ли я завтра эту абхазку? Не сказать ли поутру дяде Платону, будто что-то забыл у старика? Но что? Будем надеяться, что с рассветом явится собака и придумает какую-нибудь хитрость. Но далек был рассвет, и время не шло.

«Все умеет по дому, ты ее полюбишь, моя мать», – чуть не вслух запел Могель.

О тайнах ночи

Пройдя лесом, Кесоу вышел к железнодорожной насыпи платформы. Тут он мигом преобразился, как бы перешел на нелегальное положение, и, когда, пригнувшись, перескакивал насыпь, только тень его успела промелькнуть. Нырнул в заросли, прошел еще немного, отлично ориентируясь в темноте, и нашел тех, кого искал. Там притаились Ника, сын последнего Хатта, и его гость из райцентра Очамчиры. Почему Ника, какие победы он одержал, спросит читатель, если скромность не позволит задать

* Наричательное название влюбленного по имени героя поэмы азербайджанского поэта Физулы (1494–1556) «Лейли и Меджнун».

первый, закономерный вопрос: почему этот Ника вместе с гостем прячется в зарослях вместо того, чтобы дома, в соответствии с обычаями, прилюдно угощать его индейкой и вином?

Сына последнего Хатта звали Никой потому, что он по паспорту был Николай, и ничего общего с греческой богиней не имело его блатное прозвище. Но парень он был необычный, как бы созданный самой природой бомбить товарные вагоны. Внешностью обладал он неопределенной, какою и должна быть внешность в темноте. Днем его почти никто не видел, пока не началась война. Он не бывал на людях и не ходил в школу. То есть где-то там, в каких-то интернатах, он все-таки учился, но в родной деревне никуда не выходил. Выглядел он маленьким и щуплым, хотя был роста выше среднего и достаточно крепок при своей худобе. Казался уродливым, хотя лицо его было даже красиво, просто не рассчитано на рассеянное дневное освещение. Античное лицо: этаким античным уродцем, римский барчук периода вырождения. Более трех слов одновременно он не произносил, так что было неясно, обладает ли парень членораздельной речью. На самом деле знал все языки, необходимые для воровской жизни: и мингрельский, и грузинский, и греческий, и армянский, даже цыганский, и, конечно же, свой абхазский, не говоря уже о русском. Никто не слышал его голоса, потому что говорить ему приходилось шепотом. Но и голос у него был... Однако мы увлеклись, не пропустить бы поезда!

Нет, товарняк пропустить мы не можем. Длинный состав, следовавший из России в Грузию, имел встречного в Очамчире. Он должен был стоять некоторое время. Если Ника мог открыть беззвучно любой вагон, Кесоу безошибочно знал, с сопровождением вагон или без, а также *сыпучка* в нем или *товар*. Товарняк остановился. Послали очамчырца на уточнение. Результат разведки лишь подтвердил то, что Кесоу знал: в большинстве вагонов была сыпучка, то есть или цемент, или минудобрения, на кар не нужные им, и еще в двух вагонах, где товар лежал, было сопровождение, а вот четвертый от локомотива можно было брать. Вагоны с охраной были далеко, но приятели перешли на еще более низкий шепот. Необходимо было действовать осторожно, воевать с охраной никто не собирался.

За зарослями была поляна, а за поляной Омут неподалеку от устья реки. Оттуда то и дело раздавался странный свист, но он не насторожил поделщиков. Только раз Ника, по своему обыкновению беззвучно хохоча, указал Кесоу в сторону Омута. Кесоу равнодушно обернулся туда и ухмыльнулся. Это свистела дура-русалка, купаясь в своем водоеме. Она надоела им своими ночными свистами. Даже Ника оставался к ней холоден, несмотря на то, что благодаря ей он был удачлив в охоте.

– Лишь бы Паха не обломал... В вагоне – туфли.

– «Цебо», я надеюсь?

Они почти не говорили, так тихо шептали в тишине. Кесоу напрягся. Засвистела русалка.

– Кажется, да... Не могу точно разглядеть.

– «Цебо». Хачик спрашивал.

Тем временем очамчирский подал знак. Раздвигая заросли Кесоу и Ника пошли поточнее – над щебнем. Звезда сорвалась и полетела по отвесному небу. Из двух вагонов, которые лишь наметанный взгляд мог отличить от тех, что везли сыпучку, как куколки из кокона, высвечивалось вооруженное сопровождение. Звезда пересекла ковш Большой Медведицы и погасла. Друзья, не сговариваясь, загадали на падающую звезду, чтобы вагон вез обувь фирмы «Цебо». «Цебо» с руками и с ногами брали что Хачик, что цыганский барон Бомбора, что «комсомольцы».

Ника прильнул к двери вагона. Было тихо. Необходимый минимум информации поделщики сообщили друг другу, благоговейно блюдя тишину. Каждое движение, которое могло эту тишину спугнуть, однако не спугивало, было подобно нежному прикосновению подушечек пальцев к ланитам возлюбленной. Именно нежно прикасаясь к металлу подушечками пальцев, как Владимир Горовиц к клавишам «стейнвея», Ника стал срывать – нет, какое там срывать! это слишком резко сказано, – стал отделять, отколупывать пломбочку. Тишина. Массивная дверь, катясь на роликах, по всем законам физики должна была чуть-чуть заскрипеть, но ни чуть-чуть, ни вообще не заскрипела; Ника, чутким ухом прильнув к ней, отворил ее почти на полметра – и вот они там и вот они *оттуда сюда* приветливо заулыбались из глубины вагона, коробки с туфлями. Какой же фирмы? Тише!

И именно в этот момент вся эта благоговейная тишина была разбита в пух и прах и к ядреной бабушке! Паха пошел.

Совершенно не таясь, как средь бела дня, Паха шагал по самой середине дороги, ведущей к платформе, громыхая пустой тачкой. Ему был нужен цемент – и все тут! Он не только тачкой громыхал, он еще громко-громко бранил двух своих сынков, которые шли с ним: и когда обгоняли – бранил, и когда отставали. Он шел не как на дело, а совершенно открыто, гордо и восторженно. Так шли в колхоз в первые годы коллективизации. Так возвращался с базара трудящийся Востока в первые годы советизации. Паха шел, чертыхаясь на детей и гремя по мостовой тележкой. Только бодрого восхода над пашней для полноты картины не хватало в этом шествии. Буднично, словно дело это было такое, что законнее и быть не может, он подъехал к первому же вагону, как нарочно наиболее освещенному, и, ругая детей, чтобы, лоботрясы, обормоты, не смели уходить, с грохотом заехал тачкой под вагон, привычно орудуя ломом, сорвал с двери пломбу, и дверь – куда на кар денется – жалобно заскрипев, сдалась. Цемент густо хлынул оттуда, мигом накрыл тачку и продолжал сыпаться. Сопровождение этого не видеть не могло; выйдя из оцепенения, в которое на минуту ввергла их эта форменная наглость, менты открыли автоматную стрельбу в воздух. Они знали Паху и убивать его не собирались, – все мы люди: кто не понимает, что каждому надо жить. А задерживать Паху было бесчеловечно, потому как взять с него нечего, зря пропадет.

Паха буднично, лениво залег в канаву, браня детей и требуя, чтобы они проделали то же самое. Когда же поезд загрохотал и задрожал, приготовившись тронуться, из распаханного вагона посыпалось еще цементу, хотя Пахе больше не нужно было: ему хватало одной тачки. А за бортом оказалось сыпучки не меньше тонны. Завтра его разберут законопослушные колхозники, осуждая Паху.

Как Паха сразу подошел к вагону, который вез не товар, на кар ему не нужный, потому что он не преступник? Как узнал, где именно цемент, а не суперфосфат, например? Ему просто везло, как и в лотерее, о чем ниже. «Ау, ядри его бабу» – суперфосфат ведь тоже нужен ему. «Оболтусы, лоботрясы, бездельники, хоть бы напомнили», – заорал он на детей.

Паха обломал... Но он обламывал подельников не так часто, чтобы они могли рассердиться и что-то против него предпринять. Паха был сосед, свой человек. И где он еще взял бы цемента! «У него семья, он дом строит, он дурачок, его все норовят только обмануть!» Так что друзья лишь поворчали, вынимая из запасников свои голоса, потому что под стрекот автоматных очередей шептаться смысла не было.

Договорились встретиться к четырехчасовому ереванскому товарняку. К этому времени работягу Паху должен был сморить сон. А провожать глазами вагон с уже вскрытой дверью и с дразнящими коробками «цебо» внутри у них не было ни сил, ни желания. И они разошлись кто куда, не досмотрев, удрал ли Паха с детьми, бросив тачку на потом, или остался смотреть из засады, как сопровождение справляется с дверью, которую он выломал.

Кесоу, оставив приятелей, вышел на дорогу и тут же перестал таиться, легализовался. Было около одиннадцати, и никому не могло показаться странным, что парень гуляет по родной деревне. Кесоу задумался: куда же пойти? До четырех утра было еще много времени, а чтобы убить время – в деревне всегда выбор небогат. Пойти к турчанке около вокзала, в филиал Обезьянней Академии или к актерам театра Ленинского комсомола.

О целесообразности подвига

– Ничего себе: выбор мал! Ничего себе: деревня! – воскликнет иной читатель. Хочешь турчанку – пожалуйста, а не хочешь турчанки, на тебе «обезьяний» филиал, а нет – и того лучше: театр Ленкома!

Все гораздо скромнее. Кесоу решил найти своего нового приятеля Лодкина, которого он устроил у старушки турчанки, чтобы Лодкин был от пляжа недалеко и к народу поближе. Скромный «обезьяний» филиал находился на берегу моря, а когда мы говорим: Ленком – это не означает, что сейчас читатели увидят самого Марка Захарова с пылающим партбилетом. Но Юнону они увидеть смогут, Юнону Павловну Петрушко-Дрозд. Потому что речь идет о ТЮЗе из Днепродзержинска.

Десяток артистов этого театра вместе со своим режиссером полный месяц отдыхали в деревне дикарями. Артисты сняли дом

на самом берегу моря. Сегодня у них были проводы режиссера, вынужденного отъехать на неделю раньше. Лодкин сказал, что там будет весело, и звал Кесоу.

Справили отвальную как надо, с поросенком. Попрощавшись и попросив не нарушать застолья, режиссер только что ушел с провожающим его начальством из местного министерства. Проводив его, вернулись к столу. Застолье продолжалось. Поросенок был съеден едва ли не наполовину. Гул стоял как в классе, когда посередине урока учитель выходит на несколько минут, попросив не шуметь. Близился к концу славный отдых, как и само лето. Однако в распоряжении друзей была еще целая неделя. Погода стояла отличная. Можно было целыми днями нежиться на песке, делая уединение лишь с коровками да с лошадками, изредка забредавшими на пустынный пляж. Дешевого, но доброго вина у хозяина было море разлитое, так же как и пламенной фруктовой чачи. Так что тем, кто не захотел присоединиться к этим десяти, предпочтя помпезную Пицунду, еще предстояло им позавидовать, когда они узнают из рассказов об удавшемся отдыхе. Весь вечер ребята забавлялись тем, что попеременно пародировали напыщенные тосты в стиле «Кавказской пленницы». Импровизации сыпались на представителей министерства, которые каждый раз были вынуждены отшучиваться, прежде чем произнести здравицу, которую они, как хозяева, не произнести не могли. Когда они удалились, шутки, освобожденные от цензуры, стали чаще и темпераментнее, почему довольно скоро приелись компании. Веселье уже миновало свой апогей, артисты подустали. К приходу Кесоу компания еще шумела, но уже непроизвольно начинала распадаться на группы.

Только Лодкин, притулившись в углу особняком, казалось, не замечал всеобщего веселья. Он весь ушел в свои думы, лишь изредка бросая украдкой взгляд своих печальных глаз в сторону Юноны Павловны, звонко хохотавшей в противоположном углу шуткам старого актера Крачковского. Сидел Лодкин, безучастный и отрешенный, вежливо отклоняя все призывы друзей присоединиться к их играм ума. Юнона внимала почтенному демиургу, но по еле заметному вздрагиванию желваков и румянцу на ланитах ее можно было догадаться, что знает красавица о тех

коротких взглядах, которые посылал в ее сторону Лодкин время от времени. Лодкин был смущен. Он приехал сюда работать, каждый день у него был расписан по часам, с абхазским населением складывалось взаимопонимание, деревенский мудрец и авторитет Платон ему благоволил, а тут Лодкин совершенно не к месту и не в пору влюбился. Он влюбился в Юнону.

Щурясь от яркого света и табачного дыма, Кесоу направился к Лодкину. Тот приветствовал товарища, приглашая разделить с ним его уединение. Между тем с приходом новичка компания, распавшаяся было на группы, снова оживилась и стала объединяться. Сейчас новичка ждал розыгрыш. Как только юноша возьмет предложенную ему чарку, чтобы что-нибудь пробормотать и скорее выпить, все неожиданно замолкнет, все взгляды обратятся на него, и он, тем более о давешних шутках не ведающий, будет поставлен перед необходимостью сказать кавказский тост, – и чем серьезнее он будет говорить, тем забавнее будет тост звучать.

Так и сделали. Через минуту Кесоу держал чарку. С искренней миной, состроить которую для актера – дело нехитрое, с разных сторон к нему обратились просьбы произнести тост. Что же, кавказскому человеку это и Бог велел.

– Мы все, все вас просим, – сказала капризная Юнона.

Кесоу встал. Все замолчали.

– Есть в горах у меня знакомый чабан, – начал он.

«Чабан, баран, шашлык, курдюк!» Актеры сдерживали смех, чтобы не обидеть юношу: ведь он начал как раз с вычурного зачина, который весь вечер пародировался.

Но юноша тоже был хорош. Он все слышал, заходя, потому что умел шагать бесшумно и без следов. «Ведете себя, господа, словно из театра человека с пылающим партбилетом, а режиссер-то ваш, я видел, как он улыбался, выходя, местному министерскому начальству», – подумал он, будто по режиссеру можно судить о целом творческом коллективе или кто-то улыбался министерскому начальству меньше человека с пылающим партбилетом. Вообще, как сказал бы Платон, устаешь от такого человека, как Кесоу. Но раз начали сцену с его участием, надо дорассказать.

– Есть у меня знакомый чабан, которому сто восемьдесят лет...

«Сто восемьдесят лет. Известное кавказское долгожительство среди кунаков, кизячного дыма и саклей!»

– ...который признался мне, – продолжал юноша, – что в его скромном балагане на Рице побывал выдающийся украинский советский актер Крачковский!

– Не только был, молодой человек, но и поднялся туда на велосипеде! – охотно отозвался демиург. – А мне уже стукнуло восемьдесят четыре года! – И уже готов был рассказать о замечательном путешествии к горному озеру, но, с одной стороны, местный парень произносил тост, а, с другой стороны, все ждали момента, когда первый не выдержит и рассмеется, давая карт-бланш остальным.

– Моего друга чабана...– продолжал парень.

«Моего друга чабана!»

– Моего друга, мудрого чабана, очень растрогало ваше нежное отношение к животным.

– К баранам? – полюбопытствовал старый актер.

– Нет, к кошкам, – серьезно ответил Кесоу. – Чабан рассказывал мне, а я объяснил ему, что вы – лучший исполнитель роли Луначарского...

Это было правдой, хотя в свете нынешних преобразований правда эта уже звучала непрестижно.

– Так что же рассказывал ваш чабан? – спросил старый актер, и вопрос этот прозвучал почти невежливо.

А Кесоу только этого и хотел. «Загораετε на морском шельфе, принадлежавшем моему деду, мне дядя Платон об этом говорил, что это так, и, сколько ни хожу мимо, ни разу не пограбил, а вы, как я только шагнул через ваш порог, всем творческим коллективом кинулись меня подкалывать», – подумал Кесоу.

– Мой друг чабан рассказывал, что известный актер трогательно и ласково прижал к груди и целовал его кота, который перед этим поймал и съел семьдесят семь полевых мышей.

Актеры засмущались. Кто-то зааплодировал. Это тоже было невежливо, но уже по отношению к Крачковскому. Кто-то хлопал Кесоу по плечу. Стало ясно, что он их переиграл. Что он не такой простак, каким его представляли.

– Друзья, позвольте представить вам моего друга Кесоу! – встал и произнес Лодкин. – Он поэт и студент Литинститута.

Кесоу представился именно так при знакомстве с ним.

Тут компания опять распалась. Разбитной и со столичным нахальством, абориген уже был менее интересен. И сам Кесоу подумал, что мог обидеть почтенного демиурга. Тот действительно приуныл и уже не развлекал Юнону. Кесоу, вежливо попросив разрешения, подсел к ним, осведомился, не обидел ли он глубокоуважаемого им человека, вспомнил еще несколько его ролей, о которых третьего дня рассказала Юнона, и вконец помирился с ним. Но тут Юнона начала с ним заигрывать, плутовка, что заставило Лодкина еще больше загрустить. А четыре часа были еще далеко. Кесоу налег на вино.

Но все же расстались друзьями. Лодкин вышел проводить Кесоу, но у ворот тот стал отговаривать приятеля от поздней прогулки. Время уже позднее, да и сыро, сказал он другу. Но Лодкин настаивал на прогулке, потому что перед этим в темноту нырнула Юнона Пвловна. Она любила ночные купания. Он хотел ее найти на пляже. А Кесоу подумал: «Ладно, пусть будет лишний свидетель возмездия, которому дано свершиться в эту ночь!» Захмелев от выпитого и имея до четырех часов еще время, Кесоу решил сегодня же проучить обезьяну Спартак.

В филиале Обезьяньей Академии, который располагался тут же, на берегу моря, шимпанзе Спартак использовался как самец-провокатор. Что в научном институте в Сухуме, смешно прозванной в народе Обезьяньей Академией, обезьяны использовались в качестве подопытных животных и их заражали различными вирусами, искусственно вызывая в человекообразных существах различные человеческие недуги от венерических болезней до онкологических, – это, по крайней мере, в Абхазии ни для кого не было секретом. Хатт Матута даже как-то *приписал деньги* с директора института академика Массикота, но потом его попросили больше не повторять этого, потому что почтенный академик обещал построить для Хаттрипша Дворец культуры. Но особенно возмутительно было то, чем занимались в этом самом филиале. Тут на примере обезьян изучался инфаркт миокарда в его различных проявлениях. Шимпанзе – наиболее близкие к человеку приматы. Они однолюбы и моногамы. То есть у каждо-

го самца есть своя самка, одна на всю жизнь. Пары проживают вместе в отдельных вольерах. Стоит ли говорить, что строение сердца у шимпанзе аналогично строению человеческого сердца.

И вот ученые создавали ситуацию, при которой примат искусственно доводился до инфаркта. Это называлось «квази-адюльтеро-эффект». Для этого самку отнимали у самца и закидывали в вольер к Спартаку. Самец оставался рядом, в «прозрачном» сетчатом вольере. В итоге самца хватал инфаркт, и его тут же уносили в лабораторную палату.

Все работы обезьяньего института проводились совместно с коллегами из какого-то американского университета. Там, в Америке, опыты над животными, тем более приматами, запрещены их законами, поэтому янки служили науке, проводя выездные исследования.

Но сегодня пришел день возмездия! Точнее, ночь...

История возмутила Лодкина. Он обещал Кесоу по прибытии в столицу рассказать о ней другу-журналисту, известному своими газетными разоблачениями. Его напугала решительность приятеля устроить над самым-провокатором самосуд, и немедленно. Приятель уже срезал и готовил сук, как Мцыри. «Шимпанзе – сильные и ловкие животные», – пояснял он, заостря рогатые концы сука ножом. Кесоу рассказал о фильме про карате, где сэнсэй, чтобы высмотреть у шимпанзе прием *маваши*, сажает ее в клетку с коброй. «Обезьяна сначала пытается убежать, но, поняв, что заперта и может рассчитывать лишь на себя, принимает бой и побеждает, используя прием, который и выследил сэнсэй, чтобы сделать свою школу *сито-рю* еще более могущественной».

Так, разлагольствуя, он изготовил рогатку с заостренными концами. Филиал становится все ближе.

– Вот он, негодяй! Сейчас он у меня получит за поругание чужих жен! – уже указывал на вольер в дальнем углу хладнокровный дикарь.

Никакого желания ни принимать участие в этом опасном, вместе с тем сомнительном бою, ни быть свидетелем Лодкин не имел. Он поежился от сырости и начал отставать. Он попросту не прибавил шага, когда Кесоу заторопился. Он еще раз попытался остановить парня, окликнув его, но тот его уже не слышал.

Жаль зайца, которого выследил парящий в вышине орел. Но жаль и орла, если он, вдруг залюбовавшись красотами, открывающимися ему с высоты его парения, упустит завтрак.

Но тут внимание Лодкина было отвлечено зрелищем, которое заставило его оставить Кесоу и свои думы.

Обнаженная Юнона, распустив свои пышные волосы, стояла на берегу Омута. Ее лишенный загара зад призывно фосфоресцировал в темноте.

Лодкин поспешил к актрисе. Но, добежав до Омута, остановился в недоумении. Станным образом купальщицы след простыл. Лодкин остался стоять над Омутком, полный ревности и страсти.

А той, чей зад в неверных тенях ночи он принял за родной Юнонин, была русалка. Заметив мужчину, да еще и не язычника, который направлялся к Омуту с самыми решительными намерениями, так что космы его разметались на бегу, она забыла в панике о своих чарах и спряталась в гущу прибрежного ивняка.

Кесоу приближался к вольеру Спартака, как Мцыри к барсу.

Могучий барс. Сырую кость / Он грыз и весело визжал; / То взор кровавый устремлял, / Мотая ласково хвостом, / На полный месяц, – и на нем / Шерсть отливала серебром. / Я ждал, схватив рогатый сук, / Минуту битвы; сердце вдруг / Зажглося жаждою борьбы...

... в преддверии подвига, который не всегда целесообразен.

Мы не меньше сочувствуем животному, чем Лодкин, но правильно ли отворачиваться от того, чего предотвратить не можем? И все-таки описывать славный бой не станем, опасаясь экологов, просто скажем, что Спартак остался жив, а жестоким результатом боя стало то, что он больше не сможет быть самцом-provocatorem, хотя и просто самцом тоже быть не сможет. Кесоу победил. А теперь о целесообразности подвига.

Орел, залюбовавшийся красотами, не поймает зайца. Но именно заяц в неподвижном ландшафте интересовал орла в это утро. Однако хищник рисковал потерять добычу, потому что на плато вдруг появился не менее зоркий и не менее ловкий охотник – Акун-Ипа Хатт Савлак. Он искал туров, а не зайцев, но и такую добычу вряд ли бы упустил.

Тем не менее орел все же удалился с вожаком зайцем в когтях, потому что в следующий миг внимание охотника отвлекла картина, возмущившая все существо рыцаря. Он заметил женщину всех достоинств юности и красоты в плену у отвратительного медведя.

Прежде, встретившись с косолапым, охотник любил помериться с ним силою и вступал в рукопашную. Но сейчас он был настолько возмущен, что не выдержал и издал поразил стрелой гнусного насильника. Теперь ему предстояло самое неприятное: выслушать благодарность спасенной. А дева распустила волосы, подняла к небу руки и воскликнула:

– Будь проклят Акун-Ипа, ты же сделал меня вдовой!

О чадолюбии

Паха, хоть и называл сыновей лодырями и лоботрясами, такими их не считал. Чем ему особенно могли помочь сосунки, если одному одиннадцать лет, а другому семь. Просто ему хотелось с детства приучить их к труду, чтобы знали, что жизнь – штука непростая. Шел ли он спозаранку в поле либо ночью вскрывать вагон или склад обезьяньего филиала, Паха желал, чтобы дети были с ним. Вроде они слушались, вроде шли без разговоров в любое время дня и ночи, но хотелось, чтобы порасторопнее, чтобы с огоньком, ядри их бабушку. Паха любил своих детей. Даже гордился ими. Даже чувствовал, что они во всем превзойдут его, если перестанут лоботрясничать, лодыри, негодники, лежебоки! Они уже закрывали рты. А сам Паха рот забывал закрыть и страдал от этого. Покойники родители тоже были такие. Дети же молодцы, всегда рты закрытыми держали. Это они в маму, она тоже молодцом. Паха же сам, когда ему грубо скажут: «Эй, хлеборезку прикрой, а то муха влетит!» – только тогда, бывало, хватится, что стоит с открытой пастью. Ребятишки же, сколько ни присматривал за ними, рты имели в основном закрытые.

А почему все, что они делали с ним, – делали, лодыри, без охоты, – это Паха понимал, когда не нервничал. Для него вынуть из поезда или в филиале стащить материал, необходимый в хозяйстве, было, конечно же, удовольствие несказанное. Потому что он знал, что всего этого нигде не купит и никто просто ничего

ему не даст. В филиале он, между прочим, даже маленький телевизор стащил, чудной такой, называется Ай-Би-Эм. Подставка под него тоже была, четырехугольная такая, но Паха ее брать не стал. Только этот телевизор он не смог включить, и соседи тоже не смогли.

Но дети-то мыслят по-другому. Для детей любое занятие должно быть игрой, а любой результат усилий должен венчаться наградой. Что им за радость завладеть арматурой или цементом. Что за радость – мотыжить день-деньской. Вот вспашку и культивацию они любили: приятно идти впереди лошади (игра), а в конце работы водить лошадь на купанье к водоему (награда).

Паха хотел, чтобы пацаны лошадь купать водили по очереди: сначала один, потом другой, а не так, чтобы сначала один, потом тоже он самый, а второй, чтобы ревел. Только каждый раз, когда он вручал уздечку одному, другой начинал визжать, что сейчас его очередь, а тот, кому он вручал, – тоже в визг, что он постоянно ущемляется. Любя обоих одинаково, отец начинал путаться. Если бы у него было три сына, запомнить было бы несложно, кто в прошлый раз, кому сейчас, кто на очереди. Сложно запомнить, когда детей двое, точно так же, как вечно путаешь, где правая рука, а где левая. Паха сожалел, что у него не три сына.

Так начальник опергруппы знаменитый Коява-старший, бывало, если преследуемый им бандит из трех путей выбирал один, сразу мог вычислить, какой этот бандит выбрал путь, но труднее приходилось Кояве, если этих путей было два.

В жизни детишек, в общем-то, было мало радости. Разве когда крутили барабан и зерна вытаскивали. Это Паха понимал отлично. Но и тогда, – если с сериями все шло мирно, потому что серий было две и сыновей двое, – то при вытаскивании номеров не обходилось без концерта, потому что одному приходилось вытаскивать три зернышка, другому четыре, а Паха опять не помнил, кто вытаскивал больше зерен в прошлый раз и кому следует сейчас. Он жалел, что у него не три сына, хотя опять же семь не делится на три.

Вращающийся барабан, точь-в-точь как в телевизоре, Паха смастерил сам. В него он помещал кукурузные зернышки с

цифрами и буквами, потом кричал на детей и бранил их, чтобы они, негодники, скорее вытаскивали два зернышка с сериями и семь с номерами. И вот он уже знал билеты с выигрышем. Если ему удавалось на райцентровском базаре отыскать билет с нужным номером и серией, он его приобретал за тридцать копеек, и при розыгрыше на этот билет попадал выигрыш. Задача состояла в том, чтобы нужный билетик грузинской лотереи продавался именно в нашем райцентре. Но, согласитесь, легче найти билет, когда ты его знаешь. Его стали спрашивать: «Ну что? что?» Он отвечал уклончиво: больших, дескать, ценностей не выигрываю, но семья не бедствует. Один раз попался велосипед. Получил и ездит. В деревне ему поверили и стали помогать. На базаре тоже помогали. Когда выиграл «ФЭД» и взял деньгами, половину суммы продавщице Шушанике отстегнул, помогала в поисках. Искали все. Но билет вылавливался редко. Паха ни от кого не скрывал номера-серии билета. Он был убежден, что его не обманывают, потому что, если бы кто выиграл, он бы знал. О том, что могли выиграть, получить деньгами и утаить от него, простак не задумывался. А почему бы нет; богатели ведь, хоть и вкалывали по жизни меньше, чем он.

Но помогали. Кончилось тем, что все искали нужную лотейку Пахе, а прочие номера никто и не брал. Дважды чуть не поймал «запорожец». Пахе везло, но не везло району. Нужный билет был заранее известен, но в район не попадал. Только прочитав в «Заре Востока» тираж, он вздыхал, и с ним вместе вздыхало все большее количество людей.

Паха вздыхал не от жадности, а потому, что видел, какие у него фартовые дети, а всем обделены. Он даже не мог сделать, чтобы дети его попробовали мороженое. Хоть бы он не рассказывал им, какое это лакомство! Как назло, он вспоминал о мороженом, только случаясь в райцентре и поравнявшись с лотком. Адонести до дома это мороженое ему никак не удавалось. По дороге оно начинало таять. Приходилось съедать самому. Дома он рассказывал детям о своей очередной неудаче. Рассказывал огорченно и подробно, не утаивая от детей, какое удовольствие он мог им подарить: как на полпути к дому мороженое начинало неумоли-

мо таять; и как он убеждался, что ничего не сделаешь, только в самый последний момент, когда мороженое из твердого сгустка кристалликов превращалось в текучую и сладкую смесь молока и шоколада и, струясь меж пальцев, начинало капать; как тогда ему приходилось, вот так наклонив голову, вот так подняв руку, вот так вот подставлять рот и не съесть мороженое, а выпивать. Этими добросовестными рассказами он еще больше распался воображение пацанов. Они не чувствовали горечи в его рассказе.

И еще одно обещание, данное сыновьям, он не смог выполнить. Не купил им заводную деревянную лошадку. Сколько ни смотрел он на базаре, ни разу лошадка не попала, а то бы купил непременно, не пожалел бы никаких денег. Такая была лошадка, что никак не доходила до района. Наверняка ее перехватывали в Сухуме. Он сам ее не видел. Знал о лошадке по рассказам отца. Покойный ему ее так и не купил, как и многое из того, что обещал. Паха думал, что в детстве его обделили, так хоть детей он обязан порадовать, чтобы не осталось обиды.

Вот такая это была лошадка. Она гнедая, маленькая, деревянная, стоит на дощечке с колесиками, подобно тем, на каких на базаре безногие ездят. На шее около загривка у нее такая дырочка, в которую всовываешь карандаш – *каландаши*, как рассказывал отец, когда в детстве обещал купить, – вставляешь в дырку карандаш, и лошадка едет. Вынимаешь из дырки карандаш – лошадка останавливается.

Раньше, когда воровали только воры, Пахе было намного труднее. Тем более, что ему все приходилось делать и себе, и последнему Хатту. Его отец-покойник служил отцу-покойнику Хатта Нагана, и служил с удовольствием. Он часто говорил, что если бы его однажды не привез Хатт Савлак из путешествия по Мингрелии, то так он и прожил бы всю жизнь во влажной стране, под началом злых Дадияни; и не видел бы жизни, и не видел бы солнца, моря и тепла, и волка нормального не имел бы.

Хатт Савлак, охотник и наездник, редко бывал дома. К челяди относился с добротой. Уже на седьмой год службы князь выделил покойному Бате хороший отрезок земли, разрешил жениться. Он сам захотел остаться в доме. Матушку тоже привел туда. Им в господском доме было хорошо, не сравнить эту жизнь ни с эрто-

бой, ни с советской властью. Это отец всегда говорил шепотом. В конце жизни князь доверял отцу Пахи настолько, что хотел даже сделать его управляющим имением, однако покойный не имел для этого ни образования, ни ума, конечно.

При советской власти люди почувствовали свободу и стали вести себя независимо от Хаттов. И Хатты, конечно, пошли уже не те. Отец же Пахи остался верен Хаттам, так много для него и для его семьи сделавшим.

Сегодня Паху не только никто не принуждал, но, если бы он не пожелал служить Нагану, законы полностью были бы на его стороне. Но Паха не поддался на агитации. Он чтит память своего доброго отца и старался жить, как жил тот. Помогал Нагану Хатту, и помогал с удовольствием. Ничего он не делал у себя по дому, не сделав прежде этого у Хатта. Потому хозяйства их получились одинаковые, как наряды бригадира под копирку. Хотя не совсем как под копирку, потому что у Хатта получалось чуть похуже. Придумал, скажем, Паха дом трехэтажный, но с висящими балконами, – прежде выстроил Нагану, лишь потом себе. Придумал кукурузный амбар с подобием лифта для корзины и автомышеловкой, которая чуть пальцы на ногах не отбила его жене, – и вот два одинаковых амбара в деревне: и у того, и у другого. Поскольку Паха у Нагана свои замыслы пробовал впервые, себе же делал работу уже второй раз, то у него дома получалось лучше, как будто он, ядри его бабушку, для последнего Хатта работал недобросовестно, а для себя от души. Ничего такого не позволил бы себе Паха, просто он заметил такую особенность: когда работу сначала сделаешь у себя, уже имеешь опыт и сноровку. Он сам предложил Нагану несколько раз: давай, дескать, сначала буду пробовать у себя, чтобы, опыт и сноровку имея, тебе потом сделать лучше. Но и Хатт Наган тоже в свою очередь только на Пахе мог реализовать инстинкты господина, потому шел в отказ и говорил ему что-то вроде: «Нé-кар! нé-кар!»

Он и к детям Нагана был привязан не меньше, чем к своим. Девочки были ничего, но Ника, сын, совсем не учился, а образование человеку необходимо. Не выучишься, так и будешь лазить по вагонам, пока, не дай Господь, не посадят. А нет – будешь вкалывать на полях эфирного завода или в академии убирать

из-под обезьян говно. Ника не злой парень, но Паху не слушается, что ни скажешь, тут же: «Молчи, дурак, лучше рот закрой!» А отца все дома нет: то на каком-то плавкране работает, то без цели ездит на автобусах. Зато когда один из Гарибов обозвал на поминках Паху сыном Хаттова раба, Ника сам об этом узнал, и Господь знает, что он тому сказал, но тот на второй же день пришел и извинился, как у культурных! Куда бы он делся! И Ника, и этот бандит Кесоу справлялись у Пахи, извинился ли Гариба. «Да, – говорит Паха, – зачем надо было!» «Надо было, – говорят. – А культурно, – спрашивают, – он извинился или так, нехотя?» – «Нет, культурно, – подтвердил Паха, – больше такого не делайте!»

Обидчик действительно извинился со всей вежливостью, взглядом сверля почву под ногами:

«Слушай! Эй, ты! – сказал он. – Что рот разинул? Человек пришел сказать, что не хотел тебя обидеть!»

Думая об этих вещах, Паха не спал, а было поздно, а завтра было много дел. Скоро светало, а сна не было. Было тихо, лишь изредка донесется свист беспокойной русалки или в филиале завизжит шимпанзе, которого кастрировал Кесоу. Деревня была объята сном. Паха ворочался в постели. Рядом безмятежно дрыхли эти сони, эти бездельники – его сынки – и их мама. Все они молодцы, даже во сне, когда человек не контролирует свой внешний вид, рты держали закрытыми. Просто молодцы. Пусть поспят детишки, завтра он их будить не станет, когда пойдет к последнему Хатту удобрять кукурузное поле удобрением... Удобрение! Суперфосфат! Паха вскочил с постели, как ошпаренный.

– Лежебоки, бездельники! – заорал он на детей так неожиданно, что дети аж подскочили на постели, да еще вместе с мамой. – Скорее, не то пропустим четырехчасовой!

И вот не прошло и четверти часа, как он в сопровождении сынков грохотал тачкой по направлению к платформе. Кесоу, Ника и очамчирский опять остались без туфель.

– Сколько вы это будете терпеть, мои тухлые вены? – удивился очамчирский, когда Паха, грохотом будя все село, начал взламывать дверь первого же вагона на своем пути. А это был их

вагон. Паха вскрыл его, увидев, что там всего лишь туфли, был разочарован и, понукая детей, пошел вскрывать следующий.

– Если кукурузу не удобрить, она пропадет, – спокойно надоумил очамчирского Кесоу. – Тут крестьяне живут.

– Крестьяне по ночам спят, – возразил гость.

Ника беззвучно смеялся.

– Спит тот крестьянин, который запасся суперфосфатом, – изрек Кесоу. И с этим сомнительным определением крестьянина подельники разошлись, не солоно хлебавши.

О блаженных селеньях

Но даже в цивилизованных селах есть уголки неподвижной дремучести, которую не проймешь ничем. Замечено, например, что семьи, живущие на берегах мутных рек, отличаются несколько странным, сумрачным характером. Их глаза все время смотрят в лес. Старые предрассудки исчезают с первым светом электролампочки, но у живущих на берегу темной реки даже лампочка горит как-то тусклее.

А последний Хатт жил как раз на берегу такой темной реки. Так что был еще последний Хатт, в доме которого русалка была не забыта.

Но Хатт не отличался трудолюбием и был не из домоседов. Когда его племянник в городе стал человеком и о нем заговорили простые люди, последний Хатт полюбил ездить в автобусах и, притаившись, слушать разговоры простых людей о племяннике. При этом он молча преисполнялся гордости. «Чего уж удивляться, что Матута отважен и горд! А предки-то у него какие! *Жаль, что этот деревенский у них никчемный*», – слышал о себе последний Хатт, но все равно преисполнялся гордости.

Потом он на некоторое время вовсе исчез с горизонта, работал на плавкране. Наконец вернулся домой и женился. Стал работать в «обезьяньем» филиале. Пил.

Жена у него была некрасивая. Точнее, не совсем чтобы некрасивая, но – кино видали? Вот, как артистки эти: ничего здорового, крестьянского. Хотя артистки тоже бывают разные: есть Мордюкова Нонна, а есть Анжелики. А у нас, в селе, – повседневность. Анжелика много не намотыжит. Девушка, когда на

выданье, должна быть худенькая. А потом, когда выйдет замуж, когда родит, должна стать полнотелой, чтобы и с хозяйством справляться, и, уж извините, чтобы мужу – отрада. А жена Хатта так и не поправилась: осталась худая, одни серые глаза на все узкое личико. А так – безобидная, работающая, молчунья. И, к радости русалки, в некотором роде блаженная. Русалка внушила ей тайны трав. Явиться ей на глаза русалка не могла. Она сама переставала верить в себя, ибо никто вокруг в нее уже не верил.

Но вот сам последний Хатт мало что унаследовал от своих предков. Он был уж очень простоват. У него бегало трое ребят: мальчик и две девочки. Был еще мальчик, старший, но он его потерял несколько лет назад. И он был призван стать хранителем очага Хаттов, чей родоначальник и пригласил Владычицу Рек и Вод в Омут нашей деревни и дал ей обет, что его род будет следить в потомстве за порядком жертвоприношений; потомок Хаттов, которые гордились тем, что их предок Акун-Ипа покорила русалку и сделал свой род на все времена удачливым в охоте; отпрыск рода, которому русалка, верная клятве, никогда не делала вреда, – и он, последний Хатт, женившись, жену на моление к Омуту не привел! И в пору беременности за водой отправлял! И в сумерки детей домой не загонял! Такой был пустой человек, этот последний Хатт.

Но никому не было дела до суеверий темной старины. Сельчане богатели, строили просторные дома, покупали автомобили. Однако все-таки русалке разок-другой с радостью удалось заметить, что где-то глубоко, в тайниках сознания, у людей пока еще теплится мглистый страх. Как-то вечером она стала свидетельницей картины, которую мы опишем по порядку.

Алел закат. Экономистка «обезьяньего» филиала, гуманная и начитанная женщина, заметила среди скотины начало сибирской язвы, которая считалась болезнью от гнева Владычицы Рек. Тут бы ей бежать к доктору Гвазаве, так нет. Она вспомнила, что жена Хатта знает средство от этой болезни. Экономистка зажгла восковую свечу и молча пошла по проселочной дороге.

К дому Хатта она шла безмолвная, как этого требовал обычай. Шла с горящей свечой по вечерней околице. Жена Пахи доила

буйволицу и, увидев экономистку, так и замерла с выменем в руках и позволила буйволенку, который вырывался из рук тоже изумленного мужа, опрокинуть полное ведро молока. Экономистка шла восторженная и отрешенная. За железной дорогой ей повстречались семеро ее сыновей. Они возвращались с моря, покуривая. Увидев мать, мальчишки одновременно спрятали левые руки с сигаретами за спину, не подумав о том, что этот одновременный жест выдает их еще больше. Но экономистка со свечой, словно жрица огня, прошла мимо них, глядя перед собой стеклянными, невидящими глазами.

Жена последнего Хатта тут же поняла ее. Тоже молча, как это требовал обычай, она спустилась к Мутному Омуту, набрала воды и, не оглядываясь, понесла домой. Молча же нашла травы, свойства которых были известны чуть ли не ей одной. И приготовила снадобье.

Над этим хохотали и судачили в селе. Но скотина была спасена, русалка торжествовала. Она-то знала, что это ее чары. А последний Хатт сказал жене:

– Что могут значить твои травы, когда люди в космос летают!

– Тише, тише, – пришла в ужас от его слов. – Грех! – И повернулась в сторону Мутного Омута, словно желая удостовериться, что Владычица действительно не слышала мудрствований ее дуралея.

А на другой день Хатту надо было делать *культивацию* на приусадебном участке. Помните ту самую работу, которую сыновья Пахи делали и охотно и с огоньком? Культивация – способ пропашки кукурузных рядов, который позволяет *обсыпать корни злаков землей, не выпалывая сорной травы*. Кукуруза для этого сеется рядами, и, когда она уже выросла, а сорные травы – еще нет, проводят культивацию, то есть пропахивают пространство между рядами, применяя плуг с особым, обоюдоострым лемехом. Культивация настолько широко внедрилась в сельское хозяйство, что уже в первые десятилетия колхозов стахановцу дяде Платону удавалось собирать с гектара сто центнеров кукурузы.

И вот, на второй день после описанного излечения скотины и атеистического высказывания Хатта, ему пришлось делать культивацию. Паха не мог сделать за него, потому что ни на шаг

не отходил от сестры, третьей ночью упавшей с волка. Как и все философы, Хатт был неважный хозяин и, конечно, собственной лошади не имел. С раннего утра до полудня, пока солнце не начало палить, его сосед пахал сам. После этого он распряг лошадь и одолжил последнему Хатту. Хатт пахал под нещадным солнцем. Несколько раз он приводил поить лошадь к заводу, где мы, дети, купались. «Не утоните, вы!» – говорил он. Был при этом вполне нормальным. А через несколько часов мы, дети, прибежали на крик.

С последним Хаттом случилось нечто вроде солнечного удара. Он вырывался из рук мужчин рода Гарибов. «Отпустите меня: там смеются, там пляшут!» – умолял он. Но его не пускали. Он рвался туда, где не было ничего, кроме болотистого поля, да за ним Омута – обители русалки. В остальном он был благоразумен: вырываясь к веселью и пляскам, которые видел только он, хромая, он делал зигзаги, чтобы не задеть нас, детей. Мы это чувствовали и не боялись его. Мы боялись тех, кто удерживал. А он плакал и просил: «Отпустите меня: там весело, там хорошо».

Было жутковато наблюдать этот порыв долгой тоски. Тоски, которая не давала обжиться ему в родном доме, заставляя то работать на плавкране, то ездить в автобусах, слушая разговоры о племяннике.

«Отпустите!» – просил он. Он вырывался раз, но ему сделали подножку. Решив, что этого достаточно, чтобы окончательно выйти из себя, Гарибы повалили его и начали бить. Вдруг, помнится, он на короткое время пришел в себя. «Не бейте, братья, сын видит!» – сказал он, хотя от страха и обиды ревел не только сын, ревели и две его девочки. «Сын же видит, что вы делаете!» – сказал он очень ясным голосом. Но разве можно остановить крестьянина из рода Гарибов, когда он уже бьет!

Матуты на них не хватало! Последнего Хатта связали и обливали водой из колодца. Собрались соседи. Они расположились в тени под орехом и курили, вспоминая подобные случаи. Испуганная жена последнего Хатта увела испуганных детей. Он утихомирился и даже заснул.

Связанный, он лежал в луже воды, пока не явился старый Батал. Старик подошел. Все встали, приветствуя его. Он спокойно полюбопытствовал, в чем дело.

– Сейчас же развяжите его! – закричал Батал.

Последнего Хатта спешно развязали и уложили на лежанку. Вскоре он проснулся и оглядел соседей ясным, ничего не помнящим взглядом.

– Откуда вас столько набежало-то? – спросил он.

Никто не ответил. Жена пыталась увести его. Вдруг он все вспомнил и понял. Красивое глуповатое его лицо исказилось в гримасе. Он всегда хотел быть своим в клане Гарибов, но оставался чужаком.

Он никого ни в чем не упрекнул, и позже все притворялись, будто ничего и не случилось. Но в этот миг он ушел задумчивый и больше не вышел к соседям. Все стали и смущенно разошлись.

Вот эти два деревенских события – факельное шествие экономистки и краткое безумие последнего Хатта – подняли настроение русалки, тихо спивавшейся у речного побережья. Она тешила себя мыслью, что все-таки живет еще память о ней, хотя бы в нашей деревне. О других деревнях она и не думала, – она, которой когда-то поклонялся весь наш, в те давние времена обширный, край.

Русалке наскучило бессмертие – она хотела, чтобы ее видели и узнавали. Пусть не пугаются, лишь бы видели. И сны у нее были тревожные. Теперь ей часто снилась грязная радуга, которая превратит ее бессмертие в один нескончаемый мучительный миг. Русалка не боялась ничего, но кому приятно видеть плохие сны! Она-то и думала, что все, что могло произойти, уже произошло, и ничего новому не быть.

О смутной тревоге

Матута подъехал к базару, вышел из своего «мерседеса» и оглянулся в поисках уларок. Дело в том, что цыганки на базаре подразделены на *турих* и *уларок*, то есть на гадалок и торговок. Подобно тому как, по свидетельству охотников, у туров есть в горах постоянные спутники – горные индейки-улары, которые предупреждают стадо о приближающейся опасности, за что имеют возможность питаться турьим пометом – так и на базаре торговые цыганки целый день носились туда-сюда, знали, где и что происходит, и вовремя предупреждали гадалок, спокойно

стоявших на однажды выбранных местах, о появлении органов, а за эти услуги получали возможность пихать клиентам, пришедшим спросить судьбу, сигареты, дональды и парфюмерию. Желających погадать в эти тревожные дни становилось все больше и больше, тогда как курс демократизации постоянно лихорадил цыганский рынок. А мистика у нас всегда строже каралась, чем торговля.

Не найдя цыганок – ни турих, ни уларок – у ворот базара и около остановки, Матута понял, что недавно была очередная облава и органы отогнали цыганок к бакалейному ряду. Горсовет время от времени приказывал органам отогнать цыганок подальше от глаз иностранных туристов, будто не сам он когда-то прикрепил цыган к Старому Поселку Сухума, прервав их путешествие к краю земли под предводительством барона Мануш-Саструно. И это тоже действовало Матуте на нервы, как и все, что он видел в Черноморье по возвращении из Магадана. Так и не найдя цыганок, которых эти органы отогнали по приказу этого горсовета, как будто горсовет, *дел де марел три года*^{*}, обеспечил город сигаретами, Матута был вынужден ступить ботинками на пыльную мостовую базара и пройти к бакалейному ряду.

А вот что было дальше. Вдруг Матута заметил, что в его подсознании нарастает *смутная тревога*, выражаясь слогом, которому гангстер научился на Магадане. Там ему попалась книжка без обложки, которую он прочитал и усвоил, хотя не смог выяснить ни ее названия, ни кто ее сочинил. Но зато он научился замечать мысль, как только она появлялась в подсознании, и методом фиксации вытаскивать на поверхность сознания. Это постоянно спасало Матуту в трудные минуты. И сейчас жиган тотчас почувствовал хищным нутром смутную тревогу. Она все нарастала. На мгновение ему показалось, что это продолжается его обычное раздражение на советскую власть, но вскоре Матута осознал, что смутная тревога сродни тому чувству, которое наверняка знакомо читателю, если ему приходилось, отмычкой одолев замок, войти в хату, вдруг ясно почувствовать, что хороший товар там есть, только не обойтись без мокрухи. Но, век свободы не

^{*} Крепкое цыганское выражение.

видать, что-то другое, более торжественное проклевывалось в смутной тревоге, охватившей его сердце, точнее, душу Матуты. Потому что у Матуты не было сердца. Какое может быть сердце у человека, который девятнадцать лет чалился на Севере, где за это сердце вместе с сердцем съедят в первый же день, если уже не съели на этапах.

Смутная тревога такого типа вообще незнакома ему. Она очень насторожила жигана. Матута весь подобрался, голова заработала, как мотор, он уже готов был ко всему, хотя еще не заметил стоявшую напротив, по его выражению, Чертовски Симпатичную Цыганку. Нечто обобщенно-цыганское он уже видел, но не счел нужным взглядеться. В голове у него была простая задача – купить сигареты «Космос» сухумской фабрики, потому что фирменные он не курил, а в сердце, точнее, в душе – смутная тревога, которую Матута никак не связывал с цыганским миром.

Цыганка засекала его еще раньше, но тоже, в свою очередь, увидела не жигана, а клиента мужского пола, к органам непричастного, с которого надо стянуть пару десятков рублей. Она относилась к высшей касте – касте турих – и была сейчас на рабочем месте. А к высшей касте относилась она не потому, что была дочерью покойного барона Мануш-Саструно, который разработал правила обычного цыганского права применительно к сухумскому Старому Поселку. У барона от семи жен было огромное количество сыновей и дочерей, и никто из них не пользовался особыми привилегиями, если лично этого не заслужил. Просто дар прорицательницы цыганке был дан от природы, иначе она была бы, как ее сестры, обычной уларкой. В свои тринадцать лет она успела снискать себе имя, гадая и на картах, и по руке, и по зеркалу, так что покойный барон любил ее не только как дочь, но и как знатока своего дела, хотя не баловал ее, как не баловал никого, потому что это вообще не принято в цыганском мире.

Увидев Матуту, цыганка шагнула к нему, но глядела на него не более чем обобщенным взглядом. Барон не велел цыганкам смотреть на мужчин, тем более на гаджио*, выше подбородка и ниже пояса, исключая, конечно, право глядеть во время работы

* Не цыган (цыган.).

в глаза и на ладони, о чем подробнее будет сказано ниже. Барон учил, что опытной турихе, чтобы изловить гаджио, достаточно общим взглядом выше пояса, но не выше подбородка, определить его пол; органы или не органы; и сколько может выложить за гадание. И только после того, как он был изловлен на гадание, ей разрешалось заглянуть ему в глаза для гипноза, а потом посмотреть на его ладонь. Причем эти два взгляда в запретные области должны быть прицельно точными, но ни в коем случае не скользящими, а тем более – не соединенными друг с другом. В те доли секунды, когда взгляд, переключаясь от глаз к ладони, проходит запрещенные области тела гаджио, туриха обязана была его отключить. Для исполнения этого пункта старшие турихи наблюдали за младшими и наставляли их. Слежка была поручена и уларкам, хотя они в этом мало смыслили. Далее. При гадании цыганкам было дано право помимо гипноза насылать на клиента женские флюиды. Но это делалось только в случаях крайней необходимости, и делалось таким образом: беря руку гаджио в свою, туриха по этому живому контакту посылала ему токи, чтобы он от волнения раскошелился еще больше. Но при этом строго запрещалось принимать обратное движение токов от клиента, чтобы исключить в работе *эмоциональное включение*, как сказал бы автор Матутиной книги. И это цыганкам легко удавалось при помощи цыганской порядочности, вложенной в них. Покойный барон разрешал также турихам в крайних случаях пользоваться своим внешним видом. Но это позволялось турихам только после замужества. Тут, помимо согласия барона, требовалось разрешение мужа. Если муж давал такое разрешение, это означало: он был убежден, что в работе жены исключено эмоциональное включение. Всеобщая взаимная слежка гарантировала точное соблюдение турихами инструкции барона, но конечным пунктом, по которому определялась чистота работы цыганок, был результат, выражающийся в сумме заработанных денег. Пятая часть заработанного уходила в цыганский общак.

Чертовски Симпатичная Цыганка в свои тринадцать лет не была замужем. Так что об использовании ею в работе своей внешности не могло быть и речи. Но она прекрасно обходилась без этого, отлично владея гипнозом и знанием смысла каждой линии подкожного рисунка руки, а самое главное – тончайшей

интуицией. Послушная дочь отца, она вообще была готова скрывать на рабочем месте свою необыкновенную красоту, если бы ее необыкновенную красоту возможно было спрятать. Цыганочка плохо одевалась, причесывалась нарочито небрежно, даже золотые фиксы себе не вставляла, а ходила при родных беленьких зубках. Она как могла старалась вогнуть вовнутрь свою внешность, оставляя снаружи лишь ее остов.

Но вернемся к Матуте и смутной тревоге в его душе. Потому что, сколько бы мы ни отвлекались, она не исчезнет и не уменьшится. Рассеянно гангстер поравнялся с турихой. Совсем близко от этого места уларки посверкивали пачками сигарет. Если б не смутная тревога, ему бы пойти чуть левее, в сторону комиссии «Адонис», и тогда бы Матута подошел непосредственно к уларкам, купил себе сигарет и вернулся к машине, а не поравнялся вслепую с Чертовски Симпатичной Цыганкой. Туриха тоже в свою очередь видела в нем лишь обобщенного клиента, отмечая про себя самое необходимое для работы: он мужчина, он совсем не органы, он платежеспособен и, возможно, щедр.

Гангстер поравнялся с ней и, неведомо для себя и для нее, успел передать ей часть смутной тревоги. Но смутная тревога тут же продемонстрировала свое известное свойство не убывать, а удваиваться от передачи другому лицу, подобно знанию.

– А погадаю тебе, парень! – почему-то помедлив, воскликнула туриха. – Не отказывайся, а то заболеешь раком!

И тут же почувствовала странную дрожь в своем рабоче-тароватом голосе.

Наметанным глазом домушника Матута дал ей оценку. Оценка появилась лишь на поверхности сознания, и надо было ей еще нырнуть в подсознание, чтобы случилось то, чего не случиться не могло. Пока же оценка кинулась к входу в подсознание и нашла свое место занятым смутной тревогой. Смутная тревога не только переполняла своды подсознания, но и, не вмещаясь в них, выливалась наружу. Матута же бессознательно протянул руку турихе, трепеща в фокусе ее взгляда. Он протянул руку, стараясь унять смутную тревогу, которая могла, пожалуй, еще пригодиться, если бы он шел на дело, но ни к чему была сейчас, рядом с базаром, посреди бела дня, когда, как ему казалось, ничего не

угрожало жигану. Он протянул руку не глядя, как просто цыганке без конкретности, и тут же смутная тревога вылетела из души и вспорхнула ему на ладонь. Но и от этого она не утихла, а усилилась, подобно тому, как не скудеет рука дающего. Его ладонь тыльной стороной опустилась в теплую, узкую, дрожащую от бега крови долину девичьей руки. И Матута почувствовал, как на дно его души капнула печаль, отчего неподвижно-напряженная заводь его смутной тревоги встрепенулась и разошлась кругами. Вслед за этим он ощутил нежное покалывание тысяч серебряных игл, словно он впрыснул в вены опиухи.

Но Жиган продолжал держаться.

– Элла-мондо, косуля! – сказал он бодро, хотя перед ним, как в тумане, стояла не косуля, а самая что ни есть туриха. Пронзенный серебряными иглами смутной тревоги, давно мечта схватить ее, эту стерву, и вытащить на поверхность подсознания, он флиртовал бессознательно. Сейчас он взглянул на цыганку затуманенным взором, щелкнул ее по носу и спросил:

– Хочешь, косуля, устрою в кооператив?

Она, кажется, даже не услышала его предложения.

– Дай мне руку, парень! – сказала она твердо, и гипноз так и брызнул из ее глаз.

– Не хочешь или барон не разрешит? – сами сказали губы Матуты.

А смутная тревога, войдя в неведомую связь с гипнозом ее плутовских глаз, закипела и поднялась в нем, как молоко.

– Давай полтинку, парень, чтобы правда была, – добивала она его.

Полтинник был слишком большой взяткой даже при тогдашних ценах, но руки бывшего преступника сейчас слушались не его, а цыганку. Получив хрустящий полтинник, она пошептала над ним, плюнула на бумажку и протянула ее гаджио. Он, конечно, отказался брать. Получив деньги, она со вздохом отправила их под кофточку, где у нее был пришит внутренний карманчик, потому что ее девичьи грудки пока не могли служить естественным кошельком.

Туриха окинула взглядом кисть жиганской руки со смешанно-лопатовидными пальцами. Отметила развитый большой палец – сви-

детельство большой воли, сильно выраженные запястья интеллекта, затем схватила общим взглядом его характерную ладонь и едва успела подавить крик. Цыганка совершенно неожиданно для себя нарушила главную заповедь турих: она поддалась эмоциональному включению. Мощные токи, исходившие от гаджио, хлынули ей на ладонь и через руку растеклись по всему тельцу, не встретив ни ома сопротивления. Оба гипнотических конуса ее взгляда опустились долу, на мостовую, залитую пивной пеной. Последними усилиями воли ей удалось убрать румянец, мгновенно покрывший ее от корней волос до босых ног, но у нее кончились силы, и румянец все-таки мостами остался, напоминая аллергические пятна. А потом в глазах ее потемнело, характерная ладонь гангстера исчезла, и она, лишившись чувств, стала падать на мостовую бакалейного ряда и скандально была поддержана за талию знаменитым Матутой.

– Совуло, совуло с нашей милой Дарико? – заволновались глупые уларки.

– Сейчас объясню, что случилось, только вы не галдите и не привлекайте лишних глаз и ушей, уларки!

Резко вычерченная от Меркурия, делая неожиданный изгиб у Марсова холма и страстно захватывая кольцо Венеры, от линии печени к линии сердца уверенной бороздой тянулась багровая линия судьбы этого гаджио, и эта линия судьбы была сплошь исполосована неподвластными воле хозяина разветвлениями жизненных дорог, полна страстей и томлений в казенном доме. А поближе к Юпитеру, с сильно выраженным честолюбием и жаждой славы, у чувственного и прозрачного бугра Венеры гадалка, оглушенная собственным сердцебиением, увидела то, в чем уже не могло быть сомнения. Здесь явственно были: во-первых, треугольник, во-вторых, звезда, в-третьих, круг и, наконец, стрела, безнадежно направленная на линию жизни. Туриха заметила то, чего не замечала ни до, ни после нее ни одна туриха. Туриха заметила роковое скрещение судьбы этого гаджио с ее, ее собственной судьбой!

Ей бы бежать, несчастной дочери отца, но она стояла и стояла, читая на его ладони, что ей невозможно бежать, видя на ней себя, как раз гадающую посланнику рока на самом скрещении своей и его судеб. И у цыганки помутнело в глазах.

О недоразумениях земных

Зря усомнился Могель в расторопности собаки. Она сделала-таки, чтобы Могель еще раз увидел девушку. Но как драматично произошло это свидание!

Могеля, к рассвету наконец заснувшего, разбудили, когда стол был уже накрыт. Кесоу тоже был тут. Такая же, как вчера, индейка была выставлена на стол. Начали застолье втроем, потом набежали соседи.

И уже во второй половине дня Могеля, хмельного, довольного, только эту абхазку не увидавшего, зато приглашенного приезжать в деревню как к своим, когда выдадутся свободные выходные, на что он поспешил дать твердое обещание, Платон и Кесоу проводили до трассы.

Тут, не желая появления в финале лишних действующих лиц, собаки и индеек (и не ведая, что они были необратимы и уже участвовали в действии, как известное ружье на стене), Могель стал упорствовать, чтобы его новые друзья не ждали, пока подъедет автобус, сумел их уговорить, тем более что им надо было засветло привезти старику хотя бы одну арбу дров. Кесоу тайком от Платона, чтобы не смущать Могеля, сунул ему в карман немного денег. Могель не отпирался, решив в скором времени приехать и вернуть долг, а там и у старика погостить, но уже за просто, чтобы особо не утруждать его внучку.

Как только ушли его приятели, умница Мазакуаль появилась, гоня перед собой выпавшихся птиц. Она ясно заглянула ему в глаза, но слишком возбужденный и хмельной Могель прочел в ее взгляде только то, что все в порядке, в чем он и не сомневался, но не прочитал подробностей. А они заключались вот в чем.

Вчера Мазакуаль незаметно пошла по следу хозяина (это когда он сел с незнакомцами на арбу) и вскоре убедилась, что в доме с крытыми воротами ему не только ничего не угрожает, но, как это принято у людей в особых случаях, закололи ради него индейку, весом не меньше любой ихней. Мазакуаль была растрогана этими знаками уважения к ее Хозяину. «Мы тоже не носом воду пьем», – подумала она. Носом пьют волки, собаки воду лакают. Она перебежала к уже облюбованному дому подоботнее с добротным же птичником и вывела оттуда ин-

дейку, которая была еще упитанней, чем та, которую забили для Хозяина. Загнала добычу в гостеприимный двор старика, а сама стала караулить неподалеку. В полночь Хозяин и те двое вышли. Собака за ними. Привели Хозяина именно в знакомый собаке, тот самый добротный дом. И тут его хорошо приняли. Мазакуаль продолжала сторожить. Когда поутру и тут забили индейку, собака решила опять не оставить Хозяина в долгу. То, что она сделала, свидетельствовало о наличии у нее не только необычного для собаки ума, но и чувства благодарности, однако справедливо ли будет судить о поступках четвероногого с точки зрения человеческой нравственности!

И вот скоро индейка, равноценная только что забитой, пригнанная уже от вчерашних хозяев, влилась в птичье общество за добротным домом, то есть за домом Платона.

Наутро же, и не сразу наутро, а успев выгнать за речку коров, надоенных до затмения, затем накормив старика, старушка-дочь вышла с кормом для птиц – и тут она обнаружила, что в ее птичнике, помимо забитой вчера индейки, недостает еще одной. Что вместо недостающей появилась равноценная – этого она по-женски не заметила. Старушка обернулась в сторону дома Платона: не стоит ли во дворе его жена, потому что кому же, как не ближайшей соседке и подруге поведать о пропаже! Внимательнее, друзья, не то и мы можем запутаться! Старушка и Платонова жена, как нам известно, соседки, и каждая могла обзирать двор другой. Так случилось, что жена Платона как раз тоже кормила птиц и тоже заметила свою пропажу, не замечая прибавления. Внимательней! Все у них получилось не только одновременно, но и одинаково. Недаром женщины, несмотря на разницу в возрасте, были приятельницами. В своем преклонном возрасте старушка-дочь сохраняла хорошее зрение; вдевала в игольное ушко нитку без вашей стеклянной пары глаз, как говаривала она свойственнице из Великого Дуба. А уж своего индюка с зелено-фиолетовым опереньем крыльев, которого она взрастила, кормя толченой крапивой, старушка признала бы и за версту. «Чтоб побрить мне голову», – пока еще в душе вскричала старушка. Все-таки она была старая дева, так и не вышедшая

замуж, посвятив себя отцу. В эту минуту, поспешно поддавшись гневу, она и не подумала, что индюк ее мог попасть в индюшачью стаю соседки просто случайно, перелетев через низкий плетень. Ей в голову не пришло, что ее соседи никак не могли позариться на птицу и тем более увести ее у живущих через забор. Она только видела своего индюка, важно гуляющего среди чужой стаи. Прекрасный повод для доброй ссоры! В ее оправдание – точно такое же смятение происходило в эту минуту в мозгу и в сердце соседки. Ей, которая помоложе, сам Бог велел хорошо видеть. И надо же было, чтобы именно в этот момент она заметила свою птицу во дворе соседки, а нервы у нее и так никуда не годились из-за беспечного мужа и сыновей, которые тоже пошли в него.

Другие птицы, птицы гнева, взметнулись в воздух. Старушечье: «Я же к ней как к дочери!» с соседкиным: «Я же к ней как к матери!» – сцепились в воздухе, на лету. А наземная тень этой горней битвы выглядела так. Женщина, готовясь к бою, должна взяться за бока. Обе женщины проделали это движение одновременно, хоть и независимо друг от друга. Еще раз подтвердилась народная мудрость, которая гласит, что джигиты, желающие дружить, должны жить в достаточном отдалении друг от друга, чтобы их жены, сдуру перепутав своих птиц, не поссорились и не перессорили своих джигитов. Но джигиты на то и джигиты, чтобы даже в таких случаях не воевать со своими женами, потому что на любую женщину достаточно цыкнуть, и она замолчит. Замолчит, правда, пока ты отвернешься, чтобы придумать способ устранить причину ссоры женщин, кляня их характер. Старик и Платон сразу сделали то, что необходимо сделать в этом случае: цыкнули на своих женщин, заставив их замолкнуть. Старик вернулся в дом, остальное доверив молодым. А молодые, то есть Кесоу и, увы, Платон, как раз выгоняли запряженную арбу. Они задумались. И, как бывает в драматургии что жизни, что театра, разрешение принесло подоспевшее к событию другое действующее лицо. Это был проезжавший мимо верхом бригадир. Поинтересовавшись причиной молчания (именно молчания, потому что, остановив женщин, сами мужчины как раз замерли и думали) и узнав, в чем дело, бригадир сообщил, что на трассе голосовал, пытаясь уехать, юный мингрел с собакой и как раз с

двумя индейками. Молчащие женщины кинулись к собакам, но собаки были на месте. А мужчины с сердцами, разрываемыми огорчением и злостью, поспешили к трассе. Платон и Кесоу шли приближающейся к бегу походкой. Бригадир ехал, придерживая шаг лошади. Первым примчаться на место возмездия не было смысла.

Птичий вор как раз собирался с трофеем сесть в остановившийся автобус. Три оглушительных свиста приказали автобусу не уезжать. Платон и Кесоу уже бежали, бригадир отпустил узду коня. Глаза их так и зыркали, зубы их так и клацали, хотя Могель не мог этого понять из-за автобуса. Явно не везло Могелю по эту сторону трассы. Вот и теперь между ним и автобусом возникла лошадь. В следующий миг Могель был схвачен бригадиром за шиворот. Автобус ретировался, открывая другую сторону трассы. Крепкий бригадир, свесившись с седла, аж приподнял над землей ничего не понимающего Могеля. Но, приподнятый, парень был тут же вознагражден: через круп лошади он увидел на другой стороне дороги эту абхазку. Она что-то взволнованно объясняла Платону и Кесоу.

Конечно же, она объясняла, что птицы нашлись и парень ни при чем. Платон и Кесоу, как и вчера, пришли ему на выручку. Они так прикрикнули на верзилу-бригадира, что тот не только выпустил жертву, но и сам, пяткой надавав в бок лошади, ускорился. А в следующую минуту Могель уже не мог понять, чем вызвано такое бурное проявление чувств у приятелей, с которыми он уже вроде бы прощался. Они обнимали, тискали его, хлопали по плечу.

То, что случилось уже вслед за этим, было для Могеля важнее, чем выяснение причин новых прощальных эмоций его приятелей.

Девушка подошла к нему, обняла его и чмокнула в щеку! Побратски, но поцеловала!

И тут же побежала стремглав, газельим бегом, по аробной тропе* между азалиями.

Ему что-то пытались объяснить. Могель ничего не понял. Он оставался отрешенным и в автобусе, гулко наполненном родной

* Проложенной для проезда арбы.

мингрельской речью. Птицы сидели у него на руках. Собака Мазакуаль, сознавая, какую беду чуть было не натворила, виновато притихла в ногах.

Но Могель и не злился на нее. Какими бы замечательными способностями она ни обладала, Мазакуаль все же оставалась собакой. Еще в Великом Дубе он каждый раз, когда дворняга воровала птицу у соседей, вынужден был разными способами возмещать им потерю, отчего о нем в деревне сложилось представление как о парне, делающем подарки. (Не входило ли и это в планы хитрой Мазакуаль?) А что ему было делать? Не закладывать же Мазакуаль! А с другой стороны, не мог же он преподавать собаке, в чем разница между добром и злом по-человечески, когда этого не могут уяснить себе люди, которым Бог семнадцать раз посылал Пророков, а один раз Своего Сына! Признавшись же в вороватости собаки, он должен был или от нее отказаться, или выставить себя на смех, потому что поди докажи людям, что она почти разумное существо.

О линиях жизни и печени

Раздраженный, что ему приходится идти за сигаретами вдоль базара, где еще эта замухрышка в обмороке падает ему на руки, Матута, придерживая цыганочку, зло оглянулся, ища, кому спихнуть груз. Но рукам его становилось все приятнее и приятнее удерживать тело, трепетной струей норовящее стечь с рук. А смутную тревогу ему так и не удалось вывести из карцера подсознания, оформив в какую-нибудь путевую мысль.

– Очнись, дура! – возмутился он и дважды шлепнул ее по смуглому личику. Но много бы дали когда-то урки Магадана, чтобы Матута бил их так не больно.

– О, Бара Дэвла!* – прошептала цыганка, приходя в себя.

Уларки испуганно галдели. Поспешно вынув Дарико из лап гаджио, они осторожно усадили ее наподобие кресла, которое тут же смастерили из двух мешков. А гангстер сделал то, чего не сделал в свое время, иначе не чалился, может быть, всю молодость с юностью в придачу. Будучи вором старой школы, Матута неоднократно уходил от органов на машинах, но считал ниже

* О, Боже мой! (цыган.).

своего достоинства чухать на своих двоих, за что и поплатился длинным сроком, когда забрался в дом полковника Коявы-старшего, чтобы унести клавесин. Сейчас же он поспешно удалялся от бакалейного ряда; хотя удалялся – еще слабо сказано. Можно сказать даже: постыдно удалялся. Можно сказать даже – убегал. Хотя при этом его сильное тело сопротивлялось побегу и старалось нестись с достоинством, насколько это возможно, но эта нарочито-степенная поступь еще больше изобличала его побег, потому что походку подделать сложнее всего.

Туриха Дарико отрешенно откинулась на спинку импровизированного кресла рядом с недавно закрывшимся пивларьком, как бы давая возможность, наконец, описать себя. Ее ножки, закрытые юбками по щиколотку, опустились в тающую пивную пену, как у Афродиты, вышедшей из пены моря. А колени ее... И не знаешь, как подбирать слова, когда перед глазами маячат то свирепый Матута, то ее братья. Хоть описывай ниже подборodka и выше пояса. Придется вам поверить мне на слово: все было при ней. На ее личике словно застыла мольба, обращенная к суровым братьям, – выдать, выдать ее скорее замуж, от греха подальше. А потом шли ее глаза и прочее.

Очнулась она, окруженная глазами, юбками и звоном металла уларок. И тут же почувствовала полтину, спрятанную под кофтой. Она не могла ее не вспомнить, потому что бумажка жгла ей кожу. Теперь, когда с ней случилось Эмоциональное Включение, деньги, полученные от виновника происшествия, были подобны плате за любовь. Рука цыганочки нырнула в межгрудье и, выловив полтинник среди прочих денег, извлекла его. С минуту ее рука рассеянно искала, куда бы деть деньги. Уларки услужливо предложили избавить ее от лишнего груза. Но туриха не стала их беспокоить, а убрала полтинник в наружный карман юбок.

Утерев с лица брызги воды, при помощи которой ее приводили в чувство, цыганка сладостно зажмурилась. И вдруг запела песню.

У машины Матута обернулся. И хотя взгляд Цыганки был рассеян, как это бывает у поющих турих, он встретился с ней глазами. Она находилась где-то в гуще соплеменниц, но взгляд его случайно нашел ее взгляд. В таких случаях ошибки быть не может.

В тот же миг от скрещения их взглядов брызнули искры, так что собственно глазами ни он, ни она ничего толком не увидели. Матута нахмурился и стал отворять дверь машины. А цыганка продолжала петь.

Оставляя внизу галдеж уларок, грязь и наглые запахи базара, песня поднималась все выше и выше в вечернее сухумское небо, откуда открывалась необычная картина: не только «жигули» и «москвичи», но и грузовые, и автобусы, и даже черные «Волги» с антеннами шарахались в стороны от обезумевшего «мерседеса», который вдруг выехал против течения. Бессознательно руля, он доехал до двора любовницы и остановился под ее окнами. Раньше он себе никогда этого не позволял. Обычно он звонил Джозефине или подсылал мальчишку, а сам ждал в машине поодаль. Появление знакомого всем «мерседеса» вызвало во дворе переполох. Взрослые оставили свое домино, дети – волейбол. Во всех четырех домах двора любопытные подбежали к окнам. Подтверждались слухи о том, что Джозефина изменяла мужу с бандитом Матутой. Хотя Матута не подал никаких сигналов, Джозефина почуяла его приход, прокралась в лоджию и выглянула в щель между шторами. Увидев возлюбленного, она сказала себе, что Матута совсем обалдел, порадовалась, что хоть мужа дома не было, но решила не открывать, чтобы вконец не засветиться. Однако до этого не дошло. Очевидно, опомнившись, Матута тотчас уехал.

Ехал он медленно. Смутной Тревоги уже не было. Вместо Смутной Тревоги он ощущал могучее волнение души и тела. Такого рода волнение гангстер испытывал всего несколько раз в жизни. Первый случай Матута втайне считал своим единственным грехом: однажды в лагере в Коми АССР он потребовал гитару и спел, провожая глазами клин улетающих журавлей. Второй раз он сильно разволновался, когда, вернувшись домой на волю, застал в родном городе и повсюду беспредел и беззаконие. Тогда Матута ворвался в Черноморье, как чума. На первой же сходке он семь душ оставил не ворами. Раз и навсегда Матута сломал установившиеся в его отсутствие правила. А то воры здесь совершенно деградировали, сидя в доле у коммерсантов и проводя время в безделье и роскоши. И вот сейчас, как ни странно, эта

замухрышка-чавела смогла вызвать в его душе бурю. Матуте вдруг стало жаль себя. Он вспомнил, что он бездомный. И решил поручить ребятам подыскать ему подходящий дом.

Все это были лишь обрывки мыслей. Первая ясная мысль оформилась в его мозгу, когда он, уже выйдя из машины и открыв калитку, шагал по двору к большому, но обшарпанному дому в цыганской слободе Старого поселка.

«Мануш-СаSTRUНО путевый был, а сын его – чистый фуцан. Но тем не менее с ним придется поговорить, – такова была эта мысль.

Свирепый пес хозяина кинулся было на него, но тут же попятился назад, сдутый мощными флюидами Матуты. Поджав хвост, пес ушел за дом, где заскулил, чувствуя, что как раз именно с этим незванным гостем он должен был проявить характер.

Матута шагнул на крыльцо.

– Вообще уйду я от вас к Дусеньке на кар! – услышал он за дверью.

Вслед за этим появился цыган. Он хлопнул за собой дверью, что было сил и быстро пошел, чуть не столкнувшись лбом с Матутой. Матута хмуро остановился. Цыган смутился и обошел гангстера, прихрамывая на одну ногу.

Матута был сейчас в таком настроении, что ему дела не было ни до этого цыгана, ни до правосудия, которое свершилось в гостиной барона. Ни до мальчика, который был в зале, только что очистил лезвие финки от крови и положил за голенище сапожка. Барон СаSTRUНО-младший сидел в кресле у камина. Он только что свершил третейский суд. Если вкратце, то дело было такое. К нему с жалобой явились этот мальчик и отец, который как раз вышел, хлопнув дверью. Отец требовал от сына часть его дневной выручки, на что сын однажды ответил отказом. Тогда отец в гневе проколол сыну бедро серпом. Жалобщик-сын настаивал на своем, говоря, что ему уже восемь лет, женитьба не за горами, так что надо собирать деньги на самостоятельную жизнь, к тому же он и теперь помогает матери – скромной уларке, отец же женился на русской, на стерве Дусе из Маяка, пропадает у нее, пьет и ничего не делает. Барон постановил, что мальчик может получить удовлетворение, что тут же и было исполнено – мальчик пырнул в бедро ножом непутевого батьку.

Увидев Матуту, барон издал радостное восклицание, встал и направился, успев цыцкануть пацану, чтобы тот убрался. Цыганок положил свой подарок – серебряную медаль, выдаваемую отличникам по окончании средней школы, – и вылетел из комнаты. Барон пошел с распростертыми объятиями, как всегда при встрече с гангстером, собираясь в последний момент сузить эти объятия до сердечного пожатия руки своими двумя руками. По дороге он оценил обстановку, тут же догадался, что гангстер к нему не с требованием, а с некоей просьбой, и потому, подойдя к нему, решительно обнял и прижал гостя к груди. Сухо, но терпеливо Матута позволил барону эту фамильярность.

Покончив с обычными расспросами про житье-бытье и выслушав жалобы барона, что цыганы теперича как бы не цыганы вовсе, Матута уселся у камина и спросил:

– Где твоя сестра?

– Которая сестра? – насторожился барон.

Чертовски Симпатичная Цыганочка, чей взгляд пьянит.

Чертовски Симпатичная Туриха, виновница моей Смутной Тревоги.

О, мне нужна дева, чьей косой возможно стреножить жеребца, чьи глаза темнее налитого винограда, чье тело матово, чьи плечи покаты, а шея как росток, чей стан гибок, а бедра упруги.

О, спеши, я хочу взглянуть на деву, которой суждено иметь надо мной власть.

Нечто вроде этого заклокотало в Матуте, но вслух он произнес:

– А которая на базаре гадает.

– Дарико? – нахмурился барон.

На его лице, как мыльная пена, когда в бане вдруг кончается вода, все еще оставалось дружелюбное выражение. Он имел дело с Матутой и желал иметь дело и дальше как с паханом преступного мира, но, когда речь заходила о семье, тем более о самой ценной сестре, тут же Матута превращался в глазах барона в презренного гаджио, одного из тех, от которых тысячи лет цыганство отгораживается, не желая с ними смешиваться, и изобрело для этого самый лучший способ – жить таким образом,

чтобы у самих гаджио не появлялось желания смешиваться с цыганами. Тем не менее, он произнес с мягкостью, чтобы сразу не идти на конфликт:

– Она ребенок еще, Матута.

– Хорош! У тебя жены есть помладше!

– Оставим этот разговор, а?

– Будет лучше, если поговорим по-деловому, – предложил Матута с известным в городе спокойствием.

Он тоже не хотел идти на конфликт, но проявить жесткость надо было. С презрением жиган проследил за рукой барона, нащупавшей оружие за поясом. Барон стал приподниматься.

– Короче, сядь! – приказал Матута голосом, от которого барон покорно сел, но руку продолжал держать за пазухой, что, впрочем, не оказывало на Матуту никакого воздействия.

Барон вздохнул. Матута заговорил спокойным и деловым тоном. Он сделает так, чтобы сухумская табачная фабрика закрылась на ремонт, пока цыгане не реализуют свои запасы «Космоса» и «Примы». Это первое. В ближайшее время бывшие комсомольцы привезут партию «Мальборо», и он даст барону возможность взять оптом полмиллиона пачек лишь за три рубля сверху. Это второе. Третье: отныне в двух главных точках – на базаре и проспекте Мира, кроме главпочтамта, – рэкет не станет беспокоить цыган. Четвертое: на этих объектах долю будет брать сам Матута, причем снизив налог до десяти процентов. И пятое: он сделает дело у верховного прокурора за 100 тысяч, а также выпишет адвоката, который обойдется барону в 40 тысяч, чтобы брат барона, сидящий за убийство, пошел не по 104-й, а по 105-й статье, где он получит только шесть лет, сидеть будет в Гегуте, где зону кнокает чернота, и выйдет на волю за два года.

И наконец, шестое: пацанка нужна Матуте не как бикса, а почти как жена, и она будет жить в доме Матуты и рожать ему детей.

Барон заволновался. Барон просто обалдел. У него глаза на лоб повылезли от предложенного. От радости Саструно-младший чуть не нажал на курок пистолета за пазухой. Он встал и заходил по комнате.

– В натуре, Матута? – барон поправил серьгу в ухе и застенчиво заглянул в глаза Матуте, тоном вопроса выражая свое абсолютное согласие.

Он знал, что с Дарико на базаре случилось эмоциональное включение. Об этом ему успели доложить уларки, которые час назад шумно влетели к нему во двор, ведя отрешенно улыбающуюся Дарико. Но барон не подозревал, что причиной этому был всемогущий Матута. Он почесал за серьгой. Саструно-младший знал, что Дарико – необыкновенная чавела, и собирался продавать ее недешево, но предложенные Матутой условия превосходили все мыслимые для барона пределы. Он тут же прикинул выгоды, которые сулили покровительство Матуты и его конкретные предложения, и пожалел про себя, что деньги так стремительно портились.

– Но, Матута... – пробормотал барон.

– Веди ее сюда! – приказал гангстер.

Барон решительно выхватил из-за пояса никелированный браунинг калибра 7,65.

– Матута, это я дарю тебе! – сказал он и протянул браунинг будущему сродственнику.

Матута принял оружие без эмоций, как ритуальный дар.

Барон хлопнул в ладоши. Жена его тут же зашла: она, условно, стояла за дверью. На яростно-мелодичном цыганском наречии барон стал давать ей распоряжения. Матута, тогда еще не понимавший этого языка, только и разобрал «Дарико» и «юбка». Было ясно, что барон приказывает вести Дарико, нарядив в лучшие юбки табора. Звеня настоящими драгоценностями, жена послушно удалилась.

Цыганку привели. Она появилась в дверях, и рассеянный взгляд ее скользнул по Матуте. Десятки любопытных голов выглядывали из-за ее спины. Матута остоленел. Она не узнала его! Лишь в первую секунду, но не узнала! Да и как она могла узнать гаджио, когда его в действительности не видела! Она видела его ладонь и глаза – и больше ничего, если не считать того, что при первой встрече на базаре окинула его обобщенным взглядом.

Но получилось так, что смущенная цыганочка и тут не уследила за своим взглядом. Глаза ее встретились с глазами гостя. И она узнала в Матуте того самого гаджио по искрам, посыпавшимся от скрещения их взглядов.

Барон что-то сказал сестре по-цыгански властным тоном. Потом, обратившись к Матуте, добавил демократично:

– Поговори с ней сам, – и удалился за ширму.

Дарико побежала к брату.

– Ступай к нему! – приказал барон из-за ширмы.

Цыганка вернулась и направилась к Матуте. Походка ее была угловатой от растерянности и смущения. А когда подошла к нему, она проделала то, на что сам Матута в эту минуту не дерзнул бы. Приподнявшись на цыпочках, она обняла ручонками его шею. И заглянула в глаза. Взгляд ее не излучал ни плутовства, ни гипнотического конуса. Казалось, он был от стыдливости повернут вовнутрь. И движения ее были какие-то неестественные, словно она старалась добросовестно повторить задание, как юная студийка.

Однако природа тут же вступила в силу. Хрупкая, дрожащая, она прильнула к нему.

Матута замешкался. Обнять девчонку он мог, в этом не было проблем. Но дело в том, что, сухой я буду, Матута никогда в жизни не целовался. Жиган суровых нравов, он считал, что это запахло. Никогда он этого не делал ни с одной из своих женщин. Даже в лагере, когда он воображал Любку Орлову из кино «Волга-Волга», он не воображал себя целующимся с ней. Еще недавно он катком бы переехал любого, кто смел предположить, что Матута способен на это. Но так бы его и послушалась сейчас природа, властно завладевшая его волей. Подчиняясь ей, он позорно отворил свою пасть навстречу ее губам. Поцелуй оказался головокружительным, как утренний чифирь с сахаринном. А потом Дарико, не отрываясь от жениха, приникла головой к его груди, вместо желанного покоя найдя внутри нее гудение сердца, точнее, души.

– О, Бара Дэвла! – прошептала она еле слышно.

Когда на улице, где Матута не помнил, как очутился, пес снова оскалился было на него, жиган даже не успел шлепнуть его по морде флюидами. Весь табор, собранный во дворе барона слухом о сватовстве, накинулся на пса, громко кляня его за то, что рычит

на родственника. Было решено, что детали обговорят назавтра, и Матута уехал домой. Точнее не домой, – дома у Матуты не было, – а на свою квартиру, где он жил с матерью. Отперев дверь ключом, Матута на цыпочках прокрался в лоджию, чтобы не разбудить маму. Единственное, чего ему хотелось после целого дня волнений, – Этого Самого. Конечно, стоило ему позвонить, как ему все принесли бы немедленно. Но телефон был в комнате, где спала мама. Матута уселся на кушетку, уставившись в полку книг напротив. Он отлично помнил, что как-то закладывал в книгу один пакет. Но попробуй, найди нужную книгу. А книг у Матуты было много: и тех, что были собраны мамой, и тех, что он брал в книготорге из принципа.

От внезапного одиночества состояние у него было прескверное. Надо было непременно выловить нужную книгу из рядов на полке и найти пакет Этого Самого.

Почему-то Матута поднял ноги на кушетку и скрестил их под задницей. Потом он выправил осанку, вытянул руки, поставил их ладонями на колени и так и сел. Закрыв глаза и расслабился, как последний идиот. Дышал медленно и размеренно. Так он просидел очень долго, сосредоточась на чем-то бесформенном, бессодержательном и бессмысленном. И мгновенное озарение посетило его.

Он встал, уверенно подошел к нужной полке и вытащил искомую книгу. Пакет аккуратненько лежал между обложкой и титульным листом. Но в следующий миг его больше заинтересовала сама книга. Это была она. Он и не знал, что эта книга есть в его собственной библиотеке. Это была та книга, которую он штудировал на Магадане, не зная ее названия и автора. «З. ФРЕЙД. ТОТЕМ И ТАБУ» – прочитал он.

Восемь состояний составляли сущность Матуты: *порядочность, справедливость, решительность, честь, зловещее обаяние, острое чутье, радостное предчувствие и смутная тревога* – как восемь лучей Звезды жигана.

О великолепных городах

Водитель автобуса против птиц ничего не имел, только собаку не стал пускать в салон, требуя то ли намордника, то ли охотничьего сезона. Но пассажиры дружным хором вступились за Могеля и его спутников. Шофера чуть не обвинили в политике. «Человек отправился в поход на запад, а ты будешь ему препятствовать? Из-за таких, как ты, нас 46 процентов, а могло быть...» Шофер сдался.

– А дворняга-то зачем *в поход на запад*? – только поворчал он слегка. – Сидела бы дома.

Могель, который тоже так считал, не возразил. А Мазакуаль подумала, только сказать не могла: «Показала бы тебе, какая я дворняга, доберись до твоего курятника!»

Могель устроился сзади, загнав птиц под сиденье. Собака притихла в ногах. Ехали быстро. За окном, кстати, уже давно буйствовала диковинная природа, и сладостный аромат врывался в открытые окна автобуса.

– Это Сухум? – спросил осторожно Могель, потому что за окном было нечто, подобное городу.

– Гульрипш, слушай, Гульрипш, – объяснил водитель.

Там на площади шел митинг. Те же флаги и транспаранты, те же надрывные голоса ораторов с трибуны. Все это примелькалось уже дома.

– Доведут они нас, – вздохнул старик, сидевший рядом с Могелем. – Что имеем, тоже потеряем.

– Как *Жордания** не добился прошлой эртобы, так и эту эртобу не даст Россия провести, – поддержал старика другой старик. – *Только зря погубят молодежь.*

Могель сейчас был почти согласен со стариками, несмотря на то, что его самого в деревне записывали в «Общество Ильи Праведного»** и Хельсинкскую группу с условием, что его присутствия на собраниях не потребуются.

* Жордания Ной Николаевич (1869–1953) – грузинский политический деятель. В 1893–98 гг. возглавлял марксистов в «Месаме даси» («Третьей группе»).

С 1918 г. председатель правительства суверенной Грузии. С 1921 г. – эмигрант.

** После раскола в марте 1988 г. из «Общества Ильи Чавчавадзе» выделилась группа «Меотзе даси» («Четвертая группа»), переименованная в декабре 1988г. в «Общество святого Ильи Праведного».

Но на слова стариков тут же включились женщины, и поднялся гвалт. Только спору не суждено было продолжаться: в салоне оказались абхазы.

– У абхазского князя... – начал было один из абхазов, но спутник одернул его со словами:

– Сказал же Имярекба, что пока надо терпеть.

Ощущая собаку и птиц в ногах, Могель озирался по сторонам. Все эти разговоры ему были неинтересны. Ехали берегом моря. Но напряжение чувствовалось. Его невозможно было не заметить. Сам воздух был начинен напряжением.

Въехали в столицу. Уже темнело. Электричество горело, но настолько слабое, что свет из окон был тускл, как от керосиновых ламп. И никакого городского освещения. Автобус то и дело останавливался и постепенно пустел. Огромная тоска объяла Могеля.

Когда водитель объявил, что приехали, что уже центр города, Могель удивился. Центр был совершенно пуст и безлюден. Он извлек из сумы адрес брата и обратился к соседу. При этом его голос уже был готов сорваться на плач. Пассажир объяснил, как найти нужный дом.

– А за багаж кто будет платить? – заявил при выходе водитель.

– Какой еще багаж? – возмутился Могель, но часть багажа, то есть собака, притерлась к нему, предлагая не спорить. Могель отдал шоферу двойную плату.

Ему хотелось еще раз уточнить адрес. Редкие прохожие были то ли не приветливы, то ли напуганы. Но многоквартирку, где жил Энгештер, он все-таки нашел. Квартира брата была расположена на первом этаже. На двери на меди была выгравирована родная фамилия Могеля и брата. Но Могель пребывал в таком подавленном настроении, что постучаться не хватило духу. Он уселся на ступени лестницы около двери, громко оплакивая свою судьбу.

Ну, поведай добрым людям,
сладкозвучный мой чонгури,
О моей печали лютой, –

пел он, подпирая щеку то правой, то левой ладонью в зависимости от того, куда склонялась голова в такт песни и тоски. Птицы были тут, а Мазакуаль уже убежала, наверное, чтобы изучить окрестности на предмет наличия птичьего двора.

У подъезда остановилась иномарка, уже знакомая Могелю. Хозяин машины припустил стекло, и холодный его взгляд, как тень, на мгновение упал на Могеля, но не узнал его. Машина бесшумно отъехала. Могель продолжал причитать. Он еще вспомнил крестьянскую байку о красавице гречанке, которая помогла Матуте бежать от органов в день суда.

Наконец открылась дверь, что была напротив двери брата.

– Ты к кому, парень?

Могель проворно вскочил и ответил.

– Почему не позвонил? – сказал сосед и сам позвонил в дверь. – Фина, к вам гость, – крикнул он в дверь, когда за ней послышалось шарканье мягких домашних туфель.

– Минуточку, – послышалось за дверью.

Сосед, убедившись, что люди там есть, вернулся к себе за железную дверь. Но почти родная дверь все не открывалась. Могель опять сел на ступени и начал свою заунывную песню.

О том народе,
что всегда смеется вместе с братьями,
а вздыхает в одиночестве,
рассказать может только чонгури.

Под дребезжанье трех волос,
выщипанных из хвоста трудяги-мерина,
споеет вам одинокий юноша песню,
в которой вместились
и тоска веков, проплывающих мимо,
и тоска хулимого народа,
и тоска страны его,
где на болотах – ольха да граб,
где развалины церквей заросли терном,
где слезами залиты пороги.

Не из мутных рек поила ты своих детей,
влажная страна,
а из родников, обитых камнем.
Только, подрастая, они уходили прочь –
от нищеты, бесплодия, страха, –

чтобы в чуждых-родных краях
обрести достаток и покой,
но потерять свое имя
и даже речь.

Страна,
чья праздники
не обходились без сродственников,
и только в дни
пожарищ, труса, глада и гнева соседей
оставалась одна.

О, родной,
 неуютный,
 неплодородный,
 неединственный край!
О, родной,
 неповторимый,
 непризнанный,
 неединственный язык!
О, слезами залитый порог!

Наконец по ту сторону двери зазвенели ключи. Могель замолк и вскочил. Дверь открылась, и у ног его ковром расстелился свет. В дверях появилась его невестка Джозефина, которую он видел только однажды, на похоронах отца. Сейчас она была в тонком и таком шикарном халате, что Могелю показалось: имей он в руках его цену, ему бы удалось и прописаться, и работу найти.

Кто ты, пришлец полуношный, чьи неизбывны печали? –
заворковал ее мягкий и добрый гекзаметр.

Близоруко щуря красивые глаза, она, наконец, узнала родственника.

Полно стоять у дверей, словно раненный в сердце Эротом:
Смело шагни же в обитель единоутробного брата! –

сказала она, с порога подтверждая мнение о своей приветливости и человечности.

Однако, прежде чем шагнуть в прихожую, Могель засуетился, пытаясь сбросить с ног глиняную обувку. Жена брата с родственной грубостью схватила его за рукав и втащила в дом.

– А что это? – спросила она, указывая на птиц.

– Это вам, – пробормотал Могель, целомудренно отстраняясь от невестки в тесной прихожей.

Джозефина раздумывала секунду, потом ушла в боковую дверь.

– Почему ты не разуваешься? – ласково спросила она, появившись в более грубом халате поверх того, что на ней был. – Я запрु индеек в сарае. Зачем беспокоился! – сказала она и оставила Могеля одного.

Хорошо, что она не видела собаки, подумал Могель. Оставшись в прихожей, он стал лихорадочно освобождаться от глиняной обуви. Разулся, выскреб из обуви траву и сгреб в карман. Суетливо перекладывая обувку из одной руки в другую, вместо того чтобы сунуть ее куда-нибудь, он начал доставать свои мокасины. Ему хотелось обуться, пока вернется невестка. Он обулся. Невестка вернулась, но зеркальный паркет прихожей был так гладко отполирован, что на новых подошвах Могель вдруг заскользил, как фигурист, соревнующийся на приз газеты «Нувель де Моску». Могель скользил и хватался за стены, за шкаф, но не мог остановиться. Этому пыталась соответствовать классическая музыка из зала, где, очевидно, играл телевизор. Наконец, Могель случайно ухватился за что-то мягкое. Это была она. Ему показалось, что и невестка смутилась и покраснела, однако она с родственной грубостью обняла его и прижала к себе.

– Снимай туфли и надевай тапки, – сказала она мягко.

Продолжая глупо опираться на невестку, он скинул злополучные мокасины и швырнул их обратно в суму. Ощутил, наконец, твердь под ногами. Невестка улыбнулась так родственно, что смущение его как рукой сняло. Могель невольно разглядел ее. Отметил про себя, что жена брата статна и полногрудая, в декольте ее халатов было видно белое тело, талия была тонка, а бедра округлы, а сама невестка оказалась характером приветлива, и Могель порадовался за брата, что тот имеет такую славную жену.

Джозефина с родственной грубостью втолкнула его в таинственный мир ванны. Могель прикрыл дверь и долго осваивался

тут, восхищенно разглядывая голубые раковины-шампуни, шампуни-бадузаны, и там же дал себе слово, что добьется для себя такой же ванны, а домой вернется не иначе, как на собственном «москвиче».

Джозефина же открыла нижнюю створку шкафа-вешалки и поставила глиняную обувь Могеля рядом с точно такой же глиняной обувью, только почерневшей от времени. То были башмаки, в которых прошел в свое время его брат Энгештер свой бесшумный поход.

Как, шагнув через порог, я увлажнил порог слезами,
Ты поведай добрым людям, сладкозвучный мой чонгури!

О ловцах рыб и о сеятелях

Русалке наскучило бессмертие. Она думала, что все, что могло произойти, уже произошло и ничему новому не быть. Новое подкралось незаметно.

Это было в то прекрасное весеннее утро, когда Григорий Лагустанович с двумя соседями пошел удобрять свое кукурузное поле, которое находилось чуть повыше его усадьбы. Небольшое поле ему выделялось самими крестьянами, как патриоту села.

Возможно, мы и отвлечемся, но необходимо поведать читателям о том замечательном случае... Лагустанович, даже спеша на охоту или рыбалку, всегда находил время, чтобы поинтересоваться, как живут простые люди. И сейчас, несмотря на то, что надо было торопиться, пока солнце не стало припекать – случай с Хаттом прошлым летом был еще свеж в памяти, – Лагустанович нашел время побеседовать с замечательным крестьянином, которого он впервые видел. Он в общем-то остановился потому, что его внимание привлек странный дом этого человека. Это был ампир – не ампир, барокко – не барокко. Дом был трехэтажный и со всех сторон на всех этажах был облеплен балконами, и не просто балконами, а висячими. «Сколько неведомых талантов таится в недрах наших сел!» – подумал Лагустанович с гордостью. Он решил при первой же возможности этому народному умельцу помочь.

– Как твои имя-фамилия, добрый крестьянин? – спросил он.
– Нарсия Ладимер.

– Паха, где ты выискал такое имя? Или ты не знаешь, кому врешь! – возмутились крестьяне, сопровождавшие Лагустановича.

– Я так записан в шнуровой книге, уважаемые соседи, – ответил Паха. – А великого Григория Лагустановича мне ли не знать!

Лагустановичу понравился этот простой крестьянин.

– *Здорова ли семья?* – спросил он.

– Слава Отцу, все здоровы и без вины! – ответил Паха смущенно, хотя сестра никак не поправлялась после падения с волка, он не стал грузить начальника своими проблемами.

– *Цел ли скот?*

– Слава Отцу, чью Золотую Стопу мы можем узреть!

– *Есть ли помощник по хозяйству?*

И тут произошел первый казус. Очередным вопросом Лагустанович поинтересовался, есть ли жена у крестьянина, деликатно назвав ее помощницей по хозяйству. Но поскольку в абхазских существительных род не выражен, а по обычаям расспрашивать мужа о жене не принято, Паха рассудил, что начальник интересуется, есть ли у него бродяга, помогающий как раз по хозяйству, Пахе надо было отвечать осторожно. Бродяг держать в доме по закону не положено, об этом всегда говорит бригадир. Но и утаивать от доброго начальника...

– Не скрою от тебя, дражайший: есть у меня с некоторых пор бродяга, но странный, – заговорил он.

– Бродяга есть? И странный? А в чем его странность? – пришлось спросить Лагустановичу.

Он был далеко не в восторге, что его вопрос неправильно понят. Еще анекдот родится: вон, крестьяне поотворачивались, улыбки прячут. Ему надо было задать серию дежурных вопросов, получить на них дежурные ответы – и в путь. Помочь крестьянину он все равно собирался. И крестьяне это знали: разговорился с тобой – помощи жди.

– Бродяга немолодой, но довольно крепкий. Только не знает ни по-нашему, ни по-русски. А ехал он на велосипеде.

Первая мысль, которая пришла в голову Лагустановичу: а вдруг – шпион!

– И что ты с ним делаешь?

– Отнял у него паспорт, тоже не нашенский, – признался Паха. – А с работой сам справляюсь. Неловко как-то: ровесник моего отца!

Вы, вероятно, догадались, что в плен к доброму Пахе попал мось Крачковски собственной персоной! Вот такие анекдотические случаи имеют быть у нас порой.

– Позвать его, дражайший!

Лагустанович повелел, и привели французского спортсмена. Он шел, широко улыбаясь: Лагустанович понял, что жаловаться ему спортсмен не станет. Ну и слава Богу!

Лагустанович был интеллигент советской школы и, к сожалению, европейских языков не знал. Но, удивительное дело, индусское наречье Шри-Ланки, которое знал француз, поскольку ему часто приходилось устраивать велопробеги на этом острове, истерзанном «Тиграми Тамил Илама»*, – так вот, это наречье в некотором роде совпадало с цыганским наречьем, которое знал Лагустанович. Ведь цыгане – выходцы из Индии!

– *Дел де марел три года!* – воскликнул по-цыгански Лагустанович, узнав, какой тут казус приключился.

– *Дел де марел три года!* – согласился по-цейлонски мось Крачковски и фамильярно похлопал его по плечу.

Крепкие выражения наиболее консервативны в языках и менее всего подвержены изменению.

Конфликт был улажен. Посмеялись. Лагустанович извинился перед гостем, что сию минуту не может сопровождать его до дому. Он велел Пахе отвести гостя и передать домработнице распоряжение, чтобы ему были предоставлены все цивилизованные условия.

Посмеиваясь над этим утренним приключением, Лагустанович и крестьяне направились к кукурузному полю.

Соседи не позволили пожилому Лагустановичу работать на солнце – после случая с Хаттом они были к этому особенно внимательны, – и Лагустанович сидел в тени, поминутно благодаря крестьян, пока те подсыпали под кукурузные стебельки особое снадобье из бумажных мешков, от которого кукуруза

* Военизированная организация тамильских сепаратистов на Цейлоне.

буйно росла и лучше плодоносила, а сорная трава не могла и голову высунуть из-под земли.

Когда работа была закончена, осталось два лишних мешка. Чтобы они не валялись в поле, Лагустанович и его друзья решили высыпать остаток в реку. Вещество было такое белоснежное, такое привлекательное, что хотелось попробовать его на вкус. Прикоснувшись к воде, оно растворялось мгновенно – так мгновенно словно и не было этой красоты. И тут же ноги крестьянина, который высыпал удобрение, стоя при этом по колено в воде, почувствовали, что вода стала холодной-холодной, точно горный поток. Что-то странное, разрушающее привычное отношение к вещам, было в этом мгновенном переходе материи в бесплотное свойство.

– Вот и все, – сказал Лагустанович. – Теперь пойдем, покажем наше гостеприимство французу! Угостим его на славу, а потом поведем на сельский праздник. Иностранцы обожают разные обычаи.

И все трое, мирно переговариваясь, пошли к дому Лагустановича. Там их ждало сытное угощение. Мосье Крачковски уже успел принять ванну, о которой он так мечтал, и, переодетый, возился со своим железным конем. Лагустанович любил разные закуски. Селедку он предпочитал в оливковом масле, а балычок разрезал сам, считая, что домработница это делает не так аппетитно. Замагропрома Аветисов отвечал за исправную поставку ишхана*, который водится только в озере Севан. К нему очень шло эчмиадзинское крепкое, если им не злоупотреблять. А злоупотребишь – захочется вдруг стать армянином, и не просто армянином, а армянским монахом, и можешь спьяну дать обет, что никогда не выйдешь за ворота эчмиадзинского монастыря. Любой самый скромный стол у Лагустановича не обходился без джонджоли** малого посола. Его зам по идеологии отвечал за джонджоли и за кахетинское терпкое. «Тоже не смейте перепивать, – любил за столом пошутить Лагустанович, – не то вос-

* Рыба семейства лососевых, элитный сорт форели.

** Нераспустившиеся цветочные почки одноименного кустарника, которые заквашивают вместе со стебельками, распространенная на Кавказе приправа или холодная закуска.

кликнете: "Эртоба!". Он вообще был поклонник рыбы. Он сам на речке за домом развел-таки карпов. Лагустанович пригласил гостя взглянуть на пруд.

Соседи уже видели этот замечательный пруд, сами его рыли, но тоже пошли, пока накрывалось на стол. Подойдя близко, они нашли пруд совершенно зеркальным. Тут только и сообразили, что высыпали суперфосфат сверху по реке. Глупые карпы всплыли, все до одного. Только малую часть удалось потом сбить в дорресторан, да и то за бесценок. Остальное пришлось скормить свиньям. Есть отравленную рыбу Лагустанович соседям не посоветовал. А пока Лагустанович сказал:

– Ну и черт с ними, дел де марел три года! Стоит ли расстраиваться. Перекусим у меня, выпьем по паре чарочек – и выйдем на праздник.

В деньгах он особой нужды не имел, жаль было только затраченного на разведение карпов труда.

Когда холод почувствовали кривые русалочки ноги и когда сама русалка ощутила что-то неладное, вся река была уже в движении. Ноги ее коченели. Русалка выскочила из воды. И рыбы – лобаны, сомы, бычки, маленькие щуки, – и змеевидные рыбы, и сами змеи, и даже черепахи, и даже лягушки мчались, теснясь, вниз по течению.

– Что вы делаете? – вскричала адзызлан. Бывшая Владычица Рек и Вод узнала новость последней.

Новость мчалась по реке, наступая рыбам на хвосты, – новость, отливавшая радугой, где все цветы были налицо, но только грязнее, чем в радуге водяных брызг. Эта радуга мчалась вниз по реке, издавая незнакомую вонь, от этой радуги шарахалось все живое, эта радуга убивала цветущую воду реки.

– Остановитесь! – вскричала русалка, но ее никто не слушал. Она познала горечь полководца, чье войско обратилось в паническое бегство. Кефаль, вышедшая рано утром в устье реки, заметив собратьев, безумно устремившихся к спасительному морю, еще ничего не поняв, поспешила назад. Там, где река, образовав широкое устье, затем узкой полоской входит в море, вся речная живность смешалась с холеным племенем кефалей и устроила давку, как если бы это были люди.

Сама смерть, переливаясь черной радугой, источая незнакомый омерзительный смрад, пронеслась по телу последней реки села. Таково было свойство белоснежного вещества, ссыпанного в воду.

С ужасом и отвращением побежала русалка прочь от своей древней обители. Она бежала, спотыкаясь вывернутыми ступнями, и была сейчас всего лишь беззащитной женщиной. Русалка пустилась по проселочной дороге. Был час после полудня, и в деревне между отравленными речками начиналось непонятное ей торжество. Шли люди, неся портрет вместо чучела, но при этом никто, никто не видел русалки, не слышал ее испуганного плача. Неощущаемая, она пробежала сквозь толпу. Тело русалки, данное в ощущениях только ей, было переполнено ужасом.

Свернув с дороги, она побежала к дому Хатта, к последнему Хатту, чей предок разделил с ней когда-то ее травянистое ложе, к последнему Хатту, женщинам дома которого она открывала тайны целебных трав и вод.

Она бежала, боясь еще раз вдохнуть отвратительную вонь грязной радуги. Она бежала и ощущала свое дрожащее от испуга тело, Русалке казалось, что тело ее тяжелеет и она слышит звук своих шагов. Но думала, что это от усталости.

Наконец, она добежала до дома Хатта. В пустынной усадьбе последнего Хатта, огороженной старым замшелым частоколом, на пустынной лужайке перед домом последнего Хатта, где паслась тощая коровенка, русалка почувствовала себя в безопасности и отдышалась.

Она зажмурила и открыла глаза. Напротив нее стоял черный пес. Пес учуял ее! – залаял на нее! – услышал! – потому что тоска и ужас вернули русалке плоть.

Пес подошел к ней совсем близко, но русалка и не вспомнила о своем древнем страхе перед черным псом. С нежностью и торжеством она ощущала свою пышную, дрожащую в ознобе плоть.

Черный пес дружелюбно обнюхал ее. Русалка пахла тиной и рыбьим духом. Тявкнув и вильнув хвостом, он побежал к амбару, словно указывая ей дорогу. Она покорно пошла за ним.

Русалка забралась на балкончик амбара и легла на спину – нежной кожей на сваленные там ржавые инструменты. Золотые волны ее волос, свешиваясь с крылечка, падали вниз. По волосам

текли слезы, скатываясь в пыль – в пыль, по которой волочились, тронутые ветерком, концы ее расплетенной косы. Она лежала неподвижно и смотрела в чуждо-светлое небо, и лишь пальцы ее вывернутых ног понуро свешивались вниз.

Последний Хатт в честь праздника зашел в дорогой ресторан и потому задерживался. Вернулась с прополки кукурузы его жена.

Она подошла к госте, лежавшей навзничь на крылечке амбара, и вдруг бессознательно проделала то, чего требовала память крови: осторожно приподняв золотые волосы, положила их рядом с русалкой. На сей раз русалка не притворилась спящей. Она присела, свесив уродливые ножки. Хозяйка стояла на ступеньке приставной лестницы. Краем грязного передника она утерла слезы на иссиня-белых щеках Владычицы Рек и Вод. Но не говорила, боясь, как бы русалка, истосковавшаяся по применению своих чар, не ввергла в немоту.

А вечером вернулся домой последний Хатт. Он вошел во двор, шагая против девичьих следов.

О рожденных в пути

Григорий Лагустанович сидел в своем служебном кабинете, рассеянно отвечая на обкомовский и совминовский телефоны, а прочие переключив на секретаршу. Время приближалось к обеденному перерыву. Это было вскоре после заявления Григория Лагустановича в обком с просьбой разрешить переход на полную творческую деятельность. В предбаннике кабинета томила его секретарша Джозефина. О заявлении она еще не знала. Томила она потому, что сегодня у нее была деликатная просьба к шефу. Она хотела сказать ему прямо: хитрить и ловчить Джозефина не умела и не желала.

Лагустанович думал о том, как, уйдя на покой, он с наслаждением отдастся творчеству, а его преемник очень скоро покажет им – он покосился на непереключенные телефоны, – кого они кем заменили. Ну и пусть, ему возиться с этими неформалами. Еще он думал о том, что достиг в жизни высоты положения, так возможной для сына третьестепенного автономного народа, широты охвата действительности и глубины познания тайн бытия, но на это ушла вся деятельная часть жизни, а он так и

не понял, далеко ли до Хвоста Земли! Далеко ли до края Земли, мама? Также Лагустанович размышлял о том, что, уйдя на пенсию, он поселится на усадьбе и редко будет наезжать в город. Он так и сказал супруге: оставим Хасика одного на городской квартире, проголодается – еще как женится. Мы же поселимся поближе к народу.

В нечастые приезды в город Григорий Лагустанович заведет обыкновение с четками и тростью разгуливать по набережной, неторопливо пить кофе с интеллигенцией, для которой, неблагодарной, так много сделал. При этом мечты мечтами, но он помнил, что в городе бывать ему все-таки придется и что он правильно сделал, сохранив за собой машину и водителя, ибо Лагустанович был не только государственный, но и общественный деятель, и его присутствие на многих мероприятиях было и оставалось необходимым.

Из раздумий его вывел шум в приемной. Не с прежней охотой в последнее время принимал посетителей Лагустанович, тем более в неприемные дни. Он надеялся, что секретарша никого не пустит. Но по шуму было ясно, что визитер случился напористый. Вскоре тот ворвался в кабинет, одолев вход, который грудями защищала секретарша. Посетитель оказался не кто иной, как цыганский барон Бомбора. Лагустанович его сразу узнал, а тот его нет. А существует ли он, Хвост Земли? То есть Лагустановича барон, конечно, знал, потому что кто мог не знать Лагустановича в городе, но цыган не признал в начальнике брата, о чем ниже. А Лагустановичу было известно даже, что сестра барона вышла замуж за гангстера Матугу Хатта. Не узнавая в Лагустановиче брата-гаджио, зато зная по городу о характере начальника, суровом, но справедливом, цыган явно приготовился к скандалу и даже выпил для храбрости граммов двести барбарисовой чачи.

– Говорите, товарищ депутат, почему наши дети дела-дела* на глазах у иностранных туристов! – заговорил барон. – Тогда дайте хоть одному романэ раскрутиться, дел де марел три года, – требовал он, под «хоть одним» имея в виду себя. – Кирал**, да не пропиши вы нас в Старом Поселке, были бы мы уже на Хвосте Земли!

* Не учатся, не ходят в школу (цыган.).

** Хлесткое цыганское выражение.

Григорий Лагустанович вздрогнул от несправедливости услышанного. Значит, по-ихнему, это он прописал цыган в Старом Поселке Сухума! Это он прервал их великий исход к Хвосту Земли! Но промолчал, ибо считал, что власть должна быть преемственна, и, в отличие от некоторых, которых не хотелось называть, брал на себя ответственность за деяния предыдущих руководителей. Вместо ответа он ясно взглянул на барона и, указывая на место рядом с собой на диване, грустно произнес:

– Вам всем кажется, что я тут все решаю сам! Садись, чего стоишь!

Прекрасно знакомым Лагустановичу движением своего отца цыган почесал за ухом с серьгой, и все же, несмотря на замечательное сходство, он был не чета отцу, Кукуне Манушу-Саструно, что Лагустанович отметил с сожалением.

Барон не упустил возможности посидеть на диване с начальством. Это оказалось непросто. Он сопел и старался ртом не дышать, чтобы не разило перегаром. Но начальник, казалось, этого не замечал.

Дело у барона было пустячное. Он просил шифера для крыши. Конечно, шифера он сам мог купить на пол-Сухума. Зашел же он для того, чтобы потом рассказать, как ногой открыл дверь к большому начальству, которого все боятся, и как дерзко там говорил. Лагустанович пробежал глазами засаленную бумажку барона и поднял глаза. Бомбора пытался сидеть с развязным видом, но присмирел. Бостоновый пиджак, который казался мешковатым из-за плохого покроя, на самом деле теснил все еще мощный торс стареющего цыгана. Лицо у барона было морщинистое, намного старше, чем у Лагустановича, довольно благообразное, и лишь некоторая суетливость во взгляде мешала цыгану быть величавым, каким был его отец.

– Элла-мондо, кар, чавела-бен! – чуть не сказал Лагустанович барону. Когда-то он поклялся быть ему братом, но не клялся же напоминать о себе, если его забудут. Он заговорил запросто, но не слишком, чтобы окончательно не смутить ничего не подозревающего цыгана. В отличие от других руководящих лиц, любивших смутить посетителя холодностью или резкостью,

* Привет тебе, кар, вольное племя! (цыган.)

Григорий Лагустанович вводил в замешательство непривычным в кабинетах задушевым обращением. И еще тем, что с прощальностью, наращенной в результате творческого труда, угадывал и предвещал желания народа. Но ему всегда было больно видеть, как народ, удовлетворившись в просьбе, начинал шаркать и суетиться. Лагустанович сам вышел из народа, и с высоты государственного поста ему особенно были видны его, народа, проблемы.

Он был прост, но внимателен.

– Мы рассмотрим твою просьбу, – сказал он. – Думается, нам удастся помочь тебе в строительстве дома. Завтра утром к тебе придет инженер. Передай ему список всего необходимого и не вздумай платить. Будут также рабочие из ЖЭКа. Если начнут просить денег, гони в шею – их заменят, – роскошествовал Лагустанович. – У тебя есть телефон? – задал он ему странный вопрос.

Барон, у которого голова пошла кругом, вскричал, поднимая облако барбарисового перегара:

– Как нету! Целых три!

– То есть? – не морщась, учтиво пустил навстречу перегару Лагустанович тонкую струю одеколонного запаха.

– Перед консервной фабрикой, на углу аптеки и еще на троллейбусной остановке.

Барон имел в виду, конечно, автоматы. А что он еще мог иметь в виду: разве цыганам ставят телефоны?! Но Лагустанович все же опять подумал, что нет, не чета он отцу.

– Адрес твой тут записан? Ну и хорошо. Поставят тебе телефон. Ничего не случится, если у одного романэ в доме будет установлен телефон!

У барона глаза проделали то, что они проделывали в минуты крайнего удивления или восторга: повылезли на лоб. Дел де марел три года, у него будет собственный телефон! Окареют все, когда узнают! Вот уж чего цыгану не купить, ни за какие деньги! Собственный телефон с собственным номером. Алло, это квартира Мануша-Састроуно? Какая на кар квартира! – собственный дом Бомборы, сына Кукуны Мануша-Сатруно! Это ему обещает сам известный Лагустанович, который, между прочим, денег не берет, но слов на ветер не бросает.

Лагустанович видел, увы, бурю в душе цыгана. Не желая, чтобы Бомбора суетливо рассыпался в благодарностях, он опередил его вопросом:

– Я слышал, что твоя сестра вышла замуж?

– Да! Да! – соскользнул барон на край дивана. – За абхаза вышла, между прочим! Чистокровного!

– В любой нации есть плохие и есть хорошие. Лишь бы человек был порядочным. – Лагустанович встал и протянул сердечно руку туда, где оказалась бы рука посетителя, если бы он тоже встал, что барон проделал с опозданием. Пожав цыгану руку, начальник заглянул ему в глаза и сердечно улыбнулся – картина, которую Бомбора Кукунович обещал себе запомнить на всю жизнь.

– А преступной деятельностью он уже не занимается? – мягко спросил начальник.

– Нет! Нет! – Бомбора бы задержался, если бы рука не лежала в руке начальника. – Совсем уже не занимается. Цеха кнокает! – воскликнул он восторженно.

– Что он делает с цехами?

Начальник то ли не понял, то ли закидывал удочку.

Лагустанович спрашивал, не продолжает ли зять лихую жизнь, полную страстей и томлений в казенном доме, что могло сделать девушку несчастной. А Бомбора, который, так и есть, не чета отцу, – перепугался, не сболтнул ли лишнего о цехах. Эти два недоразумения слились, как барбарисовый перегар и запах мужественного одеколona. Но Лагустанович, напрасно ища взгляд бегающих глаз брата, выправил положение, снова вернув цыгана к ликующей мысли о телефоне.

– На днях тебе поставят телефон. С него ты и позвонишь моей секретарше. Зовут ее Джозефина. Позвонишь и скажешь, все ли жэковцы сделали, как мы распорядились, – сказал начальник как брат родной и похлопал гостя по плечу.

Цыган вылетел и из кабинета, и из приемной, и из присутствия «как шампанская пробка» – так он рассказывал потом там, где считал нужным. Только на улице он пришел в себя и окончательно удостоверился, что произошло все это с ним наяву, а не приснилось спяну. Тут он вспомнил, что даже «спасибо» начальнику не сказал. «Передам через секретаршу по

собственному телефону», – успокоил он себя. Он шел по улице как хмельной, но именно «как». Весь торчок сошел, надо было догнаться, потому что голова был до звона ясна. Он понимал, что все эти инженеры и рабочие ему на кар не нужны, потому что на кару видел их кляузы, и к тому же цыгану, да еще раскрученному, да еще барону, кар кто простил бы халяву. Зашел-то он к начальнику потому, что надо было показать и своим, и в городе, что барон может и к Лагустановичу зайти, ногой открыв дверь, и дело сделать. Это необходимо было ему для авторитета, который ему давался всегда с трудом, тогда как отцу-баламуту все было просто. Но телефон! И еще ему было непонятно, чем был вызван такой сердечный прием у начальника, что даже телефон... Бомбора ничего не понимал, что еще раз свидетельствовало, что он, нося в ухе наследственную серьгу отца своего Кукуны Мануша-СаSTRUНО, уступал ему не только в уме, но и в цыганской проницательности.

– Хала, где ты, Бомбора, ха! – радостно заголосили уларки на проспекте Мира, вместо того чтобы затрепетать при виде своего барона.

Рассеянно и отрешенно послав их на кар, Бомбора Кукунович направился в купатную, где первым делом хлопнул двести граммов «российской». Потом приник к стойке, давая зелью разлиться по организму.

Зелье разошлось по телу, и на мозги сошел желанный туман. Барон вспомнил детство, когда его отец вел табор к Хвосту Земли. Вспомнил маленького гаджио; как этот гаджио запустил в черного кота, пытавшегося перебежать дорогу табору, серпом и молотом. Глаза барона Бомборы уже не выскочили на лоб, а вылетели аж на метр из орбит, подобно шарикам на резинках, которыми торговали его женщины-уларки. Перед ним стоял взгляд начальника, когда тот, как простой человек, подавал ему, цыгану, руку. Барон увидел детство, белого гаджио, с которым в этом самом детстве, сделав надрезы на руках и соединив их, они слили свои разные крови. И поклялись быть братьями по гроб жизни.

Только сейчас цыган понял, что начальник был тот самый гаджио!

Но Бомбора при этом не мог не помнить и того, что сам он был и остается цыганом, и решил, что разумнее будет для него об этом братании помалкивать.

Далеко ли до Хвоста Земли?!

О крае земли

Ну, раз барон решил помалкивать, то на этом должна закончиться зарисовка обычного цыгана без гитар и коней. Но при этом многое остается неясным, и надо вернуться к первоначальному месту действия, а не шататься за персонажем по купатным и кебабным, как это принято у современных авторов. Наберись терпения, читатель! Итак, хорошенькая секретарша Джозефина, едва успев проводить взглядом цыгана, когда тот, как ошпаренный, вылетел из кабинета, правильно заключила, что не мог посетитель удалиться таким окрыленным и не оставить самого начальника хотя бы в благодушном настроении. Она встала и подобралась.

А шеф действительно пребывал в благодушном настроении. В этом сомнений быть не могло; он как раз поднес пламя серебряной зажигалки к леденцу в форме петушка, подпалил его и наблюдал, как сахарная муть стекала на настольное стекло.

Но надо же рассказать, почему он сжег сахарного петушка! И о цыганской эпопее в детстве Григория Лагустановича, и о том, что тут за история, в конце концов.

На долю самых почтенных людей когда-нибудь да выпадали интереснейшие приключения. Быть может, потому иной оспеняется и достигает в жизни многого, что он вовремя получил в ней необходимую долю авантюры, насытился ею, тогда как другие эту необходимость никак не пополняют и потому неприкаянные и непочтенные?

Вот и Григорий Лагустанович в детстве был попросту похищен из дому и продан цыганам. И так получилось, что он попал именно к тем цыганам, которые под предводительством барона Мануша-Саструно искали край земли, или, как они выражались, Хвост Земли. Увел Григория Лагустановича из дому бич Ей-Дорофей. Все в этой истории непросто.

Например, спустя пару лет после того, как случилось то, что случилось, Ей-Дорофей снова появился в деревне и спокойно

похищение отрицал, объясняя, что дети в его положении ни к чему, что он своих детей раскидал по свету, не то чтобы брать чужих. И никогда ни до, ни после этого случая он не унес из деревни что-либо, что препятствовало бы его возвращению. А к деревне Ей-Дорофей был привязан, раз постоянно возвращался в нее. Лагустанович знал, что этот – бессмертный, что ли? – бродяга жив до сих пор. Это раз, а второе: бродяга не посмел бы умышленно увести именно Григория Лагустановича, мальчика с задатками, на которого, без ложной скромности, с надеждой взирала вся деревня.

Маленький Лагустанович собирал цветы на отведенной ему для этого поляне. Он был тогда настолько мал и несмышлен, что сейчас ему неловко о том вспоминать. Жаворонки, раскачиваясь в синем небе, пели ненавязчиво, но впечатляюще, словно для того, чтобы остаться в памяти будущего Григория Лагустановича навсегда. Их пение так же ласкало его слух, как голос мамы, то и дело дававшей знать, что одобряет уединение своего касатика. Ее голос спрашивал: хорошо ли ему на поляне? А хорошо ли было в поле? А так ли счастливо бывает детство, как вспоминается потом? Далеко ли до края земли, мама?

У матери Лагустановича несомненно больше заслуг в его воспитании и становлении, чем у отца, которого он теперь вспоминает с неодобрением.

Григорий Лагустанович играл на поляне, куда иногда убегал от счастливого детства. Но и тут его настигал голос матери. Он махал рукой, он кивал. Шагал он осторожно, чтобы не наступить на эльфов, в существование которых поверил после чтения сказок Ханса Кристиана Андерсена. Маленькие человечки в золотых коронах и с прозрачными крылышками.

И однажды, вот, мимо мальчика по полю шагал Ей-Дорофей. Потрясение, испытанное тогда Григорием Лагустановичем, пожалуй, было сильнее того потрясения, которое он познал позже, при крушении некоторых его идеалов. Каждый шаг бродяги сопровождался скрипом эльфов, давимых его кирзовыми сапогами. Бродяга шел, поскрипывая голубенькими эльфами, не успевавшими выйти из счастливого оцепенения и улететь. Это оказалось так просто и доступно. Григорий Лагустанович,

собственно, и стал Григорием Лагустановичем с того самого мига. Трудно описать то, что он сделал тогда. Он пошел за бродягой. Это тоже было просто и возможно. Уже не было тайны поля и эльфов, осталась тайна дали, в которую бродяга уходил. Ей-Дорофей шел в похмельной задумчивости, на каждом шагу скрипя давимыми человечками, и Лагустанович последовал за его обаянием и тайной. Сначала он еще старался ступать по его следам, а потом зашагал увереннее. Он и не заметил, как поляна осталась позади, и они пошли по дороге к полустанку. Ни разу впоследствии Григорий Лагустанович не испытывал такого блаженства. Как замороженный он шел за бичом, устремленным в даль. «Сиротинушка!» – пел Ей-Дорофей. Мальчик не понимал, что это такое, а только запомнил это слово, чтобы позже осознать сложное чувство: сначала осиротить, а потом жалеть. Далеко ли до Хвоста Земли, мама? Только мама была далеко. Она, все они... Ошалев от страха, его искали всем селом, заглядывая в колодцы. О том, кто проявил, какое усердие, – об этом Лагустанович собрал полную информацию, и никто не может ему солгать и прихвастнуть.

Маленького Григория Лагустановича, спящего в его суме, Ей-Дорофей обнаружил только в поезде. Как выяснилось позже, они ехали в противоположную от Хвоста Земли сторону. А где-то очень далеко и от края земли, и от дома бродяга обменял мальчика у цыганского барона на что-то, для себя более ценное. Это был барон Мануш-СаSTRUНО, который вел свой табор к Хвосту Земли, спасая его от очередного закона.

Барон привел маленького Лагустановича в табор. Он почесал за ухом с серьгой. «Этот тоже ваш», – сказал он семи молодым женам и трем сынкам. Барона-отца звали Кукуной, а старшего его сынка – Бомборой. Маленький Лагустанович был рассеян и ничего не понимал. У барона, повторяю, было семь молодых жен и пока три сына. Причем все три бароновых сына были одних лет, но от разных матерей. И одних лет с Лагустановичем. Как только дети остались в палатке без старших, близнецы с криком «Гаджио!» налетели на Лагустановича. Дома его ни разу не били, он растерялся от новых ощущений. Сначала все терпел, боясь,

что, если озлобит их сопротивлением, цыганчата станут бить еще сильнее. Но в конце концов не выдержал и до крови ущипнул кого-то из негодяев. Стало веселее. Зрелище крови возбудило маленького гаджио. Лагустанович и позже отличался личной храбростью. Сейчас он схватил серп и молот, союзу которых позже посвятит наименее удачное, по правде говоря, произведение, но зато из этой неудачи он раз и навсегда сделал вывод, что важно писать прекрасно, а не писать прекрасное в ложной надежде, что модель сама себя вытянет...

Неизвестно, сколько продолжалась бы драчка и во что вылилась бы, не прибеги одна из матерей и не разными дерущихся. Цыганские ребятишки, ухмыляясь, ждали, когда останутся с гаджио наедине. Новичка спасло то, что его вздумал обидеть соседский мальчик. Тут же братва кинулась ему на помощь: он сразу стал им родня, а *найко** отступил. Дети подружились и, наконец, побратались.

Палатки цыган пахли прелой парусиной, жженым железом и тем запахом, который позже мерещился Лагустановичу в аромате коньяка, почему коньяк он никогда не мог пить, даже на ответственных банкетах. Рано утром всех будили, и дети, босые, бежали рядом с повозками. Повозки скрипели, звенели цепи на медведях, шумно вздыхали омерзительные старухи. Барон уверенно вел караван к Хвосту Земли.

Барон Кукуна Бомборович Мануш-Саструно.

Лагустанович был развитой мальчик. Но запомнил мало. Одно невозможно было забыть: как у въезда именно в Сухум дорогу табору пытался перебежать черный кот. Мальчик первый заметил кота и, не растерявшись, запустил в него серпом и молотом, с которыми он не разлучался после драки. Но кот удрал, а в городе табор остановили органы. И путешествие к Хвосту Земли закончилось тем, что горсовет прописал цыган в Старом Поселке.

Обыск, который учинили органы табору, принес Лагустановичу освобождение и возвращение домой, но, тем не менее, он через всю жизнь пронес непреодолимое отвращение к черным котам.

Как-то дачная домработница Лагустановича решила казнить кота, потому что это соседское животное каждый вечер заби-

* Не наш (цыган.)

ралось на их чердак и мочилось оттуда прямо ей на постель. Лагустанович, человек в быту очень мягкий, хотел ей запретить, но кот как раз был черный, и неприязнь удержала его от вмешательства. Домработница намылила веревку и попросту повесила кота. Однако вес животного оказался меньше силы трения веревки, и зверек не удавился. Когда домработница сняла с веревки кота, уже неподвижного, он вырвался и убежал, чтобы вечером вновь проделать то же самое. Оказалось, что умная тварь только замерла, чтобы петля не стянулась, догадываясь, что сила трения веревки меньше ее собственного веса.

– Так тебе, дура, – сказал Лагустанович, облегченно вздыхая на кресле-качалке. – *А дважды даже царь не вешал!*

Узнав в Лагустановиче нецыгана, органы дали приказ доставить его домой. Выполнить приказ было непросто, потому что на допросе у мальчика удалось выведать, только как его зовут и что мама – самая умная в деревне. А разве мало деревень на пути от дома до Хвоста Земли! Но тот факт, что Григорий Лагустанович был обнаружен не где-нибудь, а рядом с родной деревней, – не свидетельство ли значения его личности!

Итак, домой, чтобы вырасти в спокойной обстановке и стать тем, кем предназначено стать! Барон, хоть сам и не знал, откуда мальчик, потому что купили его далеко от этих мест, взялся свезти Лагустановича в деревню в сопровождении одного из органов. Барон поехал с органами и нашел деревню и дом мальчика.

Когда на холме завиделся родительский дом, мальчик заплакал и закричал. Заметив во дворе оживление, органы решили остаться в машине и отправили мальчика с бароном. Барон почесал за ухом с серьгой и взял мальчика на руки. Высокий, статный, словно предвзяв образ воина-освободителя, которого, кстати, никто лучше Лагустановича не воспел, барон вошел во двор с мальчиком на груди. Мама увидела мальчика первая и с криком «Касатик мой!» побежала к нему. Мальчик вырвался и бросился ей навстречу. «Что, что ты сказал, касатик?» Только сердцем она его поняла, как всегда, но не могла разобрать его слов: сын говорил с матерью на цыганском наречье!

– *О, Бара Дэвла, коро явав, рани!*^{*}

^{*} О Боже, неужели ты, моя госпожа! (цыган.)

Теперь Григорий Лагустанович подзабыл этот язык, который с лихостью пятилетнего изучил за неполный месяц. Но не прошло для него даром время, проведенное в таборе, уходившем к Хвосту Земли.

Даже будучи во славе и при должностях, Григорий Лагустанович не считал зазорным ходить на колхозный базар, где бросал на цыган ясные взгляды, которых не смогли понять ни разу цыгане Старого Поселка. После смерти барона Кукуны все изменилось. Уж и не поймешь, цыганы они или уже не цыганы, качал он головой. А если уларки продавали сахарных петушков, Лагустанович, оглянувшись по сторонам, потому что лишние глаза и лишние разговоры ему на кар были не нужны, подходил и покупал этих петушков. Потом, огорченный, что он всех узнает, а его никто не признал ни разу, он возвращался в свой кабинет, приказывал секретарше никого не пускать и гадал на сахарной мути, капая ее на стекло стола.

Что есть все же Хвост Земли, мама, – отчий дом, или первый шаг от порога вдаль?

Об играх Эрота

Автор считает своим долгом уведомить, что в этой главе он проявил слабость, отдав дань модным в нынешней беллетристике непристойностям, но при этом читателю строгих вкусов можно эту главу пропустить вовсе, не рискуя потерять нить повествования: читатель же, свободный от предрассудков, прочтя эти страницы, тут же убедится, что в тексте нет ничего предосудительного, что оправдывало бы гнев пуритан, с которыми и автор готов согласиться в том, что творчество – если не храм, то по крайней мере клуб, куда мы ходим не одни, а с семьями, и хотя бы потому там следует выражаться прилично.

Входная дверь в кабинет-приемную и дверь в главный кабинет, сработанные плотниками обкома и совмина, открывались и закрывались совершенно бесшумно. Джозефина сидела, склонясь за пишмашинкой, когда какой-то полуголый пацан бесшумно протиснулся к ней. Не успела она поднять голову, как в сердце кольнуло, в глазах потемнело, и секретарша даже не заметила пацана. А он прошмыгнул мимо нее в дверь к шефу. Григорий

Лагустанович, занятый телефонным разговором, тоже не увидел, как пострел пересек угол кабинета и спрятался за несгораемым шкафом, где как раз лежали секретные папки. Это был один из тех чумазых греченят, которых, к сожалению, воспитывает улица. И воспитывает улица маленьких нэпе* сорвиголовами, которым только стрелять рогатками по окнам, а то и бегать с луком и стрелами, как это светлокудрое дитя.

Джозефина ощутила странное волнение. Она и без того с утра не находила себе места. Она так не любила докучать Лагустановичу просьбами. Но за родственника, за Могеля, надо было просить.

Продолжая ощущать странное волнение, она заглянула к Лагустановичу. Шеф был в мечтательном настроении. Джозефина понимала, что одного этого недостаточно, чтобы склонить его махнуть эту проклятую резолюцию. Мальчик, торжествуя, наблюдал из укрытия, как секретарша прошествовала через кабинет к начальнику, вульгарно поводя бедрами. Мальчик за шкафом находил ее походку именно такой. Но тут вам не Древняя Греция. Джозефина с явным кокетством и вызовом пропела: «Можно?»

– И порыбачить тянет очень, – вздохнул начальник, то есть Лагустанович, говоря по обкомовскому телефону. – Но очень много дел.

Он положил трубку, но телефон опять зазвонил. Когда он снова брался за телефон, ему вдруг почудилось, что секретарша на ходу подала кому-то знак в темный угол, где стоял несгораемый шкаф. Однако Лагустанович ошибся, потому что Джозефина сама не замечала присутствия своего юного соотечественника. А мальчик-пострел наблюдал за ее поступью и плутовато улыбался, сжимая в своих руках золотой лук. Но мальчик тоже тут был неправ. Он не знал, как ей самой было ненавистно это вынужденное приглашение шефа на Прямой Контакт. Она чуть ли не уподоблялась сейчас юным секретуткам, которых что в обкоме, что в совмине было пруд пруди, в отличие от подобных Джозефине дам – солидных соратниц руководящих кадров. У секретарши с шефом были очень хорошие отношения. Можно сказать даже: духовная близость. Под влиянием Григория Лагустановича она даже втайне писала стихи древнегреческим гекзаметром.

* Мальчиков (греч.)

Если на кокетство и вызов, то есть протяжное «Можно?» и вождение бедрами, шеф посмотрит со строгостью, но со вздохом, – значит, все идет по плану.

Разговаривая по партийному телефону, шеф оценил походку взглядом над очками, но во взгляде его не было вздоха, была только строгость. Так что теперь ей следовало вести себя естественней, но непременно добиться, чтобы он тут же пошел на Прямой Контакт. Поэтому она подошла не кратчайшим путем справа, откуда ее от шефа отдалял бы столик с телефонами, а, обогнув П стола, нарочно подошла слева, с противоположной стороны, чтобы быть под рукой в случае Прямого Kontakта.

– Так прямо и женится? – улыбаясь, говорил шеф в трубку. – На цыганочке... Так-так! Говорите, очень хороша собой?... И только тринадцать лет ей? А почему у нее грузинское имя Дарико?... Ах, Дарьей ее зовут... А как он может жениться на тринадцатилетней, его же привлечь можно за малолетку!

Шеф снова кинул на секретаршу ничего не говорящий взгляд. Предваряя Прямой Контакт, она издала ненавистный ей самой скулеж, потом сыграла желание увернуться от Прямого Kontakта, понимая, что этим самым возлагает на него одного моральную вину за нерабочие отношения, тогда как хотелось эту вину делить с ним поровну, если не брать всю на себя. Ведь это входило в своеобразный договор, который ими не обсуждался, но соблюдался обеими сторонами неукоснительно: отношения в объединенные часы не переносить на рабочее время. О, как она не любила эту игру!

– Официально он не женится, потому что женитьба вору в законе возбраняется... Так-так... Так он и сказал: «Будешь жить в моем доме и рожать мне детей»? И цыганский барон на это согласился? Теперь не поймешь, что за цыганы пошли!

Шеф снова покосился на секретаршу. Он вдруг ощутил странное волнение. Засуетился, продолжая говорить. Сбоку от него замерла пышнобедрая женщина с бумагами на подпись. Оставив старые сплетни, он перешел на серьезный тон.

– Теперь об Орловой. Ограничимся взысканием, – говорил он. – Не будем ей пачкать партбилет.

Если сейчас, говоря о серьезном, он пойдет на Прямой Контакт, этим он как бы подначит собеседника. Такое невинное озорство должно нравиться импозантному товарищу.

– Конечно же, дисциплина, прежде всего. Конечно же, Орлова эта – шлюха. Да, важный вопрос, я с вами согласен. Но пачкать партбилет! Будем вольтануть! – заговорил Лагустанович с игривостью, которую она прекрасно замечала, но телефонный товарищ на том конце – вряд ли. Джозефина приготовилась.

Наконец, густой румянец покрыл шефа от сильной шеи над белоснежной рубашкой до все еще густых волос на величавой голове. О, как он перебарывал себя!

– До встречи на бюро! – сказал он, взглянул на нее на миг, убрал глаза и тут же пошел на Прямой Контакт.

Трубку он положил только после этого. После того, как пошел на Прямой Контакт, то есть хлопнул секретаршу по бедру. Она издала свой скулеж и удалилась в приемную, развратно, как ей казалось, поводя этими самыми бедрами. Села за машинку, вся взвизгивая в сторону кабинета, откуда теперь ей следовало ждать звонка. Джозефина напечатала заглавными буквами адрес учреждения и не успела с красной строки вывести «тов.», как звонок раздался. Она не вскочила и не побежала, а, замерев, застенчиво склонила голову над пишмашинкой. Принося его нетерпеливость в жертву своему целомудрию, она продолжала сидеть, требуя от шефа второго звонка. Напечатала ФИО и с красной строки «Глубокоуважаемый...». Дверь в приемную распахнулась.

– Перерыв! – строго пропела она, не поднимая головы, а продолжая печатать имя-отчество. И сама рассмеялась.

Потому что это был ее муж.

– Я тебе дам перерыв! – сказал он весело.

Энгештер был не один. Он забежал сюда в сопровождении приятеля. Джозефина встала из-за стола с приветливостью, которой она, хоть и была гречанкой, сто очков вперед дала бы любой их мингрельской жене. Она вежливо и сердечно поздоровалась с приятелем мужа. Усадила пришедших на мягкие стулья. Энгештер польщенно заулыбался. Он спросил ее глазами, как

идут дела по резолюции. Жена глазами же ответила, что там это отрабатывается, что как раз этим она сейчас занимается. Энгештер с плохо скрываемой гордостью кивнул. И как бы в подтверждение всему этому из кабинета раздался второй, уже нетерпеливый звонок. Энгештер понимающе кивнул.

– Вы меня подождете? – спросила Джозефина учтиво.

Приятель мужа вежливо пожал плечами, говоря, что он поступит так, как скажет Энгештер.

– Очень много дел! – вздохнула Джозефина, идя к дверям.

– Больше десяти минут не жду, – вслед ей пригрозил муж.

У двери она остановилась.

Скоро ль, супруг, суету городскую отринув,

В кущу садов предстоит нам с тобой удалиться? –

вздохнула она и, мягко улыбнувшись приятелю мужа, зашла к шефу.

– Про участок в Гульрипше напоси ему, нэпсе! – воскликнул Энгештер в уже закрытую дверь. И добавил со светлой печалью на лице:

Пусть для юношей – отрада шум веселья в стогнах града.

Лишь под сенью вертограда – благодать душе усталой...

Через рабочий кабинет Джозефина прошествовала в комнату отдыха. Звонок был оттуда. За тыл она была спокойна, хотя и не захлопнула дверей. Муж никогда не перешел бы рубикона служебного порога. Подождет десять обещанных минут и удалится обедать с приятелем в сванский ресторан. Делать было нечего. Он же понимал, что работа есть работа. Да еще она занималась заявлением его же брата.

Не успела она открыть дверь, как мальчик прошмыгнул за ней. Войдя, Джозефина тут же встретилась глазами с шефом. Лагустанович сидел на диване без пиджака и без галстука. Прочтя в его взгляде смущение, она со щадящей поспешностью убрала глаза.

О, будь прокляты эти условности, принуждающие к торопливым свиданиям в белых прорехах между параграфами инструкций! Они не позволяют ей просто так прижать его величавую седую голову к груди, и молчать, молчать.

Она любила Лагустановича. И с гордостью догадывалась, что и шеф любит ее, а жену только уважает за долгую совместную

жизнь. Но вместе с тем, если бы ему и ей сказали, что они любовники, они оба или возмутились бы, или растерялись, что вместе, что порознь, потому что были люди старых правил. Они оба страдали. Традиционность таких отношений между шефом и секретаршей их не утешала. Хотя эти отношения продолжались уже десять лет и не были в городе секретом, и для них самих не было секретом, что это в городе не секрет, что и пытались использовать мужние мингрельцы и свои греки для влияния на Лагустановича, – он и она так и не научились относиться к этому естественно и легко.

Она отвела взгляд. Джозефина знала, как может он быть нежен и деликатен. Ведь был в их жизни Трускавец, куда они решились раз поехать вместе, вернее, параллельно, но это в итоге кончилось проблемами. Поэтому она никаких претензий не предъявляла милому за его вынужденную, чисто внешнюю отстраненность. Их отношения были намного чище обычного романа.

Но они вынуждены были это скрывать. Потому она издала сейчас ненавистный ей самой скулеж. И ему, тоже не от хорошей жизни и, конечно же, неуклюже, пришлось сыграть следующую роль: он-де сердится на подчиненную за то, что она не отозвалась на первый звонок, и теперь наказывает ее. Она сейчас, подчиняясь ему и скуля, понимала его вполне. Когда он стал грубо валить ее на диван, ей самой ненавистный скулеж прозвучал не как протест, а как признание кары. Причем, так это было сначала, одно мгновение, так сказать, а потом наступил необоримый стыд, и Джозефина, как и всякий раз, шла на шаг, ненавистный, но необходимый, потому что он входил в правила игры: она начинала защищаться, фактически отталкивая его. Он не умел брать, она не умела отдаваться. «Поскорее бы он схватил за груди, чтобы мне упасть в обморок», – подумала она, вынужденно сопротивляясь.

Страстно, Эрот светлокудрый, возлюбленный мой припадает
К ране, которую ты мне нанес своей звонкой стрелой.

В длани свои заточает он перси мои целокупно,
Яростный, как Громовержец, который однажды на Крите
Перед пленительной Ледой явился в обличье пернатом.

А потом, медленно приходя в себя, она подумала, что он и теперь продолжает смущаться. Ей захотелось сейчас же вызвать у него озорную улыбку, чтобы стало ему от этого легче. Она приподнялась на локте и откинула прочь волосы, чтобы сообщить ему, что ее муж в сию минуту находится не далее как в приемной. О, Венера! Григорий Лагустанович спал...

Он действительно очень устал. В отличие от других должностных лиц его ранга, Григорий Лагустанович был труженик и аскет. Шеф был близок к народу, народ тянулся к нему. Джозефине с трудом удавалось сдерживать непрерывный поток. Работая с юных лет в управленческом аппарате, она отлично знала и руководящие кадры, и народ. За пятнадцать с лишним лет работы в приемной Григория Лагустановича весь народ прошел перед ней целиком и полностью. Отношение Джозефины к народу было неоднозначное. Она тоже любила простой народ, научившись этому от шефа. Но, искренне любя, она не склонна была его идеализировать и не переставала видеть его недостатки. И не только недостатки, лезшие в глаза ежедневно, – такие, как привычка к попрошайничеству, угодничество и неумение благодарить с достоинством. Ей претило вечное интригантство, свойственное народному характеру. Народ только тем и занят, что сеет в среде руководства раздор, заставляя делиться, вопреки их, руководителей, воле, по национальным, клановым и прочим группам. И жил бы себе руководящий слой одной семьей, – в этом Джозефина не сомневалась, – если бы не народ. Григорий Лагустанович, в общем с этим соглашаясь, напоминал ей, однако, что народ при этом искренне гостеприимен. После очередной поездки в район, где дела завершались хлебом-солью у простого народа, он неизменно возвращался в хорошем настроении, благодарный и просветленный. Джозефина не возражала шефу – то есть не возражала про себя, вслух же она тем более не позволяла себе перечить ему, – но при этом кому же, как не ей, было известно по опыту, что каждый представитель народа, у которого в очередной раз пришлось гостить Лагустановичу, не заставит себя долго ждать: вскоре он появлялся в приемной, скромно переминаясь с ноги на ногу и добиваясь получения задарма того, за что обычно принято платить.

Думая об этом, она прошла осторожными пальцами по его волосам. Шеф сладко спал. Он что-то пробормотал невнятное. Нежное чувство к шефу охватило секретаршу. Ее умиляло все: и лицо его с полукрытым ртом под холеными усами, и беззащитная его нагота. Хотелось его прикрыть, но вытащить из-под него покрывало, не разбудив его, было нельзя, а постель осталась сложенной внутри дивана, на котором они лежали.

И ухмылялось дитя дерзновенное, видя:
Сладко расслабились члены могучего мужа,
Так беззащитно который уснул, утомленный;
Дева же, чресла его, занавесив густыми власами,
К жезлу любви его жаждала пьяной вакханкой прикинуться, –
Так свою жатву собирало дитя белопенной Киприды.

Развратный эллинский сопляк не ведал, привыкши с древности ко всяким вольностям небожителей, какая буря творилась в душе его соотечественницы. Она не могла себе позволить порадовать мужчину, а ей тяжело было видеть возлюбленного немощным хотя бы одну минуту. Она была уверена, что это потрясет его, человека старых правил, и наверняка вызовет у него неуважение к ней. И хотя часто, ласкаясь, она подводи́ла его к такому моменту, когда с его стороны было достаточно намек на призыв, но он или вообще не знал об этой игре любви, или же считал ее уделом совершенно падших женщин. И помыслить не мог, что она возможна в их отношениях. Еще более умиленная, она взглянула на него, потом взгрустнула и заплакала.

Она не решалась и с Матутой, потому что опять же боялась жигана. Как-то она намекнула ему в постели, что подруга, дескать, признавалась ей, что они с мужем ни в чем себя не ограничивают. «Я тоже это слышал, – сказал Матута вдруг отвердевшим голосом. – Вешать надо таких прошмондовок!» И она, испуганная, выкинула это из головы. И естественно, не могла этого сделать с мужем, с которым отношения были, что называется, простым исполнением супружеской обязанности.

И она, осторожными пальцами водя по телу возлюбленного, грустила, плакала и медлила. Он проснулся. Провел рукой по ее волосам. В этом движении было столько тепла, что Джозефина захлебнулась от благодарности. Но тут же вскочив, Лагустанович стал одеваться.

– Вставай, вставай, мадам! – сказал он совершенно проснувшимся голосом. – *Очень много дел!*

Но она не обиделась. Только заскулила, потом, встав, прошла перед ним, а когда добилась прощального Прямого Контакта, окончательно успокоилась, так что мальчик заскучал и ретировался.

Джозефина только облегченно вздохнула, когда наглый землячок ушел. Теперь было в самый раз сунуть шефу треклятую бумагу. Заскулив и подставившись, она тут же, не мешкая, протянула шефу невесть откуда взявшееся заявление. Он пробежал глазами текст.

– Шельма! – сказал Лагустанович, сопровождая свое восклицание Прямым Контактom. – А что за имя Могель?

– Не знаю, это ихнее.

Лагустанович затянул брючный ремень. Он выставил секретаршу спиной к оконному свету, чтобы лучше было видно, и, развернув бумагу на ее спине, черкнул в верхнем левом углу бумажки резолюцию: «Прописать в порядке исключения».

– Марш, марш! – еще раз сказал он, для мягкости повторив Прямой Контакт. – *Очень много дел!*

И беспощадно выгнал ту, которую на самом деле любил.

Натянув рубашку и завязывая галстук, Григорий Лагустанович вдруг загрустил, что вот еще одного мингрела прописывает в Абхазии. Но тут же, вспомнив, что его коллега и старый соперник, кляузник каров, прописывает их десятками и сотнями, причем за мзду, и что вообще все потихоньку заняты этим, успокоился. Уже одевшись, Григорий Лагустанович ненадолго вытянулся на диване и стал мечтать о том, чтобы все учащиеся-абхазы стали поэтами, а если это невозможно, то по крайней мере кандидатами наук.

«Это нам сейчас очень нужно», – сладко подумал он.

О смирении и гордости

Мазакуаль не сомневалась, что еще встретится со Старушкой. Если в этом большом городе с Хозяином будет не все в порядке, как она посмотрит ей в глаза! Конечно же, Мазакуаль не обделит парня вниманием и птицами будет помогать. Но о том, чтобы

жить вместе с Хозяином – даже где-нибудь поблизости, – об этом и мечтать не приходилось в новых условиях. Самого Могеля брат еще мог принять, но не Мазакуаль.

Со смирением, присущим разумным деревенщинам, Мазакуаль и не помышляла жить с людьми на квартире. Городские собаки, которых она видела тут во множестве, были ей не чета. Простой породы они – что она, что Хозяин. Ведь и Могель выглядел на фоне городских людей таким же бедолагой, как Мазакуаль против породистых див. Но он был человек и, как это бывает у молодых честолюбивых людей, мечтавших попасть в город и попавших в него, по-своему замышлял покорить этот город. Мазакуаль же не предполагала, что ее способности будут тут замечены и помогут стать заметней и значительней. Этого невозможно осуществить без определенных связей. А какие могли быть связи в стольном городе у Мазакуаль и Могеля!

Мазакуаль и не была тщеславна. Никогда ее не мучила зависть к братьям, которые жили в квартирах, которых специально выгуливали поссать на просторе, которых даже возили на пляж.

Вот каким образом Мазакуаль попала на пляж. Дворняжка бежала по тенистому тротуару бывшего Тбилисского шоссе. Запахи бесконечных лотков дразнили ее, голодную и грустную. Пляж она определила сразу, хотя он был отделен от шоссе высокой железнодорожной насыпью и моря не было видно. Она определила, что море здесь, по его мощному, уже знакомому запаху. Запах этот вырывался из вонючей подземки. Подземка была сделана, чтобы люди и животные переходили шоссе без угрозы попасть под колеса машин. Там и тут в ней темнели застоявшиеся лужи. Лужи эти, в отличие от деревенских луж, издавали неприродную вонь. Но, пройдя через подземку и войдя в некую арку, Мазакуаль тут же, сквозь опушку свай причала, увидела море. Еще через минуту она была на самом медицинском пляже, где, несмотря на раннюю весну, уже кипела жизнь. И вот тут уж загуляла Мазакуаль!

Она бежала по бетонному бордюру над песком пляжа, деликатно уступая купальщикам, сновавшим туда-сюда, – и не испытывала сейчас никаких иных ощущений, кроме чувства причастности к большому празднику. Праздник, как и должно

быть, решает все проблемы. Даже шашлыки тут жарились такими, словно учитывались интересы Мазакуаль. Те куски мяса, которые были слишком жесткими и которых купальщики не могли догрызть, они оставляли на столиках. Для желудка Мазакуаль эти куски были в самый раз, да еще вместе с недоеденными ломтиками хачапури. Переходя от одной точки к другой, Мазакуаль обедала по-гурмански и, естественно, ни разу не замеченная владельцами точек. Когда наелась, она решила отдохнуть и собраться с мыслями, для чего улеглась на кучу лежаков.

Собраться с мыслями ей удалось не сразу, потому что она тут же заснула под гомон пляжа: сытный, изысканный обед да еще застарелая привычка к дневному сну взяли свое.

Во сне Мазакуаль видела родную деревню Великий Дуб и Старушку, глядящую с тоской на дорогу. Ей было до боли жаль Старушку, потому что во сне она не помнила, что та сама настояла, чтобы Мазакуаль отправилась сопровождать ее сына в поход на запад. Во сне она этого не помнила и потому плакала от жалости к Старушке и от чувства вины перед нею. Голос репродуктора с катера, подходившего к причалу, разбудил собаку ласково, ненавязчиво. Она замигала, стирая с глаз остатки уже забытого сна. Морда ее покоилась на вытянутых лапах.

Вечерело. Море из синего успело превратиться в густо-зеленое, а вдали, за лукоморьем города, над мысом, где слабо мигал маяк, опускалось большое солнце, уже неяркое, не слепящее. Над дымчатым морем золотился рассеянный свет. Вдали на городских домах пламенели окна, словно они, эти окна, высосали последнюю энергию у солнца, которое становилось все больше, ближе и прозрачнее. Музыка от катера на причале тихо стелилась по песку.

Дневные купальщики уже покинули пляж, сейчас тусовалась местная публика, которая пришла на вечернее купание вместе со своими собаками. Кого только не увидела здесь Мазакуаль! Многие из них и на собак-то похожи не были.

Мазакуаль глядела на них и блаженствовала. Это были странные собаки, нарочно созданные для улады хозяев, а не для того, чтобы выполнять обычные собачьи дела. Мазакуаль не завидовала им. Ее бродяжья душа отвергала всякую мысль о покое

и мирских радостях; она знала, что это привело бы ее лишь к вырождению и немедленной гибели. Это были мирные собаки, которых кормили не клыки, не когти, не нюх или быстрые ноги – и не ум, как Мазакуаль, – их кормили красота и экзотичность – да ласковый характер – чего и надо было их хозяевам. Наслаждаясь панорамой заката и вечерней прохладой, Мазакуаль даже слегка презирала их. Она считала, что ей ничего не стоит погонять их всех так, чтобы они имели бледный вид. Это была ее ошибка: простушка не обратила внимания, что среди породистых собак есть и очень сильные, и жестокие.

Она подошла неслышно. Она не издала ни звука, чтобы дать Мазакуаль возможность мирно удалиться. У нее была гладкая черная шкура с уродливыми пятнами, под которой гуляли упругие мышцы, и мерзкий длинный хвост. Она не то чтобы подкралась: она просто бесшумно двигалась на кривых ногах. И цапнула Мазакуаль не по задумке, а проходя мимо. Ее хозяин, тоже не самое обаятельное из человеческих существ, вовремя заметил злодейство своей псины и с ласковой строгостью окликнул, но откуда было знать Мазакуаль, что у собак породы бультерьеров такая хватка, что разжать ее челюсти не может не только никто посторонний – разжать их не может она сама. Она вырвала у Мазакуаль клоч шерсти вместе с куском мяса и кожи.

Успев оценить вовсе не собачье лицо и кровавые глаза противницы, Мазакуаль поборола ярость и пустилась наутек. «Уж бежать-то я могу», – думала она, пока обидчица выкашливала ее мясо и шерсть. Вскоре, однако, ей пришлось убедиться в прыгучести и быстроте ног злодейки. Мазакуаль уже была в пятидесяти человеческих шагах от выхода с пляжа, когда чудище, откашлявшись, пошло за ней. Хоть эта падла и укусила дворняжку походя, но, видимо, вкус крови окончательно вывел ее из себя, и она стала догонять Мазакуаль неотвратимо, как в кошмарных снах. Спас Мазакуаль только хозяин. Он побежал за своей драгоценной псиной:

– Регина! Назад! Регина, голубушка! Назад!

Мазакуаль унесла ноги. Только потому, что голубушка Регина послушалась хозяина и вернулась. Дворняга знала, что этот позор не забудется никогда и что не уймется в ее сердце жажда мести. Но не сейчас...

То, где она провела ночь, не имеет значения для нашего расказа, но место это было достаточно отдаленное от медицинского пляжа.

О горечи разлуки

Когда Джозефина вернулась к своему рабочему месту, ни мужа, ни приятеля уже не было. Но Энгештер тут же появился в телефоне.

– Сколько можно было тебя ждать, нэпсе! – загремел он в трубку. Но в его интонации чувствовалось, что он понимает занятость жены. Это он говорил скорее для ушей своего приятеля, который должен быть рядом.

– *Очень много дел!* – только и сказала она.

– Ну что там? – спросил он.

– Все хорошо.

– Молодец, нэпсе! – воскликнула трубка. – Поздно приду сегодня, – предупредил он на прощание. И добавил, преодолевая нашу южную нелюбовь к выражениям чувств: – Магарыч обещаю тебе ночью!

«Как легко сделать женщине приятно! Вот я услышала буквально одну теплую фразу – и мне радостно на душе», – думала Джозефина. Она принялась за работу. Не успела попечатать и получаса, как позвонил Матута.

– Короче, скоро ты закончишь? – спросил он.

– Ой, даже не знаю, Матута, *очень много дел!* – вздохнула Джозефина.

– Я тебе дам много дел! – сразу сказал этот человек с расшатанными нервами.

Сегодня, в сущности, был конец недели, можно было скоро закругляться, о чем она и сказала ему. Велев ей ждать в условленное время в условленном месте, он положил трубку. Джозефина торопилась, боясь, не приведи Господь, опоздать. Матута этого не любил. Но встретила подругу, которая по городу Сухуму знает все. Чуть-чуть заболталась с ней, утешая себя тем, что подружка сообщила много того, что и Матуте будет интересно. Вскоре она уже сидела в «мерседесе» Матуты Хатта, скрытая затемненными стеклами от посторонних глаз.

– Не опоздать ты не можешь, – заметил он ей беззлобно.

– Не сердись, дорогой. Ты же знаешь: у нас, особенно в конце квартала, очень много дел.

– Деловые... – пробурчал Матута. – А твоего Лагустановича на пенсию отправляют.

Джозефина вскинула голову и отпрянула: это было для нее новостью. Те новости, которые она несла Матуте, вмиг разбежались, как цыплята у нерадивой хозяйки. Лагустановича на пенсию! Переспрашивать да уточнять необходимости не было: Матута не скажет, не зная наверняка. Она только и произнесла с плохо скрываемым отчаянием:

– Почему я обо всем на свете узнаю последней?

Она тут же представила злорадство своих греков и мужниных мингрелов.

– А кто на его место, Мато?

– Имярекба.

Джозефина любила Матуту. Его, прошедшего самые лучшие годы в этих отвратительных лагерях, где он чуть не угробил свое здоровье, – и все прощала ему легко, понимая, что иным он быть не мог. В редкие встречи, которые проходили на даче Матуты, но чаще устраивались бесцеремонным гангстером где-нибудь на берегу речки прямо в машине, Джозефина старалась отдать ему как можно больше тепла. И Матута, казалось ей, ценил свою кошулю, как иногда ее называл.

Нежно приникнув к возлюбленному, она вспомнила претендента на место Лагустановича, которого Матута только что назвал. Она знала этого товарища, перспективного, авторитетного, с замечательными деловыми качествами, при этом простого, мягкого и воспитанного. Лагустанович приглашал его иногда на заседания коллегии. Она подумала было, зачем ему, историку, кандидату наук, эта рутинная работа, но общественная деятельность, но служение своему народу... Это был импозантный, породистый мужчина лет сорока пяти, который проявлял к Джозефине внимание настолько недвусмысленное, что она даже краснела под его пристальным взглядом.

– Куда мы едем, Мато? – спросила она.

– Открой бардачок, – приказал Матута, не отвечая на ее вопрос.

Ой, какое замечательное кольцо! Такой подарок мог сделать только Матута.

– Ты мне даришь эту музейную вещь, Мато?! – восторг был оправданием того, что она задавала этот лишний вопрос.

Жиган снисходительно давал себя тискать. Целовать себя он не разрешал.

– Короче, расстанемся, – сказал он, и хотя этого ему было достаточно при расставании с женщинами, Джозефину он считал особенной и потому добавил: – Женюсь я, короче.

Слез не было. Джозефина держалась отлично.

– На ком? – спросила она наконец.

Это тоже был лишний вопрос, но Матута и на него ответил, настолько забавной женитьба казалась ему самому.

– На цыганке, – сказал он.

Так вот о ком сегодня говорил Лагустанович!

– Знай, косуля, что, когда понадоблюсь, – я всегда рядом, – сказал Матута, а слово это кое-где, где надо, было ценнее банковского аккредитива. Она прижалась к нему, на самом деле – ища защиты, а с точки зрения Матуты – по-блядски. Но Матута сегодня был снисходительный. Он положил руку ей на колено. Ощувив рядом мужскую силу, она тут же вспомнила смущенную улыбку растущего кадра, от которой сама покраснела тогда, перед началом коллегии.

Джозефина умела переносить удары судьбы. Она не унывала в любой ситуации. Даже сейчас, когда она почувствовала, что слезы все-таки не удержать, она, прежде чем уткнуться в колени возлюбленного (прош. вр.), нашла в себе силы строго взглянуть на мальчугана, нагло развалившегося на заднем сидении. Она упала лицом в колени Матуты и в первый миг сама не знала, сделать ему больно или сделать ему хорошо напоследок. Но в следующий миг она уже думала не о себе, а о нем. Она решится на то, из-за чего он будет ее презирать, лишь бы избавить гордого Матуту от неловкости прощания!

Матута не удивился: ему было все равно. Выпустил он ее из машины как обычную шлюху. Она была довольна, потому что этого и добивалась.

Энгештер сдержал свое слово: вернулся поздно. Он был сильно пьян. Тем не менее, о другом обещании тоже не забыл. Без слов и без ласк он кинулся на Джозефину, которая уже засыпала. Он видел в жене только тело! Он, считай, ее насильовал и даже, наконец, склонил к тому, от чего она сама обалдеет, очухавшись, если вспомнит. Но было бы странно со стороны жены сопротивляться законному мужу. Джозефина и не сопротивлялась. Кому, как не ей, было знать, что вся его грубость была маской, за которой скрывался, в сущности, робкий, постоянно обижаемый жизнью человек. И кому, как не жене, сочувствовать мужу, и не только сочувствовать, но прятать, топить это чувство в нежности и преданности. «Пусть будут для него отдушиной моя нежность и преданность, – думала она сейчас, – даже не отдушиной, а отдохновением».

Полно тебе ухмыляться, юнец златокудрый!

Прочь удались: ты уже здесь собрал свою жатву! – пригрозила она юному стрелку в углу, забывая, как сильно разнится язык современных понтийских греков от древнеэлинского. Джозефина любила своего мужа Энгештера.

О треволнениях

Рана, полученная Мазакуаль, была, в сущности, пустячной; важен был производимый ею эффект. Регина-бультерьер слегка порвала дворняжке кожу на левом бедре. Жалость, которую могла эта рана вызвать, Мазакуаль решила использовать, когда будет устраивать себе более или менее постоянное жилье.

Коли пришлось искать место обитания вдали от хозяина, Мазакуаль решила не отказывать себе в роскоши поселиться на первоклассной турбазе. Лучшей турбазой в Сухуме всегда была турбаза Челюскинцев с бессменным директором Дурмишханом Джушкуняни. Мазакуаль быстро нашла эту турбазу. Место было, конечно же, шикарное. Побродив вдоволь по чистому парку, где в прудах плавали прекрасные лебеди, каждый по шестнадцать килограммов живого веса, а в тени экзотических деревьев гуляли царственные павлины, Мазакуаль вновь обрела себя. О мести она уже думала спокойно. Решила не терять головы, а сначала устроиться, причем устроиться именно здесь; мечь же, чем

она дольше откладывается, тем слаще. И еще, чтобы одолеть мерзавку Регину, она должна подготовиться, по крайней мере узнать ее слабости с меньшим уроном, чем узнала преимущества. Мазакваль уже успела разведать, где эта шлюха Регина живет, точнее, где живет хозяин, у кого она пристроена.

Совсем другое дело – павлины. Мазакваль, увидев впервые, как павлин распускает свой волшебный хвост, была потрясена. При этом надо учесть: она кое-что понимала в птицах.

Преданная Мазакваль поклялась увести эту птицу при первом же случае, чтобы подарить Хозяину.

Но это потом. Сейчас ни Хозяину, ни ей самой было не до красоты.

Мысль прижиться в одной из нескольких шашлычных турбазы, а тем более около хоздвора Мазакваль немедленно отвергла, несмотря на то, что там, особенно в шашлычных, люди говорили на знакомом ей языке. Конечно же, она и в шашлычных, и на хоздворе не стало бы нахлебницей. Статус, заслуженный ею ввиду ее талантов, она сумела бы обрести и там. Однако Мазакваль решила свой дар добывать птиц поставить в услужение скромному Художнику, который творил в одном из вагончиков турбазы. При этом она понимала, как мало птиц в самом городе и как непросто будет охотиться в пригородах, где на ее пути непременно встанут совершенно иные собаки, воспитанные в другой среде, со смешанным менталитетом. А почему Художник? Да потому, что бездомной собаке, если у нее есть выбор, конечно же, лучше поставить на русского человека с его умеренным, но стабильным отношением к животным. На этой турбазе, кроме начальства и шашлычников, все остальные были русские, но большинство их были купальщики и сменяли друг друга каждый месяц. Так что, если не считать горничных, которые Мазакваль мало интересовали, и дворников, которых она оставила на крайний случай, единственным бессменным постояльцем на турбазе был Художник. Он жил и работал на турбазе, считаясь ее достопримечательностью, подобно павлинам и лебедям. Как только Мазакваль это вычислила, тут же не замедлила состояться их трогательная и несколько фальшивая дружба.

Сострадание – это чувство, при каждой возможности проявления которого человек начинает себя больше уважать. Потому рана на бедре Мазакуаль оказалась как можно более кстати. На второй же день после злополучного посещения пляжа Мазакуаль, не мешкая и без обиняков, явилась к Художнику в вагончик и вправила в раму растворенной двери свой огорченный, но не униженный вид. Художник был занят деревянной скульптурой. Он изображал абхазского классика в гостях у сванов, то есть беседующего с двумя старцами в войлочных подшлемниках, которые принято называть сванскими шапками. Продолжая работать, Художник обратил на собаку свое доброе бабье лицо и гаркнул на нее. В ответ Мазакуаль предстала перед ним анфас, причем на ее морде безо всяких слов читалось: внимательней, маэстро, пусть вас не введет в заблуждение простоватый вид вашей гостьи, она может еще вам пригодиться, и это не должно ускользнуть от взгляда Художника: ведь ваш глаз привычен не упускать даже самые незначительные штрихи!

– Пшла, твою мать! – вскричал Художник.

В работе, которую ему заказал сам директор турбазы, не все шло как надо: дерево попало неудачное, во-первых; во-вторых, лица старцев получались слишком хищными для внимающих писателю мудрецов.

Мазакуаль не знала, что брань, обращенная к ней, является чистой русской, но общей для всех народов, – и в привычной мингрельской среде, и в абхазской, где она побывала недавно, к ней все обращались именно с этой фразой. Она насторожилась. Художник мог в нее чем-нибудь запустить. Повернулась, точнее, полуобернулась к нему таким образом, что при данном освещении на миг высветилась ее жестокая рана. Эта рана не могла пройти мимо взора Художника. Мазакуаль осознала, что она – не королевский пудель и рана ее не выглядит столь кощунственной, как если была бы на каракуле благородного собрата, и что первое чувство, которое посетит нормального человека при виде дворняги, да еще изодранной, – это отвращение и желание прогнать ее прочь. Но для пожилого и в силу профессии склонного к рефлексиям человека в отвращении к беспомощному животному всегда есть что-то постыдное. Первоначально оно выражается в

желании скорее избавиться от зрелища, вызывающего жалость. Но если сработать тонко, жалость эта будет возрастать обратно пропорционально стремлению от нее избавиться и укрыться. И Мазакваль сейчас делала все, чтобы благодатное зерно жалости дало немедленные всходы в виде колосьев сострадания и милосердия. Как будто беспомощно заматававшись у входа, она на мгновение убрала рану в тень и тут же высветила ее в новом ракурсе. На морде ее при этом держалась добродушно-прощающая улыбка, какая бывает у того, кого мы сразу не узнали, а должны были узнать, – улыбка, предвещающая наше смущение, которое неминуемо после узнавания. Этой своей улыбающейся физиономией Мазакваль как бы говорила Художнику, что он *должен, должен* распознать в этом несчастном существе не совсем обычную собаку, – собаку, способную быть полезной. Старый Художник уже приподнял берет, чтобы почесать себе темя. Собака понимала, что Художник, несмотря на наметанный глаз, не сразу прочитает на ее физиономии эти тонкости, но, по ее замыслу, он уже должен был быть польщен тем, что к нему обращаются с уверенностью в его проницательности. Замысел начинал срабатывать. Процесс умиротворения в сердце мастера уже начался. Хотя он не перестал лихорадочно искать, чем бы в дворнягу запустить. Искал лихорадочно, но слепо, потому что, втянутый в диалог, он мог лишь ненадолго оторвать свой взгляд от собачьей морды, и то лишь для того, чтобы убедиться, что каждый предмет, который он нащупывал, был ему слишком необходим в мастерской, чтобы запустить им в псину. Это давало возможность псине исполнять свои следующие выходы с демонстрацией раны без особого страха.

Как бы смирясь с собакой в дверях, Художник отвлекся на свою работу и прищурился. Собака поняла, что ее приняли. Художник напряженно думал. Работа была не завершена, по крайней мере не доведена до того совершенства, на которое Художник был способен. Хищность стариковских лиц была исходной, характерной чертой, без которой нельзя обойтись, делая, как желал директор, гордых сванов. Требовалось хищность убрать на задний план, выдвинув вперед спутников старости – мудрость и печаль. А он это мог, хотя камфорное дерево – не самый по-

датливый материал. В следующий миг Мазакуаль шагнула через порог, принимая приглашение дать свою оценку композиции. И приглашение было дано.

– *Камфора – очень неподатливый материал!* – произнес Художник со вздохом.

Он на нее не глядел, но обращаться было не к кому. Мазакуаль по-своему довела до Художника, что он слишком критично относится к своему творению, тем более что работы непочатый край.

А когда Художник встал и подошел-таки к ней, он уже воспринимал рану на бедре Мазакуаль не как бродяжью метку, а как несчастье, постигшее живое существо.

О нерожденном сыне

Наала и Саша, сестра Ники, стояли на хаттрипшской трассе, собираясь ехать в Сухум. Мимо них в обратную сторону, твякнув им сигналом, проехала «Волга» Ники. В машине с Никой был Кесоу.

– Чего ты тянешь, братуха? – спросил Ника.

Кесоу молчал.

– Тянуть тут нечего. Дождешься, что достанется другому.

– А если она потребует, – начал соглашаться Кесоу, – чтобы я стал стахановцем? Сказал же дядя Платон: *«Если бы мужчина изначально был таким, в кого его переделывает жена, разве бы она вышла за него!»*

– Вот и будешь стахановцем. Начнешь работать в Обезьяньей Академии.

У Кесоу уже все мысли были только о женитьбе. Конечно, его смущало, хоть и не очень сильно, что Наала – соседка. Джигит должен брать невесту за семью реками. И еще его смущало, что нет у него ни работы, ни, соответственно, доходов, но и это смущало не сильно, потому что знал: будет Наала рядом, он и отнесется ко всему серьезнее.

– Мне бы твой возраст! – продолжал заводить его Ника, словно в этом была необходимость. – И твою башку!

– Разворачивай! – сказал Кесоу.

Легкомысленное решение начало осуществляться.

Четверть часа спустя машина подъехала к девушкам. Ребята сказали им, что едут в Сухум, и посадили девушек в машину.

Включили музыку, поехали с ветерком. А на одном из поворотов объявили, что сейчас же повезут их в горное село к родственникам. Напрасно девушки просили их не делать этого, но машина уже ехала в сторону гор. Сестра Ники не посмела послушаться брата и стала соучастницей похищения. Наала плакала.

– Одумайтесь, ребята, – просила она. – Я не позволю, чтобы меня хватали на улице. Не надо портить наших отношений, Кесоу. Я прошу тебя!

Но, видя сомнения друга, Ника решительно взял инициативу в свои руки.

– Нас и так мало! – сказал он.

– Разворачивайте машину! Это не по-людски! – твердила Наала. – Я с тобой не останусь!

Она понимала, что ее хотят поставить перед фактом. Умыкание и последующее вмешательство людей призваны рассеивать сомнения у патриархальных девушек: они смиряются с судьбой. Может быть, и с Наалой было бы так, но... Что он будет делать дальше, парень, который умыкнул любимую и привез в горное село к родственникам? Есть разные варианты, а Кесоу из них выбрал самое плохое: он заженihовал, то есть стал прятаться от взрослых. Инициативу перехватили хозяева и соседи. Известное дело: горцы отличаются гостелюбием – не успела машина, сигналя, въехать во двор родича, как сыновья родича, словно этого и ждали, кинулись забивать самого большого бычка из стада. Наала плакала, но все, даже женщины, отнеслись к ее слезам как к обычному проявлению скромности в такой щекотливый момент. Кесоу больше с ней и не виделся – во власть вошли обычаи. Как когда-то счастливый дядя Платон, он теперь мог попасть к ней только на восьмой вечер. Но если Платон, прежде чем жениться, слышал от суженой твердое «Выйду за тебя, выйду, не ворчи!», то Кесоу от Наалы только «Я с тобой не останусь». Он знал ее гордый нрав, но, раз отдавшись течению обычаев, так и не предпринял ничего. А Нику посадили со старшими и, рассказывая байки о деде его Савлаке, не выпускали из-за стола. «С родственниками мы сладим», – говорили они, не беря, увы, девушку в расчет. Село запировало: взрослые на одной стороне, молодые – на другой. Тем временем в Хаттрипше узнали о случившемся, очень быстро

вычислили, где похитители могут быть, и вскоре туда прибыла делегация во главе с Платоном, который хоть и приходился родным дядей Кесоу, но поехал с родными Наала в знак особого уважения к ее семье.

Мужчины остались ждать у ворот, не заходя во двор. Зайти во двор означало стать гостями, врываться же к девушке немедленно – демонстрацию враждебности. Если девушка подтвердит, что ее привезли без ее согласия, тогда и семья Кесоу, и семья, в которой Наала была сейчас, становились кровниками ее семье. И потому они послали к девушке женщин и ждали внизу. Зайти к девушке они могли потом, даже если она передаст, что привезена добровольно, чтобы услышать это из ее уст, но и в этом случае они бы не остались гостевать, потому что формальная вражда сохранялась, пока люди не вмешаются и не склонят ее родных принять подарки в знак мира и родства.

Женщины взбежали в комнату, где сидела Наала в окружении девушек из этого села.

– Ты давала ему *слово*? – спросила ее тетушка.

– Нет.

– Тогда ступай с тетушкой!

– А *надежду*? – уточнила женщина горного села.

Вместо ответа Наала зарыдала.

– Так ты давала ему надежду? – местные женщины ухватились за соломинку ее молчания.

Наала опустила голову.

– Она стесняется, милое дитя! – обрадовались горянки. – Перестанем ее мучать! К чему держаться за дикие нравы! Пусть молодые сами решат.

– Чтобы выколоть мне глаза, несчастной! – воскликнула тетушка. – *Разве ты могла дать ему надежду?*

После мучительной паузы Наала произнесла.

– Я играла с ним в шахматы...

– И много говорили о жизни! – подсказывали девушке горянки.

– Чтобы выколоть мне глаза! – сказала поверженная тетушка и отошла в угол.

– Молодые играли в игру! – заголосили восторженно горянки.

– Девушка – не девушка, а алмаз, но и наш – парень замечательный.

– *Я не останусь!* – твердо произнесла вдруг Наала.

– Тогда ступай за мной! – ожила тетушка.

– Пусть молодые поговорят! – уже проявляли твердость горянки.

– Несите шахматы! – сострил кто-то.

И, пока не вмешались мужчины, решили дать молодым поговорить. Привели Кесоу. Он потребовал оставить его с Наалой наедине.

– Конечно. Выйдем, пусть молодые поговорят! – с готовностью отозвались хозяйки.

– Нет! – сказала тетка. – Я не могу оставить девушку с человеком, не зная, что у него на душе!

Но Наала подала знак, и она покорилась.

– Наала, разве ты разлюбила меня? – спросил он, когда их оставили одних.

– Я не потерплю, чтобы меня неволили. Ты мог все сделать по-людски.

– Наала, я не замысливал похищать тебя. Все получилось на ходу. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

– Нет, я не останусь.

«Скоро будет война. Я хочу, чтобы ты родила мне сына!» – рвалось из Кесоу. Но он не сказал. Победила обида.

– Ты это твердо? – спросил он.

– Да.

– Прощай! – сказал он и вышел прочь.

Когда вернулись женщины, Наала попросила позвать мужчин. Мужчины пришли. Девушка заговорила твердо. Она сказала, что по отношению к ней непочтительности не было допущено, если не считать того, что ее привезли без ее согласия. Прежде чем она поедет с родными домой, она требует от них дать ей твердое обещание никого в случившемся не винить, кроме ее самой.

– Поедем, дочь моя! Я привезу тебя деду, хоть и стыдно мне явиться пред его глазами после того неуважения, которое наша семья позволила себе по отношению к нему. А вы, мои сородичи: как видите, этот юнец только и знал, насколько вы нам родны. И пусть ваша прервавшаяся радость будет позором на мою седую голову!

Напрасно хозяева увещевали дядю Платона, напоминали, что женится не кто-либо, а его родной племянник и что он должен быть на его стороне: Платон был непреклонен. Уважение к нему остудило горячие головы. Девушку увезли.

– Что за молодежь пошла, Платон! – голос бригадира вернул вдруг старика в этот мир *отражений*.

А мыслями Платон был очень далеко. Устав слушать встревоженную болтовню соседей в машине, он глядел в окно. Солнце опускалось в море.

Он видел серые облака, расположившиеся тонкими волнистыми линиями, как ложится земля после вспашки. Я не могу описать этот закат подробнее, но, глядя на него, Платон знал: в старину, когда по закату умели предсказывать и погоду, и житейские дела, и, конечно, народные судьбы, видя такое расположение облаков, говорили: это *народ* и это *беда*. Вечер за окном автобуса говорил старику, что в своем непознанном движении народ вступил в *тьень*. Тяжкие испытания предвещала эта тень, которые грамотные именуют *история*, а люди зовут *беда*. Он уже знал, что останутся от деревни Хаттрипш одни пепелища, и что будет такое время, когда вынудят людей покинуть свои очаги и могилы и уйти на нагорье, где они познают горечь чужого хлеба; что сады, виноградники и лужайки перед домами зарастут терном, а собаки будут выть от голода и одичания; и что будет такое время, когда небо покроется свинцом, и холмы задрожат, и горы; и что свиньи попробуют человеческого мяса, потому что живые не будут успевать хоронить мертвецов.

Солнце между тем низко опустилось над морем. Зловещее расположение облаков исчезло. Теперь на горизонте было одноединственное пушистое облако, которое, отстав от солнца, высоко-высоко плыло по небосклону. Наполненный предчувствием появления знака, старик приковался к нему взглядом. И знак появился.

– Вообще! – сказал Платон.

Это была она! И пусть слезы, застывшие глаза, не дали ему поразиться вдоволь видением, но и мгновение преисполнило его веры в то, что несчастный народ выстоит!

В нем, в этом прозрачном облаке, словно в волшебном окне, отразилась Золотая Стопа Отца.

И именно в этот миг его позвал сосед.

Когда в машине женщины заголосили, заобсуждали случившееся, склоняя поступок Кесоу на все лады, Наала почувствовала себя так скверно, как никогда.

– Кесоу, я люблю тебя! – прошептала она неожиданно вслух.

– Что ты сказала, доченька? – спросила тетка.

Наала не ответила.

На второй день ее отправили в Сухум, подальше от пересудов.

О кладезях мудрости

Мазакваль почти придумала прием, с помощью которого она могла одолеть свою обидчицу. Ей пришлось даже прибегнуть к помощи Хозяина, хотя он об этом не догадывался. Иначе было невозможно: читать-то она не могла, а если бы и могла, кто же пустит собаку в республиканскую библиотеку!

Задача состояла в том, чтобы узнать, какие есть слабые и уязвимые места у породы собак, к которой принадлежала обидчица. Ибо так мудро устроена природа, что могущество, коим существо наделено в одной области, обязательно будет уравновешено соответственным ничтожеством в другой. Именно это соответственное ничтожество необходимо было определить и изучить. Тут возникали дополнительные сложности, вызванные тем, что все-таки общение между человеком и собакой затруднено. Хозяину было бы намного легче, если бы он четко и ясно понял, что именно нужно знать собаке. Но описание того, как происходило это уникальное в некотором роде взаимопонимание между человеком и собакой, не входит в задачи нашего повествования.

Мазакваль объяснила Хозяину, на кого она конкретно дышит ядом. Они сели в кофейне напротив дома, где обитала эта падла, и дождались, когда хозяин вывел на прогулку ее акулю морду и поросячий хвост. Эта дура, эта краля, вы думаете, она узнала Мазакваль, встретившись с ее глазами своими кровавыми щелочками? Нет, профура, блин, ее даже не узнала! А как она ссала! Как будто дерево, к которому она встала, поднимая то, что у обычных собак зовется лапой, специально для этого было тут посажено!

Гордые глаза Мазакуаль горели жадной мести. Она прижалась к ногам Хозяина, что проделывала крайне редко. Она не трусила, а осознавала свое бессилие на данный момент. Она не жаловалась, она просила помочь ей самой осуществить возмездие. Может быть, Хозяин не понял всей этой гаммы чувств собаки, но зрелищем бультерьера был настолько потрясен, что назавтра же набрался смелости и пошел в библиотеку, куда и без этого его почему-то звала душа, чтобы как раз прочитать об этой собаке.

Мазакуаль была довольна: все шло по плану.

Могель, чего уж таить, в библиотеку зашел впервые. Если не считать маленького книжника в Великом Дубе, где продавщица сельмага Маквала работала по совместительству и, чтобы отперла его, надо было найти к ней особый подход. Могель и не просил ее. А тут было здорово! Светлые залы, убранные цветами, а главное – море книг. Могель в глубине души был книголюб, эти полки до потолка, полные томов, старых и новых, привели его в волнение. Учтивая девушка помогла ему преодолеть смущение. Услышав, что его интересуют некоторые редкие виды собак – а он подготовил именно такую фразу о редких видах, – она принесла не книгу, как он ожидал, а принесла целую кипу, от больших фолиантов до малых брошюр. Вслед за этим Могеля пригласили сесть в уютном уголке у окна, где он мог спокойно, в тишине эту литературу изучить.

Перелистав все поданные ему книги, Могель остановился на большой иллюстрированной энциклопедии собак одного иностранного автора. Самые разнообразные собаки. Собаки всех пород. Собаки всех времен и народов. Как-то он остановил внимание на одной из них, которая показалась ему чертовски похожей на его Мазакуаль, прочитал довольно лестные ее характеристики, но обманчивой схожестью с простой дворнягой не соблазнился, а пошел листать дальше, пока перед ним не предстал американский бультерьер во всем своем жутком великолепии. Его разновидности, его история, его достоинства, недостатки. Могель читал очень внимательно и заинтересованно, поэтому не сразу заметил, что эту заинтересованность кто-то разделяет с ним, пока сама себя не обнаружила, задышав и притершись к

ногам, его Мазакуаль. «Явилась-таки, плутовка», – захихикал он в кулачок и тайком от смотрительницы щелк по уху. Собака улыбалась во всю морду. «Тише, Хозяин, дорогой, заметят же», – как бы говорила она ему. Она видела все картинки.

– *Тим, Мазакуаль!* – восхищенно прошептал Могель.

Собака послушно удалилась. Сделала она это так же незаметно, как пришла. Могелю уже нечего было делать в библиотеке. Он собрал книги, встал и направился к столику выдачи.

Вдруг шаг его стал неуверенным. Шестым чувством, которое у него обнаружилось, он ощутил знакомое тепло. Откуда оно? Поднять глаза! Этому не могла быть причиной замечательная девушка, выдавшая ему книги. Это не могли быть книги. Книги он любил, но не настолько, чтобы они улыбались, завидев его издали. Ему бы поднять глаза...

Поднять глаза оказалось непросто, так же, как идти ровным шагом. Но упрямый Могель все же шел и глаза тоже поднял. Отягощенный гирями смущения, взгляд его дрожал.

Но тут и видеть было нечего: это была она.

Это была та самая абхазка. Она сидела на месте выдачи книг. Она сидела боком к столику и вязала, повернув работу к свету из окна. Могель залюбовался профилем, склоненным над работой, – и насупился. Он нарочно зашумел. Она подняла голову. Узнав его, зарделась, заулыбалась эта абхазка: как просто знакомому, или был тут и другой *делихор**. Абхазка отложила работу и встала, успев подхватить шаль, соскользнувшую с узких плеч.

«Вот бы мне жениться на ней», – подумал Могель, но пока сомневался, пришла ли пора, сумеет ли он это сделать.

«Ты здесь работаешь, гого?»** Он сразу назвал ее на «ты». Да, на полставки. Потом пауза. Могель волновался, но брал себя в руки. Конечно, ему не хватало развязности, но он успокаивал себя: не все сразу! Сначала они поговорят о самых обыденных вещах, далеких от того, что желанно юноше в беседе с девушкой. Вид у него будет уверенный, но скромный. Расспросит ее о деле, о тете, обо всех, с кем познакомился в деревне. Посмеются, вспомнив недоразумение, вышедшее с индейками... А может, об этом не

* Смысл, дело (жарг.).

** Девушка (груз.).

надо? «Ты видела затмение тем утром?» – «Тетушка ошиблась. Никакого затмения не должно было быть». Пауза. «А коров подоить успели?» – О, слезами залитые пороги! Астрономический разговор тут должен идти или любовный? «А я тоже всю ночь просыпался и беспокоился, что жабы...» Абхазка рассмеялась, и хитрый Могель заметил, что еще одно слово о жабах – и будет конфуз.

– Значит, ты здесь работаешь... А я вот пришел...

Пауза.

– Я знаю, что вас интересует американский бультерьер.

Снова пауза. Могель упускал ситуацию из рук.

– Не столько меня, сколько *одного моего друга*, – сказал он неопределенно.

Она продолжала с ним говорить на «вы», и потому его «ты» звучало несколько бесцеремонно. Но менять ситуацию было еще сложнее. Он решил и дальше говорить смело и развязно.

Кончилось тем, что он назначил ей свидание. Конечно, это не было еще свидание в полном смысле. Но когда он: мол, можно будет приходить? – она: приходи, мол, поможем найти нужную литературу.

Нужная литература! О, *слезами залитый порог*! Все шло как надо.

Потом он привыкнет, потом он пригласит ее – с подругами сначала, а потом, глядишь, и без них – попить кофе, например, как тут в Сухуме заведено. Все шло как надо.

Будет приходить. Заодно почитает книг. Почему бы не поступить в университет, на заочное или даже на вечернее!

Мысль об университете одобряет и брат, и невестка, и Мазакуаль. Он будет приходить сюда!

Он зачастил в библиотеку. Вскоре он, делая глаза, гадал девушкам на кофейной гуще. Иногда он бывал чуть ли не единственным посетителем в зале.

«Вот бы мне жениться на ней, – думал Могель. – Тем более тут нечего сомневаться: я в нее уже влюблен». Он был влюблен еще с той самой бессонной ночи в абхазской деревне, но тут, в суе города, это было как бы забыто на время. А сейчас он думал:

прописку мне сделали, работу ищут, в университет готовлюсь... А вот такая красавица, еще и абхазка! Я и так грузин, потому что мингрел; а если еще стану абхазским зятем, тогда, джима урели*, не то что на «москвиче», на «шестерке» почему не приеду в Великий Дуб?!

Все умеет она, все умеет; ты ее полюбишь, моя мать!

Слабость обидчицы была известна: ее необычайная, совершенно глупая нервность и вспыльчивость. Набросившись на жертву, она брала ее мертвой хваткой – восемнадцать атмосфер, как подтвердил бы Хозяин, изучивший материал. Он, Хозяин, молодец! Он сегодня же будет вознагражден. Он там, в библиотеке, кое-кого увидит, кого искала его душа! Словом, бросается, падла, на жертву и при этом от гнева и ненависти ослепляет настолько, что уже ничего не видит и не чувствует. На этой нервности и вспыльчивости она и прогорит, прошмандовка! Теперь она, пани курва, никуда не денется! Зауважает она собак, которые слабее ее, но, по крайней мере, на собак похожи! Узнает она, как кусаться походя. Пусть еще спасибо скажет, что рана несколько помогла Мазакуаль при знакомстве с Художником. Иначе она бы не просто попортила лапищу ей, а оторвала бы совсем, на кар!

План мести, который и сама-то Мазакуаль обдумала еще не до конца, в нашем изложении будет выглядеть еще более сомнительным. Она решила при ловле бультерьера использовать как наживу птицу, и именно петуха, потому что петухи необычайно храбры и не менее бультерьера заносчивы. Причем храбрость их растет прямо пропорционально успехам в курятнике. Она натравит петуха на бультерьера, как орла на зайца. Бультерьерша заведется с пол-оборота, вырвется из рук хозяина вместе с поводком и, набросившись на птицу, схватит ее всей своей восемнадцатиатмосферной хваткой, ослепнув от ярости и потому уже ничего не видя и не чувствуя. И тогда Мазакуаль спокойно успеет, пока не вмешается хозяин, загрызть ей лапу. Не оторвать совсем, а попортить, чтобы пани-курва потеряла товарный вид, чтобы хозяин не мог уже балдеть, ее выгуливая. Чтобы этот хозяин разлюбил свою сучку, чтобы прогнал ее, а

* Эмоциональное грузинское выражение.

то и усыпил. Нет, не надо, чтобы усыпил, пусть прошмандовка живет! Но пусть узнает и прелести бродячей жизни, как узнала прелести жизни на квартире у хозяина! А тут – не деревня, тут собак держат и кормят как раз из-за внешности, а! Чем такая месть не великолепна, а?

Глупого петуха в Мингрелии еще поискать надо было, а тут, в тех же пригородах Сухума, у тех же самых мингрелов, что ни петух – обязательно тебе самодоволен, а главное, уверен в себе и бесстрашен, как иной студент библиотечного факультета, который один на сорок девчат.

Как говорится в народе: генералы из генералов генерала выбирали. Выбран был самый отважный и гордый петух. Она привела его и спрятала под дальним пустынным вагончиком. Совершенно пустых вагончиков на турбазе в разгар летнего сезона вообще не было; имеется в виду вагончик, обитатели которого уходили рано утром на пляж и возвращались поздно вечером, хмельные, чтобы тут же завалиться спать, так что не только птицу, но и буйвола бы не заметили, заберись он к ним под половицы. Теперь предстояло познакомить петуха с собакой, чтобы он успел привыкнуть к отвратительному зрелищу бультерьера.

Мазакуаль не считала эту идею совершенной. Но обрабатывала ее с разных сторон.

А вечером, прежде чем проверить место под вагончиком Художника, Мазакуаль заглянула в самую мастерскую. Художник здорово поработал. Его скульптура преобразилась. Это отметил и директор, который как раз зашел, чтобы в очередной раз взглянуть, как продвигается его заказ. На деньги, вырученные от реализации кур, доставляемых ему собакой, Художник приобрел в салоне худфонда инструменты, о которых давно мечтал. Неподатливое дерево покорилося тонким и удобным резцам. Теперь на лицах старцев вместо грубой хищности прочитывалась благородная задумчивость. Отвага на этих лицах, уступая морщинам лет, скромно устраивалась за мудростью. Намного воздушнее стала и фигура классика. Если вначале это была заурядная фигура интеллигента в костюме, то сейчас в одеянии классика мастер ушел от излишнего бытописания – контуры

обрели зыбкие и плавные формы. Художнику удалось придать одеянию вид драпировки. И вот уже изгиб руки, как бы продолжая волну этой драпировки, смело завершался кистью руки с изящно выделенными пальцами. Стульчик же, на котором покоилась кисть на начальном этапе, был заменен вовсе. На его фактуре мастер замыслил вырезать фигуру собаки и уже сработал первые, пока грубые контуры, так что Мазакуаль предстояло еще ему позировать.

– Хорошо, – сказал директор турбазы хриплым голосом. И добавил: – *Абхазы и грузины – братья!*

Мазакуаль поняла, что он неформал.

Когда директор ушел, Художник обернулся к собаке, как бы спрашивая: «А тебе-то как?» Мазакуаль вздохнула одобрительно и удовлетворенно. Художник был польщен. Он сунул руку под соломенную шляпу, которую тоже намерен приобрести, и почесал темя.

И вот уже собака спешила к петуху.

Собака заметила издалека директора в том же неизменном одеянии: в белом костюме, в белых штиблетах и белом подшлемнике; удивилась, что же вынудило этого человека покинуть свой просторный кабинет и идти в этот жалкий вагончик. Наверное, решил лично проверить, все ли там в порядке. Но, подойдя к двери, Джушкурияни замешкался, придирчиво осмотрел себя, потом почтительно постучался. А когда зашел, собака услышала его хриплый «Гаумар» и ответ хора: «Джос!» – обычное приветствие неформалов, которых она еще в Великом Дубе невзлюбила. Мазакуаль поняла, что пустынный вагончик, как нарочно, именно тогда, когда она спрятала под ним пленного петуха, превратили в нечто вроде явочной хаты. Надо было петуха забирать отсюда – Мазакуаль знала по опыту, что думы о родине наращивают аппетит и что неформалы очень скоро найдут петуха и пустят его на свой скорбный и скромный стол.

– Грузия поднимет меч, – услышала она, подходя поближе.

Надо было торопиться. Она решила сегодня же вечером перепрятать птицу под вагончик Художника – там оживленнее и все же безопасней.

И что вы думаете, петух так и просидел под вагончиком, дожидаясь, когда его найдут неформалы? Нет, он не был столь прост. Еще засветло он успел обжить самую красивую, благовонную и раскидистую магнолию. Уютно устроившись на ветвях, при ярком свете неоновых ламп, этот петух, к удивлению Мазакуаль...

Одним словом, петух, которого Мазакуаль по своей деревенской простоте намеревалась загубить в качестве обычной наживки для вражьей псины, был не кто иной, как поэт Арсен, талантливее которого не было птицы в междуречье Гумисты и Келасура. Так всегда не понимает деревня свою будущую славу, принуждая талант к бегству в столицу – альтернативе гибели в глуши.

Поначалу петух Арсен страшно смущался. Он надеялся, что протекцию ему устроит его новый друг – собака Мазакуаль. Но собака, приведя гостя к себе на турбазу, оставила его одного, под вагончиком, что было с ее стороны невежливо, а сама все бегала в библиотеку. Арсен не мог не чувствовать, что от райских птиц все-таки следует держаться на почтительном расстоянии, пока сами не позовут. Это и сделало его обладателем магнолии. Но он уже видел, что прекрасные птицы ему благоволят. Он не понимал, чем обязан их вниманию. Как ни самоуверен был Арсен, он не заблуждался по поводу распространения своих мужских чар на павлинок-аристократок. Но благоволят – и слава Богу!

Между тем все объяснимо просто. Тут сработало чувство умиления, которое просыпается нередко в душах представителей высшего сословия при виде самородка из простолюдинов.

И Арсен ощутил себя как Сергей Есенин в салоне Зинаиды Гиппиус. Он понял, что звездный час его настал.

Его безыскусные эклоги, его страстные буколики, в которых он рассказывал о еще не топтанных, но уже созревших курочках, были полны первозданной чувственности, на фоне которой слушателями их собственные утонченные переживания воспринимались, видать, как болезненные и изощренные.

Арсен видел, что произвел впечатление. Значит, ему помогут. Он, конечно, несколько презирал своих слушателей плебейским презрением, но с плебейской же сметливостью сознавал, что это его выступление с магнолии отдает фиглярством, но зато оно

откроет ему двери в мир широких возможностей, мир, где он сможет явить свой истинный дар.

А если бы он знал, что сегодняшний бенефис не только открывал путь к успеху, но попросту спас ему жизнь, он бы благословил птиц царицы и пел бы еще более вдохновенно...

Собака остановилась в изумлении. Завидев ее, Арсен приветливо кукарекнул с ветвей. Павлины во всей красе своего райского оперения расположились на газоне перед деревом и внимали петуху. Мазакуаль быстро оценила обстановку, и решение пришло ей в голову немедленно. Видя, как внимают петуху птицы, Мазакуаль решила, что петушиный гоготок воспринимается павлинами как знак, чтобы распуścić свои великолепные хвосты. Она не поняла, что попала на великосветскую тусовку.

Внимательный читатель должен помнить, что Мазакуаль задумывала подарить Хозяину павлина. Она не знала только, как заставить павлина распуścić хвост, когда это надо. Теперь, как ей казалось, она это поняла. Так что идею использовать петуха как наживку она отвергла, по крайней мере отложила.

А разве дворняжка не права? Разве не на петушиный талантливый гоготок распускают павлины свои хвосты?! Разве не холила Зинаида Гиппиус свои ногти и боа, готовясь к встрече с Сергеем Есениным, от которого она ожидала хромовых сапог и запаха сена после дождя!

О тени

Энгештер вообще не хотел Фото-Точки. Он сам всегда боялся фотографироваться. Еще в детстве Старушка говорила, что это русское изобретение – *снималка*. «*Снималка высасывает из человека тень*», – твердила она всегда, хотя ей в жизни пришлось сниматься только раз, в первый год, чуть ли не в первый месяц замужества, когда их отец покойный привез ее в Зугдиди. И вот, пожалуйста, ее сын в Сухуме сам снималку содержит. Что было делать, когда нэпсе именно такую работу нашла. Старушке он об этом не сказал; соврал, что имеет Пив-Точку, как нормальный *очар**. Однако именно Фото-Точка кормила его семью, и он содержал ее так же любовно, как если бы это была Пив-Точка.

* Владелец лавки (турецк.).

Чтобы больше было клиентов, на Фото-Точке как приманку, помимо фанерных Чарли Чаплина, верблюда и пингвина, Энгештер использовал живого медвежонка Боро. «Си, Боро!»* – обращался он к медвежонку с нежностью. Он так его сам называл, когда подарили. Многие точки имели обезьянок, но медвежонок был только у него. Детям это нравилось, дети же составляли основную клиентуру Фото-Точки. Им деваться больше было некуда; они гуляли тут с родителями: рядом были берег, сквер, качели, Вечный огонь. Что до посетителей ЦУМа, на которых точка была рассчитана, то в последнее время в ЦУМ приходило мало людей: покупать там было нечего. Отдыхающих, с которых всегда был навар в былые времена, после начала эртобы почти не стало. А детвора была надежный и постоянный клиент. Дети полюбили сниматься с Боро. Энгештер даже в газету попал. Медвежонка Энгештеру дали сваны два месяца назад. Они завалили медведицу, а двух ее медвежат забрали живьем. Одного отдали в сванский ресторан, другого подарили Энгештеру за хлеб-соль.

Энгештер сам так придумал здорово, что, когда подходили дети, он подавал Боро бутылку с соской, полную молока. Каждый день он на рынке вынужден был покупать трехлитровую банку молока. Только на молоко уходило шестьсот рублей. Но это себя оправдывало. Медвежонок трогательно вставал на задние лапки и пил через соску. Детям страшно желалось сфоткаться рядом с ним в этой позиции. Щелкнув кадр, Энгештер говорил медвежонку: «Лопнешь, эй!» – и, чмокнув его влажную мордочку и шлепнув по затылку, отнимал бутылку. Мазакваль, животное ведь, возмущала эта картина, и она невзлюбила брата Хозяина. Собака была убеждена: если *книжница*, к которой так неравнодушен Хозяин, узнает, что жестокий *снимальщик* – родной брат Хозяина, это может произвести на нее неблагоприятное впечатление. Подумаешь, великое дело снимать на *снималке*! Этим нас не удивишь. Мы с настоящим Художником кусок хлеба делим.

А потом медвежонок взял да и околел. Отравился молоком. Рассеянный Энгештер забывал переставить банку с молоком в тень. В смерти Боро он винил себя. Он так к нему привык! «Где

* Ты, большеголовый (мингр.).

я теперь нового найду, *ищ дида пход ма**», – расстроился Энгештер. Не только расстроился, но и напился в сванском ресторане, и не ради удовольствия, а с горя. Но недаром Энгештер любил повторять русскую пословицу «*Имей сто рублей, но имей и сто друзей тоже*». Друг помог и тут. У того был знакомый некроман Гуревич, который еще заформалинил ему тещу, когда та умерла. Золотые руки имел этот Гуревич: со всем, что мертво, он делал просто чудеса. Все чучела в музее тоже исполнил он. В Москву миллион раз приглашали, но он сказал: не хочу, я и здесь свой кусок хлеба всегда имею.

Заказали ему чучело.

– А и не стыдно ли вам! – сказал было старый Гуревич, но друг Энгештера напомнил ему в сильных выражениях, что клиент всегда прав.

Вскоре на Фото-Точке уже другие дети снимались на фоне чучела Боро. Но теперь была *экология*, и этот факт не остался незамеченным. Начальник УБОНа получил замечание. И без того злой, этот начальник даже попытался увеличить долю, которую ему отстегивал Энгештер, так что Энгештеру через друга пришлось напомнить, где работает его жена.

Экология при эртобе приобретала вес и авторитет. Именно она и сблизила власти и неформалов. Несмотря на то, что неформалы требовали слишком многого – независимости, эртобы и т. д., власти вскоре поняли, что можно сотрудничать и с ними. И неформалы поняли, что во имя конечной цели можно использовать средства, которые находятся в руках у властей. Одно дело заменить первого секретаря ЦК. Иное дело поколебать *мясокомбинат*, *УБОН* или *нефтебазу*.

Пришла эртоба, и кресла закачались. Раньше, чтобы занять место мясного магната, надо было идти с деньгами наверх. Сейчас это стало возможно через неформалов. Вот проводят неформалы митинг. Первый вопрос, как и положено, – эртоба и сепаратизм. А вторым вопросом можно провести экологию. «Мясной магнат имярек завез к нам мясо из Чернобыля», – говорится на этом митинге. Магнат *начинает водиться*. Он пыта-

* Мингрельское крепкое выражение.

ется сначала по старинке, в кабинетах, доказывать, что мясо не из Чернобыля. Но доказать это невозможно; он представляет накладные, из коих явствует, что мясо на самом деле из Краснодар, но накладные – ха-ха-ха! Его старания только сильнее убеждают публику, что мясо из Чернобыля. Свой народ хотел отравить ради денег! Не верят коммунары, потому что он *начал водиться*. Снимают мясного магната!

Или надо заменить начальника УБОНа всей Грузии. Прекратить устаревшую практику бритья в парикмахерских, заявляется на митинге вторым вопросом. Не может нация подвергать себя риску заразиться СПИДом, а красноперому – лишь бы деньги! И начальник УБОНа *начинает водиться*. Существует сложившаяся культура нашего южного человека в парикмахерской. Это – целый ритуал, товарищи! Опасное лезвие свистит и сверкает, гуляя по-над ремнем, а тем временем обыватель отдыхает душой под запахи одеколонов. Радио лопочет в углу. Разнежившийся в кресле клиент ведет с парикмахером философский диспут. Беседы отмечены идеализмом и бескорыстием, как на Платоновых пирах. Другого Платона, древнегреческого. Приводя все эти доводы, начальник УБОНа чуть не становится сам философом, но... место теряет.

Видя *эти движения*, начальник нефтебазы уже сам приходит к неформалам на шапочный поклон. В народе растет авторитет неформалов. Люди начинают видеть их силу. Люди воочию убеждаются в силе эртобы. Мясокомбинат, УБОН и нефтебаза в их сознании всегда были оплотами стабильности; кто поколебал их основу – за ним реальная сила. Народ начинает верить в возможность победы.

Эртоба становится бизнесом. Будучи советским человеком или антисоветским, что принципа не меняет, покорный обыватель превращается в покорного бунтовщика. Его неприязнь к соседу обретает идеологическое оформление.

Но не будем отвлекаться на политику. Энгештеру удалось и свою ставку в УБОНе отстоять, и свое чучело. И дело было не в том, что жена работала у Лагустановича. Позиции властей слабели, а Лагустановича вообще отправляли на полную творческую деятельность. Теперь Энгештер был сам с усами: он вместе с

другом вступил в Национал-демократическую партию*, а также установил членство в «Обществе Ильи Праведного».

...Только в голодной Индии съедают павлинов, во всем остальном мире они окружены почетом и поклонением. Они царские птицы, они птицы серала, их обожествляют, изображают на гербах и символах. Даже у алчного Джушкунияни племя их пользуется вниманием. Горный сын изысканного племени...

Но, чур, с подробностями! Павлин Вишнупату был заодно с Мазакуаль. Рассекречивать, как собака управлялась с птицами, повторяю, не входит в задачу нашего повествования; повествуем мы о людях, а не о животных, птицах и приматах. Если животные, птицы или же приматы, как, например, гамадрил Спартак со счастливой юностью и печальной старостью, все же выступают в нашем повествовании, то только для того, чтобы еще *выпуклей* показать судьбы простых людей.

Когда Хозяин вывел книжницу на кофе, Мазакуаль с другом своим Вишнупату находилась поблизости незаметно, но неотступно. Как хотелось собаке, чтобы Хозяин, выйдя с книжницей из книжняка, пошел бы не сразу по набережной, где они непременно поравнялись бы со *снимальней* его брата, а догадался пройти с ней другим путем, подальше от этой глупой снимальни. Печально знаменитая снимальня находилась в непосредственной близости от книжняка, и книжница знала о ней наверняка, но зачем ей показывать, что там промышляет не кто иной, как родной брат Хозяина. Придет время – узнает, но раньше срока – зачем?

Могель же пожадничал; он повел абхазку так, чтобы невзначай поравняться с Фото-Точкой брата. Он хотел показать братану, что не успел приехать, а вот уже с кем гуляет. Рассчитывал и на то, что незаметно сунет ему денег.

Не хватало тонкости у Хозяина! Он не понимал, что теряет, а что приобретает. Ведь понятно должно быть, что книжница человек культурный и все, что она там увидит, только отвлечет ее.

– Абхазы и грузины – братья! – сказал Энгештер, обрадованный успехами брата.

* В августе 1988 г. была создана Национально-демократическая партия Грузии, чьей главной задачей были провозглашены борьба за независимость Грузии и создание демократического государства.

Он решил непременно сфотографировать Могеля и книжницу. Однако это стало непросто для всех.

Если хочешь, чтобы получилась хорошая фотография, нельзя снимать против солнца, иначе на заднем плане кадра выйдет какой-то разноцветный веер, напоминающий хвост павлина с турбазы Джушкуняни. Чтобы не оказаться напротив солнца, надо было оказаться рядом с чучелом. Могелю пришлось изловчиться и так встать с абхазкой, чтобы и чучело в кадр не попало, и брата чтобы этим старанием не обидеть. Что до Энгештера, он не только не желал снимать против солнца, неожиданное фото тоже он не признавал. «Не знаешь, что выйдет!» – говорил он. Он потребовал, чтобы снимающиеся замерли с заданным выражением на лицах. Абхазка тоже немного стала *водиться*. Пойти на прогулку по набережной с парнем – на это девушка еще решилась. Но сфотографироваться с ним – это, по ее убеждениям, уже означало дать ему надежду.

Мазакуаль пришлось поволноваться. Это мы о ней забываем, она о нас не забывает никогда. Они с Вишнупату давно были тут как тут, разумеется, незаметные. Вишнупату обещал оказаться в кадре в самый последний момент. Раньше, живя в Великом Дубе, Мазакуаль слыхом не слыхивала о йоге. Она была в восторге, несмотря на то, что воспринимала по-собачьи лишь внешние стороны этого учения, как, например, умение своего родовитого друга перемещаться в пространстве и во времени. Его Божественная Милость был очень демократичен и того же требовал от Мазакуаль. Князь был характером очень скромн, но обмануть его – никогда не обманешь. Вот сегодня, например, когда Мазакуаль попыталась *за просто так* прихватить с собой на прогулку по городу Арсена, – а нужен был ей петух из-за его гоготка, стимулировавшего павлина распушить хвост, – Вишнупату пригрозил в шутку коготком и сказал: «Оставь парня, пусть лучше он зря не теряет времени, пока находится на турбазе, а что-нибудь сочинит». Мазакуаль же, будучи по природе кроткой и смиренной, стеснялась друга. Она не могла сказать ему открыто, что именно эффект от его пышного хвоста ей нужен сегодня. Получилось бы, будто Мазакуаль не ценит всего, что ей открыл друг, что она по-прежнему привязана к внешним деталям. Видимый мир, данный

человеку в его ощущениях, – это майя – иллюзорный покров, который накинута на глубинную сущность бытия.

Правда, Вишнупату сам азартно включился в дело. Для него все их похождения были не делом, а увлекательной игрой. Как он прост в быту, восхищалась Мазакуаль, и как заносчивы те, кто не достоин, быть может, *камандалу** ему подносить. Павлин видел, заранее прощая, что собака была застенчива и хитровата: она комплексовала вместо того, чтобы сказать определенно, что ей нужно.

Предложить Вишнупату попасть незаметно в кадр – на это Мазакуаль еще решилась. Но считала неприличной фамильярностью предложить почтенному йогу еще и хвост распускать. Вишнупату и без того целый день побродил по городу с ней, простой дворнягой. Или князь должен был догадаться сам, или нужен был фальцет.

Но и тут все сложилось как надо. В самый последний момент, шелкая кадр, сам Энгештер воскликнул фальцетом:

– Птичка вылетает, слушай!

Павлин был на месте и немедленно распустил хвост. Кадр, наконец, шелкнул: Могель и книжница, видать, замерли, как этого требовал Энгештер.

Теперь фото должно получиться таким, как предполагала Мазакуаль.

О дне согласия

О, влажная страна! О, слезами залитые пороги!

Никогда не был так счастлив Могель, как в этот день на кратком жизненном пути!

В тот же день, когда он уговорил книжницу со странным, но таким ласковым именем Наала выйти с ним на кофе, исполнилась его мечта. Они так и не выпили кофе, но с ними произошло много чудесных приключений, и все завершилось тем, что Наала произнесла желанное:

– Пусть спросит у моего отца.

Многое в этой главе покажется невозможным и фантастиче-

* Сосуд для омовения у индийских отшельников.

ским. Но еще витязь Хатт из рода Хаттов говорил, что нет ничего невозможного в бесконечном нашем мире. Все есть, – говорил витязь Хатт. Мне самому трудно объяснить, каким образом патриархальная и застенчивая девушка, хоть и студентка-отличница, могла в первое же свидание дать согласие юноше на его предложение руки и сердца, когда, ко всему прочему, они имели несчастье принадлежать двум народам, которые уже, собираясь на площадях, открыто угрожали друг другу. Многое вы поймете, прочитав эту главу, многому я сам не в состоянии дать объяснения, а что-то, не скрою от вас, милые читательницы, является предметом моего изначального умолчания. Но прошу вас поверить мне на слово, прошу вас последовать вместе со мной за нашими героями, и давайте будем счастливы, как и они: чайки сидят в ряд на перилах причала для катеров, море спокойное и густое, а там, где его синева сливается с синевой неба, идет, словно парит, белый корабль.

Чудеса начались с первых же шагов прогулки, когда Могелю, смущенному и не знающему, о чем говорить, как развлекать спутницу, пришла в голову непривычная мысль: преподнести ей цветок. Но где его взять, не срывать же на клумбе! И вот, как только они присели на лавочку, Могель вдруг рядом с собой, с противоположной от Наалы стороны, нащупал золотистую азалию. И преподнес.

Наала решила, что он припас этот цветок, пряча от нее до сих пор, зарделась и пригрозила ему пальчиком.

Честный Могель хотел было признаться, что никакого цветка он не припасал, но ведь это было бы глупо – рассказывать ей, что он сам не знает, как цветок оказался рядом, или делиться своей догадкой, что это дворняжка следует за ними, незаметная, а вместе с ней, возможно...

А тут она вспомнила, как в тот памятный вечер, когда он случайным прохожим гостил у них, в доме бабушки, Могель прочитал стихотворение.

– Вы любите поэзию?

О, влажные пороги. Опять бы Могелю признаться, что он прочитал единственное стихотворение «Лоза братства», которое знал наизусть, – что в этом предосудительного? Вместо этого он

стал читать. Бывало ли с вами такое, друзья, чтобы одна половина ваша вдохновенно читала стихи, незнакомые другой, и другая удивленно ее слушала? А с Могелем именно такое и произошло.

Если в дверь постучит коробейник
И одарит за так барахлом,
И цветком оглоушит репейник,
И срастется любовный разлом,

Если люк обернется пещерой,
Где стрекозы трепещут слюдой,
И развеется плащ темно-серый,
Точно знамя страны молодой,

И другие чудесные *если*
Станут яслями, верой, ковшом, –
Это значит, надежды воскресли
И, как дети, пришли нагишом.*

А когда они встали и прошлись еще немного по берегу, кого же видит Могель восседающим на уединенной лавочке в тени олеандров? Павлина, приятеля Мазакуаль. Ясно, что и плутовка где-то рядом. Следит, стало быть, – переживает. Могель просто подмигнул птице в знак того, что узнал ее, и хотел пройти мимо. Что же делать, поди объясни девушке...

– Вы знаете этого старика-кришнаита? Он здоровается с вами.

О, влажная страна! Как теперь себя вести? И почему павлин – и вдруг старик.

– Молодые люди, не найдется ли у вас немного времени, чтобы побеседовать со мной? – говорит павлин.

– Конечно! – восклицает Наала, словно это дело обычное. И вот они сидят на лавочке, одесную и ощую от него.

– Вы – кришнаит? – спрашивает Наала.

– Я Брахмавиданта Вишнупату Шри, – отвечает странное существо. – Я прибыл из Тибета и проживаю инкогнито на турбазе Джушкуняни. О моем присутствии здесь, помимо племянника Рабиндраната, знают лишь три моих новых друга – Мазакуаль, Арсен и ваш благородный спутник.

* Стихотворение Татьяны Бек.

– Вы мне не рассказывали, Могель, – произнесла девушка с упреком.

– ?

– Ваш друг это подтвердит, – проговорила птица, – я прибыл сюда, потому что этот благословенный край – один из мощных энергетических полюсов. Но сегодня брамины встревожены, что край этот волнуется.

– И вы можете нам помочь?

– *Все, что происходит на земле, – это всего лишь тень того, что в горнем мире уже произошло,* – загадочно произнес павлин.

Пауза. Мимо шла женщина, держа за руку ребенка.

– Мама, мама! – воскликнул малыш. – Погляди, у девушки на плече сидит павлинчик!

Он хотел сказать это матери по секрету, но колокольчик его голоса был слишком звонок.

Мать обернулась, посмотрела на Наалу с удивлением, но, считая невежливым уставиться на незнакомых, оторвала взгляд и пошла прочь.

– Простите, – в свою очередь удивилась Наала. – Неужели вас кто-то видит как павлина?

– Я тут инкогнито, – вздохнула птица.

«Я тоже, я тоже вижу только пав...» – заклокотало внутри Могеля, и он поднял глаза на... От неожиданности его даже передернуло. Вместо птицы рядом с ним на лавке сидел старик с белоснежной бородой, закутанный в белоснежное покрывало и с белоснежным родом башлыка на голове. Он вспомнил: Старушка говорила, что именно так выглядят Ангелы. Было ясно, что это – чудо, которое бывает в жизни раз. Хотелось его спросить о самом главном. А что есть самое главное?

– Самое главное: не упускать из поля зрения Золотую Стопу Отца, – произнес старик.

– Так всегда говорит мой дед! А он – неграмотный.

– Батал – просветленный человек. Чтобы постичь сущее, нужно не образование, а любовь. Он последний из тех, кто знает. А вообще, у вас тут забыли знание. Нынешние ваши старики суетны и щеголеваты.

– Что нам следует делать? – спросила Наала взволнованно.

– Ты, дитя мое, и ты, – сказал старик, взяв их руки и вдруг соединив их, – любите друг друга. И ничего не ставьте выше любви. И тогда вас не разлучат. Вас ждут большие испытания, потому что благословенный край, где вы живете, стал волноваться. И если вы не забудете, что ничто не главнее любви, вас не смогут разлучить, и вы не погибнете.

– Пусть спросит у моего отца, – успела-таки сказать патриархальная девушка.

– Спрашивайте у Отца, чью Золотую Стопу вы видите, – сказал старец и...

...Когда промелькнули в белесой синеве яркие оперенья и когда прошелестели крылья в вечерней тишине, она поняла, что голова ее покоится на плече юноши.

...Мазакуаль была счастлива не менее Хозяина. Особенно она была благодарна друзьям. Она только цветок подсунула Хозяину, остальное сделали они. О миссии Его Божественной Милости и говорить не приходится, но и Арсен нашептал на ухо Хозяину один из лучших своих стихов.

О пленниках мирской суеты

Финское зеркало в резном багете отразило Матуту. Он встал, чтобы узнать, что за шум на улице, и, проходя мимо зеркала, отразился в нем, высокий и неприятный. Это финское зеркало в резном красивом багете льстило Матуте. Он приобрел его сам для *Офиса*. «Все есть у меня, – считал Матута, – и авторитет, и деньги, а в последнее время и семейное тепло. Здоровье тоже, несмотря ни на что, пока – тьфу! тьфу! – не подводило». Он только досадовал втайне, что в свое время не вышел ростом. И еще ему казалось втайне же, что в его зловещем обаянии было больше обаяния, чем зловещности.

«Клянусь моей Даро, я слишком добр!» – злился иногда Матута про себя. А финское зеркало с резным багетом ему льстило: он отражался в нем высокорослым и неприятным.

Офисом в городе называлось целиком все это предприятие, которое особенно приблизил к сердцу Матута. И хотя это было транспортное предприятие, где и парторг был, и начальник,

только в бумагах оно значилось как такое-то предприятие, а в городе прочно за ним укрепилось звучное название *Офис*, которое властно вторглось в нашу жизнь и нашу речь намного позже. Матута в последнее время часто бывал тут и даже оборудовал в собственном вкусе просторную комнату, давшее название *Офис* всему предприятию. Ему хотелось время, которое оставалось у него до того дня, когда он удалится от всех дел, чтобы последние три года жизни посвятить душе, провести в свое удовольствие. А оставалось чуть больше месяца. Вчера Даро сказала ему со слезами на глазах, что во второй половине августа он может начать отсчет последних трех лет жизни.

Матута, когда приводил Дарико в дом, больше всего беспокоился, что ее не примет мать. Дом был единственным местом, где мать могла гордиться генеалогией. У нее и у сына, что по материнской линии, что по отцовской были только княжеские крови. И хотя она переживала, что сын бобылем и без наследника, но всегда говорила ему:

– Ты должен жениться на княжне!

– Хорошо, мама, – с легкостью обещал ей сын, потому что профессия возбраняла брак, и он не собирался жениться.

И на тебе – привел в дом женщину, да еще цыганку.

И вдруг матушка поладила с баронессой-чавелой!

– Жаль, что слишком стара, – шутила мать. – Не то неплохо зарабатывала бы на гадании.

Потому что сноха научила ее раскидывать карты. Карты ее развлекали. Но и пугали.

– Доченька! Дарушка! – позовет она, бывало.

Сноха прибежит.

– Это *смерть*?

– Нет, *исполнение желаний*, мама. Это хорошая карта.

Однажды свекровь спросила сноху:

– Ты мне скажи, Дарушка, смогу ли я умереть, не увидев вашего несчастья?

– Карты этого не показывают, – солгала она свекрови.

Не сказала она несчастной старухе, что много плохого припасено ей и на старость лет.

Матуте было немного жаль и маму, и чавелу. Они или все сидели дома, или ходили в церковь. А в церкви священник корил их за пристрастие к гаданью. Они уверяли Матуту, что им вдвоем вовсе не скучно, тем более что у них есть кошка. Матута купил им «Самсунг» с широким экраном, *видак*, музыкальный центр и даже компьютер «Пентиум», хотя ни они, ни он им пользоваться не могли. Мама решила, что компьютер в доме излишество.

– Подари его Гуманитарному институту, там он нужнее! – велела ему мать.

Матута тут же сообщил в институт, чтобы приходили и забирали компьютер.

– Как записать, от кого подарок, – спросил смущенно завхоз института, раскладывая бумаги на письменном столе Матуты из мореного тиса.

– От заслуженной учительницы Абхазии Анчабадзе Веры Александровны, – сказал Матута, не сдержась.

Машину унесли. Но вскоре Матуте намекнули, она не доукомплектована. Он купил от имени матери еще и лазерный принтер. А еще у института денег не было на охрану: компьютер все время воровали. Матута дважды всех поднял на ноги и сделал возврат, а в третий раз не успел...

– А какой это день недели? – спросил хладнокровно Матута, когда чавела открыла ему день, от которого ему можно было отсчитывать свой срок земной.

Какой это день недели? Сию минуту! Дарико стала раскладывать карты.

Матута захохотал и просто справился в календаре.

– 16 августа 1989 года – это будет среда. А в первую же субботу, то есть 19 августа, на третий день, мы обвенчаемся в Лыхненской церкви.

Дарико, которая никогда, ни разу перед этим, даже не намекнула Матуте, что ей хотелось бы видеть узаконенными их отношения, сейчас так бурно проявила радость, словно было забыто, что по всем предсказаниям на третий год после названного дня ей суждено стать вдовой на один день и ни о каком венчании турихе не говорили знаки судеб. Она была счастлива просто от

благородного порыва ее гаджио. Она бросилась ему на шею и закружила жигана, паря сама при этом в воздухе.

– Мама зайдет, Даро-дура! – прошептал ей жарко на ухо Матута и поставил чавелу на ноги. И, несмотря на то, что он был крепок в руках и в ногах, а чавела – легка, словно перышко, Матута слегка запыхался.

– Мама на рынке! – воскликнула Дарико, подталкивая его к клавесину. Она сегодня прощалась со своим гаджио.

Когда-то Матута ушел на срок за клавесин, который стоял у полковника Коявы, который на нем не играл, а сам Матута не только играл, но и мечтал стать композитором. А вместо этого, дел де марел три года, пробыл девятнадцать лет там, где пасут медведей. Теперь-то клавесин у него был. Чавела усадила его за клавесин. Ей хотелось сплясать под песню своего отца. Эту песню Бомборов Кукуна сам пел под гитару в торжественные дни, и весь табор плясал под его гитару и хриплый баритон, а потом раздавались подарки и прощались долги.

Я – цыган с тоскою в сердце и с серьгою в ухе,
Перестали песни петься, что ли, с бормотухи.
Хоть за то, что славим Бога в стольких поколеньях, –
примостись, моя тревога, на моих коленях.
Ай, как выйду при народе я, Мануш Саструно, –
пальцы верные забродят да по жестким струнам.
Хоть за то, что мы страдали, мялись у порога, –
примостись в кибитке старой ты, моя тревога!
Я – цыган. Люблю раздолье. Никогда не плачу.
Расскажу я вам о доле, а тревогу спрячу.
Хоть я вроде тоже что-то для чего-то что ли:
не бывает доли доброй; есть лишь злая доля.
Ай, отдам за злую долю всех своих красавиц,
коли с этой красотой в таборе остались.
Хоть за то, что доля злая далеко-далеко,
ай, живи, огнем пылая, ты, моя тревога!
Я – цыган, с тоскою в песне, старый, одинокий.
И единственный мой вестник – ты, моя тревога!

– Ай-й-й! – сказал Матута и оторвал свои пальцы от клавиш.

– Ай-й-й! – сказала Дарико и замерла вполоборота, замерла с трепещущим платком в руке.

– Хорошо, что я не ушла на рынок, – сказала Вера Александровна. Она стояла в дверях. Дарико побежала к свекрови, обняла и стала целовать ей руки.

– Погонишь с вами! – смутился Матута и ретировался в другую комнату.

И конечно, женщины заплакали. Они ведь не сомневались в предсказаниях.

Так был отмерен Матуте жизненный срок. И конечно, Дарико не суждено было умереть венчанной вдовой. Карты не солгали и на сей раз. Но все это в будущем. А сейчас...

В ожидании, когда подъедет кто-нибудь из близких, с кем можно будет поехать в эшерскую пацху, Матута сидел в офисе *Офиса*, дистанционкой переключая телик с огромным экраном.

Брали интервью у большого министра, нашего земляка. Приятно же, когда там свой гуляет по буфету!

– Что скажешь, Седой? – проговорил Матута и прибавил звуку.

– *Я истосковался по лозе!* – четко произнес министр-земляк.

Сделав это честное и горькое признание, министр грустно-грустно заглянул интервьюеру в самые глаза. Может быть, для покаянного признания он выбрал именно этого молодого журналиста потому, что тот был из передачи, популярнейшей в силу своей неформальности? Кто знает. Но странно, что журналист не понял, о чем ему сообщили. Иначе он не преминул бы *ухватиться и развить...*

Министр запахнул халат. Ибо разговор происходил в салоне его персонального самолета, куда во время перелета в одну из африканских стран он взял с собою юного журналиста. Вот как гуляли наши люди под занавес СССР!

Кто из политиков, тем более задействованных в прежней системе, не заслуживает лозы, но не все способны в этом признаться, и еще признаваться публично! Но министр всегда был непредсказуем. Конечно же, он, опытный дипломат, и сейчас произнес эту фразу с двояким смыслом. Журналист же был молод, неопытен и счастлив: он понял в услышанных словах именно

ой, не опасны ли
ждут тебя дороги, Матута;
не обманет ли удача;
не припозднится ли прибыль;
не нахмурится ль лоб твой, Матута;
не разлюбишь ли свою чавелу, –
а то не томиться ль тебе же
в казенном доме,
а не тосковать ли ей же
по тебе у оконца, –
но свеча вдруг
замерцала,
загасла,
забылась.
Но вскоре свеча
замерцала,
загасла,
забылась:
и не шуршание юбок,
и не звон монист,
и не дальняя дорога, Матута,
и ой, да не казенный дом,
и не тоска у оконца, –
в глуби зеркала
отразилось: народ!
Но вскоре свеча
замерцала,
загасла,
забылась,
исчезло прекрасное ее лицо,
и в глуби зеркала, Матута,
и в темно-синем свечении зеркала
отразилось: беда!

Чтобы узнать, что за шум там на улице, Матута встал, отразился в зеркале, прошел к выходу и встал в дверях. Щурясь от яркого солнца, он прислушался к немолчному журчанию в колонке бензина, который в городе был только у него. Он стоял,

высокорослый и неприятный, настроение у него было отменное. Бензин только у него, сейчас кто-нибудь появится, и Матута пригласит его в эшерский ресторан, чтобы самому туда не ехать. Так, что там за шум, братва?

Кто-то пререкался у входа со вневедомственной охраной. Это был неправильный поступок. Вход на территорию *Офиса* был перегорожен всего лишь шпагатом, но перед кем охранники его опускали, а перед кем нет – это решалось не ими, это решалось в городе вообще, потому что зависело от того, есть ли авторитет у человека за рулем. Так что когда некий нахал, не слушаясь охранников этих, все же въехал дерзко на территорию, охранники только замахали ему вдогонку руками, а остальное их не касалось. Если человек против их воли въехал на территорию, стало быть, он бросил вызов действующему тут неписаному табелю о рангах, и наказывать его должны уже хозяева *Офиса*.

– Кто этот котлоед? – громко спросил Матута, но никого не оказалось рядом.

А машина – неслыханная наглость! – на скорости, поднимая пыль, проехала по территории, резко затормозила, еще больше поднимая пыль, и остановилась перед Матутой! Да, ребята вышли из цехов, да, поспешили сюда, но котлоед уже стоял тут, а пыль, которую он поднял, лезла в растворенные окна. Говорить тут было нечего, потому что и без разговоров было ясно: котлоед. Матута вбежал в комнату отдыха, и, когда он возвращался оттуда, финское зеркало с резным багетом отразило холодный никель пистолета Стечкина. Котлоед был обречен.

Сам он, еще об этом не зная, решительно выскочил из машины, но тут что-то случилось с его решительностью, когда он встретил лицом флюиды Матуты. Вернее, он потерял решительность не сразу: *«Есть здесь справедливость...»* – он сказал решительно, а *«...в конце концов»* добавил, уже постепенно сникая, и последние звуки прошептал так нерешительно, что снова стало слышно, как сладостно журчит и переливается в колонке бензин.

– *Держи, она твоя!* – сказал Матута и выстрелил. Пока ребята подоспели и остановили его, Матута думал, что залетел на двести штук тогдашним курсом, тем более что Агура из монтажного, видя, что Матута начал стрелять, долго не думая, выстрелил тоже – и

тоже зацепил котлоеда, так что надо было выкупать заодно и надежного парня: у него портился кандидатский стаж в партию.

Но все обернулось сложной стороной. Котлоедом оказался известный актер и неформал Александрэ Бобонадзе. Он поймал две пули, одну от Матуты, одну от Агуры, и обе в ягодицу. Замять дело оказалось непросто в условиях гласности. Все МВД и вся прокуратура сочувствовали Матуте, так сильно успел Александрэ Бобонадзе насолить силовым структурам своими принципами справедливости и горькими упреками в отсутствии единства. Но дело получило огласку. Оно стало принимать политический оттенок. На второй же день телевидение показало обезображенную сепаратистами задницу актера.

– Ты думаешь, мы сами не хотим денег! – сказали *органы* и смущенно арестовали Матуту.

Там, где видно небо в клетку, суждено было ему заняться душой. Его судили, дали пять лет за *хранение оружия* и отправили в Гегутский лагерь. А вскоре в Грузию дверь закрылась, так что Матуту близкие больше не увидели.

О медовом месяце

– Тогда чего же ты тянешь? Как раз сегодня – суббота! – воскликнул Джушкунияни. – Она согласна?

Могель хотел признаться в своих сомнениях, но что-то в нем властное заговорило и сказал:

– Да!

Джушкунияни немедленно позвонил секретарше.

– Всех наших, которые в баре, – сюда! – распорядился он.

Неформалы явились, не понимая, чем вызвано внеочередное заседание.

– Браки между абхазами и грузинами по-прежнему показывают довольно высокий процент, несмотря на разгул сепаратизма. Это ли не верное свидетельство того, что народ апсуа не разделяет идеи так называемых вождей? – сказал Джушкунияни.

Затем он немедленно позвонил в Пицунду, в Дом творчества газеты «Правда», и заказал люкс на двоих. Выделил машину, дал Могелю тридцать тысяч рублей. Могель протестовал было, но Джушкунияни по-отечески сказал:

– Вернешь, когда разбогатеешь. То, что отдается на дело, – возвращается с прибылью.

Затем отдал своему заму распоряжение, где надо взять для молодых хорошее *терджольское* шампанское и деликатесы. А это был Годердзий, приятель Энгештера.

– В путь!

Сказано – сделано. Молодые люди расселись по машинам и так быстро рванули в сторону *книжняка*, что Мазакуаль, все слышавшая, радостная, и мечтать не могла поспеть за ними. Вишнупату, летя наперерез через залив, едва удалось их опередить.

Неформалы предложили подняться всем вместе на случай, если девушка начнет упорствовать. Но потом было решено, что Могель пойдет один и поговорит наедине.

С сомнениями и волнением открыл Могель дверь, а в просторную залу входил уже с павлином на плече, видимым ему да еще ей.

Несмотря на то, что было начало марта, самого переменчивого и злого месяца в субтропиках, все две недели простояли изумительные солнечные дни. Номер молодых был расположен на восьмом этаже. С одной стороны было видно море. С другой – пицундская реликтовая роща. С третьей – озеро Инкит. Когда было безветренно, но море волновалось, волновалось и озеро, подтверждая слова экскурсовода, что озеро связано с морем подводным каналом. Одним словом, рай. Холодильник был полон. Пришли поздравить все неформалы зоны города Гагра. О политике – ни слова.

По утрам перед завтраком молодые гуляли по выложенной широким кафелем дорожке между самшитовым пролеском и пляжем. У дорожки, над песком пляжа, были заросли тростника, совершенно похожего на бамбук, только ломкого. И так получилось, что именно ближе к девяти, когда отдыхающие выходили прогуляться перед завтраком, из тростниковых зарослей выползали сизые улитки и пытались пересечь дорожку по направлению к самшитовым зарослям. И на каждом шагу, раздавленные неосторожными подошвами ног, растекались их жидкие тельца.

Наала шла, осторожно ступая, чтобы не раздавить улиток, а Могель постоянно отвлекался, и только легкий скрип под ногами

и легкое скольжение напоминали, что он опять забыл посмотреть под ноги. Сколько смеху было!

Могель купил Наале белые джинсы.

Две недели прошли незаметно. Однажды, когда, к счастью, Наала куда-то выходила из номера, позвонила Джозефина и сообщила новости.

Родные Наалы, узнав что она вышла замуж, в сердцах поклялись, что проклянут ее и вычеркнут из памяти. Но проклинать не стали – это обнадеживало.

Так часто бывает, что долго не видят ослушницу, но потом появятся дети, лекарь-время тоже сделает свое дело, не надо торопиться, говорила невестка с родственной грубостью. Более опасно другое обстоятельство: есть там один парень, который давно имел на Наалу виды. Он когда-то предпринимал неудачную попытку ее похищения, но Наала проявила тогда характер и не осталась с ним. После этого он был зол и отстранился от нее, но сейчас, когда Наала вышла замуж, парень этот снова загорелся и, по имеющимся у нее сведениям, поклялся, что найдет ее и уведет от мужа. Джозефина предполагала, что он уже знает, что молодые где-то в зоне города Гагра, и для безопасности им следует поменять место пребывания. Она же в свою очередь почти вырвала у Григория Лагустановича обещание арестовать этого парня, потому что за ним замечено, что он причастен к транспортным преступлениям. Сейчас дело за железнодорожной милицией, которой поручено поймать этого парня с сообщниками на факте. Одним словом, Джозефина звала молодых пожить у них на квартире. А там будет видно.

Не впадая в панику, Могель, однако, послушался невестки и на второй день уехал из Пицунды в Сухум. Тут он изловчился втайне от Джозефины предупредить Кесоу, не от себя, конечно, чтобы тот поберегся транспортных органов, которые заводят на него дело. Могель предполагал не задерживаться в Сухуме, а повезти жену в Мингрелию. Это ничего, что он приедет в Великий Дуб раньше, чем обзаведется «москвичом».

Но в Сухуме инкогнито соблюдать стало трудно из-за широты души и тяги к дружеским застольям, свойственным натуре Энгештера.

Энгештер был рад, что брат женился, и невестка ему нравилась. Вот он и хотел сказать ей, что переживает за случившееся в Бзыби.

А случилось то, что автобус, который возвращался с митинга, проведенного неформалами на границе с Россией, забросали камнями. Никто, к счастью, не пострадал, но газеты неформалов назвали инцидент «бзыбской трагедией». Слово *трагедия* в тот период с легкостью пускалось в ход, словно таким образом люди пытались задобрить судьбу, чтобы она уберегла их от настоящих трагедий.

Энгештер и хотел-то сказать, что абхазы с грузинами – братья и что рука, бросившая камень в грузина, пусть и принадлежала абхазу, но направлялась Кремлем. Но нэпсе не давала ему договорить: прерывала на первых же фразах и шутливо, с родственной грубостью тащила из комнаты молодых.

– Сколько раз я предупреждал! – сказал он.

Наала заплакала.

– Зачем слезы, дочь моя! – растерялся Энгештер. – Я просто хочу сказать, что предупреждал... – пытался он объясниться, но появилась Джозефина.

– Та-ак, оставить молодых в покое! – И вытащила его за шиворот.

Но не мог же Энгештер сидеть и спокойно смотреть телевизор, когда невестка его неправильно поняла!

И он – снова к молодым, в порыве братских чувств забывая, что невестка его слова воспринимает слишком эмоционально.

– Можно? – произносит он шутя. Конечно можно, разве не пустит Наала старшего брата мужа!

– Налъете мне стопку или нет? – удобно усевшись в кресле, шутит он. Потому что если невестка не нальет, кто же нальет!

Испуганная Наала опять все понимает по-своему. Ей кажется, что деверь пришел с упреками. Какие могут быть упреки, когда он так рад за брата, когда невестка так пришлась ему по душе! Разве не видно, что он с самого начала запросто: придет, сядет в кресло, шутя, словно сами не предложат, попросит стопочку и, наконец, хочет объяснить – а кто поймет его лучше, чем брат с невесткой! – объяснить, что предупреждал он: доведет Кремль братьев до вражды.

Опустив голову, Наала сдерживала слезы.

– Почему ты расстраиваешься, Наала, дочка! Я просто...

Подоспевала Джозефина.

– Паразит! Ты опять за свое! – говорила она и вытаскивала смущенного и недоговорившего Энгештера прочь.

– Почему ты не даешь молодым покоя? Или если тебя, дурня, послали, мне на позор, в Народный фронт задавать провокационный вопрос – ты и вообразил себя деятелем? Где и кого это ты предупреждал? Скажи сначала мне.

– Годердзия предупреждал сколько раз! – воскликнул Энгештер смущенно.

Вот что он имел в виду: что часто, сидя за бутылкой вина с другом-сваном Годердзием, предупреждал его, что доведет Кремль братьев до вражды!

Ну, не перейди после этого на гекзаметр!

Дева и ты, что сегодня вкусить наслаждение земное
С милой избранницей жаждешь, – внимлите!

Сей муж безобразный,

Скифу подобно, из чаши вино неразбавленным выпив,
Суетны речи заводит, внимать не желая, упрямец,
Увещеваньям супруги. Даруй ей терпенья, Паллада!

Энгештер не преминул дать зазнавшейся пиндоске достойный ответ в ритме шаири:

Вот в духане Интуриста я сижу рублей за триста,
А душа, как говорится, все о древностях скорбит.
Между тем жена без денег. Я в глазах ее – бездельник.
Дом: подвал, четыре стены. Сына улица растит.
Мне семья моя – ограда. Но когда прощаю брата,
На семидесятом разе не могу уже простить!
Белый голубь в небе черном. О, не верит он ни в чем мне.
Не садится на плечо мне. Я не знаю, как мне жить.

Джозефина была ласкова с невесткой.

– Будешь уставать от шумных гостей... Это *мой дурень* под предлогом, что брат женился, тащит всех своих приятелей, чтобы

легально пить. Сразу запретить не могу: обычаи. Придется и тебе потерпеть пару неделек.

Заметив с самого начала, что невестка печальна и задумчива, она вынесла изящную, несколько старомодную туфельку.

– Это моя туфелька. Фирма «Цебо». Пропала в мой медовый месяц, в шестьдесят шестом.

Обувка пахла как старый черпак из винного погреба. Наала не поняла.

– Возьми и спрячь! – сказала она, предлагая Наале обувку.

Наала не поняла.

– Когда гости пожелают выпить за невестку из ее туфельки, не надо тебе свою обувку переводить. Предложи вот эту, – объяснила Джозефина золовке.

Наала не согласилась. Но когда во время ежевечерних застолий подходило время поднять за невестку как за хорошую хозяйку, то есть мастерицу накрыть стол, и гости неизменно требовали туфельку, чтобы выпить из нее, Джозефина с несвойственной ей расторопностью бежала за исторической туфлей.

Шеф Джозефины, с которым у нее были не только служебные, но и человеческие отношения, имел дачу как раз в Хаттрипше, откуда Наала была родом: Джозефине было известно, что принимают родные Наалы после ее замужества. Она потрудились донести до них, что муж Наалы, как только они поженились, увез ее в деревню Великий Дуб и молодые задержатся там надолго.

Но не прошло и недели, как Наала не выдержала и собралась в библиотеку повидать подружек и узнать от них новости. К тому же они так просили помочь в составлении письма. Наконец появилась возможность рассказать непосредственно Кремлю о всех злоключениях Абхазии. А Могель...

О служителях Мамоны

Вишнупату с удовольствием выполнял просьбу своего четвероногого друга. В его задачу входило проследить, не пойдет ли деревенский парень в библиотеку, которую четвероногая смешно именovala книжняком. Она полагала, что этот парень мог быть серьезным соперником ее нелепому Хозяину в борьбе за сердце юной библиотечарши.

Но Кесоу – а именно за его перемещениями надлежало павлину пронаблюдать – не пошел в библиотеку, а прямехонько направился к кофейне, где собирались люди его стаи.

Дело в том, что Кесоу тоже решил заняться бизнесом. Какого кара он будет мучить себя по вагонам, когда легко можно поймать неплохие деньги на посредничестве. Уже начиналась Великая Распродажа. Пошла охота за цветными металлами. Несколько маленьких ручейков этого пока еще не бурного, но живого потока зажурчало в портах Абхазии. Хотя эти ручейки заходили в закрытые военные порты, как река в песок, но успевали все-таки промелькнуть перед народным взглядом, и народ тоже пытался успеть зачерпнуть из этих ручейков.

На сухумской набережной, в кофейне перед гостиницей «Рица», шел оживленный торг. Наименование и количество предполагаемых товаров имели характер сюрреалистический, а суммы назывались такие, словно речь шла не о долларах, а о пенициллине. В основном тут гуляла красная ртуть, но предлагались и змеиный яд контейнерами, и золото с серебром килограммами. Местная публика пыталась совершать сделки с абхазами из Турции. Это были потомки *махаджиров*; их предки были депортированы с Кавказа сто двадцать лет тому назад, по окончании столетней войны и завоевания Кавказа. Сейчас, когда дороги открылись, они прибывали на «Кометах» взглянуть на историческую родину. Эти прибывшие, как правило, не были коммерсантами и только вежливо обещали все разузнать по возвращении в Турцию и про красную ртуть, и про змеиный яд, и про золото с серебром. Но, продолжая слышать журчание утекавших через закрытые порты богатств, народ не оставлял попыток разок шапкой зачерпнуть из этого потока.

Тут были только посредники; никто из постояльцев этой кофейни товара не видел в глаза. Конечно, забежали порой в эту кофейню и те, кто эти товары видел, – забежали пообщаться с народом и узнать политические новости. Но они молчали, а немолчный народ все пытался продать пару тонн красной ртути или стронция, читатель, чтобы хоть немного заработать, потому что, смущенно признавались они, жизнь пошла тяжелая и приходится заниматься незнакомым, еще вчера презируемым

промыслом. У Кесоу, в отличие от остального народа, товар имелся. Он предлагал *семьдесят центнеров оленьих пантов*, и лежали они не в Норильске, а тут, у доверенного лица в подвале дома. Совсем недавно они с Никой вынули товар из ереванского товарняка. Хотя до вскрытия вагона ящики улыбнулись ему, все же Кесоу тогда не хотел товар брать. Потому что улыбались они, помнится, ему прежде ни кара не знакомой, какой-то северной улыбкой. Но Ника настоял, и ящики забрали. «Их вырвут у нас с руками и ногами по пятьсот пятьдесят баксов за килограмм, – сказал он. – Ты что, Кесоу, братуха, тебе только туфли, а я давно уже мечтаю поймать красную ртуть!» Однако товар лежал и гнил у Пахи в подвале под висячим балконом. Ни барон Кукунович, ни комсомольцы, ни Хачик не хотели его брать, потому что не поняли, с чем его едят.

И вот Кесоу решительно подошел к группе махаджиров, которые стояли окруженные народом. Вырвав из круга пару человек помоложе, он предложил им свой товар. Скопив пятьсот долларов, он назначил скромную цену в пятьдесят баксов.

Объясниться на абхазском языке, не приспособленном ни к торговле, ни к научной терминологии, оказалось непросто.

«Есть в России такое место, куда и не падал взгляд Всевышнего: оно называется тундрой. Там даже летом снег лежит, и земля остается мерзлой. Даже олени там такие смирные, что женщины их доят, как буйволиц, а мужчины запрягают в свои арбы, тоже как буйволиц.

И вот, извините меня за выражение, но, когда у них, оленей, начинается гон, у самок, извините меня за выражение, внутри рогов образуется сок, который я вам и намереваюсь продать! Сейчас я вам объясню зачем. Из этого сока, который образуется в оленьем рогу, изготавливают лекарство, которое помогает американцу, извините меня за выражение, кашлянув у порога, увереннее заходить в покои своей жены».

Слушатели были простые люди; они удивились этим сведениям об оленях, хотя один из них нечто в этом роде слышал в турецких кофейнях. Молодые ребята оказались, однако, с деловой хваткой. Они пригласили Кесоу в свой номер тут же, в гостинице «Рица», и не успел Вишнупату влететь в номер через

исторический балкон, а они уже звонили в Турцию по спутниковому телефону.

Их ответ оказался самым неожиданным для Кесоу. «Мы все им объяснили, но *Стамбул не понял*», – сказали они.

Стамбул не понял, что ему хотели предложить!

– Я же вам объяснил, что средство – для американцев, а не для турок! – воскликнул Кесоу. – Турок и без оленьих рогов способен кашлянуть на пороге семи спален. Это у американца может возникнуть проблема на пороге одной-единственной спальни, если жена не взбодрит его словами: «Ты должен и ты можешь это, Майкл! Прими только пантокрин фирмы "Word & Deed"!»

Но недолго продолжался торг: народ позвали в Народный фронт Абхазии. Все, кто ощущал себя народом, понуро побрели туда, а простые любители кофе ретировались в другие кофейни, так что «пяточок» в две минуты опустел, и кофеварщик Акоп, прикрыв створку своей будки, стал поджаривать кофе на барабане. Кесоу отправился с остальными. Ему хотелось раз и навсегда узнать политический расклад.

А Вишнупату как раз там и должен был встретиться с другом.

Перед особняком, где располагался абхазский Народный фронт, уже собралось немало людей. Вишнупату устроился на слоновой пальме перед особняком, с вялым любопытством наблюдая за кипением страстей. Кесоу тоже смотрел с вялым любопытством. Толпа гудела и требовала Григория Лагустановича. Чувствовалось, что это был вельможа, которому доверяли. Имярекба по общему поручению вступил с ним в телефонные переговоры. Лагустанович пригласил народ к себе. Тут же выделились слуги народа, готовые пойти к правительству. Это были представители интеллигенции, всегда и во все времена осуществляющие живую связь между народом и властями. Желających пойти к властям и рассказать им о проблемах народа оказалось много, и Имярекба разделил интеллигенцию надвое: одну часть отправил к властям, оставшуюся подрядил сочинять резолюцию.

Письмо было готово и зачитано довольно скоро. Кремлю только надо было протянуть свою длинную руку, столь нелюбимую неформалами, и взять его. Имярекба сделал к ней лишь

несколько стилистических правок, таких как «четырехступенчатая иерархия народов», «под знаменами антинародной и бесчеловечной политики меньшевиков», «поднаторевшие на антисоветизме» и, наконец, «соблазненные лживыми идеалами». Тем временем вернулась делегация от Григория Лагустановича.

Собравшиеся сгруппировались под слоновой пальмой у входа в особняк, чтобы услышать их. Депутация, однако, отказалась выступать на улице. «Не митинговать же нам на солнцепеке, словно мы – неформалы», – сказали они. Вообще, как заметил Вишнупату, абхазские революционеры себя неформалами не считали. Они не признавали и идею эртоба, хотя название их организации означало на абхазском то же самое: единение. Предложено было подняться на второй этаж, в актовЫй зал. Кесоу пошел со всеми. Там, в зале была привычная, ставшая родной обстановка: партер на сто мест для народа, на возвышении – стол президиума и трибуна с гербом, а на заднике – портрет Ленина.

Устроившись за столом президиума, гонцы долго спорили, кому выступить за всех, поручали друг другу эту почетную обязанность и наконец, принесли взаимную вежливость в жертву нетерпеливости народа, остановили свой выбор на почтенном писателе. Писатель в подробностях рассказал, как замечательно приняты были слуги народа народной властью, причем оговорился и сказал «*слуги от народа*»; все отметил, вплоть до учтивости секретарши Григория Лагустановича; поведал, как выслушаны были посланники; вкратце пересказал смысл выступления каждого из делегации, а выступили там они все. В зале было очень жарко. Люди обмахивались газетами Народного фронта, но никто не выказывал нетерпения. Наконец, касательно конкретных дел, писатель сообщил, что Григорий Лагустанович твердо обещал принять все необходимые меры, вплоть до подробного доклада в Кремль о всех творимых в Абхазской АССР безобразиях и в свою очередь предложил народу сочинить письмо в Кремль, на что толпа восторженно заголосила, что готово, что готово уже письмо!

Хорошо говорил писатель, а Кесоу сначала это не нравилось. Но ему пришлось в очередной раз убедиться в своем излишнем скептицизме. Он увидел нечто, что в другое время могло быть

свидетельством того, что у него поехала крыша. Но нынче на дворе – время мистическое, полное знамений.

Вокруг головы оратора вдруг вырос огромный нимб, подобный вееру павлиньего хвоста. Писатель заговорил еще более вдохновенно. Нимб вокруг его седой головы переливался тысячей неземных цветов. Кесоу решил, конечно, что это действие анаши. Он решил ретироваться. «Отправлюсь-ка я на грузинский митинг, послушаю, что там говорят», – подумал он. Опять же, подумал об этом про себя. Не произнес ни слова. Но зал сегодня был объединен единым порывом. Общение происходило на телепатическом уровне. Поэтому многие повернулись к нему и стали увещевать:

– Не надо ходить на митинг! Мы должны опасаться провокации! Мы должны проявлять терпение и выдержку!

«Нет мира под инжирами!»* – подумал Кесоу, еще раз кинув взгляд на странный нимб вокруг головы писателя.

Как всегда бывало на всех абхазских собраниях, не обошлось и без провокации. Как гласит народное выражение, «не плавают корабль без арап». В зале был грузинский неформал. Он сам себя обнаружил, когда все и так было ясно: письмо написано, насчет провокаций люди предупреждены, – и Имярекба лишь формально сказал: «Есть еще вопросы?» «Есть!» – сказал непрощенный гость.

Задавая вопрос, он пустил в ход известный прием неформалов: первый вопрос был почтительный и скромный – экологический, а второй, что каверзный, был припятан за пазухой этого первого, откуда торчал лишь его хвост, как хвост украденного петуха в грузинской сказке.

Сначала вышел скромный экологический:

– Есть ли у вашей организации план борьбы с варварским обычаем бритья в парикмахерских, чреватый заражением нашего древнего народа СПИДом? – а затем, с зачином «и второй вопрос», появился хвост петуха:

– Предполагает ли ваша организация перспективу отделения республики?

* Перифраз названия знаменитого фильма итальянского режиссера Джузеппе де Сантиса «Нет мира под оливами» (1950).

– Провокация! Надо терпеть! – зашептал зал.

Но Имярекба легким движением успокоил горячие головы и ответил неформалу:

– У нас есть обширная экологическая программа, и в ней изложены все вопросы, которые на сегодняшний день представляются более важными, чем проблемы циркулен. А на второй вопрос я отвечу так. Наше общественное движение так и называется: Народный фронт Абхазии в помощь перестройке. А советской власти, по нашему твердому убеждению, хватит еще на нас, на вас и на наших внуков, как сказал недавно Григорий Лагустанович, который, занимая большой государственный пост, не оторвался от народных нужд.

Аплодисменты были заслуженными. Неформал – а это был не кто иной, как плут Энгештер, – был посрамлен из-за своего неверия в перспективы могучего СССР и вскоре ретировался.

Это был не первый митинг, проведенный неформалами в Сухуме, столице сепаратистов, а второй. Первый прошел в сельхозинституте. Энгештер, брат Хозяина, побывал на этом митинге. Он вернулся разочарованный. Подняли флаги, из Тбилиси подоспели голодари, даже милиция погоняла немного: неформалы планировали помитинговать в центре города, но это им не дали сделать: пришлось идти в сельхозинститут. Но люди, которые столько мучились, не то слышали, чего ждали: ораторы, эти тбилисские пижоны, говорили только о братстве. Один из них даже на абхазском сказал несколько слов о том, что если Кремль по-прежнему будет вводить братьев-апсуа* в заблуждение, то Грузия поднимет меч и защитит своих братьев. Люди же ждали жареного и потому стали расходиться. Энгештер послушал-послушал, несколько поперерекался с этим любителем абхазской словесности, а потом ушел с приятелем в сванский ресторан.

– Ты держался бы от них подальше, дурень, – сказала несколько грубовато, но правильно Джозефина, когда вечером он пришел недовольный и хмельной.

– Ты в мои дела не лезь, а то я тоже в твои дела начну лезть, – пригрозил Энгештер Джозефине.

* Самоназвание абхазов.

– А не за счет ли моих дел ты Фото-Точку перед ЦУМом имеешь? – тут же ответила Джозефина Энгештеру.

– А я вообще не хотел Фото-Точки!

Возмущенная Джозефина перешла на гекзаметр:

Выслушав дерзкие речи супруга, слабы чьи познания,
Так говорила Эллады дитя ему белоколонной:
«Сколь неразумен в речах ты, о муж безобразный!
Дом твой не полон ли нынче и амфор, и чаш золоченых,
Не возлежишь ли с друзьями, свободный, в театре и в бане?
Много ли благ ты имел, находясь в своей влажной Колхиде,
Брата разрезав на части, откуда бежала Медея?
Уж не жене ли ты должен смиренно гласить благодарность,
В варварских странах рожденного неуча что приласкала,
В дом тебя смело ввела и дала возлежать с мудрецами,
Коих же вскоре сменил ты на колхов и скифов
в тавернах?!»

Так упрекала супруга Эллады пленительной дочь.

Тут Энгештер тоже не выдержал и ответил жене своей не менее решительным шаири:

Как, шагнув через порог, я увлажнил порог слезами,
Ты поведай в песне строгой, сладкозвучный мой чонгури.
Эй, несите меня ноги, находя дорогу сами,
В барский дом, где ждут и знают о печальном балагуре.
Княжья дочь с глазами лани мне подаст вина в пиале.
У прохладного марани я оттаю от печали.
А как встану утром ранним, снова путь мой к зорьке алой.
Ты – чонгури мой трехструнный. Я – бездомный Коч-Кочана.

Разговор пошел вот с таким оттенком. Хозяину, конечно, это не понравилось, и он, чтобы не слушать, оделся и вышел за сигаретами. Когда он вернулся, брат и невестка продолжали выяснять отношения. «*А квартиру кто сделал? А брата твоего кто прописал?*» Мазакуаль как резанет это слово! Она так не любила упреков, что подумала: я сама устрою его на турбазу Джушкунияни!

Хозяин повернулся и пошел снова в город, не заходя на квартиру.

«Я убью его», – слышал он, удаляясь, голос брата.

«Это ты его убьешь! Да Мато таких, как ты...»

Во дела!

«Тебя я убью!»

Могель не стал дальше слушать. Он ушел. За Энгештера он был спокоен; тот и курицы бы не убил.

«Вот, бранятся, – думал он с горечью. – А я-то считал, что брат состоятельный и благополучный: хочешь красивую жену – на! Хочешь трехкомнатную квартиру в центре Сухума – на! Хочешь перед ЦУМом Фото-Точку с медвежонком – на! Как недешево дается все это внешнее благополучие», – думал Могель. Ему было неприятно, что он заглянул за ширму отношений брата с женой, хоть было и любопытно немножко. Ему было неприятно, что все эти разговоры слышала Наала.

Это было вскоре после возвращения из Пицунды. А теперь он был так счастлив; ему бы только уладить с родными Наалы. Добрая Джозефина обещала через своего шефа похлопотать. Она настояла, чтобы молодые пожили у них. Сегодня Наала пошла в библиотеку, повидать подруг и узнать новости из отчего дома. Оставшись один, Могель отправился без цели бродить по набережной. На душе у него было блаженное спокойствие. Ему ни до чего не было дела, кроме своего счастья. Он не знал, что в городе напрягуха и преданная Мазакваль в сопровождении павлина инкогнито следят за ним.

Прогуливаясь, Могель остановился у ресторана «Диоскурия», того самого, который установлен на развалинах старинной крепости. Когда-то построенный с шармом, но ныне имевший обветшалый вид, этот ресторан сейчас не действовал вовсе, и можно было выйти на его балкон, как на смотровую площадку. Могель так и сделал. Он свесился с балкона. Море было тихое и бледное. Сухум при древних греках назывался Диоскурией, а потом ушел под море. Могель узнал об этом, как-то присоединившись к экскурсионной группе. Именно тут в ясную погоду можно якобы различить на дне моря следы городских кварталов с колоннами и мраморными памятниками богам.

– Пытаетесь увидеть Диоскурию? – раздался вдруг рядом чей-то голос с таким сильным акцентом.

Это был Казимирас из Каунаса. Одет он был просто, даже длинные его волосы были стянуты самой простой бечевой.

Познакомились с прибалтийцем. Разговорились. На вопрос, местный ли он житель, Могель ответил утвердительно: он уже был прописан на улице Джгубурия. Имея тайную мысль, что прибалтиец пригласит его к себе – а Прибалтику увидеть он всегда мечтал, а с Наалой съездить туда вот было бы здорово! – Могель разговорился с ним и даже предложил ему выпить бутылочку сухого вина на террасе «Амра». Но все было закрыто. А закрыто было потому, что должен был состояться митинг; власти, опасаясь эксцессов, запретили всем значным заведениям работать, а по телику крутили американские боевики, чуть ли не «Рембо». Тут еще прибалтиец, словно угадав сверхзадачу Могеля, сразу же предложил ему непременно позвонить, если он случится в Канаусе, а так просто случиться в Каунасе Могель не мог. Адресами все же обменялись; Могель дал свой сухумский адрес и телефон (разумеется, братнин), а Казимирас – каунасский. Могеля удивило, что у прибалтийца фамилия русская – Лодкин, но он не решился поинтересоваться почему. От Казимираса Могель узнал, что на митинге будет выступать главный лидер грузинских неформалов. Могель и Казимирас вместе отправились на митинг. Могель бы не пошел, еще в Великом Дубе он на митинги был не ходок, но ему хотелось увидеть и услышать главного неформала, специально прибывшего провести митинг. А Наала, уж точно, разговорилась с подружками и еще не вернулась из библиотеки.

О городских площадях

Когда Мазакуаль нашла Хозяина в обществе иностранца, увешанного съемочной аппаратурой, она подумала было появиться перед их взглядом в сопровождении Вишнупату, чтобы иностранные туристы знали, что здесь тоже носом воду не пьют. В конце концов, для людей это обычная экзотическая птица. Но потом решила: не до эффекта. Ей следовало быть неотступно рядом с Хозяином. Вишнупату нужен был ей сейчас не для дешевых эффектов, на которые столь падка человеческая стая, а как

друг и советчик. Не хотелось Мазакуаль, чтобы Хозяин вляпался в политику. Ох, как не доверяла она неформалам, ох, как опасалась, что они втянут его в свои дела! Но пойти ему позволила, понимая, что он не должен совсем отрываться от той породы людей, к которой принадлежат по рождению, что надо и ему их сегодняшнее безумие поддержать, только в меру.

О, современники мои и сам я, грешный, не избежали мы участи жить в годину перемен, о чем так молил своего Бога когда-то некий восточный мудрец!

Итак, все по порядку.

Поскольку они были собака и птица, органы не стали к ним придирааться. Они спокойно пересекли святая святых – площадь Ленина и пошли на знакомый баритон Гостя, главного неформала. Удобно расположились на борту грузовика, чтобы и трибуну было видно, и Хозяин был в поле зрения.

Мазакуаль, между прочим, когда по движениям в городе догадалась, что будет митинг неформалов, по наивности условились встретиться с Его Божественной Милостью у Народного фронта Абхазии. Абхазы клацали зубами, как и предупреждала Старушка. Они голосовали, что не позволят поднять знамена эртобы, под которыми когда-то потопили в крови абхазскую коммуны. Хозяина тут она, конечно, не нашла, но уяснила себе вещь самую неприятную: ярость, свойственную людским стаям в последнее время, они уже стали направлять друг против друга, а не против непонятной и далекой руки Кремля. Мазакуаль пожалела, что позволила Хозяину пойти на сборище.

Если даже дело не пойдет слишком далеко, все равно Старушка будет огорчена.

«Я не позволю им осквернить площадь вождя!» – сказал Григорий Лагустанович и на бюро, и позже – делегации от народа. Еще с раннего утра всем АТК было дано распоряжение выгнать свою технику. К моменту, когда митинг начал собираться, площадь была оцеплена кольцом из грузовиков. Собравшиеся, а среди них было немало горячих голов, решили опрокинуть пару грузовиков и вырваться на площадь. «У-ба-ни! У-ба-ни!»* – скандировала толпа.

* Площадь! Площадь (груз.)

Митинг сгрудился под тесным кольцом грузовиков, загордивших выход к площади Ленина. Люди стояли прямо на проезжей части улицы, а трибуной для ораторов послужила крыша сапожной мастерской. Это была немалая победа эртобы, если старый Климентий позволил попирать ногами свое рабочее место. Но иначе и быть не могло: сама профессор Имярекидзе присутствовала и сам Гость, главный неформал, вел митинг.

И вот появились на крыше сапожной будки профессор Имярекидзе, Гость и местные неформалы. Гость урезонил людей, и решено было начать работу прямо тут, на улице Кирова.

Самое замечательное, что увидел тут Кесоу, – это павлин. «Неужели неформалы это предусмотрели?» – удивился он. Павлин стоял на крыше грузовика оцепления. Как только оратор переходил на фальцет, павлин распускал свой пышный хвост. А когда оратор спускался к доверительному шепоту, птица тут же складывала хвост, как складывают веер. Это зрелище, а в особенности то, что все остальные относились к нему как к чему-то привычному и заурядному, поразило Кесоу. Он уже не сомневался, что у него измены от анаши, которую дал ему утром Ника Хатт.

Несколько отстраненно от митинговавших стояли любопытные, числом не меньше самих митинговавших: не один Кесоу послушался Народного фронта Абхазии. Он пополнил толпу зевак и стал наблюдать за происходящим.

Кесоу впервые видел несанкционированный митинг. Толпа собралась та же, что и на обычных маевках. Митинговали в общем-то законопослушные люди, которые решились прийти только потому, что поверили, что власть меняется и приходит новый закон. Поэтому на лицах людей под упорным и вдохновенным выражением читалась неуверенность. То и дело митинговавшие опасливо косились на зевак, несмотря на то, что сейчас был эмоциональный пик: речь держал сам Гость.

– Пусть поднимут руки те, кто за нашу эртобу! – загремел он.

Павлин тут же отреагировал пышным веером. Все подняли руки.

– Теперь пусть поднимут руки те, кто против.

Не было таковых. Павлин сложил веер.

– Один все-таки против! – провозгласил оратор.

Все удивленно стали коситься друг на друга. Тень недоверия к соседу прошла по толпе.

– Вот он стоит, за оцеплением! – сказал оратор, указуя на памятник Ленину.

Ленин действительно стоял со вздернутой рукой, словно голосовал против эртобы. Но справедливости ради надо отметить, что он стоял в такой позиции с тех пор, как его изваяли, в том числе и когда голосовали за эртобу. Так что это восклицание оратора было всего лишь ораторским приемом. Но толпа восприняла этот прием весьма эмоционально. Для того времени это было дерзостью,

– Кришнаиты – агенты Кремля! – провозгласил очередной оратор.

Кесоу настолько обомлел, что почему-то обернулся на павлина. Павлин тоже был удивлен: он особенно пышно распустил хвост.

– ...Кремля и ЦРУ!

Прием с поднятой рукой Ленина Мазакуаль разочаровал: на всех митингах, на которых она побывала с Хозяином в Великом еще Дубе, все ораторы этот прием использовали. Но она не знала, что Гостя упрекать не в чем: он сам и придумал этот ораторский эффект; совершали плагиат прочие мелкие сошки эртобы, которых Мазакуаль могла видеть и слышать до сих пор.

Новый же друг Хозяина отреагировал на прием таким образом. Он попросил Могеля поддержать камеру (он все снимал) и, достав из сумки блокнот, что-то занес в него на непонятном языке. Могель, по правде говоря, насторожился. Сработал инстинкт, присущий любому советскому человеку: поймать за руку шпиона империализма.

А записал журналист такое свое наблюдение: *«На Кавказе войны начинают не вожди и не полковники, а историки».*

Следующий прием тоже был знакомый и испытанный. Впереди под трибуной началось движение. Все стали на цыпочки, вытягивая шеи. Там требовали воды, требовали карету «скорой помощи»: женщина упала в обморок. Имярекидзе одернула главного неформала, чтобы он не пропустил момента. Но Гость сам был начеку.

– Этой женщине не поможет медицина. Ей не хватает воздуха! – воскликнул он. – Ей не хватает воздуха независимости и эробы!

Камера опять переключалась в руки Могеля, а Гость полез за блокнотом. Могель и вовсе насторожился. Гость заметил это. Сделав запись, он взял камеру и сказал, улыбаясь Могелю:

– У Грузии и Прибалтики одно дело. Но Грузия имеет огромный опыт борьбы с тоталитаризмом. Есть чему поучиться нашим лидерам! Публика сегодня могла быть вполне довольна. Главной темой был сепаратизм. Сепаратизм и *рука Кремля*.

– Сегодня здесь собралась лучшая часть сухумских грузин! – провозгласил оратор.

Того, кто стоял рядом с Хозяином, держа один конец транспаранта, Мазаква знала по турбазе Джушкуняни. Его здесь знали все. Это был Александр Бобонадзе. Породистый и фактурный, он волновался, как скакун на старте. Печать бледности лежала на его лице: он еще не оправился от пулевых ран, нанесенных ему сепаратистами. Всего, что он тут видел и слышал, было явно недостаточно для его темперамента. Ему не то что держать край транспаранта, ему бы поймать *руку Кремля* и с хрустом выломать ее. Долго так стоять он не мог.

Вручив, не глядя, конец транспаранта рядом стоящему, он направился к трибуне, по пути разрезая плотную толпу, как лемех культиватора разрезает почву. Через минуту он оказался между лидером и митрополитом с мегафоном в руках.

Человеком, которому Бобонадзе вручил палку не глядя, оказался Могель. Еще недавно не желавший идти на митинги неформалов, сейчас он не только стоял на самом агрессивном из всех митингов, на которых ему приходилось бывать, но и держал транспарант, гласивший, что сепаратистам нет места на земле Давида Возобновителя*. А когда он, как бы движимый инстинктивным желанием донести до кого-нибудь всю нелепость и случайность ситуации, только покосился на толпу любопытных, – тут же встретился глазами с деревенским соседом Наалы, через

* Давид III Возобновитель; в современной традиции Давид IV Строитель, царь Иверии и Абхазии (1073–1084; 1089 – по разным источникам – 1125), монарх из грузинской династии Багратиони. В союзе с Византией вел борьбу против завоевателей и объединил страну в централизованное государство.

кого он с ней и познакомился и кого к ней ревновал немного. Могель сначала смутился, но потом отвернулся решительно и зло, хотя это не помешало ему предупредить парня, что на него заводится дело в транспортной прокуратуре. Он чувствовал, что уже «*мурмурти надэ*», как поет Радж Капур в кино «Бродяга», что в переводе с индусского означает «нет пути назад».

Между тем его друг Казимирас куда-то исчез. А речь того, от кого Могель принял эстафету, не оставила никакого сомнения в том, что «*мурмурти надэ*».

– Друзья! Друзья! – воскликнул он. – Я вас люблю!

Внизу его тоже любили.

– Тут такие горячие головы! – продолжал Бобонадзе, справляясь на ходу с волнением; трудно все-таки выступать перед толпой: это нечто отличное от выступления со сцены. – Тут такие решительные люди, такие самоотверженные и бесстрашные, что я боюсь... – Теперь он уже освоился, и пауза, которую сейчас выдерживал, именно как пауза воспринималась публикой. – ...Я боюсь, что прольется кровь! – сказал он.

– Пусть прольется! Пусть прольется! – сначала отозвалось несколько человек с разных сторон, а потом крик подхватила и вся толпа.

– Я знаю, что такое кровь!

– Да! Да! – с поспешностью реагировала толпа, словно испугавшись, что Александр Бобонадзе станет демонстрировать рану.

Павлин пышно распустил свой веер хвоста, реагируя лишь на характер звука и по своей оторванности от жизни воспринимая все происходящее лишь как представление. Между тем именно сейчас впервые публично прозвучала мысль о возможности кровопускания.

– Я не хочу, чтобы пролилась тут кровь! – воскликнул Бобонадзе.

– Нет! Пусть, если надо, прольется! – любя его, возразила публика актеру.

А дальнейшее его выступление было насыщено фактами и только фактами. Речь Бобонадзе была образна. Его разоблачения сепаратизма не выходили за рамки проблем культуры, но каждая его фраза горела над толпой, как «Мене! Текел! Фарес!».

– Вот вы говорите *о руке Кремля!* – продолжал он. – Но не дремлет Персия! Вспомните 56-й год. Апсуа-сепаратисты отпраздновали приход к власти Моссадыка. Вспомните 78-й год. Апсуа-сепаратисты устроили кровавые поминки по усопшему своему имаму – аятолле Хомейни! И знаете, кто является лидером паниранской группировки в Абхазии?

Увы, люди не знали!

– А вы завтра собираетесь за него голосовать? Не отдавайте свои голоса сепаратистам!

– Не отдадим!

Нет мира под инжирами!

Кесоу был, как всегда, спокоен и тверд, но сердцем понял сегодня: эти люди не доведут до добра. Они не доведут до добра, а сами уйдут в кусты. Надо вооружаться, подумал он, будет война. Все это Кесоу не вдохновило. Он решил, что все здесь уже понятно, и уже собирался уходить, когда взгляд его упал на белый транспарант. Транспарант этот с одного края держал тот самый мингрельский парень, которого он искал!

Кесоу встретился с ним взглядом. Парень густо покраснел, но тут же отвернулся, стараясь изобразить на лице упрямое чувство собственной правоты.

«Он не виноват, пойми его, он не виноват! Он здесь случайно!» – внушал ему кто-то беззвучно.

Это говорил с ним самый обычный пес. Вещий пес свешивался с борта того самого грузовика оцепления, на крыше которого работал павлин-неформал. Слезы смолой застыли на обеих сторонах мордочки пса. Полнейший сюр, как говорят в Москве!

«Какой-то патлатый притащил сюда Хозяина, а тут ему всучили еще этот дурацкий лоскут!» – снова галлюцинировал затуманенный анашой слух Кесоу.

Ждать было нельзя! Мазакуаль видела ведь, как нехорошо удалился тот деревенский парень. Собака понимала, что дело здесь не в том, что Хозяин – участник митинга, а еще ему всучили этот дурацкий лоскут. Тут нечто более важное...

Как она могла об этом забыть! Ведь это тот парень, который виды имел на книжницу, новую Хозяйку Мазакуаль! Как она могла это забыть! Нельзя было медлить!

Нельзя медлить ни минуты! Она соскочила с грузовика, чтобы подобраться, подобраться к Хозяину, чтобы предупредить его о надвигающейся опасности. И в эту минуту толпа зашевелилась и задвигалась.

Потому что профессор Имярекидзе и Главный неформал почувствовали, что с выступлением этого местного честолобца ситуация принимает излишне воинственный характер, и снова взяли ситуацию в свои руки. Решительно вырвав у артиста мегафон, Главный неформал произнес:

– Друзья! Давайте все вместе последуем к собору. Постоим и помолчим у врат храма. Кто знает, может быть, в молчании родится истина!

И закончил на этом митинг.

Толпа зашевелилась, перестраиваясь с митинга на шествие. И вдруг треклятый транспарант повис на руках Могеля. Это держащий его с другого конца выпустил из рук свою палку.

Могель проделал то же самое. Он решительно отошел к столбу между мостовой и тротуаром, чтобы пропустить толпу. Идти к храму он уже не собирался. Горечь наполнила всего его изнутри, и к горлу подкатил ком. Толпа шла мимо него.

«Не ты виноват, а я: не доглядела!» – почувствовал, как услышал, он. Но голос удалялся.

Мазакуаль чуть не затоптали. Она не только не попала к Хозяину, не только не успела его предупредить, но сама едва вырвалась из-под ног движущейся к храму толпы. И потеряла Хозяина.

А прибалтийский приятель Хозяина прошел к тому месту, откуда, по его мнению, могли появиться ораторы, покинувшие крышу Климентиевой будки. Но ораторы, очевидно, вышли с другой стороны. Пожать руку Главному неформалу и выразить ему свое восхищение Казимирасу Лодкину не удалось. Зато замечательного актера и оратора он нашел.

И вот уже Казимирас Лодкин и Александр Бобонадзе, оба высокие и статные, пожимали друг другу руки. Лишь на секунду Бобонадзе отвлекся и поднял голову к небу, почуяв там что-то враждебное, басурманско-кришнаитское. Это пролетел над ними Вишнупату, в тревоге разыскивая Мазакуаль.

Все иллюзии, что обойдется без кровопролития, разбились в прах.

О вкрадчивых шагах беды

Толпа отхлынула, и вскоре на мостовой остались поверженные и растоптанные транспаранты. С горечью во рту и с комом в горле, Могель продолжал обнимать холодный телеграфный столб. Он чувствовал, что действительно мурмурти надэ.

Наала, она же все узнает!

Мазакуаль уже не была на борту грузовика. Неужели она бросила его и пошла со всеми к собору? А ему так хотелось сейчас заглянуть в ее ясные, всепрощающие глаза. Рассеянно шагая, он направился в сторону турбазы Джушкунияни. Если собака где-то рядом, а не поддавалась стихии митинга, она сама выйдет на него.

На проходной ему пришлось выдержать контактный бой с органами. Мент его знал, поскольку Могель бывал тут часто, но нынче ему было велено пускать строго по разрешению Джушкунияни.

Если бы в это время не подъехал Александр Бобонадзе, кстати, на служебной «Волге» с антенной, Могелю пришлось бы еще долго пререкаться с органами. Но тут же все уладилось.

– Я полностью согласен с тем, что вы, дорогой и незнакомый мне патриот, провозглашали на своем транспаранте! – сказал актер несколько торжественно.

Могеля аж передернуло: не Бобонадзе ли всучил ему конец транспаранта, когда душа позвала его на крышу сапожной будки!

Но возмутиться он не успел. Из машины с антенной вышел знакомый прибалтиец.

– А вот вы и нашлись! Мир тесен! – воскликнул он, тряхнув гривой и подавая Могелю мужественную руку.

Видя *эти движения*, мент уступил.

– Гость немного отдохнет, а потом будет беседовать с нами, – щедро открыл тайну Бобонадзе. – Идемте!

Неофитам всегда просто делиться контактами: ревность к учителю наступает позже.

Видеть Главного неформала в узком кругу – это было соблазнительно!

А Мазакуаль и в голову не могло прийти, что Хозяин пойдет на турбазу Джушкунияни. Он же видел того деревенского сор-

виголоу! Как он мог не встревожиться? Где он? Почему он забыл слова Старушки: «Берегись абхазов: они хищны и клещают зубами!»?

Еще до прихода на улицу Джгубурия Мазакуаль знала, что все погибло. Собаку нух не подведет.

Она подошла к дверям с медной табличкой. Она подала условный знак, каким они с женой Энгештера пользовались, когда Мазакуаль приносила птицу. Джозефина открыла дверь, но не произнесла, как обычно, стихов. Она была заплакана. Мазакуаль никогда не навязывалась в дом к Энгештеру. Отдаст птиц Джозефине и – прочь. И Джозефина сразу шла с птицами к складу, не зовя собачку в дом. А сейчас Мазакуаль без излишних церемоний прошествовала в квартиру и – на кухню, чтобы спокойно выслушать женщину. То ли взгляд у собаки был такой, то ли еще отчего, но она умела разговаривать людей.

Нух не подвел. Наала уехала.

Не этот сельский сорвиголоу ее увез, как предполагала Мазакуаль; она сама, узнав в книжняке, что умерла тетушка, собралась и уехала. И похоже, это конец.

Потому что ей уже успели донести, что Могель – Могель, от которого Джозефина никогда не ожидала такого, – стоял на митинге с транспарантом: «Сепаратисты – вон из Грузии!» – или чем-то в этом роде.

А на чем она уехала в Хаттрипш? Ведь транспорт был пущен на ограждение площади Ленина, чтобы Ленина не смогли осквернить неформалы! – Ведь чертов митинг уже закончился, все соседи вернулись, просветленные, словно бы на агорá они слушали речи Перикла! – Джозефина едва сдерживалась, чтобы не перейти на гекзаметр. – Куда же запропастились и тот, и другой? – сетовала она, уже обыкновенной прозой. – Может быть, она, моя милая, стоит все еще где-то на дороге и ее еще можно вернуть или, по крайней мере, убедить не ехать одной. Я бы сопровождала ее, чтобы ее там не принудили остаться. Григорий Лагустанович дал бы машину, а то и поехал бы с нами: у него как раз дача в Хаттрипше.

Джозефина была в отчаянии. Она так полюбила эту деревенскую простушку!

Все ясно. Мешкать было нельзя. Мазакуаль пулей выскочила на улицу.

Гостю был отведен генеральский особняк. Он требовал номера поскромнее, но охрана на особняке настояла: тут ей проще было нести службу. Охрана была демократическая – никаких органов, только поклонницы лидера.

У ворот особняка приятелей встретила миловидная девушка в бикини и черных колготках. Она сообщила, что пресс-конференция начнется не раньше чем через час: после каждого мероприятия Главный неформал уединялся на несколько часов для размышлений и молитв.

– Я могу ее сфотографировать? – спросил Казимирас.

Александр перевел.

– Ни в коем случае! – сказала девушка и повернулась к ним спиной в бронзовом загаре, демонстрируя подвешенный к боку кольт.

Приятели решили пойти в бар, чтобы скоротать этот час.

Сегодня турбаза была практически закрыта. Бар тоже не работал. Накрывали на стол. Столы были сдвинуты и сервированы стаканами, завернутыми в розовые бумажные салфетки. После пресс-конференции здесь должно было состояться застолье. Неформалы сгрудились у стойки, мешая женщинам. Александр Бобонадзе сразу попал в дружеские объятия, и вскоре его было не достать.

Ликование, которое вызвал приход Александра Бобонадзе, сравнимо было разве что с ликованием во время его сегодняшней речи. Приняв немедленно поданный бокал с шампанским, он провозгласил тост за эртобу и выпил.

Ребята были предупреждены, что Гость не охоч до застолий и бражничества, что у него с детства европейские привычки, но они решили, что свое гостеприимство продемонстрировать надо. Александр Бобонадзе, артист ведь, с порога подал идею: стол накроют на сто персон, на за него сядут только Гость да еще почтенный Дурмишхан, а остальные будут стоять и за ними ухаживать. Такие традиционные знаки уважения должны были растрогать сына мингрельского дворянина. А потом, когда Гость и хозяин встанут, можно сесть самим за стол и погулять.

– Куда мы спешим! – заголосили все, согласные с артистом.

Прибалтийский журналист был представлен, и у стойки все подняли тост за *вашу и нашу свободу*.

– *Прибалтийцы и грузины – братья!* – сказали ему.

– *Чок гюзель!** – ответил Казимирас растроганно.

– Как наша невестка? – спросил Могеля Годердзий. – Давно вернулись из Пицунды?

– Приехали третьего дня. Собираемся в Великий Дуб.

– Поселяйтесь тут. Выделим вам люкс.

Могелю пришлось признаться, перейдя на грузинский, что возникают сложности с ее родней.

– Стало быть, они – сепаратисты, – провозгласил зам.

Могель промолчал.

– Необходимо проводить – как это по-русски, бичо? – четкую грань между народом и между отдельными его представителями, которые народу засоряют голову. Первые – наши *братья*, а о вторых четко было выражено на транспаранте, который ты, мой юный и надежный друг, вознес сегодня над шабашем сепаратизма.

Прибалтийский гость еще раз восхитился, насколько здесь, на Кавказе, самые простые люди мыслят широко, четко и политически грамотно.

Выпили.

– Я тебе покажу петуха, какого ты не видел! – предложил Годердзий и повел Могеля на кухню. – Восемь килограммов живого веса!

Казимирас тоже вызвался сходить.

– Бутылку прихватим с собой, – не забыл друг Энгештера. Петух лежал на столе, безголовый, еще не ощипанный.

– Тит! – сказал Годердзий. – Откуда здесь эта собака?

Могель не ответил. Собака, прежде чем выйти вон, заглянула в глаза Хозяину с кротким упреком.

– *Я застрелил его на рассвете*, – сказал Годердзий, демонстрируя свой «макаров». – С десяти шагов и – в голову.

– Необыкновенная окраска перьев! Я могу его сфотографировать? – спросил Лодкин.

На сей раз ему разрешили воспользоваться *снималкой*.

* Прекрасно (турецк.).

Схватившись за горло и сдерживая душившие его рыдания, Могель выскочил из бокса. Словно мигом освободившись от наваждения, он тут же стал тосковать о Наале. Еще он вспомнил, что Кесоу видел его сегодня на этом митинге с нелепым транспарантом в руках, вспомнил выражение лица, которое было при этом у соперника.

Могель спешил. И он уже знал, что к Энгештеру ехать смысла нет. В Хаттрипш и только в Хаттрипш!

Ни секунды не задумываясь, перочинным ножиком, как умеет это каждый парень в Великом Дубе и не только, он открыл машину с антенной, на которой приехал Бобонадзе, ножиком же завел ее и выехал на большой скорости из турбазы Джушкуняни. Органы, которые видели его час назад беседующим с хозяином машины, не заподозрили его в угоне и лишь поспешно открыли ворота.

Вылетев на трассу на полной скорости, он чуть не сбил узкого желтого велосипедиста. Старика за рулем спас опыт: он успел ретироваться в кювет. Что могла сделать Мазакуаль? Что дворняжка могла тут сделать! Она не успела его предупредить! Она не успела...

Последний раз его, мчавшегося по трассе, видели павлины, которые летели вдоль моря.

А Мазакуаль? А что Мазакуаль могла сделать? Она не успела, Старушка! Она осталась.

*На рассвете кто-то, увидев кровь, принял ее за зарю!**

Прежде чем выйти на пресс-конференцию, главный неформал решил окунуться в море. Преодолевая сопротивление очаровательных охранниц, со звонким щебетом напоминавших, что его здоровье принадлежит не ему одному, он переоделся в пляжный костюм.

Когда патрон не внял их просьбам, девушкам пришлось поспешить, чтобы самим уже успеть снять теннисные костюмы, соответствующие уединению в особняке, и надеть пляжные. А когда охранницы одна за другой высыпались на пляж, на ходу пристегивая кобуры, вдруг обнаружили, что потеряли подопеч-

* Из стихов абхазского поэта Геннадия Аламира.

ного. Гость такое проделывал часто, но местность здесь чужая. Не теряя присутствия духа, телохранительницы разделились на две части: одни остались на пляже, другие же кинулись искать лидера на территории.

Позади бара в огромных котлах варились мясо и куры. Девушки еще раз раздраженно напомнили сухумским друзьям, что Гость мяса не ест, тем более в пост.

Но где же он сам?

Легко скользя на скейте по выложенной отличным кафелем дорожке парка, Гость вынырнул из-за беседки с камелиями к пруду. И пресс-конференцию для этих сухумских деятелей, которые вообразили себя диссидентами и именно в Грузинскую Хельсинкскую группу и рвутся, тогда как при стагнации все были законопослушными работниками редакции «Сабчота Апхазети», разных союзов, УБОНа и мясокомбината, – пресс-конференцию он проведет так, что девушки из охраны позабавятся. Он будет кружить перед ними на скейте. Сделает круг и поравняется с ними – пусть успевают задать вопрос. Он сделает следующий круг и, возвращаясь, бросит короткий и гениальный ответ. И – снова круг. И так – несколько кругов-ответов, пока не устанет. Кататься на скейте.

Эта задумка развеселила усталого революционера. Он прибавил скорость и вынырнул к пруду. В пруду плавали банальные лебеди. А банальных павлинов не было. Отлетели, видать, в другую сторону парка. Гость не любил всяких экзотических птиц: милее его сердцу были гордые орлы, летящие в небе. *«Будьте прокляты, вороны!»* – вспомнил он стих любимого Важи Пшавелы.

Вместо экзотических птиц, призванных услаждать взгляд усредненного туриста из российской глубинки, лучше бы здесь гуляли простые крестьянские кормилицы – индейки и цесарки. Но, впрочем, когда Грузия будет развиваться как свободная демократическая страна под руководством своего первого президента – и, очевидно, последнего, потому что затем будет восстановлена монархия, а сам Гость вернется к занятиям по исторической филологии, – тогда мы поднимем курортный сервис на такой уровень, чтобы природными красотами Грузии наслаждались уже западные толстосумы...

То, что он увидел на берегу пруда, заставило Гостя притормозить. То, что увидел Гость, еще раз убедило его в правоте своего дела. Такое видение дается только избранным и, записанное в летописи, остается в потомстве. Живописно расположившись под раскидистой магнолией, вели беседу удивительные мудрецы. Каждому из них было не менее тысячи лет. Здесь были великие даосы, йоги, суфии, хасиды, воины Кастанеды. Это был некий синклит мудрецов всех времен и народов. Инстинктивно Гость стал искать глазами представителя своего народа. Был, кажется, и представитель. Смело выступив вперед, Гость спросил:

– О сограждане по Вселенной! Скажите мне, мученику и работорбцу века двадцатого: когда победит эртоба?

Но собрание небожителей не отреагировало на его слова, словно оно проходило в другом измерении, куда не доносились звуки его гордого вопрошания.

Гость повторил вопрос. И снова ответа не получил. Он стал раздражаться, он крепко сжал в руке скейт, и неизвестно, что бы предпринял следующим шагом, если бы его не опередили преданные черные колготки. Они искали его по всей территории турбазы, все больше и больше приходя в отчаяние. И вдруг, увидев, что патрон окружен какими-то дикарями, одетыми во власяницы, очевидно, абхазами, а сам беззащитен, в шортах и со скейтом в руке, девушки не растерялись, мигом распределили роли и стали стрелять, думая лишь о том, чтобы не задеть патрона.

И разомкнулась связь между двумя измерениями.

Павлины взлетели в воздух и исчезли в вечеряющем небе.

Таким образом, появилось сразу несколько свидетельниц небывалого случая: Гость был допущен на Великий Синклит Мудрецов и беседовал с великими пророками.

О пресс-конференции уже не могло быть и речи. Гость уединился, чтобы в молитвах и размышлениях отдышаться и прийти в себя.

О волчьем овраге

Старый Батал встал перед гробом и сказал:

– Следуй за мной, дочь моя!

И направился впереди процессии к семейному кладбищу, которое было расположено тут же, в саду. Он шел смущенный, что пережил дочь и хоронит ее. Много раз он услышал в эти предпо-

хорожные дни: почему ты не умер, почему ты дожил до такого? Тающий воск свечи капал Баталу на пальцы, но старческая рука не чувствовала жжения.

Бросив горсть земли на гроб дочери, старик обернулся и стал искать глазами Платона. Платон тут же подошел к нему. Старик положил ему руку на плечо и заглянул в глаза выцветшими от старости, когда-то синими глазами. Платон почувствовал, как в него стала вливаться неведомая сила. Он понял, что старик вскоре последует за дочерью

И Батал сказал:

– Беда пришла к народу за безверие и за грехи.

Люди, услышав это, недоумевали, почему первые слова старика у гроба дочери были не о ней, несчастной. Они ведь не знали, что он вскоре последует за ней. Загадочными и странными показались людям слова старика. Безверие и грех – эти понятия для одних были старыми, поповскими, для других – старыми и книжными.

О пот лица, ты так застилаешь глаза, что не видать надвигающейся беды!

А вечером над Хаттрипшем пролетели павлины. Целая стая диковинных птиц, которых обычно можно было увидеть только в садах городов. И даже самые старшие не припомнили, чтобы райские птицы летали косяками по небу Абхазии. Станным кругом неслись они, без вожатого впереди. Конечно, первым увидел их бригадир. Он божился, что царские птицы сели стаей на зеленой лужайке старца Батала, закрытой от глаз высокой цитрусовой изгородью. Они побыли там некоторое время и улетели в сторону моря. Это было воспринято людьми как знак. Бригадир растолковал это событие таким образом. Павлины – это символ изобилия, о чем он сам читал в газете «Аргументы и факты». Их появление недвусмысленно указывает на то, что директор Обезьяньей Академии Массикот сдержит свое слово и в этом же году начнет строительство Дворца культуры для деревни, как и было обещано, когда филиал создавался восемь лет назад. А спрашивать у самого Батала было неловко, потому что именно на второй день с утра старик оделся в белое и лег в постель в зале, где выставили по его требованию большую железную кровать.

Вот вам и Дворец культуры.

Наале после двух похорон недолго дали побыть дома. Уже Григорий Лагустанович через своих людей справлялся о ней. Наала уверила родителей, что не собирается возвращаться к мужу, но все же женщины посоветовались и решили, от греха подальше, отправить ее в соседнюю деревню к родичам.

Родичей семья Батала имела в каждом селе. И то, что при своеобразной ссылке Наалы выбор пал именно на эту соседнюю деревню, еще раз доказывало, что эта деревня была захолустьем, хотя лежала она по соседству с Хаттрипшем, хотя и по ней проходили железная дорога и автотрасса, а территория Обезьяньей Академии наполовину относилась к ней. Захолустье означает не оторванность от бела света, а отсутствие главного – света, исходящего от Золотой Стопы. Жители этой замечательной деревни из поколения в поколение хранили и пестовали свою темноту с ревностью, с какой в иных местах хранят и пестуют цивилизацию. Выходцы из этой деревни, работавшие в Сухуме поэтами и кандидатами наук, воспевали эту дикость и демонстрировали гостям ее первозданную красоту; она сохранилась только в нравах, но не в пейзаже, ибо мало первозданного в бесконечных чайных рядах и возвышающихся над ними однотипных двухэтажных домах – без единого висячего балкона! Зато составы товарняков целые и невредимые проходили через эту деревню, потому что жители, занятые выполнением соцобязательств, должны были хорошенько отсыпаться ночами, чтобы еще до появления утренней звезды с песней труда встать меж чайными рядами, и ни одна комиссия, ни один корреспондент из Сухума не могли застать их врасплох. Все, что присуще было абхазам в старину, деревня бережно хранила в богатом музее при Дворце культуры, который они-то и заставили воздвигнуть академика Массикота, по домам оставив только трудолюбие и столь редкое нынче умение удивляться самым обычным вещам.

И телефонов было мало (они были установлены только в семьях представителей председателява клана), поэтому новости сообщались по старинке: умеют наши крестьяне, встав на холмах и перекликаясь зычными голосами, передавать информацию. Вскоре вся деревня узнала о том, что внучку Батала, которая, чтобы сбрить ей голову и выколоть ей глаза, осрамила на старо-

сти лет своего уважаемого деда, свела его в могилу, а родителей повергла в слезы и печаль, выскочив замуж без благословения за мингрельского неформала, неформала, неформала, – эту негодницу, наконец сумели забрать у мужа, а мингрелы грозятся ночью приехать за ней на танках, и что привезли ее к родичам, живущим около оврага за волчьим логовом, то есть в самом центре деревни, около правления.

Общественное мнение, хранимое женами, верными постылым мужьям, и девицами, целомудренными от невестребованности, привела в негодование эта весть. Пусть едут на танках хоть среди бела дня, мы девицу не отдадим! Эти люди были не только храбрецы. Эти люди, в отличие от древнегреческого мудреца, знали, что знают все.

И вот в одночасье новость перелетела через все овраги, рытвины и ложбины. И теперь каждая женщина деревни, желала она или не желала отрываться от сбора *зеленого золота*, а также от семейных дел, которые тоже у женщин оставались, должна была посетить эту семью у волчьего логова и выразить ей свое возмущение поступком Наалы. Глаза у женщин этой деревни служили зеркалами душ. В глазах их, узких горлышках души, отражалось содержимое: застоялая, тухлая тоска.

– Что она сделала, что она сделала! – считала своим долгом пробормотать каждая женщина, проходя мимо Наалы, но пряча при этом горлышко души.

Хозяйка благодарила соседок за то, что пришли выразить сочувствие. Тут же неизменно подчеркивалось, что семья старца Батала не заслуживала такого удара. И, уходя, женщины снова повторяли: «Что ты сделала!» – но уже обращались к Наале. А то ведь неприлично обращаться сразу, пока не познакомились! Затем, по-прежнему пряча глаза, прикасались к ней кончиками натруженных пальцев. Они, конечно, сочувствовали ей, но это сочувствие надо было скрывать, как этого требовали обычаи: эта странная смесь колхозного устава, навыков, полученных от общения с многочисленными почетными гостями председателя клана, а также веры в светлое будущее.

Наала сидела у окна и глядела на дикую хурму у края волчьего оврага. Каждый раз она вздрагивала и холодела от прикоснове-

ния этих пальцев. Спрятаться, уединиться ей было негде, потому что в осеннюю стужу вся семья собиралась у камина в отдельной пристройке, а двухэтажный дом стоял, пустой и стылый, в ожидании дорогих гостей. Облетевшая осенняя хурма, прозрачная и изящная, как на японских рисунках, только и утешала взгляд девушки.

Склон, изуродованный чаем, эта нежная хурма, а за ними – даль, и только даль, которая сейчас не радовала девичьего взгляда. Где найти слово, которое способно было бы выразить ее тоску? Я не найду такого слова! На склоне появился всадник. Он как-то враз очутился на косогоре, как унылый призрак. Это был отважный бригадир из села Хаттрипш. Неужели и он – сюда? Да, он был именно сюда!

Бригадир не только объяснил хозяевам, что поступок Наалы – свидетельство непокорности молодежи, но подчеркнул, что он его отчасти понимает, поскольку сердцу не прикажешь, как остроумно было написано в прекрасной газете «Аргументы и факты», и, ища поддержки у Наалы как у образованной девушки, встретился с ней взглядом, но что-то ему не понравилось, ибо он добавил:

– Но почтенный Батал был просветленным старцем!

Наала приняла решение.

Родственники к ней относились хорошо. Переживали, что она ничего не ест. Попросили бригадира уговорить ее съесть буйволиную простоквашу, которую можно резать ножом, как сулугун. Бригадир порезал ножом и съел простоквашу. И Наале тоже строго рекомендовал. Она отказалась: разве молодежь слушает старших!

Прибегала к Наале маленькая девочка, ее соседка по Хаттрипшу. Она как раз гостила по соседству. Хозяйка Наалы повелела этой девочке: «Уговори землячку поесть!» Всякой еды было навалом, но Наала не ела ничего, как будто хозяевам было жалко. А хозяевам вовсе было не жалко.

Эта замечательная девчушка, казалось, все понимала. Хотя что может понимать семилетняя. Чувствуя детским умом, что это возбраняется, хотя ей никто не делал замечания, девчушка подкрадывалась к Наале, когда этого не видели хозяева, и, поцеловав ее, отбегала прочь. Глаза у нее были такие же большие

и синие-синие, как у самой Наалы. Сегодня девочку увезли в Хаттрипш. Наала через нее передала весточку Кесоу.

К вечеру поток сочувствующих женщин резко увеличился, но и прекратился скоро, как только дымчатая мгла покрыла изящные рисунки ветвей хурмы и стало темнеть. Зимой в деревне не смотрели телевизор, потому что телевизоры стояли в нетопленных гостевых домах. И люди ложились рано. Вскоре и домашних стало клонить ко сну.

– Ложись и ты. Что же тебе, бедняге, мучиться-то, – сказала хозяйка. И это прозвучало так, словно она сказала: «Что же тебе, бедняге, мучиться! Ты и так, несчастная, осрамила перед людьми и старика, и родителей, и нас всех!»

– Можно, я немного посижу одна? – попросила Наала.

– Конечно, конечно, – сказала хозяйка сочувственно. – Только перед сном не забудь завязать огонь.

Завязать огонь – это значит засыпать угольки на ночь золой...

Неохота рассказывать!

В Хаттрипш приехали поздно, но девчушка, чувствуя, что это важно, нашла Кесоу и передала от Наалы весть.

Не прошло и получаса, как Кесоу уже допытывал ее:

– Так она и сказала?

– Да, так и сказала, что просит простить ее.

Он еще порасспрашивал умную девчонку о ситуации, в которой пребывала Наала в этом колхозе, только коротко и быстро. А потом забежал домой, сунул за пазуху наган и – к Нике. Еще развалюху пришлось чинить, еще бензин доставали в Академии – так проходило драгоценное время. Машины, и на прекрасном ходу, были у многих, но дело это было такое, что нельзя было посвящать в него чужих. Только к полуночи они прибыли в соседнее село, подъехали, наконец, к дому у волчьего оврага, но, уже издалека завидев, что весь дом освещен, поняли, что опоздали. Потому что Наала... Когда все легли, она завязала огонь, как велела хозяйка, потом переоделась во все чистое, надела купленные ей в Пицунде Могелем белые джинсы, чтобы не предстать после в неприличном виде; потом незаметно покинула придел и вышла к оврагу, где стояла уже облюбованная ею днем хурма, и на уже облюбованной ею днем ветви повесилась на шелковом ремне, дура.

Господи, прости ее, грешную!

Кесоу после этого ушел из села, и ушел, как оказалось, навсегда. Два года он был в Москве. Возвратился в Абхазию, когда начала создаваться Национальная гвардия. Но в Хаттрипш он больше не приезжал.

14 августа 1992 года началась война. Хаттрипш находился у трассы, и вся его низинная часть была оккупирована в первый день.

А 14 декабря 1992 года Кесоу, боевик и командир, летел по вызову в Гудауту на российском вертолете. Кроме него на борту был еще один боевик, а все остальные были женщины и дети, выбиравшиеся из блокады. С Кесоу вместе летела его русская жена Наташа, которая скоро должна была родить ему сына. Борт, в котором находился шестьдесят один человек, был сбит над селом Лата. Все сгорели.

Витязь Хатт из рода Хаттов дал имя вашему селу, когда после солнечного изгнания люди вернулись в низовья.

Вы же переименовали его в краснознаменный колхоз!

Глаза даны человеку не для сбора чая, а чтобы иногда поднимать их к небу.

Не всем дано узреть Золотую Стопу Отца, а только чистому сердцем.

Но к небу воздевать глаза нужно всем.

Должны искать глазами в горнем мире над нами Золотую Стопу Отца.

А вы из-за чайных своих рядов только и видите мелькание копыт лукавого!

Никогда не заглядывала справедливость к вам. Ишак справедливости упирается у входа в вашу деревню и не идет вперед ни шагу.

Еще другие не хотят справедливости, но на людях лгут, будто следуют ей.

Вы же считаете справедливость пережитком старины и открыто смеетесь над нею.

Скоро придет враг, и некому будет принести вашим же сыновьям в окопы кусок чурека, потому что вы разбежитесь по горным деревням.

Вся ваша жизнь – обида на матушку-землю, что не справляется с требованиями ваших желудков. А если нивы тучны урожаем, то печалуетесь, что трудно убирать.

Когда люди сеют просо, вы сеете соль. И муха съедает вам посев на корню.

Сегодня вы к своим грехам прибавили еще один.

И я, Платон, получивший знание от Батала, говорю вам, что не спасетесь, пока зубами не вырвете все корни чая.

На уютной зеленой лужайке, в тени раскидистой шелковицы, сидел Платон, беседуя с Баталом.

– Егей, жизнь! – услышал Платон.

Это Батал пригласил живого старца присоединиться к молчаливой беседе. Но когда Платон стал следить за его мыслью, как мы следим иногда за движением лосося вверх по Кодору по редкому мельканию на зыбкой поверхности красного гребня его хребта, он увидел, он услышал упрямо плывущее вверх по реке раздумий видение народа и беды.

– Да, жизнь, вообще! – ответил Платон. – И не ведал я, что такие испытания суждены народу, вообще!

– Знание остается. Туда, где Полнота, мы ничего не забираем с собой, кроме личных и общих грехов.

– Вообще, – сумрачно пробормотал Платон.

О базаре

Летний вечер. На райцентровском базаре в сутолоке торговли неожиданно раздался страшный вопль.

Все, кто был на рынке в этот оживленный час, – и торговцы, и покупатели – перепугались: не начались ли уже *столкновения*, которых, естественно, опасались, считая, однако, их неизбежными.

Нет, по хорошему поводу был этот вопль! Это был крик радости, это был глас исполненной мечты!

Это вопил Паха.

– Ядри его бабушку! Эй! Уй! Нашел!

В лавочке Исаака, в самой неприметной на райцентровском базаре лавочке, где продавался всякий утиль, она и стояла в углу, моя хорошая! Немудрено, что ее не заметили: моя золотая была завалена всяким хламом. Может, так и доехала, незаметная-милая, из алчного Сухума. Она! Это она! И каландаши на месте, и дырка у загривка! Эй! Уй!

– Что ты разорался, дурак, что это ты нашел? – рассердился Исаак.

– Давай, вытаскивай вон ту лошадку, а я мигом за деньгами! – сказал Паха и выбежал из лавки.

Он шел, бедолага, и громко радовался. Весь день был сегодня такой, что – тьфу! тьфу! – одни удачи. Вы слышали, чтобы у нас в райцентре раньше продавали такую штуковину, которую кладешь в сумку – и она, как лягушка, сохраняет холод? А он в этот день и нашел, и купил такую штуковину. Целый час по рынку слонялся, держа сто стаканов мороженого в целлофановом кульке, и это мороженое, благодаря штуковине, как было твердое, так и оставалось, несмотря на жару. А еще лошадка. Дети с ума сойдут от удовольствия! Враз, в один день он исполнит оба своих обещания сыновьям.

Он влетел в почтовое отделение, сообщая знакомой девушке номер и серию лотерейки:

– Давай, дочка, ищи «запорожец»!

– Так она к вам и попала, – вздохнула девушка и с вялым неверием в фарту взяла первый попавшийся билет. И тут же изменилась в лице. Ибо если так решит Отец наш небесный, то все будет складываться, как в кино. Этот первый билет и был тот, номер и серию которого называл Паха.

– Вот и получай свой «запорожец, а мне дай ровно пятьсот четыре рубля. На них покупаю кое-что, попроторнее машины!

– Ты что, дурень! Деньги возьми в долг, а выигрышем просто поделимся! – воскликнула честная девушка, но Паха, не слушая ее, выбежал и поспешил к Исааку. И вот через минуту, держа за пазухой лошадку, Паха возвращался домой аршинными шагами, потому что нервов у него не хватило бы ехать на медлительном автобусе.

А столкновения как раз в этот день и начались.

Мазакуаль, моя старая свидетельница, уныло бредя по городу, вышла на одно из людских сборищ в тот момент, когда это мирное сборище должно было превратиться в воинственное.

Это были абхазы, пикетировавшие школу, чтобы воспрепятствовать приему документов в ставший филиалом университет. Люди запрудили улицу Чавчавадзе. Тени от деревьев не хватало

на всех. Люди изнывали от жары. По обрывкам речей Мазакуаль поняла, что все ждут некоего Лагустановича, который обещал подойти в четыре часа, то есть скоро.

– В четыре приду с указом, запрещающим открытие всяких филиалов, – сказал он, – или же стану рядом со своим народом.

Собачьим нюхом Мазакуаль чувствовала, что тот, кого ждут, не станет со своим народом и ни к чему хорошему это не приведет. Она пустилась наутек от того места. Но не пробежала и двухсот человеческих шагов, как наткнулась в парке Руставели еще на одно сборище, уже людей другой стаи.

И тут как раз держал речь Александр Бобонадзе.

Так что ясно было Мазакуаль, что и отсюда надо рвать когти.

И она едва успела. Бобонадзе имел речь, а поодаль избивали какого-то снимальщика. И две девицы, которые это увидели, – в визг:

– Там абхаза избивают! Где мужчины!

Появление мужчин Мазакуаль не стала ждать. И правильно сделала. Там произошла жестокая драка. Погиб человек. И тут же весть об этом распространилась по всей Абхазии.

Но описывать начало гражданской войны непросто, тем более когда она тебя самого по живому... Можно прослыть необъективным.

Я – и вдруг необъективный, дорогие мои читательницы!

Но все же проще обратиться к документу, которым мы располагаем. Это очерк, опубликованный по горячим следам во внеполитическом журнале «Word & Deed», издаваемом не у нас, а за границей, причем чисто творческой организацией.

«...Поводы для ссор на Кавказе в высшей степени гуманитарные. На Кавказе войны начинают не вожди и не полковники, а историки. И сейчас резня началась из-за университета. Дело в том, что к этому времени всю шел процесс разделения гуманитарных организаций и фондов по национальному признаку. Первыми отделились от писательского союза Абхазии грузинские писатели, создав филиал грузинского союза. Его примеру последовали другие творческие союзы. И наконец – университет. Что тут такого, спросит европейский читатель. Дело в том, что в СССР – система централизованного финансирования, и Абхазский университет,

как и любое учреждение Абхазии, получал дотации на содержание из Тбилиси. Так что создание филиала Тбилисского университета означало фактически превращение Абхазского из государственного в бесхозный. 15 июня собрался абхазский митинг, где было заявлено, что эта акция – последняя в звене разрушения автономии прав Абхазии и если она приведет к кровопролитию, то ответственность ложится на противоположную сторону и т. д. Власти, явившись на митинг, заверили публику, что этого не произойдет. Само решение о создании филиала университета, кстати, было подписано тбилисским чиновником в субботний день. Кровопролитие началось 16 июля, когда, наперекор местным властям, в филиал начался прием документов. Абхазы блокировали школу, арендованную под этот филиал. Увлеченный политикой актер Бобонадзе собрал митинг через квартал от места, где собралось чуть ли не все абхазское население Сухума. Все условия для столкновения были созданы: оно началось около 16 часов местного времени...»

Паха шел, ничего этого не зная. У первой же деревни его остановила толпа, вооруженная штырями и палками.

От него потребовали ответа на то, о чем думать Паха больше всего не любил: кто он по национальности. Он был мингрел, стало быть, грузин, но родился и вырос в Абхазии и среди абхазов. А тут поди разгляди глазами, затуманенными счастьем, чей стоит пикет: грузинский или абхазский! Кроме того, обостренный интуицией, которую человеку даруют ангелы в момент, когда он может получить п...дюлей, он просекал, что национальность – повод, чтобы придраться, а причина – то, что давно никто не ехал и у толпы уже чесались руки. И Паха поступил, как ему казалось и как кажется мне самому, разумно, закричав: «А какое это ваше дело и какое это имеет значение, ядри вашу бабушку!» – но тут ведь важно было еще, на каком языке он это прокричал. В общем, начали его бить.

Паха решил терпеть, но лошадку отставил в сторонку от греха подальше. Долго его били, ядри их бабушку. Долго он терпел. Но тут гнедая моя и залетная была замечена, и кто-то пнул ее, ретивую, ногой. На глазах у изумленного Пахи ка-ак подскочит моя пышногровая и статная, ка-ак упадет в яму. Хорошо еще – в мягкую яму. Этого не следовало делать сим великовозрастным

хулиганам. Они переоценили свои силы, было же их не более дюжины мужчин. А разъяренного Паху вы можете себе представить! Как буй-вол – именно как буй-вол, а не кроткий наш буйвол; буйволом он был до гнева! – он налетел на мужиков, раскидал их в разные стороны, где они падали пожестче, чем его лошадка! Но и голова у него была на плечах: понимая, что, опомнившись, они его одолеют, он сделал то, что делать не собирался, – как сел на лошадку, как слопал еще по пути десяток стаканов мороженого! Но то он слопал по рассеянности и, опомнившись, перестал, а тут первым делом надо было саму лошадку спасать. Он сел на нее, сунул *каландаши* под загривок и – поминай как звали!

Достигнув безопасного расстояния, он все-таки слез с лошади и снова взял ее в руки, хотя она прекрасно выносила его тяжесть. Везла же она невесомо и мягко, как верховой волк.

О гневe народном

Тот самый бригадир, который, помните, чуть было не арестовал Могеля как курокрада, примчался к вечеру в Хаттрипш. Он был взволнован. Он клятвенно заверял, что все абхазы в Сухуме зарезаны, некому даже подобрать трупы, и псы лакают человеческую кровь. Сам он унес ноги, подобно Гаруну, бежав быстрее лани. И хотя в селе ему всегда не верили, сейчас маловерие было подобно малодушию. Услыхав дурную весть даже из ненадежных уст, следует ее проверить.

Как часто, путая суетливость с деловитостью, именно суетунов мы выбираем себе в бригадиры!

Подобные же Гаруну оказались в каждом абхазском и грузинском градах и весях.

В одночасье Абхазия стала подобна встревоженному улью. А тут еще выяснилось, что в тысячах людей дремал нереализованный автоиспектор. Тут опять предпочту я, милые читательницы, вернуться к вышеупомянутому очерку.

«Как только произошла первая кровавая стычка в парке, абхазы переместились на площадь Ленина и заняли оборону. Тут они выдержали несколько вооруженных нападений. С обеих сторон применялось автоматическое оружие и взрывные устройства.

Утром чрезвычайное положение было введено по всей Абхазии, но, чтобы до прибытия войск МВД СССР из Тбилиси предотвратить более серьезные столкновения в столице, власти решили, и решили правильно, вывезти одну из двух враждующих групп из столицы. Легче было удалить абхазов, которых было меньше числом. Это не составило труда, как только Народный фронт, получив право от властей на своеобразный тактический обман, пообещал, что в городе Гудауте мужчины получают оружие и будут десантированы по предусмотренному плану, тогда как женщины и дети в той же Гудауте будут в безопасности.

Большого побоища в Сухуме избежать удалось, но тут начались безобразия на дорогах. Люди, вооружившись кто во что горазд, высыпали на трассу. Останавливали машины, проверяли документы, мужчин вытаскивали из машин и избивали. Уже стали появляться удалыцы и герои.

Взаимный страх и подозрительность завладели умами. Сосед стал подозревать соседа, с которым прожил рядом целую жизнь, в намерении устроить в его доме погром. И раз так, сам морально готовился к погрому же.

До погромов все-таки не дошло – я свидетельствую. И не слышал я также о фактах изнасилования. Сказывались еще традиции добрых взаимоотношений в быту между этими двумя народами, весьма сходными по обычаям и одинаково ортодоксальными христианами, а по сути атеистами. Избиений же было много. А главное, был преодолен некий моральный рубеж: абхазы и грузины вступили в отношения кровников.

Отсутствие информации способствовало нарастанию зла. Хотя, с другой стороны, хорошо, что люди не смотрели телевизора и не читали газет: все стояли на уличных пикетах. А в средствах массовой информации началась самая что ни на есть вакханалия. Политики и газетчики тут же перевели на проценты соотношение жертв по национальному признаку. Список погибших перевалил за второй десяток. О жертвах в основном в процентах и сообщалось. Число непосредственно погибших в уличных беспорядках увеличивалось за счет несчастных, с кем мафия свела под шумок старые счеты.

Не видать было сил, действительно призывающих к миру».

О кровавом рассвете

После смерти Хозяина Мазакуаль стала падать духом. А после отлета Его Божественной Милости она стала попросту опускаться. Могла Мазакуаль, конечно же, поехать к Старушке, если та еще жива, но столь длительные расстояния домашние животные не могут преодолевать самостоятельно. Она вдруг враз потеряла жизненную цель. Единственным живым чувством, которое оставалось в ее груди, было желание мести. Жажда мести живуча не только в сердцах людей, но и любой Божьей твари. Вяло, но она все же продолжала искать обидчицу. И сейчас держала утку, которую припасла на обед, но могла пустить и на наживку.

Взглянув в глаза красному, пугающему восходу, с совсем не утренним унынием в сердце, Мазакуаль свернула с набережной и вышла на проспект Мира в городе, где совсем уже не было мира.

«На рассвете край неба кровав, красная всходит трава. На рассвете кто-то взглянул на кровь, принимая ее за зарю» – вспомнила она слова Арсена. Мазакуаль, несмотря на свою неграмотность, признала и полюбила поэта – одна из первых вслед за эстетамипавлинами. «Так и не получил Арсен признания при жизни, зато после того, как он трагически погиб, попав на стол неформалам, отовсюду стали выискиваться его закадычные друзья, а чуть ли не каждая вторая смазливая курочка между реками Гумистой и Келасуром не стесняется публично заявлять, что именно она могла претендовать на место хозяйки в его сердце, – думала Мазакуаль, раздраженно торопя свою утку. – Даже люди разных стай стараются перетянуть его, мертвого, каждый на свою сторону». А между тем Мазакуаль, знавшая его в последнее время ближе всех, может засвидетельствовать, что Арсен Междуреченский был поэт до мозга костей и совершенно чужд политики.

Навстречу ей шли два человека с носилками. Судя по тому, что они были без белых халатов, это не были санитары. А главное, человек, которого они несли, был уже не человек, а труп. Они несли *свой труп*. Они несли его как-то торопливо и, оглядываясь, словно опасались, что даже труп у них могут отнять. Такая вот картинка курортного городка в разгар сезона! С еще более испорченным настроением она пошла дальше.

И вдруг – кого она видит!

Прошмандовка! Пани-курва! Регина!

Вот она где идет! Идет сама, и хозяин ее не сопровождает.

Ну что ж! Мазакуаль, вперед! Утка на месте, злость на месте! Держись, обидчица.

Но мстительному пылу собаки было суждено угаснуть немедленно, как только она увидела врага с близкого расстояния. И где та холеная *кекела**, которая брезгливо и походя укусила ее на пляже? Навстречу ей шла сломленная псина, навстречу ей шла *обиженная*. Она шла, проклиная себя и целый свет, и голодные пяточки ее глаз были полны слез.

– Что с тобой, дуреха? – спросила Мазакуаль, смело выйдя ей навстречу. Было трудно понять, узнала ее Регина или нет, но она так была рада какой-нибудь знакомой морде, что тут же подскочила к ней и стала радостно ее обнюхивать.

Шестой день не ела ничего! Ни гамбургера, ни копченой колбасы, ни «педигри»! Хозяин бросил ее и уехал!

Уехал, видите ли, в Гудауту!

Не имея никакого желания разговоры разговаривать с ней, Мазакуаль уступила бывшей неприятельнице утку и пошла прочь. Целую утку, если эта чистоплюйка догадается ее разгрызть, а то вполне может статься, что она ни разу не пробовала сырого мяса, а все по-господски: свежесваренную или копченую птицу. Ничего, голод всему научит!

Читатели! Недаром говорят в народе: сделай доброе – и брось в воду. И воздастся тебе само. Что касается Мазакуаль, горняя благодарность настигла ее на первом же повороте.

– Мистер Лоткэнз! Мистер Лоткэнз! Кэйс! – воскликнула иностранного вида барышня, присев перед дворняжкой и так смело почесав ее за ухом, что самой Мазакуаль это польстило, и она смягчилась. – Вы только посмотрите! Сдается мне, что это *кромфорлендер*!**

Парень, которого она звала, стоял неподалеку, что-то переписывая в блокнот со стенда неформалов. Он немедленно примчался на зов и тоже сел на корточки перед дворнягой. Концы его седых, но довольно густых волос, стянутых пестрой лентой,

* Прозвище кокетки (груз.).

** Крепкая и пропорционально сложенная сторожевая собака небольших размеров, тип шерсти которой может варьировать от грубоватой и жесткой до удлиненной и прямой. Окрас преимущественно белый с рыжими (разных оттенков) пятнами на спине и голове. Уши висячие.

приятно щекотнули ее по мордочке. Патлатый тоже потрепал Мазакуюль по шее. Это были новые для Мазакуюль ощущения: никто ее ни разу в жизни ни за ухом не почесал, ни по шее не потрепал. А дальше – лучше!

– Вы правы, леди Юнон. Все характерные и типичные приметы налицо. И это наиболее ценная и редкая разновидность – жесткошерстная! – И погладил собаку по шерсти.

– И бронзовые пятна расположены удивительно симметрично на белом фоне. Вернейший признак. – Девка тоже погладила собаку. Его и ее пальцы встретились на жесткой шерстине Мазакуюль.

Слушай, Мазакуюль, слушай!

– Но откуда в этой дыре взяться кромфорлендеру, который и на Западе-то редкость! Они – *врожденные охотники*.

Слушай, бедолага, и не дыши!

– Я могу вам это объяснить. В начале века в Мингрелии, а именно в Зугдиди, жил сын маршала Мюрата, женатый на грузинской княжне. Он был большой знаток редких собак. Породы, завезенные французом, потом вполне могли оказаться в руках простолюдинов. А попасть ей, сучке моей...

Эта непристойность покорежила слух девственницы Мазакуюль. Но ничего, ничего, терпение!

– ...из Зугдиди сюда попасть – дело нехитрое. В этом городе чуть не половина населения – из Зугдиди.

– Но позвольте, а как она могла сохранить породу?

– Разве вы не знаете? Кромфорлендер – порода собак чрезвычайно гордых... Совершенно верно!

– ...особенно в том, что касается вопросов секса. Скорее дочь испанского гранда выйдет замуж за простого мучачо, чем дама этой породы согласится на случку с кем-либо, помимо своей породы.

Точно так, без всяких преувеличений! Молчи, Мазакуюль!

– Ну что, *Дуэнья*? – патлатый потрепал собаку по голове. *Дуэнья* – так *Дуэнья*. А чем оно хуже прозвища Мазакуюль, и кто это прозвище помнит!

– Поедешь с нами в *Атланту*?

«В Атланту – так в Атланту», – подумала собака, только говорить не могла. Не знала она, что это за деревня, но – куда угодно, только подальше от этих мест!

Осень витязь Хатт из рода Хаттов проводил в горах со стадом коз. Уже становилось холодно; он разжег атасва, то есть огонь. Он сидел у атасва, глядел на небо, давая названия созвездьям.

Молния ударила в дуб. «Атасви», – сказал он, что означает «бьющий огонь». Осенью он был в горах со своим стадом коз. Он залег в тени, играя на свирели, – и вдруг заметил, что козы его оживлены. Он заметил, что козы его оживлены, потому что попробовали незнакомого ему цветка. Желая узнать, что это за цветок, столь ожививший коз, он сам попробовал сока его лепестков. Хатт попробовал этого цветка. Козы продолжали плясать, а он лег ниц на землю.

Вот встану я, и – куда ни пойду, куда ни прочерчу себе дороги от места, где лежу в печали, а от точки, где я лежу в печали, я могу прочертить сонмище лучей-дорог, – и повсюду мои лучи-дороги перерезает смерть. Смерть – это круг, внутри которого я заперт.

И от этой догадки он почувствовал себя одиноко. Познав свою запертость в круге жизни, за чертой которого смерть, он почувствовал такое одиночество, что его потянуло к людям. Он поспешил к ним.

Уже становилось холодно. Встав на косогоре, он увидел людей, собравшихся вокруг огня. «Атасваз», – сказал он, что означает «собравшиеся вокруг огня», а сегодня это слово понимается как «кольцо». Ибо нельзя вокруг огня рассестись иначе, чем кольцом, то есть кругом.

Люди, сидевшие вокруг огня-атасва, тянули руки к его теплу. Их руки, как спицы, тянулись от круга к центру, где точка огня.

Люди заметили его. Они встали и побежали ему навстречу. Обступили его кругом, ибо обступить нельзя иначе, чем кругом, и тянули к нему спицы рук.

– Учитель людей! Тот раз ты нам показал, как разводить огонь. Нам стало и теплей, и счастливей, и уверенней. Что принес и что покажешь ты нам сейчас? – спрашивали они его.

Когда-то было ему так одиноко, что в сердцах он высек огонь из кресала и принес его людям. А сейчас он видел Атасваз, он видел Круг жизненного плена, и сейчас он задыхался внутри этого круга. Но люди ждали и надеялись. И Хатт сказал им:

– Я покажу вам Золотое колесо!

И научил людей пользоваться колесом.

Эпилог

О запахе звука

Когда Лагустанович почувствовал, что приближается неоднократно воспетое им в поэмах *Ничто*, в которое должен человек буквально кануть, когда угаснет свет этой жизни, прекрасной и полной борьбы, он стал неторопливо прощаться с близкими и родными. С некоторыми, самыми любимыми, он попрощался несколько раз. Кое-кто, чего тут таить, считая, значит, что смерть – это нечто, имеющее отношение к именитому родственнику, но не к ним, счел, что Лагустанович их несколько утомил. Но смерть имеет обыкновение хотя бы раз в жизни являться даже к тем, кто и думать о ней не желает.

Имярекба, которому передали, что Григорий Лагустанович зовет его к смертному одру, не сразу смог выбрать время и пришел только на третий день. Но и Григорий Лагустанович, в свою очередь, не умер, а дождался, коли звал.

По просьбе умирающего их оставили наедине. И только тогда он заговорил:

– Я должен сообщить тебе нечто важное.

Имярекба даже подумал: если речь пойдет о кубышке партийного золота, что может быть припрятана старым государственным где-нибудь у родичей в горах, то оно не помешало бы: он отдаст его в Народный фронт, не все, конечно, часть...

Но речь пошла о другом. Кубышка, если была, досталась Хасику и только Хасику.

– Тебе должно быть известно, кем я тебе прихожусь.

– Известно, – ответил молодой ученый, предполагая с некоторым раздражением, что сейчас старик заговорит о своих стараниях в его воспитании и карьере.

– Ты должен сейчас узнать, кто тебе настоящая мать.

– А разве *она* не умерла?

– Нет, твоя мать живет и здоровствует. Твоя мать, да будет тебе известно, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, депутат и т. д. и т. п. – Имярекидзе, – перечислил Григорий Лагустанович со свойственной ему педантичностью, рискуя не успеть договорить.

Тут я должен, даже прерывая умирающего, еще раз подчеркнуть, милые читательницы, и не в сносках подчеркнуть, а непосредственно в тексте, что все имена здесь вымышлены, даются как сатирические образы и не следует искать им жизненных аналогий!

– Был я тогда заведомо обкома компартии по агитации и пропаганде и курировал всю работу, касающуюся идеологии. Время, безусловно, было сложное. Некоторые ошибки и перефразы мы сами признали, однако боролись же. Письмо, написанное нами в ЦК ВКП(б) в 46-м – в 46-м, я подчеркиваю... – вдруг Лагустанович вспомнил, что времени мало, и печаль выступила на мужественном его лице. Он вернулся к теме: – Когда у нас родился ты, – мне было проще это устроить, – я отдал тебя на воспитание своему фронтовому другу, который как раз был заведомо гагского торгового куста.

– А почему же вы с ней не поженились?

– Это было невозможно. Вся ее жизнь отдана ее народу, а вся моя жизнь – моему.

Григорий Лагустанович замолчал, тяжело дыша. Но замолчал он не на точке как бы, а на точке с запятой, поэтому Имярекба опять подумал, что теперь старик уже напомнит о своих нелегальных стараниях в его воспитании и становлении. Но опять недооценил деликатность Лагустановича.

– Ты принес счастье семье, в которую попал. До тебя у них три года не было детей, а после тебя в течение шести лет родилось семеро. – Старик перевел дух и горестно добавил: – А несчастлив был я. Мне самому в конечном итоге пришлось взять Хасика на воспитание. Но что из него получилось! Не работает, не учится, не женится.

Старик снова умолк. Имярекба ждал, чтобы задать несколько важных для него вопросов. Но когда Лагустанович пришел в себя, он сразу заговорил сам:

– Знаешь, когда я был по-настоящему счастлив? Месяц в детстве, когда кочевал с цыганами. *Помогай им...*

Плачьте, романэ! Плачьте, семь жен Бомборы Мануш-Саструно! Умирает начальник, депутат, ваш защитник-найко! Скоро начнется война! Вас пограбят и выгонят из Старого Поселка. И вместе

со всеми сухумскими, вместе со мной, вашим современником и сопечальником, вы покинете город, громко голося и горько плача. Уплывет ваш табор на грязной барже, покидая родную бухту!

А Григорий Лагустанович опять забылся; придя же в себя, опять не дал спросить. Надо было успеть о политической ситуации.

– Как он там, твой брат, среди диких горцев! – кажется, забредил он. Но взгляд имел осмысленный. Имярекба уже ждал, когда старик напомнит ему о дяде, который уже один среди алчных европейских дипломатов, но Лагустанович об этом не сказал. Но даже на смертном одре государственный и поэт оставил за собой последнее слово:

– Трудное время досталось вам, молодежи. Но устои выдержат, фундамент крепкий. Что мне сказать тебе напоследок? *Надо волюнить...*

И Григорий Лагустанович умер на руках у раздраженного Имярекбы. Далеко ли до Хвоста Земли, мама?!

Ника Хатт ехал на своей сборной «Волге» из Сухума, где он сдавал барону Бомборе Кукуновичу туфли «Цебо». У въезда в Гульрипш ему повстречалась целая колонна танков. Он сначала подумал, что это русские передвигают технику, но потом смотрит: люки открыты и оттуда выглядывают самые настоящие разгильдяи и оболтусы. Было ясно, что это свои: абхазы или грузины. Но насколько Нике было известно, абхазы танков не имели. Может быть, успели обзавестись? Танки как раз сломались и остановились. Бойцы повыскакивали из машин: кто бросился чинить моторы, кто бросился ругать технику, а большинство ка-ак налетит на алычу, стоявшую над забором знакомого Нике свана, что в несколько минут на дереве осталась разве что кора. «Кушайте, бичебо, кушайте, – лишь добродушно приговаривал хозяин. – Тоже мне солдаты, ядри вашу мать!»

«Была бы бузина, он бы вам не позволил!» – подумал Ника. Это мингрел возмутится, если станут грабить его алычу, потому что именно из нее он гонит чачу, а сван предпочитает *арак* из бузины.

Он вышел из машины и подошел к танку. Собственно, это был не совсем танк, это был БМП, но тогда еще наши люди так не различали технику, как различают сейчас.

– Учения идут? – спросил танкиста по-грузински Ника.

– Ты грузин? – обратился к нему парень с вопросом на вопрос.
– Нет, абхаз.

Пауза. Боец с застенчивым любопытством изучал абхаза, который и зубами не кладал, и по-грузински говорил.

– *Восстанавливаем территориальную целостность Грузии*, – успокоился и объяснил он.

Ника не понял.

– Войной пошли на нас?

– Почему *сразу* войной?! Выпьем воды из древней грузинской реки Псоу и вернемся. Святой отец тоже с нами едет, – сказал боец, поправляя на голове шлем.

В этот поход, действительно, грузинские отряды доехали до Псоу, пограничной речки между огромной Россией и маленькой Абхазией, поп освятил воду реки, бойцы из нее шлемами почерпали, и армия вернулась в Тбилиси без конфликтов, если не брать в расчет инцидент на турбазе Дурмишхана Джушкуняни, где подвыпившие бойцы расстреляли и зажарили двух лебедей и князя Рабиндраната.

Князь Рабиндранат приходился кузеном Его Божественной Милости. Во время длительных голоданий махатмы кузен был ему постоянной опорой. Махатма как закутается, бывало, в сари и прижмется к камандалу, – орел голода с высоты своего полета не замечал его тщедушной фигурки, – и незаметно проходило сорок дней, а у князя продолжалось опасное отсутствие голода. И тогда приходил к нему Рабиндранат и пением на лютне услаждал брата и ласково уговаривал его прервать голодание. Но мы отвлеклись, а тут разворачиваются плохие дела, в нашем *мире отражений*.

Ника больше не стал говорить с танкистом. Он вспомнил слова Кесоу, что надо готовиться к войне. Тогда он не придавал этим словам значения. Теперь же он разглядывал его хладнокровно и с ненавистью и так сжимал кулаки, что ногти впивались в ладони. Обошел несколько раз кругом. И тут же успокоился.

«*Это же – трактор!* – подумал он. – *Как можно его бояться! Я возьму его голыми руками, если понадобится!*»

И он поехал, морально готовый воевать. Придет война, и буквально на третий день Ника Хатт с двумя приятелями действительно голыми руками возьмут тяжелый танк Т-55.

А парень, с которым он перебросился парой слов на грузинском, подумал про него:

– Вот нормальный абхаз, не сепаратист. Этот не станет с нами воевать, а скажет спасибо, что мы принесли ему свободу!

Нас так учили!

То был еще 1989 год.

Наспех запахнув тогу, *Legatus pro praetore* Легиона Белых Орлов стремительным шагом вышел к портику дворца.

Одна пола его халата зацепилась за пояс, обнажая мохнатую ногу. Посол претора был крепок, но упитан, как и положено патрицию, часто меняющему походное седло на пиршественный триклиний.

Казимир Остапович Лодкин, украинский журналист и представитель творческой организации «Word & Deed», тут же отметил эту деталь и решил ее запомнить, чтобы написать о ней с иронией в московской газете, которая его заблаговременно прислала в Сухум, хотя в Москве никто еще не знал о готовящемся вторжении.

Начинали происходить дела. Так что становилось интересно и журналисту, и чемпионке Эстонии по стрельбе Юлоне Петерсон. Они успели стать свидетелями трехдневного боя в центре города с применением вертолетов, артиллерии и танков. Казимир Остапович сделал много набросков, а Юлона успела испытать подаренный претором СВД* с оптикой. А на этот момент, на утро 18 августа 1992 года, *по взаимной договоренности*, абхазы уже отступили за реку Гумисту, западную границу Сухума, грузины уже отошли за Келасур, восточную границу. Но в город еще не вошли.

Прежде чем выйти на балкон, *легат про преторе* предусмотрительно разъяснил своим гостям:

– Знаю: вас несколько озадачит то, что я сейчас намерен сказать моим орлятам. Но если я не скажу им этого, ситуация выйдет из-под контроля.

Журналист заметил зеркало. Зеркало было прислонено к перилам балкона как бы невзначай, но, скорее всего, было выставлено вчера. Журналист догадался, что сходство с легионером ему предлагается. Но он мог быть и слишком подозрительным. Все-таки прежде, чем выйти послушать историческую речь,

* Снайперская винтовка Драгунова.

Лодкин иронически накинул на плечо пучок прутьев, связанных бордовым ремнем, – символ ликторов. Пучков всего было шесть, потому что именно шестерым ликторам положено сопровождать после претора, но они к этому моменту куда-то разбежались.

Легат приготовился говорить. Он полагал, что его друзья остаются в покое, потому что в зеркале наблюдал только за собой, упуская задний план. Иначе он, воспитанный человек, ни за что бы не извергнул воздуха в их присутствии.

Оратор глотнул в полные легкие свежего утреннего воздуха субтропиков. Но, читатель, походная жизнь сопряжена со случайной кухней и, стало быть, с проблемами желудка, а генерал был мужчина уже немолодой (по традиции легат должен быть не моложе сорока трех лет), хотя и полный сил и здоровья; одним словом, в тот момент, когда сладостно подтянулся, он выпустил газы, причем так резко, что полы его кизилового цвета халата затрепетали, как знамя. Будучи воспитанным человеком, он тут же подумал о гостях, не услышали ли они непроизвольного звука. Но тут внизу столько танков выпускало газы, что вряд ли они что-то учуяли. Танки выпускали еще смрадный запах солярки, в котором, как он надеялся, должен был потонуть *запах звука*, но дело в том, что запах звука изучен не до конца.

Оратор выдвинул вперед именно обнаженную ногу в сандалии и выкинул вперед руку – не ту, которая была сунута за ворот халата, а другую, правую. Внизу, готовое ему внимать, его воинство скребницами чистило танки. Замерев в великолепной позе, легионер ждал, когда станет достаточно тихо. Журналист вышел послушать, а Юнона, ввиду деликатности своего нахождения здесь, осталась в отдалении.

Оратор начал речь. Она была коротка.

– Сограждане! – воскликнул он.

Во-первых, он действительно чувствовал всю *волнительность момента*; во-вторых, с этим сбродом, который где и как он набирал – ему ли не знать, с ними надо говорить театрально, иначе они не воспримут; в третьих, еще надо было перекричать танки. И вот, когда он вскинул руку и воскликнул «Сограждане!», снова у него случился выхлоп газов.

Орел, отвлекшись на красоты, не поймает зайца. Если бы претор Легиона Белых Орлов, как истинный эстет, залюбовался

утренней панорамой города, которая открывалась ему с балкона
дома Смецкого во всем великолепии,

он увидел бы,
как этим утром
прозрачен и влажен
триколор горизонта:
синий, белый, синий –
море, воздух, небо;
он увидел бы,
как на мгновение,
словно в негативном изображении,
белые крылья чаек
становятся черными,
когда они
в ленивом утреннем полете
пересекают снопы солнечных лучей;
он увидел бы,
как белесый туман,
уступая свету и теплу
хочет уйти,
но некуда ему уходить
в беспредельной открытости,
и части его,
причудливо собираясь там и тут,
пытаются притвориться лоскутами облаков;
он увидел бы,
как над классической дугою бухты
и над зелено-белым городом
день принимает очертания
прямо на глазах, –

он бы точно прозевал зайца. Но именно о зайце наживы в неподвижном ландшафте испуганного города должна была пойти речь в этот момент, потому что война требует предельной концентрации воли и несовместимости с сантиментами.

– Сograждане! Перед вами город. Он – ваш... – и легат говорил твердо.

– Опять пукнул, – сказал журналист Юноне. Оба, как выяснилось, с самого начала все слышали.

– Не люблю интеллигентского жеманства, Кази! – воскликнула Юнона с сильным прибалтийским акцентом, но на правильном русском. – Мне больше по душе слово «пернул». *Война идет!*

Война пришла.

**П
У
Б
Л
И
Ц
И
С
Т
И
К
А**

О ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВЕ



Шахан-Гирей и Мустафа

С Рождеством, дорогие читатели!

Сегодня хочется поведать особенную такую историю, потому что Рождество Христово. Ведь, берясь за перо под Рождество, каждому хочется быть добрым сказочником. Сказку мы придумаем какую угодно и, если надо, еще и былью ее сделаем, для того и рождены. Только хватит ли этой самой доброты на весь текст!

Теперь, значит, вот, как говорил наш учитель географии.

Послушайте меня, вернее, почитайте! Сегодня мне хочется пожелать вам того, чего желают на Кавказе добрые люди добрым людям:

– Многая лета!

Многая лета! Все хотят жить долго. Поговорим же о долгожительстве. А почему бы и нет! Столько ничего не значащих, звонких слов наслышался каждый из вас за эти праздничные дни, не так ли? Все хотят выглядеть веселее, чем есть на самом деле, однако каждый из нас в отдельности знает, что любой этапный день, – будь он общий праздник, или собственные именины, – всегда несет в себе печаль, потому что ум и сердце невольно подводят итоги.

Жизнь становится по-настоящему дорога, когда она начинает уходить. Это только про мудрого Саади сказали современники, что, когда он рождался, все радовались, а плакал только он, а когда он умирал – все плакали, радовался он один. Все хотят жить долго. Если даже жизнь давно не в радость, человек предпочитает влачить ее тягость, потому что перевешивает страх от

неведения того: что же за чертой? Поэт сказал: душа не ищет роскошных жилищ, она хочет лишь жить и не умирать. Терпящий зубную боль не желает идти к цирюльнику именно из страха большей боли. В боязни смерти заложена жажда бессмертия. Теперь, значит, вот...

Абхазское долгожительство когда-то было темой. А пик всемирной известности Абхазии как уголка уникального долгожительства пришелся на шестидесятые годы. Помню в детстве, как приезжали в наше село журналисты со всего мира. Живописные старики наши в живописных черкесках изображались на обложках красочных журналов мира, как звезды Голливуда.

Этот бум вскоре схлынул. Как объясняют геронтологи Запада, феномен при тщательном изучении стал вызывать сомнения. А я считаю, что эти патлатые сами сглазили наших патриархов. Ведь они заставляли их внеурочно делать то, что старики позволяли себе раз или два в жизни: фотографироваться. Снималка высасывает из человека тень.

Нынешнее же поколение нашей молодежи предпочитает столетней жизни в уединении бурную жизнь на миру.

Чемпионом долгожительства в Абхазии считается поляк, в Кавказскую войну в начале прошлого столетия перебежавший на сторону горцев. В тридцать каком-то году, когда к нему привезли гостившего в Союзе Анри Барбюса, имени своего от рождения, равно как польского и русского языков, он уже не помнил (или не помнил, помнит ли). Знал только фамилию – Шапковский. Звали старика Джидж, и было ему 164 года. Барбюс его зафиксировал, и он вскоре умер.

Другого долгожителя, Шахан-Гирея Бжания на 147-м году жизни посетил Джон Пристли. «Три года понадобилось мне, чтобы научиться говорить, и сто лет, чтобы научиться молчать», – признался он англичанину, который при этом кадр за кадром выкалачивал из старика тень.

Конечно же, и он умер, как только отъехал именитый гость, как те жители потаенной таежной деревни, погибшие после того, как их нашли и к ним хлынули журналисты, орудующие снималкой.

Джон Пристли проделал это в сорок шестом году, откуда читатель может вычислить, что Шахан-Гирей родился в один год

с Пушкиным. Историю Шахан-Гирея я знаю хорошо, потому что он был нам родственник. Его первая жена приходилась родной сестрой Софье Григорьевне, моей бабке по отцу. От нее у Шахан-Гирея была дочь. Когда Андрей Битов гостил в Тамыше, старушки уже не было в живых. Писатель увидел траурную вывеску на доме, на которой значились даты ее рождения и смерти: 1880–1982, подивился, что старушка родилась в один год с Блоком, и вывел ее под именем «Блоковской старушки» в романе «Оглашенные».

В первые годы советизации старик Шахан-Гирей овдовел. А было ему так много лет, что страшно сказать. Он остался один, и родные решили женить его на вдове, чтобы она присмотрела за стариком, пока он жив. А после его смерти ей бы досталось его нехитрое добро. Вдовья доля тяжела, в особенности если у нее нет детей. Возвратившись в отчий дом, она застает свое место занятым: там хозяйничает сноха. И потому в деревнях вдовы, даже в пожилом возрасте, часто выходят замуж, оговаривая порою, чтобы новый муж не бесчестил их неуместным постельным молодецеством.

Теперь, значит, вот... Решили родственники: женить старика, чтобы жена в те несколько лет, что старику осталось жить, послужила ему как бы санитаркой. Но сам Шахан-Гирей думал иначе. И потому, отправляя всадников за молодой, он позвал моего отца, которому было двенадцать лет, и отправил его на скакуне впереди процессии, потому что у отца моего Бадза Тамшуговича была добрая нога. Так оно и оказалось. Вдова родила старику двух сыновей, младший из которых был директором сельской школы, которую я заканчивал. Теперь, значит, вот, год рождения старика вам известен, а директор школы родился в 1922 году. Посчитайте!

А Мустафу Чачхалия я хорошо помню. Школа, где я учился первые годы, до революции была церковно-приходской и потому окружена могилами. Перед школой растет кипарис и под ним – пять одинаковых пирамидальных гробниц. Очистив камень от хвои, можно прочесть надпись: четыре брата и сестра, родившиеся в разное время и умершие в один день (точнее, в одну ночь). Их взяла испанка. То был обычный грипп, при отсутствии антибиотиков он уносил миллионы жизней.

Свиристел он в Абхазии в 1918 году. В одну ночь старик потерял пятерых детей. Представьте ночь, когда они с женой, бегая от ребенка к ребенку, до рассвета сложили на груди руки всем своим детям. И никто ведь не пришел бы на помощь: все были или больны, или боялись заболеть.

И Мустафа не сломался. С той же женой он потом произвел на свет дочь. Рассказывали, что рядом с кладбищем, на лужайке, предназначенной для игрищ, он играл в кеброу, что-то наподобие крокета.

В последние годы он иногда жаловался на нездоровье.

Проходя мимо нашей усадьбы, зайдет, бывало, потребует колодезной воды и посидит с четверть часа с нашим отцом под шелковицей, чтобы поговорить о том, о сем. Он вообще до конца своих дней не прекратил дальние прогулки по селу. Опасаясь за старика, дочь прятала от него обувь, но это его не останавливало: он выходил на прогулку в носках. Шел по середине дороги, не признавая обочин. Машины, которых в те шестидесятые было еще немного, раздраженно сигналили, но старик не сворачивал, и им приходилось объезжать старика.

С тех пор как впервые автомобиль позабавил стариков тем, что мчался без упряжки (еще рассказывали: когда Шахан-Гирею показали автомобиль – вон, гляди, дескать, самоходная арба, о которой мы тебе рассказывали, – старец поднял голову и ясно взглянул на автомобиль, но при этом взгляд его от долгой жизни и приобретенной с нею мудрости был таким тяжелым, что от него, от его взгляда, тотчас диво-машина заглохла и из открытого лимузина, чертыхаясь, вышли совнарком Нестор Лакоба, комиссар по культуре Баграт Зантария и шофер Борислав Стоянов), – так вот, с тех пор как появился автомобиль на нашей дороге, прошло полвека, но никого еще из прохожих он походя не задел. Это в Тифлисе случилось такое, что Камо ехал на единственном в городе велосипеде и попал под единственный авто, принадлежавший председателю грузинского ЦИКа Махарадзе. Так что Мустафа гулял как раз по середине дороги, не зная за автомобилем такого качества, как способность сбить человека.

Кстати о совнаркоме Лакоба и комиссаре культуры Зантарии: пока Борислав Стоянов чинил дровяное топливо мотора, их

пригласили в дом. А старика спросили, какого из козлов забить для гостей, чтоб стыдно не было. «Вон того!» – сказал старик и взглядом сшиб козла с ног, ловить не пришлось. При этом учитите, что козы сами с нечистой силой знают ся и очень крепких нервов четвероногие.

Теперь, значит, вот... В последние годы жизни какие-то сбои в работе организма стали привлекать внимание Мустафы. «Как посижу с полчаса и встаю, то порой что-то кольнет тут, у поясицы, – жаловался он отцу. – С чего бы это, Бадз?» И не было тут старческой рисовки и кокетства; напротив, Мустафа был встревожен: колет в бок, с чего бы? Неужели он умудрился прожить сто тридцать из страха смерти? Кто знает!

И вот о гробнице, возле которой Мустафа играл в крокет, точнее в кеброу. В новогодние каникулы, чтобы верхушки сосен, которыми была окружена школьная усадьба, не срубили на елку, школьникам поручали дежурить в школе по ночам. Какие это были счастливые ночи! Ночи без родительской опеки! Мы пили вино! Мы валялись на диване учительской! У нас было ружье сторожа Виктора Цаавы!

Я выпил вина и вышел на улицу. Лег на одно из надгробий, закутавшись в плащ и вглядываясь в небо, в Млечный Путь, где трещали золотые искорки звезд. Я лежал, хмельной, вдохновенный и радостный. И конечно же, думал о нашей старшей пионервожатой.

Я лежал на гробнице и думал о пионервожатой, дочери сторожа, которую звали Циала. Она была грациозна и носила множество украшений: в волосах, на шее, в ушах, на пальцах. Я думал и мечтал о ней, сильно выражаясь про себя. Конечно же, я влюблен был в нее страстно. Но любовь моя выражалась в нецеломудренных эротических фантазиях, основанных не на опыте, разумеется, а на рассказах моего кузена-балбеса. Точно так в детстве, когда была неумная энергия, любовь к деревьям выражалась в желании залезть на это дерево. Уже в городе – останавливаюсь под раскидистым камфорным деревом и оглядываю его снизу доверху, воображая детально, за что держаться и куда поставить ногу, чтобы залезть на макушку. А сам в белоснежной нейлоновой рубашке,

техасках и туфлях фирмы «Цебо» – нельзя! Теперь я понимаю, что таким образом я обнимал дерево: я объяснялся ему в любви!

А тогда я думал о плутовке и, наверное, со мной был дух одного из парней, чью жизнь унесла испанка в такую же ночь.

Эх! А мне так хотелось рассказать вам особенную рождественскую историю. Но, как говорится, хотелось как лучше, а вышло как всегда. Послушайте стихотворение. Точнее, прочитайте.

Ночь над деревней беспредельна, глубока.
Повсюду тишина – в объеме целокупном.
Что дальний лай собак, что ближний звон сверчка –
Все стало чуждо, и роднее звездный купол.

Так телом я ленив и так душа легка!
Куда спешит душа из оболочки грубой?
А если все – обман, зачем тогда тоска,
И что это за речь невольно шепчут губы?

Душа, ты полетишь по Млечному Пути,
Где множество родных теней обнять удастся
Пред тем, как и тебе придет пора врасти

В тот мир, где суждено забыться и остаться, –
Откуда и мой дед не захотел уйти,
Умевший из любых скитаний возвращаться.

РУССКИЕ ГОРЦЫ

Путевые заметки с историческими справками и некоторыми рецептами народной кухни

Наш корреспондент побывал в Абхазии, где специально вылетел в затерянное в горах и окруженное со всех сторон горными перевалами село Псху. Трудности, которые испытывает равнинная Абхазия, изнуренная войной и последовавшей за ней блокадой, именуемой в народе «kozyревской», вынудила многих жителей покинуть этот живописный оазис посреди Главного Кавказского хребта. А совсем недавно Псху был густонаселенным местом. Осталось чуть более пятидесяти семей. Это потомки дворян и вольного казачества, бежавших от советизации. Они сохранили свои обычаи и веру. Вместе с тем тут вывелась редкая генерация русских – русские горцы. Русские, которые ходят по пересеченной местности, исповедуют горский этикет, охотятся на туров (я выдал вас, друзья!). У которых чачи – море разливанное, но пьют ее только в большие праздники или когда гости.

Эта обширная цветущая долина, к которой подлетает наш вертолет, когда-то гордо именовалась страной Псху. Есть даже книга с одноименным названием. Со всех сторон окруженная горными перевалами и отдаленная от ближайшего населенного пункта на десятки километров, долина вся представляет собой сад. От населения, покинувшего край в прошлом столетии в результате Кавказской войны, остались седые от старости, могучие грецкие орехи, груши и яблони, сорт которых абхазы называют зимним, а остальные народы – абхазским (первую пробу плодов эти яблони дают на сороковом году!). Притоки реки Бзыбь текут по середине села, орошая каменистую, но жирную почву лугов.

Но люди пьют воду только из родников, которых тут в изобилии. На окраине села – святилище, которому поклоняются абхазы, в чьих религиозных представлениях много язычества античного образца.

Еще недавно тут жили абазины, но они уехали. Когда-то они бежали в Абхазию вместе, абазины и казаки, в большинстве своем дворяне. Общая беда советизации заставила их забыть вековые распри. Прибыли в Сухум к кунаку, которого считали абреком, а тут выяснилось, что их кунак не кто иной, как председатель Совнаркома СССР Абхазии Нестор Лакоба. И в прежние времена, когда беженцы у себя на родине помогали ему и укрывали его, он был не абреком, а экспроприатором. Тем не менее кунак посоветовал гостям пробираться на Псху, где, по его предположениям, лет десять они могли быть спокойны.

Равнинные русские имеют шанс оформить российскую пенсию и выезжают за ней в Сочи, прихватив с собой тачку-вторую мандаринов. А жителю страны Псху еще надо добраться до большой земли. Но жители не унывают, надеясь, что Русь-матушка сама к ним придет через присоединение всей Абхазии к Российской Федерации.

Первое письменное упоминание о Псху принадлежит эффенди Эвлия Челеби. Этот турецкий Марко Поло сопровождал, приходясь ему родным племянником, Мелик-Ахмет-Хана, абхаза по происхождению, вновь назначенного великим везирем Блистательной Порты, то есть Турецкой империи, когда последний объезжал вверенные ему провинции. Население урочища Челеби определяет характерно: «Девять тысяч буйных мужей». Ночь выдалась для путешественника тревожная: ему пришлось наблюдать битву в небе кавалерии абхазских и черкесских джиджиков, то есть попросту вампиров. Кавалерии, потому что джиджики были верхом на мертвых быках. С неба на испуганного ученого падали сломанные копья и даже вырванные с корнем пни. Но когда землепроходец, стряхнув с платья пыль от дубовых пней, вернулся в саклю, его ждал ужин с «красным вином отличной доброты», кашей из проса (мама-лыгой) и бараниной, которую эффенди макал в острую подливу «асадзбал»: деталь, придающая правдоподобность и остальной

части рассказа летописца XV века. Князь Маршан вызвался проводить делегацию до Чечни и Дагестана, и Челеби подчеркивает его учтивость и предупредительность. Впрочем, как-то выйдя из себя, сей предводитель буйных мужей санджаком (булавой) выбил несколько передних зубов ученого, но тут же раскаялся и преподнес ему в дар трех прелестных рабынь и ятаган отличной работы. Так что дальнейший путь к Самарканду и Бухаре землепроходец проделал уже в сопровождении дев, прекрасных, как гурии, но увы, щербатым.

Летом сюда можно добираться на двухведущих машинах. За Рийей и расположенными над этим озером серными источниками Ауадхара дорога идет по ущелью, взбираясь и огибая два перевала. Но уже в начале сентября тут выпадает снег и Псху оказывается оторванным почти на полгода от «большой земли». Связь с большой землей осуществляется только воздухом. Каких-то двадцать лет тому назад здесь было не менее тысяч хозяйств. Летом сюда гнали стада. Прибывало огромное количество отдыхающих и туристов. Тут кипела жизнь. Сейчас это просто село, где осталось пятьдесят семейств. Разница, конечно же, впечатляет.

В царские времена жителей этого края называли псхувцами, нынче их называют псхинцами. Первое, очевидно, правильное по законам языка. Но мы не станем нарушать установившихся в новое время традиций и последуем совету одного партийного деятеля, который на вопрос, что правильнее: «абхазцы» или же «абхазы», ответил, что надо говорить «трудящиеся Абхазии».

В Кавказскую войну Псху так и не был взят. В 1858 году отряд свиты Его величества генерал-майора Будберга на триста ружей, семь пушек и двенадцать единорогов в сопровождении милиции владетеля Михаила Шервашидзе (на которую, впрочем, надежды было мало) поднялся к подступам к Псху среди зимы, их встретила депутация местных жителей во главе с князем Маршаниевым, потомком учтивого князя, подарившего турецкому путешественнику рабынь, встретила их с изъявлением покорности и просьбой не входить в селенья. Старейшины присягнули на верность и выдали аманатов (заложников). Список аманатов сохранился. Двоим из них было по два года. Но тут случился казус.

У экспедиции не оказалось Библии, на которой горцы должны были присягнуть. Пришлось предлагать объемистый фолиант од, драм и стихотворных сочинений Ивана Андреевича Крылова. По свидетельству участника похода, будущего кутаисского генерал-губернатора Николая Ивановича Колюбякина, князь Маршаний вдруг спросил по-французски генерала Будберга: «Это издание Смирдина, мусье?». Именно в тот миг Николай Иванович пришел к заключению, которое позже в своих мемуарах сформулировал таким образом: «Вся тайна управления кавказскими племенами в том, чтобы угадывать и поддерживать людей, коих нравственное влияние и энергия могут способствовать тому, чтобы быть им посредниками между правительством и народом, и не должно оных жизнь подвергать опасностям и случайностям войны».

Трудящиеся Псху не жалуются ни на что, они как бы опасаются, что любое сетование на судьбу прозвучит как жалоба на невнимание властей Абхазии, патриотами которой они являются. Все, кто способен носить оружие, воевали. Глава администрации Василий Кодзба имеет боевой орден. И сегодня Псху считается пограничной зоной, и люди официально имеют оружие по домам. Но жизнь тут, конечно же, трудная. Как результат разрухи, которую принесли война и последующая блокада абхазской границы с Россией, называемая в народе «kozyревской», с сухумского аэродрома могут присылать на Псху вертолет только раз в месяц. Он привозит продукты и медикаменты и увозит больных. Когда в ущелье внеурочно застрекотал вертолет (который, согласовав с редакцией, мы попросту зафрахтовали), со всех сторон, кто на лошадях, кто бегом, поспешили люди. А улетаая, мы увезли женщину с инфарктом. Несмотря на то, что на Псху два врача, один из которых вылетел в сопровождении больной, при отсутствии средств они бы ее не спасли.

Подвиг энкавэдэшника, который в 1931 году поднялся на отвесную восьмидесятиметровую стену, чтобы стащить с площадки на ее вершине схимника, я повторил из любопытства. Я поднялся по этой стене. Мне было интересно вживе представить следующую картину.

На самой вершине горы, на которую можно взобраться только по отвесной 80-метровой стене, – грот, а перед гротом – неболь-

шая площадка. В гроте живет схимник. Уединившийся от мира. Вот он сидит у порога своего жилища. Он тут и живет в молитвенной аскезе. Пища его – дикie фрукты, ягоды и съедобные корни. Тут же – родник. Вода течет тонкой струйкой, точь-в-точь как чача из самогонного аппарата, за день едва наполняя сосуд, но этого как раз ему хватает. Зато отсюда перед отшельником открывается панорама – гряда величавых гор, особенно волнующая тем, что делает неприступной для властей его уединение.

И вдруг на краю уступа появляются пальцы, наливающиеся кровью от напряжения. И следом – кокарда, а затем и лицо, тоже багровое от напряжения. Это прибыл энкавэдэшник, чтобы стащить схимника с горы. Очевидцы рассказывают, что чекист мужественно поднялся вверх, но при спуске пришлось воспользоваться помощью монаха, смилившегося со своей судьбой. Зато потом, сделав специальный крюк, он проконвоировал по околотку Псху. И поняли люди, что в этот сентябрьский день 1931 года не осталось на территории уже бывшего СССР ни одного белого пятна: советизация была завершена.

Пасечник К. сам по себе персонаж очень интересный. Он не только абсолютно русский человек, но носитель когда-то знатного и знаменитого рода; называть эту фамилию я не стану, но поверьте, что она из тех, что многие считают уже не существующими. Сам К., как и положено представителю рода древнего и вырождающегося, в некотором роде – блаженный. В силу обстоятельств он никогда в школах не учился и все, что знает, знает от знаменитого богатыря-абазина Балты, в том числе и русский язык. Вместе они строились, вместе пастушили, ну и коней угонять приходилось из-за хребта. Но последнее стоило таких трудов, как то: далекие и трудные переходы, ожесточенные погони вооруженных до зубов захребетных жителей, у которых угоняли не только средство верховой езды, но и пищу, что моральная сторона деяния сама собой отступала на второй план. В самых труднопроходимых местах Балта попросту поднимал и брал двух лошадей под мышки, а К. преодолевал участок, держась за их хвосты, – представляете! Итак, К. говорит по-русски без родов и склонений. И то ли его патрон внушил ему это нарочно, то ли сам находился (что маловероятно) в приятном заблуждении, но

представления о России и русских у К. таковы: столица России – Киев, а сами русские по отношению к абазинам представляют собой меньшинство, испытывающее со стороны большинства угнетение и произвол. «Но Балта мене никогда не обижал», – справедливости ради присовокупил мой собеседник. А собеседником его я стал таким образом. Глава нашей партии археолог Мушни Хварцкия (во время войны стал героем, а впоследствии погиб), в сопровождении ленинградского спелеолога, но тоже без снаряжения, взобрался к пещере, расположенной на скале, подобно пещере схимника, но гораздо более труднодоступной, расположенной на отвесной скале. Я же благоразумно остался внизу, в шалаше пасечника. К. подошел, между нами завязался разговор. О том, что мои друзья наверху, он еще не знал. Итак, русские в рассказах доброго пасечника представляли изобретательными в своем свободолобии. Вот на эту скалу, где наверху есть пещера, взобрался русский юноша. Абазины обещали ему, что если он достанет оттуда мед, то ему с сестрой будет дарована свобода. Юноша добыл золотистые соты. Поднялся он по стене. Прodelывая в стене дыры и втыкая в них кизилевые палки. Действительно, дыры с палками, кизил не гниет сотни лет, были видны на этой отвесной стене, что вряд ли делает правдоподобной остальную часть рассказа К. о малочисленности русских на фоне абазин. Но абазины обманули юношу. Все это рассказывалось на редкость красочно. Но, повторяю, с полным пренебрежением к грамматике языка. «Кушай ветчина», – то и дело с горской учтивостью перемежал он свой рассказ. Абазины расхохотались ему в лицо. И тогда юноша взобрался снова на скалу и бросился вниз. А сестра его, пользуясь суматохой, бежала, перепрыгнув на другой берег бурной Бзыби на том месте, где берега сходятся так близко, что сейчас несколько валунов, сваленных в каньон, создают Каменный мост (так и называется), а прежде, когда была опасность нашествия, берега соединялись сплетением диких лоз, росших на обоих берегах.

К. кивнул головой и вдруг увидел две головы, высывающиеся из той самой пещеры. Это были мои друзья.

«Свят, свят, свят!» – прошептал наш аристократ.

Друзья вынесли черепа пещерного медведя, отлично сохранившиеся. Пещера, в которую проникли наши друзья, – кладбище

пещерных медведей. Пещерные медведи, даром что верзилы, очевидно, интеллектом с нынешними бурыми соотносились как неандерталец с хомо сапиенс. Они входили в пещеру, делали несколько шагов в темноте и падали в пропасть.

Смешно, но именно тот работник аэропорта, который нас встретил в тот раз, когда мы возвращались с медвежьими черепами, и решил, что мы его разыгрываем, потому что череп пещерного медведя внешне больше похож на лошадиный, чем на современный медвежий, – встретил нас и сейчас.

«Помнишь, как ты разыграл меня до войны, показывая лошадиный череп и выдавая его за медвежий», – вспомнил этот маловер и упрямец.

ЯПОНСКИЙ ПРОДЮСЕР У ВРАТ ЗАРИ



Валентин Ежов, подаривший нам сценарий к «Балладе о солдате» и «Белому солнцу пустыни», был моим учителем на Высших курсах. Однажды он приехал в Пицунду в сопровождении японского продюсера, который ездил по всему миру, любуясь закатами, оттенки которых были ведомы ему одному. Восход его интересовал меньше: он на рассвете еще спал.

Я, писатель, сидел у окна в столовой писательского дома творчества на Пицунде и, попивая утренний чай, рассеянно разглядывал входящих в столовую. А они, пролетарии, входили поспешно, будто боясь, как бы кто не съел их завтрак. А еще говорят, что им, пролетариям, нечего терять. На столе типа шведского овощей всегда мало, и кто не успел, тот останется без бурака и капусты. Была середина осени, а в такой сезон в Доме творчества было писателей всего лишь с десяток, и то таких же незначительных, как я. Остальная публика – сплошь они, из Донбасса. Это явное большинство недружелюбно косилось на нас, членов Союза писателей. Юноша из Свердловска надписал стихами и раздарил полсотни своих книг, но труженики мягче не стали. Налицо было социальное неравенство: писатели, какие-никакие, но в номерах жили отдельных, их же селили по три человека. Да еще постылые ревновали нас к женам, для которых, простых, но читающих женщин глубинки, каждый писатель интересен, в особенности когда живой сидит в двух шагах и ест запеканку с творогом. Мы, в свою очередь, отвечали им взаимностью, за исключением того взлохмаченного юноши из Свердловска-на-Волге, писавшего драмы в стихах, как Уильям Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне: тот еще больше взлохматился и расплылся в умилении, узнав,

что кто-то где-то, то ли в забое, то ли в выходные, его трагедию читал. Это Ельцин позже заигрывал с шахтерами, и кончилось тем, что они расселись под его окнами, стуча касками по брусчатке Горбатого моста.

Постылые как раз и спешили на завтрак, неуверенно шагая по поверхности земли. С утра становилось скучно. И вдруг в предбаннике столовой как будто засияло. Сам Ежов, Валентин Иванович, известный кинодраматург, мой учитель по сценарным курсам, встал в дверях, щурясь и оглядывая зал. С ним – его красавица-жена и спутник, которому и щуриться не надо было, потому что это был товарищ восточных кровей. «Конкретная помощь Москвы братским республикам Средней Азии и Казахстана», – предположил я. А минуту спустя, когда я помчался к ним, Ежовы объяснили мне, что их спутник не кто иной, как богатейший продюсер Японии. Провинциального визга восторга я не издал; совсем еще недавно, с месяц назад, на крыльце сухумской интуристовской гостиницы я пил чачу с самим Грэмом Грином. У моего учителя – гость, а я тут. Я вызвался повсюду их повезти и все показать, только попросил, чтобы при знакомстве япошка не стал немедленно дарить мне жвачку или розовую зажигалку. Ежовы объяснили мне, что гостя никуда особенно везти не надо, потому что его цель – полюбоваться закатами, о чем ниже.

– Яби-сан, – сказал японец (а может быть, просто Яби, без «сан»), все же протягивая мне незаправляемую газовую зажигалку.

Это был важный гость. Шахтерскому большинству велели стусеваться и не путаться у него под ногами. Полного имени гостя нашего называть мы тут не станем. Ну да, скупал он акции некоторых голливудских компаний – и охотнее всего Paramount и MGM. А после того как противостояние коммунистического и западного мира фактически сошло на нет и неутомимые американцы (см. «Тихий американец» Г. Грина) стали всерьез отрабатывать вариант нового врага в лице Японии, в газетах и журналах замелькали карикатуры на Яби-сана. Продолжалось это до тех пор, пока янки все же не остановились на более дешевом и удобном противостоянии исламскому фундаментализму. Даже в России пару раз перепечатали шаржи на моего японского приятеля, сопровождая их текстами такого примерно пафоса: «Наше дело – сторона, но зачем ему тоже в бутылку лезть, Яби-

сану-то!» Можно себе представить, как разыгрывалась бы карта Курильских островов, если бы Америка остановилась на первом варианте врага и, безусловно, навязала бы его России. Но нам, повторяю, не следует в это вмешиваться. Достаточно и того, что бытового имени япошки мы не меняем: его действительно звали Яби-сан.

То было в разгар горбачевских инициатив – *perestroika* & *glasnost*, одним словом. Яби-сан как раз спонсировал фильм в рамках советско-японского культурного сотрудничества. Сценарий, разумеется, писал Ежов. И вот в очередной приезд японца в Москву Ежовы привезли его на неделю в Пицунду, чтобы он мог полюбоваться местными закатами. Именно закатами. Яби-сан явно предпочитал их восходам, а еще сын Страны восходящего солнца, да и название фильма, который делался на его иены, помнится, было связано с восходом: Аврора и что-то еще.

Восходов Яби-сан вообще не видел: до одиннадцати он преспокойненько дрыхнул. Официантки, ворча, подогревали ему завтрак, и Яби-сан дарил им жвачку и зажигалки. Зато закатами он любовался основательно. Запасшись пледом, сигаретой и дешевой зажигалкой, продюсер устраивался в плетеное кресло на открытой мансарде восьмиэтажного Дома творчества, где располагалась библиотека.

Наташа, жена Ежова, сопровождала гостя и каждый раз слегка нервничала. Но, кажется, зря: дни стояли ветренные и закаты тут были превосходны. Яби-сан, в общем, был доволен. Море, обозреваемое отсюда как с птичьего полета, казалось замершим и оттого очень далеким. Справа Гагрский мыс, слева – Пицундский, а берег, где заросли реликтового самшита плавно переливались в заросли реликтовой пицундской сосны, тоже выглядел бы замершим и совершенно пустынным, если бы не дюжина корпусов цвета слоновой кости, фаллически таращившихся из этой первозданной дикости. Яби-сан фыркал и хмурился. Наташа, сидя рядом, тоже любовалась красотой опускавшегося в море солнца, может, не столь профессионально, как заморский гость, но не менее эмоционально. Иногда, не сдержавшись, она обращала внимание на какое-нибудь там особенно красивое облачко, но Яби-сан обрывал ее почти невежливым жестом: «Quiet!»

Для экскурсии по достопримечательностям решили ждать дождя. До сих пор не понимаю, к чему эта сложность: ведь закат бывает повсюду. Но вот, наконец, выдался дождливый день, и как раз была суббота. Я решил повезти гостей на абхазскую свадьбу. Осенью свадеб много повсюду, а случайным гостям на торжествах бывают только рады, тем более присутствие таких именитых людей, как Ежовы с экзотическим спутником, молодые воспримут как подарок. Проблема была в транспорте, потому что в то время был очередной бензиновый кризис. Пришлось обращаться к местному мафиозо. Мафиозо прибыл вовремя, из учтивости выгнав из своих гаражей именно японскую машину. Гостя, еще не знающего, что хозяин наш – якудза, мы посадили впереди, рядом с ним. Яби-сан признался, что у себя дома ездит точь-в-точь на такой «Тойоте». И стал нахваливать свою машину. Он хвалил ее не как миллионер, а как-то по-шоферски. Но не успели мы отъехать и полверсты, как знаменитая японская техника вдруг дала петуха: сломалась на корню педаль тормоза – такое я видел впервые. Между тем дождь лил как из ведра. Все, кто проезжал, – а в этот день пол-Пицунды ехало на различные свадьбы, – останавливались и выходили из машин, беспощадно подставляя дождю свои нарядные костюмы: не надо ли нам чего. Наш якудза предложил нам пересест в одну из предложенных ему машин, распорядился свою лайбу отогнать на прицепе в свой автосервис, и мы поехали дальше. Яби-сан обратил внимание на то, что никто не проехал мимо, и пришел от этого в восторг. «Настоящие самураи – это вы», – сказал он искреннее. Мне было приятно это слышать. Хотя в данном случае внимание оказывали авторитету, но и мимо простого человека у нас не проедут; только в плащи облачатся неспешно, а не повыскакивают в элегантных костюмах под дождь.

Свадьба была пышная, из тех, какие обычно устраивают у нас на Кавказе даже небогатые люди, потому что хозяевам помогают всем миром. Я был гидом, Наташа переводила. На английский, разумеется, не на японский. Узнав о наших сложных обычаях (ни жениха, ни невесты на свадьбе нет: жених скромно прячется по соседству; невеста, накрытая фатой, стоит в отдельной горнице), Яби-сан еще раз сказал, что мы – самураи, если не хуже. Он при-

знался, что сам – из самурайского рода. В Японии, полагаю, нет обыкновения, как на Кавказе, каждому второму представляться князем. Тамада объявил застолью, что свадьбу почтил своим присутствием большой мастер кино, который научил своему мастерству двух абхазов. Все, кто сидел за столом, – а сидело человек триста, и молодых, и старых, – дружно встали и подняли бокалы за Валентина Ивановича. Не успел Яби-сан в третий раз сказать, что видит самураев, как наш друг-мафиозо-якудза не удержался и произвел салют из своего парабеллума. В разных уголках пиршественного шатра ему ответили выстрелами же. Что стало с нашим гостем! Хорошо, что я пишу на русском. В японском письме вряд ли найдутся иероглифы, которыми можно было бы выразить его реакцию. Таких иероглифов не создали, полагая, что они никогда не понадобятся.

Одним словом, самурай побледнел от страха.

– Надеюсь, он стреляет только в воздух? – спросил он Наташу.

На обратном пути закат, как ястреб, настиг нас на трассе. Наш кормчий слегка удивился желанию гостя, но свернул на обочину. Пока гость уходил в состояние покоя и созерцания, я отвлекал якудзу расспросами о Магадане и Коми АССР.

Вскоре как раз случился праздник урожая, который устраивается каждую осень в древней столице Абхазии, в Лыхны. Яби-сан согласился ехать без колебаний, несмотря на то, что день был погожий: случится закат – отсозерцаем его и там. На празднестве нас нашел первый ученик Ежова из абхазов. Он решительно повел нас под крепостную стену, где был накрыт стол не простецки, как в остальных местах, а с цветными салфетками и сервировкой. Нас встретили и учтиво повели к столам. Столы были расположены как раз на таком возвышении, оттуда, выпивая и закусывая, можно было наблюдать за скачками. Шумный первый ученик, с гордостью представляя учителя, чуть было не переборщил. «Это же не гости Озгана!» – прошептал кто-то, но его остановили «Quiet!» по-абхазски. Выяснилось, что этот стол велел приготовить тогдашний хозяин Гудаутского района Озган для других своих гостей. Но под стенами крепости места было много: мы остались.

Скачки были великолепны. Закат мы поймали, хмельные, за столом.

А когда я вез гостей на озеро Рица, расположенное (для тех, кто не знает) в горах, уже в зоне альпийских лугов, кризис с бензином достиг такой степени, что якудза прислал нам человека на «Икарусе» (солярка еще была), а сам не явился. Осенью дорога к озеру особенно живописна. Листва еще не опала, зато сияла всеми цветами радуги. Хотелось молчать, что мы и делали, лишь время от времени в молчаливом вдохновении отхлебывая из фляги. Сам Валентин Иванович, которому жена после сердечного недуга воспрещала прикасаться к спиртному, – и делалось это не без его согласия, – тоже под молчаливое вдохновение (чуть было не сказал: под шумок), потянулся было к фляге, но Наташа была начеку. И только у маленького Голубого озера, которое встречается по пути к большой Рице, отстоя от нее, как часовенька от храма, когда мы сделали привал и человек-мафиозо расстелил на траве на коврике прихваченный с собой обильный завтрак, Яби-сан вдруг произнес:

– Абхазия похожа на Японию, какой я застал ее в детстве.

Я не понял. Яби-сану пришлось пояснить, что Абхазия ему напоминает Японию, какой она была, пока не загубили живую природу. Странно было это слышать. По моим представлениям, в Японии хранили и пестовали каждый кустик, а над Фуцзиямой вообще – некое поле, то ли электрическое, то ли био, чтобы и птичка не пролетела над горой, не нагадила: ткнется птичка о стенку биополя – ничего с ней не случится, но поворачивай-ка, пташка, назад от Фуцзиямы.

– Да, это так. Но начали это делать поздно, когда природа была почти уничтожена. Ваше счастье, что леса тут государственные, а не частные.

Мы поскуцнели. Помните, почему-то любое упоминание о преимуществе социалистической ситемы навевало тоску, как научный коммунизм. А преимущества эти были в том, что вся дорога, кроме замечательного серпантина, была нетронутой и дикой.

Японец все говорил. И в Японии, и повсюду, где он побывал, а путешествует он восемь месяцев в году, этнография осталась лишь на карнавалах. А тут люди, мол, живут этнографической жизнью. В его мозгу что-то зрело.

Мы поехали. Красота продолжалась. Мы отхлебнули из фляги.

– Не смей! – сказала Наташа Валентину Ивановичу.

И вдруг японец зарыдал.

– Он не только бизнесмен, но и поэт, – стала оправдывать его Наташа.

Японец плакал, что Абхазия похожа на Японию, какой она была, пока алчные якудзы все не срубили, не продали янки. Но вскоре он утешился: мы прибыли на Рицу. Он увидел, как захламлено прекрасное озеро, он увидел, как по нему шныряют моторные глассера.

– У нас такое не разрешается. Только электрические, безотходные лодки, – сказал Яби-сан.

Так что, забегаю вперед, скажу, что и обратную дорогу Яби-сан плакал, но при этом приговаривал просто: «Абхазия похожа на Японию».

Выше Рицы еще на 16 км находилась Ауадхара, место, где бьют источники. Но громоздкий автобус не мог подняться по дороге, не столь удобной, как широкий серпантин до Рицы, входящей в общую инфраструктуру черноморской курортной империи. К тому же там, на Ауадхаре, уже лежал снег. Я только рассказал. Яби-сан очень оживился. Он стал объяснять, что главное преимущество этих мест – близость моря к горам. А у японских богачей излюбленный отдых – это горы, где есть минеральные источники. Если при этом и море близко, чтобы в неделю раз спускаться к пляжу, – за это платятся большие деньги. Есть у него дочерняя фирма, которая, без ложной скромности, известна тем, что строит курорты в реликтовых местах, не повредив при этом ни одного кустика. В отличие от американской фирмы, которая все вокруг напортит (не стану называть фирму янки, о которой он сказал с раздражением, как не называл японскую, – не наше это дело!).

Важно другое. Вдруг я осознал: богатейший человек делает мне деловое предложение. И это меня позабавило. Тем не менее, когда мы прибыли в Пицунду, я поехал с водителем «Икаруса» к нашему якудзе и рассказал ему о том, что японец заинтересовался Рицей и, очевидно, готов в нее вложить деньги. Наш якудза навел справки и на второй день позвонил мне.

– Один госчиновник уже договорился об аренде на 20 лет, – сообщил он.

И назвал американскую фирму, ту, что, строя, все напортит. Не стану говорить, какая это фирма. Она – очень известная. Тем более что ничего она у нас не испортила и не попортила. Впереди нас ждала война, перечеркнувшая все планы, что американцев, что их врагов японцев.

СВЯТО МЕСТО ПОЧТИ ПУСТО

Утро в Новом Афоне

Проснувшись поутру, я встал и вышел на широкую террасу. Из боязни прослыть излишне романтичным я не говорю: был разбужен гомоном птиц, но было именно так. Как и то, что умылся я росой, осевшей на листьях винограда. А виноград ту повсюду: он ползет по всем деревьям, по всем заборам, по перилам лестницы он лезет на крыльцо. Итак, я умылся виноградной росой. Виноградом же и позавтракал. Огляделся вокруг: передо мной лежал Новый Афон, как говорится, во всей своей красоте, похожий на свое изображение на буклете. Занимался теплый субтропический день конца октября. На горе справа в утренних лучах солнца золотился монастырь.

Этот городок (даже статус города он получил недавно, а прежде именовался поселком) уникален по обилию своих достопримечательностей. Прежде всего, Новый Афон, в старинных хрониках известный как Анакопия или Никопсия, является христианской святыней: тут провел последние годы жизни, крестил людей и тут же погребен один из двенадцати учеников Иисуса Христа, Святой Апостол Симон Кананит. В четверти часа ходьбы от центра города, в живописном ущелье реки Псырдзха вам покажут грот, который служил обителью Апостолу.

В первом тысячелетии нашей эры Новый Афон и прилегающие окрестности были столицей древнего Абхазского царства с его главной цитаделью, крепостью Анакопией и храмом Симона Кананита, воздвигнутым в X веке. Археологов, интересующихся античностью и ранневизантийским периодом, тут ждут интересные открытия. И, наконец, Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, который сохранил свой первозданный вид, возможно, благодаря туризму.

В советское время здесь все было поставлено на службу курорту. Как туристический объект Новый Афон был включен в список важнейших объектов черноморской курортной империи. Турист шел косяком. По кипарисовым аллеям, мимо прудов с лебедями. Тесть мой производил синие галстуки на резинке с изображением обезьяны на пальме и с фальшивым, разумеется, камнем. Их разбирали пачками. Это давало ему самому возможность повязывать французские галстуки. Золотые были дни!

Особенно привлекала слава Ново-Афонской пещеры, признанной одной из самых красивых пещер мира. Ее открыл, будучи шестнадцатилетним мальчишкой, Гиви Смыр, за что удостоен среди спелеологов звания Тигр вертикальных пещер.

В грузино-абхазскую войну 1992-93 гг. снаряды залпового огня «Град» неоднократно падали на афонские памятники старины. А после войны тут было затишье. И только два последних сезона ознаменованы оживлением курортной жизни здесь, как и на других курортах Абхазии.

Гиви Смыр

Гиви мне удалось разговорить, что непросто. Даже соседи, узнав об этом, пришли послушать. Мы не спали почти до утра. Проснулся поздно. Дверь в мастерскую художника открыта. Я захожу. Языческие сюжеты. Синие, зеленые, фиолетовые тона. Не секрет, почему его картины писаны на деревянных досках: на покупку холста у Гиви денег нет, и он разломал свою домашнюю мебель, чтобы писать картины на стенах и на дверях комодов и сервантов. Также объясняется то, что в палитре преобладают определенные цвета: это те краски, которыми из своих запасов поделились с Гиви его поклонники. Мне больше по душе работы Гиви на камне. Но тут, дома, их единицы. Остальные разбросаны в разных местах по горам.

Пока я спал, хозяин мой успел в качестве разминки взбежать на Иверскую гору, на которой – развалины славной Анакопии; успел искупаться в речке под водопадом (ирригационное сооружение, построенное при царе Александре III). И успел уже приняться за раскопки. Удивительные связи у Гиви Смыр с Фор-

туной, этой своенравной богиней удачи у эллинов, и не только у них. Городище эпохи позднего палеолита он раскопал у себя в собственном дворе.

Гиви Смыр, без преувеличения, – такая же достопримечательность Нового Афона, как исторические памятники. Рассказ о нем следует начинать не со дня его рождения и даже не с его родословной, а, по крайней мере, с палеолита, когда землю населяли люди, кому жилищами служили пещеры, орудием – кремь. И, в этом Гиви убедил меня раз и навсегда, Бог не был укрыт от их счастливого взгляда: они лицезрели его, как мы – звезды, солнце и луну.

Археологи, приехавшие из Сухума помогать ему, кажись, запили: Гиви работал один. Он показал мне свои находки. Изделия позднего каменного века, когда открытие бронзы уже запаздывало. В обработке камня предки наши достигли такого же искусства, как Гиви, нынешний продолжатель их дела. Он сам похож на неандертальца (или кроманьонца?): сутуловатый, с огромными, могучими руками, с горящим взглядом.

Новое поколение уже не может понять, что наше детство и юность проходили под пристальным вниманием государства и общества. Каждый должен был учиться, а, выучившись, – работать на благо общества. Кто не работал – тот не только не ел, но и получал срок за тунеядство. Обществу зачастую помогали родители, заставляя носить пионерский галстук, учить ненавистную химию и стричься полубоксом. И, как легенду, слышали мы в детстве о том, что живет в Афоне Гиви Смыр. Однажды он ушел из школы и больше не стал учиться. Занимаясь самообразованием, он усваивает только то, что ему нужно. Нигде не работает, уходит по несколько месяцев в горы, где питается невесть чем. Затем появляется, таща на спине огромный камень. Побудет дома (чуть не сказал: в долине) недолго – и снова по горным тропам. Облюбовет в горах камень, присядет к нему и начинает его тесать, придавая камню причудливую скульптурную форму. При этом, вовсе не заботясь о том, что камень лежит в таком месте, откуда его транспортировать вниз невозможно. Он творил из года в год, даже не предполагая зрителя в общепринятом смысле этого понятия. А может быть, горы и леса действительно населены

теми существами, которых он изображает на своих каменных изваяниях? Может быть, они и есть судьи его творчества?

И то, что кому-то удавалось быть свободным в несвободном обществе, делало и нас чуточку свободнее. Хиппи на Западе появились позже. Но это было целое движение, а Гиви был один. Как же ему это удавалось? Думаю, что два счастливых обстоятельства способствовали тому, что власть так и не посягнула всерьез на его свободу. Пещера, которую обнаружил Гиви Смыр, была государством оборудована по последнему слову техники. Всесоюзная стройка. Специальные вагоны провозили по тоннелю туристов в залы пещеры, эффектно освещенной, музицированной. Пещеру посмотрело миллионы людей, она принесла государству миллиардные доходы. Надо ли говорить, что сам первооткрыватель не получил от этого ни гроша. Так что юношу, который сам никакими благами общественными не пользовался, трудно было упрекнуть в том, что он не принес пользы обществу. Второй момент может оказаться странным, но в нашем южном краю, где общественный уклад всегда являл собой причудливый синтез патриархального с советским, его нельзя было сбросить со счетов. Это то, что он происходил из рода древнего, чтимого в народе не столько за знатность, сколько за дела. (Вся Абхазия поет песню о Смыр Гудисе, горном охотнике. И прежде, и ныне, охотники, отправляясь в горы на тура, приносят жертву охотничьему божеству Ажвейпшу, чтобы он даровал им ту дичь, которую уже съел и затем чудесным образом оживил. А Смыр Гудиса отправлялся на охоту со словами: «Еще как дашь мне добычу, глухой!». Глухим Ажвейпша называли из-за его обыкновения давать счастье не поочередно всем охотящимся, а всегда одним и тем же. А Гиви, потомок Гудисы, прошел по всем тропам своего предка, и при этом никогда не брал в руки оружия). Одним словом, власти предпочитали не ссориться с его родом, родом Смыр, только потому, что он нигде не работает. Тем более что Гиви ни на что не претендовал. Такова была специфика советской власти на Кавказе.

Гиви несловоохотлив, но, возможно, он говорил бы больше, если бы сказанное посредством языка могло быть столь же красноречиво, как его работы на камне. Эти работы – не скульптуры

на камне, а археология камня. Словно он не обрабатывает камень, а могучими движениями, – резцы в его руках как бы продолжение рук, – отрывает от них внешнюю оболочку и вскрывает форму, затаенную в них изначально.

Барон Торнау и абхазские язычники

Абхазия – древний православный край, куда вера была принесена непосредственно Апостолами. Абхазы – древние христиане, крещенные Апостолом Симоном Кананитом. Во всех первых вселенских соборах, начиная с самого первого, который проходил в Никее в 325 году, принимали участие абазгские (абхазские) епископы. Мало того, центр православия на Кавказе находился в Пицунде вплоть до 1537 года, когда из-за участвовавших турецких нашествий архиепископ Захарий вынужден был перенести все ценности и рукописи в Гелати, что под Кутаиси. Это к слову о том, что СМИ упорно представляли грузино-абхазский конфликт как мусульманско-христианский. Грузины и абхазы – народы, исповедующие одну веру и близкие по обычаям, что делает вражду еще более трагичной.

После того, как Византия была захвачена турками, а Константинополь стал Стамбулом, у абхазов, оказавшихся оторванными от христианских центров, христианские представления стали дичать, но ислам до конца они так и не приняли. Христианство странным образом сплелось с язычеством античного образца, которое всегда сохранялось в отдаленных уголках этой бывшей Колхиды. Таким образом, большинство абхазов – православные христиане, некоторая часть называет себя мусульманами, не имея мечетей и не справляя предписаний, зато языческие обряды соблюдаются всеми. (Точно такая же религиозная картина у осетин).

В тридцатых годах прошлого века, когда планировалось широкомасштабное наступление русских войск на Черноморское побережье Кавказа, по горам Абхазии с разведывательной целью прошелся барон Федор Федорович Торнау. (К этому времени в России об Абхазии были самые фантастические представления. По крайней мере, в энциклопедиях об абазе писали как о народе многочисленном). Среди спутников его был мусульманин Хаджи

Соломон Миканба, христианин Шакрыл Муты и еще четверо абхазцев, которые были язычниками. Все они были соседи, из одного населенного пункта.

Абхазия, возможно, – единственный уголок в мире, где язычество античного греко-римского образца сохранилось в его первозданном виде. Это обстоятельство отмечали многие путешественники еще в прошлом веке. Византийский историк Прокопий Кесарийский в VI веке писал: «По ту сторону залива-полумесяца живут абазги, которые поклоняются деревьям, по своей душевной простоте принимая их за Богов». И поныне в Абхазии существуют языческие капища, особым почитанием пользуются горы, рощи, старые деревья. Так же существует (и не страдает от забвения) весь пантеон Богов античности (Зевс – Афы, Афина – Атана, Пан – Ажвейпш, Гефест – Айнар и т.д.). Я не сомневаюсь, что Гиви Смыр – один из тех, кому удалось их видеть и беседовать с ними.

Монастырь

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был построен в конце прошлого столетия, когда по каким-то обстоятельствам доступ для русских монахов был затруднен в Афон, что в Греции на острове Халкедон (откуда и название городка Новый Афон). На освящение монастыря в 1888 году прибыл Александр III с семьей и большой свитой. Монастырь был в свое время широко известен среди православных России. Есть старый фолиант «Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь». Книга издана анонимно, но автор ее известен: это настоятель Троицко-Сергиевской Лавры архимандрит Леонид Кавелин.

У подножья монастыря – сбегаящие вниз масличные сады, а над ним – гора, которую называют Орлинкой. Когда-то эта гора была соединена с монастырем канатной дорогой. На вершине горы до сих пор стоит старинный паровоз, приводивший в движение канатную дорогу. Власти закрыли монастырь в 1928 году, обвинив монахов в шпионаже в пользу Турции. Одновременно начались охота на схимников, которые обитали в пещерах самых неприступных гор, в результате чего в высокогорном русском

селе Псху в 1931 году была установлена советская власть, и советизация бывшей Российской империи была завершена. В наше время монастырь был экскурсионным объектом, тут была расположена турбаза. Ныне монастырь снова открыт. Нынешний настоятель монастыря, молодой абхазский священник отец Андрей Ампар ведет службу в одном из храмов при монастыре, величественном соборе Святого Пателеймона, на стенах которого есть роспись, выполненная Нестеровым.

Анакопия

Кстати, канатную дорогу собирались строить и на Анакопию. Уже в наше время, в 80-е годы. Это грозило горе разрушением. Гиви Смыр, поднявшись на ее вершину, объявил голодовку, что чуть не привело к бунту в Абхазии. Затея с канатной дорогой была отложена, а тут пришла *perestroika & glasnost*. Гору Анакопию называют в просторечии Иверской горой.

Впрочем, все эти самоновейшие топонимы типа Орлинка и Иверской горы – из туристской мифологии. Выше в горах, по дороге на озеро Рицу вы найдете еще пропасть «Прощай Родина» и водопад, называемый в экскурсионных текстах совсем как у Венечки Ерофеева – «Слезы туристки». Турист зазевался у пропасти, сорвался вниз и только успел крикнуть почему-то. «Прощай, Родина!». А его возлюбленная туристка, превратившись в изваяние, застыла у обрыва, который действительно впечатляет. Уехали друзья, еще в пятидесятых, на туристическом автобусе «Союзтранс», а туристка все льет слезы над пропастью тонким радужным водопадом.

Дом Гиви Смыр, где я умываюсь виноградной росой, стоит у самого подножья Анакопии, главной крепости древней столицы Абхазии, где было остановлено первое нашествие орды сарацин (арабов) на Кавказ. В 737 году сарацины, ведомые Мухаммедом Кру (что означает глухой; этого прозвища он удостоился за глухоту к страданиям покоренных им народов), совершили первую вылазку на Кавказ (малым числом в 40 тысяч человек). Абхазия тогда входила в Восточно-Римскую империю, и с Востока, так же, как и с моря, ей неоткуда было ждать врагов. Все фортификационные сооружения были предназначены для от-

ражения нашествий с Северного Кавказа разных орд в разные времена: скифов, гуннов, готов, аланов. Потому все крепости, которых было множество, оказались неспособными остановить неожиданного врага, кроме Анакопии, где горы спускались непосредственно к морю. Однако орда была разгромлена при Божественном вмешательстве Богоматери. Сарацины обложили крепость со всех сторон, не подозревая, что из крепости был тайный ход, на который указала Богоматерь. По ней осажденные получали подкрепление, воду и провиант. Абазгский правитель (своего рода губернатор, но наследственный) Леон Абазг приходился кузеном и тезкой византийскому кесарю Леону Хазару (их матери – родные сестры, дочери хазарского кагана), но кесарь не прислал помощи подданному-кузену. Это послужило Леону Абазгскому поводом отложиться от Византии и объявить себя царем, присоединив к своему царству все Причерноморье, а также Грузию. Позже Абазгия вернулась в ареал Византии, но ее правители сохранили звание архонтов, то есть царей. Вполне возможно, что пещера и была тем самым тайным ходом, на который указала Богоматерь. Затем об этой пещере забыли на тысячелетия, пока ее окончательно не открыл в 1961 году Гиви Смыр.

Да, я не сомневаюсь, что Гиви Смыр – один из тех, кому удалось беседовать и с языческими богами, и с героями прошлого. И даже запечатлеть их на камне и в живописи. Уж слишком достоверны их изображения в его работах. В его работах, где странно смещается время и вечность. Вот изображение оленя: он мчится стрелой, но это не помешало лиане и плющу окутать его ноги, которые он выструнил на лету. А из языческого антуража вдруг высвечивают знакомые купола русского монастыря.

Когда-то я держал в своих мечтах, что последние годы своей жизни проведу в этом благодатном месте. От этой мечты я не отказался и теперь, когда путешествую по белу свету, пытаюсь найти формулу, с помощью которой сумел бы вычестить из отмеренного мне жизненного срока те самые три года.



Совість, отсвет Веры, возвращается в родной себе дом, который есть человеческая душа, и находит дом свой занятым партийным сознанием. Последнее ворчит и мнетя у порога, не желая покидать свое трофейное жилище, точь-в-точь как министерство культуры, когда от нее требуют убрать из храма глупую библиотеку.

И вместе с воскрешением веры появляется пламенный не-офит. Тревоги и страха, прежде мучивших его, как не бывало: сердце не колотится с утра, и руки не дрожат. Но ты беги при виде его, потому что неофит, как схватит тебя за лацкан пиджака – и давай живописать тебе пользу молитвы и ритуала. Казалось бы, как же иначе: обрета истину и благодать, как не поспешить поделиться ими с ближним. Однако характерная черта неофита: он путает проповедь с пропагандой. И ты его не услышишь, озабоченный тем, чтобы он не рвал твой воротник и не дышал в лицо.

Впрочем, от того неофита, который забежал в храм, спасаясь от тревоги и страха, то есть того, кто беден, ты еще убежишь: он пеший. Труднее с неофитом богатым, ибо он на скоростях. И то дело, что материальное благополучие у него уже есть. Иначе именно его он первым долгом стал бы требовать от Господа. Добычу (то бишь: доход) он делит по процентам между поделниками (то бишь: компаньонами), ментами, ворами и, наконец, Богом. Первых еще можно бортонуть, то есть кинуть, но последние три инстанции – ни-ни. С ментами – вредно для дела, с ворами – для тела, а с Богом – для души. Душа – это главное, усвоил он, надо для нее отстегивать. То-то будет досада, если выяснится однажды, что души нет! А пока, думает богатый неофит, рисковать не стоит. Тем более что когда не отнимали и не

просили, а сам отдал безвозмездно, добровольно – даже приятно. Господь, которого он любовно называет «Боженькой», в его представлении – нечто среднее между батюшкой и паханом: надо время от времени умиловать Его жертвами, да самому жить по понятиям. Он Его боится, но только в течение светового дня. Вечером же, по его представлениям, когда темно, то и с небес ничего не видно. Потому наш неопит в сумерки входит в «GOLDEN PALLASE», аки лев алчущий и лютый. А утром придет к храму, и так размашисто швырнет пачки баксов на стол трапезной, что Ангелы в страхе разлетаются в разные стороны.

За ним следует ханжа. Он озабочен не столько укреплением веры в собственной душе, сколько контролем над другими душами. Не успеет он перешагнуть порог храма, как взгляд его, что игла терновника, вонзается в прихожан, которые плохо молятся. От этого они смущаются и молятся еще хуже. А если какой-то малый из молящихся в сосредоточенности не замечает взгляда его, страж молитвы еще пуще гневается на остальных, возмущенный тем, что малый этот молиться может, а те самые лишь зазевались на образа. Уж коли не могут внимать ему, ханже, чья душа иссохла от гнева на маловерных, то хоть бы смотрели на малого того, созерцая живой предмет для подражания. Повсюду, во храме ли, или вовне, ханжа видит намеки на свою правоту. Даже в лучистых взглядах икон, когда на них на мгновение останавливаются его холодные глаза, он ищет и находит сочувствие своему негодованию. Ты беги его, ханжи; да убежишь ли? – он везде.

Но страшнее всех фарисей, который ловит Бога на его же словах, но может при желании выступить и как поверенный Его. Когда фарисей увидит рядом с собой того, чьи рожи на солнышке отсвечивают янтарным блеском, он смущается в сердце своем, забывая, что никто не защищен от искушений. Так же, как и ханжа, он подозревает небо в куриной слепоте и потому поспешно прикрывает лукавого краем своего плаща. При этом полу плаща откидывает он так артистично, таким впечатляющим ораторским жестом, что у лукавого, которого он пытается спрятать, от беззвучного хохота слезятся глаза. А наш фарисей, боясь, что непрощенный гость голосом выдаст себя из-за полы

его плаща, начинает говорить. Таким он пересыпается мелким бесом, что крупный бес из-за полы давится от беззвучного смеха. А речь его полна смысла, потому что он говорит то же, что написано в Книгах, спущенных нам с небес. Народ соблазненный, слушает его, и называет его всеблаженнейшим и наимудрейшим, отчего лукавый так затрясется в беззвучном хохоте, что рожки его то и дело высовываются из-за укрытия.

Ты беги их, фарисеев, беги более, чем кого-либо, потому что сам Спаситель в бытность свою человеком сказал им: «Горе вам!». Но правильно спрашиваешь: а как их распознать? Как распознать их среди сонмища говорящих правду? Как не соблазниться дурным медом их слов? Разве только: дожидаться, когда они начнут делать, потому что делают они нечто противоположное тому, что говорят.

Или же спросить самого себя: а я-то сам, кто я?

А я, собеседник твой грешный, я-то кто? Хочется надеяться: ни первый, ни второй и ни третий? Или же, как раз, и первый, и второй, и третий?

ТОТ САМЫЙ КАНТАРИЯ

Мелитон Кантария, водрузивший знамя над Рейхстагом (кстати, под ураганным огнем с двух сторон), всю жизнь легко и весело нес свою славу. Но жизнь его сложилась трагически. Он умер в изгнании. Человек, ставший символом победы и окончания мировой войны, дожил до дней, когда на его малой родине началась война между двумя его половинами – грузинами и абхазами. Герой героем в праздничные и юбилейные дни, а в остальное время – он такой же бедолага, как все. Сколько благ он успел выцарапать у властей, столько и имел. В праздничные дни его одевают в костюм с орденами и ставят на трибуну рядом с собой, при этом часто верят, что и в звездный день своего подвига герой был таким же, как нынче, – свадебным генералом.

Вот и сейчас почти все, к кому обращался ваш корреспондент за деталями, уточняли, к какой дате готовится материал о Мелитоне Кантарии. Ни к какой: герой – он не только в Африке герой, но и в будни. Да еще это был достойный человек, абсолютно феллиниевский персонаж в быту. А сегодня награды получают те, кто водрузил российский триколор над российским же Гудермесом.

Знаменитый Мелитон Кантария, совместно с Николаем Егоровым вознесший над миром знамя мира, был человек из простонародья, востер на язык и осаживал любого, кто пытался с ним неловко пошутить. Однажды какой-то чиновник громко на публику что-то сказал о Мелитоне: большое ли дело, дескать, – послали и водрузил. Дело происходило в одной из школ. Мелитон вдруг прошагал через плац линейки, взял у пионера знамя, преподнес чиновнику и предложил ему, поднявшись по пожарной лестнице, поставить его над одноэтажной школьной столовой.

– Неудобно, Исидор Гергедава обидится, – растерялся чиновник.

– А на меня тогда Гитлер обижался, – сказал Мелитон.

Возможно, он и оказался в нужный момент в нужном месте, но именно что оказался: с боями прошел весь путь гвардейца до Берлина, и перед этим даже лычки его не удостоили. И вообще на войну не рвался. Поговаривают, что, когда везли на фронт и за окном замелькали последние пейзажи родины, Мелитон выпрыгнул из вагона и сломал ногу. Но родственники поспешили пустить слух, что парень просто выпал из поезда, быстренько залечили его травмами, знанием которых Колхида славилась еще во времена мифической Медеи, и отправили на фронт, опасаясь, чтобы Лаврентий Палыч Берия не репрессировал весь клан за дезертирство сородича. И Мелитон Кантария больше не пытался выпрыгнуть из своей судьбы. Рейхстаг был обречен.

Неизбежное знамя было водружено, и Сталину могли отпортовать, что это сделали русский и грузин. Сталин, хоть и называл себя человеком русской культуры, которому чужды искрометные кавказские танцы, отлично понимал: факт, что огромную преобразенную российскую державу возглавляет нерусский человек, как-то должен быть объяснен. И потому подчеркивалось, что вождь происходит из православного, но древнего и необыкновенного народа. Сам вождь закрывал глаза на то, что Грузия пользовалась негласным статусом эрзаца за границы: там был элемент частной собственности, дети изучали историю в романтическом обрамлении, а в каждом советском фильме мелькал положительный грузин.

И вдруг оказывается, что Мелитон записан абхазом. Берия всполошился. «Дай сюда паспорт, слушай!» – закричал он. «Не надо, Ляу», – начал было Мелитон, но Лаврентий Берия был неумолим. Кантария в действительности был мингрелом, только родившимся в абхазском селе Бедиа. Впоследствии абхазы его упрекали в отступничестве. Не прощал отца, по слухам, и сын от первой семьи, в которую после войны Мелитон не вернулся.

После войны Мелитон стал снова простым человеком, лишь отягощенным флюсом славы. Властей он сторонился, а позже сказал знаменитую фразу: «Эту Звезду Героя я бы поменял на пулю калибра 7,62, которой убил бы Ляу Берию». Он подрядился закладчиком на Ткварчельской шахте. Вскоре пошла «оттепель».

Тут его заметил начальник и решил, коль Герой Советского Союза работает простым шахтером, сделать его и Героем Соцтруда. Для этого Мелитону было предложено ровно один календарный год ходить на работу без прогулов. Мелитон выдержал месяц.

А к тридцатилетию Победы сухумский мэр, которому предстояло сопровождать Мелитона на парад, предложил ему пост своего заместителя, разумеется, по патриотическому воспитанию молодежи. Мелитон категорически отказался, сославшись на неграмотность. Расписывался он обычно крестиком, а в более важных документах ставил отпечаток большого пальца, потому что крест подделывать легко. Впрочем, это похоже на очередную байку, потому что Мелитон в 30-е годы закончил четыре класса и расписываться-то могли его научить. Мэр стал объяснять герою, что грамотности и не надо, что ему дадут заместителя, который все знает.

– Если такой человек у вас есть, назначьте его, – сказал Мелитон. Он дорожил своей свободой и статусом простого человека. Он и в партии не был. Отказался вступать, в очередной раз эксплуатируя свою неграмотность и ссылаясь на то, что не состоял и в комсомоле. В сухумском горкоме лежал его партбилет без подписи.

На параде в Москве он нес знамя вместе с Николаем Егоровым. Выяснилось, что Егоров жил все это время в провинции в забытости и бедности. Мелитон пригласил друга с семьей в Сухум. И вот они сидят в ресторане «Амра». Ресторан представляет собой пирс в море. В застолье выясняется, что Егоров не может добиться от своих Н-ских властей инвалидского «запорожца». Мелитон требует телефон. В ресторане его нет. Но не растерялся директор «Амры» и ее неофициальный владелец Хумка Байрамов, более известный как Хума из Сухума. Протянули провод за триста метров из салона «Гигиена». Мелитон позвонил в Тбилиси и вытребовал у главы грузинской компартии черную «Волгу» для своего друга, о чем ему впоследствии пришлось сожалеть: Николай Егоров вскоре разбился. Мелитон пил вино в многочисленных павильонах возле рынка. Чтобы выручить людей, попавших в беду, наезжал в Москву, на прием к Хрущеву, к Брежневу. Иногда он «ногой» открывал дверь к сильным мира

сего не совсем бескорыстно. Например, он всю жизнь числился кем-то при мясокомбинате. Надо сказать, что мясокомбинат был такой всемогущей организацией, что сухумские и тбилисские проверки были ему нипочем. Но бывало, что по какой-то настойчивой жалобе приезжала комиссия аж из Москвы, от КГБ. Тут-то все недостатки «вешали» на нашего Мелитона. Однажды по такому случаю он съездил в Москву и попал к Косыгину. Объяснил, что на него «навесили» пять миллионов. Уточнил, что не пенициллина, а рублей.

– Такие деньги не поместятся в моей сухумской двухкомнатной квартире на улице Фрунзе!

Косыгин, человек старой партийной школы, презирал, надо полагать, коррупцию и раздражался, что ничего с ней не может поделать. Он хмуро позвонил в Тбилиси и приказал оставить героя в покое и не втягивать его в интриги. Оставили в покое мясокомбинат. Выше той инстанции, которую загасил Мелитон Кантария, было разве что Политбюро.

Кстати, о сильных мира сего. В шестидесятые годы пришло приглашение от де Голля. Егоров был болен, Кантария поехал один. Ему было внушено, чтобы во Франции он не повторял сказанное по местному телевидению: что мы, дескать, поставили флаг над Рейхстагом, а надо будет, поставим и над Белым домом (американским, разумеется). Кантария вернулся из Парижа, называя генерала де Голля просто Шарль. «Когда Шарль вошел, все военные отдали ему честь, кроме меня. Я уже знал, что по их законам герой имеет на это право. Выпили мы с ним, хороший был мужик, царствие ему небесное», – вздыхал Мелитон, и все сотрапезники поминали французского президента. С Жоржем Помпиду Мелитон уже в Абхазии, в Пицунде, встретился, где престарелый президент, кстати, неожиданно умер.

Мелитон вообще умел отстаивать свою свободу: пил с кем хотел и когда хотел, женился по любви. Когда он стал знаменит, он смог реализовать свое желание жениться на русской красавице. Мелитон, годами ходивший в одном и том же костюме, жену одевал и наряжал. Но лев не мог довольствоваться одной женой. Ногой-то к Косыгину дверь он открывал, но перед этим чиновники ЦК могли его заставить ждать неделю, а то и недели. И в гостинице

«Москва», где он обычно останавливался, была парикмахерша, его вторая жена. Как раз перед войной в Абхазии Мелитон овдовел. Спасаясь от войны, он приехал в родную гостиницу.

И вот мы подходим к последней истории, абсолютно достоверной и при этом необычной, как и все в жизни этого человека. Кому-то из районного начальства пришло в голову устроить мемориал славы и вместе похоронить там двух героев: абхаза Варлама Габлию и грузина Мелитона Кантарию. Мемориал стали воздвигать не где-нибудь, а в моем родном селе Тамыш. Но дело было в том, что абхазский герой к этому времени уже скончался, а Мелитон и не думал этого делать. Пока медлили, началась война. Мемориал Мелитона так и не дождался. Умер он в Москве. Похоронили его в Тбилиси, в Сабурталинском пантеоне, третьем в городе по значимости. Хочется верить, что душа его там, где хоругви рая.

НЕГРЫ И НАЦМЕНЫ



Воспитание в людях гражданского чувства, где приоритетным является чувство принадлежности одному государству, а не этносу, – процесс долгий. При слове «гражданин» наш человек привычно вздрагивает. Вздрыгнул и я, когда меня позвал милиционер. В тот момент, когда я пытался пройти через турникет метро, удерживая при этом на лице маску равнодушия, словно я зарегистрирован, как положено законопослушному гостю столицы. Кстати, о госте. Знакомый армянин рассказывал, как долго он по-своему истолковывал тот факт, что тесть и теща обращались к нему не иначе как со словами: «Наш дорогой зять и гость!» Ему казалось, что три года называя его не только зятем, но и гостем, тем самым «родственники со стороны жены» намекают на то, что собирают деньги, чтобы купить ему машину. «Понимаю вас, на хорошую машину не сразу напасешься», – говорил им в ответ его благодарный взгляд. И лишь несколько лет спустя перманентный гость понял, что слова эти были обычной вежливостью. Итак, меня, перманентного гостя столицы, милиционер на сей раз звал не паспорт мой посмотреть, а показать чужой. И вот почему.

Забыл сказать: милиционер был такой юный, что, кажется, и в армии-то не был: поди знай, как его вообще в контору взяли. Да еще такой щуплый и низкорослый, что дубинка на поясе смотрелась как меч крестоносца. Но поймал он, ребята, богатыря. Типичного ЛКН (лицо кавказской национальности). Дело происходило в вестибюле метро, где обычно и ловят ЛКН тепленькими. Паспорт, дескать, показывай! И ЛКН – у него не оставалось иного выхода – запустил огромную, гексогеном пропахшую лапищу в сторону правого плеча (небось, с мозолями от ношения пуле-

мета) и извлек из-за пазухи *молоткастый-серпастый*, который выглядел на его ладони как билетик для компостирования. И вдруг, как будто ожогом рот, как сказал бы Маяковский, удивленный милиционер начал искать глазами напарника или кого еще, кто мог бы ему растолковать, что тут за невидаль. Поймав меня взглядом, он поманил, не как власть зовет гражданина, а как человек человека. Я подошел. Черным по белому в четвертой графе этого паспорта зафиксировано было: «русский». Русский он, этот верзила, – и баста. Толи ЛКН, заключая с москвичкой фиктивный брак для прописки, сдуру взял ее национальность. То ли он дитя фестиваля, как Волоха, мой знакомый негр со студии Горького, который во всех фильмах про их нравы играл бесправного чернокожего.

Очередная путаница. И все из-за национального вопроса. Любый европеец скажет, что указание национальной принадлежности в паспорте – нонсенс и ущемление прав человека. Даже у нас остро стоял вопрос: нужна или не нужна графа о национальности в паспорте. Были сторонники скорейшей ликвидации графы. Но мыслят они часто категориями западными, для постсоветского сознания неприемлемыми. Хотя графу все же убрали.

Конечно же, паспорта выдавались нам когда-то для того, чтобы люди не разбежались. Графа «национальность» тоже заполнялась, чтобы нацмен не спрятался. Но вместе с тем миллионы людей мечтали хотя бы о такой отметке, не имея возможности называться самими собой. Миллионы таджиков были записаны узбеками, в том числе и суфий и врачеватель Авиценна. Полтора миллиона мингрелов пишутся грузинами. И т.д. и т.п. Этим, в частности, и вызваны опасения тех, кто боялся не увидеть в новом паспорте знакомой графы. Человек опасается, что в очередной раз его хотят переделать в другого. Зная о таком печальном опыте.

Но это долгий разговор. Я же не рассказывал вам о Волохе.

Помнится, как Волоха, само добродушие, однажды все же кинулся на почти восьмидесятилетнего режиссера. Восьмидесятилетний режиссер (чуть не сболтнул его имя!) ставит молодому, но уже модному оператору такую творческую задачу: Волоха, играющий, конечно же, жертву апартеида, в отчаянии бежит,

бежит по американскому полю, оператор же (чуть не сболтнул его имя!) должен бежать впереди, все пятась, пятась – и снимать. «Сам беги перед нигером, еще задом!» – возмутился молодой, но модный оператор. Тогда восьмидесятилетний режиссер нашел компромисс вот в чем. Он поставил перед Волохой иную задачу: теперь, пятась, должна бежать жертва апартеида, а не капризный юный оператор, потом бы восьмидесятилетний режиссер смонтировал обратную съемку. Это было уже слишком. Тут даже известное негритянское терпение, столь умилавшее Марка Твена, дало сбой. Долготерпение, из-за которого янки были вынуждены завозить их из дальней Африки, индейцев же, аборигенов, которых они так и не смогли заставить на себя работать, истреблять с протестантским упорством. Волоха запротестовал. И надо же было так случиться, что как раз в тот момент в павильоне появляется экскурсия из ребятишек престижной школы, которая считалась дверью во ВГИК. И вот представьте, что они видят. Стоит здоровенный такой чернокожий и матерится так, что иному славянину так бы не удалось, сколь ты его не серди.

«Ладно, ладно, Володя, не кипятитесь!» – сдался добрый восьмидесятилетний режиссер, не желая никакого бунта на съемочной площадке, тем более на глазах у будущих кинематографистов. И поставил новую задачу перед актером и оператором. Теперь Волоха должен был бежать так, как действительно в жизни бежали и бегут не только жертвы апартеида, не только негры, но и вообще все, кто бежит: очертя голову, но передом. Модный же оператор – снимать его, мчась впереди на съемочной коляске. Естественность плюс технический прогресс в очередной раз помогли урегулировать конфликт. Так бы всегда и везде!

Выкатил бы сразу коляску ваш восьмидесятилетний – и было бы изначально все в порядке, скажешь ты, читатель. Но не все сразу.

КЛАВИРШПИЛЕР И ШУЛЕРА



«У немцев – большая культура», – говорил нам школьный преподаватель географии. Учительница самого немецкого (тогда в деревнях учили немецкий язык, очевидно, для того, чтобы не застали врасплох, как в недалеком еще сорок первом) прямым текстом такого произнести не решалась. И у себя дома это заявление любимого учителя в те шестидесятые годы пересказать мне было нельзя: отец хмуро молчал о войне, но однажды ночью я проснулся в ужасе, который не проходит до сих пор, от сонного его крика за стеной: «Бросай меня здесь!» и какая-то фамилия. Но тот, которого я так и не узнал, раненого моего отца не бросил, а в пятьдесят третьем я появился на свет.

Учитель географии застенчиво как-то сообщил, что на немецком языке слово «композитор» звучит как *компонист*. Пианист – как *клавиришпилер*. А учителей они называют *лернерами*. Учеников же, как ни странно, *киндерами* и *шулерами*. Сейчас, когда я пишу эти строчки, не могу избавиться от подозрения, что ученик по-немецки – не шулер, а что-то иное. Но не хочется вмешиваться в свои воспоминания, чтобы все окончательно в них не перепуталось. По крайней мере, нет никакого сомнения в том, что Людвиг ван Бетховен был и остается великим немецким компонистом. И в том, что Джамлет Дадешкилиани, экс-вор в законе, экс-князь сванов и впоследствии циркач, заслуженный артист Грузинской ССР, родился без обеих рук, но природа компенсировала его увечье: пальцы на ногах у него были длиннее и ловчее, чем у многих на руках.

Так вот, речь пойдет, друзья мои, о великом немецком клавиришпилере и многочисленных его шулерах. Наш учитель географии явно хотел поговорить о них, но душа его властно влекла

к разговору о Дамлете Дадешкилиани, с которым он в Кутаиси пил шампанское. Учитель наш держал граненый стакан в правой руке, артист – в правой ноге.

Он уважал Людвиг ван Бетховена, добрый и никогда не умищавшийся в рамках урока физической географии наш учитель. Каждый раз, когда заходила на уроках речь о немецком компонисте и клавиршпилере, географ всем нам, шулерам сельской школы, рекомендовал питать к нему аналогичные чувства уважения. Потому что немец был совершенно глухим, но, тем не менее, его имя стоит в одном ряду с именами величайших музыкантов Германии конца XVIII века. Глухой – и такая точность! Географ, стоя у физической карты мира с указкой из самшита, об изготовлении коей есть особенная история, учил нас удивляться этому. Тут вспоминался Дамлет Дадешкилиани, родившийся без обеих рук, но с сильно развитыми пальцами на ногах, которыми он в молодости воровал, а в зрелом возрасте делал чудеса на арене цирка. Пальцами ног он и из пистолета стрелял, и в карты мухлевал, и тут же мог нарисовать любую девушку, застенчиво поднявшуюся к нему на арену цирка. А в свободное от манежа время пил шампанское в кругу многочисленных друзей и поклонников.

А Людвиг ван Бетховен в конце жизни совсем ничего не слышал. Утешая слепого своего приятеля-поселянина, он говаривал ему, что не менее тягостно не слышать шума листвы и музыки ветра. Учитель географии, рассказывая об этом, почему-то вставал у политической карты и тыкал самшитовой указкой по оливкового цвета контурам Германии, изрядно потеснившейся в результате двух мировых войн.

«Покойного Дамлета Дадешкелиани, – продолжал он, – впервые я увидел в Кутаиси».

Мне понятен наш учитель. Людвиг ван Бетховена он уважал, но откуда он мог знать его музыку? Зато видел на арене искусство Дамлета Дадешкилиани. Вот он выходит в накидке-безрукавке, скидывает ее и оказывается во фраке. Садится. Раз-раз, движениями ног он засучивает штанины панталон. Пальцы у него были длинные и узкие. Как положено аристократу. «Конечно, на ногах, – слушать надо внимательно, – сердился учитель гео-

графии. – Рук-то у сванского князя Джамлета Дадешкилиани не было». И можно ли упрекать в чем-то доброго *лернера* географии: ведь Людвиг ван Бетховена он признал. И сказал об этом вслух. Но по-настоящему волновался он не от «Аппассионаты». Он волновался из сострадания к инвалидам и гордости: преодолели-таки природное увечье, что немец, что сван. В сострадании своем он размышлял: немец был глухой, но музыку делал. Но и наш-то, вообще без рук, мог раздать карты так, чтобы тебе три короля, себе три туза. Даже на известной картине «Ленин и Горький слушают "Аппассионату"» по-настоящему музыку слушает только Ленин. Выходец из интеллигентной семьи, он слушает, мечтательно сощулив глаза, и грезит о мировой революции и о том, как реорганизовать Рабкрин. Горький же, выскочка и баловень, больше притворяется перед другом, будто и его захватила музыка, а самому подай Шаляпина, подай извозчика и – в «Яр» к венгерским хористкам.

Вообще-то, это настолько сложный вопрос, что хочется вопрошать:

«Антвертен зи, битте, глуклихе фройляйн аус Дойчланд: хабен зи герн ди вундербаре музик фон Людвиг ван Бетховен?»

Или же, говоря по-русски: «С бокалом искристого шампанского в ноге вспоминает Джамлет Дадешкилиани былые дни».

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА И БЕЖЕНЦЫ



Доклад, прочитанный на конференции молодых историков Кавказа в Абхазском государственном университете

От всей души приветствую вас, молодых историков Кавказа, хочется надеяться, что именно вам, которые живут в обстановке широких реформ, когда время уже не ставит ученого в ситуацию, когда надо изловчиться, чтобы дать знать намеком о малой правде, именно вам удастся сказать всю правду о самом болезненном периоде нашей общей истории. Я попытаюсь высказать несколько своих соображений, но тут же должен оговориться, что я не историк, а литератор, может быть, черпающий информацию больше из беллетристики, нежели из источников. Но и в документах мне приходилось копаться, кроме того, я дружу со всезнающим Русланом Гожбой, с которым вы, надеюсь, познакомились. Но самое главное – каждый кавказец обречен постоянно возвращаться к теме, которую принято называть махаджирством.

Нет ничего проще, чем делать выводы задним числом. Браво тем царькам и князькам, которые на исходе позапрошлого столетия поспешили прильнуть к сапогам русской империи. Так оно и оказалось, что Россия и Турция были перманентные враги. Россия набирала мощь, тогда как Турция, эта Блистательная Порты, дряхлая. И народы, которые в эту столетнюю войну оказались за гранью дружеских штыков, теперь многочисленны, сыты и вершат наши судьбы.

Однако, если рассуждать на примере Абхазии, на протяжении веков она, если не считать нескольких столетий, всегда была вынуждена искать союза с какой-нибудь империей. Но именно союза, а не подчинения. То же самое было предпринято Келеш-

беем в начале прошлого века по отношению к России. Но как трагично это произошло на самом деле. Так получилось, что именно властелины сделали свой выбор, а не народ.

Турция лучше России знала, что такое Кавказ. Иначе и быть не могло. К этому времени Россия не имела опыта затяжной войны с народами, пользующимися своим удобным для обороны географическим положением, каковыми являлись неприступные трущобы Кавказа. Турция же для склонения горцев на свою сторону умело пользовалась торговлей и идеологией, то, в чем тщетно пытался Раевский убедить Николая Первого. Ограничившись номинальным себе подчинением горских племен, Турция не препятствовала местному самоуправлению и свободному отправлению собственных адатов. Если в колониальной Венгрии, например, власть на протяжении многих веков осуществлялась пашой (среди которых было немало адыгов и абхазов), то в Абхазии паша выполнял лишь роль консула, а наследственное владение принадлежало роду Чачба, династия которых существовала и до турок. Они даже не были мусульманами. Абхазы, как и остальные горцы Кавказа, всегда бывали патриотами империи до той поры, пока империя не наступала на их вольность. Тут мимоходом хочется сказать, что утверждения, будто, начиная воевать с Россией, горцы не представляли могущества и многочисленности противника, совершенно необоснованны. Наши предки не были глупее или невежественнее нас. Будучи близки к турецкому и египетскому двору, они прекрасно знали политику и конъюнктуру. По крайней мере, Кабарду нельзя заподозрить в незнании России. Уж она-то на кои веки была в союзе с Россией, что не помешало ей стать непримиримым врагом России, как только последняя посягнула на ее вольность. К этому я еще вернусь, а теперь о том, какой была Абхазия к моменту прихода русских. Усилиями трех владетелей, сменивших друг друга в течение XVIII столетия – Джигетии, Зураба и Келешбея, – Абхазия к этому времени консолидировалась и укрепилась. Келешбей, по всеобщему утверждению, при случае мог выставить 25 тысяч конницы, имел флотилию, и его намерение принять подданство России было не актом отчаяния, а желание еще более укрепиться под покровительством более мощного из двух соперничающих

держав. Его послание императору Павлу – это не просьба о покровительстве, а предложение равноправного союза. Но, очень скоро разочаровавшись в своем намерении, о чем свидетельствует прямой конфликт – нападение на форт Анаклию по левую сторону реки Ингур, Келешбей сделал Абхазию совершенно независимой. А разочаровался он, главным образом, потому, что вскоре понял, что Российская империя не так скоро приходит на подмогу, как прижимает под сень своего знамени. А убедился он в тот момент, когда Турция решила наказать его за сепаратизм и выслала к нему войско, которое, однако, не решилось вступить с ним в бой. История, как всегда, повторилась: подобно тому, как тысячу лет назад Леон Абазг, при нашествии Мурвана Глухого не получивший подмоги от своего покровителя и кузена (Леон Абазг и византийский кесарь Леон Хазар были сыновьями двух сестер – дочерей хазарского кагана), справившись с врагом сам, тут же объявил себя независимым, так же поступил и Келешбей. Таким образом, семь и более лет Абхазия была абсолютно суверенной, пока сын Келешбея от простолюдинки не подписал трактата о присоединении к России. Ни юридически, ни фактически договор этот не был правомочным, потому что этот князь, который уже носил два имени и две фамилии: традиционное Сафарбей Чачба и христианское Георгий Шервашидзе, не был престолонаследником. И договором, который он подписал, кажется, в Зугдиде, он вырвал власть у Асланбека. Еще один курьез истории: Келешбея постигла та же участь, что и императора Павла, с которым он вознамерился иметь дело. Оба они пали жертвами заговоров, в которых принимали участие их сыновья.

Хотя у нас принято называть и этот шаг Сафарбея исторически прогрессивным, однако он не был согласован ни с политическими силами собственной страны, ни с союзниками – убыхами и черкесами, в ней Сафарбей преследовал одну цель – узурпацию власти! Этим договором Сафарбей обрек свой край на расчленение, Абхазия перестала существовать как государственное целое. Таким образом, он вверг страну в небывалую по деятельности и ожесточению войну. С этого дня события медленно двигались к неминуемому финалу – этнической катастрофе. Она наступила в шестидесятых годах с упразднением номинальной власти

владельца, что означало полную аннексию Абхазской государственной автономии и результатом этого – массовый исход в Турцию, который мы именуем махаджирством.

Кавказская война в высшей степени сплотила горцев Кавказа, но сплотила она духовно, а не на уровне политико-государственном. Наступило время героическое, но безысходное. Как бы не уверяли нас в обратном, случившееся потому и трагично, что его невозможно было предотвратить. Эта мысль мало утешает нас, но по крайней мере освобождает наших предков от самого худшего: от упрека со стороны потомков, якобы случившееся можно было предотвратить. Случившееся предотвратить было нельзя, и тут дело не в строптивости или непримиримости, или недалёковидности наших предков. Каждый из вас может дать другой исторический расклад того, как все это начиналось у вас, и это будет спецификой вашего народа, но результат один и конечная наша судьба одна. Мир с тысячелетним вольным укладом, с цивилизацией, которая была и не европейской, и не азиатской в полной мере, где государственные образования, четкие сословные структуры заменялись союзом независимых общин, – этот мир столкнулся с совершенно неприемлемой для него силой. В сущности, Кавказская война была уникальная война запоздалой античности с миром, бравшим первые уроки Европы. От Кавказа вдруг стали требовать, чтобы он переориентировался с Востока на Запад, тогда как он ни Востоком, ни Западом не был, а был как раз границей этих двух стихий.

Россия захлебывалась от восторга и крови одновременно. Свой вдохновенный гимн Кавказу «Кавказский пленник» Пушкин заканчивает угрозой и пророчеством неминуемой гибели предмета своего вдохновения. Николай вырвал у Турции Адрианопольский мир, на который Пушкин откликнулся стихом (цитирую по памяти):

И далее двинулась Россия
И пол-Эвксина забрала.
В свои объятия тугие.

На Кавказе был совершен небывалый в истории геноцид народов. Он начался как раз в тот период, когда антрополог Блю-

менбах и философ Гегель признали кавказскую расу самой совершенной европейской расой. Вердикт 1829 года окончательно предрешил судьбу горцев Кавказа. Дальнейшее сопротивление, (а оно продолжалось до 1864 года, частично в 1867 и 1878 годы, а в сущности, длится до сих пор), оно было безумно. Но не будем тут судьями, как мы часто это делаем. Черкесская вольность полна романтики, но лишена рационализма. Героический период уходил со сцены истории, и он сопротивлялся до самого конца. Матери торопили своих детей вырасти и погибнуть за Родину. И они погибали несколько поколений. Кстати, когда эта бойня закончилась, горцы, словно удивленные, что не могут погибнуть молодыми, стали самыми большими долгожителями в мире.

Что искала Российская империя на Кавказе? Николай, который издал распоряжение о выселении или поголовном истреблении горцев, кончил тем, что то ли вздернулся, то ли отравился. Но в этом жестоком распоряжении есть полное сознание собственного поражения: уже задолго до того, как оно было исполнено, его автор этим уже сознавался, что покорить или усмирить Кавказ ему никогда не удастся. И еще поражение заключается в том, что расу, которую тысячелетиями все империи использовали для укрепления власти, для обеспечения новых побед, наконец, для улучшения генофонда своих народов, последняя империя истребила и изгнала. Но Россия до сих пор не осознала этого. Ни один из великих русских писателей и деятелей культуры не откликнулся как-то на выселение миллионов людей в Турцию. Кавказ еще отчаянно сопротивлялся, а для российской общественности, занятой спорами между славянофилами и западниками, Кавказ уже успел превратиться в литературу Пушкина и Лермонтова. А что касается современников, то тут словно история России началась с восстания декабристов, все внимание, которое должно было рассеяться на длинный промежуток времени не такой уж молодой России, сфокусировано на двух веках, оставляя книжникам и узким профессионалам более ранний период, который Ленин брезгливо не включил в свою методологию – три этапа национально-освободительного движения. Мало кто читает Нестора, мало кто знает, какую роль сыграли касоги в Куликовской битве.

Между тем еще сказки Афанасьева в начале прошлого века пронизаны таинственным духом Кавказа и Черноморья. Эти были доходили и до пушкинской няни в далекий Псков, где преломлялись через тысячи перспектив, через фантастические расстояния, сотни лет спустя после того, как были прекращены контакты с Кавказом.

Но эту индефферентность, наверное, надо объяснить тем, что углубление в историю потребует моральной оценки того, как поступила огромная нация или, по крайней мере, те, кто действовал от ее имени, с теми народами, с кем когда-то она начинала свою другую историю. Но сейчас разговор не об этом. Уж мы-то должны знать свою историю.

А то давно ли нас убеждали в том, что переселение произошло в результате турецкой пропаганды, потому что Турция сама сманила горцев к себе. Нелепо винить Казахстан в том, что туда были выселены вайнахи. И с махаджирством то же самое. Я рад был слышать, что вы тут сказали об этом.

Мне кажется, что мы непременно должны осознавать, что наши соотечественники за рубежом были и остаются беженцами в юридическом, в ооновском понятии этого слова. И что они, если этого захотят, должны быть возвращены на историческую Родину, как ингуши, крымские татары или турки-месхи. И постепенно отказываться от термина «махаджиры», заменяя его понятием «беженцы».

Представление о наших соотечественниках за рубежом как о добровольных изгнанниках – следствие тоталитарной пропаганды, но не только ее. Как ни тяжело нам в этом сознаваться, тот факт, что большая часть наших народов ушла, а осталась меньшая, есть следствие раскола, который произошел внутри горского единства в последний момент войны. Остались мирные, а ушли непокорные, а мы, надо полагать, происходим как раз от первых. Именно поэтому мы должны еще больше любить представителей нашей диаспоры и сочувствовать им. И при этом помнить, что, как бы хорошо они себя там ни чувствовали, все же наша диаспора лишена в той же Турции, Сирии и Иордании общепринятых прав и свобод. Юридически они поставлены, например, ниже армян, греков или евреев. У них нет свободы

совести, возможности национального самоопределения, они не могут носить даже своих национальных имен и фамилий. И это касается одинаково и простолюдина, и министра.

Мы находимся в лучшем положении, хотя наш режим, по всему виду, хуже, чем какой-либо. Однако настоящее самовыражение нации все-таки возможно только на своей Родине.

И последнее, что мне хотелось сказать в контексте того, что мы раз и навсегда решили не мыслить себя в отрыве друг от друга и в отрыве от нашей диаспоры. Если мы решили, что это должно быть так и что отныне все мы будем работать только на это, мы вправе мечтать о возрожденном Кавказе. Неправда, будто Кавказ спит. Кавказ затаился. Но возрожденный Кавказ хочется видеть не воинственным Кавказом, хотя без этого мы уже не мы. Под возрождением Кавказа я понимаю возрождение его исторической миссии быть связующим звеном между Востоком и Западом, беря все лучшее от Востока и Запада, но не оставаясь ни тем, ни другим, и оставаясь собой, только самим собой.

г. Акуа
10.05.1990

И З Д Н Е В Н И К О В

1998 год

8 октября

четверг

Сегодня ходил на пресс-конференцию депутата Зорина по Чечне. Это в Центре международной торговли, перед офисом в лужковском стиле – памятник Гермесу. По дороге, выйдя на Баррикадной, я завернул за угол и пошел пешком в сторону набережной. И вдруг, совершенно неожиданно – ветки деревьев увешаны черными и красными тряпками, венки на месте, где были убиты из Белого дома люди. Сотни портретов убитых. Я ужаснулся. Телевидение торжествует, что люди на митинге арестованы. Вчера обратился в редакцию некий Евгений, у которого похищен брат в Ингушетии. Просит помощи.

28 октября

среда

Зарплату получим «на той неделе» и причем по курсу 9,3 руб. за \$, тогда как \$ стоит официально 17 рублей минимум. Так что я получу практически \$325, или около него, вместо 600. И все сразу придется Л. отдать «на счет в швейцарском банке». И так второй месяц, а сыну не могу выслать денег, чтобы приехал.

Кстати, ей понравилось то, что я сказал: что зря Кириенко уволили, надо было и его оставить, чтобы, когда Примаков войдет в Европейский поезд, просить милостыню : «Дорогие товарищи, я сам не местный», при нем был бы для пущей жалости мальчик.

В десять вечера приехал на свою ночлежку в Ховрино. Несчастливая старушка совершенно беснуется. Она требует от меня, чтобы я пошел и прогнал каких-то людей, которые якобы ее облучают из машин. Господи, скорее бы отсюда. Она что-нибудь

с собой сделает. К врачам обращаться не хочет, ее убедили, что все заодно. А между тем месяц лечения ее бы вывел из кризиса. Бедняжка.

Завтра надо к Чу Биргюль, чтобы позвонить в Стамбул к Эролу или отправить факс. Принять какое-нибудь решение по поводу пекарни.

Кстати, сегодня звонил я к В. К нему приехала дочь с ребенком, на работу он не ходит, все болеет, а там даже телефон отключили. Говорит, что из-за памяти Мюмтаза старается, но все им недовольны. Это бывший партфункционер, он не умеет работать. Там все налажено, только бы ему чуток почесаться по поводу сбыта. Надо мне этого армянина, Сано, он хочет работать, но придется тогда самому контролировать, не то споется с Манвилем. Сумею ли? Тогда надо оставить редакцию и засесть в пекарне. Ну что ж, были поэты-академики, поэты-философы, а я буду первый поэт-пекарь.

Хотел писать, потому приехал, не то остался бы на Проспекте, хоть бы фильм посмотрел по телику, но старушка своим безумством настолько сбила с толку, что уже и башка не работает.

Сейчас 12 ночи. Она все ходит и будет ходить до утра.

Писано 7 ноября. Кстати, к утру я настолько продрог от проветривания Ариадны, что в 5 часов утра оделся и вышел на улицу и уехал. Она мне перед выходом: что я еще ей должен денег. Приехал, конечно же, к Л.

14 ноября

Целый день просидел в квартире, в тоске. Хорошо хоть, что утром позвонил Саске. Договорились, что приедет 23, самолетом из Бомборы в Чкаловское. Он, по-моему, так был счастлив. Хочется ему со мной, но страшно: сможем ли прожить, снимать квартиру, не голодать. С жильем-то мне явно не везет. Смогу ли платить 200 дол.?

Сергей Ар. утром звонил и хотел ехать ко мне. Я его прождал, так никуда не уходя. Но в этой квартире даже хуже, чем у Ариадны. Тоска.

Я пошел в магазин и купил чикушки. Ее уже нет.

Смысл истории в том, что мы все умираем порознь, а воскреснем вместе.

Давно замысливаемая:

«Некая богемная дама»

Опять звонит и извиняется. Я ей: перезвони через 15 минут. Вот перезвонит – и снова начнет свое канючить. Сейчас проверим. Подтекст: ты должен. Должен ей копейки, двести долларов, да и то потому, что я не считал, да и то сама спровоцировала, сказав: «Давай зарплату – и буду давать тебе по частям». Звонит, потому что ревниво относится к моему уединению, опасается, что могу сбежать, но при этом с пол-оборота переходит на оскорбления.

При ее известном неуважении (даже признаваясь в любви, даже хваля как писателя, делает это с праздностью, как Фамусов, который сказал: «Он славно пишет, переводит», на что Чацкий: «И похвалы мне ваши досаждают»).

Оскорбить ее невозможно. Как бы грубо ни прервал разговор, это притом, как она умеет пользоваться твоей деликатностью и нежеланием говорить нелцеприятные вещи в глаза, вскоре звонит как ни в чем не бывало, «милый, прости», если бы была полная замена, то, не мешкая, забыла бы и только иногда напоминала бы о себе, отравляя жизнь. Но пока замены нет – не уйти от нее. Она всерьез рассчитывает, что будет и меня, как и Гарик, третировать оставшуюся жизнь. Пока ей это удастся: нельзя от ее телефонных перехватов никуда спрятаться, и я уже невзлюбил свое новое логово.

Стараясь себя убедить в своем же сердоболии, и собаку возьмет в дом, чтобы потом попрекать в неласковости, кормить скверно и не выгуливать, и за то возьмется, и за другое.

Больше всего досталось ее сыну. Антон – отчаявшийся сын.

Но и о моем она говорит, якобы он ел самое вкусное.

Все превращает в тусовку: и церковь, и похороны бывшего мужа. Впрочем, бывших мужей у нее нет, но В. все-таки бывший, потому что спился.

А как она ссудила деньги на букет, как торговалась из-за каждого рубля уже ссуженных денег, покупая последний дар мужу! Возлюбленному...

Обкладывается иконами, но в церковь ходит к концу службы, чтобы пообщаться с подругами и потусоваться. В ейную, около Арагвы, где протестанты от православия...

Полное отсутствие привычки к труду благородному. Так что непонятно, чему она учила своих учениц, как она говорит, к которым сбегали ее мужья.

Внутренняя неуверенность, потому что все сама разрушает, приводит к некоторой депрессухе, легко преодолимой еще более праздной болтовней.

Все хочет одновременно: и все, и сразу, ни от чего не отказываясь.

21–22 ноября (с субботы на воскресенье)

Вечером был в гостях у Джона. Посидели, вкусно меня накормили, голодного. Пришел в логово и писал да правил «Феохариса». Неплохо. Скомпоновал сцену, где «я» видит «я» прежнего. И вообще правил, но не так, как обычно, когда не пишется, а с результатом.

Седьмого я освобождаю это логово. Хозяйка, тбил. армянка, называющаяся Параджанова «покойным Сережей», редактором была в издательстве «Искусство». Гордится правильным, как лекало, русским языком. Мужа затуркала настолько, что он в растерянности спалил хату. Потом отремонтировал. Сейчас она новенькая, но нежилая. На днях позвонила, ведя разговор к тому, чтобы как лишнюю плату, на случай побега (предоплата)... Объясняла так:

– Бедная Маша (это ее дочка), франк то ли вырос, то ли упал... Она голодная, говорит мне ее матушка, которая никак не может понять этих неискренних французов. Звоним, а ее нет. Машеньки то есть. В отчаяньи бродит по этому темному Парижу. Бродит она, Машенька, по темному Парижу, в парах абсента и тонком дыму опия, губы... шепчут Леконта де Лиля. А я за это плати, богач!

С 22 на 23 ноября воскресенье-понедельник, 2 часа

...Еще не знаю, удастся ли мне вылететь в Абхазию во вторник. Пока еще денег нет не только на поездку, но чтобы Саске отправить на проезд.

Полсцены суда вовсе не плохие, теперь надо придумать, когда. «Я» берет гитару («Журавли улетели...»), надо сделать, что джазовая импровизация, в которой себя найдут и Кант, и Хафиз, и Бах, и современник наш Клэптон.

Сегодня днем, перед моим выходом, позвонила ММ и сказала, что собирается через свою подружку вывесить в храме, куда она, убежденный последователь Шри Раджнеша, не ходок, что я в качестве Сергея и замечательного писателя-журналиста собираюсь снять квартиру.

25 ноября среда

Без 15 двенадцать ночи. Позвонил в Сухум. Гена говорит, что самолета еще нет. А Саска у бабушки на Фрунзе. Набираю к Ващенко, чтобы у родных или кто там дома, узнать, в чем дело. Оказывается, что он не улетел. Сам взял трубку, говорит: из-за погодных условий Абхазии. Это для военных-то самолетов. Облачность сильная и прочее. Может быть, я и нашел бы денег, коли знал бы, что не улетели.

Надеются завтра.

Сегодня после работы зашел в магазин «Летний сад». Продано книги несколько экземпляров всего. В «Гинее» – вообще не продались... Пошел в «Новый Мир» относить стихи, а их, выведенных на принтере специально, забыл. Обнаружил уже у выхода из метро. Но все же зашел. Сидит красивая дамочка, счастливая, что ее стихи взяли. Мне эти радости недоступны. Хотелось бы, чтобы платили деньги. Впрочем, эта красивая дамочка, может и не очень-то и красивая, наверняка знает, как по полной программе пользоваться фактом напечатания в останках некогда престижного журнала. Я-то этого не умею. Роман мой печатали в «Знамени», несколько лет назад это был бы всесоюзный и даже европейский имидж, а сейчас никто не знает меня и даже в снобистских книжных магазинах книгу не берут.

10 декабря среда

События, так сказать, последних дней.

Шестого числа заканчивался срок моего проживания в квартире на Медведково. Из-за торопливости, хотелось поскорее от

мымры этой куда-нибудь... Я снял ее наспех, слишком дорогую для сегодняшних дней: далеко, квартира необжитая, холодная, никаких удобств, даже холодильника нет, еще хозяйка, умудряющаяся даже издалека создавать ощущение своего отвратительного присутствия. 200 баксов. (А сейчас Маринин родственник предлагает, Маринка нашла... стабильная квартира в престижном районе между университетом и Юго-Западом, за \$150, а я раздумываю, не взять ли в Мытищах, где дают за сто...)

Все время болею. Почти ничего не ем, ослабел донельзя. Компьютер мой от транспортировки опять сломался, не работает дисковод. Згуы итаз згуы итапсыз, зшьамхы иалаз зшьамхы иалапсыз... За него сажусь впервые за эти несколько дней. В последнее время редко это себе позволял.

Словом, надо было съезжать. Не помню, записывал ли я в дневник, что хозяйка пятого распорядилась, чтобы ее муж и отец ее дочерей, которого, прежде чем они развелись, превратила в такое ничтожное создание, что читай ниже, распорядилась, чтобы он приехал откуда-то издалека, где телефон начинается на 310, и под видом, что чинит трубы и т. д., проследил, чтобы я не чухнул, не оплатив счета за междугородку. А между тем прошлой ночью у него умерла мать, с которой он все возился в последнее время, она была прикована к постели. И наверное, очень любил, как вообще принято у московских евреев быть к матерям особенно привязанными. Видя, как он несчастен, я ему: что у них есть мои адреса, знаю-де, почему вы здесь, но не беспокойтесь. Но он-то обеспокоен не тем, что я сбегу, а тем, что с ним эта тбилисская армянка сделает, ежели я сбегу. «А если вы заболете», – говорит эта сама доброта. Да, я могу заболеть, могу умереть, так что у вас есть доля риска залететь рублей на сорок. Жалко было его. Чуть не сказал ему: досуг ли тебе, олух, когда только что мама умерла! Неужели и это обстоятельство не освобождает от того, чтобы выполнять нелепые капризы бывшей жены?

...Съехали шестого. Температура у меня и обострение бронхита. Снова помог Андрюша Чернаков. Приехали к Руслану-племяннику.

28 декабря понедельник

Сегодня третий день, как мы вселились в новую квартиру в 9-м микрорайоне Теплого Стана. \$150. Вместо предполагаемых нескольких дней мы прожили у Руслана больше полумесяца. Квартира новая, но не ахти какая. Совершенно не дали нам хозяева никаких постельных принадлежностей. Есть диван с подушками, мы на них и спим с Саской. Ни подушек, ни одеял, ничегошеньки.

Деньги какие-то были, еще на презентации книги заработал, но племянники, беря по 500 рублей, в конце концов не вернули ничего. Сколько я нервничал, чтобы найти плату за квартиру. Пользуясь кризисом и всеобщим обнищанием, даже те, кто их имеет, отказывают. Выручил Андрей Битов. Дал сто баксов. Остальные 50 я и сейчас не уверен, что Саска привезет. Он поехал за ними к племянникам. Седьмой час, а его еще нет.

1999 год

8 января пятница

Быт наш как бы устроился: сняли квартиру и т. д. Комп. стоит на кухне, чтобы, работая по ночам, я не мешал Нару, тем не менее пока его включает Нар, чтобы играть ночи напролет на преферансовой игре, а я вернулся к своему дневнику только сегодня. Сегодня – второй день Рождества Христова. Между тем в жизни за эти дни произошло много примечательного для меня, что стоило бы занести в дневник. Но вовремя не занес. Теперь уже вряд ли напишу...

9 января суббота

Проснулся в двенадцатом часу. Вчера спал плохо. Разбудил меня телефонный звонок. Сначала думал – от мымыры, но звонок был настойчивый, похожий на междугородний. Звонила Римма. В общем, там у них все нормально.

Саска уже ушел на Щелковскую. Чувствую себя лучше. С утра сходил в магазин и на последний полтинник купил продуктов.

Выпил кофе и за комп. Сначала что-то не поступали сигналы от клавиши. Я было растерялся: неужели опять поломка? Но оказалось, все в порядке.

С. пришел из Щелково, куда ездил с другом. Денег ему не дали. Денег нет совсем.

18:32

Кажется, закончил «Клио». Теперь надо добивать Клинтона. Сделать это раньше, чем сенаторы.

К 9 вечера и этот материал закончен вчера.

В 23 часа фильм Иоселиани «Охотники на бабочек». Собираюсь посмотреть. Несмотря на то, что презираю его после угоднического и бесчестного документального фильма.

Завтра буду звонить Битову.

10 января воскресенье

Точнее, уже утро понедельника. Пять с половиной. Так и не заснул. Встаю и сажусь за работу. Раскрыл роман про кремняков, потому что, как кажется, в середине еще надо бы добавить нечто, где Мушни как-то мистично появляется. (Также придумал вчера, смотря триллер, что в «Феохар.» тоже надо в противовес темным силам придумать еще и светлую. Может быть, «иаршышу»?)

Вчера был у Битова. Произошел очень хороший разговор. На тусовки обещал вывозить меня и еще стипендию в Дейчланде, на родине Майстера.

Придя домой, многих обзвонил. Посмотрел «Американского оборотня». Люблю ужастики, ничего с этим не могу поделать. С. остался у Руслана на Щелк. Только 200 руб. дали. Еще выпросил столько же у Джона Гул. Во вторник надо заплатить за переговоры на прежней хате. Потом как жить и на что – не ведаю. Авось, что-нибудь да пошлет Господь. Не слишком ли меня точит эта забота... С другой стороны, у меня осталось-то около двух рублей мелкой мелочью.

В «Новый Мир»:

«Лишь месяц...»

Дом Отца

«Хлеб – не хлеб...»

Предчувствие разлуки
Страх
Весы под акрополем
Беда
Россия

24 января воскресенье

Вчера и сегодня у меня была чудовищная температура: 39,9 так и держалось. Сегодня – то же самое. Вызывали врачей. Молодые, парень и девушка, книжку им подарил. Сделали мне укол.

...Когда-то я сочинил реферат для поступления в аспирантуру на тему поэтического перевода, но московский профессор, чьим мыслям следовал, не в силах более выдерживать тоталитарный режим, отъехал, и реферат мой сгорел вместе с аспирантурой. Кандидатом наук я не стал, и слава Богу, а из реферата в памяти остались похвалы переводов народного поэта Абхазии, выполненных Бэллой Ахмадулиной. Я предвижу ухмылку, которую вызывает у многих понятие Народный Поэт на Кавказе и в Средней Азии, но в Абхазии было два НП: основоположник Дмитрий Гулиа и Баграт Шинкуба, ставший им после кончины первого.

2 февраля вторник

Вернувшись с работы, Руслан отправился на Коньково, купил шампанского, ананас, бананы, апельсины и виноград, чтобы отпраздновать день рождения Нара. Мы убрали комнату, сервировали стол по мере возможности и посидели за бутылкой шампанского. Фотографировались, и я не смущался внешнего своего вида. В общем, импровизированный праздник получился. У всех поднялось настроение.

Его не испортило мне и то, что только что (21:30) звонил участковый, сказал, что никак не может нас застать и обещался зайти завтра. Фактически я, конечно, – нелегал, потому что ни прописки, ни регистрации. Надеюсь показать ему публикации свои в журналах и смягчить ему сердце заслугами перед русской культурой, в самом существовании которой сомневается дагестанский националист Магомед Т.

4 февраля четверг

Сижу целый день дома. Даже на работу в «Экс.» не позвонил. Сейчас восьмой, очевидно, час вечера. Включил по привычке комп. Перепечатал полстраницы «Конфетн. дерева». Будет вместе с идеей в «Бразде» о том, что не все двуногие без перьев суть люди. И что Спаситель призывал к гордости, а не к самоуничтожению.

Позвонил в Питер Ман. Гв., чтобы она вышла на Наташу Битову с тем, чтобы, если говорить будет с Андреем, кот. в Германии сейчас, напомнила бы ему об обещании выхлопотать для меня стипендию. Она, Ман., оказалась в Москве. Звонил ей. Провожала каких-то гостей, потом обещалась перезвонить, но не звонит почему-то. Она тут до понедельника. Поручу ей это дело. Или узнаю сам телефон Наташин. Сейчас половина двенадцат. вечера. Выключу комп. и пойду смотреть перед сном телек.

По живому писать не могу, так слаб. Не физически, а больше 10 дней на улицу не выходил и все болею. Но перепечатаваю кое-какие старые вещи. Сегодня закончил «Конф. дер.». А сейчас о махаджирах, написанное в 1990 году. Многие мысли мне нравятся, по крайней мере, там дана оценка правильная войне и махаджирству, такая, какую тогда по крайней мере никто не делал. Да и сейчас это актуально. Можно продолжить, углубить для книги о Кавказе, фундамент которой уже можно закладывать. Так же и «Бразда» (недаром это едва ли не первое, что я написал по приезде в Москву, еще на Беговой, в Петинной квартире, которую я снимал). Из нее должен получиться философский опус. Иншалла!

12 уже февраля 1 час ночи, четверг

...Однажды некий гость нашей солнечной Абхазии спросил Ермолая Кесуговича, как звучит по-абхазски то, что в русской литературной речи ошибочно называют во множественном числе «прелести». При чем гость спрашивал его не как ученого, а как первого, кто попался ему под руки, когда этот самый отдыхающий, каким-то образом отстав от группы, забрел в музей

один, как отбившийся от отары барашек. Тем не менее, Ермолай Кесугович сначала задумался, а потом ответил:

– Существует несколько версий для обозначения интересующего вас предмета.

12 февраля четверг

Сейчас 21:20 вечера, причем нынче не Четверг, а Пятница. Так что зря пришлось мне сегодня ехать на работу в «Экс.». Приехал, смотрю – пусто, даже верного идеалам журналистики Хисамова нет с Шумилиным. Спрашиваю у секретарш Харатяна, а они: Хар. редко бывает по пятницам. Нашел все-таки макет – мой текст не идет этим номером. Всё же беспокоился, что какую-нибудь глупую отсебятину вставят в текст, а потом мне ответ держать. Все-таки о чеченском шариае.

Сегодня закончил с регистрацией. Окончательно. Зарегистрировали на полгода, все готово, и в паспорт фото вклеили. На это и на все прочие траты, в том числе штрафы да прочее, все деньги ушли. Но, по крайней мере, теперь, заходя в метро, не буду водиться, шоркаться ментов. Например, с каким удовольствием вышел я сегодня без этого вещмешка, одного из атрибутов моей мимикрии. Проходишь мимо лягавого: вещмешок за плечом, в руке газета: обычный москвич, которому дела нет ни до милиционера, ни до кавказцев. А тут иду себе самым что ни на есть ЛКНом. Пусть остановят: заглянут в листок регистрации и молча протянут назад – ступай, дескать. И этим должны быть заняты мои мозги. И в этой обстановке во мне должны расти и переливаться волны внутренней правоты!

Даже теперь влечет меня душа
В столицу ядом дышащей России...

Верно сказано.

Интересно, поднималась ли у кого-нибудь рука, чтобы написать, что есть народы глупые. Так-то: делавары – народ чрезвычайно усердный, но глупый, и потому то, что ирокезам достается с легкостью, они вынуждены бывают достигать лишь в результате громадных усилий и т. д. Между тем народы глупые есть,

точно так же, как и люди. Глупые есть и изначально, и обреченно. Есть и такие, которые поглупели, или ситуация поставила их в положение, где совершили они глупые поступки. Историю если бы этнисты рассматривали именно с этой стороны: не кичась, что то или иное деяние имело быть в таком-то веке нашей эры или вообще до нашей, а оценивая, нормально-заурядно (или глупо повели их предки себя в чрезвычайной ситуации). Вместо этого какая-то уютная вера в то, что произошедшее – всегда мудро, а может быть, так оно и есть. Время обыденно только в сию минуту, очень редко бывает, когда миг значителен. Но когда он прошел, пыль истории делает его культурой, облагораживает. И на поверку оказывается, что не все так безнадежно.

13 февраля суббота

Руслан утром ушел на работу. Воля ушел тоже куда-то. Сейчас Нар вышел за сигаретами для меня, потом тоже уйдет. Я останусь один. Поработаю, быть может. На улице солнышко, погода зимняя, чудесная. Солнце льется в окно.

На комп. что-то я вчера напутал, но сейчас только что выправил. При этом так и не запомнил, что выправил и как.

(продолжение) 23:45

Включил комп. скорее по привычке и даже в дневник писать сейчас нет охоты. Спокойной ночи, малыши!

Ночь с 15-го на 16 февраля с пон. на вт., 12:45.

Сегодня пошел на работу, как говорится, мучимый абстиненцией, был там в 12 с чем-то. Спрашиваю Хисамова, чем, дескать, заниматься. И он мучительно так: Кир. Хар. сказал ему, что про шариат – мой последний материал про Кавказ, а теперь буду заниматься – и не уточнил чем. Молодец, Кирилл! В общем, теперича татарское иго кончилось, как я и хотел. Но на сердце тревожно чуть-чуть. Я никогда не научусь уже работать в коллективе. Ну и не надо!

Но:

Вот и в «Эксперте» ни с кем не стал накоротке. Другой бы на моем месте занял бы какую-то позицию, имел бы свой круг.

А я в целом коллективе – самый рассеянный. Моей фамилии единственной нет в списке телефонном. Я не значусь в списке на второй странице журнала. Я один не знал, что давали мобильные телефоны. Даже зарплату получил сегодня, случайно узнав от Горячкина, а получают с четверга прошлого. Мне одному не дали сотового телефона: не знал, что дают.

Кстати, будучи совсем без денег, получил неожиданно зарплату – часть получки за декабрь. 4 тысячи. Еще должны дать чуть меньше этого. Но или в конце месяца, или уже пойдет на начало следующего месяца. Из расчета 9,3 руб. за бакс. Теперь думаю, сколько отдать хозяйку. Платить надо 25 числа, а не сейчас, но будут ли тогда деньги.

Прочитал, что Влада Арсеньева имеют как одного из кандидатов на пред. Госкино, вместо Армена Медв. Причем – это кандидатура Михалкова, то есть он и будет. Противостоит канд. Медведева, которого самого ушли. Арсеньев, если для меня будет какой-нибудь интерес в кино, Арс. лучше, он, по крайней мере, меня знает, дружбу прежнюю оставим. Все зависит от того, как-то прозвучит мое имя в ближайшее время или нет. Прошло время, когда я мог быть юным просителем. И то время тоже было упущено.

Успех дает уверенность, а без уверенности нет легкого дыхания в творчестве. Неужели где-нибудь мне не прифартит: в литературе, в кино, в театре, хоть бы в той же журналистике.

Надо собраться, завязать, составить план дальнейших действий и зря времени не терять. К какому-то берегу выйти. Для «Дружбы» текст готов. Что скажет Чухонцев про подборку – узнаю завтра. Вечером позвоню ему домой или, если забуду, зайду в среду в «Новый Мир». Надо навеститься и в «Знамя». Давно там не был, очень давно. Кажется, и книги не дарил никому. Надо вечером завтра-послезавтра позвонить (научиться бы пользоваться на комп. блокнотом; комп.-то включаю ежедневно, чтобы пользоваться как памяткой) Лене Хомутовой. Сказать ей о «Феохарисе» – его хочу им отдать. Может быть, она мне и прочитает (а удобно ли, когда ей по работе столько приходится читать, еще и мой сверхурочно?)...

Кирилл пьесу матери еще не отнес. Когда отнесет – тоже неизвестно.

3:40

Теперь я устал и хочется спать, чего, к сожалению, так давно со мной не бывает тогда, когда все нормальные люди ложатся спать. Я, как мне кажется, утратил то замечательное ощущение предвкушения сна, которое так приятно входит в человека, когда он принимается за привычную подготовку ко сну. Иногда и днем я лягу и незаметно засыпаю, могу и сидя, но стоит только лечь в постель, как сна как не бывало. Может, надо обратиться к психиатру, гипнотизеру или кому еще там, чтобы взяли и включили снова этот инстинкт. Но я никогда не обращался к таким людям и вряд ли найду к ним дорогу сам, если кто за руку меня не сведет.

С 24:40 сижу за машинкой, правил текст, шлифовал «Феохариса». Но это же лучше, чем совсем ничего не делать. Скоро определюсь и начну работать по-настоящему. А может быть, это и несправедливо по отношению к себе, что я только сочинение романов считаю творчеством, так или иначе, я все время сочиняю и, кстати... про Монику с Клинтоном и в особенности про историю вампира не так уж и плохи, хотя не завершены.

Повесил на стенку листок-памятку, где записал, кому надо завтра позвонить. Если дозвонюсь хотя бы некоторым, кое-что выясню. Планирую позвонить, кажется, девятерым. Кроме хозяина, всем остальным – по писательским делам.

Ложусь и буду баиньки. Спокойной ночи, моя добрая машинка!

**17 февраля
среда, 17:00**

Сегодня, вообще-то, у рода Зантария амшшяра, тем не менее целый день провалялся на диване, угнетенный тем, что надо было непременно нынче подготовить, по крайней мере, три, а лучше четыре материала, по которым гл. редактор решал бы, давать мне что-то вроде рубрики или нет. Конечно же, ничего пока не написано. Но сейчас я позвонил Кир. и попросил отсрочки. Получил ее до понедельника. До понедельника уж что-то непременно придумается, все-таки это как конкурс, хочется сделать вещи. В случае, если это начальству понравится, я оказываюсь на

некоем кайфовом статусе: буду писать что хочу, сам предлагая темы, а от меня будет требоваться, чтобы они были легкими и интересными. А то обидно – сколько я написал всего для «Экс.» того же, многое и не напечатано. А между тем я не могу переключаться, как машинка, что-то писать по-всамделишному, а что-то через пень-колоду. Во всех этих очерках (и напечатанное по прошествии нескольких дней уже никому не нужно, не говоря уже о том, что те, кого я хотел бы иметь в читателях, об «Экс.» чаще всего и не слыхали) что-то есть, хотя бы хорошее выражение. Все, что пишешь, особенно в моем уже немолодом возрасте, надо «в контексте своего творчества», надо себя уже экономить.

Я поведу эту серию таким образом, чтобы она слагалась в книгу. И тогда моя работа в «Эксперте» будет продолжением моей «настоящей» литературы. Ведь в «России», ведя рубрику, я в итоге написал по крайней мере два неплохих очерка и придумал серию «Слово о...», которую можно продолжать. Есть ритм, мысль, стиль.

Серия «Эксперт»;

Серия «Слово о...»;

Серия «Порабощенные бразды»;

Серия «Кавказ и Абхазия».

У каждой из них уже скелеты есть, есть и написанные страницы, а то и главы.

20 февраля суббота, 15:00

Пока еще практически ничего не написано. Ездил к Гадк., только сейчас оттуда. На улице – слякоть. Снег тает, не холодно. Наше месторасположение, как выразился один мой земляк, находится «на конце географии».

...Пушкин был настолько первым, что всамделишных вторых стало немало. То там, то тут возникая и подавая голос вокруг каменной твердыни, они натываются друг на друга, но первенство у Пушкина оспаривать даже в голову не приходит никому, после того студента, который с толпы выкрикнул Достоевскому, что Пушкин «не рядом, выше, выше!», но там Достоевский сам спровоцировал этот по-русски максималистский выкрик,

поставив в каком-то качестве Некрасова рядом с Пушкиным. Пушкин любвеобилен и добр, не страдает соревновательными инстинктами с современниками (такие беседы у него шли с Дантом, Шекспиром и Гете). Лермонтов, действительно, второй после Пушкина поэт на Руси. Гоголь, бесспорно, второй писатель (в смысле прозаик). Да и Толстой, почему-то, в этом Гоголю не мешая. Да и Достоевский, почему-то, Толстому не мешая. А в данном случае Гоголь и забыт. Д. и Т. в качестве второго после Пушкина писателя земли русской (одновременно и одинаково, как-то, будучи вторыми) спокойно умещаются на тесном квадрате пьедестала, что при жизни вряд ли классикам удалось бы, словно судьба на них цыкнула: «Стойте там спокойно, а то вслед за Пушкиным сразу!» Смирись, гордый человек, и много ли человеку земли надо... Фразы можно менять местами, очередности нет – оба одновременно вторые.

Лермонтов обречен быть заместителем Пушкина в вечности. Заместитель тут не в смысле зама, а в его старом досоветском смысле (у Набокова в предисловии к «Лолите»: про Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида). В случае отсутствия вечно куда-то пропадающего Пушкина он может заменить его достойно...

24 октября воскресенье

Ничего примечательного в этот воскресный день со мной не произошло, и слава Богу. Почти целый день пробыл у родственников. Придя домой (сейчас уже полтретьего ночи), я пытался посмотреть по нашему черно-белому телевизору какой-то триллер, но он не пошел, и Нар все хмурился: вернулся к себе в комнату.

...Писал какие-то глупости про Ахм. Ев. Воз, пригодится в статье про советское. Но дело не в Ахм., Евт., или же Воз-ском, надо начинать с Пастернака и Ахматовой. «Советский» надо воспринимать не эмоционально, как нечто отрицательное (совок), а как историческую реальность, которая тем более несомненная реальность, что уходит. Именно лучшие образцы, как вышеназванные, есть воплощение советского. Они жили в нем и

отразили его, и отразились в нем. Надо подать без эпатажа, что и талант-то – что Паст., что Ахматовой – расцвел в советское время. Сначала они были досоветскими, потом антисоветскими, но это не меняет сути: они оставались советскими и жили внутри этого. В этом отношении исключение – Мандельштам. Вот о нем и собираюсь написать: как гения, запущенного в будущее, чтобы вернуться в нормальный мир и рассказать, что там на самом деле было. Этого не мог сделать Блок, потому он и умер на, так сказать, рубеже: только успел сначала благословить в романтическом декадентском контексте, а потом, отрезвившись, ужаснуться и проклясть. Всю же тяжесть на себе вынес Манд., этот щедедушный еврей, получивший европейское образование и начавший уже гением, подобно Лермонтову, с ним параллель нужна. Чувствую, что сейчас бы расписался, но лучше отложить и лечь и пытаться заснуть.

Много хороших планов, именно очеркистских, но прочно не засел никак. «Лермонтов» имел успех по-своему. Я это чувствую и знаю, не только потому что все в «Экс.» хвалят. Собственно элита литературная «Экс.» не читает, но там мне напечататься надо было, хотя я мог отдать его в более престижное в этом плане издание.

Это выгодно. «Лермонтов» интересен, и текст о нем будет прочитан. Сейчас надо о Мандельштаме, может быть, и о Михалкове надо доделать, а там к мысли, что советская лит. и искусство не только были как реальность, но и воплощены лучшими (как вышеназванные), а не худшими, как Фад. и т. д.

P. S.

После записи, где приглашал себя спать, чтобы облегчить себе работу завтра, оставив то, с чего начать писать, – после этого пишу еще с часик и, разумеется, плохо.

Завтра должен приехать ко мне Горячкин, попросил помочь в сочинении заметки про кого-то для «Алфавита», журнала, который платит якобы неплохо и куда мы потом поедem с ним. Просто он сдружился там с фотокором, у кот., кстати, взял поносить, как куртку, патриотизм, на днях даже заявил, что намерен войти в Грозный вместе с войсками, а когда вернулся из Дагестана, из Каарамахи, тоже рассказывал байки, которыми

пестрят все СМИ, отчего и его фотографии воспринимаются как вычитанные из газет. Всеобщий патриотизм. Дима – еврей-либерал (таковым он является по определению, и дело тут не в обычном для полукровок отсутствии среднего возраста: из русского юноши в одночасье превращаются в старого еврея с его одутловатостью; просто у него нет других убеждений, кроме того, что он убежден: ему надо зарабатывать, к тому же он склонен к многоженству). Когда еврей-либерал становится патриотом – это как звезды зажигают ночью.

Когда Козырев не стал МИДом и надо было выбираться по Мурманскому округу в презренную Госдуму – резкое б выражение о мамах тех избирателей, кто там за него проголосовал! – он тут же заговорил об отце-юристе Жирика – обычное клише в стиле Проханова. Когда Полторанина ушли и он стал рукавом, который надо было пришить, – он тут же о «криминальном иврите».

Опять заболтался! Пятый час. Спокойной ночи!

2000 год

20 февраля воскресенье

Снова не обращался к дневн. неделю.

За это время мне отточили зуб, и сейчас я как вампир. Работаю в «Рос.». Получил пока в конверте 300 баксов. Не семьсот, как ждал, но редактор подчеркнул, что это за январь, когда я там еще не работал. В «Эксперте» тоже пока не уволился, но надо сделать это, пока не упрекнули: ведь там я ничего не делаю столько времени.

В «Рос.» я был взят как спец по Кавказу, но, разумеется, пришлось согласиться на это из нужды. Не хочу опять про политику. Сейчас я несколько материалов предлагал нейтральных. В частности, на неделе с фотокором Сергеем ходили в кабак «Золотой дракон» на так называемое караоке. Об этом написал. Кстати, там раскололи на три тысячи рублей. Первый зам, или выпускающий, или как его там, Максим, очевидно, бывший хиппи, не понравилось ему то, что я написал. Однако в конце концов редактор ее похвалил. Сейчас только что я закончил материал

про Мелитона Кантария. Если так пойдет, может быть, буду вести раздел – чтиво или что-то более гуманитарное.

Все эти недели, кот. я работаю в этой будущей газете, вперемежку бегаю к зубному. Расположено далеко, аж в Солнцево. Относительно дешевле мне делают, за тыщу баксов. Пока заплачено 350 и 100 за лечение.

С 27 на 28 марта с понедельника на вторник

Вчера были в гостях у Сиды. Парень с женой, ростовчанкой. Сам он из Крыма, когда-то приезжал ко мне в Сухум, а сейчас нашел, предлагая литературный вечер. Ездили к нему в Марьино с Таджигулькой. Он и жена – большие энтузиасты. Дома еще ее сын, да сын того самого с армянской фамилией, который рубил иконы. У них литературный клуб. Успели получить соросовские гранты. Да, Сорос сворачивает программу. Почему я не встретил их год-два назад! Они организовывали три Боспорских конференции в Крыму. С привлечением Искандера, Аксенова и Битова. Пригова и Рубин тоже обожает с Кибировым и Гандлевским. Я им тоже по душе. Кажется, те, кто мне когда-то был нужен, а как махнул рукой – они тут как тут, предлагают сайт мне открыть. Я говорю – сайта Абхазии бы. Сказал, что можно англичан Хьюита и Рэйчел использовать, чтобы найти благотворителей. Сиду идея очень понравилась. Еще зажегся он, и Анна тоже, идеей провести дни культуры в Абхазии. Можно, если составить проект, найти деньги, они это умеют, а для Абхазии, так нуждающейся в контактах с внешним миром, где наша молодежь страдает от недостатка общения, это было бы здорово. Тем более, и Вова Зантария, и Кес помогут. Надо сделать что-то для того, чтобы прорвать ту изоляцию, в которой пребывает наша Абхазия. Ребята, кажется, могут поспособствовать. Надеюсь и молю Господа, чтобы на этом пути не постигло б меня разочарование: ребята, кажись, что надо.

Сегодня я, графоман этакий, сдал очередной очерк Подшивалову про Углич. Самому нравится. Кажется, и он разделил со мной это чувство. Сказал, дескать, почему былинный мотив, высокопарность. Я ему – что это прием. Так и поговорили.

15 января написал в дневник, а сейчас попало мне на глаза следующее: «Я становлюсь журналистом, причем политизированным». По-моему, этого удалось избежать. Потому что заставил себя ценить именно как стилист. Теперь, когда в ежедневной газете мне предстоит выполнять негизетную часть работы, то есть писать «загонные» материалы, – как состав лишний, который на все узкоколейки загоняют, пропуская более важные рейсы поездов, – фактически занимаюсь новым для себя жанром – жанром очерка о живых людях и всамделишных ситуациях, что само по себе мне интересно. Все, что я пока написал, а написал я не менее шести очерков, все это можно и в сборники включать, они не злободневные, то есть, как опять журналиги, мои новые друзья, поговаривают: не тухнут. При этом, если мне действительно это надо, я могу организовать отдел, нечто вроде литературного (и прочее), уже собираюсь привлечь Пьецуха, потому что, хотя и он с неба звезд не срывает, однако есть забавные вещи у него, а так и не припомню другого с юмором. У всех только вымороченный юморец и стеб.

Содержание

М. Москвина

Житие Даура Зантарии, колхидского странника	5
---	---

Стихотворения

Вариация на тему № 1	31
Дорожное	32
Вариация на тему № 2	33
«Равнение на женщину!..»	34
Каприз актера	35
Водолей	37
Сухум	38
Памяти Адгура Инал-Ипа	39
Ночь	40
Айдуду	41
Тишина	42
Когда ты смертельную пулю поймал.....	43
Дрожащие руки старушек	44
Песня о нашем брате	45
До боли долгими ночами.....	47
Чайка	48
На приморском бульваре.....	49
Закон	50
«Я стоял на земле...»	51
Страх	52
Пасхальный ангел	53
Воскресенье	54
Тот не поймет, кто в Ленинграде не был.....	56
Люди на причале	57
Радость	58
Я не мальчик. Довольно меня донимать.....	59
Дом отца	60
«Хлеб – не хлеб, и вино – не вино...»	61
25 Мая 1992 года	62
Perestrojca & glasnost	63

Орел-мутант	64
Преступление и наказание	65
Стучат вопросы по мозгам.....	66
Приход.....	67
Беда	68
«Иметь свой дом...»	69
«Дуплетом в воздух...»	70
«В эту ночь под луной...»	71
«Допил бутылку красного до дна...»	72
Предчувствие разлуки	73
Есть лишь одна отрада для мужчины.....	74
«Лишь месяц из-за туч проглянет...»	75
Уныние	77
Весы над акрополем.....	78
Душа	79
Благословить корабли хочу	80
Ответ Маргарите	81
В каждом рисунке – солнце.....	82
Колокол	84
Маститый юбиляр	86
Пусть голодом себя морят.....	87
Внутри меня, грешного, столько огня.....	88
Провожая глазами поезд	89
Слезы от лука	90
«Все мы записаны в отряд...»	91
Желтый месяц, наехав на скалы.....	92
Кремневый скол	93
Филин и волк	95
Элегия	96
Две бездны существуют в мире нашем.....	97
Москва литературная.....	98
Весна	99
Россия.....	100
Мама, смерть – большая птица.....	101
Тревога.....	103
Серебряков.....	104
Рассвет.....	105

«Что сказать вам хочет снег...»	106
«И месяц из-за туч проглянет...»	107
Песня бродяги.....	108

Рассказы

Пожиратели голубей	111
Конфетное дерево	119
Косуля	126
Жеребенок, чье имя я забыл	133
Граммфон	142
Игольное ушко	145
Грэм Грин	148
Три свидания с домом.....	163
Свирель	169

Повести

Кремневый скол	173
Енджи-ханум, обойденная счастьем	297
Судьба Чу-Якуба	332

Роман

Золотое колесо	359
----------------------	-----

Публицистика

О долгожительстве	581
Русские горцы.....	587
Японский продюсер у врат зари	594
Свято место, почти пусто	602
Фарисеи	610
Тот самый Кантария	613
Негры и нацмены	618
Клавишпицер и шулера	621
Кавказская война и беженцы.....	624

Из дневников	631
---------------------------	-----

ДАУР БАДЗОВИЧ ЗАНТАРИЯ

СОБРАНИЕ

стихотворения
рассказы
повести
роман
публицистика
из дневников

Редактор *Татьяна Алексеева*
Корректор *Галина Рыженкова*
Художник *Руслан Габлия*
Верстка *Наала Картозиа*

Формат 60х90 1/16. Тираж 2000.

Печ.л. 41

Заказ №...

Отпечатано в ООО «Флер-1»
350058, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2